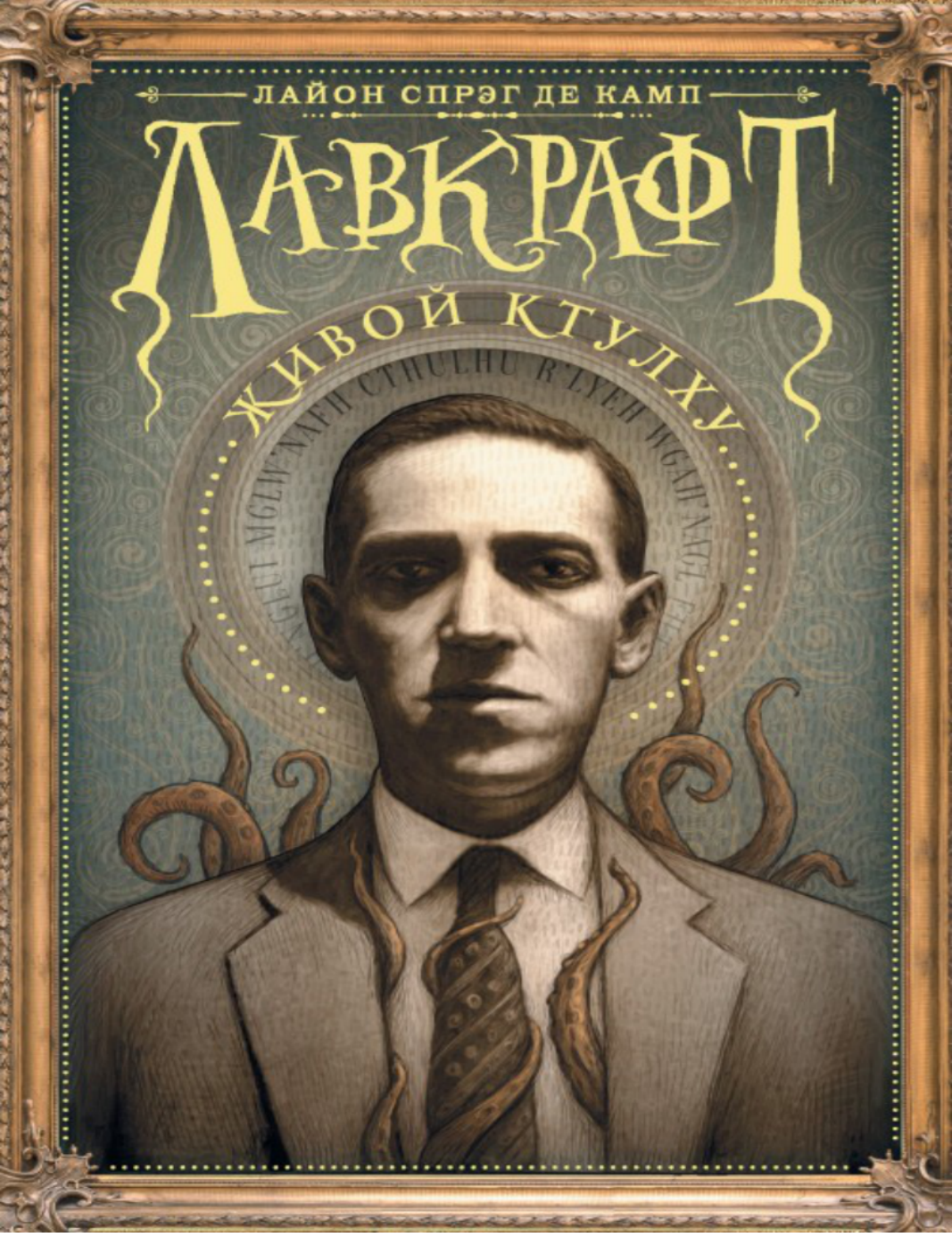
ЛАЙОН СПРЭГ ДЕ КАМП

ЛАВКРАФТ

ЖИВОЙ КТУЛХУ



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Один из самых влиятельных мифотворцев современности, человек, оказавший влияние не только на литературу, но и на массовую культуру в целом, создатель «Некрономикона» и «Мифов Ктулху» – Говард Филлипс Лавкрафт. Именно он стал героем этой книги, в своем роде уникальной: биография писателя, созданная другим писателем. Кроме того многочисленные цитирования писем Г. Ф. Лавкрафта отчасти делают последнего соавтором. Не вынося никаких оценок, Лайон Спрэг де Камп объективно рассказывает историю жизни одной из самых противоречивых фигур мировой литературы.

- Лайон Спрэг де Камп
  -
  -
  - Предисловие
  - Глава первая. Колледж-Хилл
  - Глава вторая. Отклонившаяся ветвь
  - Глава третья. Ночные мверзи
  - Глава четвертая. Избалованный гений
  - Глава пятая. Дом с привидениями
  - Глава шестая. Сверхчеловек-любитель
  - Глава седьмая. Худосочный воин
  - Глава восьмая. Призрачный джентльмен
  - Глава девятая. Фантаст-путешественник
  - Глава десятая. Робкий возлюбленный
  - Глава одиннадцатая. Дон Кихот в Вавилоне
  - Глава двенадцатая. Гуннар в яме со змеями
  - Глава тринадцатая. Живой Ктулху
  - Глава четырнадцатая. Взбунтовавшийся супруг
  - Глава пятнадцатая. Независимый эксперт
  - Глава шестнадцатая. Озадаченный бард
  - Глава семнадцатая. Противоречивый мыслитель
  - Глава восемнадцатая. Угасающий светоч
  - Глава девятнадцатая. Посмертный успех
  - Иллюстрации
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93

- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137

- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181

- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225

- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269

- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313

- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357

- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401

- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445

- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489

- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533

- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577

- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621

- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657
- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665

- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679

Лайон Спрэг де Камп
Лавкрафт: Живой Ктулху

L. Sprague de Camp
H. P. Lovecraft: A Biography

© 1975 by L. Sprague de Camp
© Д. Попов, перевод на русский язык, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Памяти «трех мушкетеров»
«Виэрд Тэйлз»:
Роберта Э. Говарда,
Г. Ф. Лавкрафта
и Кларка Эштона Смита

Предисловие

Я не был знаком с Г. Ф. Лавкрафтом по двум причинам. Во-первых, я начал серьезно писать лишь через год после его смерти в 1937–м. Во-вторых, я редко читал «Виэрд Тэйлз»[1], едва ли не единственное его профессиональное издание, в том числе и на протяжении почти десятилетия после его смерти. Увы! Летом 1932 года, учась в аспирантуре в Массачусетском технологическом институте, я был в Бостоне, всего в часе езды от его дома. Если бы я только знал…

В период с 1946–го по 1960–й я понемногу узнавал о Лавкрафте. Узнавал также и о других членах кружка Лавкрафта – «Виэрд Тэйлз», особенно о Роберте Э. Говарде[2]. Несмотря на то что я получал истинное наслаждение от произведений Лавкрафта, рассказы Говарда оказались ближе к тому типу приключенческого фэнтези с сумасбродными героями, которое я больше всего люблю читать и писать. Позже я принимал участие в завершении, переработке и редакции ряда неопубликованных рассказов Говарда. Но это уже другая история.

Несколько лет назад я собрал материал о Лавкрафте и его коллегах для серии журнальных статей «Рыцари и колдуны от литературы». В этом проекте мне помогал и всецело поддерживал Август У. Дерлет из Саук-Сити, штат Висконсин, который практически в одиночку пытался сохранить литературное наследие Лавкрафта и издавал его произведения после смерти писателя.

Я знал, что Дерлет намеревается написать полную биографию Лавкрафта, и у меня и в мыслях не было браться за подобную работу. Однако 4 июля 1971 года Дерлет внезапно умер, так и не написав книгу. А так как я собрал множество писем и публикаций как самого Лавкрафта, так и о нем, мне показалось вполне логичным взять на себя ответственность за эту работу.

Мне виделось, что, хоть я и не знал Лавкрафта, у меня было одно преимущество перед его другом Дерлетом. Поскольку его восхищение Лавкрафтом граничило с идолопоклонством, я полагал, что смогу взглянуть на предмет более объективно. Читателю судить, был ли я прав, считая так.

Чем больше я изучал жизнь Лавкрафта, тем больше он меня очаровывал. Я обнаружил в его характере некоторые из своих собственных недостатков, которые, надеюсь, во мне все-таки не столь велики. Когда я читал о его неудачах и несчастьях меня не оставляла мысль, что «такое могло случиться и с нами, но Бог

смилостивился и решил иначе»[3].

Я ни в коей мере не претендую на то, что полностью понял Г. Ф. Лавкрафта. Тому, кто больше смотрит в будущее, нежели в прошлое, кто практически безразличен к окружающей обстановке и не испытывает тоски по родине, у кого нет особой ностальгии по местам юности, тяжело постичь внутренний мир человека, который на протяжении всей жизни остро тосковал по дому своего деда на Энджелл-стрит. Другими словами, наши характеры слишком разные.

Я полагаю, что биография обычного писателя не очень интересна. Большинство из них из года в год стучат по клавишам пишущих машинок, прерываясь лишь тогда, когда семьи вытаскивают их на несколько недель принудительного отпуска.

Это не значит, что писатели считают жизнь скучной. Часто они увлечены своим ремеслом. Но все чудесные приключения и открытия в основном случаются в их воображении, оставаясь таким образом недоступными для биографов.

С другой стороны, автобиография писателя может оказаться очень интересной, поскольку он описывает свои мысли и пережитые чувства. Хотя Лавкрафт и не написал автобиографии, он сделал следующую замечательную вещь: он оставил историю своей жизни и размышления в письмах, коих написал невероятное количество – согласно одной оценке, их было сто тысяч. Хотя многие из них пропали, тысячи всё еще существуют в архивах Университета Брауна, в частных коллекциях или уже были изданы.

За свои грехи я прочел тысячи из этих писем, большей частью оригиналов, написанных лавкрафтовскими каракулями. Не потрать Лавкрафт столько времени на них, он, быть может, достиг бы большей земной славы. Но тогда я не смог бы написать о нем столь подробно.

При подготовке этой книги мне оказывали огромную помощь коллеги и поклонники Лавкрафта. В особенности я признателен следующим:

Ирвингу Бинкину, любезно разрешившему воспользоваться коллекцией «Лавкрафтианы» Филипа Джека Грилла и предоставившему фотокопии сотен страниц писем и любительских публикаций, а также фотографию семьи Лавкрафтов;

Библиотеке Университета Брауна, предоставившей копии бесчисленных писем и публикаций самого Лавкрафта и о нем, а также фотографий;

своей жене Кэтрин Крук де Камп, уделившей время на

редакцию моей рукописи;

Фрэнку Белнапу Лонгу, просмотревшему значительную часть рукописи и терпеливо ответившему на многочисленные вопросы по его воспоминаниям о Лавкрафте;

Этель Филлипс Морриш (миссис Рой Э. Морриш), троюродной сестре и наследнице Лавкрафта, любезно разрешившей цитирование ad libitum[4] писем писателя и предоставившей биографическую информацию о семье Филлипсов;

Сэму Московицу, любезно разрешившему использовать свою бесценную коллекцию старых журналов, в том числе «Виэрд Тэйлз» и «Мансейз Мэгэзин»; а также

Генри Л. П. Беквиту, Дональду М. Гранту, Бертону Леви Сент-Арманду и Кеннету В. Файгу-младшему, сопровождавшим меня по Провиденсу и Род-Айленду, прочитавшим и отозвавшимся о части либо обо всей рукописи и ответившим на множество вопросов о Лавкрафте и его среде.

Я также признателен за различную помощь – ответы на вопросы, разрешение на цитирование, предоставление копий писем, публикаций и фотографий – следующим: Дженет Джеппсон Азимов, Форресту Дж. Аккерману, Джекис Бергер, Эдварду П. Берглунду, Роберту Блоху, Гарри Бробсту, Шелдон и Хелен Вессонам, Джорджу Т. Ветцелю, Шейле Дж. Вудвард, Альфреду Галпину, Теодору Гридеру и Ричарду Дж. Шаубеку-младшему из Библиотеки Нью-йоркского университета, преподобному Джону Т. Данну, Джерри де ла Ри, Артуру П. Демерсу, покойному Августу Дерлету, Лоренс Канетка, Лину Картеру, Роберту В. Кенни, Уиллису Коноверу, Эдварду Шерману Коулу, Уильяму Л. Кроуфорду, Джерарду Б. Круку, Сэмюэлю Лавмэну, Джерри А. Лаусон, Морису Леви, Фритцу Лейберу, Гленну Лорду, Дерку В. Мозигу, Гарри О. Моррису-младшему, Ричарду Мохру, Бресту Ортону, Эмилю Петайа, Эдгару Хоффманну Прайсу, В. Питеру Саксу, Ричарду Ф. Сирайту, Рою А. Сквайерсу, Джону Х. Стенли и покойной Кристин Д. Хатавей из Библиотеки Университета Брауна, Кеннету Дж. Стерлингу, Уилфреду Б. Талману, Освальду Трейну, Джекис Феррон, Гарри О. Фишеру, Роберту М. Фишеру, Роберту К. Харраллу, Форресту Д. Хартманну, Джеймсу Шевиллу, Дж. Вернону Ши, Стюарту Д. Шиффу, Кристоферу Эвансу и Стиву Энгу.

Л. Спрэг де Камп
Вилланова, штат Пенсильвания
Август 1974 г.

Глава первая. Колледж-Хилл

Залив где реку принимает,
А на холмах леса,
Там шпили Провиденс вздымает
Ко древним небесам.

А средь извилистых путей,
По склону что бегут,
Все чары позабытых дней
Спокойствие дадут[5].

Г. Ф. Лавкрафт «Провиденс»

В большом, беспорядочно выстроенном трехэтажном дощатом доме о пятнадцати комнатах, в Провиденсе, штат Род-Айленд, жил Уиппл Ван Бурен Филлипс с женой и двумя незамужними дочерьми. Третий этаж с фронтонами и слуховыми окнами населяли четверо слуг. Дом стоял на обширных угодьях с ухоженными аллеями, деревьями, фруктовым садом и фонтаном, а позади него находилась конюшня с экипажем и тремя лошадьми Филлипсов.

Помимо всех удобств и комфорта жизни американского высшего общества конца девятнадцатого века дом на Энджелл-стрит, 454[6] имел и библиотеку с двумя тысячами книг – некоторым из них было уже несколько веков. Уиппл Филлипс и его жена Роби слыли завзятыми книгочеями. Роби Филлипс, получившая хорошее для того времени образование, проявляла интерес к астрономии и собирала книги.

Именно в этот дом, поздней весной или ранним летом 1893 года, явилась средняя дочь Филлипсов, Сюзи Филлипс Лавкрафт, с двухлетним сыном Говардом.

Сюзи жила со своим мужем Уинфилдом Скоттом Лавкрафтом в пригороде Бостона, но у него началась тяжелая душевная болезнь, и он был помещен в психиатрическую больницу. Очевидно, потрясение от нервного расстройства мужа послужило для Сюзи началом психического заболевания, которое усугублялось вплоть до ее смерти, наступившей через двадцать восемь лет. Среди потакавших во всем деда, бабушки, тетушек и невротичной матери юный Говард Лавкрафт, несомненно, получил весьма необычное воспитание.

Много позже Г. Ф. Лавкрафт любил говорить о достоинствах своей матери: ее пении и игре на фортепиано, занятии живописью и знании французского языка. Однако люди, знавшие ее после смерти мужа, говорили иначе. Альберт А. Бейкер, семейный адвокат, называл ее «немощной сестрой». Психиатр Больницы Батлера, куда она попала в 1919 году на заключительной стадии болезни, характеризовал ее как «женщину с ограниченными интересами, которая, будучи травмирована психозом, узнала о надвигающемся банкротстве»[7].

Лишившись мужа, Сюзи стала одержима идеей, что маленький Говард – это все, что у нее есть. И теперь ее ограниченные интересы сосредоточились на сыне. Она оберегала, нежила, баловала и потакала мальчику до такой степени, что даже самому непоколебимому стороннику потворствующего воспитания показалось бы чрезмерным. На викторианском кресле-качалке, в котором Сюзи убаюкивала Говарда под пение арий из «Крейсера Пинафор» и «Микадо», по ее настоянию сострогали весь выступающий декор, дабы он не поранился о него. Более того: «На летнем отдыхе в Дадли, штат Массачусетс… миссис Лавкрафт отказалась обедать в столовой, не пожелав оставить на час своего спящего сына одного этажом выше. Когда миниатюрная учительница мисс Свини отправилась на прогулку с мальчиком, любившим подобные выходы из дома, и взяла его за руку, мать Говарда велела ей немного наклониться, дабы не вырвать ему руку из плеча. Когда Говард катался на своем трехколесном велосипеде по Энджелл-стрит, она шла рядом, придерживая его за плечо. И, по мере того как мальчик рос, подобная опека только возрастала, а не уменьшалась…»[8]

Сюзи позволяла сыну есть все, что ему нравится. В результате он только и ел что сладости да мороженое, пренебрегая здоровой пищей, и так и не преодолел детского отвращения к морепродуктам и некоторым овощам. Она позволяла ему вставать и ложиться, когда он пожелает, так что он перешел на ночной образ жизни и редко показывался днем. Когда ему было семь, она отняла у него роман Герберта Уэллса «Остров доктора Моро» из опасения, что подобные ужасы повредят его чувствительным нервам.

Вредным для развития мальчика было и то, что Сюзи Лавкрафт страстно желала родить девочку и даже начала собирать для нее приданное. Из-за этого она настойчиво холила те черты сына, которые считала женскими. Она одевала его в костюм лорда Фаунтлероя и сознательно пыталась сделать его женственным. Благодаря ее внушениям маленький Лавкрафт какое-то время настаивал: «Я маленькая девочка»[9].

Говард был кареглазым малышом с длинными золотистыми кудрями. Когда Лавкрафты проживали в Массачусетсе у семьи Гуини, миссис Гуини прозвала его за них Солнышком. Сюзи заставляла сына носить эти кудри до шести лет, хотя он начал жаловаться на них еще в трехлетнем возрасте. На какое-то время она успокаивала его, показывая картинки из «Спектатора» восемнадцатого века, изображавшие взрослых мужчин с длинными волосами и в коротких, как у него, штанах. С этого и началось его пожизненное увлечение эпохой барокко, но с кудрями он так и не примирился. Наконец, когда мальчику исполнилось шесть лет, она вняла его жалобам: под горький плач Сюзи его подстригли[10].

Вместе с тем, и это весьма странно, она избегала любых физических контактов с мальчиком и говорила людям, что он мерзок. Впоследствии Лавкрафт признался своей жене, что отношение матери к нему было «разрушительным». Его тетя Лилиан как-то сказала одному из его друзей, что «с их стороны было очень глупо столь чрезмерно опекать мальчика, вплоть до тридцати лет»[11]. К тому времени, однако, было уже слишком поздно что-либо менять.

Кроме того, Говард Лавкрафт был не по годам развитым ребенком и обладал поразительной памятью. Буквы он выучил в два года, в три научился читать, а в четыре уже писал.

Вскоре он обратился к библиотеке Филлипсов. Такое сочетание специфической наследственности, ненормального воспитания и раннего знакомства с книгами породило массу противоречий – коими Лавкрафт и был.

Говард Филлипс Лавкрафт (1890–1937) завладевает вниманием любого поклонника литературы воображения не только благодаря своим весьма оригинальным рассказам, широкому воздействию и ведущему положению в жанре, но также и благодаря своей странной личности, обязанной необычному воспитанию. Он заключал в себе гораздо больше противоречий, нежели можно было бы представить в одном человеке.

Когда Лавкрафт умер, он был практически неизвестен, за исключением небольшого круга друзей, корреспондентов и экспертов по фантастике. Не было издано ни одной его книги, хотя друзья и предпринимали безуспешные попытки напечатать их самиздатом. Книга «Род-Айленд, путеводитель по самому маленькому штату», изданная в рамках Федеральной программы помощи писателям в год смерти Лавкрафта, не упоминает о нем в главе о писателях ни единым словом. Также как и туристический буклет «Достопримечательности Провиденса», изданный

«Провиденс Джорнал». Лавкрафт считал себя полным неудачником, «абсолютным убытком».

Однако через тридцать с лишним лет его произведения продаются сотнями тысяч. Коллекционеры платят от тридцати до ста долларов за любое его письмо. О нем поставлена пьеса и написано по крайней мере пять магистерских диссертаций.

Лавкрафт переведен на десять или даже более иностранных языков и провозглашен, особенно в романоязычных странах, равным Эдгару Аллану По. Испанский писатель Хосе Луис Гарсиа объявил его одним из десяти величайших писателей всех времен. Мишель де Гельдерод из Бельгии причислил его наряду с Эдгаром По, Амброзом Бирсом и Уолтом Уитменом к четырем величайшим писателям Америки. Стефан Винсент Бене присоединился в восхвалении творчества Лавкрафта к французам Жану Кокто и Андре Биллай[12]. 5 августа 1973 года буэнос-айресская газета «Ля Опиньон» целиком посвятила Лавкрафту свое воскресное культурное приложение.

Лавкрафт сетовал на отсутствие признания, однако всю свою жизнь он сам же и выставлял препоны на пути к своим целям. Осуждая жеманство и позы, он сам был настоящим королем позеров. Ему нравилось представлять себя престарелым отшельником, называя в письмах своих тетушек «моя любимая дочь» и «моя дорогая внучка» и подписываясь «Дедуля».

Лавкрафт питал слабость к языку, взглядам и даже произношению («antient», «publick», «ask'd») английских консерваторов восемнадцатого века или, по крайней мере, колониальных лоялистов. Он сдабривал письма восклицаниями вроде «Боже, храни Короля!». Когда его друг Мортон обвинил его в позерстве, Лавкрафт вежливо ответил: «Но разве это не артистическая поза?»[13]

Как-то в Лексингтоне, штат Массачусетс, он посетил памятник первым колонистам, павшим в Войне за независимость. На вопрос, испытывал ли он при этом какие-нибудь чувства, Лавкрафт ответил:

– Конечно же! Я выпрямился и громко крикнул: «Так умрите же все враги и предатели его законного величества короля Георга Третьего!»[14]

Будучи приверженцем философского материализма, Лавкрафт обладал твердыми познаниями в естественных науках и испытывал глубокое уважение к научному методу, но в то же время исповедовал псевдонаучные расовые теории. Он восхищался «безграничным превосходством германских арийцев» и «зычным боевым кличем голубоглазого светлобородого воина»[15], хотя сам при этом был весьма далек от образа

могучего викинга-грабителя.

Вопреки болтовне о кровожадных берсерках и произведениях об упырях, каннибалах и гниющих трупах, Лавкрафт был таким брезгливым, что, поймав мышь, предпочитал выбрасывать ее вместе с мышеловкой, нежели касаться крошечного трупика. Воинствующий националист и милитарист в течение долгого времени, он так извелся угрызениями совести, когда в молодости застрелил белку, что никогда больше не охотился.

Большинство людей, чьи политические взгляды меняются с течением времени, начинают как либералы или радикалы, а с возрастом становятся консерваторами. Лавкрафт же начал ультраконсерватором, а стал социал-либералом и пылким поклонником Франклина Делано Рузвельта.

Лавкрафт писал: «…Моя ненависть к человеческой скотине растет тем стремительнее, чем больше я наблюдаю за этим проклятым сбродом», а его жена сказала: «Думаю, что теоретически он ненавидел все человечество»[16]. Однако для самопровозглашенного мизантропа он приобрел удивительно много верных друзей. И все они отзывались о нем как об одном из самых добрых, великодушных и бескорыстных людей, которых они когда-либо знали.

Вплоть до последних нескольких лет своей жизни Лавкрафт был маниакальным националистом. Он ненавидел всех иностранцев, иммигрантов и представителей национальных меньшинств, называя их «гнусным крысиным сбродом из гетто» и «крысомордыми азиатскими полукровками»[17]. Когда он снимал комнату в Бруклине и узнал, что его сосед-сириец, он отреагировал так, как если бы обнаружил в ванне гремучую змею.

Однако же, когда Лавкрафту случалось знакомиться с представителями этих ненавистных национальностей, он всегда оказывался по отношению к ним таким же добрым, учтивым, дружелюбным, великодушным и мягким, как и к англосаксам. При всем своем часто выказываемом отвращении к евреям он женился на еврейке, а также считал одного еврея своим ближайшим другом. В последние годы жизни Лавкрафт избавился практически от всех своих национальных фобий и отказался от тех взглядов, которыми ранее бравировал.

Лавкрафт всегда давал хорошие советы по вопросам литературы, вот только самому следовать им у него не получалось. Он рекомендовал начинающим поэтам избегать претенциозности, вроде использования устаревших слов и написаний, в то время как сам сочинял в стиле времен славной королевы Анны Стюарт. Он советовал сторониться «неумеренности в барокко», критики же считали его

произведения переполненными подобными излишествами.

Он предостерегал одного своего юного друга от заблуждения, что за его литературный талант и художественный вкус общество обязано обеспечивать его средствами к существованию[18]. Но всю свою жизнь Лавкрафт вел себя так, словно его действительно должны были содержать. Он изображал из себя обедневшего аристократа, который никогда не поступится своими джентльменскими принципами ради вульгарных корыстных интересов.

Он яростно поносил «слащавую сентиментальность»[19] в художественной литературе, но если кто и был слащаво сентиментален по отношению к своему детству и всему, что напоминало о нем, то это был сам Лавкрафт.

Лавкрафт испытывал отвращение к половым извращениям и отклонениям. Однако его собственный подход к сексуальным отношениям был таким ханжеским и сдержанным, что в сочетании с его высоким голосом и тем, что даже его близкий друг назвал «жеманным поведением»[20], некоторые задавались вопросом о его сексуальной ориентации.

Хотя он, несомненно, и любил Соню, брак с которой был весьма недолговечным, его подлинной любовью был Провиденс. То есть именно материальный город – его дома и улицы, но никак не люди, которые его мало заботили и из которых мало кто даже подозревал о его существовании. Эта страсть удерживала его в Провиденсе почти всю его жизнь, хотя он и страдал от редкого заболевания, делавшего его чрезвычайно чувствительным к холодным зимам Новой Англии.

Один критик назвал Лавкрафта «сложной смесью инвалида-неврастеника и нордического сверхчеловека; надменного позера и одинокого неудачника; космического фантаста и непреклонного научного материалиста; ученого, насмешника и исследователя; ненавистника жизни и влюбленного, так и не нашедшего достойного объекта для своей любви – или же не нашедшего себя достойным предложить свою любовь кроме как под обманчивой личиной этих многословных, маниакальных писем, которые одновременно требовали и отталкивали ту любовь, которая была… просто его человеческим долгом»[21].

Эта картина не так уж и ошибочна, но она грешит в перечисленном, поскольку упускает множество положительных качеств Лавкрафта – таких как проницательный ум, широкие познания, художественная восприимчивость, строгая личная честность, обаяние, вежливость и доброта.

Странности Лавкрафта создают о нем впечатление как об отталкивающем уродце, однако люди, встречавшиеся с ним,

будучи неприязненно настроенными, все равно пленялись им. Джордж Джулиан Хоутейн, издатель-любитель, посетил его в 1920 году и затем отозвался об этой встрече: «Я как-то не горел желанием встретиться с Лавкрафтом – у меня было впечатление, что он мрачен и скучен… Он, несомненно, воплощает все те черты, которые я не выношу, но тем не менее Говард Ф. Лавкрафт чрезвычайно понравился мне с первой же минуты нашей встречи»[22].

Вот таким он предстает перед нами: человек выдающихся достоинств и вопиющих недостатков; человек одновременно приятный и отвратительный – в зависимости от того, какая сторона его сложной натуры раскрывается постороннему; человек, родившийся не в свое время; автор рассказов, мнения о которых разнятся до фантастической степени; человек, чье мощное влияние на литературный жанр резко контрастирует с тем незначительным признанием, которое он получил при жизни.

Провиденс, к которому Лавкрафт испытывал такую странную платоническую страсть, – притягательное место, особенно для тех, кому нравится колониальная архитектура, старинная атмосфера Новой Англии и ранние часы. Местный говор типичен для востока новоанглийской Америки.

Род-Айленд – самый маленький по площади из пятидесяти штатов, всего лишь 1248 квадратных миль, 181 из которых находятся под водой. В нем находится довольно крупный залив Наррагансетт с сильно изрезанной береговой линией, из вод которого поднимаются несколько островов. Колония была названа по самому большому из них[23].

В 1636 году на месте будущего Провиденса вместе с четырьмя товарищами обосновался Роджер Уильяме, изгнанный за ересь из Массачусетса. Он одним из первых в христианском мире полностью принял принцип свободы вероисповедания. Уильяме приютил квакеров[24], когда в Массачусетсе их вешали наравне с ведьмами и пиратами, и даже призвал без страха селиться в колонии «папистов, язычников, турок и евреев»[25].

Хотя жители Род-Айленда и поддерживали низкий накал религиозных страстей, они были верны пуританским добродетелям бережливости, коммерческой предприимчивости и тяжелого труда. Когда в 1762 году группа актеров основала в Провиденсе театр, городское собрание убедило Ассамблею заставить их покинуть город – не потому, что их пьесы были безнравственными, но потому, что «столь дорогостоящее увеселение и праздное времяпрепровождение ни в коей мере не может быть для нас добродетельной склонностью, особенно в это

время, когда наша колония, равно как и другие, страдает от тяжкой напасти необычайной засухи и нехватки сена и провианта»[26].

Залив Наррагансетт в северной части разветвляется. Восточный рукав – река Тонтон, западный, так называемая река Сиконк, – в действительности устье реки Блэкстон. Провиденс стоит на западном берегу Сиконка. Помимо того, что он является столицей штата, это также промышленный город и морской порт. В течение двадцатого столетия его население колебалось от двухсот до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Речка Провиденс, повсюду перекрытая мостами, течет через весь город и впадает в Сиконк. Параллельно ей через низину посередине города идут ветка Пенсильванской Центральной железной дороги и шоссе № 95.

Железнодорожная станция обращена на большую центральную площадь, украшенную статуями и памятниками. На юг и запад от площади простирается главный деловой район, где высотные офисные здания начали вытеснять реликты восемнадцатого и девятнадцатого веков. Немногим более четверти мили к северу от станции располагается обрамленное колоннами и увенчанное куполом здание законодательного собрания штата Род-Айленд, построенное в 1895–1901 годах из мрамора и белого гранита.

Долина, через которую течет река и проходят железная дорога и шоссе, лежит между двумя холмами, не считая высот поменьше. На западе поднимается Федерал-Хилл, больший по площади и с пологими склонами. Долгое время его население составляли в основном итало-американцы. На востоке стоит меньший, но более крутой Колледж-Хилл, дома на котором образуют настоящий музей колониальной и федералистской архитектуры. Холм занимает тупоконечный полуостров около мили в ширину, образованный слиянием Провиденса и Сиконка. На его вершине, над крутым западным склоном, стоит Университет Брауна.

Бенефит-стрит, тянущаяся вдоль склона холма к западу от университета, примечательна колониальными домами из красного кирпича на деревянном каркасе. Дом под номером 88 – дом Сары Хелен Уитмен, построенный в восьмидесятых годах восемнадцатого века и названный так в честь неприступной вдовы, жившей здесь в тридцатых-сороковых годах девятнадцатого века. Именно сюда в 1848 году, в последний год своей жизни, приезжал Эдгар Аллан По, лихорадочно ухаживая за миссис Уитмен. Она согласилась выйти за него замуж при условии, что он бросит пить. Он обещал, но вскоре изменил

своему слову и получил отставку.

Бенефит-стрит под прямым углом пересекается с Энджелл-стрит, на которой Лавкрафт прожил тридцать один год из сорока шести лет своей жизни. Энджелл-стрит поднимается по Колледж-Хилл, пересекает университетский городок и спускается по другой стороне холма. За исключением нескольких офисных зданий и автострады через центр города, Провиденс выглядит почти так же, как и при жизни Лавкрафта.

Во времена юности писателя (1890–1910) жители Провиденса были разделены на классы, примерно как и в близлежащем Бостоне. Верхушку этого общества составляли «старые американцы» – выходцы из северо-западной Европы, прожившие здесь не одно поколение, в основном это были англосаксонские протестанты. Среди них «больше значения придавалось долгу, честности, благовоспитанности и скромному поведению, нежели деньгам или внешнему лоску»[27].

Бережливость занимала высокое место в их ранге ценностей. В состоятельных семьях умеренная поношенность одежды и имущества не только была допустимой, но даже являлась предметом восхищения как показатель экономности владельца. В романе Джона Маркуонда «Покойный Джордж Эпли» (1936) бостонец наставляет своего сына: «Дом твоего двоюродного деда Уильяма всегда мне казался частью его самого, и поэтому он не подлежит никаким изменениям. Простота обстановки, сквозняки в залах, истертые зубцы вилок на обеденном столе и заплатки на скатерти стали для меня его неотъемлемыми чертами и показателем прирожденного достоинства. Твой двоюродный дед Уильям, если б только пожелал, мог бы жить с показухой нувориша, но он этого не желает. Он не любит внешний лоск, которым козыряют те, кто привык к деньгам. Он до сих пор ездит в свою контору на трамвае. Он покупает, возможно, один костюм в год… Но при всем при этом ты не должен забывать о его щедрости по отношению к другим…»

В экономических вопросах этот правящий класс твердо держался крайнего капиталистического консерватизма, вроде того, что заставлял вымышленного Джорджа Эпли из романа Маркуонда яростно поносить «такой социалистический вздор, как подоходный налог и пенсии по старости»[28]. Низами общества были многочисленные иммигранты и представители национальных меньшинств, в основном итальянцы, ирландцы, португальцы и евреи различного происхождения. Верхний и нижний классы враждовали между собой, в особенности когда национальные меньшинства начали прорываться наверх, к тому положению, которое «старые американцы» считали своим по

праву происхождения. Один критик описал время смены девятнадцатого века двадцатым так: «По духу это был истинно английский колониальный период, в котором идея Общества – в английском смысле – не только принималась, но и всячески подчеркивалась. Всерьез говорили о том, что такое знать, кто был дворянином, а кто нет. Имели значение и происхождение, и образованность. Все английское принималось с восхищением… Но самое важное было то, что был высший класс и был низший класс, и каждый класс одевался, разговаривал и действовал согласно своей принадлежности».

Среди «старых американцев» наибольшим уважением пользовались имевшие унаследованное состояние. Хотя деньги всегда имели большое значение, унаследованные ценились больше заработанных. Это основывалось на том убеждении, что человек, взрослея уже с деньгами, не будет побираться ради них, но наверняка усвоит высший кодекс поведения, определяющий аристократию.

Под этим наивысшим классом располагались «старые американцы», которые сделали деньги, начиная с незначительной суммы или же с нуля, а также те, кто когда-то имел деньги, но лишился их. Предки Лавкрафта по материнской линии, семья Филлипсов, опустились на этот низший уровень высшего класса. Знакомые описывали их как «знать старой закваски, пользовавшуюся уважением среди старых аристократов восточного района Провиденса перед Первой мировой войной»[29].

Как и вся нация, Новая Англия подверглась смешивающим, уравнивающим и усредняющим веяниям двадцатого столетия. Поэтому прежнее социальное расслоение в основном изгладилось и исчезло. Но старые отношения все еще живучи. До сих пор в Новой Англии встречается молчаливая гордость за класс, касту и «староамериканских» предков. Встречается обычай искусно прятать состояние за видимостью поношенности, а также высокое почитание бережливости, воздержанности, усердия, расчетливости и честности.

Как и большинство представителей высшего класса Новой Англии, Филлипсы гордились своими предками. Лавкрафт, который иногда исследовал кладбища на западе Род-Айленда в поисках их могил, любил повторять, что семья его матери происходит из более именитых Филлипсов Род-Айленда и, следовательно, от титулованных британских предков. Генеалоги, однако, говорят, что это сомнительно. Вот основные, точно установленные сведения о предках Лавкрафта.

К западу от Провиденса местность переходит в группы низких округлых холмов. Девственный лес в этих местах был когда-то вырублен под фермерские угодья, но в нашем веке большинство ферм уже заброшены, и все снова густо поросло кустарником и деревьями.

В пятнадцати милях к западу от Провиденса, на границе с Коннектикутом, располагается городок (скорее, селение) Фостер. Здесь, в деревушке Мусап-Велли, жила семья фермеров Филлипсов, и здесь 22 ноября 1833 года родился Уиппл Ван Бурен Филлипс.

Когда Уипплу Филлипсу было четырнадцать, его отец, Джереми Филлипс, трагически погиб на мельнице – механизм затянул фалды его костюма. Юный Уиппл Филлипс держал лавку в Мусап-Велли, имел доход с изобретенной им машины для отделки бахромой. В 1855 году он и его младший брат Джеймс влюбились в двух местных девушек – Роби Алзад Плейс и ее кузину Джейн Плейс. И сказал Уиппл Джеймсу.

– Ты берешь Джейн и ферму, а я беру Роби и уезжаю за своим счастьем в Провиденс[30].

Уиппл Филлипс был энергичным, деятельным, предприимчивым и общительным человеком, его деловая карьера была долгой и переменчивой, но в целом удачной. Он управлял лесопилкой и занимался угольным бизнесом и недвижимостью в городке Грин, названном так в честь героя Войны за независимость. В 1874 году, продав свои предприятия, он обосновался в Провиденсе. Он служил в нескольких государственных конторах, вступил во все организации, какие только были, стал видным масоном.

Уиппл Филлипс был также и весьма культурным человеком. Он дважды посетил Италию и стал ценителем итальянского искусства. В последние годы своей жизни это был крупный крепкий мужчина с большими отвисшими седыми усами.

У Уиппла и Роби Филлипсов было пятеро детей, четыре девочки и мальчик. Одна девочка умерла еще в детстве, три остальные были Лилиан Долорес (1856–1932), Сара Сьюзен (ее называли просто Сюзи, 1857–1921) и Энни Эмелин (1866–1941). Лилиан, некрасивая женщина, чей короткий крючковатый нос и очки придавали ей сходство с совой, была тихой, робкой, застенчивой, спокойной и неунывающей. Сюзи, несмотря на выступающий нос и длинный подбородок, считалась красавицей семьи. У нее были некоторые артистические наклонности, но она была глуповата и непрактична. Энни, маленькая, действительно красивая женщина, обладала большей живостью и здравым смыслом, нежели любая из двух ее сестер.

Все три девушки получили хорошее образование в пансионе благородных девиц. Лилиан выказывала живой интерес к литературе и науке. Сюзи умела играть на пианино и петь, и обе были хорошими художницами.

Сын Уиппла Филлипса Эдвин Э. Филлипс (1864–1918) женился в 1894 году, однако детей у него не было. Он работал с отцом, но поссорился с ним незадолго до его смерти, из-за чего наследство, отошедшее ему по завещанию, было менее щедрым, нежели у сестер, с которыми он позже восстановил дружеские отношения.

Из трех сестер Филлипс первой вышла замуж средняя – привлекательная, но ветреная Сюзи. 12 июня 1889 года, в епископальной церкви Святого Павла в Бостоне, она сочеталась браком с Уинфилдом Скоттом Лавкрафтом, коммивояжером провиденсской «Горхэм Силвер Компани». Ей был тридцать один год, ему тридцать пять.

Этот Лавкрафт был красивым мужчиной, носившим пышные усы и любившим щегольски одеваться. Хотя он и родился в Рочестере, штат Нью-Йорк, но говорил с таким явственным британским акцентом, что знакомые вспоминали о нем как о «напыщенном англичанине»[31].

Дед Уинфилда Лавкрафта, Джозеф Лавкрафт, был уроженцем графства Девоншир, Англия, его отец лишился состояния. В 1827 году Джозеф Лавкрафт с женой и шестью детьми мигрировал в Соединенные Штаты и обосновался в Рочестере. Его сын Джордж Лавкрафт (1815–1895) женился на Хелен Олгуд, также британского происхождения, и вырастил двух дочерей и сына. Сын родился в 1853 году, и, как и множество мальчиков того времени, был назван в честь народного героя – в данном случае в честь генерала Уинфилда Скотта, героя американо-мексиканской войны. Когда Уинфилд Лавкрафт подрос, его родители, помня о своем британском происхождении, требовали, чтобы он разговаривал как англичанин.

Родители Уинфилда Скотта Лавкрафта переехали в Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк, и юный Уинфилд Лавкрафт пошел работать на Горхэма. Судя по всему, он был способным коммивояжером, но о нем мало что известно.

После свадьбы не такая уж и молодая чета сняла квартиру в Дорчестере, штат Массачусетс, к югу от Бостона, поскольку основная часть бизнеса Уинфилда Лавкрафта была тогда сосредоточена в Бостоне. Четырнадцатью месяцами позже, перед рождением их единственного ребенка, Сюзи Лавкрафт вернулась в свой отчий дом в Провиденсе. Там, 20 августа 1890 года, родился Говард Филлипс Лавкрафт – в его время единственный

известный американец, носивший имя Лавкрафт.

Глава вторая. Отклонившаяся ветвь

Путем пустынным и глухим,
Ордою демонов гоним
Там, где тьма на небосклоне,
Там, где Ночь на черном троне,
Я вернулся в край родной
Из Фуле темной и немой,
Лежащей в блеске гордого убранства
Вне времени и вне пространства[32].

Э. А. По «Страна сна»

Так как основные дела Уинфилда Лавкрафта велись в Бостоне, он занялся покупкой участка земли в этом районе и заключением контракта на строительство дома. Весной 1892 года, когда Говарду было полтора года, семья переехала. Их перемещения в течение последовавшего года точно не известны. Согласно Лавкрафту, семья временно снимала квартиру в Дорчестере и провела отпуск в Дадли, штат Массачусетс.

В июне и июле они также проживали около семи недель в доме Гуини в Оберндейле, штат Массачусетс, транспортном пригороде близ водохранилища Стоуни-Брук. Семья Гуини состояла из поэтессы Луизы Имоджен Гуини (1861–1920), ученой старой девы, начавшей отсчитывать четвертый десяток, и ее матери, вдовы генерала Гражданской войны ирландского происхождения. В 1892 году Гуини испытывали немалые финансовые затруднения. Луиза с трудом зарабатывала на жизнь сочинением стихов и статей для местных газет, корректурой и другой случайной редакторской работой.

Сорок лет спустя Лавкрафт упомянул, что его мать была подругой Луизы Гуини и что Лавкрафты пробыли у Гуини шесть месяцев, в течение зимы 1892–1893 годов. Однако письма Луизы Гуини за 1892 год демонстрируют, что память его подвела. Из них ясно, что Луиза отнюдь не была близкой подругой Сюзи и что она вообще невзлюбила Лавкрафтов и возмущалась их присутствием. Она писала: «Этим летом у нас будут ПРОЖИВАТЬ два

отъявленных язычника». «Их два с половиной. Как я и сказала, отвратительные филистимляне, которых я так ненавижу». «Наших чертовых жильцов, хвала Господу, в следующем месяце уже не будет». «Те, кого и упоминать нельзя, уехали, и мы снова сами себе хозяйки»[33].

О причинах неприязни Луизы к старшим Лавкрафтам догадаться несложно. Она всецело была интеллигенткой, хорошо знала европейскую литературу прошлых веков, владела французским и итальянским языками и была равнодушна к практической стороне жизни. Под «филистимлянами» она подразумевала скучных, обыкновенных, невежественных и думающих только о деньгах людей. Вполне возможно, что Лавкрафты были респектабельной буржуазной парой, но, будучи не особо интеллектуальными, они наверняка утомляли Луизу.

Впрочем, отношения Луизы и маленького Говарда Лавкрафта, кажется, были более дружелюбными. Она читала ему «Матушку-Гусыню» и поэму «Мод» Альфреда Теннисона. Она научила его на вопрос «Кого ты любишь?» отвечать «Луизу Имоджен Гуини!». Также она показала ему, как рифмовать слова. Поскольку у Луизы уже было издано несколько книг со стихотворениями и эссе, в ее дом наведывались именитые литераторы – Лавкрафту довелось сидеть на коленях доктора Оливера Уэнделла Холмса.

Свои самые ранние детские воспоминания Лавкрафт относит к отпуску в Дадли и проживанию в доме Гуини: «Я помню дом с его ужасным баком для воды на чердаке и своего коня-качалку перед лестницей. Также помню доски, положенные, чтобы в дождь не намочить ноги, – и еще лесистую лощину, и мальчика с маленькой винтовкой, который разрешил мне спустить курок, пока моя мать держала меня… Мои первые ясные и связные воспоминания сосредоточены в Оберндейле – тенистые улицы, мост через четыре колеи Бостонской железной дороги, за которым располагался деловой район, дом Гуини на Виста-авеню, огромные сенбернары поэтессы, вечер чтения стихов, на котором меня заставили стоять на столе и декламировать „Матушку-Гусыню“ и другую детскую классику…»

Лавкрафт был слишком мал (ему не было и двух лет), когда он познакомился с Луизой Гуини, и прожил у нее совсем немного, так что было бы опрометчиво доверять его позднему какому бы то ни было отношению к ней. И все же не может не произвести впечатление некоторое сходство между ними. Более того, Лавкрафт рано начал развиваться, и у него была поразительная память, сохранившая воспоминания о его втором году жизни.

Как и позже Лавкрафт, Луиза Гуини презирала дух наживы и мало заботилась о деньгах. Как и он, она была ярым англофилом.

Как и он, она чуждалась современного мира и жила прошлыми эпохами. Как и его, ее взгляд на жизнь был бесполым.

Хотя она и была способной писательницей, она предпочитала тратить время на научные монографии о забытых поэтах семнадцатого века, нежели пытаться заработать побольше. Она написала множество стихов. (С сожалением вынужден признать, что я нашел ее поэзию скучной и приторной, Лавкрафту же она казалась невнятной.)

В течение всего этого времени Уинфилд Лавкрафт представляется играющим роль нормального мужа и отца. Г. Ф. Лавкрафт вспоминал, что он частенько подходил к нему, когда тот сидел, само великолепие в черном пиджаке и жилете, полосатых брюках, стоячем воротнике и аскотском галстуке. Он хлопал Уинфилда по коленке и кричал: «Папа, ты выглядишь прямо как юноша!»[34]

Мне не известно, где Лавкрафты провели осень и зиму 1892–1893 годов, но в любом случае такая жизнь долго не продолжилась. В апреле 1893 года, когда Говарду Лавкрафту было два с половиной года, Уинфилд Лавкрафт отправился по делам в Чикаго. «Он был один в гостиничном номере, как вдруг стал кричать, что на него напала горничная и что его жену насилуют этажом выше»[35]. Его одели в смирительную рубашку и вернули назад на восток. С тех пор его галлюцинации становились все более частыми, он был объявлен невменяемым, отдан на попечительство адвоката Альберта А. Бейкера и помещен в психиатрическую больницу.

Такое положение дел сохранялось пять лет, пока 25 апреля 1898 года Уинфилд Лавкрафт не был помещен (возможно, снова) в состоянии прогрессирующего церебрального заболевания, или «общего паралича душевнобольного», в Больницу Батлера в Провиденсе. Девятнадцатого июля, в возрасте сорока четырех лет, он скончался. Причина смерти в его свидетельстве о смерти обозначена как «распространенный парез».

В наше время «парез» подразумевает расстройства, причиной которых является запущенный сифилис. Поэтому исследователи Г. Ф. Лавкрафта предполагают, что Уинфилд Лавкрафт умер от сифилиса, хотя в девяностых годах девятнадцатого века термин «парез» все еще использовался как общий синоним «паралича».

В 1948 году психиатр и бывший автор «Виэрд Тэйлз» доктор Дэвид Г. Келлер написал статью, в которой утверждал, что Уинфилд Лавкрафт не только умер от сифилиса, но и передал его своей жене, так что Г. Ф. Лавкрафт всю свою жизнь страдал от врожденного сифилиса.

Другой психиатр, Кеннет Стерлинг[36], лично знавший Лавкрафта, был с ним категорически не согласен. Он заявил, что представления Келлера устарели. Факт заболевания Уинфилдом Лавкрафтом сифилисом доказан не был, и его паралич мог быть вызван другими причинами, нежели сифилис. Но даже если Уинфилд Лавкрафт и был сифилитиком, то у Г. Ф. Лавкрафта был лишь ничтожный шанс получить болезнь.

Врачи сказали мне, что, судя по столь скудным данным, Уинфилд Лавкрафт, вероятно, но не безусловно, был болен сифилисом. Он умер еще до разработки реакции Вассермана в 1907 году. Хотя Уинфилд Лавкрафт, быть может, и не был распутником, как его иногда изображают, можно с уверенностью сказать, что для красивого, франтоватого коммивояжера, женившегося в тридцать пять лет, было бы довольно необычно не иметь половых связей до свадьбы. С другой стороны, ни у Сюзи, ни у ее сына при всех их странностях никогда не было замечено симптомов сифилиса.

Наилучший вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что, хотя Уинфилд Лавкрафт, возможно, и умер от сифилиса, вероятность поражения Говарда Филлипса Лавкрафта этой болезнью представляется крайне незначительной.

Неизвестно, был ли Г. Ф. Лавкрафт осведомлен о сомнительной причине недуга своего отца. Он никогда не говорил и не писал об этом, называя нервное расстройство «полным параличом, вызванным перенапряжением мозга учебой и бизнесом»[37].

О личных отношениях между Уинфилдом и Сюзи Лавкрафтами практически ничего неизвестно. Г. Ф. Лавкрафт как-то назвал свою мать «недотрогой». Он рассказывал, что после его раннего детства она практически не имела с ним физических контактов[38].

На таком шатком основании исследователи Лавкрафта воздвигли внушительное строение догадок. Сюзи, по их словам, наверняка была фригидной. (А почему бы ей и не быть таковой, если она выросла в эпоху, когда множество девушек узнавали о половой жизни лишь в первую брачную ночь, испытывая при этом страшное потрясение?) Поэтому Уинфилд Лавкрафт, нашедший в своей жене сексуальную партнершу, которая в лучшем случае лишь молчаливо уступала, искал развлечений на стороне и так подцепил сифилис.

Но это всего лишь догадки. Однако нездоровое отношение Лавкрафта к сексу должно откуда-то происходить, и его мать представляется здесь наиболее вероятным источником. Возможно, Сюзи, как и множество жен ее поколения, считала секс

животным и отвратительным занятием, которому женщины непостижимыми законами Бога были обречены покориться во имя благой цели рождения детей.

Такое видение секса не было удивительным для Новой Англии конца девятнадцатого века. Как объяснял Генри Адамс, «…всякий, кто воспитывался среди пуритан, знал, что секс есть грех… Американское искусство, как и американский язык и американское образование, были бесполыми, насколько только возможно. Общество считало победу над сексом своим величайшим триумфом…»[39].

Так что спроектированный дом Лавкрафтов так и не был построен. Вскоре после начала безумия Уинфилда Лавкрафта Сюзи с сыном вернулась в дом своего отца в Провиденсе.

И здесь Уиппл Филлипс затмил остальных членов семьи – жену, «невозмутимую и молчаливую леди старой школы»[40], старшую дочь Лилиан, эрудированную, но робкую и застенчивую, среднюю Сюзи, теперь погрузившуюся в скорбь, и младшую Энни, живую и социально активную. Филлипс наслаждался итальянскими картинами и мозаикой, которые приобрел во время путешествий по Европе. Он носил мозаичные запонки, на одной из которых был изображен Колизей, а на другой – Форум. Как правило, он был весел, за исключением случаев, когда его изнуряли частые головные боли. Его дочь Сюзи унаследовала его склонность к мигрени, от нее она передалась и внуку.

У Филлипса развился юношеский вкус к литературе ужасного и таинственного. Его любимцами были готические писатели конца восемнадцатого-начала девятнадцатого веков: Анна Радклифф, Мэтью Грегори Льюис и Чарльз Мэтьюрин. Видя, что внук выказывает сходные интересы, Уиппл Филлипс развлекал мальчика, выдумывая для него истории о привидениях и страшные сказки. Он рассказывал о «черных лесах, огромных пещерах, крылатых кошмарах… старых ведьмах с ужасными котлами и „низких завывающих стонах“»[41].

Чтобы излечить мальчика от боязни темноты, Филлипс провел его ночью по почти неосвещенному дому. Средство оказалось таким удачным, что всю последующую жизнь Лавкрафт предпочитал вставать и выходить из дому по ночам.

Уиппл Филлипс был одним из учредителей «Оуайхи Лэнд энд Иригейшн Компани», у которой были амбициозные планы по перекрытию плотиной реки Снейк в Айдахо, близ ее слияния с Бруно. Филлипс часто ездил в Айдахо, он писал своему внуку из города Маунтин-Хоум.

На Г. Ф. Лавкрафта оказали сильнейшее воздействие не

только его мать, но также и книги, которые он читал. На него, прирожденного книжного червя, больше влияло печатное слово, нежели его ровня. В сущности, лет до тридцати его представления о мире были в основном сформированы книгами.

Пока Лавкрафт был совсем малышом, Сюзи читала ему обычные волшебные сказки. Вскоре он уже жадно читал сам. Одной из его первых книг была «Сказки» братьев Гримм.

В пять Говард прочел детское издание «Тысячи и одной ночи». Он сразу же влюбился в великолепие средневекового исламского мира и часами играл в арабов. Он «заставил мать устроить в моей комнате восточный уголок из портьер и ладанных курильниц»[42], собирал восточную керамику и объявил себя мусульманином.

Кто-то из родственников в шутку предложил, чтобы он назвался псевдоарабским именем Абдул Аль-Хазред. Он так и поступил и, более того, позже использовал его в своих произведениях. Вероятно, имя Аль-Хазред произошло от Хазард, фамилии старой семьи с Род-Айленда, связанной с Филлипсами.

Результатом увлечения нехристианскими традициями стало скептическое отношение Лавкрафта к вере своих отцов. Еще до того, как ему исполнилось пять лет, маленький Лавкрафт заявил, что он больше не верит в Санта-Клауса. Дальнейшие размышления привели его к выводу, что доводы в пользу существования Бога имеют те же слабые места, что и доводы в пользу существования Санта-Клауса.

В пять лет Лавкрафта зачислили в детский класс воскресной школы почтенного Первого баптистского молитвенного дома на Колледж-Хилл. Результаты были отнюдь не те, что ожидали взрослые. Когда детям рассказывали о христианских мучениках, отданных на съедение львам, Лавкрафт к ужасу всего класса радостно взял сторону львов. Он писал: «Нелепость мифов, в которые меня, призывали поверить, и мрачная унылость всей веры в сравнении с восточным великолепием магометанства определенно сделали меня скептиком и послужили причиной того, что я стал задавать такие опасные вопросы, что мне позволили прекратить посещения. Ни один ответ по-матерински добросердечной наставницы на все те сомнения, которые я честно и доходчиво выражал, не показался мне убедительным, и я быстро стал меченой „особой“ из-за своего дотошного иконоборчества»[43].

Снова оказавшись дома среди любимых книг, юный язычник, уже шести лет, погрузился в античную мифологию: «Всегда жадный до легенд, я случайно наткнулся на „Книгу чудес“ и „Тэнглвудские сказки“ Готорна и пришел в восторг от греческих

мифов, даже в онемеченной форме. Затем мое внимание привлекла маленькая книжечка из личной библиотеки моей старшей тети – история об Одиссее, изданная в „Получасовых сериях Гарпера“. Она держала меня в напряжении с первой же главы, и к тому времени, когда я дочитал до конца, я уже навеки был греко-римлянином. Мое арабское имя и все остальное тотчас исчезли, ибо волшебство шелков и красок потускнело перед чудесами храмовых рощ, лугов, в сумерки наполнявшихся фавнами, и манящего голубого Средиземного моря, которое загадочно несло свои волны от Эллады до удивительных и незабываемых земель, где жили лотофаги и лестригоны, где Эол владел ветрами, а Цирцея обращала в свиней, и где на пастбищах острова Тринакрия бродили быки лучезарного Гелиоса. Как можно скорее я раздобыл иллюстрированное издание „Эпохи мифов“ Буллфинча и целиком отдался чтению текста, чарующе сохранившего истинный дух эллинизма, и созерцанию рисунков, великолепных композиций и полутонов традиционных античных статуй и изображений античных предметов. Скоро я был уже неплохо знаком с основными греческими мифами и стал постоянным посетителем музеев классического искусства Провиденса и Бостона. Я начал коллекционировать маленькие гипсовые слепки греческих шедевров и выучил греческий алфавит и основы латыни. Я взял псевдоним „Луций Валерий Мессала“ – латинский, а не греческий, поскольку Рим пленил меня совершенно. Мой дед много повидал, путешествуя по Италии, и доставлял мне огромное наслаждение своими долгими рассказами о ее красотах и памятниках древнего величия. Я рассказываю так подробно об этой эстетической наклонности только для того, чтобы подвести к ее философскому результату – моей последней вспышке религиозного верования. В возрасте примерно семи или восьми лет я был истинным язычником, столь опьяненным красотой Греции, что приобрел почти искреннюю веру в старых богов и природных духов. Я в буквальном смысле воздвиг алтари Пану, Аполлону и Афине и высматривал дриад и сатиров в сумеречных лесах и полях. Раз я твердо поверил, что узрел неких лесных созданий, танцевавших под осенним дубом, – что-то вроде „религиозного опыта“, в некотором смысле такого же истинного, что и субъективный экстаз христианина. Если христианин скажет мне, что ему довелось почувствовать реальность своего Иисуса или Иеговы, я могу ответить, что видел Пана на копытах и сестер гесперийской Фаэтусы»[44].

Какое-то время юный Лавкрафт воображал, что у него вытягиваются уши, а изо лба растут рога. Он огорчился, что его ступни не превратились в копыта, как он того хотел. Когда он

впервые прочитал о Риме, его охватило чувство личного родства, и когда бы он ни думал о древнем мире, он всегда представлял себя римлянином.

В немецком языке есть слово «Wundersucht»[45] для такого мистического чувства реальности магического и сверхъестественного, которое часто возникает в детстве под действием образов и звуков. Полагаю, что в юности это чувство испытывают многие. И я думаю, что у большинства оно истощается и умирает под гнетом быта.

Некоторые, однако, сохраняют его или, по крайней мере, память о нем. Некоторые пытаются обрести его вновь, обращаясь к мистицизму и оккультизму. Некоторые становятся писателями. Валлийский фантаст Артур Мейчен (1863–1947), который сделал и то, и другое, объяснял: «Затем это стало моим приемом: сочинять рассказ, который воссоздавал бы те неуловимые ощущения чуда, благоговения и тайны, что я сам получал от видов земли моих детства и юности…»[46]

Взрослеющий человек проходит через стадии, когда он готов проникнуться определенными идеями, если они весьма распространены как раз в его время. Он может, так сказать, захлопнуться на них, словно побеспокоенный моллюск, и примкнуть к ним с твердостью воли, превышающей их достоинства. Все мы знаем такие внезапные обращения, скажем, в христианство или в марксизм, но этот феномен может принять и множество других форм.

Так было и с Лавкрафтом. Его скептическое отношение к сверхъестественному – его «нон-теизм» – и любовь к античному миру не были единственными постоянными страстями, сформировавшимися в детстве. Другой была англофилия – страсть ко всему английскому. В Войне за независимость он взял сторону тори, или лоялистов: «…Какая-то внутренняя сила враз принудила меня петь „Боже, храни Короля“ и взять противоположную сторону всему тому, что я читал в проамериканских детских книжках о Войне за независимость. Мои тетушки помнят, что уже в трехлетнем возрасте я хотел красную униформу британского офицера и маршировал вокруг дома в неописуемом „мундире“ ярко-малинового цвета, части ставшего мне маленьким костюма, и в живописном подобии килта, в моем воображении представлявшего двенадцатый Королевский шотландский полк. Правь, Британия! И я не могу сказать, что в моих чувствах произошли какие-то значительные изменения… Все мои глубокие душевные привязанности относятся к нации и империи, а не к американской ветви – и,

пожалуй, эта приверженность Старой Англии еще и усилится, поскольку Америка все более и более механизируется, стандартизируется и вульгаризируется, все более и более удаляясь от изначального англосаксонского направления, которое я представляю»[47].

Англофилия Лавкрафта сохранялась на протяжении всей его жизни, отсюда и его выходка в Лексингтоне. Он мог бы, по его словам, потребовать британского гражданства, основываясь на происхождении своего деда по отцовской линии.

Во время Первой мировой, или «кайзеровской» войны Лавкрафт всем сердцем ненавидел президента Вильсона – за то, что Соединенные Штаты не вступили немедленно в войну на стороне Британии и на протяжении двух с половиной лет сохраняли нейтралитет. Лавкрафт неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты (или, по крайней мере, Новая Англия) должны вновь присоединиться к Британской империи. Когда другие пели «Америку», он пел «Боже, храни Короля», когда они пели «Звездное знамя», он пел английскую застольную песню восемнадцатого века «Анакреону на небесах», мелодию которой позаимствовал Фрэнсис Скотт Ки[48].

С этими убеждениями была связана и одержимость Британской империей, каковой она была не во времена Лавкрафта, а в восемнадцатом веке: «Дома все главные книжные шкафы в библиотеке, кабинетах, столовой и других комнатах были заполнены обычным викторианским хламом, большинство же старых книг в потемневших кожаных переплетах… были изгнаны на третий этаж, на стеллажи в чулане без окон. И что же я делал? Что же, скажите на милость, как не ходил со свечами и керосиновой лампой в этот загадочный и темный, как ночь, надземный склеп – покидая солнечные комнаты девятнадцатого века внизу и прокладывая через десятилетия путь в конец семнадцатого, восемнадцатый и начало девятнадцатого посредством бесчисленных рассыпающихся, с длинными f[49], томов всех размеров и типов – „Спектатора“, „Татлера“, „Гвардиана“, „Айдлера“, „Рамблера“, Драйдена, Попа, Томсона, Юнга, Тикелла, Гесиода в издании Кука, Овидия от „Вариэс Хэндс“, Горация и Федра в издании Фрэнсиса, и так далее, и так далее, и так далее… золотые сокровища, и слава богу, я до сих обладаю ими – это главные экземпляры моей скромной коллекции».

Еще маленьким ребенком Лавкрафт демонстрировал не по годам развитую способность запоминать стихотворения, а в шесть и сам начал сочинять рифмованные стишки. Но они, признался он позже, были столь плохи, что даже он понял их недостатки и

взялся за самосовершенствование. Правила стихосложения он почерпнул в «Читателе» Абнера Алдена за 1797 год, который его прадед использовал как учебник, а он нашел на чердаке в 1897–м. Лавкрафт «…вбил себе в голову детский каприз полностью перенестись в прошлое, поэтому начал выбирать только такие книги, которые были совсем старыми – с длинной f… и датировать все свои произведения двумястами годами раньше – 1697–й вместо 1897–го и так далее… Прежде чем я понял это, восемнадцатый век завладел мною даже больше, чем героем „Беркли-Сквер“[50], поэтому я часами пропадал на чердаке, углубившись в изгнанные из библиотеки внизу книги с длинными s, и неосознанно усваивая стиль Попа и доктора Джонсона как естественный способ выражения»[51].

Лавкрафту претила непристойность Филдинга; хотя он и знал о подобной стороне жизни восемнадцатого столетия, он сокрушался о ней и, насколько мог, игнорировал ее. С другой стороны, он принимал рационализм того времени, который укреплял его в атеистическом материализме.

Такой побег в прошлое отнюдь не уникален. Луиза Гуини и Артур Мейчен идеализировали семнадцатое и предшествующие столетия. Генри Адаме считал себя «рожденным ребенком восемнадцатого века». Однако мало кто, не будучи пациентом психиатрической больницы, довел этот фарс до конца с неумолимостью Лавкрафта. Потакая своей позе восемнадцатого столетия, он употреблял архаичное произношение, вроде «те» для «ту» («мой») и «sarvent» для «servant» («слуга»). Он пытался очистить свою речь от слов и выражений, вошедших в обиход после обретения американскими колониями независимости. В результате он мог сказать: «Думаю, что я, вероятно, единственный из ныне живущих, для кого старинный язык восемнадцатого столетия является действительно родным для прозы и поэзии… естественно принятой нормой и основным языком реальности, к которой я инстинктивно возвращаюсь вопреки всем объективно усвоенным уловкам… Я действительно чувствовал бы себя более уютно в мундире с серебряными пуговицами, бархатных коротких штанах в обтяжку, треуголке, башмаках с пряжками, парике „рамийи“, шейном платке „штенкерк“[52] и во всем остальном, что входит в это одеяние, от шпаги до табакерки, нежели в простом современном наряде, который лишь здравый смысл заставляет меня носить в эту прозаическую эпоху. У меня всегда было подсознательное чувство, что все после восемнадцатого века нереально или иллюзорно – вроде абсурдного кошмара или карикатуры. Люди кажутся мне какими-то ироничными тенями или призраками –

словно если бы я мог заставить их (вместе со всеми их современными домами, изобретениями и видами) раствориться в тонком эфире, просто ущипнув себя, чтобы проснуться, и прикрикнув на них: „Какого черта, вы даже еще не родились и не родитесь еще целых полтора века! Боже, храни Короля, его колонию Род-Айленд и плантации Провиденса!“»

Англия восемнадцатого века и Римская республика оставались любимыми историческими периодами Лавкрафта всю его жизнь. Хотя он и восторгался готической архитектурой, средневековье его «раздражало». По его словам, он любил барокко, потому что это был последний домашинный период – последняя эпоха перед промышленной революцией, – и поэтому, согласно его образу мышления, самый по-настоящему «цивилизованный» из всех.

Одержимый барокко, Лавкрафт начал вымучивать из себя псевдогеоргианские двустишия, подражая Аддисону, Драйдену, Попу и их коллегам. В одиннадцать он переплел рукописную книгу своих сочинений под ученым названием «Poemata Minora» и посвятил ее «Богам, Героям и Идеалам Древних». Одна поэма, «Ода Селене, или Диане», начиналась так:

> Диана, внемли моему прошенью.
> Туда неси, мое где счастье есть —
> Наперекор волн времени теченью,
> Покой души в былом дай мне обресть[53].

Хотя данная строфа, несомненно, и отражает мировоззрение Лавкрафта, потеря большинства этих поэм на складе годами позже не представляется невыносимой трагедией.

Когда его старшая тетя вышла замуж за Франклина Чейза Кларка, у него появился товарищ, увлекающийся подобной поэзией. Доктор Кларк был эрудированным врачом, переводившим – для собственного удовольствия – стихотворения Гомера, Вергилия, Лукреция и Стация. Он поддерживал и наставлял пробы пера юного Лавкрафта в георгианской прозе и поэзии.

Однако языческие боги Лавкрафта еще не закончили одаривать его причудами. Филлипсы были трезвенниками. Лавкрафт говорил: «Что до моей семьи, в ней вино было под запретом целых три поколения. Лишь около четверти консервативных домов этого района как-то употребляли его».

В январе 1896 года бабушка Лавкрафта, эта «невозмутимая и молчаливая леди» Роби Плейс Филлипс, умерла. Поскольку в то

время к трауру относились со всей серьезностью, женщины Филлипсов надели черные платья, которые «внушили мне [Лавкрафту] такой ужас и отвращение, что я, только лишь для облегчения, тайком прикалывал кусочки ярких тканей или бумаги к их подолам. Им приходилось тщательно осматривать себя перед принятием посетителей или выходом!»[54]

В последовавший период уныния пятилетний Лавкрафт сумел завладеть книгой «Свет и тень» Джона Б. Гофа, активиста движения за трезвый образ жизни. Книга изобиловала откровенными максимами вроде: «Не существует торговли более вредоносной для общества, более опасной для людей и более ожесточающей для дельца, нежели торговля хмельными напитками. …Не будь напасти пьянства, число преступников было бы таким маленьким, что по меньшей мере две трети тюрем для осужденных преступников оказались бы пустыми…» Пиво «питает плотскую и животную натуру. Более всех других напитков оно ответственно за предумышленные и не спровоцированные преступления».

Гоф также стоял за строгое соблюдение воскресенья и осуждал ведение фотоальбомов. Его трезвеннические призывы нашли готового приверженца в лице юного Лавкрафта, ставшего страстным пожизненным сторонником сухого закона. Он похвалялся, что никогда не пробовал спиртных напитков, и через тридцать лет после своего обращения Гофом убеждал своих друзей по переписке, что «существование хмельных напитков, безусловно, почти неослабевающее зло с точки зрения правильно и изысканно развитой цивилизации, ибо я не вижу, что они что-либо дают, кроме как огрубляют, превращают в животное и унижают». Он также сказал: «У меня вызывает тошноту даже вонь находящихся на расстоянии любых алкогольных напитков»[55]. Но, поскольку он присутствовал – и без видимых негативных последствий для своего здоровья – на многих званных вечерах, где подавались спиртные напитки, это заявление, вероятно, было лишь защитной тирадой, нежели фактом.

Глава третья. Ночные мверзи

Они из склепа, может, вылезают —
Ночами вижу тварей я с рогами,
Худых, крылатых, черных и с хвостами,
Шипы на коих злобу источают.
Ордой с холодным ветром налетают,
И, больно щекоча меня когтями,
Уносят в бездну с мрачными мирами,
Глубины шахты страха что скрывают[56].

Г. Ф. Лавкрафт «Ночные мверзи»

Понимая, что Говард до некоторой степени странный ребенок, Сюзи Лавкрафт сократила траур. Мрачный наряд явно нервировал мальчика.

Юный Лавкрафт мало общался с соседскими детьми, хотя некоторые из них позже вспоминали, как он прятался в кустах и выпрыгивал из них, чтобы напугать их. Он не любил игры: они казались ему такими бессмысленными. «Среди моих немногих товарищей по играм я был весьма непопулярен, поскольку требовал разыгрывать исторические события или же играть по строгому сценарию… Я знал, что дети не любили меня, и я не любил их… Их возня и крики озадачивали меня. Я ненавидел играть и танцевать просто так – в своем отдыхе я всегда жаждал сюжета».

Когда ему было семь, мать попыталась отдать его в танцевальный класс. Он уперся и, уже имея поверхностные знания в латыни, процитировал в оригинале Цицерона: «Nemo fere saltat sobrius, nisi forte insanit!» («Почти никто не танцует трезвым, если только он не безумен»)[57]. Сюзи пришлось отказаться от своей идеи.

Однажды соседка, миссис Уинслоу Чёрч, с тревогой заметила,

что на близлежащем поле горит большой участок.

Она вышла и обнаружила, что траву поджег Лавкрафт. Выбраненный за то, что создавал угрозу для чужой собственности, он ответил: «Я не поджигал так много. Я хотел, чтобы горело фут на фут». Так намечалась его взрослая страсть к точности.

Иногда из Фостера привозили троюродную сестру Лавкрафта Этель Филлипс, двумя годами старше его, чтобы она составила ему хоть какую-то компанию. Она нашла, что он был не прочь поиграть, пускай и нерешительно, однако был удивительно неумелым. В имении были качели, но Лавкрафт даже не знал, как на них качаться, пока она не показала ему[58].

В течение этих дошкольных лет Лавкрафт вытаскивал свою мать на множество длительных прогулок. Хотя ходьба была самым близким к хоть какому-то спорту, которым он когда-либо занимался, он испытывал нормальное мальчишеское увлечение железными дорогами и играл во дворе в поезд из тележек, тачек и ящиков.

Дома на столе он строил макеты деревень с домиками из дерева или картона, деревьями и оградами. Общественные здания большего размера он воздвигал из кубиков, и эти городки населялись игрушечными солдатиками. Он разыгрывал их полную историю, включая развитие и упадок или уничтожение.

Он часто пробовал с помощью исторических карт воспроизвести историю реального места – эпохи Древнего Рима, барокко или современной. Спустя неделю или около того модель обычно надоедала ему, и он заменял ее другой. Иногда он строил игрушечную железную дорогу, для которой снисходительные взрослые снабжали его массой составов, путей и различных принадлежностей.

В пять или шесть лет он написал один из своих первых рассказов, «Маленькая стеклянная бутылка». Этот ребяческий пустячок, объемом менее двухсот слов, начинается так: «„Спустить паруса! Что-то плывет с подветренной стороны“, – сказавший эти слова был низким мужчиной коренастого телосложения, его имя было Уильям Джонс. Он был капитаном небольшого ката…»[59] Плавающий предмет оказывается бутылкой, содержащей записку, которая гласит: «Я Джон Джонс пишу это письмо мое судно стремительно тонет с сокровищами на борту я там где на вложенной карте стоит».

Капитан и его команда направляются к указанному на карте месту к востоку от Австралии. Ныряльщик достает еще одну бутылку, на этот раз железную. В ней другая записка: «Дорогой Искатель, извините за грубую шутку, которую я сыграл с вами, но

она послужила вам уроком…» Капитан Джонс – понятное дело, раздосадованный – восклицает: «Башку бы ему снес!»

Отнюдь не произведение искусства, рассказ демонстрирует одним лишь своим существованием, что юный автор уже принялся за изучение ремесла рассказчика. Другой ранней попыткой был рассказ – не сохранившийся – «Благородный соглядатай», о «мальчике, подслушавшем в пещере ужасное тайное совещание подземных существ»[60].

Пускай Лавкрафт и был странным ребенком, его мать выказывала признаки, что становится даже страннее его. В сущности, она ясно показала, что своими причудами Лавкрафт обязан главным образом ей. Она пришла к мысли, что при всей своей одаренности ее мальчик ужасен. Она даже говорила соседям, что он «был таким омерзительным, что ото всех прятался и не любил гулять по улицам, где люди таращились на него… потому что он не выносил, когда люди смотрели на его ужасное лицо»[61].

В действительности же юный Лавкрафт выглядел совершенно нормально. Когда он возмужал, торчащий нос и длинный подбородок его матери проявились в нем в гораздо большей степени. Несмотря на вытянутое лицо, в своей худобе он был довольно привлекателен.

Ребенок, однако, знал, что думает о нем мать, и это, несомненно, сказалось на укоренении его ночного образа жизни, а также способствовало развитию робости и стеснительности перед женщинами. Еще до того, как Соня стала его невестой, он спросил ее: «Как женщинам может нравиться такое лицо, как у меня?»

Много позже он писал: «Никто из моих предков не выглядел так отвратительно, как я… Лицом я просто пародия или карикатура на своих мать и дядю».

Согласно Лавкрафту, в детстве он страдал от хореи (пляски святого Витта), проявлявшейся в неконтролируемых лицевых тиках и гримасах. Как это обычно и происходит с малой хореей, нервное расстройство со временем прошло, но, возможно, оно и вызвало навязчивую идею Сюзи[62]. К тому же сейчас малая хорея считается проявлением ревматизма, зачастую носящего периодический характер. Следовательно, весьма вероятно, что у Лавкрафта было одно или более обострений ревматизма.

Сьюзен не пренебрегала культурным развитием своего сына. В первый раз она сводила его на спектакль в шесть лет. Ему купили игрушечный театр, для которого он сам сделал картонные декорации и персонажей и писал карандашом программки вроде

этой, начинающейся:

ТЕАТР «ДРУРИ-ЛЕЙН»
Ноябрь 1779
Труппа представляет Комедию мистера Шеридана
под названием
КРИТИК,
или РЕПЕТИЦИЯ ОДНОЙ ТРАГЕДИИ.

В рождественские каникулы 1897 года, когда Лавкрафту было всего семь, он побывал на субботнем дневном представлении – «Цимбелин» Шекспира в постановке Провиденсского оперного театра. Придя в восторг, он тут же добавил в свой репертуар шекспировские пьесы. Он читал стихи и передвигал игрушечные фигурки по миниатюрной сцене.

Сюзи водила своего сына и на концерты симфонической музыки. Когда оказалось, что он проявляет интерес к музыке, она наняла учителя скрипки, миссис Уилхейм Нок. Поначалу результаты были многообещающими: ученик обладал превосходными чувством такта и слухом. В течение двух лет, с 1897–го по 1899–й, он послушно пиликал на детской скрипке и преуспел в этом вполне достаточно, чтобы сыграть сольную партию Моцарта перед аудиторией друзей и соседей.

Никогда с легкостью не подчинявшийся утомительным дисциплинам, Лавкрафт все больше и больше ненавидел нудное обучение игре на скрипке. Несмотря на увлечение классицизмом, он оставался равнодушным к Баху, Бетховену и Брамсу. Единственной музыкой, которую он действительно любил, были тогдашние популярные мелодии, такие как «В тени старой яблони», «Милая Аделина» и «Беделия», или музыка из оперетт, например, Гилберта и Салливана.

Когда в возрасте девяти лет у Лавкрафта проявилось нервное расстройство, из-за чего его пришлось забрать из школы, домашний врач порекомендовал приостановить уроки музыки. Лавкрафт никогда больше не играл на скрипке. Классическая музыка, за малым исключением вроде «Полета валькирий» Вагнера и «Пляски смерти» Сен-Санса, которые нравились ему за вызываемые ими ассоциации, так и осталась для него «белым пятном». Иногда он жалел, что не может ценить подобную музыку. Его безразличие к ней тем удивительней, что он был одержим восемнадцатым столетием, в котором из всех видов искусства именно в музыке были совершены самые выдающиеся достижения.

Мальчика также водили на пьесы Уайльда и Пинеро.

Лавкрафт не бывал в цирке, потому как семья считала, что его нервы не выдержат толпы, вони и громкого шума[63]. Через несколько лет заболевание носовых пазух притупило его повышенную чувствительность к запахам, и он понемногу преодолел свой страх перед громкими звуками. Но он никогда не избавился от боязни толпы.

В 1897 году тетя Лавкрафта Энни вышла замуж за Эдварда Фрэнсиса Гэмвелла (1869–1936), некогда преподававшего английский язык в Университете Брауна, а затем занявшего должность ведущего редактора провиденсского «Атлантик Медикал Уикли». На момент женитьбы Гэмвелл был редактором отдела местных новостей «Кроникл» Кембриджа, штат Массачусетс. Оставшуюся жизнь он провел в Кембридже и Бостоне, где работал редактором, рекламным агентом и внештатным автором.

В 1898 году Энни родила сына, Филлипса Гэмвелла, а в 1900–м дочь, которая прожила всего лишь несколько дней. В 1916 году ее сын, привлекательный и многообещающий юноша, умер от туберкулеза. Тем временем Эдвард Гэмвелл превратился в горького пьяницу. Энни бросила его и вернулась в Провиденс, где работала в нескольких местах, в том числе и библиотекарем.

Где-то в 90–х годах тетя Лилиан (какое-то время она преподавала в школе) обручилась с доктором Франклином Чейзом Кларком (1847–1915), бывшим учеником Оливера Уэнделла Холмса. Кларк, однако, не мог жениться, поскольку ему приходилось содержать престарелых родителей. Он и Лилиан Филлипс сочетались браком лишь в 1902 году, когда ей было сорок пять, а ему пятьдесят четыре. Неудивительно, что у них не было детей.

19 июля 1898 года, в возрасте сорока четырех лет, Уинфилд Скотт Лавкрафт умер в Больнице Батлера. После закрытой заупокойной службы он был погребен на кладбище Свон-Пойнт, располагающемся рядом с больницей. Его смерть почти никак не подействовала на Говарда Лавкрафта, для которого отец оставался лишь призрачной фигурой.

Уинфилд Лавкрафт оставил состояние в десять тысяч долларов – приличное наследство по тем временам. Он также оставил сыну свое изящное одеяние: черные пиджаки и жилеты, полосатые брюки, аскотские галстуки и трость с серебряным набалдашником. Г. Ф. Лавкрафт не только сохранил эту одежду, но даже носил ее, когда дорос до нее, хотя к тому времени она уже давно вышла из моды.

В конце лета 1898 года Лавкрафт, которому скоро должно

было исполниться восемь лет, поступил в начальную школу на Слейтер-авеню, к северу от Энджелл-стрит[64]. Будучи немного близоруким, он начал носить очки и пользовался ими время от времени на протяжении всей своей жизни. В 1925–м, обнаружив, что они вызывают раздражение носа и ушей, он стал обходиться без них и надевал лишь тогда, когда хотел четко разглядеть что-то отдаленное, например, на спектакле или лекции.

Во время 1899/1900 учебного года Сюзи Лавкрафт забрала сына из школы на Слейтер-авеню, предположительно из-за болезни. Говоря об этом событии, друг Лавкрафта Кук заметил: «Я всегда буду считать, что это его мать, а не он, была больной – больной страхом потерять свою единственную оставшуюся связь с жизнью и счастьем».

По-видимому, причиной этого должно было быть нечто большее, нежели один невротичный страх Сюзи, что ее одаренный сын слишком чувствителен и слаб нервами для строгостей публичной школы. Возможно, это был как раз период его ревматизма. Четверть века спустя Лавкрафт писал: «…Мои сверхчувствительные нервы влияли на деятельность моего организма до такой степени, что вызывали множество различных заболеваний. Так, у меня была сильная аритмия, еще более ухудшавшаяся от физического напряжения, и такая острая болезнь почек, что местный врач хотел было даже сделать операцию по удалению камня из мочевого пузыря, не поставь бостонский специалист более точный диагноз, возведя причину заболевания к нервной системе… Затем, у меня была жуткая болезнь пищеварительной системы – тоже, вероятно, вызванная нарушением деятельности нервов – и, сверх того, страшные головные боли, из-за которых я три-четыре дня в неделю не вставал с постели. Они до сих пор время от времени бывают у меня – необъяснимого рода, известные как мигрень, – хотя их и не сравнить с теми, что были раньше».

Он также был подвержен ночным кошмарам, которые описывал так (заключенное в скобки принадлежит Лавкрафту): «Когда мне было шесть или семь лет, меня постоянно мучили странные и периодически повторяющиеся кошмары, в которых существа чудовищной расы (названные мною „ночными мверзями“[65] – не знаю, откуда я взял это имя) хватали меня за живот [плохое пищеварение?] и уносили через бесконечную даль черного неба над башнями мертвых и ужасных городов. Наконец они приносили меня в серую пустоту, откуда я видел игольчатые пики гигантских гор милями ниже. А затем они бросали меня – и когда я, словно Икар, начинал падать, то просыпался в таком ужасе, что мне была страшна сама мысль о том, чтобы заснуть

снова. „Ночные мверзи“ были черными, худыми и словно резиновыми тварями с рогами, хвостами в шипах, крыльями, как у летучих мышей, и совсем без лиц. Несомненно, я извлек этот образ из спутанных воспоминаний о рисунках Доре (в основном иллюстраций к „Потерянному раю“), которыми наяву восхищался. Они были безголосыми, и их единственной настоящей пыткой было обыкновение щекотать мне живот [снова пищеварение], перед тем как схватить меня и унестись прочь. Откуда-то я смутно знал, что они живут в черных норах, испещряющих пик некой невероятно высокой горы. Они являлись стаями примерно из двадцати пяти или пятидесяти тварей и иногда перебрасывались мною меж собой. Из ночи в ночь мне снился один и тот же кошмар лишь с незначительными отличиями – но перед пробуждением я никогда не успевал долететь до тех ужасных горных пиков»[66].

В основном юный Лавкрафт казался физически нормальным, но он явно страдал тем, что сегодня мы называем психосоматическими заболеваниями[67], усугубленными нервозными страхами и подозрениями его матери. Он немного пролил свет на условия своего детства в написанном позже рассказе, в котором повествуется о вымышленном персонаже, во многом схожем с ним самим: «Он был самым необыкновенным ребенком-ученым, которого я когда-либо знал, и в семь лет он писал стихотворения мрачного, фантастического, почти ненормального характера, поражавшие окружавших его учителей. Возможно, домашнее образование и изоляция, в которой его всячески баловали, как-то сказались на его раннем расцвете. Единственный ребенок, он страдал органическими заболеваниями, которые держали в страхе любивших его до безумия родителей, из-за чего они ни на шаг не отпускали его от себя. На улицу он выходил только в сопровождении няни, и ему редко выдавалась возможность свободно поиграть с другими детьми. Все это, несомненно, питало странную скрытую духовную жизнь, в которой воображение было единственным способом выражения свободы»[68].

Каковой бы ни была причина – нервное заболевание, придирки одноклассников, безумная опека его матери или какое-то их сочетание, – из школы его забрали. Поначалу дома его обучали мать, дедушка и тетя Лилиан. Затем наняли учителей, в том числе и некоего А. П. Мэя.

Лавкрафт обучался вне школы более двух лет. В течение этого времени, помимо уроков, он жадно читал. Он прочел приключенческие романы для мальчиков таких авторов, как Джордж А. Хенти, Эдвард С. Эллис и Кирк Манро. Он поглотил

приключения пары вымышленных сыщиков, Олд-Кинга Брэди и Янг-Кинга Брэди, из «Секретной службы» и других бульварных изданий.

«Затем, – вспоминает Лавкрафт, – я был сражен ЭДГАРОМ АЛЛАНОМ ПО! Это была моя гибель, ибо в возрасте восьми лет голубой небосвод аргонавтов и Сицилии для меня затмился миазматическими испарениями могил!» По так и остался его увлечением на всю жизнь, неизменно оказывая на него сильнейшее влияние. Он также узнал о сексе: «Что касается столь прославленной „правды жизни“[69], я не дожидался рассказа от кого-либо, а досконально изучил весь предмет в медицинском разделе семейной библиотеки… когда мне было восемь лет, – в „Анатомии“ Квэйна (со множеством иллюстраций и схем), „Физиологии“ Данглинсона и т. д. и т. п. Это было вызвано любопытством и недоумением над странной сдержанностью и смущением в разговорах взрослых, непонятными намеками и эпизодами в обычной литературе. Результат был совершенно противоположен тому, чего обычно опасаются родители – ибо вместо того, чтобы вызвать во мне повышенный и преждевременный интерес к сексу (как это было бы из-за неудовлетворенного любопытства), эта тема практически перестала меня интересовать. Дело было низведено до прозаичного механического процесса – процесса, к которому я относился скорее с презрением или, по меньшей мере, считал отталкивающим из-за его чисто животной природы и чуждости таким вещам, как интеллект и красота, – и лишено всякой драмы»[70].

Он продолжал читать писателей семнадцатого и восемнадцатого веков, а также их переводы греко-римской классики. Они вдохновили его на попытку создания эпической поэмы в подобном стиле. Озаглавленная «Поэма об Улиссе, или Новая Одиссея», она начиналась так:

> Ночная тьма! О чтец, внимай, узри Улисса флот!
> Уж скоро дом, с побед венком с женой он встречи ждет.
> Он воевал и Трою взял, всю до стены разбив.
> Но моря бог ему шлет рок, в ловушку заманив…[71]

Лавкрафт также возобновил свои эксперименты в прозе. Один из рассказов, «Тайная пещера, или Приключение Джона Ли» (1898), завязывается следующим образом: «„А теперь будьте хорошими детьми, – сказала миссис Ли, – пока меня не будет, и не проказничайте“. Мистер и миссис Ли уезжали на весь день, оставляя двух детей, Джона десяти лет и двухлетнюю Элис.

„Хорошо“, – ответил Джон…»

Сокращая и без того короткий рассказ, Джон и Элис исследуют подвал. Стена падает, и за ней открывается тоннель. Они заходят в него и находят маленький сундучок. Затем они пытаются раскопать конец тоннеля, откуда вырывается поток воды, и сестра тонет. Джону удается спастись с ее трупом и сундучком, открыв который, «…они выяснили, что это цельный слиток золота стоимостью примерно десять тысяч долларов – достаточно, чтобы заплатить за все, кроме смерти его сестры. Конец»[72].

В 1898 или 1899 году появился рассказ «Тайна кладбища, или Месть мертвеца». Техника повествования Лавкрафта развилась до разделения истории на двенадцать глав – которые, впрочем, имели объем от пятидесяти до ста слов. Рассказ – общим объемом более пятисот слов – по-прежнему демонстрирует скорее верность писательской стезе: «В маленькой деревушке Мейнвилл был полдень, и у могилы Бёрнса стояла скорбная группа людей. Джозеф Берне умер. (Умирая, он отдал следующее странное распоряжение: „Прежде чем вы опустите мое тело в могилу, бросьте этот шар на пол, в месте, обозначенном А“. Затем он отдал маленький золотой шар приходскому священнику.)»

Священник, мистер Добсон, выполняет распоряжение и исчезает. Дочь Добсона звонит в полицейский участок и кричит: «„Вышлите Кинга Джона!“ Кинг Джон был известным сыщиком на Западе». Похититель убегает, но его вместе с пособниками арестовывают, когда они садятся на корабль, направляющийся в Африку. Во время суда появляется Добсон и рассказывает о своем заточении в склепе под могилой. Это был заговор покойника и его брата против Добсона[73].

Пещеры, склепы, подвалы и тоннели являлись характерной чертой произведений Лавкрафта на протяжении всей его жизни. Из детского периода сохранился еще один рассказ – «Таинственный корабль», с подзаголовочными данными «Роял Пресс 1902»: Лавкрафт начинал думать о технике книгоиздания.

Этот рассказ, объемом менее пятисот слов, разделен на девять глав. Некоторые из них, впрочем, состоят из одного-двух предложений, так что сохранившееся произведение является скорее наброском, нежели готовым рассказом.

Он повествует о похищении трех человек подлым латиноамериканцем, который увозит их на подводной лодке в Арктику. «На Северном полюсе существует обширный континент, образованный вулканическими породами, часть его доступна для исследователей. Он называется „Ничейная Земля“»[74]. Полярные области, как и подземные залы и галереи, всегда привлекали

Лавкрафта.

Юный писатель аккуратно записывал эти рассказы печатными буквами, а затем сшивал страницы. Он написал и другие истории, но в восемнадцать лет просмотрел их и нашел такими омерзительными, что уничтожил все, за исключением нескольких, сохраненных его матерью. Как он рассказывал, они были написаны «в стиле Джонсона, которому мог следовать лишь педант примерно 1810 года». В действительности рассказы были не хуже, чем большинство подобных детских проб, но писатели имеют обыкновение относиться к собственным ранним произведениям чересчур критически.

Прежде чем Лавкрафт продвинулся в писательском ученичестве, им овладел новый интерес. В библиотеке Филлипса был Полный словарь Уэбстера 1864 года издания. В то время в конце словаря публиковался раздел, в котором повторялись иллюстрации из текста, разбитые на категории. В 1898–м Лавкрафт тщательно разглядывал эти рисунки.

Первым его привлек мифологический раздел, и античные мифы, в которых рассказывалось о созвездиях, возбудили его интерес к астрономии. Затем он погрузился в «старину, средневековые одеяния и доспехи, птиц, животных, рептилий, рыб, флаги всех стран, геральдику и т. д., и т. п.» Его буквально загипнотизировал раздел «Философские и научные инструменты», и он жадно изучал гравюры с изображениями «реторт, перегонных кубов, эолипилов, криофоров, квадрантов, анемометров, тиглей, телескопов, микроскопов и так далее». Для мальчика эти инструменты заключали в себе магический смысл, поскольку он встречал рисунки с подобными приборами в книгах по алхимии и астрологии.

Химические приборы так увлекли его, что он решил обзавестись собственной лабораторией. И в марте 1899–го в его распоряжение была отдана подвальная комната. Тетя Лилиан купила ему какой-то простой прибор и книгу «Юный химик» профессора Университета Брауна Джона Говарда Апплетона, друга семьи. Вскоре осчастливленный Лавкрафт возился в своем склепе, производя дым, зловоние, а иногда и небольшие взрывы, и выводя на стенах алхимические символы[75].

К осени 1902–го Лавкрафта, достигшего двенадцати лет, сочли вполне здоровым для возращения в школу. Он поступил в шестой класс школы на Слейтер-авеню. Он проучился там два года, с перерывами из-за «нервов». Наверстывать пропущенные занятия ему помогали домашние учителя.

Тогда ему удалось влиться в общество больше, нежели в

любой другой период своей жизни. Иногда его, несомненно, задирали и дразнили, в ответ на что он принимал позу «крутого парня». Мальчишки прозвали его «Милочка», что Лавкрафт, понятное дело, ненавидел. Он вспоминал: «Пока мне не исполнилось шестнадцать или семнадцать, у меня было несколько довольно жестоких драк (которых я не избегал, но в которых мне почти всегда крепко доставалось, за исключением одного раза, когда мне удалось запугать противника эффектным кровожадным выражением лица и голосом)… характера „ей-богу, я тебя убью!“»

Тем не менее у него появилось несколько друзей, самыми большими из которых были братья Честер Пирс Манро (1889–1943) и Гарольд Бэйтимен Манро (1891–1966), затем три брата Бэнигэн, чья семья подарила ему две крошечные старинные ирландские статуэтки зеленого цвета, и еще несколько мальчиков. Лавкрафт уговорил друзей помочь ему построить модель деревни на близлежащем незанятом участке земли. Они организовали «Армию Слейтер-авеню», «которая вела войны в прилегающих лесах, и, хотя мои драматургические предложения не всегда принимались с полной терпимостью, мне удавалось довольно неплохо ладить с моими „товарищами по оружию“…». Он и Честер Манро претендовали на совместный титул самых плохих мальчиков школы на Слейтер-авеню, «не столько активных разрушителей, сколько просто заносчивых и сардонических аморалистов – выражавших протест личности против капризной, деспотичной и мелочной власти»[76].

Став страстным почитателем приключений Шерлока Холмса[77], Лавкрафт организовал со своими друзьями «Провиденсское детективное агентство»: «У нашего формирования был очень строгий устав, и в своих карманах мы носили обычное характерное снаряжение, состоящее из полицейского свистка, лупы, электрического фонаря, наручников (иногда простой бечевки, но все-таки „наручников“!), жестяного значка (я до сих пор храню свой!!), рулетки (для отпечатков ног), револьвера (мой был настоящим, у инспектора Манро (двенадцать лет) был водяной пистолет, а инспектор Апхэм (десять лет) перебивался пистонным) и копий всех газетных сообщений об отъявленных преступниках на свободе – плюс газета под названием „Детектив“, которая публиковала портреты и описания знаменитых преступников в розыске. Оттопыривались ли и отвисали наши карманы от этого снаряжения? Еще как, скажу я!! Также у нас были тщательно изготовленные „удостоверения“ – свидетельства, подтверждавшие нашу хорошую репутацию в агентстве. Простыми скандалами мы пренебрегали.

Нас устраивали лишь грабители банков да убийцы. Мы шпионили за множеством подозрительно выглядевших типов, старательно сравнивая их физиономии с фотографиями из „Детектива“… Наш штаб располагался в заброшенном доме сразу за густонаселенным районом, и в нем мы разыгрывали и „разгадывали“ множество ужасных трагедий. Я до сих пор помню, как я корпел над поддельными „пятнами крови на полу“!!!»[78]

Также Лавкрафт отвечал за секцию ударных в другой мальчишеской группе – «Блэкстоунском военном оркестре». Руками он бил в барабан, одной ногой играл на тарелках, а другой на треугольнике и при этом дул в зобо – маленький медный рожок, который держат в зубах.

С друзьями он устраивал тайные курительные оргии. Доказав таким образом свою мужественность, в четырнадцать он навсегда отверг табак. Позже он утверждал, что нашел табачный дым тошнотворным. «Самым большим ужасом на земле для меня является вагон для курящих».

В 1900 году Лавкрафту подарили велосипед, первый из трех, которые у него были. В 1913–м, во время гонки с другим мальчиком, он неудачно упал и сломал нос. Позже он переживал по поводу этого перелома, хотя на его фотографиях никаких повреждений не заметно. Также у него был черный кот, Черномазый, к которому он был очень привязан. В целом он вспоминал эти годы как самое счастливое время в своей жизни.

Наряду с этими нормальными мальчишескими занятиями Лавкрафт продолжал интеллектуально развиваться. Он прочитал все романы Жюля Верна, какие только смог достать. Помимо химии его интересами стали география и астрономия. В астрономию его ввели давно устаревшие книги тети Лилиан. В двенадцать он начал добавлять в коллекцию собственные новейшие учебники по этой науке. В библиотеке также были книги, унаследованные по нескольким линиям предков, датированные восемнадцатым веком, когда издатели все еще использовали «длинную s».

В 1899 году Лавкрафт начал издавать рукописную газету «Сайнтифик Газетт» («Научная газета»): он делал один оригинал и (как правило) четыре копии через копировальную бумагу для семьи и друзей. Скоро он «открыл мириады солнц и миров в бесконечном космосе». Затем к «Сайнтифик Газетт» добавился «Род Айленд Джорнал оф Астрономи» («Род-айлендский астрономический журнал»), оба издания с некоторыми перерывами выходили до 1909 года. «Сайнтифик Газетт» в основном была посвящена химии и большей частью состояла из

пересказов из его учебников по химии. Другие публикации содержали данные о местоположении небесных тел, сообщения об астрономических наблюдениях самого Лавкрафта и сводки газетных статей о таких событиях, как открытие восьмого спутника Юпитера в 1908 году.

В феврале 1903–го у Лавкрафта появился его первый телескоп. Это был прибор за девяносто девять центов с трубами из папье-маше, купленный в магазине «заказы почтой». В июле мать подарила ему телескоп получше, диаметром два с четвертью дюйма, с пятидесяти стократным окулярами, он стоил шестнадцать с половиной долларов. Местный ремесленник за восемь долларов сделал для него треногий штатив. В 1906–м Лавкрафт обзавелся третьим телескопом, с трехдюймовым рефрактором, от «Монтгомери Уорд» за пятьдесят долларов. Этот прибор, уже помятый и покрытый ржавчиной, все еще хранился у него даже через тридцать лет.

Начиная с 1903 года Лавкрафт провел множество ночей, наблюдая за звездами. Другой университетский друг семьи, профессор Университета Брауна Уинслоу Аптон, разрешил ему посещать Обсерваторию Лэдда, расположенную на одной из высших точек Колледж-Хилла в миле от дома Филлипса. Там он мог смотреть через двенадцатидюймовый рефрактор. Долгие часы Лавкрафт всматривался в окуляр телескопа, и позже он объяснял появившуюся у него привычку задирать голову набок как результат этого занятия.

Еще у него были микроскоп, два спектроскопа и спинтарископ для наблюдения действия радиоактивности. Развивайся события благоприятным образом, Лавкрафт действительно мог бы стать настоящим ученым или, по крайней мере, преподавателем естественных наук.

Начиная с 1900 года Филлипсы испытывали всё возрастающие финансовые затруднения. Разрушение плотины на реке Снейк в Айдахо поставило под угрозу «Оуайхи Лэнд энд Иригейшн Компани» Уиппла Филлипса. Под его энергичным руководством началось возведение второй плотины. Но и она разрушилась, и «Оуайхи Компани» оказалась на грани разорения. Уиппл Филлипс, президент и казначей компании, решительно ввел в доме суровую экономию.

Поначалу юный Лавкрафт, тщательно ограждаемый от потрясений, едва это заметил. Когда был уволен конюх и проданы лошади и экипаж, он ликовал, получив в распоряжение целую конюшню, которую мог использовать в качестве игровой комнаты и собственного клуба: «Армия моих игрушек, книг и других

детских радостей поистине была неисчислимой, и я сомневаюсь, что когда-либо размышлял о таких вещах, как изменчивое благополучие или непостоянство богатства. Бедные были просто необычными животными, о которых говорили притворно, и которым давали деньги, еду и одежду… как „язычники“, которых всегда поминали верующие. Деньги как четко выраженное представление полностью отсутствовали в моем кругозоре».

Но Лавкрафт любил лошадей и позже сожалел, что их продали до того, как он смог научиться ездить верхом. Поскольку было уволено еще несколько слуг, догадка о нависшем роке наконец озарила даже неземное сознание Лавкрафта: «Мое душевное состояние было угнетено смутным ощущением надвигающегося несчастья». 10 апреля 1902 года тетя Лилиан вышла замуж за доктора Кларка, оставив огромный дом Уипплу Филлипсу, его овдовевшей дочери и внуку.

Воскресным вечером 27 марта 1904 года Уиппл Филлипс был в гостях у своего близкого друга, члена городского управления Грея, где его схватил «паралитический удар»[79]. На следующий день, незадолго до полуночи, он умер в своем доме. Ему было семьдесят лет.

Он оставил по пять тысяч долларов трем своим дочерям и по две с половиной тысячи внукам, Говарду Филлипсу Лавкрафту и Филлипсу Гэмвеллу. Лавкрафт также унаследовал коллекцию ружей деда. Остальное имущество Уиппла Филлипса должно было быть поровну распределено между четырьмя его детьми, но, кроме некоторой доли в род-айлендских каменоломнях, делить было не так уж и много.

Без инициативности Филлипса «Оуайхи Лэнд энд Иригейшн Компани» вскоре была закрыта, а особняк на Энджелл-стрит, 454 продан. Он превратился в гнездовье врачебных кабинетов и в 1961 году был снесен для постройки многоквартирного дома.

Глава четвертая. Избалованный гений

В полночь в вереске взвывают,
В кипарисах воздыхают,
В ветре бешено летают
Существа из адской мессы
Средь ветвей сухих скрипят,
У болота говорят,
За обрывами вопят —
То отчаяния бесы[80].

Г. Ф. Лавкрафт «Отчаяние»

Сюзи Лавкрафт и ее повзрослевший сын переехали в дом через три квартала к востоку от особняка Филлипсов, номер 598–600 по Энджелл-стрит. Они арендовали первый этаж, имевший номер 598. Хотя в новом жилище было пять комнат, а также возможность пользоваться чердаком и подвалом, у юного Лавкрафта переезд вызвал потрясение: «Я впервые узнал, что такое переполненный, с еще одной семьей, дом без прислуги. Рядом был свободный участок земли (хотя и он был позже застроен, когда я уже вырос), которым я фазу же стал пользоваться как ландшафтным парком и оживил его деревушкой с домами из ящика из-под пианино, но даже это не смягчило моей тоски. Я чувствовал, что утратил связь со вселенной – ибо, действительно, чем был Говард Филлипс Лавкрафт без достопамятных комнат, коридоров, портьер, лестниц, скульптур, картин… дворов, аллей, вишневых деревьев, фонтана, увитой плющом арки, конюшни, садов и всего остального? Как мог старик четырнадцати лет (а я действительно чувствовал себя стариком!) приспособиться к тесной квартире, новому домашнему распорядку и худшей внешней окружающей обстановке, в которых не осталось ничего знакомого? Продолжать жить казалось чертовски бесполезным делом… Мой дом был моим идеалом Рая и источником вдохновения – но ему было суждено претерпеть осквернение от чужих рук. С того дня жизнь для меня имела только одну цель: вернуть старое место и восстановить его великолепие – цель, которой, боюсь, я никогда не смогу достигнуть»[81].

Словно венчая скорбь Лавкрафта, пропал его любимый кот, Черномазый.

«Что за парень он был! На моих глазах он вырос из крошечного черного комочка в одно из самых очаровательных и смышленых созданий, которых я когда-либо встречал. Он разговаривал на настоящем языке различных интонаций, в котором для каждого значения был свой особый тон. Был даже специальный „мрррр“ для запаха жареных каштанов, которые он просто обожал. Он играл со мной в мячик – ударяя по большому резиновому шару всеми четырьмя лапами, потому что лежал на полу, и посылая его ко мне через полкомнаты. А летними вечерами в сумерках он, бывало, доказывал свое родство с волшебными тенями, носясь по лужайке с неизвестными поручениями, мелькая в черноте кустарника то здесь, то там, иногда выпрыгивая на меня из засады и снова скрываясь в неизвестности, прежде чем я успевал его схватить»[82].

В своей ярко выраженной территориальности Лавкрафт, пожалуй, сам был как кошка, он даже как-то сказал: «Я обладаю поистине кошачьим интересом и привязанностью к местам». Возможно, Черномазому не понравился переезд так же сильно, как и его хозяину, и он просто отказался жить в новом доме. Но в любом случае Лавкрафт никогда больше не заводил другого домашнего животного.

Для большинства молодых людей подростковый возраст является периодом стрессов, когда обычны мысли о самоубийстве. Он ударил ограждаемого сверх всякой меры Лавкрафта с невероятной силой: «Больше не было домашних учителей – в сентябре средняя школа, которая наверняка окажется чертовски скучной, поскольку там нельзя быть таким же свободным и беспечным, как во время отрывочных посещений школы на Слейтер-авеню… О, черт!! Почему бы не отбросить сознание совсем? Вся жизнь человека и планеты была лишь космическим мигом – так что многого я бы не пропустил. Единственной заботой был способ. Мне не нравились грязные уходы, я облагородил те, что трудно осуществить. Действительно хорошие яды достать было нелегко – те, что имелись в моей лаборатории (я восстановил ее в подвале на новом месте), были грубыми и мучительными. От пуль были бы брызги, и они были ненадежны… Ладно – что привлекало меня больше всего, так это теплая, неглубокая, поросшая камышом речка Баррингтон, ниже по восточному берегу залива. Я взял в привычку ездить туда на велосипеде и созерцать ее. (Тем летом [1904 года] я всегда был на велосипеде, желая быть как можно дальше от дома, поскольку мое жилище напоминало мне о доме, которого я лишился.) Как

было бы легко продраться сквозь камыш и лечь лицом вниз в теплую воду, пока не придет забвение. Поначалу была бы некоторая булькающая или удушающая непривлекательность – но скоро она бы закончилась. Затем долгая мирная ночь небытия… которой я наслаждался с мифического начала вечности до 20 августа 1890 года».

Отменил этот план не столько естественный порыв самосохранения, сколько еще одна черта характера Лавкрафта: интеллектуальное любопытство. Там, где большинство людей жаждут физических наслаждений в еде, выпивке и сексе, Лавкрафт стремился к знаниям: «И все-таки некоторые причины – в особенности научная любознательность и чувство мировой драмы – удержали меня. Многое в мироздании сбивало меня с толку, и я знал, что смогу выведать ответы из книг, если проживу и проучусь дольше. Геология, например. Как именно эти древние отложения и наслоения кристаллизовались и поднялись в гранитные пики? География – что именно Скотт, Шеклтон и Борхгревинк найдут в великой белой Антарктике в свои следующие экспедиции… до которых я мог бы – если бы захотел – дожить, чтобы увидеть их результаты? И еще история – когда я размышлял, что после смерти уже ничего не узнаю, то вдруг с тревогой осознал, что мне еще многое неведомо. Повсюду были дразнящие пробелы. Когда люди перестали разговаривать на латыни и перешли на итальянский, испанский и французский? Что, черт возьми, происходило во времена мрачного средневековья во всем остальном мире, кроме Британии и Франции (чью историю я знал)? А как же обширнейшие бездны пространства за всеми известными землями – те пустынные зоны, на которые намекали сэр Джон Мандевиль и Марко Поло? … Тартария, Тибет… А неизвестная Африка? Я осознавал, что множество вещей, бывших для меня загадками, не являлись таковыми для других. Прежде я не возмущался недостатком своих знаний, поскольку полагал, что однажды все выясню – но теперь, когда появилась мысль, что я никогда не узнаю, меня уязвило чувство неудовлетворенного любопытства. Еще математика. Мог ли порядочный человек пристойно умереть, не продемонстрировав на бумаге, почему квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух других сторон? Так что в конце концов я решил отложить свой уход до следующего лета».

Средняя школа, однако, оказалась приятным сюрпризом: «Да, той осенью я обнаружил, что вместо скуки средняя школа доставляет удовольствие и оказывает стимулирующее воздействие, и уже следующей весной возобновил издание „Род

Айленд Джорнал оф Астрономи“, который совсем запустил… Наставники с Хоуп-стрит быстро поняли мой нрав, как его никогда не понимал Эбби [Хэтэвей, директор школы на Слейтер-авеню], и, отбросив всякое стеснение, сделали меня явно равным и своим товарищем, с тем чтобы я перестал думать о дисциплине, а просто вел себя как джентльмен среди джентльменов. С преподавательским составом Хоуп-стрит в течение всех четырех лет, что я там оставался, у меня были только приятнейшие отношения».

Хотя Лавкрафт не принимал участия в спортивных и других факультативных занятиях, он довольно неплохо ладил с одноклассниками. Он понял, что для неискушенного в драках при столкновении с задирами свирепое лицо и кровавые угрозы менее действенны, нежели видимость вежливой и спокойной невозмутимости. Он принимал эту объективную, бесстрастную позу так основательно, что уже взрослым действительно думал о себе как о человеке, практически не имеющем эмоций, – думающей машине или бестелесном интеллекте. Некоторые из его одноклассников позже говорили, что пытались подружиться с ним, но наталкивались на выражение холодного безразличия. Другие запомнили его «полнейшим психом».

В действительности Лавкрафт совсем не был холодным и бесстрастным. Его чувства – симпатии и неприязни, увлечения и отвращения – были так же сильны, как и у других. Но он проявлял твердость характера столь долго, что ему стало трудно открыто выражать свои эмоции.

В первый учебный год средней школы (1904–1905) Лавкрафт успевал хорошо, со средним баллом 81. Его лучшим предметом была латынь (87), а худшим – алгебра (74)[83]. Он вспоминал это время как период интеллектуального возбуждения и открытий.

«Физика первого года поставила вопросы, связанные с природой видимых явлений и процессов во вселенной, которые мои прежние знания по химии и астрономии даже не предполагали… Возможно ли было, чтобы просвещенным людям были известны теории о фундаментальном строении космоса, которые свели на нет все мои самоуверенно выстроенные концепции? И бог мой! Каким сюрпризом оказалась история. Все великолепие Византийской империи и ее враждебные отношения с вычурным исламом, которые моя детская „Тысяча и одна ночь“ и поздние астрономические штудии… так приблизили ко мне, внезапно исчезли из моего поля зрения – и впервые я услышал об исчезнувшей минойской культуре, которую сэр Артур Эванс как раз тогда усердно раскапывал на Крите. Ассирия и Вавилон также выступили с большей выразительностью, чем когда-либо

прежде, – и я наконец-то услышал о вечной загадке острова Пасхи. Что за мир! Почему, о боже, человек может быть вечно занят, даже в чуждом окружении, узнавая новые факты…»

За тот год Лавкрафт пропустил восемнадцать дней и опоздал семнадцать раз. По поводу его постоянных опозданий строились догадки. Предполагали, например, что он медлил на пути в школу, чтобы избежать задир, или просто из-за своей мизантропии[84]. Но в действительности подобные подозрения излишни. В ранних годах у Лавкрафта практически не было чувства времени, и нельзя было рассчитывать, что он придет точно в назначенное время.

Весной 1905 года четырнадцатилетний Лавкрафт снова попробовал свои силы в художественной литературе. Рассказ назывался «Зверь в пещере», объемом немногим более двух тысяч слов. Это в некоторой степени уже взрослый короткий рассказ с простым сюжетом и напыщенным латинизированным стилем, происходящим от По. Если даже он и не соответствует коммерческим стандартам, то намного превосходит предыдущие пробы Лавкрафта. Он начинается: «Ужасающий вывод, который исподволь навязывался моему помутившемуся и сопротивлявшемуся разуму, теперь стал страшным достоверным фактом. Я заблудился, совершенно безнадежно заблудился в многочисленных и запутанных ходах Мамонтовой пещеры».

Рассказчик описывает ощущение приближающейся смерти и поздравляет себя со стоическим духом, с которым готовится встретить свою судьбу. Затем: «Однако все мое внимание немедленно обострилось с того момента, когда мне показалось, что я услышал звук мягких приближающихся шагов по каменному полу пещеры… Через миг, когда я прислушался, мой восторг сменился страхом, ибо мой и без того чуткий слух, теперь обострившийся в еще большей степени из-за полнейшей тишины пещеры, донес до моего оцепенелого разума неожиданную и чудовищную весть, что эти звуки шагов были не такими, как у любого смертного… Когда я внимательно прислушался, то, кажется, различил шаги четырех ног вместо двух».

Фонарь рассказчика гаснет. На протяжении нескольких страниц загадочные шаги всё приближаются к нему. В конце концов он бросает камень и попадает в тварь. Вскоре он наталкивается на гида группы, от которой отстал. Они находят умирающее четвероногое животное, которое поначалу принимают за обезьяну, покрытую редкими, растущими то здесь, то там белыми волосами. При ближайшем рассмотрении они обнаруживают, что «создание, которое я убил, странный зверь

безмерной пещеры, был – или когда-то был – ЧЕЛОВЕКОМ!!!»[85].

Рассказ (датированный 1 апреля 1905 года) демонстрирует несколько художественных признаков Лавкрафта как зрелого писателя. Упор делается больше на настроение и атмосферу, нежели действие. Чувствуется тяжелая рука По, включая и один из его худших литературных недостатков: неумеренное использование типографского своеобразия (заглавные буквы, курсив и множество восклицательных знаков) для придания повествованию пущей убедительности.

Наконец, рассказ показывает многолетнюю увлеченность Лавкрафта пещерами и подобными местами. В детстве у него было довольно слабое чувство равновесия и легкая акрофобия, но он преодолел этот страх, ходя по стенам и эстакадам. По его словам, он не страдал ни клаустрофобией, ни агорафобией, но: «Я подвержен, однако, некой смеси их двух – в форме явного страха перед очень большими замкнутыми пространствами. Темное помещение для экипажа в конюшне, мрачный интерьер заброшенного газового завода, пустой зрительный зал или зал для приемов, очень большая пещера – возможно, вы поняли. Не то что эти места бросают меня в видимую и неудержимую нервную дрожь, но они вызывают у меня глубокое и пугающее чувство зловещего – даже в моем возрасте [сорок шесть лет]»[86].

В «Картине» 1907 года Лавкрафт определенно установил курс на фантастическое; в то время, говорил он, его литературный вкус был «фантастика или ничто»: «У меня был герой, живший в парижской мансарде и работавший над таинственным полотном, воплощавшим саму суть всего ужаса. Однажды утром его находят перед мольбертом изорванным и искромсанным когтями. Картина уничтожена, словно в отчаянной борьбе, – но в одном углу рамы сохранился клочок полотна… И на нем следователь к своему ужасу обнаруживает изображение той лапы, которая, несомненно, и убила художника».

«Алхимик» 1908 года состоит примерно из двух тысяч семисот слов. Французский аристократ, наследник древнего замка, наследует и старинное проклятие. Некогда предшествующий граф убил местного колдуна, Мишеля Мове («Злой»), ошибочно подозревая его в том, что он разделался с его сыном, который оказался живым. Сын колдуна, Шарль ле Сорсер («Колдун»), произносит проклятие:

> Потомок твой в несущем смерть роду
> Умрет на том же, что и ты, году!

Затем он бросает яд в лицо графа, который тут же умирает, и

исчезает. После этого наследник титула по той или иной причине всегда умирает в возрасте тридцати двух лет.

Приближается срок героя – повествователя, графа Антуана де С. Этот негероический персонаж – типичный литературный герой эпохи романтизма начала девятнадцатого века: чувствительный, слабый человек, который от волнения падает в обморок. Рано осиротев, Антуан воспитывался пожилым слугой, Пьером, в котором один критик разглядел сходство с Уипплом Филлипсом[87].

Исследуя заброшенную часть своего замка, герой находит люк, ведущий в склеп. В склепе он наталкивается на «загадочного незнакомца»: «…Человека, одетого в ермолку и длинную средневековую тунику темного цвета. Его длинные волосы и ниспадающая борода были ужасающего иссиня-черного цвета и невероятно густыми. Его лоб, высокий сверх обычного, его щеки, глубоко запавшие и все испещренные морщинами…»

Когда призрак похваляется, как он убивал одного за другим предков рассказчика, тот бросает в него лампу и падает в обморок. Когда же он приходит в себя, его умирающий противник открывает то, о чем любой внимательный читатель мог уже догадаться: «„Глупец, – пронзительно закричал он, – ты не разгадал мою тайну? …Разве я не рассказал тебе о великом эликсире вечной жизни? Не тебе ли знать, что тайна алхимии раскрыта? Говорю тебе, это я! Я! Я! Кто жил шесть столетий, чтобы продолжать свою месть. ИБО Я – ШАРЛЬ ЛЕ СОРСЕР!“»[88]

Рассказ – заглавные буквы, жирный шрифт и все остальное – все еще простая стилизация под По, но автор развивает свое художественное мастерство. В начале подросткового возраста Лавкрафт написал еще несколько рассказов, но, за несколькими упомянутыми исключениями, все они погибли во время его литературной чистки в 1908 году.

В конце 1904/05 учебного года Лавкрафт бросил школу и не посещал ее в течение всего следующего года. Причина неизвестна, хотя в последствии он говорил о «нервном расстройстве» в 1906 году.

В течение этого года он не бездействовал. В сущности, 1906–й был годом его первого появления в печати. Третьего июня в «Провиденс Джорнал» было опубликовано письмо Лавкрафта, в котором он, как научный материалист, обличал астрологию. Через два месяца «Сайнтифик Американ» опубликовал другое его письмо, где он предлагал, чтобы астрономические обсерватории предприняли совместный проект по поискам планеты за Нептуном.

Вскоре последовали регулярные статьи по астрономии. Одна серия печаталась в местном еженедельнике «Потакет Валли Глинер», издававшемся в Уэст-Уорике, штат Род-Айленд. Лавкрафт признавал, что эта газета относилась благосклонно к его статьям, потому как в тех краях Уиппл В. Филлипс был большим человеком.

Другая серия, которая печаталась одновременно с вышеупомянутой, была ежемесячной колонкой в «Провиденс Ивнинг Трибьюн». Профессор Аптон писал статьи по астрономии для их конкурентов «Провиденс Джорнал» с 1893 года, и «Трибьюн», несомненно, были рады ответить подобными статьями – особенно если, что было почти наверняка, Лавкрафт не требовал гонорара.

Когда Лавкрафт вернулся в школу, его статьи принесли ему небольшой успех. Например, мальчишки перестали называть его «Милочкой» и начали обращаться к нему «Профессор». Колонки также дали ему отличную возможность осадить одного из своих учителей: «Моей учительницей по английскому была старая леди по имени миссис Блейк, у которой был веселый, хотя и немного циничный нрав. Она донимала меня, сомневаясь в подлинности моих сочинений. Однажды она вызвала меня к доске и спросила, не был ли один мой очерк списан со статьи в журнале, на что я ответил, что я дословно скопировал его с сельской газеты! В ответ на ее гнев я предъявил газетную вырезку – с бросающимся в глаза именем автора „Г. Ф. Лавкрафт“!!!»

Статьи в «Трибьюн» большей частью были эфемеридами, то есть простыми таблицами основных астрономических событий текущего месяца: времени восхода и заката солнца, фаз луны, положений планет и т. д. Зато статьи для «Глинер» были более развернутыми. Они носили заголовки вроде «Обитаем ли Марс?», «Есть ли жизнь на Луне?», «Существуют ли еще неоткрытые планеты?» и «Может ли человек добраться до Луны?». Лавкрафт пророчески ответил «нет» на первые два вопроса и «да» на остальные. Обсуждая путешествие на Луну, он, однако, не предрекал для его осуществления использование энергии ракеты. Он предлагал другие способы: выстрел из пушки, антигравитация и некий вид «электрического отталкивания» – два последних еще должны были быть изобретены.

В своей статье о жизни на Марсе Лавкрафт обрушился на идеи знаменитого бостонского астронома Персиваля Лоуэлла, брата ректора Гарвардского университета Эббота Л. Лоуэлла. Персиваль Лоуэлл популяризировал теорию, что тусклые линии на поверхности Марса, которые он и некоторые другие астрономы наблюдали через телескопы, являются каналами (или, по крайней

мере, растительными зонами по берегам каналов), вырытыми разумными марсианами для доставки воды с полярных шапок во все регионы их засушливой планеты. Эта теория нашла отражение во множестве научно-фантастических произведений, в том числе и в марсианских романах Эдгара Раиса Берроуза.

В 1907 году Персиваль Лоуэлл читал лекцию в провиденсском Сайлес-Холле. Перед лекцией профессор Аптон увидел в толпе Лавкрафта и, к его величайшему замешательству, представил его Лоуэллу как активного журналиста-астронома: «Со своим семнадцатилетним самомнением я боялся, что Лоуэлл читал то, что я писал! Разговор я старался вести насколько только можно уклончиво и, к счастью, обнаружил, что знаменитый астроном был более расположен расспросить меня о моем телескопе, учебе и т. д., нежели поспорить о Марсе»[89].

«Глинер» обанкротился примерно в конце 1906 года. Лавкрафт продолжал писать для «Трибьюн» до середины 1908–го, когда закрылась его рубрика. В течение последующих пяти с половиной лет Лавкрафт не опубликовал ни одной научной статьи.

Он также продолжал издавать для друзей и родни «Сайнтифик Газетт» и «Род Айленд Джорнал оф Астрономи». На этот раз они копировались на гектографе тиражом двадцать пять экземпляров. Какое-то время в 1905 году друзья Лавкрафта Честер и Гарольд Манро издавали конкурирующую газету. Вместе ребята устраивали представления, озвучивая диапозитивы и показывая фокусы.

Позже в 1905 году Лавкрафт уговорил мать купить ему маленький ручной печатный станок. Полгода он множил на гектографе рекламные объявления, предлагая печатать визитки по пять центов за дюжину. История умалчивает, получил ли он какие-нибудь заказы.

Весной 1906–го Лавкрафт выставил свой печатный станок на продажу. Он пробовал организовать Провиденсское астрономическое общество, из-за которого у него не оставалось времени на печать; 25 января 1907 года он читал лекцию по астрономии в Клубе мальчиков Первой баптистской церкви. Ему также были нужны деньги для других астрономических приборов. В любом случае, он никогда не был особо умелым в обращении с техникой.

В это же время Лавкрафт испытал приступ преждевременного общественного сознания: «Тогда я был великим реформатором (в своих мыслях) и лелеял высокие идеи о подъеме масс. В публичной библиотеке я познакомился с внешне обнадеживающим шведским мальчиком – он работал на

стеллажах, где хранились книги, – и пригласил его к себе, чтобы расширить его интеллект. (Мне было пятнадцать, ему около того же, хотя он был ниже ростом и выглядел младше.) Я думал, что нашел молчаливого безвестного Мильтона (он как будто интересовался моей работой), и, несмотря на протесты матери, часто принимал его в своей библиотеке. Тогда я верил в равенство и попрекал его, когда он обращался к моей матери „мадам“, – я говорил, что будущему ученому не следует разговаривать как слуга! Но вскоре он проявил качества, которые оттолкнули меня, и я был вынужден предоставить его своей плебейской судьбе… Он покинул библиотеку (по просьбе), и больше я его не видел».

Лавкрафту нравилось оружие. Он заботливо ухаживал за коллекцией винтовок и револьверов, доставшейся ему в наследство, и добавил к ней серию винтовок калибра 0,22 дюйма, которые брал загород пострелять. Тогда законы, ограничивающие хранение и применение огнестрельного оружия, были лояльнее и малочисленнее, нежели сегодня. Позже Лавкрафт сказал, что он стал вполне неплохим стрелком, пока примерно в 1910 году не оставил это увлечение из-за болезни глаз. «Охота увлекала меня, и ощущение винтовки было для меня бальзамом на душу; но после того, как я застрелил белку, у меня появилась неприязнь к убийству созданий, которые не могут сопротивляться, превращаясь из-за этого в мишени…»

Впоследствии Лавкрафт постепенно распродал или раздарил всю коллекцию, оставив лишь кремниевый мушкет, который хранил как антиквариат.

6 июля 1906 года Лавкрафт обзавелся подержанной пишущей машинкой «Ремингтон». Он, однако, так и не предпринял следующий логичный шаг: научиться на ней печатать. Всю свою жизнь он печатал двумя указательными пальцами, как это делали многие писатели его поколения, например, Г. Л. Менкен.

Из-за своей непрактичной матери и комплекса любительства он так никогда толком и не усвоил, что существуют правильные и неправильные способы что-либо делать и что можно избавиться от множества бед, узнав, как делать правильно. Современный писатель, который не умеет печатать всеми пальцами, подобен ковбою, не умеющему ездить верхом. Но упрямо архаичный Лавкрафт был верен старинной традиции писания, словно вавилонский писец древнегреческой эры, цепляющийся за глиняные таблички и стиль и хулящий эту новомодную систему пера и папируса.

«Ремингтон» оставался у Лавкрафта всю его жизнь. Когда машинка изнашивалась, он отдавал ее в починку. Однако это

происходило только через значительные промежутки времени, поскольку он нечасто мог себе позволить дорогостоящий ремонт. На третьем десятке он печатал на ней днем, по ночам же, чтобы не беспокоить шумом окружающих, писал от руки.

Со временем он стал ненавидеть печатание все больше и больше, говоря: «Думаю, по характеру я ленив, ибо механическая деятельность надоедает и утомляет меня неимоверно». На протяжении всей своей жизни он все больше обнаруживал (цитируя современного ученого) «необычайную общую ненависть к машинам, проявляющуюся у некоторых современных интеллектуалов, которые тоскуют по суровости, рутине и убогости мира без машин»[90]. Постепенно Лавкрафт полностью вернулся к авторучке и печатал лишь чистовики рукописей. После 1923–го почти все его личные письма были написаны от руки. Некоторые его рассказы так и не были предложены издательствам при жизни, потому что он слишком страшился сурового испытания печатанием и не мог себе позволить нанять машинистку.

Лавкрафт писал очень быстро и много тратился на авторучки, которые при малейшем нажиме сильно текли. Его почерк был весьма четким в молодости, но с годами стал мельче, небрежнее и неразборчивее; хотя, если уж деваться некуда, к нему можно и привыкнуть. Как-то один из его поздних корреспондентов принял в письме слово «hermit» («отшельник») за «haircut» («стрижка»). Другой поинтересовался, что означает «orianfolots», – Лавкрафт же имел в виду «orientalists» («востоковеды»). Мать еще одного корреспондента, взглянув на письмо от Лавкрафта, со всей серьезностью спросила, не написано ли оно на арабском языке.

Когда его друзья по переписке жаловались, он оправдывал свой неразборчивый почерк как случай «того высокомерного презрения к ясному, которое во веки веков было признаком высших». Если бы он тратил время на то, чтобы писать разборчиво, то «не смог бы написать все свои рукописи и письма». Кроме того, он говорил, что до того, как людей избаловала печатная машинка, они могли читать любой почерк.

В 1907–м у Лавкрафта появился его первый фотоаппарат – «Брауни–2» за два доллара. Это был простой маленький ящичный фотоаппарат с фиксированной фокусировкой и одной выдержкой. Хотя он хранил этот аппарат всю свою жизнь и время от времени снимал им, а также портативным «Кодаком», который приобрел позже, он никогда не пробовал себя в более высоких формах фотографии[91]. Он даже не брал фотоаппарат в свои более поздние путешествия по старинным местам. Как и на любой другой современный механизм, он смотрел на него с подозрением

и презрением, с недовольством признавая его практичность.

В сентябре 1906 года шестнадцатилетний Лавкрафт снова пошел в среднюю школу на Хоуп-стрит и проучился весь год. В первом семестре оценки были следующими: английский – 90, алгебра – 75, рисование – 85, латынь, грамматика – 85, латынь, чтение – 90, греческий, чтение – 85, планиметрия – 92, физика – 95.

Как и прежде, алгебра оказалась для него самым трудным предметом. Этот факт ставил под сомнение его планы на будущее: он намеревался закончить среднюю школу, поступить в Университет Брауна со специализацией по астрономии и стать профессором, как Аптон. Теперь же он начал опасаться, что слабость в алгебре воспрепятствует достижению его цели, потому как практикующий астроном должен свободно владеть основными отраслями математики. Как и множество молодых людей, он был очарован профессией, не осознавая всю тяжесть и рутину ее практики.

В 1907/08 учебном году Лавкрафт прошел сокращенный курс, включавший только химию, вспомогательную алгебру и физику. Хотя он получал хорошие оценки, даже по алгебре, после первой четверти он забросил учебу. В конце года, закончив лишь два с половиной года средней школы, он окончательно ушел из нее.

В своих поздних письмах Лавкрафт несколько раз говорил об окончании средней школы, например: «Она [средняя школа] мне нравилась, но нагрузка оказалась слишком тяжелой для моего здоровья, и сразу после ее окончания я перенес нервное расстройство, которое совершенно помешало мне посещать колледж»[92]. «Нервное расстройство», возможно, было вполне реальным, но не было непосредственной причиной того, что Лавкрафту не удалось поступить в колледж. Он так и не закончил среднюю школу полностью, для этого ему надо было проучиться еще полтора года. Со своим школьным аттестатом он не смог бы поступить в Университет Брауна, даже если бы позволило его здоровье и это было бы по карману его семье.

Много позже Лавкрафт порой легкомысленно относился к тому, что ему не удалось получить образование: «Как-никак, культурная семья является наилучшей школой, и я особенно признателен за то обучение, что этот юноша не прошел». Это был блеф, в более откровенные минуты он писал: «Что до отсутствия у меня университетского образования, я никогда не перестану стыдиться этого; но, по крайней мере, я знаю, что по-другому у меня не получилось бы».

Эта неудача представляется одним из самых значительных

событий в жизни Лавкрафта, поскольку она как ничто другое определила его будущее. В нескольких письмах Лавкрафт рассказывает о своем «нервном расстройстве», например: «В те зрелые годы бедняга дошел до такого нервного истощения, что не мог без отвращения разговаривать с любым человеческим существом и даже смотреть на него и равным образом не переносил, чтобы на него смотрели; и каждая поездка в город была суровым испытанием… В те дни для меня было просто невыносимо взглянуть или поговорить с кем-либо, и я предпочитал закрываться от всего мира, опуская темные шторы и обходясь искусственным светом… Я и думать не хотел о том, сколько приобретенных в средней школе знаний выпало из моей памяти за пять лет после 1908 года. Мое здоровье не позволило мне пойти в университет – в самом деле, упорное прилежание в школе привело меня к некоторому расстройству»[93].

Он говорил о головных болях, несварении желудка, апатии, усталости, депрессии и неспособности сосредотачиваться. Подобные симптомы могут быть вызваны любым из множества заболеваний вроде гипотонии (пониженное кровяное давление), гипогликемии (пониженное содержание сахара в крови), гипотиреоза (понижение функции щитовидной железы) и кое-каких микробных инфекций. Некоторые медики говорят, что того праздного, бесполезного существования, которое Лавкрафт вел на протяжении следующего десятилетия, уже самого по себе было достаточно, чтобы вызвать симптомы, на которые он жаловался. Медицина 1908 года не достигла того уровня, чтобы справиться с немощью Лавкрафта, чем бы она ни была.

Лавкрафт, возможно, страдал формой гипогликемии, называемой гиперинсулинизмом, или чрезмерным выделением инсулина поджелудочной железой. Хотя это заболевание в некотором отношении является противоположностью диабета, больной все равно должен избегать употребления сахара так же старательно, как и диабетик. Когда он принимает большую дозу сахара, например поедая сладости, его сверхактивная поджелудочная железа выбрасывает в кровь слишком много инсулина, и тогда он получает инсулиновый шок, симптомы которого описывал Лавкрафт.

Далее, общеизвестно, что Лавкрафт был сладкоежкой. Он поглощал огромное количество шоколада и мороженого, а в кофе добавлял столько сахара, что на дне чашки оставалась вязкая масса. Если он болел гиперинсулинизмом, такой образ питания гарантированно вызывал у него упадок сил, о котором он и говорил.

К тому же Лавкрафт, согласно его письмам, всегда был

склонен к простуде. Мы не совсем уверены, как с ним обстояло дело в детском и подростковом возрасте, но так или иначе эта склонность либо появилась, либо сильно обострилась после его расстройства в 1908 году.

Судя по всему, у него развилось редкое, малоизученное заболевание под названием пойкилотермия, при которой больной утрачивает обычную для млекопитающего способность сохранять температуру тела постоянной независимо от температуры окружающей среды. Его тело принимает температуру среды, как если бы он был рептилией или рыбой.

Всю свою оставшуюся жизнь Лавкрафт чувствовал себя комфортно только при температуре выше 80° F (27°C). Когда было за 90° (32°) и все остальные изнемогали от жары, он чувствовал себя прекрасно и был полон энергии. Ниже 80° ему становилось все хуже и хуже. При 70° (21°) он коченел и хлюпал носом. При 60° (16°) он был совсем жалок. Несколько раз, когда он оказывался на улице при температуре ниже 20° (-7°), он терял сознание, и его спасали прохожие. Эта слабость заточала его в доме практически на всю зиму, за исключением редких оттепелей. Он еще усугублял свое состояние тем, что не любил тяжелой зимней одежды, считая ее обременительной.

Пойкилотермия, как мне сказали, может быть вызвана либо нарушениями вроде опухолей в гипоталамической области у основания головного мозга, либо гипотиреозом, который также вызывает апатию, усталость и депрессию.

По сути, сочетание гипогликемии и гипотиреоза могло быть причиной всех основных физических симптомов Лавкрафта. Интересно было бы предположить, что регулярный прием щитовидного экстракта и бессахарная диета в продолжение критических лет от семнадцати до двадцати девяти, возможно, могли бы вернуть его к нормальной жизни.

Еще один ключ к объяснению функциональных нарушений Лавкрафта предоставляет его исключительная память. Он, кажется, детально помнил практически все начиная с трехлетнего возраста. Если его спрашивали о собрании, проводившемся несколько лет назад, он мог назвать место, точную дату, имена присутствовавших и сообщить, кто, что и кому сказал. Один психиатр поведал мне: «Фотографическая память наблюдается в некоторых случаях, связанных, по меньшей мере, со значительным ограничением эмоциональной свободы, способности горевать и т. д. – что, в свою очередь, обостряет трудность совладения даже с обычными нагрузками и неудачами. Подростковый возраст является существенной нагрузкой per se»[94].

Также есть сведения о том, что в пятнадцать лет Лавкрафт весьма неудачно упал на стройке. Но я не располагаю достаточными подробностями, чтобы гадать, имело ли это падение отношение к его поздним болезням[95].

Растущая масса медицинских заключений рассматривает расстройства вроде того, что испытал Лавкрафт, как результат врожденных пороков в биохимической структуре больного. Эти отклонения, в свою очередь, считаются наследственными и предрасполагающими индивидуума к функциональным нарушениям, инициируемым какими-либо стрессами и воздействиями окружающей среды. Такие стрессы происходили из весьма своеобразного дома, семьи и обучения Лавкрафта.

Какова бы ни была истина, точную связь между явной пойкилотермией Лавкрафта, его падкостью до сладкого, симптомами гипогликемии, эйдетической памятью[96], возможным ревматизмом и расстройством 1908 года мы, вероятно, так никогда и не узнаем. Загадка усугубляется еще и тем, что когда Лавкрафт говорит об ухудшениях своего юношеского слабого здоровья, мы не можем быть уверены, было ли в каком-то конкретном случае заболевание реальным или же оно было навязано несчастному юноше его невротичной матерью.

С 1909–го по 1914–й Лавкрафт превращался из подростка во взрослого, но его жизнь в течение этого периода – почти совершенно пустая страница. Вероятно, он изо дня в день сидел дома, бодрствуя ночами и засыпая лишь под утро, жадно читая, сочиняя массу георгианских стихотворений и вряд ли занимаясь чем-либо еще.

Подобный образчик поведения отнюдь не редок. Застенчивый, робкий юноша, весьма способный и рано развившийся интеллектуально, внезапно сходит со стези образования, поворачивается спиной ко всему миру и прячется от людей. Это больше упадок воли, движущей силы, нежели расстройство нервов. Выдайся ей такая возможность, и жертва может растратить даром всю свою жизнь. Принужденный работать, такой человек устраивается на мелочную работенку гораздо ниже своих способностей. Хотя этот недуг и знаком психиатрам, его причина и средство от него точно не известны.

Сюзи Лавкрафт тем не менее, несомненно, полагала, что поэтическая одаренность, которую она приписывала сыну, освобождает его от необходимости зарабатывать себе на жизнь. И когда подготовка к этому требовалась более всего, она и пальцем не пошевелила, чтобы побудить его к действию.

Одним из факторов, способствовавших длительной

праздности Лавкрафта, было его воспитание матерью в «идеалах и нерушимых традициях как основы для надлежащего самоуважения и джентльменской утонченности и взаимного невмешательства…»[97], другими словами, как быть джентльменом. Что за джентльмена она взращивала в нем, мы можем догадаться из качеств, которые он проявлял позже. Он являл собой пример викторианского идеала джентльмена: вежливый, благородный, уравновешенный, невозмутимый, обладающий хорошим вкусом, утонченный, любезный, почтенный, правдивый, скромный, рыцарственный, прямой и осознающий свое классовое превосходство.

Большинство из этих черт и сегодня являются достойными, но воспитание Сюзи не включало идею обучения, как зарабатывать на жизнь. Для викторианского джентльмена разговор о деньгах и работе показался бы пошлым, как вмешательство в чужие дела или употребление крепких словечек в присутствии дам.

Говорят, мать короля Георга III наставляла его: «Георг, будь королем!», и что многие из исполненных благих намерений, но далеких от выдающихся монарших хлопот происходили именно из его старания следовать ее словам. Так же, в сущности, и Сюзи Лавкрафт говорила своему сыну: «Будь джентльменом!» Она преуспела в превращении его в пожизненного сноба, который усыпал свои письма надменными насмешками над «невежественной чернью» или «плебейским стадом».

Лавкрафт старался быть достойным идеала джентльмена своей матери и откровенно отзывался о себе: «…джентльмен уважает кошку за ее независимость», или «…джентльмену претит брать деньги за помощь другу». Те, кто не соответствовал этому образцу, надменно получали от ворот поворот: Оскар Уайльд никогда не был «тем, кого называют джентльменом», и «всегда было нечто буржуазное и торгашеское в расчетливом мудреце» – Бенджамине Франклине. Его мать, несомненно, так и не сказала ему, что джентльмен не превозносит сам себя, и, следовательно, тот, кто говорит «Я – джентльмен», этим самым подразумевает, что таковым не является.

В последние годы жизни Лавкрафт пытался изменить такую позицию. Хотя даже в последние месяцы он все еще писал: «Я презираю торговлю, торгашество и конкуренцию»[98]. Если кто-то ничего не смыслит в торговле и вдобавок является слабым соперником, весьма удобно прикинуться презирающим торговлю и конкуренцию.

Существует два различных значения слова «джентльмен». Одно подразумевает личность с достоинствами – утонченностью

и другими, перечисленными выше. Более же старое значение, использовавшееся в эпоху барокко и раньше, обозначало принадлежность к наследственному социальному классу, ниже дворянства, но выше купцов, фермеров и рабочих. Хотя представители этого класса, естественно, думали о себе как об обладателях всех упомянутых добродетелей, главным условием принадлежности к этой категории было наследование достаточного состояния, чтобы не приходилось работать. Многие подобные джентльмены были заняты в таких благородных сферах, как закон, медицина, политика, война, наука или религия. Но зарабатывание на жизнь работой вне перечня разрешенных занятий исключало из рядов джентри. Джентльмен гордился своим незнанием плебейских дел.

С распадом средневековой классовой системы во время промышленной революции «джентльмен» все меньше и меньше подразумевал представителя этого наследственного класса и все более означал человека, обладающего хорошим вкусом, светскостью и всем остальным. Но Лавкрафт никогда – по крайней мере до последних лет своей жизни – не различал двух этих значений. Он не только старался соблюдать джентльменские добродетели, но и жить так, словно владел надежным, приличествующим джентльмену доходом.

Идеал джентльмена Лавкрафта был бездеятельным, статичным, ни к чему не стремящимся, не отвечающим кинетическому и конкурентному духу большей части Америки двадцатого столетия. Истинным предназначением джентльмена по старомодному убеждению Лавкрафта было не делать что-то – добиваться какой-то цели или что-то совершенствовать, – но просто быть – выставлять свое положение, принимать позы и подчиняться правилам социального статуса. Для такого джентльмена вопрос «А чем вы занимаетесь?» был бы бессмысленным. Лавкрафт писал: «…Мой идеал – быть абсолютно пассивным и безучастным наблюдателем…». И еще: «Наиболее действенный уход от жизни может быть достигнут путем отрицания несущегося сломя голову идеала современности и возвратом к здравым классическим принципам старины, которые утверждают превосходство быть над делать и придают особое значение необходимости изысканного досуга и праздного процесса размышлений и наслаждений, если кому-то необходимо извлекать чистое и продолжительное удовольствие из событий действительности. У восемнадцатого века была правильная идея…»[99]

Такая утонченная праздность, однако, требует независимого дохода. Джентльмены ранней эпохи обладали им по

определению. Современный писатель говорит: «…Где-то в начале века в Англии было около четверти миллиона человек без определенных занятий, бездельников, не безработных… Среди моих друзей в Лондоне было два трудолюбивых почтенных джентльмена, чьи викторианские отцы за всю свою жизнь пальцем о палец не ударили. Они лишь поздно вставали, шли к цирюльнику, затем в клуб, днем играя в бильярд, а вечером в карты. Они были вполне счастливы, предоставляя другим делать за них работу, в то время как сами жили за счет семейного состояния»[100].

Таких людей в основном принимали как нечто само собой разумеющееся и зачастую восхищались ими. В Европе подобный джентльмен назывался «flaneur», «boulevardier» или «bon vivant»[101]. П. Г. Вудхауз не без нежности высмеял этот класс. Авторы детективов выбирали его представителей в качестве образцов для сыщиков-любителей, как, например, лорд Питер Уимси или (в Америке) Фило Вэнс. Голсуорси в своей пьесе «Верность» призывает публику проникнуться сочувствием к юному джентльмену, который, лишившись средств, вынужден пойти на кражу и, будучи пойманным, кончает жизнь самоубийством; о том, чтобы пойти работать, даже нет и речи.

В Соединенных Штатах неработающий джентльмен никогда не был столь популярен. О нем наверняка нелестно отзывались как о «дармоеде» или «гуляке».

В двадцатом столетии такая праздная жизнь стала все больше и больше считаться низкой, презренной и, что хуже всего, скучной. Те, кто вел подобный образ жизни, все более чувствовали себя виноватыми. Теперь аристократическое табу на проявление интереса к деньгам практически исчезло. Так что мы имеем богатых претендентов на канувшие в лету троны, которые торгуют самолетами или как-то по-другому вращают колеса промышленности. Англоирландский лорд для привлечения туристов восстанавливает разрушенный замок, сын магараджи представляет в Индии американское промышленное объединение.

Много позже Лавкрафт действительно много работал, но разговорами о себе как о «джентльмене-любителе» и своей бедностью он создавал впечатление ведущего праздный образ жизни. Разговоры, однако, были лишь пустой похвальбой, в то время как бедность была результатом скорее его неумения распоряжаться временем и вести дела, нежели лености. Эту самую леность он старался ставить себе в заслугу.

В действительности лавкрафтовский идеал некоммерческого джентльмена был неосуществим. Даже в эпоху мечей и париков джентльмен не мог столь высокомерно отмахнуться от мыслей о

деньгах. Не заботься он о своем состоянии, он мог бы, подобно герою Голсуорси, в один прекрасный день обнаружить, что лишился его.

Так что поза Лавкрафта принадлежности к помещикам минувших дней не только притязала на образ жизни, который был ему совершенно не по средствам, но и – даже если бы у него это получилось – навлекала на него все растущее неодобрение. Поэтому его разыгрывание роли было столь же тщетным, что и попытка хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского воскресить славу рыцарства.

Успех Лавкрафта в становлении зрелым, нормальным человеком – хотя бы даже запоздало и не полностью, – которого он добился впоследствии, был целиком его заслугой. Много позже он с горечью осознал, что же с ним сделал этот эксцентричный домашний режим: «Будь я снова молодым, я бы прошел какое-нибудь конторское обучение, сделавшее меня пригодным для доходной работы… Это моя ошибка, что я никогда не думал о деньгах, пока был молодым. Тогда в этом не было острой необходимости, и я всегда полагал, что мне будет легко устроиться на скромно оплачиваемое место, когда возникнет нужда… Сегодня [в 1936 году] я охотно ухватился бы за постоянную работу с окладом десять или более долларов за неделю…»[102]

Но, как с грустью добавил Лавкрафт, «сорок шесть есть сорок шесть». Время не только уносило его своим неумолимым течением, но и бросало вниз, от лучшего к худшему, от богатства к бедности, от жизни счастливого избалованного ребенка к жизни одаренного, но несчастного и разочаровавшегося взрослого. Отсюда одним из его взрослых желаний было преодолеть каким-нибудь образом время или повернуть его назад. Он мечтал улучшить свою долю, гребя против течения времени в детство, которое помнил как период счастья.

Но время беспощадно течет лишь в одном направлении. Женщина, которая написала:

> Время, полет обрати ты свой вспять,
> Детство хоть на ночь верни мне опять![103]

– никогда не говорила, что оно ей подчинилось. Путешествие назад во времени возможно только в научно-фантастических произведениях. Лавкрафт тоже открыл этот способ временных перемещений.

Глава пятая. Дом с привидениями

Минивер, предан старине,
Пожалуй, если увидал бы
Рыцаря в латах на коне,
То заплясал бы.

Минивер всех людских забот
Бежал и знал свое упрямо:
Афины, Фивы, Камелот,
Друзья Приама[104].

Э. А. Робинсон «Минивер Чиви»

Некоторые писатели называли Лавкрафта «эксцентричным затворником», хотя последние десять лет своей жизни он едва ли был более эксцентричен или большим затворником, нежели большинство профессиональных писателей. Вне Нью-Йорка и эстетствующих местечек вроде Таоса и Кармела[105] многие писатели ведут до некоторой степени отшельнический образ жизни, потому как в непосредственной близости от них живет слишком мало других писателей, с которыми они могут поговорить на профессиональные темы. Их быт заключается в том, что они сидят дома в своей старенькой одежде, стучат по печатным машинкам, зачастую в неурочные часы, пренебрегают многими обычаями предпринимательского класса и никогда не уверены в своем доходе. Неудивительно, что своим буржуазным соседям они кажутся эксцентричными.

Впрочем, в течение пяти лет после ухода из средней школы Лавкрафт действительно был эксцентричным затворником. В возрасте, когда большинство юношей обучаются ремеслу или ищут работу, он сидел дома, не занимаясь никаким полезным делом и редко с кем, за исключением матери, разговаривая. По прошествии многих лет он предавался воспоминаниям: «В дни моей юности я часто выходил из состояния нервного расстройства, полностью отказываясь от внешних контактов и прозябая какое-то время либо, большей частью, в кровати, либо в мягком кресле в халате и тапочках».

Когда же он отваживался выйти наружу, то ходил быстрой, нелепой птичьей походкой: опущенная вниз голова, сутулые плечи, взгляд сосредоточен на земле под ногами. Он редко

узнавал тех, мимо кого проходил. Соседка вспоминала его так: «Я боялась его до смерти, словно маленькая девочка, потому что он имел привычку по вечерам быстро проходить по Энджелл-стрит, как раз когда мы играли в „зайца и собак“ на углу Энджелл и Патерсон-стрит. Его появление всегда пугало меня. Он определенно был соседской тайной. Он никогда ни с кем из нас не заговаривал, лишь проходил с опущенной головой. Время от времени я встречала его днем, но мне так и не удалось добиться от него приветствия…»

Лавкрафт продолжал страдать от загадочного расстройства, обрушившегося на него в 1908 году: «…Смертельная усталость и апатия, которые сопровождают состояние здоровья вроде того, в котором я ходил шатаясь лет десять или больше [он писал это в 1918–м]. Временами невыносима даже попытка приподняться, а малейшее усилие вызывает тупую вялость, которая проявляется в заторможенных способностях и встречающейся время от времени несвязности в моих литературных работах и письмах. …Я жив лишь наполовину – значительная часть моих сил уходит на то, чтобы подняться или пройтись. Моя нервная система – полная развалина, и я охвачен скукой и совершенно бездеятелен, за исключением случаев, когда наталкиваюсь на нечто особенно интересное»[106].

В течение этого периода оцепенения Лавкрафт не был так уж совершенно бездеятелен, как подразумевают его слова: «Дома я занимался химией, литературой и прочим; сочинял самые таинственные и мрачные рассказы, которые когда-либо написал человек! …Я избегал любого человеческого общества, считая себя слишком большим неудачником в жизни, чтобы мое положение увидели те, кто знал меня в юности и глупо ожидал от меня чего-то великого».

Лавкрафт все-таки не отказался от попыток получить формальное образование и закончил заочные курсы по химии. Он поддерживал свою химическую лабораторию в рабочем состоянии и в 1908 году получил серьезный фосфорный ожог пальца. Доктор Кларк спас палец, но после этого он плохо сгибался, и на его внутренней стороне остался глубокий шрам.

Однако после курсов по химии интерес Лавкрафта к предмету остыл. Он объяснял: «Между 1909 и 1912 годами я пытался усовершенствоваться как химик, с легкостью покоряя неорганическую химию и качественный анализ, поскольку они были моими любимыми занятиями в юности. Но в середине органической химии, с ее страшно нудными теоретическими задачами и запутанными случаями изомерии углеводородных радикалов – бензольного кольца и т. д. и т. п., – мне стало так

скучно, что я поистине не мог заниматься больше пятнадцати минут, чтобы у меня не начиналась мучительная головная боль, которая совершенно разбивала меня на весь остаток дня».

В ответ на возраставшую нервозность матери из-за его экспериментов со взрывчатыми и ядовитыми веществами Лавкрафт разобрал свою лабораторию в подвале. Так химия присоединилась к астрономии в ряду тех возможных карьер, которых Лавкрафт лишился из-за своей непереносимости скучных занятий и патологической нехватки воли. Впоследствии он признался: «Мне нужны были волшебство, тайна и выразительность наук без их тяжкого труда».

Он пробовал свои силы в живописи, рисуя пером наброски пейзажей и акварелью море. Затем забросил и это. Всю свою оставшуюся жизнь он горячо сетовал, что как бы он ни хотел уметь рисовать и писать красками, у него к этому совершенно не было способностей: «По материнской линии я унаследовал любовь к искусству. Моя мать довольно неплохо рисует пейзажи, а старшая тетя преуспевает в этом еще больше, ее полотна вывешивались на выставке в Провиденсском клубе искусств – однако, несмотря на их одаренность, я не смог нарисовать ничего лучше той пачкотни, которую вы так часто видели в моих письмах. Как я ни старался, дарования, безусловно, не доставало…»[107]

В действительности же небольшие живые наброски пером автопортретов, старых домов и кошек, которыми Лавкрафт украшал свои письма, а также карты и эскизы в его исследовании о Квебеке демонстрируют настоящий художественный талант. Задумайся он над этим и пройди формальное обучение – и он стал бы неплохим иллюстратором. Но Лавкрафт питал отвращение ко всем стеснениям обучения и никогда не понимал его необходимости для любого занятия, требующего квалификации. Это была нехватка не таланта, а силы воли. Он так и выразился в письме: «Моя слабость заключается в том, что я не могу полностью подчиняться правилам и ограничениям. Мне приходится учиться и делать что-либо своим собственным способом – согласно моим особым интересам и склонностям, – либо не заниматься этим вообще».

Легко понять, что изнеженному, избалованному и изолированному ребенку, каким был Лавкрафт, позже будет трудно смириться с тем фактом, что некоторая скука и рутина являются обычными жизненными обстоятельствами. Он иллюстрирует собой утверждение психиатра: «Высокий уровень интеллекта часто сопровождается страстным отвращением к продолжительной работе из-за нехватки выдержки и упорства».

Возможно, Лавкрафт разделял иллюзию романтиков вроде По, что подлинный художественный талант слишком чист душой и чувствителен, чтобы нуждаться в дисциплине обучения хотя бы простой технике – или даже допускать ее.

Он также сокрушался: «Равным образом у меня ничего не вышло и с языками»[108] – несмотря на то, что был довольно неплохим лингвистом-самоучкой. В школе он хорошо изучил латынь и поверхностно греческий, а позже научился читать на французском и испанском. Возможно, он успокаивал свое эго, говоря, что не сделал что-то, потому что это было совершенно ему не по силам, вместо того чтобы признать, что у него не хватило настойчивости.

Лавкрафт коллекционировал марки, но в 1915 году подарил всю коллекцию младшему кузену, Филлипсу Гэмвеллу. Он также обучал юного Гэмвелла алгебре и геометрии. Лавкрафт обнаружил, что забыл многое из того, чему научился по этим предметам в школе, и ему пришлось освежать свои знания, чтобы быть впереди ученика. Он пробовал писать детективные рассказы, но не продолжил работать в этом жанре. Кроме того: «Работы по химии – плюс небольшое исследование по истории и старине – наполняли мои немощные годы примерно до 1911–го, когда я взялся за литературу. Тогда я подверг свой прозаический стиль величайшей переработке, какую он когда-либо переносил, очистив его от некоторых низких газетных штампов и глупого подражания Джонсону»[109].

Как показывают его педантичные латинизированные ранние пробы в любительских публикациях, эта переработка стиля принесла результат лишь частично. Все еще будучи одержимым англофилией и барокко, он упорствовал в литературных англицизмах («colour», «shew», «connexion») и архаизмах («smoak», «ask'd»).

Его главным занятием в течение периода «под паром» было, однако, чтение. Он от начала до конца прочел Библию, читал романы Г. Дж. Уэллса и Жюля Верна. «Путешествие к центру Земли» Верна пробудило в нем пожизненный интерес к Исландии. Лавкрафт вслух читал матери Шекспира, озвучивая некоторые драматичные сцены с таким жаром, что соседи думали, что Лавкрафты ссорятся.

Любовь к По вдохновила его на прочтение его предшественников, готических писателей конца восемнадцатого и начала девятнадцатого века: Уолпола, Мэтьюрина, Бекфорда и миссис Радклифф. Но По так и остался его идеалом.

Он увлекся чтением журналов, среди которых были три из

серии, издававшейся Фрэнком Э. Мансеем: «Аргоси» («Корабль»), «Олл-Стори Мэгэзин» («Журнал всех рассказов») и «Кавалиер» («Рыцарь», позже объединенный с «Олл-Стори») – все предшественники так называемых «дешевых журналов», чей бурный расцвет пришелся на двадцатые-тридцатые годы двадцатого века. Как и их поздние подражатели, журналы Мансея были периодическими изданиями, целиком посвященными развлекательной литературе в основном для мужского круга читателей. Время от времени в них печаталась научная фантастика или фэнтези. Лавкрафт читал «Олл-Стори» с его первого выпуска, поскольку в нем часто публиковались сверхъестественные рассказы, которые для него были верхом художественной литературы.

В 1911 году некий уроженец Запада, на четвертом десятке, не добившийся особого успеха в карьере бухгалтера, ковбоя и железнодорожного детектива, возмутился каким-то прочитанным рассказом и поклялся, что даже он сможет написать лучше. Результатом стал роман о приключениях на Марсе. Автор, Эдгар Райе Берроуз (1875–1950), отослал произведение в «Олл-Стори Уикли» (как он тогда назывался) под шуточным псевдонимом «Нормал Бин»[110]. В 1912–м роман был опубликован серией из шести частей под заголовком «Под лунами Марса» за авторством Нормана Бина (вследствие типографской ошибки).

Последовал крупный успех, и в 1917 году произведение было издано отдельной книгой «Принцесса Марса». Это был первый из десяти марсианских романов Берроуза об отважном, рыцарственном и непобедимом Джоне Картере из Вирджинии и его жене – краснокожей, откладывающей яйца марсианской принцессе Дее Торис.

За этим романом в «Олл-Стори» последовал другой: «Тарзан – приемыш обезьян», самая удачная из всех его шестидесяти с лишним книг. С жадностью набрасываясь на произведения Берроуза, когда они появлялись в журналах Мансея, молодой Лавкрафт всячески превозносил их. Когда же он стал постарше и поискушеннее, то изменил свою точку зрения, отвергнув их как «дешевый хлам». Он упустил особенность произведений Берроуза: сами по себе они были превосходны – но как юношеские, не как взрослые. Когда Лавклафт уже не был юношей, они и увлекали его меньше.

Начиная с выпуска за 1 января 1916 года «Олл-Стори Уикли» начал публиковать произведение Виктора Руссо (псевдоним Виктора Руссо Эманьюэла), которое, возможно, повлияло на Лавкрафта. Это был роман «Демоны моря», о расе получеловеческих амфибий, которые выходят из моря, чтобы

захватить Англию. Пока они живы, они полностью прозрачны, за исключением глазных яблок, то есть практически невидимы. Пучеглазые, чешуйчатые, с перепонками между пальцев любимцы Ктулху в поздних рассказах Лавкрафта происходят, быть может, из студенистого водного народца Руссо.

Во время своего долгого оцепенения Лавкрафт не считал, что с ним плохо обращаются: «Моя семья восхитительна и добра, какой могла бы быть любая другая семья, – моя мать просто чудо предупредительности – но тем не менее меня не считают чем-то особенным: я неуклюж и неприятен». Он порицал себя за свои недостатки, ранние письма полны утверждений вроде: «У меня всегда было некоторое ощущение собственной непопулярности – я знаю, что я странный и очень скучный»[111].

Читая заявления Лавкрафта о собственной бесполезности и негодности, необходимо помнить психиатрическую максиму: «Излишняя скромность суть эгоцентризм». Уинфилд Таунли Скотт писал о Лавкрафте как о «маменькином сынке» и «робком и эгоистичном юноше». Лавкрафт, несомненно, был застенчив, и мать действительно опекала его выше всякой меры, но вот «эгоистичный» вряд ли является верным описанием. Эгоцентричный и сосредоточенный на самом себе – да, но, выйдя из многолетнего транса, всегда добрый, любезный, щедрый, насколько мог себе позволить, и порицающий скорее себя, нежели других.

Тем не менее, как и многие интроверты-интеллектуалы, он был настолько погружен в собственные мысли, что практически не знал, что думают другие. Он размышлял о себе и своих чувствах, об окружающей его среде, о мире и вселенной, об отвлеченных вопросах. Что до отдельных людей, Лавкрафт вовсе не считал их дурными, а просто не думал о них. Он сам определил это так: «Я всегда был невероятно чувствителен к общей видимой обстановке… и относительно равнодушен к людям».

О человеке, столь отстраненном и безразличном к мирским делам, столь неспособном на практике адаптироваться к окружающей среде, говорят, что у него «шизоидная» личность (не путайте с формой безумия под названием шизофрения). Скорее всего, такой человек должен быть застенчивым, сверхчувствительным, вести затворнический образ жизни, избегать близких или соперничающих отношений с людьми и быть индивидуалистом до степени чудаковатости. Все это в полной мере соответствует Лавкрафту.

Вот уже несколько десятилетий психологи и психиатры спорят, существует ли связь между шизоидной личностью, с

одной стороны, и обладанием творческими способностями, как у ученых, изобретателей, художников, писателей и других интеллектуалов, с другой. Хотя вопрос до сих пор так и не решен, некоторые действительно уверены, что такая связь есть – люди с творческими способностями обладают шизоидной личностью, и, наоборот, шизоиды более склонны к творчеству, нежели основная масса человечества.

Дом Лавкрафтов становился все страннее и страннее. Для сверхчувствительной Сюзи малейшее неудобство превращалось в серьезный кризис. От зубной боли она пронзительно кричала. Хотя она и сожалела, пускай даже смутно и слабо, об исключительной односторонности развития своего сына («…моя мать действительно считает меня деревенским неучем…»), она усугубляла положение, потакая домоседству Лавкрафта и его отчужденности от всего остального мира[112]. Один из поздних корреспондентов Лавкрафта писал: «В своей переписке с Лавкрафтом я как-то упомянул пьесу Джорджа Келли „Жена Крейга“ как ошибочную в психологическом смысле, потому что в ней миссис Крейг, хотя и страстно интересовавшаяся своим домом и ни чем больше – в том числе и собственным мужем, – тем не менее никогда не пускала в дом посетителей; эта причуда казалась мне неестественной, поскольку я полагал, что женщинам свойственно желание хвастаться своими владениями. Однако Лавкрафт поддержал изображенный Келли портрет миссис Крейг, написав, что знал именно такую женщину. Тогда я не понял, что он имел в виду свою мать. Ибо миссис Лавкрафт вместо того, чтобы всем показывать своего замечательного сына, так же не одобряла посетителей».

Соседка, Клара Л. Гесс, была приглашена в дом, но атмосфера не показалась ей уютной: «Хотя я и была моложе матери Говарда, я знала ее лучше, чем самого Говарда, который даже мальчиком был странным и большим затворником, держался один и прятался от других детей, потому что, как сказала его мать, он не выносил, когда люди смотрели на его ужасное лицо. Она, бывало, говорила о его внешности (она, кажется, была одержима этим), которая не привлекала бы особого внимания, будь он нормальным, как другие дети в обществе. Из-за его странностей они чуждались его и не разговаривали с ним.

Помню, первый раз я встретила миссис Лавкрафт, когда была еще очень маленькой девочкой, в доме покойных мистера и миссис Теодор [читай, Уиппл] Филлипс на Энджелл-стрит, где я часто бывала. В то время миссис Лавкрафт [тогда Сюзи Филлипс] жила на углу Энджелл-стрит и Элмгроув-авеню [на Энджелл-

стрит, 454]. Она была очень приятной и привлекательной, с красивым и необычно белым лицом… Она была очень нервной.

Позже, когда она переехала в небольшую квартиру на нижнем этаже в доме на Энджелл-стрит, недалеко от пересечения с Батлер-авеню, я часто встречала ее в трамвае на Батлер-авеню и однажды, после множества настойчивых приглашений, пришла к ней в гости. Тогда уже считали, что она становится довольно странной. Мой визит был вполне приятным, но атмосфера в доме была сдержанной и закрытой, казалась какой-то таинственной, а миссис Лавкрафт без умолку говорила о своем несчастном сыне, который был столь омерзительным, что прятался от всех и не любил выходить на улицу, где люди таращились на него.

Когда я возразила, что она преувеличивает и что ему не следует считать себя таким, она с жалостью на меня посмотрела, словно я ничего не понимала… Безусловно, такая обстановка была подходящей для сочинения рассказов ужасов, но неуместной для взрослеющего юноши, который в более благоприятном окружении мог бы вырасти вполне нормальным гражданином.

Говард имел обыкновение выходить в поле за моим домом изучать звезды. Однажды вечером, ранней осенью, несколько соседских детей собрались посмотреть на него издали. Чувствуя жалость к нему из-за его одиночества, я подошла к нему и спросила о его телескопе, и он разрешил мне посмотреть в него. Но его язык был таким техническим, что я ничего не поняла…

Через какое-то время миссис Лавкрафт видели уже не так часто… Иногда, вечером в начале лета, заходя за угол отправить письмо, я видела на аллее в кустах около ее дома нервно двигающуюся темную фигуру, и я выяснила, что это была миссис Лавкрафт.

Я помню тетушек, которые часто посещали небольшой дом на Энджелл-стрит, как мне кажется, спокойных и твердых маленьких новоанглийских женщин, совершенно отличных от миссис Лавкрафт, хотя и она сама по себе была очень твердой личностью. Помню, как миссис Лавкрафт рассказывала мне о таинственных и фантастических созданиях, которые выскакивали во тьме из-за домов и углов, и как она дрожала и со страхом оглядывалась по сторонам, рассказывая мне об этом»[113].

Неудивительно, что Лавкрафт писал о «домах» с жуткой атмосферой, «которых все избегали»[114], когда он сам столь долго прожил в одном из таких домов. И нет необходимости искать какой-либо другой источник для лавкрафтовских злобных инопланетных существ, выжидающих, как бы искоренить господство человека на Земле, кроме как галлюцинации Сюзи с «таинственными и фантастическими созданиями».

Ощущение населенности дома привидениями не изменилось и через несколько лет, когда Лавкрафт начал выбираться из своей раковины. В сентябре 1917 года его товарищ по любительской прессе В. Пол Кук, печатник по профессии, навестил его в первый раз. Позже он вспоминал: «Мне надо было доехать из Нью-Йорка в Бостон, и я прервал свое путешествие с целью повидать Лавкрафта… Прибыв по адресу на Энджелл-стрит, которому позже суждено было стать самым известным адресом в любительской печати, я был встречен на пороге матерью и теткой Говарда. Говард всю ночь занимался и писал, только пошел спать, и его нельзя беспокоить ни при каких обстоятельствах. Если я доеду до гостиницы „Краун“, зарегистрируюсь там, получу номер и подожду, они позвонят, когда и если Говард проснется.

Мне необходимо было быть в Бостоне тем же вечером, и на Провиденс у меня оставалось около трех часов, но через полчаса отходил поезд, на который я мог бы успеть, если бы поторопился. Я представил себя слоняющимся по Провиденсу, пока его величество не будет готов принять меня! Я уже шел к тротуару и дверь почти закрылась, когда появился Говард в халате и тапочках. Разве это не В. Пол Кук и разве не понятно, что о его приезде надо было немедленно сказать? Он почти насильно втащил меня в дом мимо стражей ворот и отвел в свой кабинет. Даже тогда, когда Говард понял, что нужно отстаивать свои права, его желаниями управляли, хотя ему и позволили с величайшей неохотой и тревогой контактировать с грубым внешним миром. Ибо перечить ему истощило бы его силы. (Вообще говоря, мне не следовало использовать здесь слово „контактировать“. Говард его ненавидел. „Я надеюсь, – сказал я, – ты простишь меня за использование этого слова“. „Вообще-то нет“, – ответил Говард. Он не признавал изменение и естественное развитие нашего языка…)»

Позже Лавкрафт согласился с употреблением таких слов – по крайней мере, их употребление привередливыми писателями вроде Кэбелла и Уортон было полным основанием правильности английского языка. Кук продолжал: «В тот день я почти полтора часа выслушивал монолог – а точнее, лекцию. Говард лишь недавно услышал о любительской прессе… Как новичок, он, конечно же, знал о ней все… Каждые несколько минут мать Говарда, или его тетя, или обе вместе заглядывали в комнату, чтобы посмотреть, не упал ли он в обморок или не проявляет ли он признаков переутомления…»[115]

При таком режиме Лавкрафт превратился в пожизненного ипохондрика – хотя он и пренебрегал своим здоровьем и отказывался от медицинского ухода. Добровольный узник своей

галлюцинировавшей матери, многое время спустя он осознал, что же с ним сделали. Он и его друг Прайс обсуждали по переписке рассказ своего молодого коллеги Дерлета, и Лавкрафт заметил:

«Я не думаю, что отказ от побега непокорной дочери совсем уж неправдоподобен. Люди действительно становятся связанными и парализованными подобно ей: они беспомощны перед семейным чувством, которое затмевает все остальное. Такое часто наблюдается среди старинных семей Новой Англии. Это, конечно же, достойное сожаления нездоровое явление, и мы можем благодарить современную эпоху за устранение основ этого типа психоза».

Вполне очевидно, кого Лавкрафт имел в виду.

Однако Лавкрафт не был совершенно изолирован. Честер Манро остался его близким другом, и Лавкрафт часто посещал его дом. Их отец, Эддисон П. Манро, вспоминал: «Говард был весьма необычной личностью, затворником с блестящим умом, но со множеством странных идей. Он неизменно бодрствовал всю ночь, а днем спал. В то время, когда я видел его чаще всего, вероятно, никакая сила на земле не смогла бы заставить его спать в какой-либо кровати кроме его собственной. Он был застенчивым и робким, и хотя я не сказал бы, что у него был комплекс неполноценности, ему явно недоставало самоуверенности. Поскольку в дневное время он не появлялся, людей он встречал мало, и круг его знакомств был узок. Противоположного пола он стеснялся и был на высоте только с немногими избранными друзьями мужского пола.

Он жил всего лишь через несколько домов от нашего и довольно часто бывал у наших сыновей. Помню, у нас была комната в подвале, оборудованная под клуб мальчиков, и с Говардом она была популярным местом. Так называемый клуб состоял примерно из полдюжины соседских мальчишек, возрастом около двадцати, и когда у них был, с позволения сказать, „банкет“, импровизированный и обычно приготовленный ими самими, Говард всегда был оратором вечера, и мои мальчики всегда говорили, что его речи были блестящими.

Время от времени мне выдавалась возможность поговорить с ним, и он всегда удивлял меня зрелостью и логикой своего языка. Один разговор я помню в особенности, я был тогда членом сената Род-Айленда, в 1911–1914 годах, и мы рассматривали несколько важных законов; Говард, оказавшись у нас однажды вечером, начал обсуждать некоторые из них, и я был поражен знаниями, которые он обнаружил относительно законов, которые обычно не представляют интереса для молодого парня двадцати лет»[116].

В 1916 году Честер Манро переехал на Юг, занялся гостиничным бизнесом и не возвращался в Провиденс много лет. Его брат Гарольд стал шерифом, а затем советником по условно-досрочному освобождению. Другие члены кружка отдалились от Лавкрафта, так что он редко их видел.

Но Лавкрафт не остался в полном одиночестве. Потому что на середине третьего десятка его здоровье улучшилось, и у него появились новые увлечения.

В начале третьего десятка Лавкрафт выглядел почти так же, как и на протяжении всей своей оставшейся жизни. Он был чуть ниже пяти футов и одиннадцати дюймов ростом[117], с широкими, но сутулыми плечами и (за исключением нескольких лет в начале двадцатых годов) худым до костлявости, с шеей четырнадцатого размера, которая казалась слишком тонкой, чтобы держать его большую голову. У него были темные глаза и волосы (которые позже стали мышиного цвета) и вытянутое лицо с орлиным носом. Его заметной чертой был очень длинный подбородок – «фонарь» – под маленьким сжатым ртом, что придавало ему чопорный вид.

Лавкрафт коротко стригся, почти под «ежик», и зачесывал волосы на левый пробор. Он оправдывал такую прическу тем, что джентльмены восемнадцатого века именно так носили волосы под париками.

Врастающие волосы на лице донимали его всю жизнь. Единственным способом лечения от этого является отращивание бороды, но, как приверженец чисто выбритой эпохи барокко, Лавкрафт ненавидел растительность на лице и заявил следующее: «Я скорее додумаюсь носить кольцо в носу, чем отращу усы…» Позже, когда некоторые его молодые литературные протеже отрастили усы (или, еще хуже, козлиные бородки), он критиковал их в одном письме за другим, убеждая их сбрить отвратительную растительность.

Из-за ночного образа жизни его кожа была бледной. Кук рассказывал, что «он никогда не любил загорать, и даже немного цвета на щеках, казалось, вызывало у него досаду. Он был единственный из всех, кого я когда-либо встречал, кто стыдился загара». Возможно, это была часть его архаичной позы. До промышленной революции бледность считалась аристократической. Загар же, поскольку многие пролетарии трудились на открытом воздухе, был клеймом плебейского занятия. В любом случае, в конце жизни Лавкрафт покончил с эти капризом, обнаружив, как благотворно на него подействовало солнце Флориды.

У него были длинные тонкие бледные руки и маленькие ступни. Из-за пойкилотермии его руки были холоднее, чем ожидали люди. Обменяться с ним рукопожатием немного походило на пожатие руки трупу.

Его одежда была чистой и аккуратной, но ультраконсервативной по стилю. На третьем десятке Лавкрафт предпочитал вызывающе старомодный внешний вид: «старательная культивация преждевременного пожилого возраста и портновской антикварности проявлялась в тугой сорочке, круглых манжетах, черном пиджаке и жилете, брюках в серую полоску, стоячем воротнике, черном галстуке-ленточке и т. д. – с соответствующими строгими и сдержанными манерами»[118]. Он также надевал черный галстук-бабочку и высоко застегивающиеся башмаки и пользовался старомодным кошельком для мелочи. Он носил отцовскую элегантную одежду девятнадцатого века, пока она не износилась.

Даже когда Лавкрафт оставил эту манерность, он тем не менее оставался консервативным в одежде. Он предпочитал темные костюмы без рисунков и черные или темно-синие галстуки, простые либо в мелкий горошек, отвергая любой четкий узор или яркий цвет как «слишком юношеские».

Для Лавкрафта на третьем десятке было немыслимо появиться в обществе без пиджака или выйти на улицу без шляпы. К подобным вольностям он относился так же, как и персонаж из романа Маркуонда: «Как-то утром, когда Тим, кучер, подъехал с экипажем… мой отец, который не спустился в свою контору в обычный ранний час… вышел с нами на крыльцо. Тогда мне не было и семи, но я помню то восклицание, которое он издал, взглянув на крыльцо из бурого песчаника дома на противоположной стороне улицы.

– Тысяча чертей, – изрек отец, – на том крыльце человек без пиджака! – На следующий день он продал свой дом, который уже оплатил, и мы переехали на Бикон-стрит».

У Лавкрафта был высокий голос, с глухим носовым тембром, столь характерным для Новой Англии. При пении это был чистый благозвучный тенор. Около 1907 года он приобрел звукозаписывающую машину Эдисона, на которую записал свои сольные партии. Он даже подумывал о карьере певца, но запись «так напомнила мне вой подыхающего фокстерьера, что я по неосторожности уронил ее вскоре после того, как она была сделана».

Когда он говорил, особенно с выразительностью, его голос становился резким. Услышав записанный на фонограф собственный голос, Лавкрафт назвал его «хриплым визгом». Он

легко улыбался, но редко смеялся, и его смех описывали как «грубое кудахтанье»[119].

Волнуясь, Лавкрафт начинал заикаться. Его нормальное произношение было типично для культурного Род-Айленда, с рифмующимися «farce» и «grass»; «scarf», «laugh» и «half»; «aren't», «aunt» и «can't». В своей обычной речи, как и в письменной, он тяготел к педантичной многосложности – он был из тех, кто вместо «я собираюсь попить» сказал бы «я попытаюсь достать жидкости для подкрепления».

С незнакомцами он вел себя осторожно, натянуто и очень официально, но, когда узнавал людей достаточно, чтобы расслабиться при них, становился очаровательным собеседником. Его прославленная поза джентльмена восемнадцатого века воспринималась в шутливом и причудливом духе, отнюдь не серьезно.

В конце 1909 года корь, «черт, чуть не прикончила меня». С тех пор, за исключением психоневротической слабости, состояние его здоровья было довольно хорошим, особенно принимая во внимание его ночной образ жизни, неполноценную диету и отсутствие регулярных тренировок. Лавкрафт не любил осмотры у врачей и дантистов и посещал их лишь через большие промежутки времени. Он выглядел вполне нормально, и доктора не находили у него никаких четко выраженных нарушений.

Когда ему было тридцать, его коллега по любительской печати, бруклинский адвокат Джордж Джулиан Хоутейн, навестил его дома и вскоре после этого встретился с ним на съезде издателей-любителей. В итоге он поведал в своем журнале: «Лавкрафт искренне полагает, что он нездоров – что у него унаследованная нервозность и приобретенная утомляемость. В его крупной фигуре и хорошо сложенном теле никогда не заподозришь какой-либо недуг… Я пришел к заключению, что он желает превозмочь это и превозмог бы, но у него нет для этого возможности, потому как его домашние не дадут ему забыть об этой наследственной нервозности. И тогда Лавкрафт является психическим и физическим гигантом – не благодаря, а вопреки этим условиям».

В одном из писем Лавкрафт горестно отстаивает свою инвалидность: «Если вы получили „Зенит“ Дж. Дж. Хоутейна, вы увидите, какое впечатление я произвел на постороннего – крепкий, изнеженный ипохондрик, облениившийся из-за потакающих родственников и ложных представлений о наследственности. Если бы Хоутейн знал, как неизменны мои усилия против чудовищной головной боли, приступов головокружения и нарушения способности сосредотачиваться,

которые давят на меня со всех сторон, и как лихорадочно я стараюсь использовать для работы каждый имеющийся миг, он был бы менее самонадеян в определении моих болезней как мнимых».

Термин «психосоматическое заболевание» еще не вошел в общее употребление, но Лавкрафт уловил идею. Много позже он писал: «Чем больше мы узнаем о психологии, тем меньше различий мы можем сделать между нарушениями, известными как „психические“ и „физические“. Нет ничего печальнее, чем невротичный темперамент, и я сам склонен к нему вполне достаточно, чтобы глубоко посочувствовать любому, кто страдает от приступов мрачной депрессии. В молодости я множество раз был столь измучен единственно лишь бременем сознания и психической и физической активности, что вынужден был бросать школу на больший или меньший период и брать полный отдых ото всех обязанностей…»

Личные пристрастия Лавкрафта в еде не способствовали его здоровью. К еде в целом он был безразличен, презирая гурманство и гордясь своей скудной диетой. Он полагал, что его мозг работает лучше, если он слегка голоден.

Вопреки стараниям матери откормить его, он следил за своим весом, стремясь сохранить его меньше ста пятидесяти фунтов[120]. Худоба, по его суждению, была аристократична. Когда увидел, что его друг Кук – маленький человечек, но хороший едок – набирает вес, он отнесся к этому крайне неодобрительно. На День благодарения 1911 года он не разрешил себя будить, чтобы пойти на празднование, на которое его с матерью пригласили Кларки. Взамен он написал Сюзи стишок:

> Когда на праздник к Лили ты пойдешь,
> Храпящим громко коль меня найдешь,
> То не буди, хочу я полежать
> И целый день во сладком сне проспать.
> Голодным чтоб не умер без еды,
> Пшеничных хлопьев рядом положи
> Иль с завтрака печенье – не беда,
> Коль пост оно нарушит после сна.
> А если ужинать там будешь вдруг,
> Веселый так чтоб завершить досуг,
> По телефону извести меня —
> Тогда я приготовлю для себя[121].

Лавкрафт не любил молоко и жир, ненавидел морепродукты и был требователен к овощам, не признавая фасоль и спаржу. Он

обожал сыр («Как можно не любить сыр?» – писал он), мороженое, кофе с четырьмя-восемью ложками сахара на чашку и сладости. Один его гость как-то увидел, что его ванна полна пустых коробок из-под конфет. В 1927 году Лавкрафт со своими друзьями Дональдом Уондри и Джеймсом Мортоном зашел в кафе-мороженое миссис Джулии Э. Максфилд в Уоррене, штат Род-Айленд, реклама которого обещала тридцать два сорта мороженого.

– И все они в наличии? – спросил Лавкрафт.

– Нет, – ответил официант, – сегодня только двадцать восемь, сэр.

– Ах, упадок современных коммерческих институтов! – вздохнул Лавкрафт. Они заказывали по двойной порции разных сортов и менялись друг с другом частью своей порции, так что каждый пробовал три сорта за один заказ. Уондри вскоре сдался, но Мортон и Лавкрафт триумфально перепробовали все двадцать восемь сортов, поглотив более двух кварт[122] мороженого каждый в один присест.

Лавкрафт испытывал неподдельный ужас перед морепродуктами. Любая попытка заставить его съесть их, утверждал он, немедленно вызвала бы у него рвоту. Раз кто-то исподтишка поставил перед ним салат, содержащий дары моря, – но он мгновенно отставил его в сторону, заключив по запаху, что в нем что-то испортилось.

Когда в 1933 году Лавкрафта навестил Эдгар Хоффманн Прайс, он отвез своего гостя в Потакет, чтобы тот смог насладиться знаменитым местным обедом из распаренных моллюсков. Лавкрафт сделал заказ для Прайса и заявил: «Пока вы будете есть эту треклятую дрянь, я перейду улицу и закажу сандвич, прошу извинить меня». Лавкрафт редко ругался. Он берег свои «проклятия» для торжественных случаев, вроде зрелища человека, поедающего эту «ужасную дрянь». И это отнюдь не совпадение, что чудовища из его поздних рассказов походят на комбинации различных обитателей аквариума, наделенных колоссальными размерами и злобным интеллектом.

Ненависть Лавкрафта к морепродуктам связана с приписываемым ему страхом и неприязнью к морю. В своих рассказах он часто использовал море наравне с холодом, сыростью и темнотой как символ зла. Однажды он сказал Дональду Уондри: «Я ненавижу рыбу и боюсь моря и всего связанного с ним с двухлетнего возраста»[123]. Подобное отвращение к какой-либо пище может появиться, если человеку стало очень плохо после того, как он ее поел, – независимо от того, была ли она причиной ухудшения состояния, или нет – и это

может быть случаем Лавкрафта.

Что же касается моря, то это было лишь наигранностью. Большую часть жизни Лавкрафт провел в портовых городах, да и большинство его поездок были в морские порты, и он наслаждался путешествиями на пароходах в открытом море, пускай их было и немного.

Хотя после исчезновения Черномазого Лавкрафт больше не заводил животных, он любил кошек до безумия. Он утверждал: «У меня нет настоящей неприязни к собакам – не больше, чем к обезьянам, людям, торговцам, коровам, овцам или птеродактилям». Впрочем, другие его высказывания о собаках вроде «шумные, вонючие, лапающие, пачкающие, грязные» и «пыхтящие, хрипящие, скулящие, слюнявые» выражают настоящую неприязнь. Упоминание характеристик «лапающие» и «пачкающие» указывает на отвращение к физическим контактам с другими созданиями, которое Лавкрафт мог перенять от своей матери.

Он заводил дружбу со всеми соседскими кошками, где бы ни жил, и приучал их приходить к нему, приманивая мышками из кошачьей мяты, чтобы они с ними играли. Он чрезмерно восхвалял их красоту, изящество, независимость и другие предполагаемые аристократические черты: «Итак, собаки – крестьяне и животные крестьян, кошки же – джентльмены и животные джентльменов»[124]. Когда он приехал к Куку и на его коленях устроился спать котенок, он просидел всю ночь, чтобы не потревожить животное.

Другими отличительными чертами Говарда Филлипса Лавкрафта были невосприимчивость к ядовитому плющу и способность обходиться без сна на протяжении долгого времени. Когда он встречался с Прайсом в Новом Орлеане в 1932 году, они провели за разговорами, осмотром достопримечательностей и общением двадцать восемь часов кряду. К концу этого времени Прайс был рад завалиться в кровать. Когда же он проснулся восемь часов спустя, его взору предстал Лавкрафт, усердно писавший заметки о своей поездке: он так и не ложился.

Помимо психологических объяснений ночного образа жизни Лавкрафта – что ночь стимулирует воображение или что он серьезно относился к утверждениям матери о своей «омерзительности», – может быть и метаболический фактор. Гости отмечали, что Лавкрафт казался бледным и изнуренным днем, но заметно оживал при наступлении ночи. Большинство его произведений было написано ночью. Когда он работал в дневное время, то имитировал ночь, закрывая шторы и включая электрический свет. Старретт писал: «Он был своим самым

фантастическим творением – Родериком Ашером или Ш. Огюстом Дюпеном, родившимся на век позже. Как и его герои в гигантском кошмаре По, он воображал себя трупной, загадочной фигурой ночи – мертвенно-бледным, ученым автором некрологов – и совершенствовал природное сходство с ней, пока она не стала почти реальной, хотя в общем и целом он был „книжным малым“».

Альфред Галпин, один из его давнишних друзей, вспоминал свои ранние впечатления о Лавкрафте так: «Насколько я могу судить, все, кто встречался с Лавкрафтом – независимо от того, каким странным он мог показаться им поначалу, – вдруг и искренне влюблялись в него. Определенно, он был одним из тех, чья нелюдимость – если и когда он был нелюдимым – была вызвана отчужденностью от людей, среди которых он оказывался по воле случая и с которыми у него не было ни малейшего чувства общности; но когда он чувствовал, что находится в родственной по духу компании, у него появлялись мальчишеские обаяние и воодушевление, которые совершенно затмевали его хорошо известные физические особенности: странная, наполовину мертвецкая, наполовину высокомерная вздернутость головы, отягощенной громадной челюстью, до некоторой степени рыбьи глаза, никак не согласующиеся с его оживленной и дружеской манерой, когда он начинал говорить – но каким странным высоким голосом!»

Крайне стеснительный, Лавкрафт упражнялся в приличествующей джентльмену сдержанности и невозмутимости, пока они не стали для него естественными. Рассердившись, он просто становился более холодно вежливым. Такой идеал полного эмоционального самоконтроля мог подогревать его неприязнь к выходцам из Средиземноморья с их более оживленной и общительной культурной традицией.

Он думал о себе как о неком бестелесном интеллекте, не отягощенном человеческими страстями: «Я никогда не буду очень веселым или очень грустным, ибо я более склонен анализировать, нежели чувствовать. То веселье, что есть у меня, всегда исходит из сатирического принципа, а грусть, что есть у меня, не столько личная, сколько безбрежная и ужасная меланхолия от боли и тщетности всей жизни…»[125]

Позже он показал, что внутри старого Лавкрафта находится совершенно другой Лавкрафт, старающийся выбраться наружу: общительный, словоохотливый, очаровательный, сердечный и физически активный. Этот Лавкрафт все-таки смог появиться – но лишь частично и слишком поздно, чтобы полностью изменить его образ жизни. Тогда же он с грустью признался: «Я безмерно

сожалею об отсутствии традиционной образованности – фехтования, искусства верховой езды, военной службы и т. д. и т. п., причиной чему было мое слабое с детства здоровье и недостаток понимания достоинства всестороннего образования».

В течение периода «под паром», говорил Лавкрафт, он был расточительным: «Вплоть до 1910–го или 1915 года вряд ли кто был столь необдуманно беспечен в расходах, как я, – даже несмотря на то, что крупный крах семейного состояния произошел еще в 1904–м. Моя мать говаривала, что для богача я совершенно разорен, а для бедняка крайне испорчен».

Хотя Сюзи и могла сказать такое, довольно трудно представить, на что Лавкрафт мог тратить много денег – несколько астрономических и химических приборов до 1912 года, а после книги да журналы. У него не было автомобиля, он не путешествовал и никогда не владел большим гардеробом. Обычные пороки обжорства, пьянства, азартных игр и блуда были не для него. С конца третьего десятка он, несомненно, вел строгую экономию, сохраняя все свои старые безопасные бритвы, чтобы перетачивать их на патентованной машинке для заточки[126].

Продолжай Лавкрафт и дальше идти по дорожке, которую наметил за годы оцепенения, он жил бы как один из самых загадочных смертных и, возможно, умер бы, как и оба его родителя, в больнице для душевнобольных. Но вместо этого он в течение 1913–1917 годов постепенно пробудился и начал медленный, мучительный процесс воссоединения с человечеством.

За этот период Лавкрафт возобновил написание газетных астрономических статей. Он начал создавать круг корреспондентов, присоединился к движению любительской печати и обзавелся близкими друзьями, заменившими разъехавшихся товарищей детства. И он прочел некую книгу. Эта книга увела его в ненормальном псевдонаучном направлении, на исправление которого у него ушло двадцать лет и которое с тех пор предоставляет оружие против него его самым ожесточенным критикам.

Глава шестая. Сверхчеловек-любитель

За что же грязным чужакам дано
Жить там, величье саксов где пало,
В позоре и разврате вырождаться,
Как обезьяны средь руин селятся?
…
Слышны в селенье крики чужаков,
И бродит возле винных погребов,
Пороча имя «человек», толпа,
«Американцами» зовя себя[127].

Г. Ф. Лавкрафт «Падшая Новая Англия»

В 1913 году здоровье двадцатидвухлетнего Лавкрафта улучшилось, хотя он еще долго продолжал описывать себя как «практически нервная развалина, неспособная регулярно уделять чему-либо внимание или выполнять определенные обязательства». Он жаловался на утомление, апатию и чувство наступившей зрелости. «Взрослость, – писал он, – это ад»[128].

Тем не менее он начал выходить из изоляции, словно перезимовавшее насекомое осторожно пробуя усиками воздух весны. Первым признаком его пробуждения было письмо из тысячи трехсот слов в «Аргоси», в котором он назвал себя «эксцентричным занудой времен королевы Анны». Письмо осуждало произведения популярного автора Фреда Джексона. Грех этого человека состоял в том, что он писал любовные романы: «Хоть я и не желаю быть чрезмерно придирчивым к каждому автору, должен признаться, что джексоновский стиль повествования вызвал у меня гораздо больше неприязни, нежели интереса, и я должен выразить изумление той исключительной

благосклонности, которую издатели „Аргоси“ и „Кавалиер“ оказывают era создателю…

Существует многочисленный круг людей, чей главный литературный источник наслаждения заключается в следовании за вымышленными нимфами и пастушками через лабиринты любовных приключений и которые полагают, что повествование о завоеванной или утраченной любви так же захватывающе и занимательно, как и рассказ о спасенном или уничтоженном королевстве.

Таких произведения Джексона всецело удовлетворяют, но они, как я полагаю, не являются типичными читателями „Аргоси“. Последние предпочитают, я уверен в этом, более живой тип рассказов, где больше отважных деяний, нежели любовных историй. Что касается меня, я всегда предпочитал „Энеиду“ Вергилия „Науке любви“ Овидия.

Не говоря о самом выборе темы, я осмелюсь описать джексоновскую манеру как ограниченную, женоподобную и местами непристойную.

Автор отмечает мельчайшие подробности одеяний своих героинь с пристрастием портного и описывает меблировку и убранство их покоев, словно домохозяйка или горничная»[129].

И так далее на протяжении двух колонок. Что касается «непристойности» «эротической литературы» Джексона, по сравнению с сегодняшней все произведения в журнале были мягкими, словно молочные тосты. Но Лавкрафт был закомплексован в сексуальном плане до такой степени, что его стесняло любое обращение к этому фундаментальному разделению рода человеческого.

Письмо вызвало поток откликов. То, что Лавкрафт выражал недовольство использованием Джексоном «заморских слов», предоставило его критикам благоприятную возможность: «Ему бы использовать поменьше прилагательных и побольше слов, с которыми знакома широкая публика, нежели „labyrinthine“ („запутанный“), „laureled“ („увенчанный лаврами“), „luminary“ („светило“), „lucubration“ („загруженность деталями“) и многие другие…»

«Меня раздражают люди вроде Говарда Филлипса Лавкрафта. Я буду ежемесячно выплачивать ему пятьдесят центов, если он перестанет читать „Аргоси“. Джексон – великий писатель… Я – ковбой, и, несомненно, с удовольствием разрядил бы свой шестизарядный револьвер сорок четвертого калибра в этого Лавкрафта. На веки ваш. Извините за карандаш, с чернилами на ранчо Бижо туго»[130].

Несломленный Лавкрафт ответил поэмой в сорок шесть строк

под названием «Ad Criticos»:

Что за протесты взор терзают мой?
То Джексона льстецы встают стеной!
Они, в любовных россказней плену,
Верны кумиру честно своему;
Слащавые интриги защищают,
Проклятьями покой мой нарушают.
…
Строчить, пресладкий Джексон, продолжай
И публику дурную ублажай.
Покрыли во Второго Карла время
Уичерли и Драйден срамом сцену;
И задает эротика вновь тон,
Звучит лишь твердых духом громкий стон…[131]

Война слов продолжалась весь 1914 год. Вдохновленные «Ad Criticos», некоторые читатели предлагали свои комментарии в стихах. Джон Рассел, шотландец, проживавший в Тампе, штат Флорида, написал:[132]

Лавкрафт на прозу стих сменял,
Сказав: он знает то, что знал.
Я должен мысль упомянуть,
Что знал-то он совсем чуть-чуть.
…
Он говорит, создаст роман,
Страстей чтоб осветить обман.
Читатель, поищи товар —
Последний изданный словарь[133].

В октябрьском выпуске 1914 года редактор обособил рубрику «Вахтенного журнала» под заголовком «Фред Джексон, За и Против», опубликовав в ней письма за и против Джексона и Лавкрафта. Между тем Лавкрафт, нашедший рифмованное возражение Рассела забавным, написал ему и завязал с ним дружбу. Они представили два совместных стихотворения. Рассел написал «Конец джексоновской войны»:

О сэр, достанет дюйма для изданья
От критиков совместного прощанья.
Давно свою мы ссору развязали,
Клянут уж нас, что ваш «Журнал» украли!

Простите падших, что посметь могли
В сокровищницу с ядом слать стихи.
…
Кончаются всё ж распри иногда,
Встречаются враги вновь как друзья:
Вот так и мы – мир прочный заключим,
Отложим перья, ругань прекратим.
Но что за шум? Звучит то ликованье
От тысяч благодарных за прощанье.

Лавкрафт сочинил «Наши извинения Э. М. В.»:

Это голос придиры,
Послушайте плач:
«Вот Лавкрафт и Рассел
С поэмой опять.
Я, правда, уверен,
Что это позор,
На что они тратят
Бумаги простор.
„Журнал“ этот ведь
Для критики дан,
Они ж полагают,
Печатать чтоб брань.
Редактор, молю,
Заставьте их молчать,
А то они станут
Себя ИМ считать».
Волненья оставьте,
Э. М. В. дорогой,
Впредь своими стихами
Ваш не тронем покой[134].

Полемика завершилась, но Лавкрафт продолжал писать в «Аргоси» и «Олл-Стори». В одном из писем излагаются его литературные пристрастия: «В настоящую эпоху пошлого вкуса и убогого реализма подлинным утешением является чтение таких изданий, как „Олл-Стори“, которое всегда находилось и находится и поныне под влиянием художественных школ По и Верна…»

Его последние письма в журналы Мансея, в 1919–1920 годах, превозносили автора приключенческих историй Фрэнсис Стивене, входившую наряду с Зейном Греем и Эдгаром Райсом Берроузом в

число его любимых писателей. Также он вставлял и колкости: «Почему бы одному из ваших объединений талантливых писателей не порадовать нас первоклассной историей без поцелуев и объятий в конце? Некоторые уже сыты по горло любовными романами»[135].

Бедный Лавкрафт, у которого никогда не было свидания с девушкой, который никогда не оставался с ней один на один и которого с детства не целовала даже мать! Приведенные выше два письма в «Аргоси» были подписаны «Август Т. Свифт», ибо Лавкрафт был расточителен на псевдонимы. Это имя объединяет термин «августейшая эпоха», относящийся к дарствованию королевы Анны (1704–1714), и фамилию одного из светочей Лавкрафта[136]. Он был тогда деятельным сотрудником любительских журналов. Часто имея две или больше публикаций в одном издании, он использовал псевдонимы во избежание видимости монополизации печатных мест. Помимо Августа Т. Свифта, он также печатался как Лоренс Апплетон, Джон Дж. Джонс, Хэмфри Литтлвит, Арчибальд Мэйнворинг, Генри Педжет-Лау, Уорд Филлипс, Ричард Ралейх, Эмес Доуренс Роули, Эдвард Софтли, Льюис Теобальд-младший, Альберт Фредерик Уилли и Зоилий.

Все, кроме последнего, старые добрые американские имена, некоторые позаимствованы из семейного древа Лавкрафтов. Использование псевдонимов вызывает у биографов писателя некоторые затруднения, поэтому все его произведения могут быть так никогда и не установлены полностью[137].

Пока бушевала джексоновская война, Лавкрафт, не переставший вести астрономические записи, возродил свои газетные очерки. Начиная с 1 января 1914 года в «Провиденс Ивнинг Ньюз» печаталась его ежемесячная астрономическая колонка. Публикации продолжались без перерывов до мая 1918–го. Затем, как выразился Лавкрафт, «газета была продана демократам», и «смена правления вызвала потребность в изменении стиля, к чему я отказался присоединиться»[138]. Еще одна серия из восемнадцати астрономических статей появилась в 1915 году в «Газетт-Ньюз», Ашвилл, штат Северная Каролина. Связь Лавкрафта с этой газетой была, вероятно, осуществлена через его друга детства Честера Манро, жившего тогда в Ашвилле.

Статьи в «Ивнинг Ньюз» имели объем тысяча четыреста – тысяча восемьсот слов каждая. Обычно они появлялись в первое число месяца, но иногда несколькими днями раньше или позже. В них приводились голые астрономические факты – фазы луны,

положения созвездий и планет, – а также кое-что еще.

Лавкрафт пересказывал древние мифы о планетах и созвездиях, приводя античные поэмы Арата, Манилия и Овидия в переводах Драйдена, Аддисона и других писателей эпохи барокко. Он также включил и несколько своих поэм. Лавкрафт выразительно рассказывал читателям об истории астрономии и философии науки: «Над юго-востоком горизонта в буйном великолепии медленно появляется Скорпион со своей сверкающей ярко-красной звездой Антарес – подобающее знамение для огненных сцен, что ожидают наших воинов на кишащих фрицами равнинах Франции. Созвездие Скорпиона – самое впечатляющее и характерное из летних групп, и оно будет лучезарно сиять в последующих месяцах. К западу от него, полностью достигая меридиана, горизонт наполняют крайние части созвездия Центавра. Вся группа, в том числе ее ярчайшие звезды, на нашей широте не наблюдается. Альфа Центавра, самая яркая звезда этого созвездия, является нашим ближайшим звездным соседом и расположена на расстоянии 25 000 000 000 000 миль от Солнечной системы. Такое гигантское по земным меркам расстояние, считающееся бесконечно малым в звездном пространстве, является убедительным свидетельством беспредельности размеров видимой вселенной, не говоря уже о потрясающей концепции абсолютной бесконечности. Изучение бесконечных пространства и времени – действительно самая поражающая воображение особенность астрономической науки. Человечество со своими напыщенными притязаниями превращается в совершеннейшее ничто, когда рассматривается относительно неизмеримых бездн бесконечности и вечности, разверзающихся над ним. Вся эпоха существования человечества, или Солнца и Солнечной системы, или самой видимой Вселенной – лишь незначительный миг в истории вращающихся сфер и потоков эфира, составляющих все мироздание, истории, у которой нет ни начала, ни конца. Человеку, далеко не главнейшему и величайшему объекту Вселенной, со всей очевидностью показывается, что он является лишь случайностью – возможно, несчастной – естественного устроения, чья безграничная протяженность низводит его до полнейшей ничтожности. План Вселенной в целом, несомненно, совершенно безразличен к его присутствию или отсутствию, к его жизни или смерти. Даже зримая нами гигантская вселенная всего лишь атом в абсолютно неограниченном пространстве, простирающемся повсюду…» Современный литератор попытался изобразить астрономическую бесконечность в белом стихе, описав в нем сон или видение:

«Я в космосе зрел искру серебра,
Что жалкий значила предел познаний,
Его вселенной смертные зовут.
Кругом, со звездочку как будто каждый,
Миры сверкали, нашего огромней.
Ночами как безлунными Путь Млечный
В сиянье звезды без числа являет
Земному взору, всяк звезда суть солнце,
Так вид тот светом лился в душу мне;
Завеса с драгоценными камнями,
И каждый – мир могущественный солнц —
Вселенные все, пред моим что взором,
Лишь атом в бесконечности пространстве».

«Современный литератор» – это сам Лавкрафт[139]. В другой раз он остановился, не пожалев мрачных красок, на возможном конце вселенной: «Фундаментальный принцип физики заключается в том, что ни материю, ни энергию невозможно создать или уничтожить. Поскольку звезды и туманности непрерывно выделяют энергию в виде света и тепла и поскольку они не могут создавать ее больше, чтобы возмещать свои потери, то из этого следует, что однажды их энергия будет полностью рассеяна в бесконечности в виде постоянных волн лучистого тепла, слишком слабого, чтобы производить какой-либо заметный эффект. Итоговая картина опустошения будет действительно ужасной. Гигантская вселенная – могила беспросветного полуночного мрака и вечного арктического холода, в которой будут кружить, темные и холодные, солнца с роями мертвых замороженных планет, устланных прахом несчастных смертных, которые погибнут, когда их господствующие звезды угаснут на небесах».

В своих колонках Лавкрафт сцепился с другим сотрудником «Ивнинг Ньюз», астрологом Хартманном. В одной из своих ранних статей Лавкрафт заявил: «Автор с сожалением отмечает нынешнюю весьма опасную эпидемию астрологического шарлатанства, имеющую место в нашем городе. Вера в способность звезд и планет предсказывать будущее, несомненно, является предрассудком грубейшего рода и самой нелепой чертой нашей просвещенной эпохи. Тем не менее оказалось, что искоренить напасть астрологии крайне трудно, и слишком много людей посредственной культуры до сих пор надуваются ее абсурдными притязаниями.

Поскольку при существующих законах практически

невозможно преследовать судебным порядком и наказывать астрологов, не платящих налоги за свое нечестивое ремесло, мы должны разить зло с другой стороны и стремиться подорвать астрологию, распространяя астрономические истины, возвышая таким образом общественность над уровнем шарлатанов, процветающих благодаря всеобщему невежеству»[140].

Лавкрафт также написал статьи «Наука против шарлатанства» и «Ложь астрологии». Хартманн продолжал публиковать свои статьи по вавилонской лженауке, и Лавкрафт вспомнил кампанию декана Джонатана Свифта против астролога Партриджа. В 1708 году Свифт под псевдонимом «Исаак Бикерстафф» издал памфлет, в котором, якобы основываясь на астрологических расчетах, среди других предрек и смерть Партриджа. Когда срок минул, Свифт напечатал следующий памфлет, объявивший, что Партридж умер, как и предсказывалось. Многие этому поверили, и Партридж пережил ужасные времена, доказывая, что он все еще жив.

Пародируя Хартманна, Лавкрафт писал статьи под именем «Исаак Бикерстафф-младший» и сделал еще более фантастические предсказания – например, что в 4952 г. н. э. Земля взорвется, но человечество спасется, перескочив на направляющуюся к Венере комету. Увы! Надежды Лавкрафта подорвать веру в астрологию просвещением публики оказались несбыточными. Разумные люди пытались сделать это еще со времен Марка Туллия Цицерона, но древнее суеверие до сих пор живет.

Лавкрафт нес знамя научного материализма всю свою жизнь. В 1917 году некий «корреспондент притворялся, что ему снятся сны, схожие с некоторыми моими, которые я прежде описывал», с целью доказать свою оккультную или телепатическую общность с Лавкрафтом. Лавкрафт выдумал сны и послал этому корреспонденту их крайне подробное описание. Естественно, тот ответил равно выразительным отчетом о своих снах, схожих с теми, что сочинил, но никогда не видел Лавкрафт.

Результатом войны слов вокруг Фреда Джексона явилось то, что Лавкрафт открыл для себя любительскую прессу, которая существовала как организованное увлечение уже около века. Многие из известных людей, как, например, Бенджамин Франклин, Роберт Льюис Стивенсон и Томас Эдисон, в юности издавали журналы или газеты с материалами, написанными ими и их друзьями – больше для забавы, нежели ради денег.

Хобби, однако, получило значительное распространение с

изобретением в конце шестидесятых годов девятнадцатого века нескольких типов небольших и дешевых печатных станков. Издатели-любители начали обмениваться своими изданиями, как поклонники научной фантастики делали это с тридцатых годов двадцатого века.

Американцы известны как самые энергичные в мире организаторы. Забросьте их, даже немного, на необитаемый остров, и первым их делом будет составление конституции, избрание должностных лиц и назначение комитетов. Поэтому и издатели-любители, как и другие американцы с хобби, собрались вместе и учредили организацию. Национальная ассоциация любительской прессы (НАЛП) была основана в 1870–1871 годах, но из-за недостатка интереса закрылась в 1874–м. Второй клуб с таким же названием образовался в 1876–м и с тех пор неизменно рос.

Многие издатели-любители были писателями-неудачниками, издателями-неудачниками или политиками-неудачниками. Они соперничали, враждовали и интриговали с усердием и ловкостью кандидатов на государственные должности. Они набирали новых членов, говоря им, что их произведения слишком хороши для коммерческого издания. Лавкрафт определил любительскую печать так: «Любительская пресса – это развлечение, но больше, нежели просто развлечение. По сути это самопроизвольное стремление к беспрепятственному художественному выражению тех, кто не может говорить в общепризнанном литературном русле так, как они для себя выбрали. Как таковая любительская пресса обладает основными принципами, которые способствуют ее долговечности»[141].

Любительские издания сильно разнились и по формату, и по качеству. Многие из них не пошли дальше выпуска «том I, № 1». Они частенько раздражают исследователей отсутствием таких деталей, как даты или номера страниц, и порой напечатаны на бумаге такого низкого качества, что сегодня, спустя полвека или больше, просто рассыпаются в пыль.

Для многих любительская печать была приятным и безобидным увлечением, не очень дорогим и не без творческого начала. Однако, как и другие приверженцы различных хобби, некоторые относились к своему увлечению серьезнее, чем к профессиональной работе. Они погружались в любительскую прессу, пренебрегая другими интересами. Через несколько лет и Лавкрафт оказался в этой категории.

В девяностых годах девятнадцатого века авторы писем в читательские колонки юношеских журналов организовали Объединенную ассоциацию любительской прессы (ОАЛП). Она не

замышлялась как соперник НАЛП, ибо ее основатели просто не знали о существовании более старой организации. Отношения между двумя группировками обычно были товарищескими, хотя всякий раз, когда кто-нибудь предлагал объединить оба общества, разгоралась вражда.

Обе ассоциации переживали потрясения с обвинениями в махинациях с выборами и противоправных должностных действиях. Чиновники увольнялись, члены исключались, ассоциации дробились, словно амебы. В 1900 году ОАЛП разделилась на две фракции, а в 1905–м, уже после воссоединения, на три.

В 1912 году победивший на выборах ОАЛП Гарри Шеферд исключил из организации занявшую второе место Хелен Э. Хоффман, обвинив ее в мятеже. Тогда мисс Хоффман провозгласила себя подлинным, законным президентом и учредила собственную фракцию как соперничающую организацию с Эдвардом Ф. Даасом в качестве официального редактора и Морисом Винтером Мо, школьным учителем из штата Висконсин, в качестве официального критика. Работа критика заключалась в чтении всех любительских журналов членов организации, присланных для распространения, и написании статей для официального органа с тактичной критикой.

Таким образом, в 1914–м существовали две группировки, каждая из которых именовала себя Объединенной ассоциацией любительской прессы. Фракции даже официальные органы издавали под одним и тем же названием – «Юнайтед Аматер».

Затем Даас заметил в «Аргоси» обмен письмами между Джоном Расселом и Лавкрафтом. Полагая, что подобная литературная энергия не должна растрачиваться впустую, он связался с обоими. Он посетил Лавкрафта по пути в Нью-Йорк на собрание клуба «Синий карандаш», местного общества любительской прессы. Даас убедил и Лавкрафта, и Рассела вступить в его фракцию ОАЛП. Эдвард Ш. Коул из Сомервилла, штат Массачусетс, на протяжении долгого времени сотрудничавший как с НАЛП, так и с ОАЛП, выслал Лавкрафту пачку любительских работ для критики. (В 1916 году Коул женился на мисс Хоффман. Тремя годами позже миссис Коул умерла при проведении незначительной хирургической операции.) Лавкрафт ответил: «Вполне вероятно, что мои первые попытки на поприще критика не будут отвечать установленным вами высоким критериям, но я надеюсь, что не буду признан вами негодным. Моим намерением будет проявление беспристрастности, простоты и милосердия, нежели демонстрация способностей или литературных навыков, и я буду

рассматривать ваши блестящие рецензии как образец, а не как объект соперничества.

Хотя я вряд ли могу надеяться, что моя тяжеловесная проза и громоздкие пятистопные ямбические двустишия встретят одобрение кого-либо столь правильного в своих пристрастиях, я с нетерпением буду ожидать непредвзятого суждения РЕЦЕНЗЕНТА о моих нескольких литературных пробах, которые вскоре появятся в различных любительских изданиях. Мой идеал в английском языке – восстановление достоинства и правильности восемнадцатого века как в прозе, так и в поэзии. Идеал, который лишь немногие разделяют со мной и который, вероятно, вызовет изрядную долю едкого сарказма…»

После некоторого опыта работы в качестве официального критика любительских изданий Морис В. Мо пришел к циничному заключению, что такая критика была «тщетной, безрезультатной и ненужной», потому как «на заурядный ум никогда не подействует простой совет, более или менее приправленный лестью; с другой же стороны, настоящая критика вызывает такую враждебность со стороны автора рецензируемых работ, что ее назначение совершенно не выполняется». Лавкрафт, однако, продолжал служить делу критики и вести колонки любительской критики всю свою оставшуюся жизнь в надежде повысить национальные стандарты литературы.

Хотя Лавкрафт добился огромного влияния в любительской печати, он так и не смог обратить своих собратьев по хобби в традицию восемнадцатого века. Впрочем, его очерки и барочные стихотворения печатались любителями нарасхват. Поскольку издания, не оплачивающие работы авторов, всегда испытывают затруднения с заполнением печатного пространства грамотным материалом, издатели-любители с удовольствием публиковали эти стихотворения, хотя сам Лавкрафт начал в них сомневаться.

Эти поэмы были панегириками его новым друзьям из любительской печати, восхвалениями Англии и Британской империи, обвинениями Германии и пресными георгианскими пасторалями вроде стихотворения «Весне»:

> Пастух, вставай!
> Уж ясный свет Авроры
> Полет гусей являет взору скорый;
> Меняя строй, безмолвный курс берут,
> Из озера болота их влекут:
> Летят они, меняя положенье,
> Но к цели неизменно направленье…[142]

И так далее на полторы страницы. Очевидно, Лавкрафт никогда не слышал летящую стаю диких гусей. Его стихотворения охотно принимались – хотя крупные лавкрафтовские поэмы и являются лучшим из известных мне средств от бессонницы, – потому что они все же были весьма достойными при сопоставлении с другими: невозможно представить себе количество написанных дурных стихов, пока не ознакомишься с подшивками любительских изданий. Более того, когда Лавкрафт в некоторых своих произведениях покороче отходил от образцов эпохи париков, он проявлял приятное остроумие:

Ответ нимфы современному бизнесмену

Будь юными любовь и свет
И не познай столь много бед,
Я дурой стала бы такой,
Была бы что тебе женой.
Но все авто, что обещают,
Уж часто «фордами» бывают;
А яхтой хвалишься своей —
То лодка ведь, что толку в ней!
Сапфиры и шелка чудесны,
Но трюки мне твои известны —
Меня дурачил муж седьмой
Под них подделкою дрянной!
…
Милок, будь правдой все слова,
Я б с радостью с тобой жила;
Придется мне бродить вдовой,
Нельзя мне быть тебе женой![143]

Вскоре после вступления в ОАЛП Лавкрафт узнал о местном обществе любителей, Провиденсском клубе любительской прессы (ПКЛП). Он сообщил Коулу: «Как несомненно уведомила вас мисс Хоффман, члены набраны из вечерней средней школы и навряд ли отражают интеллектуальную жизнь Провиденса. Их среда явно плебейская, и их литературные критерии в данное время не следует критиковать особенно резко…

Их Президент, Виктор Л. Базинет, – социалист крайнего толка, его взгляды сформированы общением с самыми опасными трудовыми агитаторами страны. Он, впрочем, человек высокого врожденного интеллекта, и я очень надеюсь, что влияние ассоциации печати поспособствует изменению его представлений об обществе. Официальный редактор, Джон Т. Данн, – грубый ирландец с типичными агрессивными папистскими и

антианглийскими взглядами, но он получил весьма приличное образование и полон настоящих литературных стремлений. Конечно, некоторые члены чересчур легкомысленны, что принижает значимость собраний…»[144]

В начале 1915 года Лавкрафт работал над двумя проектами: первым выпуском официального органа ПКЛП «Провиденс Аматер» и первым выпуском собственного любительского издания «Консерватив». Для «Провиденс Аматер» он сочинил длинную поэму, описывавшую членов клуба в более лестных выражениях, нежели в письме Коулу:

Членам Объединенной ассоциации любительской прессы из Провиденсского клуба любительской прессы

Стоите вы с опаскою во взгляде
И робко в образованном отряде.
С пером неловким, но стремясь к успеху,
Должны признать мы неудач прореху.
Пусть критики не будут к нам суровы
И на неопытность не хмурят брови.
Поскольку всех важнее Президент,
Знакомьтесь – вождь наш строгий Базинет.
Его обязан дару клуб созданьем,
И мудро каждое его деянье.
Любого выслушает он, поймет,
Со всеми дружески себя ведет;
С презреньем зрит на деспотов закон,
За дело борется людское он…

После описания семи других членов, Лавкрафт завершает с приличествующей скромностью:

«И вот Г. Ф. Л., книжная чья речь
На скуку только может вас обречь;
Поэзия чья ухо раздражает,
Слогов обилье мир наш нарушает.
Педанту не свершить чего похуже —
То он ведь создал стих сей неуклюжий!»[145]

Хотя Лавкрафт и приходил в ужас от грубого английского языка членов клуба, чьи работы он правил, он продолжал сотрудничать с Провиденсским клубом любительской прессы на протяжении двух лет. Члены клуба ирландской национальности раздражали его своими антибританскими

разглагольствованиями. Идея ирландцев «использования Соединенных Штатов… как оружия против своего законного короля и империи» приводила в ярость англофила Лавкрафта, из принципа отказавшегося носить что-либо зеленое в День святого Патрика. Тот факт, что в двенадцатом веке папа Адриан IV даровал Ирландию Генриху II, королю Англии – словно она была его собственностью, – не прибавил Лавкрафту сочувствия к ирландцам. В 1918 году он писал: «Моя последняя попытка [духовного подъема] была в 1914–1916 годах, когда я работал с „литературным“ клубом ирландцев, находившимся в сомнительном „Норт-энде“ города. Самым выдающимся из них был странный фанатичный парень по имени Данн, на два года старше меня. Он ненавидел Англию и был яростно настроен прогермански – и я был достаточно безрассуден, чтобы тратить время, пытаясь его обратить – как будто ирландец мог рассуждать!!»

«Фанатичный ирландец» было одним из обычных для Лавкрафта национальных уничижительных прозвищ, наводящих на мысль о старой банальности о горшках и котелках[146]. Тем не менее он написал за Данна длинную поэму для его сестры, которую та прочла на церемонии вручения дипломов в Школе медицинских сестер родайлендской больницы.

Клуб издал еще один номер «Провиденс Аматер», датированный февралем 1916 года, с редакторской статьей и двумя поэмами Лавкрафта. В 1917–м Данн попал в тюрьму, не пожелав служить по призыву в армии, и клуб перестал действовать. В конце концов Данн стал священником. Многое время спустя отец Данн, магистр изящных искусств, вспоминал о Лавкрафте: «Он рассказывал мне, что обычно обдумывает произведение и не ложится спать, пока не закончит, даже если это продолжается до шести часов утра. У него был доход, и ему не надо было вставать, чтобы, как нам, идти на работу»[147].

Тем временем Лавкрафт сосредоточился на собственной газете, которая издавалась с перерывами в течение восьми лет. В первом номере «Консерватив» (апрель 1915 года), которого было напечатано двести десять экземпляров, была заметна неопытность редактора (или издателя), но оформление последующих номеров было грамотным.

Первая страница его издания содержала длинную поэму, осмеивавшую упрощенную орфографию. Реформа правописания была больным местом Лавкрафта. Его единственным доводом в защиту английской орфографии – самой нестандартной, беспорядочной и сложной среди всех европейских языков – было утверждение, что это укоренившаяся традиция, которую нельзя

нарушать.

На второй странице этого «Консерватив» начиналась поразительная передовица, «Преступление века». Это сочинение проливает свет на самую сомнительную из всех позиций Лавкрафта: «Настоящая европейская война, ведущаяся, как есть, в эпоху истеричной сентиментальности и нездоровых политических доктрин, вызвала у сторонников каждой воюющей стороны небывалый поток беспорядочных обвинений…

То, что сохранение цивилизации сегодня возлагается на ту тевтонскую расу, которая тождественно представлена двумя остро соперничающими противниками, Англией и Германией, равно как и Австрией, Скандинавией, Швейцарией, Голландией и Бельгией, так же неопровержимо истинно, как и яростный спор об этом. Тевтоны – вершина эволюции. Чтобы мы могли здраво рассмотреть их место в истории, мы должны порвать с общераспространенной терминологией, которая обычно смешивает имена „тевтон“ и „немец“, и рассмотреть их не с национальной точки зрения, но с расовой…

Хотя некоторые этнологи и заявили, что тевтоны являются единственными подлинными арийцами, а языки и институты других номинально арийских рас были выведены единственно из их высшего языка и обычаев, нам тем не менее не требуется принимать эту дерзкую теорию, чтобы оценить их колоссальное превосходство над всем остальным человечеством.

Проследив деятельность тевтонов в средневековой и современной истории, мы не находим ни одной возможной причины для отрицания их реального биологического превосходства. В разнообразнейших местностях и условиях их врожденные расовые качества возвышали их до превосходства над остальными. Нет ни одной ветви современной цивилизации, которая не была бы делом их рук. Когда Римская империя пришла в упадок, тевтоны придали Италии, Галлии и Испании живительных сил, которые спасли эти страны от полного краха. Хотя тевтоны сегодня в значительной степени и затерялись в смешанном населении, они являются подлинными основателями всех так называемых романских государств. Политическая и общественная жизнестойкость покинули их прежних обитателей, лишь только тевтоны были способны к творчеству и созиданию. Когда местные элементы поглотили тевтонских захватчиков, романские цивилизации пришли в страшный упадок, и сегодняшние Франция, Италия и Испания обладают всеми признаками национального вырождения.

В странах же, чье население состоит в основном из тевтонов, мы видим замечательное подтверждение качеств… расы. Англия

и Германия являются величайшими империями мира… История Соединенных Штатов – сплошь длинный панегирик тевтонам, и она будет оставаться таковым, если во имя сохранения изначальных качеств населения будет вовремя остановлена иммиграция дегенератов.

Тевтонский дух властолюбив, сдержан и справедлив. Ни одна другая раса не показала подобной талантливости в самоуправлении…

Раскол такой величественной расы, когда каждая из фракций вступает в союз с низшими чужаками, является таким чудовищным преступлением, что весь мир действительно может замереть в ужасе. Германия, и это правда, имеет некоторое понимание о цивилизованной миссии тевтонов, но она позволила возобладать своей ревности к Англии над разумным рвением и разделить расу в постыдной и ненужной войне.

Англичане и немцы – кровные братья, ведущие род от одних и тех же суровых предков, поклонявшихся Вотану, одаренные одними и теми же строгими добродетелями и воодушевленные одними и теми же благородными устремлениями. В мире чуждых и враждебных рас общая миссия этих мужественных людей – миссия единения и сотрудничества со своими братьями-тевтонами по защите цивилизации от нападок всех остальных. Тевтонам предстоит работа: союзом, который они должны своевременно заключить, последовательно сокрушить возрастающую мощь славян и монголов, сохранив для Европы и Америки блестящее будущее, которое им предопределено…»[148]

Как показывает это извержение, Лавкрафт уверовал в миф о голубоглазом нордическом арийском сверхчеловеке, который позже благодаря Адольфу Гитлеру приобрел столь печальную славу.

Теперь же позвольте указать на ряд пунктов. Во-первых, такой взгляд, далеко не оригинальный, был широко распространен, популярен и приемлем в Соединенных Штатах того времени, особенно среди высших слоев «старых американцев», и особенно в Новой Англии. Во-вторых, Лавкрафт пришел к нему естественным путем, поскольку этот взгляд соответствовал мировоззрению его времени, места и класса; его англосаксонские убеждения выставляют его не большим чудовищем, нежели во времена средневековья вера христиан в черную магию. В-третьих, таких взглядов придерживалось отнюдь не маленькое число ученых мужей того времени. Так, Герберт Спенсер, британский социолог, чьи идеи были чрезвычайно влиятельны в девяностых годах девятнадцатого века, был приверженцем теории превосходства арийской расы. Таковым был и Генри Кабот Лодж, один из

талантливейших и самых эрудированных политиков своего времени и, как и Лавкрафт, воинствующий националист. Наконец, позже Лавкрафт отказался от этих взглядов, хотя на это у него и ушло много лет.

Мы живем в то время, когда передовыми мыслителями расист считается хуже убийцы. «Расист» стало универсальным словом с уничижительным значением, также как «красный» или «фашист». Тем не менее этноцентризм (если называть расизм формальным именем) есть одна из старейших и самых универсальных человеческих черт. Люди всегда склонны испытывать симпатию и доверять больше тем, кто больше похож на них самих. Лишь в последние десятилетия осуждение этноцентризма распространилось повсеместно, и такое осуждение универсально.

В качестве примера можно упомянуть тот факт, что название, которым первобытные люди определяли членов своего племени, часто означало нечто вроде «настоящие люди». Геродот отметил, что древние персы «…более чтят своих ближайших соседей, которых они уважают почти как себя. Тех, кто живет за ними, они чтят уже меньше, и так далее с остальными – чем дальше они удалены, тем меньше оказываемое им уважение. Причина заключается в том, что они считают себя значительно превосходящими во всех отношениях все остальное человечество, расценивая других как приближающихся к превосходству соответственно тому, насколько близко они к ним живут…».

Аристотель объяснял, что, поскольку европейцы отважны, но глупы, а азиаты хитры, но трусливы, не подлежит сомнению то, что греки – единственные из человечества сочетающие в себе бесстрашие и рассудок – завоюют и поработят остальных. Не так давно в степях Центральной Азии киргизский пастух сказал одному антропологу, что киргизы – лучшие из всех людей, у них лучшие сердца, а «сердце – это то, что действительно имеет значение»[149].

Сегодня же маятник качнулся в другую сторону, главным образом под воздействием марксизма, который по политическим, ненаучным причинам является категоричным поборником равноправия и сторонником влияния окружающей среды. Ученый, пытающийся выяснить, действительно ли народы различаются по способностям, подвергается гонениям. Он получает анонимные угрозы, его освистывают на лекциях. Эти освистыватели могут быть представителями национальностей, опасающихся, что его исследования представят их в невыгодном свете, или же марксистами, для которых полное равенство рас является «символом веры».

То, что народы различаются физически, не вызывает

сомнений. Некоторые из них крупнее и сильнее, нежели другие. Темнокожие люди эпохи неолита – благодаря своему большому росту лучшие в мире прыгуны в высоту. Эскимосы и индейцы архипелага Огненная Земля переносят лучше остальных людей холод, а тибетцы и кечуа – высоту. Народы различаются по восприимчивости к разным болезням.

Тем не менее никто до сих пор не знает, различаются ли народы по умственным способностям. Возможно, различаются, возможно, нет. Доказательства неубедительны и противоречивы. Вероятно, между народами существуют некоторые врожденные умственные различия, вроде тех, что существуют между полами, но никто наверняка не знает, в чем они заключаются.

Поскольку такие различия, если они существуют, сильно завуалированы широким разнообразием среди отдельных представителей, а также вследствие влияния социальной среды и поскольку и поныне неизвестны тесты, способные разделить наследственные и сформированные средой отличия среди народонаселения, то способа разрешить вопрос не существует. Отсюда каждый волен выдавать по данному предмету догмы, отвечающие его собственным интересам.

До, скажем, 1915 года большинство «старых американцев» были теми, кого сегодня назвали бы расистами. В девятнадцатом веке они были известны как «нативисты», враждебные ко всем, кто не имел англосаксонского протестантского происхождения. Для них было очевидно, что белая раса превосходит все остальные и что высшим типом белого человека является англосакс. В то время распространенное на весь мир могущество англоговорящих народов придавало этой точке зрения правдоподобность. Нативисты, или англосакские шовинисты, полагали вполне естественным, что должна существовать непреложная социальная и экономическая иерархия, вершину которой венчают они. Они боялись, что их заполонят иммигранты низшей, не англосаксонской расы: «Наплыв большого числа иммигрантов из сельских районов Центральной и Южной Европы, с трудом ассимилировавшихся из-за крестьянских обычаев и языкового барьера, придавал убедительности тому представлению, что иммиграция снижает стандарт американского интеллекта; по крайней мере, так казалось нативистам, высокомерно полагавшим, что бойкий приказ на английском есть естественный критерий умственных способностей».

Отсюда вымышленный Джордж Эпли наставляет своего сына – студента: «Я чрезвычайно обеспокоен твоим упоминанием этого студенческого приятеля по имени Элджер. Очень хорошо быть демократичным и обходительным по отношению к знакомому,

который по вине алфавита сидит в классе рядом с тобой. Я не намерен ограничивать круг твоих знакомств, поскольку они полезны и поучительны, но ты должен усвоить как можно скорее, что дружба – это совсем другое. Друзья должны выбираться из твоего собственного класса, иначе, как результат, возможны противоречия и затруднения»[150].

Тетя Лавкрафта, Энни Гэмвелл, хотя и была во многом личностью превосходных качеств, была снобом в общественном отношении и ультраконсервативной во взглядах на экономику. Она и его мать в полной мере поняли бы Натаниэля Элдена, их вымышленного бостонского современника из романа Джорджа Сантаяны «Последний пуританин», распекавшего своего младшего брата: «Думаю, я должен сказать тебе, Питер, что я не одобряю твою близость с людьми худшего образования и более низкого положения. Конечно, все мы верим в демократию и желаем всем классам пользоваться величайшими из возможных благ, но мы никогда не поможем менее удачливым подняться на наш уровень, если только сами не падем с него. Твои нежелательные дружеские отношения уже повлияли на твой язык и манеры… Со временем это же влияние может затронуть и твои моральные устои, не говоря о планах на будущее…»

В те дни расовые предрассудки были столь распространены, что казались в порядке вещей. Ядовитые анекдоты о представителях других национальностей, обычно направленные против негров, евреев и ирландцев, были неотъемлемой частью юмористических журналов, водевилей и разговоров на званых вечерах. Национальные стереотипы были вполне обычными для практически всех популярных авторов художественной литературы. Писатели и их читатели считали само собой разумеющимся, что все шотландцы расчетливы, ирландцы потешны, немцы надменны, негры глупы, евреи алчны, романские народы развратны, а азиаты злы. Популярные писатели вроде Джона Бушана и Катклиффа Хайна в порядке вещей отпускали презрительные колкости в адрес евреев.

Статическое и иерархическое мировоззрение, обычное среди знати девятнадцатого века, фальшиво для сегодняшнего образа мышления. Придерживающегося его наверняка будут называть снобом, расистом или напыщенным ничтожеством. Уинфилд Таунли Скотт, изучавший Лавкрафта, также писал: «Снобизм, лишенный воображения в любом человеке, художника просто калечит».

Тем не менее в свое время такой взгляд давал преимущества тем, кто его разделял. Они никогда не испытывали кризиса личности. Когда люди были больше привязаны к местам своего

рождения, к своим родственникам и к своей среде, человек мог быть бедным, неудачливым или угнетенным, но, по крайней мере, он мог сказать: «Я – римский гражданин», или «Я из замка Найар», или «Я – Мак-дональд с Островов», или «Я – Картнер из Вирджинии, так-то». Он знал, кто он есть и какого поведения ожидают от него в той роли, что была предназначена ему судьбой.

Хотя поза «англосаксонского джентльмена» Лавкрафта может кому-то показаться не только самодовольной, но и жалкой, она действительно придавала ему сил в противостоянии ударам внешнего мира. Он прекрасно знал, кто он есть и как ему себя вести.

Время и жизненный опыт, впрочем, преподали Лавкрафту множество жестоких уроков. В одном из своих последних писем он написал: «О Юггот, да я заплатил бы, лишь бы не были эксгумированы или перепечатаны некоторые из моих эссе и редакторских статей двадцатилетней или большей давности!»[151] Я почти не сомневаюсь, что среди прочих юношеских выходок он имел в виду и «Преступление века».

В поколение Лавкрафта настроения по отношению к неграм достигали высот, которые сегодня оценят лишь немногие. В 1913 году «Олл-Стори Кавалиер Уикли» напечатал рассказ либерального священника-южанина «Джентльмен с Нового Юга» с чернокожим героем. Вассар Гамильтон из Бирмингема, штат Алабама, написал в журнал: «Вы напечатали то, что является оскорблением для южан, и я хочу исправить вас прямо сейчас.

Мы, южане, не называем негров „леди“ и „джентльмены“, мы называем их „ниггеры“ и „черномазые“. И мы не любим и не женимся на этих черномазых, как это делают янки… И вы думаете, что южане купят какой-нибудь ваш журнал после того, как вы оскорбили их страну? …Я знаю, что вы не напечатаете моего письма в следующем номере, потому что вы не хотите, чтобы читатели – южане узнали, что кто-то заметил оскорбление нашего Юга и наших горячо любимых ветеранов-конфедератов».

В двадцатых годах двадцатого века южане все еще писали письма редакторам, протестуя против написания «мистер» перед негритянскими именами или написания слова «Negro» с заглавной буквы. Настроения Севера были лишь относительно менее суровыми. В 1901 году Теодора Рузвельта повсеместно и яростно осуждали за приглашение на обед в Белый дом Букера Т. Вашингтона.

Лавкрафт разделял подобные настроения, как это видно из приведенного ниже стишка, датированного июлем 1905 года:

De Triumpho Naturae Природы над невежеством Севера

Фанатик с Севера, во лжи пылу,
Народу Африки воздал хвалу,
Всех черных объявил своей ровней,
Всплакнул над рабством братскою слезой;
Завет он исказил во оправданье
И думал, Бог ему дал приказанье,
На плату не взирая, меч поднять
И эфиопам всем свободу дать…

И так далее на протяжении еще двух строф. Восемь лет спустя Лавкрафт все еще бравировал такими взглядами:

На сотворение негров

Когда в старь Боги Землю создавали,
Юпитера обличье Человеку дали.
Затем создали меньший ранг зверей —
Но непохожи вышли на людей.
Связать с людьми, исправить сей изъян,
Замыслили с Олимпа Боги план:
С людской фигурой тварь изобрели,
Порок вложили, НЕГРОМ нарекли[152].

Он также защищал кинофильм «Рождение нации», снятый в 1914 году Дэвидом Уорком Гриффитом. Картина вошла в историю кинематографа своими масштабами и передовыми технологиями, но Гриффит, непримиримый южанин, изобразил Ку-клукс-клан как отряд самоотверженных героев, защищавших своих женщин от развратных черных.

Помимо повсеместного этноцентризма «старых американцев» того времени, на Лавкрафта оказала влияние одна книга, которая увела его в псевдонаучном направлении. Это был трактат Хьюстона Стюарта Чемберлена «Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts» объемом тысяча двести страниц, изданный в Германии в 1899 году. В 1912–м появился его английский перевод «Основы девятнадцатого столетия», и с этого времени Лавкрафт уверовал в арийского сверхчеловека.

Арийский миф возник следующим образом. В начале девятнадцатого века ученые открыли, что большинство европейских языков принадлежат той же семье, что и языки Ирана, Афганистана и большей части Индии.

В течение следующих ста лет историки, лингвисты и археологи обнаружили, что до второго тысячелетия до нашей эры один полукочевой скотоводческий народ на территории Польши или Украины приручил лошадь. Этот народ и его потомки выступили на своих грохочущих колесницах и с этим новым устрашающим оружием покорили своих соседей, сделали себя правящим классом, навязали вассалам свой язык и некоторые обычаи и, наконец, смешались с ними. Их потомки покорили другие соседние племена и так далее, пока они не распространили свой язык, лошадей, бронзовые мечи и небесных богов от Португалии до Цейлона. Изначальный язык разделился на множество других, которые, однако, сохранили сходство в лексике и грамматике.

Завоеватели Ирана и Индии около 1500 г. до н. э. называли себя «Агуа», «благородные». Когда ученые поняли родство таких далеких друг от друга языков, как исландский, армянский и бенгальский, они назвали эту языковую группу арийской семьей. Позже лингвисты, впрочем, предпочли термин «индоевропейская».

Нам неизвестен физический тип первичных арийцев, если я могу так назвать приручивший лошадей народ и его ближайших потомков. Поскольку там, где предположительно была одомашнена лошадь, сегодня преобладает альпийский тип – коренастый, широколицый, с цветом волос от каштановых до темных, – это лишь чистое предположение, что они были альпийцами[153]. В любом случае, арийцы не создали цивилизации, хотя и уничтожили несколько на своем пути. Насколько известно науке, арийской расы не существует и, вероятно, никогда не существовало. И, каким бы ни был арийский изначальный расовый тип, он вскоре исчез вследствие браков с представителями более многочисленных побежденных рас.

Величайшим из ученых, кто разрешил индоевропейский лингвистический вопрос, был немецкий филолог Макс Мюллер. Он как-то легкомысленно сослался на «арийскую расу». Позже он исправил себя, заявив: «Для меня этнолог, говорящий об арийской расе, арийской крови, арийском цвете глаз и волос, – великий грешник, как лингвист, говорящий о долихоцефалическом словаре брахицефалической[154] грамматики… Если я говорю „арийцы“, я не имею в виду ни кровь, ни скелет, ни волосы, ни культуру. Я просто подразумеваю тех, кто говорит на арийском языке».

Но вред был уже нанесен. Термин «арийская раса» был подхвачен французским дипломатом и писателем графом Жозефом Артюром де Гобино. В пятидесятых годах

девятнадцатого века Гобино написал книгу «Essai sur l'inegalite des races humaines» («О неравенстве человеческих рас»). Он предпринял попытку доказать, что белая раса единственная обладает творческой способностью и что арийцы, которых Гобино определил как высокорослый, длинноголовый, светловолосый, голубоглазый нордический тип северной Европы, являются лучшими из белых[155].

Гобино, естественно, причислял себя к арийцам, которые в лице германских франков около 500 года покорили галлов и из которых возникла французская аристократия. Франция уничтожила себя, сказал он, истребив этих «лучших людей» во время Французской революции. И это не было совпадением, что Гобино сам был французским аристократом.

Хотя антропология Гобино была предарвиновской и возводила всех людей к Адаму, другие вскоре адаптировали его тезисы к теории эволюции. Все считали себя арийцами, и никто так и не написал книги, доказывавшей, что его этнос ниже[156]. Некоторые французы согласились с идеей создания цивилизации арийцами, но утверждали, что арийцы были не нордической расой, а выносливыми альпийцами, как большинство французов. Итальянец Серджи заявил, что обе теории неверны: арийцы были одаренными средиземноморцами, вроде него самого.

За Гобино последовал Хьюстон Стюарт Чемберлен. Сын британского адмирала, Чемберлен получил образование в Швейцарии и Германии и стал германским подданным. Болезненный маленький неврастеник, которого в галлюцинациях преследовали демоны, он также стал зятем Рихарда Вагнера и другом кайзера Вильгельма II[157].

«Основы» Чемберлена – чудовищная мешанина напыщенного, беспорядочного, предвзятого и многословного вздора. Автор пытается доказать превосходство «тевтонских арийцев» аргументацией порочного круга. Достоинства любого, кто ему нравится, например, Юлия Цезаря[158] (брюнета) или Иисуса (о чьем внешнем виде ничего не известно), доказывают его принадлежность к тевтонским арийцам, а достоинства всех этих тевтонов доказывают арийское превосходство. Хотя «смеси» вроде немцев хороши, «помеси» вроде евреев плохи, и люди чувствуют разницу между ними посредством «духовной интуиции». Маленькие тевтонские девочки инстинктивно улавливают различие и начинают плакать, когда в комнату входит еврей. Если наука не согласна, тем хуже для нее: «Того, что ясно каждому, достаточно если не науке, то, по крайней мере, жизни… Одной из самых роковых ошибок нашего времени является та, что побуждает нас в своих суждениях придавать слишком большой

вес так называемым „достижениям“ науки»[159].

Эти заблуждения был популяризованы в Соединенных Штатах Мэдисоном Грантом («Смерть великой расы», 1916) и Лотропом Стоддардом («Возрастающий наплыв цветных против мирового превосходства белых», 1920). Эти писатели соглашались со стандартным разделением европейцев, предложенным Рипли и другими, на нордический, альпийский и средиземноморский типы. Нордический тип – высокий, длинноголовый, светловолосый и голубоглазый – обитает на севере; альпийский – широколицый, среднего роста и коренастого телосложения, с цветом волос от каштановых до темных – в центральных и восточных областях; и средиземноморский – низкий, худощавый, с темными глазами и волосами – на юге.

Затем Грант и Стоддард доказывали, что альпийцы – вялые, глупые и трусливые крестьяне. Средиземноморцы артистичны и разумны, но легкомысленны и ненадежны. Только представители нордической расы храбры, умны и честны. Кровь нордических арийцев должна охраняться от смешения с низшими племенами, дабы цивилизация, которую нордическая раса породила и более всех развивала, не исчезла с лица земли.

Эти книги пользовались большой популярностью. Хотя они были весьма далеки от научных, они все же повлияли на принятие закона об иммиграции в 1924 году. Антииммиграционная лига следила за тем, чтобы ее заявления получали широкое распространение.

История и антропология, как теперь понятно, подают события совершенно по-разному. Северная Европа, родина нордической расы, только тысячелетие назад перестала быть крайне отсталой и варварской. Все главные достижения цивилизации до того времени были сделаны смуглыми южанами и желтокожими жителями Востока. Лишь в последние несколько столетий обстоятельства позволили северным европейцам нагнать, а иногда и превзойти по культуре и могуществу своих южных соседей. И нет оснований полагать, что современное превосходство Северной Европы окажется более продолжительным, нежели раннее господство арабов и монголов.

Нордическо-арийский миф уже был развенчан американским экономистом Уильямом З. Рипли в книге «Расы Европы» (1899). Рипли поделил белую, или кавказскую расу на нордическую, альпийскую и средиземноморскую подрасы, или типы. Классификация Рипли до сих пор действенна, если мы помним о том, что все три типа встречаются в разных пропорциях по всей Европе, что большинство европейцев не отвечают какому-то одному идеальному типу, но демонстрируют смесь характерных

черт, и что население Европы можно разделить и по-другому, равным образом правдоподобно.

Лавкрафт как-то сказал: «Принадлежность к чистокровной расе должна быть величайшим свершением в жизни!» Это было одним из его глупейших заявлений. Насколько известно, на Земле никогда не существовало истинно «чистокровной расы». Различные ветви человечества никогда, за незначительными исключениями вроде жителей острова Пасхи, не были совершенно изолированы друг от друга на протяжении многовекового периода. Какое-то смешение всегда происходило, и великие цивилизации были плодами смешанного народа.

Следовательно, нет причин полагать, что главные подразделения кавказской расы существовали когда-либо в чистой форме, никогда не существовало и чистой светловолосой расы. Произошло лишь то, что светловолосость – эволюционное приспособление к бессолнечному климату Северной Европы – стала более обычной там, где в первичных условиях бледный цвет кожи, сопутствовавший ей, способствовал выживанию, нежели в других местах, где он был вреден.

Лавкрафт, по-видимому, не читал Рипли. Почти наверняка он читал Чемберлена, на что указывает сходство в формулировках в расовых сочинениях его и Чемберлена. По сути, «Преступление века» читается как пересказ частей из Чемберлена. Известно, что Лавкрафт читал Гранта и, возможно, Стоддарда, но их книги появились только после первого выпуска «Консерватив».

Увлечение Лавкрафта теорией превосходства арийской расы нанесло его репутации серьезный урон. И все же он лишь продемонстрировал общечеловеческий недостаток. Большинство людей принимают веру не на основании неоспоримой очевидности или твердой логики, но потому, что эта вера обнадеживает их и дает им чувство превосходства. Падение Лавкрафта до вздора Чемберлена показывает не то, что он был злым человеком, а то, что он отдался нативистским предрассудкам своего времени, места и класса и что он был намного менее объективным, проницательным и здравомыслящим, нежели любил о себе думать.

Не окончивший школу, никогда не зарабатывавший на свои пускай даже и скромные расходы, Лавкрафт остро чувствовал свою несостоятельность как студента и самостоятельного взрослого. Он перестал часто посещать Обсерваторию Лэдда, потому что ему было невыносимо ходить туда как постороннему, а не студентом, а затем и профессором астрономии, которым он надеялся стать[160]. Так что арийский культ был для него предопределен. Если он не мог выделиться как личность, то, по

крайней мере, мог принадлежать к высшему роду человека. Он во всем разобрался, но на это у него ушло много времени.

Глава седьмая. Худосочный воин

Мы мечом всех победили!
Когда в Вислу заходили
Мы в порядке боевом,
Один принял во свой дом
Хельсингийского врага.
Бились яростно тогда,
Кровью полнились моря,
Стала красной вся земля.
Меч дымящийся звенел,
Строй врагов в броне редел[161].

Аноним (перевод Г. Ф. Лавкрафта)

В 1915 году Лавкрафт перенес ветряную оспу и потерял единственного остававшегося взрослого родственника-мужчину, возможно, служившего для него образцом. Это был муж его старшей тети, доктор Франклин Чейз Кларк. Он умер двадцать шестого апреля в возрасте шестидесяти восьми лет от апоплексического удара.

Со смертью ученого доктора не осталось никого, кто смог бы противостоять влиянию на Лавкрафта удушающей любви его матери. Хотя к тому времени, это, вероятно, многого бы уже и не изменило. В двадцать четыре года характер Лавкрафта уже сформировался.

Второй выпуск лавкрафтовского «Консерватив» (июль 1915–го) начинался поэмой «Сон золотого века» одного из друзей Лавкрафта по переписке, канзасского ковбоя-поэта с весьма скудным образованием, но не без природного таланта, по имени Айра Альберт Коул. Главным вкладом Лавкрафта была статья «Метрическая правильность» – нападки на белый стих, начинавший вытеснять стихотворения с установленным размером как предпочтительный поэтический способ: «Самым забавным из всех заявлений радикалов является утверждение, что подлинную поэтическую страсть невозможно ограничить правильным размером, что длинноволосый, с безумием во взоре всадник Пегаса должен навязывать страдающей публике неуловимые понятия, которые проносятся в величавом хаосе через его возвышенную душу, в строго установленной форме…»[162]

Хотя и переполненная разглагольствованиями, статья Лавкрафта все-таки имела смысл, учитывая произошедшее с поэзией с тех пор, как он начал писать. В передовице Лавкрафт открыто отстаивал свои взгляды: «„Консерватив“ неизменно будет являться воинствующим поборником полного воздержания и запрещения спиртных напитков; умеренного и здорового милитаризма как противопоставления опасному и непатриотичному проповедованию мира; пансаксонизма, или господства английской и родственных рас над более низкими типами человечества; и конституционного, или представительного правительства как противоборства пагубным и презренным лживым программам анархии и социализма»[163].

Лавкрафт также принял вызов своего коллеги-любителя Чарльза Д. Исааксона из Бруклина, Нью-Йорк, издававшего «Ин э Майнор Ки» («В минорном тоне»). Исааксон придерживался взглядов, которые сегодня мы бы назвали леволиберальными, и был полон благожелательности и альтруизма, доведенных до простодушной крайности. Его пацифизм был чистейшего непротивленческого типа. Он был уверен, что «война поддерживается лишь горсткой извращенцев», и когда «народ» одной из воюющих наций лишь только сложит оружие и откажется сражаться, «народы» всех других воюющих сторон поступят точно так же, и восторжествует мир.

Исааксон восхвалял пацифизм, социализм и поэзию Уолта Уитмена, осуждал милитаризм, воинскую повинность, расовые предрассудки и кинокартину «Рождение нации», сторонников которой, по его словам, «следует высечь». Он был твердым приверженцем свободы выражения – за исключением периодических изданий вроде «Лайф» («Жизнь», не более позднего иллюстрированного журнала, а его юмористического предшественника) и «Мэнес» («Угроза»), которые поносили евреев. Эти журналы он бы запретил.

Ответ Лавкрафта, «В мажорном тоне», отдавал должное литературным достоинствами Исааксона, но затем продолжал: «Чарльз Д. Исааксон, живая сущность издания, является личностью выдающихся качеств. Происходящий от расы, породившей некоего Мендельсона, он и сам музыкант неординарного таланта, в то же время как литератор он заслуживает сравнения со своими единоверцами Мозесом Мендесом и Исааком Дизраэли. Но та самая одухотворенность, что возвышает семитский ум, одновременно делает его отчасти непригодным для рассмотрения стилей и тенденций в арийской мысли и сочинениях, отсюда неудивительно, что Исааксон является радикалом экстремистского толка».

В 1915 году мало кто из «старых американцев» расценил бы использование национальности человека в качестве аргумента против его идей как дурной тон или же удар ниже пояса. Лавкрафт набросился на ненавистного ему Уитмена, потому что тот не только сделал популярным белый стих, но также несколько раз открыто упомянул половое сношение. В середине своего эссе Лавкрафт напечатал поэму в восемнадцать строк, начинавшуюся:

> Уитмен! Вольные его стихи
> Распутством греют душу у свиньи,
> Фантазия его стоп избегает,
> Овидию лишь в низком подражает…[164]

Лавкрафт продолжал в том же заносчивом тоне: «Взгляды мистера Исааксона на расовые предрассудки, обрисованные в его „Майнор Ки“, слишком субъективны, чтобы быть беспристрастными. Он, возможно, негодует на более или менее явное отвращение к детям Израиля, которое всегда пронизывало христианский мир, и все же человеку его разборчивости следовало бы отличать этот непросвещенный взгляд… от естественного и научно объективного чувства, которое не дает черным африканцам испортить кавказское население Соединенных Штатов. Негры фундаментально стоят биологически ниже всех белых и даже монгольских рас, и северным народам иногда необходимо напоминать об опасности, которой они подвергаются, слишком свободно даруя им привилегии общества и правительства… Ку-клукс-клан, этот благородный, но оклеветанный отряд южан спас половину нашей страны от уничтожения… Расовые предрассудки есть дар природы, предназначенный для сохранения в чистоте различных ветвей человечества, которые развили эпохи…

„Консерватив“ не приемлет сильных выражений, но он полагает, что не переступает границ пристойности, заявляя, что публикация статьи под названием „Великое Мужество“ является преступлением, которое в глазах урожденного американца арийской крови заслуживало бы сурового законного наказания. Эти призывы к населению отказаться от военной службы, когда призывают под флаг их страны, являются возмутительными нападками на устои патриотизма, которые превратили нашу страну из дикой пустыни в могущественный союз штатов…»[165]

В сдержанном ответе Исааксон защищал Уитмена, мир, расовую терпимость и демократию. Он также использовал аргумент ad hominem, и с более верной целью, нежели его молодой противник: «От „Консерватив“ исходит затхлый запах,

как от старых книг, и воображение бессознательно уносится в дни Рэли, Елизаветы и Лавлэйса…[166]

Я уже сказал, что сочинения мистера Лавкрафта отдают библиотекой. Они книжные. Они из воображаемого мира. Все столь искусственно во всех сочинениях „Консерватив“»[167].

Исааксон точно указал на главную слабость Лавкрафта как мыслителя. Хотя и будучи весьма начитанным, он имел обыкновение напыщенно говорить на темы, о которых имел лишь поверхностное книжное знание, без всякого непосредственного знакомства с ними или личного опыта. Друзья, которым он излагал свои незрелые идеи, обычно находились под впечатлением его образованности, чтобы возражать ему. Его длительная изоляция привила ему «ту поспешность в составлении суждений и тот недостаток критического чувства в их проверке, которые часто являются результатом самообразования, полученного при безмерном и беспорядочном чтении».

Лишь по случайности Лавкрафт натолкнулся на сочинения, отстаивавшие превосходство арийской расы, сухой закон и воинствующий национализм. Ему словно явился ангел, и он незамедлительно и страстно принял эти доктрины, без всякого представления, насколько в действительности были слабы, неубедительны и опровержимы доводы по этим вопросам.

Более того, не всегда ясно, насколько серьезно можно воспринимать более скандальные взгляды Лавкрафта. Он признавался, что ради спора часто принимал «любое убеждение, забавляющее меня или противоположное мнению присутствовавших». Его письма, как он сказал позже, были просто «болтовней… на темы, в которых может разбираться лишь ученый».

Третий «Консерватив» содержал статью Лавкрафта «Допустимая рифма», отмечавшую, что правила ужесточились, с тех пор как Александр Поп рифмовал «shy» с «company» и «join» с «line»[168]. Остальное место выпуска занимали две другие вспышки. «Возрождение мужественности» начинается: «После унизительного разгула трусливого пацифизма, в котором в последнее время увязла наша сонная и изнеженная общественность, кажется, появляется легкое чувство стыда, и вопли одержимых миром – любой – ценой уже не так неистовы, каковыми они были несколько месяцев назад… Почему кто-то из здравомыслящих людей может верить в возможность всестороннего мира – это выше понимания „КОНСЕРВАТИВ“».

В то время многие все еще идеализировали войну. Они представляли себе битвы с отрядами и знаменами, атакующей

кавалерией, вооруженной пиками и саблями. Полное крушение иллюзий, последовавшее после Первой мировой войны, возымело действие лишь в двадцатых годах, когда широко распространились трезвые отчеты о грязной бойне позиционной войны.

Другая статья в «Консерватив», «Выпивка и ее друзья», начинается: «Пока циничная пресса, возмущавшаяся политическими актами мистера Уильяма Дж. Брайана, в подобострастном ликовании рукоплещет каждому шагу его преемника, Роберт Лансинг, премьер-министр Соединенных Штатов [sic] и, по-видимому, человек, жаждущий укрепления нашей страны, только что возродил отвратительную традицию подачи спиртных напитков на американских государственных приемах»[169].

Лавкрафту надо было еще многому научиться.

Вопреки растущему разочарованию в своих барочных стихотворениях, Лавкрафт продолжал вымучивать их из себя. Он оправдывал свои поэмы тем, что они были лучшим, что ему удавалось:

«Некоторые мои скрипучие двустишия на днях были опубликованы в „Пинфевер“… Рассматривая их критически, я с трудом воздерживаюсь от той строгости, на которую обычно сетую у рецензентов. Можно было бы удивляться, почему я пытаюсь баловаться стихами, если не могу создать лучше этого, но я полагаю, что в столь тщетной погоне за девятью музами виновно врожденное упрямство».

«Я, несомненно, пережиток восемнадцатого века и в прозе, и в поэзии. Мой поэтический вкус и в самом деле с изъяном, ибо более всего я жалую звучные двустишия Драйдена и Попа…»

«Стихи экспромтом, или поэзия на заказ, естественны только тогда, когда за них берешься в спокойном прозаическом настроении. Если надо что-то сказать, то метрический механик вроде меня может легко перековать материал в технически правильное стихотворение…»[170]

Чтобы доказать свою правоту, Лавкрафт за десять минут выдал поэму в десять строк, «На получение открытки с лебедями», вдохновленное почтовой открыткой:

> Печальный Лебедь с грацией унылой
> Скорбит над фаэтоновой могилой… —

за которой последовала другая поэма в тридцать две строки, «Чарли из комедий», посвящение ранним фильмам Чарли

Чаплина:[171]

> Вот вниз головой летишь,
> В кино ты как живой.
> Походкой смешной скользишь
> В истории любой…

Хотя Лавкрафт и говорил, что в 1916 году он перенес еще одно «нервное расстройство»[172], в этот и последующий годы он начал вести более активную жизнь. Он стал завсегдатаем кинотеатров, несмотря даже на то, что, по его мнению, по цене кинокартины «должны отвечать низким вкусам безмозглого и неразборчивого сброда». Равным образом, хотя он и восторгался Чарли Чаплином, «атмосфера нищеты слишком часто омрачает достоинства игры Чаплина. Спустя некоторое время разборчивый глаз устает от созерцания лохмотьев и грязи» и предпочитает «беззаботные, пленительные выходки» Дугласа Фэрбенкса-старшего, который, по крайней мере, обладает «определенной полноценностью»[173]. Когда в январе 1917 года провиденсский Театр Фэя объявил конкурс среди критиков на картину «Скульптор из Фив»[174], Лавкрафт выиграл приз в двадцать пять долларов – несмотря на то, что его рецензия была издевательской.

До середины 1917 года Лавкрафт издавал «Консерватив» поквартально. Четвертый номер первого тома и четыре второго содержат больше материалов коллег Лавкрафта и меньше его самого, нежели в предыдущих выпусках, так как ему начали слать для печати поэмы, эссе и рассказы другие любители.

Эссе прославляли Британскую империю и излагали взгляды противников отделения американских колоний от Англии времен Войны за независимость. В них осуждались Германия и прогермански настроенные ирландцы, жившие в США. Лавкрафт написал несколько статей, некоторые из них содержали нападки на современное искусство, поэзию Т. С. Элиота и идею писательского союза.

В своих письмах Лавкрафт по-прежнему давал выход чемберленовским арийским тирадам: «Наука демонстрирует нам бесконечное превосходство тевтонских арийцев над всеми другими, из чего нам становится ясно, что их власть останется неоспоримой. Любые расовые смеси могут единственно лишь ухудшать результат. Тевтонская раса, будь то в Скандинавии, других частях континента, Англии или Америке, является сливками человечества…»[175]

После своей вспышки в первом «Консерватив» Лавкрафт тем

не менее опубликовал лишь один арийский порыв. Это была «Тевтонская боевая песнь» в «Юнайтед Аматер»:

> На троне в смехе Вотан, бог-властитель,
> Сзывает чад своих к себе в обитель.
> Раскаты Тора наверху гремят,
> Валькирии с оружием летят:
> Все силы грозных Асгарда богов
> Болванов будят от их мирных снов…

И так далее на шестьдесят строк. Лавкрафт добавил «Примечание автора»: «Здесь автор стремится возвести беспощадную жестокость и потрясающую храбрость современных тевтонских воинов к наследственному влиянию древних северных Богов и Героев… Хотя мы можем справедливо сетовать на чрезмерный милитаризм кайзера Вильгельма и его сторонников, мы не можем равным образом согласиться с теми изнеженными проповедниками вселенского братства, которые отрицают достоинство той мужественной силы, что удерживает нашу великую североевропейскую семью в ее положении неоспоримого превосходства над остальным человечеством и которая в своей чистейшей форме сегодня есть бастион Старой Англии»[176].

После этого Лавкрафт уже ничего не издавал во славу тевтонских арийцев. Возможно, он нашел, что затруднительно быть настроенным одновременно протевтонски и антигермански.

После второго тома «Консерватив» время Лавкрафта все больше и больше занимали другие интересы. Поэтому третий, четвертый и пятый тома, появившиеся в июле 1917, 1918 и 1919 годов соответственно, состояли лишь из одного выпуска каждый. «Консерватив» 1918 года содержал три эссе Лавкрафта, которые ныне переизданы. «Презренная пастораль» защищает данный жанр поэзии; «Время и пространство» подчеркивает ничтожность человека и вселенной; «Merlin Redivivus»[177] сетует на рост спиритуализма и оккультизма, который сопровождает любую продолжительную войну.

Хотя издание 1919 года в основном состояло из работ друзей Лавкрафта по любительской печати, пара редакторских статей показывала, что он все еще отстаивал свои шовинистические, ультракапиталистические взгляды. Статья «Лига» – насмешливые нападки на только образованную Лигу Наций: «Бесконечна доверчивость человеческого разума. Едва лишь выйдя из периода неописуемого опустошения, вызванного жадностью и вероломством нации, которой неблагоразумно доверились, в результате чего цивилизация была захвачена врасплох

безоружной, мир намеревается еще раз принять политику слащавого легковерия и вновь разместить свою веру на жульнических клочках бумаги, известных как договоры и соглашения… Войны, уменьшение числа которых было открыто признано целью предполагаемой Лиги, являются тем, что невозможно искоренить полностью. Как естественное выражение таких неотъемлемых человеческих инстинктов, как ненависть, жадность и воинственность, их всегда необходимо учитывать…»

Отдавая должное Лавкрафту, Лига оказалась почти такой же безрезультатной, как он и предрекал. У другой его передовицы, «Большевизм», тон был вполне предсказуемый: «Самой тревожной тенденцией, наблюдаемой в нашу эпоху, является растущее пренебрежение к укоренившимся силам закона и порядка. Вдохновленные или нет гибельным примером почти недочеловеческой русской черни, неразумные элементы по всему миру представляются воодушевленными исключительной порочностью и выказывают симптомы вроде тех, что проявляются у толпы на грани панического бегства. Пока многоречивые политиканы предрекают вселенский мир, длинноволосые анархисты проповедуют социальный переворот, означающий не что иное, как возврат к дикости или средневековому варварству…»[178]

Не зная истины, можно было бы представить автора этих строк старым тучным магнатом, стоящим у окна своего клуба и высматривающим снаружи толпу, оплакивая при этом радикализм всех президентов Соединенных Штатов после Уильяма Мак-Кинли.

Относительно писательства любительская пресса научила Лавкрафта мало чему новому, поскольку в знании литературы он уже намного превосходил большинство любителей. Тем не менее она дала ему то, в чем он отчаянно нуждался, – круг друзей. Издатели-любители писали ему, чтобы предложить свои работы для его журнала или обсудить любительский бизнес. Многие из этих корреспондентов стали его друзьями по переписке, некоторые, как, например, Коул, Кук, Даас, Хоутейн и Кляйнер, наведывались к провиденсскому отшельнику в гости.

Когда осенью 1917 года в доме Лавкрафтов появился Кук, Лавкрафт поначалу был поражен «старинным котелком, неглаженой одеждой, поношенным галстуком, засаленным воротничком, растрепанными волосами и отнюдь не безукоризненно чистыми руками» своего посетителя. Но вскоре он решил, что энциклопедические речи Кука более чем восполняют его недостаток опрятности. Лавкрафт даровал Куку

контракт на печать его «Консерватив».

Кук не понравился Сюзи Лавкрафт, но она прониклась симпатией к другому визитеру – Рейнхарту Кляйнеру (1892–1949), долговязому бруклинцу с копной волос, работавшему помимо прочего бухгалтером в «Файрбенкс Скейл Компани» и позже ставшему мировым судьей. Кляйнер познакомился с Лавкрафтом в 1916 году, когда с другими любителями ехал на съезд в Бостон. Они доплыли на корабле до Провиденса, где пересели на поезд. Кто-то позвонил Лавкрафту, и тот пришел на станцию поприветствовать их. Кляйнер вспоминал: «Тогда он выглядел довольно юным и, как мне показалось, был очень приятной внешности. Что меня поразило, так это его крайняя формальность в поведении и чрезвычайно любезная манера в подходе…»

В следующем году Кляйнер посетил Лавкрафта: «У дверей дома на Энджелл-стрит, 598 меня встретила его мать, женщина ростом лишь немного ниже среднего, с седеющими волосами… Она была очень сердечной и даже оживленной и в следующий миг препроводила меня в комнату Лавкрафта. В те дни он еще не преодолел некоторую натянутость в поведении…

Я заметил, что каждый час или около того его мать появлялась в дверях со стаканом молока, которое Лавкрафт выпивал. Мне вроде бы предложили чашку чая, но к тому времени мне стало жарко в комнате, и я подумал, что было бы неплохо предложить немного прогуляться. Я немного отвлекусь и замечу, что комната, в которой я сидел, была довольно маленькой и с трех сторон была заставлена книгами, в основном старыми».

Хотя Лавкрафт говорил, что не испытывает интереса к редким книгам как таковым, он унаследовал впечатляющую фамильную коллекцию старых томов. Помимо подшивок периодических изданий восемнадцатого века, у него было около сотни книг, изданных до 1800 года, в том числе несколько книг семнадцатого века и одна за 1567–й. Самым ценным отдельным предметом его коллекции, по его словам, был экземпляр «Magnalia Christi Americana» Коттона Мазера, датированный 1702 годом.

«На стене рядом с его столом висели небольшие портреты Роберта Э. Ли, Джефферсона Дэвиса и один или два других. Прямо над столом висел календарь; это был „Фермерский календарь“, с которым он был знаком уже много лет».

Коллекционирование старых «Фермерских календарей» было долгим увлечением Лавкрафта. Он пригласил Кляйнера на одну из прогулок по старинным местам, которыми так прославился. Они прошли по Провиденсу несколько миль, в то время как

Лавкрафт показывал старинные здания и рассказывал об их истории и архитектуре.

«По дороге к его дому, пока мы оставались в деловой части города, я предложил зайти в кафетерий выпить чашечку кофе. Он согласился, но себе заказал молоко и смотрел на меня с некоторым любопытством, пока я допивал кофе и доедал пирожное, а может, и пирог. Мне пришло на ум, что это посещение людной закусочной – самой скромной, – возможно, было явным отклонением от его обычных привычек…

Мне всегда казалось, что основные инстинкты Лавкрафта были совершенно нормальными. Выведенный из угнетающей больничной атмосферы своего дома и из-под опеки матери или тетушек, он поразительно оживал. Более того, он по-настоящему умел понравиться другим»[179].

Много позже Лавкрафт сказал, что не любит молоко, если только оно не смешано с кофе и какао. Он также выпивал огромное количество кофе, хотя, бывало, пил и «Постум» или другие заменители кофе с идентичным вкусом.

В 1914 году Даас, призвавший Лавкрафта в ряды издателей-любителей, свел его с Морисом Винтером Мо (1882–1940). Мо преподавал в средней школе английский язык, сначала в Аплтоне, а затем, начиная с 1920 года, в Милуоки. Он был ученым мужем, семитологом, читавшим клинопись, а также благочестивым пресвитерианином, старейшиной в своей церкви.

Через переписку Мо познакомил Лавкрафта с еще двумя друзьями. Первый был Айра Альберт Коул, поэт-ковбой из Канзаса. Другой был одним из бывших учеников Мо, высокий, крепкий, взъерошенный молодой интеллектуал по имени Альфред Галпин (род. 1901).

Еще одним другом стал Джеймс Фердинанд Мортон (1870–1941). Мортон, уроженец Литлтауна, штат Массачусетс, был, как и Лавкрафт, выходцем из старой новоанглийской семьи, он приходился внуком преподобному Сэмюэлю Фрэнсису Смиту, автору слов песни «Америка». Мортон был низким, плотным мужчиной с густыми седеющими рыжими волосами и усами. Его умеренная экстравагантность заключалась в ношении обычной фетровой шляпы с распрямленной стоячей тульей, как у котелка. Выпускник Гарварда, Мортон работал газетным репортером, а в последствии стал профессиональным лектором. Его нанял для лекций Нью-йоркский отдел народного образования, помимо чего он профессионально занимался генеалогией.

Как и Лавкрафт, Мортон обладал поразительной эрудицией, был воздержан в привычках и имел множество увлечений. В число

этих хобби входили любительская печать, генеалогия, минералогия, решение головоломок, права негров и движение за «единый налог» Генри Джорджа. Из-за последних двух ультраконсервативный Лавкрафт описывал Мортона как «расходующего изумительный ум на радикальную чушь»[180].

Наконец, был Сэм Лавмэн, молодой продавец книг из Кливленда, который увлекался любительской прессой примерно с 1907 года, но забросил ее. Немногим старше Лавкрафта, Лавмэн обладал приятной внешностью, несмотря на большие уши и раннее облысение. Бухгалтер по профессии, во время Первой мировой войны он служил в американской армии, в ходе которой его жена умерла при родах. У него был немалый поэтический талант, со склонностью к классическим греческим темам. Его красочные мелодичные стихотворения, которыми Лавкрафт восторгался с 1915 года, тяготели к чувственности и сентиментальности и были полны бабочек, цветов и слез. Поэма «Вакханалия» (посвященная крайне далекому от склонности к разгулу Лавкрафту) начинается:

> Вино до краев бутыль наполняет,
> Для гостя особого оно;
> Лорд юный жилетку ослабляет,
> Его фиалок венок увивает —
> И пирушка для него, Пирушка для него.

Лавкрафт считал Лавмэна близким по духу с первого же знакомства. Последний выбыл из ОАЛП, и Лавкрафт писал Кляйнеру: «С моей помощью Лавмэн восстановился в Объединенной ассоциации. Еврей он или нет, я очень горд, что являюсь его гарантом… Его поэтическая одаренность – высшего порядка… Его разнообразие идей, средства выражения, знание античности и старины ставят его в первые ряды». В другом месте он заявил, что Лавмэн – «выдающийся язычник – и еврей по происхождению»[181].

Эта дружба была одной из самых противоречивых вещей в парадоксальной жизни Лавкрафта. Когда он встретился с Лавмэном в 1922 году в Нью-Йорке, он писал: «Лавмэн крайне восхитителен – изысканный, учтивый, чуткий и эстетичный, однако он вовсю старается скрыть свои артистические наклонности под скромной внешностью обычной общительности… Его скромность потрясающе исключительна… Лавмэн выражает языком музыку, поэзию, цвет…»[182]

Из всех своих друзей самую теплую привязанность Лавкрафт испытывал к Лавмэну. И в то же время, как это открылось в

полемике с Исааксоном, он исповедовал юдофобию, общераспространенную среди «старых американцев» его поколения, таких, как, например, великий Генри Адаме. На третьем и четвертом десятке у Лавкрафта (вопреки усилиям Августа Дерлета обелить его) эта фобия выросла до настоящей ненависти. Он писал письма, щедро восхваляя ум, благородство и другие достоинства Лавмэна и в то же время понося евреев вообще. Одно письмо переворачивает обычные доводы за национальную терпимость: «Нет ничего глупее, чем ограниченная банальность идеалистически настроенного социального работника, говорящего нам, что мы должны извинять омерзительную психологию евреев, ибо мы, подвергая их гонениям, в некоторой степени ответственны за нее. Это отвратительный вздор… Мы презираем евреев не только из-за тех клейм, которые наложили на них наши преследования, но из-за их недостаточной стойкости… на своем пути, которая всецело и позволила нам их преследовать! Может ли кто-нибудь хоть на миг представить себе, что нордическую расу могли бы бить ее соседи на протяжении двух тысячелетий? О боже! Да они бы погибли, сражаясь до последнего человека, или бы восстали и стерли своих предполагаемых преследователей с лица земли!! Мы инстинктивно ненавидим евреев именно потому, что они сами позволили пинать их. Заметьте, насколько больше наше уважение к их собратьям-семитам арабам, которые имеют благородные сердца – проявляющиеся в бесстрашии… которое мы в душе понимаем и одобряем».

Доживи Лавкрафт до арабо-израильских войн последней четверти двадцатого века, он, возможно, нашел бы эти события поучительными. Он состряпал поразительное объяснение ненависти к евреям: они ответственны за христианство-иудаистскую ересь, – а христианство уничтожило античное язычество, которым он восхищался.

Сегодня из-за таких взглядов человек оказался бы среди крайне правых безумцев, хотя недавно и «новые левые» подняли схожий шум о «сионистских империалистах». В десятых-двадцатых годах двадцатого столетия, однако, такие убеждения были весьма распространены среди американской знати. Тогда у них не было такого зловещего подтекста, как сегодня, после Освенцима и Дахау.

Воображая себя объективным, холодным аналитическим мыслителем, Лавкрафт так никогда и не научился отличать объективный факт от субъективной реакции. Если некто говорит о ком-то, что тот «добрый, справедливый, превосходный, благородный» или «плохой, бесчестный, скверный, подлый», он не

говорит о нем ничего существенного. Он лишь выказывает свое собственное отношение к этой личности. Когда Лавкрафт назвал еврейскую культуру (о которой он не знал практически ничего) «омерзительной»[183], его заявление о евреях не основывалось на фактах. Он лишь выражал свои эмоции по отношению к тому, что, по своему невежеству, представлял еврейской культурой. Кажется, ему не приходило на ум, что некоторые черты этой культуры, вроде воздержанности в употреблении спиртного, строгих сексуальных нравов, книжности и противоречивого, самовысмеивающего юмора, были в точности его качествами.

Когда Лавкрафт стал близким другом Сони Грин, он иногда озадаченно спрашивал ее, как кто-то может проявлять такие очевидные достоинства, как у Лавмэна, и при этом быть евреем. Он поступал так, как часто поступают люди с сильными расовыми предрассудками, чтобы оправдать свои предубеждения. Испытывая ненависть к какой-либо национальности, люди, встречая ее представителя с отвратительными качествами, объявляют его «типичным» для всего народа. Когда же они сталкиваются с другим представителем, которым не могут не восторгаться и к которому не могут не питать теплых чувств, они заявляют, что он, должно быть, является редким исключением.

Большинство писателей, по моему мнению, менее этноцентричны, нежели обычный человек, так как чтение открывает им множество точек зрения. Особенно это истинно для научных фантастов. После того как справишься с проблемой людей-пауков с Сириуса, ни один человек уже не кажется чужим. Лавкрафт, однако, продолжал писать в ксенофобском тоне почти двадцать лет, еще долго после того, как большинство американских интеллектуалов отказались от подобных взглядов. Он кардинально пересмотрел свои убеждения лишь на последнем десятке жизни.

В результате растущего круга знакомств корреспонденция Лавкрафта раздулась просто фантастически. Предполагается, что он написал по крайней мере сто тысяч писем общим объемом не менее десяти миллионов слов. Его письма одному только Кларку Эштону Смиту в среднем содержали около сорока тысяч слов в год. Обычно он вел от пятидесяти до ста переписок одновременно, в число которых входило и некоторое количество старух, считавших его всеведущим философом. В среднем он писал восемь-десять писем ежедневно, а когда опаздывал с ответами, эта цифра возрастала до пятнадцати. Большинство писем занимали четыре-восемь страниц, но некоторые достигали шестидесяти или восьмидесяти.

Лавкрафт старался ответить на все полученные письма в тот же день, задерживаясь же с ответом больше, чем на неделю или две, он расточался в извинениях. Отсюда около половины его рабочего времени уходило на письма. Он осознавал, что такая огромная корреспонденция отнимает у него время, которое он мог бы потратить с большей пользой. Лавкрафт часто зарекался сократить ее объем, но так и не сделал этого. Джентльмен, оправдывался он печально, просто не может быть так груб, чтобы ответить на дружественное письмо коротко, с опозданием или совсем не ответить.

У Лавкрафта были и другие причины для ведения переписки: в Провиденсе, по его словам, у него не было близких по духу друзей, так что письма заменяли ему общественную жизнь. Он писал: «…Эпистолярное выражение почти полностью заменяет мне разговоры, поскольку мое состояние нервного изнеможения становится все более и более острым. В настоящее время мне невыносимо вести долгие разговоры…» «…Изолированной личности необходима переписка, чтобы понимать, как его идеи видят другие, дабы избегать таким образом впадения в догматизм и сумасбродство отшельнических и неисправляемых размышлений…» Лавкрафт говорил, что неважно, сколь часто он встречается с человеком – он никогда не почувствует, что действительно знает его, пока не вступит с ним в переписку[184]. Когда он жил в Нью-Йорке и у него был там круг сходных по духу друзей, он все равно продолжал маниакально писать письма.

Позже у Лавкрафта появилось значительное количество близких друзей, чьим обществом он наслаждался – по крайней мере, до определенного момента. С миром же в целом он, однако, действительно предпочитал личным контактам переписку. В течение многих лет он переписывался с Бертраном К. Хартом, литературным редактором «Провиденс Джорнал», но когда бы Харт ни пытался встретиться с ним, Лавкрафт всегда находил какой-нибудь предлог, чтобы уклониться от встречи. Очевидно, из-за своей застенчивости он боялся встречаться даже с самым благожелательным незнакомцем, тогда как касательно переписки у него не было никаких комплексов.

Дело заключалось в том, что Лавкрафт любил писать письма и не был дисциплинирован в отношении времени. При всем своем восхищении эпохой барокко, он никогда не относился серьезно к словам одного из ее великих авторов писем, четвертого графа Честерфилда: «Более всего я желаю, чтобы ты узнал – а это знают лишь очень немногие – истинную пользу и ценность времени… Никто не расточает свое время, слыша и видя изо дня в день, насколько необходимо использовать его с выгодой и как

невосполнима его потеря… Я знал одного джентльмена, который так экономно расходовал свое время, что не мог даже потерять ту его крохотную часть, которую зовы природы вынуждали проводить его в уборной; в эти моменты он постепенно изучил всех латинских поэтов»[185].

Лавкрафт продолжал переписку даже в своих путешествиях. Он писал на иллюстрированных почтовых открытках мелким, почти неразборчивым почерком и занимал не только всю площадь для сообщений на оборотной стороне открытки, но так же и большую часть раздела для адреса, едва оставляя место для него самого. Раздраженные почтовые служащие порой взимали с Лавкрафта плату за полное письмо, наклеивая на его открытки почтовые марки.

Остановившись где-либо, он использовал всё имеющееся под рукой. В отелях его выручали гостиничные печатные бланки. Он даже использовал оборотные стороны полученных писем, которые редко сохранял.

Получатели педантично именовались как «Esq», (эсквайр), вместо простого «Мг.» (мистер). В самом письме Лавкрафт поначалу приветствовал своего корреспондента формально, например, «Дорогой мистер Блох». Когда же он узнавал человека получше, то иногда обращался к нему только по фамилии, в британской манере: «Дорогой Блох», или по инициалам: «Дорогой А. У.» для Августа У. Дерлета. Позже он порой использовал фонетически переиначенное написание имени или инициалов адресата: «Бхо-Блок» для Роберта Блоха и «Джевиш-Эй» для Дж. Вернона Ши. Несомненное англосаксонское имя Кларка Эштона Смита превратилось в «Кларкэш-Тон», выглядящее как нечто с планеты Юггот.

Для своих друзей Лавкрафт выдумывал причудливые псевдонимы. Иногда он просто латинизировал имена: «Мортоний» для Мортона и «Белнапий» для Фрэнка Белнапа Лонга. Другие были «Боб с Двумя Пистолетами» для Роберта Э. Говарда из Техаса, «Малик Таус» или «Султан-Павлин» для Э. Хоффманна Прайса, автора рассказов в восточном стиле, «М. ле конт Д'Эрлетт» для Дерлета, «Джонкхеер» для Уилфреда Б. Талмана, имевшего голландское происхождение, и «Сатрап Фарнабазий» (сатрап – персидский правитель древнегреческих времен) для Фарнсуорта Райта, редактора «Виэрд Тэйлз».

Среди коллег по «Виэрд Тэйлз» Лавкрафт часто вместо обычного адреса отправителя и даты использовал образные подписи. Так, можно найти письмо, подписанное «Могила 66 – Некрополь Тана. Час Грохотания Нижней Решетки», или «Безымянные Руины Ийата – Час Сияющего Света у Запечатанной

Башни», или «Кадаф в Холодной Пустыне: Час Ночных Мверзей». Такие формулировки усложняют задачу биографа по датировке писем.

Когда Лавкрафт заканчивал письмо, он мог подписать его «Сердечнейше и искреннейше ваш, Г. Ф. Лавкрафт». С близкими друзьями он использовал формулировку восемнадцатого века «Ваш покорный слуга, Г. Ф. Л.» или какую-нибудь игривую подпись вроде «Эйч-Пи-Эль» («ГэЭфЭл») или «Дедуля Теобальд». В некоторых ранних письмах он следовал стилю восемнадцатого века с поразительной точностью:

«Э. Шерману Коулу, эсквайру, Ист-Редхам, Массачусетс Милостивый государь, с благодарностью извещаю Вас о получении Вашего письма от 14 числа истекшего месяца и выражаю сожаления в связи с задержкой своего ответа…»[186]

Другие полны популярных жаргонных словечек, каламбуров и разных острот. Его письма учены, любезны (кроме случаев, когда он разражался тирадами), очаровательны и – особенно для человека, гордившегося своей аристократической сдержанностью, – весьма самообличающи. Можно проследить его триумфы и несчастья почти изо дня в день. Он рассуждает на темы антропологии, архитектуры, астрономии, истории, космологии, науки, оккультизма, политики, путешествий, религии, социологии, стиховедения, философии, художественного сочинительства и эстетики. Всегда можно натолкнуться на ученые изыскания по необычным темам: какова была речь жителей Британии после ухода римских легионов? Почему на часах четыре часа обозначаются «НН», а не «IV»? Когда в восемнадцатом веке мужчины перестали носить парики?

В 1916 году Мо предложил, чтобы он, Айра Коул, Лавкрафт и кто-нибудь еще образовали группу кругового письма. Лавкрафт предложил в качестве четвертого члена Кляйнера и назвал клуб «Кляйкомола», по первым слогам фамилий его членов. Совместное письмо пересылалось от Коула к Мо, затем Кляйнеру, Лавкрафту и снова Коулу. Когда кто-то из них получал пакет, он вынимал свое предыдущее письмо, добавлял новое и отправлял пакет дальше.

«Кляйкомола» процветал два года. Затем Коул был обращен евангелистом-пятидесятником, услышал голоса и стал странствующим проповедником, забросив любительскую печать. Когда выбыл Коул, Лавкрафт завербовал на его место Галпина и назвал клуб «Галламо». Кляйнер и Мо, однако, скоро вышли из клуба.

В 1918 году Лавкрафт узнал об оживлении активности

британской любительской прессы. При содействии английского любителя по имени Маккиг он вступил в Британский клуб любительской прессы. В 1921–м он организовал англоамериканский клуб круговой переписки среди издателей-любителей под названием «Трансатлантический распространитель». Он использовал эту группу в качестве резонатора для своих ранних рассказов, посылая рукописи по кругу с просьбой о критическом отзыве.

Когда какой-нибудь участник подвергал один из рассказов Лавкрафта суровой критике, в следующем заходе он посылал длинное письмо, защищая свое произведение. Он не пишет, возражал он, об обычных людях, потому что они ему не интересны. Он не пишет для широких масс и будет удовлетворен, если его работы понравятся лишь немногим разборчивым читателям. В сентябре 1921 года он распрощался с группой.

Так Лавкрафт завел еще один обычай – отсылать для критики свои произведения друзьям, прежде чем выставлять их на продажу. Для начинающего писателя это здравый метод, если он может найти объективного и знающего Друга, который также помогал бы и в его литературном обучении.

Писатель, представляющий таким образом рукопись на рассмотрение, должен любезно принимать критику и не смущаться ею слишком сильно. Лавкрафт научился не оспаривать ее, но так и не научился не позволять, ей волновать или лишать себя уверенности. К концу своих дней он отсылая каждый рассказ полудюжине друзей, а затем, если кому-то из них произведение не нравилось, впадал в вялое отчаяние и говорил, что бросит писать совсем.

Чтобы переносить разочарования своего ремесла, писатель должен обладать крепостью, гибкостью и изрядной долей самомнения. Лавкрафту этих черт недоставало. С его стороны было довольно глупо продолжать показывать повсюду свои рукописи, поскольку в зрелости он знал о литературной технике больше, нежели его друзья. Они не могли сказать ему ничего полезного, и их критика лишь подавляла ту небольшую самоуверенность, которой он обладал.

Но Лавкрафт так и не усвоил этого. Вопреки своей болтовне о том, что он бесчувственная думающая машина, он оставался эмоциональным, сверхчувствительным человеком с хрупким эго, который по-детски жаждал похвалы и которого совершенно сокрушало неодобрение.

Письма Лавкрафта за период 1915–1921 годов содержат те же обращения к национализму, милитаризму, арийству и сухому

закону, что появлялись в его передовицах, и те же резкости в адрес национальных меньшинств: «…Отчужденные пригороды, где царствует еврейское, итальянское и франко-канадское убожество». В письмах также выражаются философские воззрения Лавкрафта. Он так и не поколебался в своем «нон-теизме», который принял в детстве: «Я опасаюсь, что весь теизм в основном состоит из порочных рассуждений и гадания или выдумывания того, чего мы не знаем. Если Бог всесилен, тогда почему он выбрал этот единственный маленький период и мир для своего эксперимента над человечеством?»[187]

Лавкрафт, однако, не отрицал всецело организованную религию. Подобно географу Страбону и Никколо Макиавелли, он полагал, что религия, даже ложная, служит полезной цели утешения и сдерживания глупых. Это один из «безвредных и несложных способов, с помощью которого мы можем обманывать себя, веря, что мы счастливы…» «Каковы бы ни были недостатки церкви, ее так никто и не превзошел или хотя бы сравнялся с ней в качестве агента по распространению добродетелей». «Честный агностик относится к церкви с уважением за то, что ею было сделано относительно добродетелей. Он даже поддерживает ее, если великодушен… Полезное воздействие христианства никогда не должно ни отрицаться, ни пренебрегаться, хотя, должен честно признать, лично я считаю его переоцененным»[188].

За неимением какой-либо сверхъестественной веры, собственная философия Лавкрафта была утонченным материалистическим исповеданием тщетности, нелепо сочетающимся с суровым аскетизмом личного поведения. Он оправдывал это атеистическое пуританство как «артистическое». Поскольку «наша человеческая раса является лишь незначительной случайностью в истории творения» и «через несколько миллионов лет человеческой расы не будет существовать вовсе», то дела человеческие не следует воспринимать всерьез. «С Ницше я был вынужден признать, что человечество в целом не имеет ни какой бы то ни было цели, ни предназначения… К чему следует стремиться человеку, так это к удовольствиям бесстрастного воображения – удовольствиям чистого рассудка, из тех, что обнаруживаются в осознании истин».

Он всячески поддерживал миф о собственной бесстрастности: «Я уверен, что я, едва ли имеющий представление о том, что есть чувство… намного менее обеспокоен, нежели тот, кто постоянно гоняется за новыми сенсациями…»[189] Шекспировский Гамлет, говорил он, не был безумцем или даже невротиком. Гамлет лишь осознал тщетность всех человеческих дел, и поэтому его больше

ничто не побуждало к каким-либо действиям, хорошим или плохим.

Мало какие убеждения Лавкрафта предоставляют более удобную мишень для осмеяния, нежели его диванный милитаризм. Из своей безопасной кроличьей норы в Провиденсе он яростно разражался кровожадными похвалами и угрозами: «… За распространение идей о мире ответственна упадочническая трусость. Мир – идеал вырождающейся нации, сокрушенной расы…»

«…Станем ли мы когда-нибудь такими бабами, что предпочитают кастрированный писк арбитра мощному боевому кличу голубоглазого светлобородого воина? Есть только одна здоровая сила в мире – это сила волосатой мускулистой правой руки!»

«Я по природе северянин – белоснежный громадный тевтонский убийца из скандинавских или северогерманских лесов – викинг-берсерк-убийца – хищнический грабитель кровей Генгиста и Горсы – покоритель кельтов и полукровок, основатель Империй – сын громов и арктических ветров, брат морозов и полярных сияний – пьющий кровь врагов из свежесобранных черепов…»[190]

При всем этом этот нелепый, слабый, отнюдь не богатырского сложения человек вел самый уединенный, бездеятельный, лишенный всякого риска и воинственности образ жизни, какой только можно представить. (Он перестал насмехаться над кельтами, когда узнал, что один из его собственных предков носил фамилию Кази.) Однако он не был совершенно бездеятелен.

Угнетаемый собственной бесполезностью, Лавкрафт сделал одну серьезную попытку вырваться из-под опеки матери. 6 апреля 1917 года Соединенные Штаты объявили войну Германской империи. В следующем месяце Лавкрафт подал заявление о добровольном поступлении на службу в Национальную гвардию. Он прошел беглый медицинский осмотр, умолчав о своих болезнях, и был принят рядовым в береговую артиллерию.

Когда Сюзи Лавкрафт узнала об этом, то «от новости практически впала в прострацию». Последовали сцены, и она вместе с семейным врачом вынудила армию отменить зачисление. Когда замаячила перспектива воинского призыва, Лавкрафт написал: «Моя мать пригрозила пойти на всё, законное или нет, если я не расскажу о всех своих болезнях, которые делают меня непригодным для службы в армии».

Когда пришел его призывной опросный лист, Лавкрафт

обсудил его с главой местной призывной комиссии. Зная его историю болезней, этот доктор, друг семьи и дальний родственник, велел ему классифицировать себя как «V, G» – полностью непригодным. Когда же Лавкрафт начал протестовать, доктор заявил ему, что он не думает, что Лавкрафт сможет выдержать воинскую жизнь, да и комиссия его не пропустит. Лавкрафт с горечью писал: «Я почти убежден, что если бы мое здоровье позволило, то к этому времени я стал бы по крайней мере офицером запаса, поскольку действительно намеревался серьезно заняться учебой. Я полагал, что если смогу выдержать достаточно долго, то даже смогу получить офицерский чин… Но я допускаю, как сказал доктор, что не имею действительного представления о том, что солдат должен физически переносить даже при самой спокойной лагерной или казарменной жизни. Во всяком случае, он решил, что человек, который не может бодрствовать весь день, будучи гражданским, совершенно не является тем, из кого выходят генералы»[191].

Неизвестно, к чему бы привела военная служба, осуществись она. Как писал Лавкрафт: «Она либо убила бы меня, либо исцелила». Он явно страдал от несомненных психосоматических болезней, и в обеих мировых войнах армия признавала негодными тысячи призывников со схожими недугами. С другой стороны, хорошие солдаты делаются и из такого малообещающего материала, а Лавкрафт, как сказал Кляйнер, поразительно расцветал, когда избавлялся от попечительства матери и теток.

После всего этого, когда два миллиона других американцев были одеты в цвет хаки для войны-до-победного-конца, бедного Лавкрафта оставили чувствовать себя еще более «бесполезным» и «брошенным и одиноким», чем когда-либо. Он говорил, что попытался бы поступить в медицинские войска, где физические ограничения были ниже, «если бы не почти безумное отношение моей матери, которая заставляла меня обещать всякий раз, когда я выходил из дома, что я не буду снова пытаться попасть в армию!»[192] Кажется, ему никогда не приходило в голову, что, поскольку он был взрослым, у его матери не было власти «заставлять» его что-либо делать. Так и закончилась карьера Лавкрафта как воина, нордического или какого-то там еще.

Глава восьмая. Призрачный джентльмен

> *В действительности Безденежный Эдгар [По] всю свою жизнь играл одну роль, особенно горькую в стране вроде нашей, где, несмотря на значимость звезды, под которой мы рождены, полагается, что положение в обществе должно быть достигнуто, нежели предписано. То была роль Аристократа, Лишенного Наследства. Особенно горькая, но и особенно притягательная. Сколько американцев перед лицом своих личных неудач (в бизнесе, любви, жизни) нашли огромное утешение в осознании того, что, существуй на свете правда и справедливость, их признавали бы так же, как Потерянного дофина Франции, Наполеона, подлинного графа Ренвикского или законного Маклеода с острова Скай*[193].
>
> *Даниель Хоффман «По По По По По По По»*

После признания негодным для службы в армии, Лавкрафт понял, что у него все-таки осталось то, ради чего стоит жить: его любительская печать. Он взялся за хобби серьезно, поскольку оно давало ему возможность упражняться в литературных наклонностях благородным, некоммерческим способом.

С 1915–го по 1925 год он опубликовал в любительских изданиях, в том числе и в собственном «Консерватив», сотню эссе и статей. Типичное англофильское стихотворение «Великобритания Победоносная» начинается:

Фемида с неба увидала
Величья римского паденье
И царство лучше возжелала —

Над миром всем держать правленье:
И океан разнес всем весть,
Британской власти отдал честь![194]

Когда оно появилось в «Инспирэйшн» («Вдохновение») в апреле 1917 года, британцам, переживавшим во Франции трудные времена, была необходима любая поддержка, какую они только могли получить. Лавкрафт также сочинил «Песнь трезвости», первая строфа которой гласит:

Отряд мы братьев стойкий,
Мы бьемся с Ромом злым
И в мощь свою идем ко дню,
Настанет что благим.

Припев:
Ура! Ура!
И Трезвости ура!
Я верить рад, что спирта яд
Не принесет вреда![195]

В десятых годах двадцатого века это стихотворение звучало не так уж и глупо, как стало позже, когда «эксперимент, благородный в побуждении»[196], с треском провалился. Сторонники «сухого закона» давали радужные, но вполне правдоподобные обещания – мол, если выпивка будет запрещена по всей стране, мы все тут же станем здоровыми, богатыми и мудрыми. Многие разумные люди поверили этим предсказаниям.

Хотя Лавкрафту и не платили за любительские публикации, его, по крайней мере, печатали, и так он стал известен вне своего семейного круга. По этой причине он, кажется, никогда и не помышлял об оплачиваемых публикациях. Когда кто-то предложил ему поискать для своих произведений коммерческие издания, он аристократически возмутился. Что? Джентльмену просить деньги за плоды своего творческого мастерства? «Я пишу только для собственного удовольствия, – заявил он, – и если кому-то из моих друзей нравятся мои излияния, я чувствую себя достаточно вознагражденным».

В результате своих трудов на ниве любительской печати, Лавкрафт вскоре стал одной из самых известных фигур в этой узкой сфере. В июле 1917 года ОАЛП (или, точнее, ее фракция Коула-Хоффман) проводила в Чикаго собрание. На нем Лавкрафт, занимавший пост одного из вице-президентов организации, был

избран ее президентом. Самого Лавкрафта там не было, он еще ни разу не посещал собраний.

Лавкрафт едва ли мог оставаться недовольным. Однако, приступив к президентским обязанностям, он испытал разочарование, сопутствующее большинству подобных должностей: пропасть бумажной работы, ответы на жалобы, перепалка между фракциями, бесконечное ведение записей.

Например, президент должен был выбирать из членов ассоциации жюри, которое ежегодно присуждало титул лауреата любителям, издавшим, по мнению этого жюри, лучшие журналы или написавшим лучшие статьи, рассказы и стихотворения. Такая схема приводила к политиканству и обвинениям в необъективности и фаворитизме.

Вскоре Лавкрафт почувствовал себя «ввергнутым в скуку и изнуренным» своими новыми обязанностями, но держался до конца. Он также решил присоединиться к конкурирующей НАЛП, хотя и знал, что некоторые из более предвзятых членов ОАЛП этого не одобрят.

Он был только рад, когда в 1918 году его сменил Кляйнер, а он стал председателем правления. Затем Кляйнер заболел, и вскоре Лавкрафт оказался заваленным административной работой еще большего объема, нежели прежде. Целых пять лет после смерти Хелен Хоффман Коул 25 марта 1919 года Лавкрафт оставался главным движителем ее фракции ОАЛП.

В 1919 году, утомившись от интриганской политики и бурь в стакане воды, он объявил, что «покончил с любительской прессой», которая принесла ему «одно лишь пренебрежение и оскорбления». Он повторял свою угрозу несколько раз в течение последующих десяти лет – как и свои клятвы сократить переписку, – но так и не осуществил их. В действительности же, когда президент НАЛП в 1922–1923 годах Уильям Б. Доуделл оставил свой пост на середине срока, Лавкрафт позволил назначить себя на эту должность до истечения остатка срока Доуделла.

В 1920 году, когда президентом лавкрафтовской фракции ОАЛП стал Альфред Галпин, сам Лавкрафт стал официальным редактором этой группировки и занимал этот пост в течение пяти лет. Когда в 1925 году он перестал активно работать во фракции, группировка вскоре прекратила свое существование.

Теперь Лавкрафт начал экспериментировать с другими видами сочинительства. Он не оставил своих топорных георгианских двустиший; одним из его последних крупных усилий была десятистраничная поэма-повесть «Psychopompos», которую он сочинил в 1917–1918 годах. Это традиционная сказка

об оборотне, начинающаяся:

> В Оверньи, школ когда почти не знали,
> Во многое крестьяне не вникали,
> Когда страшилась знать Монарха трона
> За замки, что стояли столь укромно,
> Аристократ жил в крепости в тиши
> И сумерках седой лесной глуши…[197]

Тем не менее он ценил свои работы в этом жанре все меньше и меньше. Составив список своих семидесяти семи стихотворений, опубликованных к апрелю 1918 года, Лавкрафт заметил: «Что за мешанина посредственного и жалкого хлама»[198].

В конце концов это разочарование побудило его отойти от традиций восемнадцатого века. Кляйнер поддержал его в попытке взяться за легковесные стихотворения. Одним из результатов этого было довольно занятное «Поэт страсти»:

> Вы поймите поэта с амурным пером,
> В смутном кто вдохновенье извел пол-листа.
> И не думайте, пьян или болен что он,
> Коль рыдает, на сердце когда пустота:
> Ведь его ремесло,
> Чтоб безумье нашло
> На него от девицы, не зрел чье чело, —
> И, возможно, кричащая пылкая страсть
> Через день парой фунтов на Граб-стрит воздаст![199]

Эта насмешка над любовной поэзией получилась бы более изящной, напиши ее обладавший нормальным сексуальным влечением. Поскольку к тому времени Лавкрафт еще ни разу не влюблялся, стихотворение представляется как рационалистическое обоснование его собственных изъянов – другими словами, случай притворного равнодушия к недоступному.

Несколькими годами позже, однако, он опубликовал несомненную (хотя и не без юмористического налета) любовную поэму собственного сочинения. Она появилась в «Зэ Трайаут» за январь 1920–го: «К Филлис», с покорнейшими извинениями Рэндольфу Сент-Джону, джентльмену, под псевдонимом Л. Теобальд-младший:

Ах, Филлис, если б я умел творить
Искусно строфы, коими напрасно
Твое замыслил сердце покорить,
Ведя себя как раб хозяйки властной,
Тот если б пыл, что изливал я рьяно
У ног твоих, был в рифме отражен
И теплота души, тобой лишь пьяной,
В стихах бы сохранилась для Времен,
Вся если бы любовь к тебе одной
Подвигла к поэтическим полетам:
Чужие страсти влив в рассудок мой,
Враз вознесла б к лирическим высотам —
То лавры скудные, что мной даны,
Поверь мне, крошка, были б все ж скудны!

Эта безделушка заставляет задуматься: было ли это простым литературным упражнением, подобно предыдущему стихотворению «Лета; Плач» («Laeta; A Lament», 1918)? Или же Лавкрафт бросал влюбленные взгляды на какую-то девушку, к которой у него недоставало мужества подойти открыто? Могла ли это быть его коллега по любительской печати Уинифред Вирджиния Джексон, за которую он иногда писал и с которой у него были вполне – для него – дружеские отношения? Однако кто была эта «Филлис» и существовала ли она вообще, мы, вероятно, никогда не узнаем.

Пытаясь вырваться из поэтической темницы восемнадцатого века, Лавкрафт также написал несколько стихотворений в подражание По. Единственными поэтами девятнадцатого века, которые ему нравились, были По и Суинберн, и первого он ценил гораздо выше. Другие викторианские поэты, вроде Лонгфелло и Теннисона, оставляли его равнодушным. Одной из его стилизаций под По была поэма «Немезида», начинающаяся:

За вампиров воротами сна,
За подлунного пропастью ночи,
Жил я жизни свои без числа —
Повидали весь мир мои очи;
И, в безумье от страха, я бьюсь
До рассвета, крича со всей мочи[200].

Несмотря на добротный, размеренный ритм, «Немезида» (возможно, вдохновленная «Улялюм» По) не только крайне банальна, но и выдержана в галопирующем анапесте. Он хорош

для «Быстро обуйся, в седло и скачи!» Браунинга, но не подходит для мрачного сюжета Лавкрафта.

Лучше у него получилось «Отчаяние», первая строфа которого приведена в качестве эпиграфа к Главе IV. Все более освобождаясь от поэтических ограничений, Лавкрафт даже заставил себя написать поэму в стиле белого стиха По, озаглавленную «Натикана»:

> То было в садах бледных Зайса,
> В садах затуманенных Зайса,
> Где белый цветет нефалот,
> Предвестник полуночи нежный.
> Хрустальные спят там озера,
> Текут молчаливо ручьи,
> Ручьи из пещер края Катос,
> Нависли где сумерек духи.

Рассказчик описывает, как была любима им

> В венке и бела Натикана,
> Власами черна Натикана,
> …
> Пока не настал сезон Дзаннин,
> Тот проклятый ввек сезон Дзаннин, —

и обратил все в красное, сведя героя поэмы с ума. Потеряв свою деву, он готовит

> Ту дозу, что красное скроет,
> Жуть комы под именем жизнь.
> И скоро, варю если верно,
> Безумье и красное сгинут,
> В глубинах червивого мрака
> Оковы мои распадутся…[201]

Эта попытка (в которой есть некоторые подражания поэме По «Энни») имеет те же недостатки, что и «Немезида», но, по крайней мере, Лавкрафт взялся за нечто новое. Это было всё лучше, чем косные георгианские двустишия, на которые он извел свою юность.

Так или иначе, Лавкрафт вскоре прекратил писать новые стихи. За последующие десять лет он едва ли написал хоть одно

стихотворение.

На протяжении нескольких лет Лавкрафт убеждал самого себя, что у него нет склонности к прозе. Он утверждал: «Мне хотелось бы писать прозу, но это представляется почти невозможным»[202].

Около 1915 года его друзья В. Пол Кук и Джордж В. Маколи убедили его вновь попробовать себя в этой области. В 1917–м он начал работать в жанре, которому суждено было принести ему славу: сверхъестественная фантастика. Его рассказ «Гробница» был напечатан в марте 1922 года в «Вэйгрант» («Бродяга») – любительском журнале, издававшемся Куком в Нью-Гемпшире. Объемом чуть более четырех тысяч слов, это вполне имеющий право на существование, но не вдохновленный рассказ того типа, что «Виэрд Тэйлз» печатал на протяжении всего своего существования. Возможно, он был подсказан «Возвращением» Уолтера де ла Мара. Его вступительное предложение – клише для подобной литературы: «Учитывая обстоятельства, приведшие к моему заключению в этом приюте для умалишенных, я отдаю себе отчет, что мое настоящее положение вызовет вполне естественные сомнения в достоверности моего рассказа».

Герой по имени Дадли повествует о том, как, будучи одиноким и мечтательным ребенком, он был околдован найденным в лесу близ своего дома склепом пресекшегося рода из Новой Англии. Одержимый желанием проникнуть в гробницу, он находит к ней ключ и начинает проводить там ночи. Духи исчезнувших новоанглийских дворян захватывают его разум, он даже начинает разговаривать на их архаичном английском. Когда наконец он оказывается в сумасшедшем доме, ему говорят, что он никогда не заходил внутрь склепа, а лишь испытывал галлюцинации. Отголоски собственного прошлого Лавкрафта очевидны.

За «Гробницей» последовал «Дагон», опубликованный, однако, раньше, в «Вэйгрант» за ноябрь 1919 года. Более оригинальный, чем его предшественник, этот рассказ в две тысячи триста слов определяет модель большинства после дующих рассказов Лавкрафта: все то же неспешное повествование от первого лица человека – обычно неудачливого и эрудированного холостяка – отшельника вроде самого Лавкрафта, – неожиданно сталкивающегося с некоей аномалией, неким вопиющим нарушением законов природы.

Рассказ разворачивается долго, медленно и мрачно, диалогов либо мало, либо нет совсем. Наконец рассказчик – обычно занимающий пассивную позицию по отношению к

надвигающемуся бедствию – делает потрясающее открытие: несмотря ни на что, эта аномалия реальна. Открытие либо приводит его к смерти, либо лишает здоровья и рассудка.

«Дагон» повествует о пленении главного героя немецким кораблем – рейдером во время Первой мировой войны. Он сбегает с него на спасательной шлюпке, но затем землетрясение внезапно поднимет участок морского дна. Пробираясь через грязь и ил, рассказчик находит вырезанные на камне изображения рыбо-людей, и через некоторое время одно из них выходит из моря во плоти. Герой убегает и возвращается в цивилизацию, но так и остается во власти страха. Тварь, уверен он, намеревается выследить его и уничтожить…[203]

В течение последующих лет Лавкрафт начал карьеру джентльмена-писателя. Он вел «тетрадь для заметок», в которую кратко записывал идеи для рассказов. Вот некоторые из этих записей: «Очень древний колосс в очень древней пустыне. Исчезнувшее лицо – его не видел ни один человек».

«Замок рядом с заводью или рекой – отражение неизменно на протяжении веков – замок разрушен – отражение живет, чтобы таинственным образом отомстить разрушителям».

«Крысы размножаются и истребляют сначала один город, а затем все человечество. Выросли в размерах и интеллекте».

«Старинный собор. Омерзительная горгулья. Человек хочет ограбить – найден мертвым. Лапа горгульи в крови».

«Подземный край под мирной деревушкой в Новой Англии, населенный (живыми или вымершими) созданиями доисторической древности и чуждости»[204].

К 1920 году результаты сочинительства радовали его вполне, чтобы написать: «Я рад, что вы сочли достойными мои пробы в прозе, и жалею, что не обращался к ней девять лет, с 1908–го по 1917 год… Сегодня я полон различных идей, в том числе и о романе ужасов под названием „Клуб семи сновидцев“».

Так никогда и не написанный, «Клуб семи сновидцев» был одним из фальстартов Лавкрафта. В 1918 году он планировал начать выпуск нового любительского журнала «Гесперия», посвященного художественной прозе, но замысел также не был претворен в жизнь. В 1919–м он обсуждал с Мо безуспешную идею о сотрудничестве над серией рассказов под совместным псевдонимом Горис Филтер Мокрафт. В 1992 году последовала еще одна попытка с романом, названным «Азатот». Лавкрафт преуспел в сочинении лишь чуть более пятисот слов, начинающихся: «Когда к миру пришла старость и люди утратили способность удивляться; когда серые города вознесли к закопченным небесам уродливые и зловещие высокие башни, в

тени которых и помыслить нельзя было о солнце или весенних цветущих лугах; когда ученость лишила землю ее покрова красоты, а поэты воспевали одни лишь искривленные призраки, что открывались затуманенному внутреннему взору; когда все это произошло и детские надежды исчезли навечно, жил человек, который путешествовал за пределами жизни в поисках пространств, где скрылись земные сны»[205]

В этом отрывке различима художественная манера человека, оказавшего, вслед за По, значительнейшее влияние на стиль Лавкрафта – лорда Дансейни. Хотя Лавкрафт и не закончил «Азатот», позже он использовал схожую идею в некоторых своих рассказах, так что мир ничего не потерял из-за того, что он не завершил этот зачаток.

Весь 1918 год Лавкрафт упрямо двигался вперед. Его астрономическая колонка в «Провиденс Ивнинг Ньюз» с мая больше не печаталась. Он прочел Фенимора Купера и перечитал рассказы Натаниеля Готорна. Он слушал лекции в Университете Брауна. И он продал поэму «Болота Ипсвича»[206] журналу «Нэшнл Мэгэзин» – насколько известно, это были его первые заработанные деньги в жизни.

Лавкрафт написал научную статью «Литература Рима» для «Юнайтед Аматер» (ноябрь 1918–го) и рассказ в полторы тысячи слов «Полярис», который был напечатан в декабре 1920 года в «Философер» Галпина. «Полярис» начинается: «За северным окном моего кабинета сверхъестественным светом сверкает Полярная звезда. Она сияет там на протяжении всех долгих адских часов мрака. И в осеннюю пору, когда сыплют проклятьями и завывают северные ветры, а покрасневшие деревья на болоте что-то шепчут друг другу в короткие утренние часы под ущербной луной, я сижу у окна и созерцаю ту звезду. Пока медленно тянутся часы, с высот спускается, дрожа, сверкающая Кассиопея, а Большая Медведица неуклюже взбирается от затуманенных деревьев на болоте, раскачивающихся в ночном ветре…

И под ущербной луной я впервые увидел тот город. Безмолвный и дремлющий лежал он на чуждом плато между чуждыми пиками. Из мертвенно-бледного мрамора были сделаны его стены и башни, его колонны, купола и мостовые…»

Рассказчик переживает наследственные воспоминания. Он воображает себя жителем города «Олато, что лежит на плато Саркия, между пиками Нотон и Кадефонек» в краю Ломар. Городу угрожают «инутос – приземистые, дьявольские желтокожие изверги, которые пять лет назад появились с неизведанного

запада, чтобы опустошить наше королевство…».

Поскольку герой, изучающий загадочные Пнакотические манускрипты, «немощен и подвержен странным обморокам при стрессах и тяготах», его считают непригодным для борьбы лицом к лицу с этими протоэскимосами. Вместо этого его друг генерал Алое ставит его на пост да жизненно важной сторожевой башне Тафен, чтобы предупредить армию о приближающихся инутос. Но на него находит сон, и он просыпается в своем современном воплощении.

«И когда я корчусь в муках вины, неистово стремясь спасти город, угроза которому возрастает с каждой минутой, и тщетно пытаясь стряхнуть этот неестественный сон о доме из камня и кирпича, расположенного к югу от мрачного болота и кладбища на небольшом холме, Полярная звезда, зловещая и жестокая, злобно смотрит с черного небосвода, омерзительно мерцая, словно безумное надзирающее око, пытающееся передать какое-то послание, но помнящее лишь то, что когда-то у него было послание, которое оно должно было передать»[207].

Как и большинство рассказов Лавкрафта, эта небольшая сказка производит сильное впечатление при первом прочтении, даже если впоследствии по размышлении ее можно основательно раскритиковать. Например: какой командир выставил бы лишь одного часового на такой важный пост? Чем «мертвенно-бледный мрамор» отличается от любого другого мрамора? Как звезда может мерцать «омерзительно»?

Переполнение повествования такими прилагательными и наречиями, как «сверхъестественный», «адский», «таинственно», «омерзительно», «злобный», «жуткий», «ужасающий» и «зловещий», было худшим писательским недостатком Лавкрафта. Подобная риторическая расточительность может впечатлить простодушного читателя и ложно воздействовать на его чувственность, но более искушенного читателя она быстро утомляет.

Причина в том, что все эти слова обозначают не физические события, а эмоциональную реакцию повествователя на них. И дело не в том, что все эти прилагательные нежелательны – их умеренное использование придает рассказу красочность. Но прилагательные вроде «ужасный» и «жуткий», которые едва ли передают душевное состояние автора или его вымышленного рассказчика, замедляют темп повествования, никак при этом его не улучшая. Как выразился мой коллега Лин Картер, критикуя ранний рассказ Лавкрафта «Безымянный город»: «Рассказ излишне цветист стилем и чересчур драматичен, настроение нарастающего ужаса передается слишком искусственно. Лавкрафт

скорее описывает это настроение ужаса, нежели вызывает его у читателя, а чувства выражаются прилагательными: долина, в которой лежит город, „ужасна“, сами руины „нездоровой“ древности, „некоторые алтари и камни наводили на мысль о забытых ритуалах ужасной, отталкивающей и необъяснимой природы“. Конечно же, если поразмыслить, такие термины бессмысленны. Камень есть камень, долина есть долина, а руины – просто руины. Украшение их разнообразными вгоняющими в дрожь прилагательными не делает их таковыми в действительности».

Эта чрезмерность в определениях – просто ошибки начинающего писателя, вроде тех, что вполне ожидаемы в сочинениях по английскому первокурсников. Подобного много у По, поскольку в его дни это считалось «утонченным стилем» – однако стандарты изменились. Для молодого же Лавкрафта По не мог ошибаться. Поэтому он игнорировал изменения в технике писания прозы со времен По, так же как долго пренебрегал развитием поэзии со времен Драйдена и Попа.

Однако рассказ прежде всего предназначен не для препарирования его вдумчивым критиком, но для поглощения и развлечения читателя при первом же знакомстве с ним. С этой точки зрения «Полярис» может считаться скромным успехом.

Некоторые поклонники Лавкрафта относят «Полярис» к его «дансейнинским» произведениям, которые были написаны в тот период, когда он был всецело очарован этим писателем. Но Лавкрафт написал этот рассказ еще до того, как прочел что-либо из Дансейни.

В 1918 году Лавкрафт узнал, что некоторые из его коллег по любительской печати готовы платить ему за то, чтобы он исправлял их работы. Его друзья убеждали его заняться литературной переработкой, и он написал Галпину: «Кстати, та добрая леди [некая миссис Арнольд] недавно прислала мне два своих произведения для переработки по профессиональным расценкам – лучшее, чем я что-либо видел из-под ее пера прежде… Говоря о клиентах – вы и мисс Дюрр наконец-то будете довольны. Я – настоящий трудящийся человек! Другими словами, я взял на себя ответственность за тщательную и обстоятельную переработку объемистой книги преподобного Д. В. Буша – теперь озаглавленной „Даешь Пайкс-Пик“…[208] Не знаю, как этому типу удается чего-то добиваться в миру. В литературе он полнейший дурак!»

Так Лавкрафт стал «автором-призраком»[209]. Впоследствии писание за других оставалось его основным оплачиваемым

занятием, его собственное сочинительство было лишь побочной работой. По моим оценкам, за последние десять лет его жизни по меньшей мере три четверти его доходов происходили из «призрачного авторства».

В основном его «переработка» заключалась лишь в исправлении орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок с некоторым усовершенствованием стиля. Но иногда, когда сюжет пробуждал его воображение, он переписывал все произведение, используя больше своих идей, нежели оригинальных авторских.

Презирая коммерцию и мало осознавая свою ценность, Лавкрафт запрашивал меньше, чем мог бы принести этот рынок. Его расценки поначалу составляли в среднем около одной восьмой цента за слово. Позже он просил много больше. В 1933 году он составил следующий перечень текущих расценок:

Г. Ф. Лавкрафт – Расценки за переработку прозы
Только чтение – общие замечания
1000 слов или меньше $0,50
1000–2000 – $0,65
2000–4000 – $1,00
4000–5000 – $1,25
20 центов за каждые 1000 слов сверх 5000
Только критика – подробная аналитическая оценка без переработки
1000 слов или меньше – $1,50
1000–2000 – $2,00
2000–4000 – $3,00
4000–5000 – $3,75
60 центов за каждые 1000 слов сверх 5000

Переработка и копирование – за страницу в 330 слов
a) Копирование на печатной машинке – двойной интервал, одна копирка. Без переработки, за исключением орфографии, пунктуации и грамматики – $0,25
b) Мелкая переработка, без копирования (частичное исправление прозы – без новых идей) – $0,25
c) Мелкая переработка, распечатка, двойной интервал с одной копиркой – $0,50
d) Всесторонняя переработка, без копирования (основательное исправление, включая структурные изменения, перестановки, добавления и вырезки – возможное введение новых идей или сюжетных составных частей. Требует нового оригинала или отдельной рукописи). В черновике от руки – $0,75

e) Всесторонняя переработка, как указано выше, распечатка, двойной интервал, одна копирка – $1,00

f) Переписывание со старой рукописи, обзор, сюжетные замечания, начальные идеи или просто предложения – т. е. «призрачное авторство». Весь текст от переработчика – как стиль, так и развитие. В черновике от руки – $2,25

g) Переписывание, как указано выше, распечатка, двойной интервал, одна копирка – $2,50

Отдельные твердые расценки приведены для отдельных работ, исходя из предполагаемых затрат времени и сил.

Последний пункт, который Лавкрафт оценил в два с половиной доллара за страницу, является полным «призрачным авторством». За такую работу он запрашивал примерно три четверти цента за слово. Но эти цифры представляли всего лишь надежды. В действительности он, по-видимому, соглашался на много меньшие цены, нежели приведенные.

За некоторые работы он получал целую четверть цента за слово. Однако повесть Адольфа де Кастро «Последний палач» объемом в 18 500 слов, которую Лавкрафт переписал за шестнадцать долларов, была продана «Виэрд Тэйлз» за сто семьдесят пять. На этой сделке он заработал менее одной десятой цента за слово. В 1933 году он переписывал роман в 80 000 слов за сто долларов, или одну восьмую цента за слово[210].

Поскольку Лавкрафт был усердным работником, за то время, что он тратил, это была нищенская плата. Неудивительно, что он и в самом деле не мог заработать на жизнь своими переработками.

Более того, у него часто возникали затруднения с получением своих скромных гонораров. Он мог бы заработать больше, если бы торговался со своими клиентами и настойчиво требовал уплаты долга, но он не стал бы вести себя столь «не по-джентельменски». Иногда он даже отсылал назад чеки, которые считал не заработанными. Когда одна из его последних клиенток спросила его, сколько он запросил бы с нее за более крупную работу, он уверил ее, что его устроит все, что она предложит. Ведя дела с таким бескорыстным «призраком», его клиенты не были слишком щедрыми.

И все же «призрачное авторство» дало Лавкрафту его первый заработок. Позже он сказал, что может обходиться на пятнадцать долларов в неделю и лишь желает, чтобы всегда мог рассчитывать на получение этой суммы от клиентов. В действительности в последующие года он стал зарабатывать больше этого, но

откладывал излишки на поездки и почту. Хотя он и был всегда бедным, голод ему никогда не угрожал, поскольку его тетушки, с которыми он жил после смерти своей матери, всегда могли помочь ему в преодолении периода без доходов.

Дэвид Ван Буш, один из первых клиентов Лавкрафта по «призрачному авторству», оставался его самым крупным источником доходов на протяжении почти десятилетия. Буш читал лекции для движения «Новая мысль». Это движение было основано в конце девятнадцатого века последователями Финеаса П. Куимби, сделавшего карьеру «гипнотического целителя» и умершего в 1866 году. Самым прославленным пациентом Куимби была Мэри Бейкер Эдди, которая в последствии основала во многом схожее вероучение «Христианская наука».

Автор брошюр с названиями вроде «Прикладная психология и научный образ жизни», «Практическая психология и половая жизнь» и «Анализ личности (Как постигать людей при взгляде)», коренастый, дородный, голубоглазый, остроносый, лысеющий Буш обладал напористыми, профессионально гипнотическими манерами и поэтическими амбициями без какого бы то ни было поэтического дара. Отрывок и стихотворение из его книги «Твердость характера и здравый смысл» покажут, почему Лавкрафт назвал его «полнейшим дураком в литературе»: «Гениальность заключается в проверке вашей остроты. Каждый человек имеет Определенное количество остроты в своей системе. Да, и вы тоже. Вы заражены глистами, если в вашем составе нет остроты. Даже если вы думаете, что в вас нет остроты и что вы заражены глистами, все-таки у вас есть возможность проверить, сколько в вас остроты…»

И стихотворение «Ее ты только раскачай»:

> Не будь так мрачен ты лицом,
> Как бабуин на вид,
> Носи усмешку на себе,
> Как на луне лежит.
> С улыбкой ты врага встречай,
> Ее ты только раскачай![211]

Буш издавал свои вдохновляющие брошюры и разъезжал с лекциями. В июне 1922 года Лавкрафт посетил одно из его выступлений в Бостоне. Лектор потрясающе изображал человека в белой горячке, вплоть до чертиков.

С течением времени Лавкрафт испытывал все большую неприязнь к Бушу. В 1921 году, после своего трехлетнего «призрачного авторства» для Буша, он жаловался, что «завален

бредом этого неописуемого чудовища Буша».

Буш, возможно, воплощал собой все, что презирал Лавкрафт: крикливый, агрессивный, пошлый, корыстный, удачливый духовный вымогатель, потворствующий слабостям простых и недалеких людей выкриками банальностей и психологических полуправд с лекторской трибуны. Но Буш, в отличие от многих клиентов, платил хорошо и сразу, поэтому Лавкрафт со всем этим мирился.

За этот период Лавкрафт написал два рассказа для поэтессы-любительницы Уинифред Вирджинии Джексон – или, вероятно, мне следует сказать, что он сотрудничал с ней, поскольку весьма маловероятно, что ему от нее перешли какие-либо деньги. Оба появились в любительских журналах под двойным псевдонимом Льюис Теобальд-младший и Элизабет Невилл Беркли. Они настолько выдержаны в стиле Лавкрафта, что перепечатываются в сборниках его рассказов.

У мисс Джексон, по словам Лавкрафта, не было способностей к прозе. Она дала ему идеи, по которым он написал рассказы – или, скорее, рассказики. Оба представляют собой просто короткие пересказы снов без строгой структуры, объемом около трех и двух с половиной тысяч слов соответственно.

В «Крадущемся хаосе» главный герой рассказывает, как врач, леча его от чумы, дал ему слишком большую дозу опиума. Когда он приходит в сознание, «какое-то мгновение окружающая обстановка казалась мне размытой, как безнадежно расфокусированное проецируемое изображение, но постепенно я осознал, что нахожусь совершенно один в незнакомой мне красиво убранной комнате, освещенной множеством окон…». Рассказчик выходит и обнаруживает, что дом, в котором он проснулся, расположен на высоком и узком мысу: «С обеих сторон дома спускались свежевымытые обрывы красной глины, а прямо предо мной по-прежнему пугающе накатывались жуткие волны, пожирая сушу с ужасающей монотонностью и неторопливостью».

Герой убегает от моря, прихватив и свои прилагательные. Оказавшись в лесу, он встречает группу ангелоподобных юношей и девушек, которые, обращаясь к нему на дансейнинском языке, приглашают его с собой: «В Тело, за Млечным Путем и Аринурскими потоками, есть города, целиком из янтаря и халцедона. А на их многогранных куполах сияют образы дивных и прекрасных звезд…»[212]

В обществе этих светящихся существ рассказчик поднимается на небесный свод. Оглянувшись, он видит сотрясающуюся Землю. В ней разверзается трещина, океаны вливаются в нее и

превращаются в пар. Земля взрывается.

«Зеленый Луг» напоминает сон еще больше. В Мэне падает метеорит. Оказывается, что в нем содержится книга, сделанная из неизвестных материалов, с повестью на классическом греческом языке. Ее автор рассказывает, что он очутился на травянистом плавучем островке рядом с океанским берегом, между зловещим лесом на берегу и большой плавающей массой, Зеленым Лугом. Течение несет островок к бездне. Когда он приближается к Зеленому Лугу, рассказчик слышит песню невидимых певцов: «И затем, когда мой остров принесло ближе и шум далекого водопада стал громче, я ясно увидел источник песнопений, и в одно страшное мгновение вспомнил все. Я не могу, не осмеливаюсь говорить об этом, ибо там открылось ужасное разрешение всего, что до этого ставило меня в тупик, и это разрешение свело бы вас с ума, как оно уже почти сделало это со мной…»[213]

У Лавкрафта была и другая совместная работа, опубликованная в «Юнайтед Аматер» (сентябрь 1920 года) под заголовком «Поэзия и боги» за авторством Анны Хелен Крофтс и Генри Педжета-Лау. Поскольку она звучит намного меньше по-лавкрафтовски, нежели две предыдущие, мы можем сделать вывод, что мисс Крофтс (если это было ее настоящее имя) внесла больший вклад в ее написание. Проза здесь звучит по-женски, что чуждо Лавкрафту.

Этот рассказ – слабенькая сказочка, в которой Марсия, «просто одетая, в черном вечернем платье с большим вырезом», читает белый стих, и к ней тут же является Гермес – в крылатых сандалиях и со всем остальным. Бог уносит Марсию на Олимп. Там Зевс говорит ей, какая она славная девушка, и предупреждает ее, чтобы она ждала нового посланника, которого он вскоре пошлет на Землю.

В течение Первой мировой войны психическое состояние Сюзи Лавкрафт ухудшилось. Ее соседка Клара Гесс писала: «Последний раз я видела миссис Лавкрафт, когда мы вместе ехали в трамвае по Батлер-авеню. Она была взвинчена и, по-видимому, не осознавала, где находилась. Она привлекала внимание всего вагона. Один старый джентльмен вел себя так, как будто в любую минуту готов был выпрыгнуть из трамвая. Я была весьма сконфужена, поскольку все свое внимание она сосредоточила на мне»[214].

Приступы истерии и депрессии становились все более и более острыми. В январе 1919 года Сюзи отправилась навестить свою старшую сестру Лилиан Кларк, оставив младшую, Энни Гэмвелл, присматривать за домом. Энни оставила своего мужа и вернулась

в Провиденс. Болезнь и отлучка Сюзи мучили двадцативосьмилетнего Лавкрафта вплоть до того, что он не мог ни есть, ни писать, кроме как карандашом. Он звонил Сюзи каждый день – в противном случае, по его словам, он вообще ничего не мог делать.

Тринадцатого марта Сюзи была помещена в Больницу Батлера для умалишенных, где двадцать один год назад умер ее муж. Здесь она рассказывала каждому, кто соглашался ее выслушать, о своем чудесном сыне, «поэте высшего порядка». Но сын сам был не в лучшей форме, он описывал свое состояние так: «Теперь мое нервное напряжение, судя по всему, сказывается на зрении – я часто испытываю головокружение, а когда читаю или пишу, все плывет перед глазами или жутко болит голова. Существование представляется ничего незначащим, и я хотел бы, чтобы оно прекратилось»[215]

Сюзи задержалась в больнице на два года. Лавкрафт часто навещал свою мать, а когда не был рядом, писал ей длинные письма. Она слала ему подарки: «…маленькие примулы, которые все еще украшают эту комнату, „Уикли Ревью“, банан и та очаровательная открытка с кошкой…»[216]

Все выглядит как нормальная картина любящего сына и его больной матери, но он, по-видимому, никогда не посещал ее внутри больницы. Он встречался с ней в парке, обычно в месте под названием Грот. Они прогуливались по обширному, ухоженному Лесу Батлера, возвышающемуся над Сиконком, но в больничных записях не отмечено его посещений внутри зданий. Это подтверждается письмом, которое Лавкрафт написал в 1925 году, когда его жена лежала в бруклинской больнице и он ежедневно ее навещал. Он писал, что до тех пор «я никогда не видел интерьера учреждения подобного рода во всей его длине».

Избегание Лавкрафтом больницы наводит на размышления. Как я уже отмечал, Уинфилд Таунли Скотт заклеймил Лавкрафта как «робкого и эгоистичного юношу». Однако это не представляется исчерпывающим объяснением. Все-таки Лавкрафт часто навещал свою мать. Более того, его реакция на ее смерть, несомненно, свидетельствовала о нем, как о любящем сыне.

Простой эгоизм – недостаточный ответ, но у нас нет ключей к каким-либо другим: либо он избегал из-за чувствительности к больничным запахам, либо из-за бессознательного негодования на свое пагубное воспитание, либо из-за предписаний врачей, либо по какой-то другой причине, что канула в безжалостную бездну времени.

За те два года, что его мать провела в больнице, Лавкрафт,

несмотря на приступы отчаяния, расширил сферу своих интересов. Едва лишь он прекратил отрекаться от любительской печати, как оказался официальным редактором фракции ОАЛП Коула-Хоффман. После смерти Хелен Хоффман Коул эта группировка называлась «ОАЛП Лавкрафта».

Он издал «Консерватив», первый номер пятого тома (июль 1919) – следующий выпуск которого, впрочем, был напечатан почти через четыре года. Он писал для других любительских изданий, особенно много для «Юнайтед Аматер» и «Нэшнл Аматер».

Статья в «Силвер Клэрион» («Серебряная Труба») была с застенчивой скромностью озаглавлена «Краткая автобиография непоследовательного бумагомарателя». Она начинается игривым отказом Лавкрафта говорить много: «Поскольку земная карьера уединенной и болезненной личности редко когда насыщена захватывающими событиями, моим читателям не стоит ожидать от нижеследующей летописи многого, что завладеет их вниманием или пробудит в них интерес…» Он рассказывает о своем детстве, юности и вступлении в ОАЛП. «Я стремлюсь поддерживать исключительно литературу и передовые элементы в любительстве и способствовать возрождению того консерватизма и классицизма, которые современная литература, по-видимому, склонна опасно отвергать»[217].

В статье «Идеализм и материализм: отражение» излагается в духе Макиавелли отношение Лавкрафта к сверхъестественному. Она начинается одной из его раздражающих многословием поз превосходства: «Человеческая мысль, со всеми ее бесконечными разновидностями, глубинами, выражениями и противоречиями, является, возможно, самым забавным, но в то же время и обескураживающим спектаклем на нашем шаре из земли и воды…» Затем писатель дает традиционный антропологический отчет о том, как первобытный человек персонифицировал силы природы и так изобрел богов.

Лавкрафт разделяет идеалистов на «два класса: теологов и рационалистов». Первые – последователи религий, вторые – идеалистические атеисты, которые, веря в способность человека к совершенствованию, подвергают нападкам религию в надежде, что ее ниспровержение приведет к такому совершенству. «Точно так же, как теист забывает, что его вера может быть иллюзорна, хотя ее воздействие и благотворно, идеалистический атеист забывает, что его теория может принести вредные результаты, хотя она верна».

С другой стороны, материалист «видит бесконечность, вечность, бесцельность и автоматическое действие творения и

полнейшую, страшную незначительность человека и всего мира в этом… Вглядываясь в голые факты атеизма, он восстанавливает рассвет человеческого разума и осознает, что его эволюция неизбежно влечет за собой религиозный и идеалистический периоды…»[218]. В качестве людей, которые знают истину своего личного вероучения, Лавкрафт ссылается на свое детство, когда он знал, что боги античной мифологии существуют.

Лавкрафт читал Шопенгауэра (чей пессимизм был достоин его собственного), Ницше и Фрейда. Он восторгался сведением Ницше человеческой морали к антропологическим, материалистическим основам, но не воспринимал великого немецкого краснобая совершенно серьезно: «…позвольте мне ясно определить, что я не принимаю его полностью. Его этическая система – посмешище…»[219] Фрейд, полагал он, на верном пути, хотя у него и были возражения по некоторым его теориям.

Он также писал и рассказы. В начале 1919 года он написал «За стеной сна» – как и «Гробница», рассказ демонстрирует больше перспективу, нежели исполнение. Он начинается многословно: «Я часто задаюсь вопросом, задумывалась ли когда-либо большая часть человечества над подчас колоссальным значением снов и того загадочного мира, к которому они принадлежат. Хотя большинство наших ночных видений являются, возможно, не более чем расплывчатыми и фантастическими отражениями событий, происходящих с нами наяву, – вопреки Фрейду с его ребяческим символизмом – есть все-таки определенная часть, чей неземной и нематериальный характер допускает необычайное толкование и чье смутно тревожащее воздействие предполагает возможные мельчайшие проблески в сфере психического существования не менее важными, чем физическая жизнь, хотя и отделенными от этой жизни почти непреодолимым барьером».

Герой рассказывает, что он – стажер в психиатрической лечебнице. Пациент, Джо Слейтер, заключен в нее после освобождения от ответственности за убийство по причине безумия. Слейтер – несущий бред пьяница-дегенерат из захолустья, порой ведущий себя так, словно одержим другой, гораздо более умной личностью. Он бормочет о «зеленых зданиях в свету, огромных пространствах, странной музыке и призрачных горах и долинах»[220].

Убежденный, что у Слейтера есть жизнь на другом уровне, рассказчик сооружает прибор, чтобы установить с ним контакт. Когда оба засыпают, он тоже оказывается в том другом измерении. Он знакомится со вторым «я» Слейтера, своим «братом во свете». Это газообразное существо объясняет, что оно

должно отправиться на Алголь, «дьявольскую звезду», чтобы уничтожить врага. Слейтер умирает, и, конечно же, близ Алголя вспыхивает новая.

Лавкрафт также экспериментировал с поэмами в прозе. Это этюды, или маленькие рассказы в несколько сотен слов, которые из-за скудности сюжета написаны на пышном, поэтическом языке. Поэмы в прозе были популярны у французских декадентов девятнадцатого века, любивших намекать на грехи, слишком страшные, чтобы выражать их словами. Лавкрафт читал Гюисманса и, возможно, других декадентов. В его первой поэме в прозе «Память» видно влияние некоторых коротких фантазий По вроде «Разговора Эйроса и Хармионы». Она начинается: «В долине Нис тускло сияет проклятая ущербная луна, тонкими рогами пробивая путь для своего света через смертоносную листву огромного анчара. А в глубинах долины, куда не проникает свет, шевелятся формы, не предназначенные для того, чтобы на них смотрели. Пышны травы на склонах, где зловещие виноградные лозы и ползущие растения карабкаются меж камня руин дворцов, крепко обвивая разрушенные колонны и странные монолиты и поднимая мраморные мостовые, выложенные уже забытыми руками. А на огромных деревьях, выросших в осыпающихся дворах, резвятся маленькие обезьянки…»

Джинн из лунных лучей спрашивает Демона Долины: кто построил эти руины? Демон отвечает: «Я – Память, и мудр я в знаниях минувшего, но я и слишком стар. Эти существа были подобны водам реки Век, которую невозможно постичь. Их деяний я не помню, ибо длились они лишь миг. Их вид я помню смутно, и он был подобен тем маленьким обезьянкам на деревьях. Их имя я помню ясно, ибо оно рифмовалось с названием реки. Эти существа из вчера назывались Человек»[221].

Лавкрафт написал для любительских изданий еще три стихотворения в прозе: «Ньярлатхотеп» (1920), «Ex Oblivione» («Из забвения», 1921) и «Что приносит Луна» (1923). Эти произведения – приятные вещицы для чтения, но их нельзя отнести к важным работам автора. Как и большинство рассказов Лавкрафта, «Ньярлатхотеп» произошел из сна. Он начинается: «Ньярлатхотеп… Ползучий хаос… Я последний… Мне будет внимать пустота…

Не помню точно, когда это началось, но с тех пор прошло уже несколько месяцев. Царившая повсеместно напряженность была воистину ужасной. К политическим и социальным потрясениям добавилось странное и тягостное ощущение скрытой физической опасности…

Именно тогда и явился из Египта Ньярлатхотеп. Кем он был –

этого сказать не мог никто, но в жилах его текла древняя египетская кровь, и он выглядел словно фараон… Ньярлатхотеп – смуглый, стройный и зловещий – пришел в цивилизованные страны, повсюду скупая странные приборы из стекла и металла и собирая из них еще более странные аппараты…»

Ньярлатхотеп объявляется в городе рассказчика с электрическим представлением, в которое включен и фильм, показывающий «фигуры в капюшонах посреди руин и злобные желтые лица, выглядывающие из-за поваленных монументов». В конце зрители оказываются бредущими по открытой местности в снежной буре. Все обращается в хаос: «И по всему этому бурлящему кладбищу вселенной раздается приглушенный, сводящий с ума барабанный бой и пронзительный монотонный вой богохульных флейт из немыслимых темных покоев по ту сторону Времени; отвратительный грохот и завывание, под который медленно, неуклюже и нелепо танцуют гигантские, мрачные конечные боги – немые, бездумные горгульи, чья душа есть Ньярлатхотеп».

Это заключительное предложение (которое Лавкрафт переложил в повести «Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого») всегда напоминало мне о шумных ночных клубах. Произведение возникло во сне, где Лавкрафт получил письмо от Сэма Лавмэна, в котором говорилось: «Не упусти возможности повидать Ньярлатхотепа, если он приедет в Провиденс. Он ужасен – ужаснее всего, что ты только можешь представить, – но прекрасен».

Рассказ следует сну вплоть до момента, когда Лавкрафта «потащило в черную зияющую бездну меж снегами»[222], после чего он закричал и проснулся. Имя Ньярлатхотеп (Nyarlathotep) составное. «Хотеп» (hotep) – древнеегипетское слово, обозначающее «довольный» или «удовлетворенный», «ньярлат» (nyarlat) – вероятно, подражание какому-нибудь африканскому названию места, вроде Ньясаленд (Nyasaland)[223].

В сентябре 1919 года Лавкрафт прочел «Время и боги» лорда Дансейни. «Первый же абзац сразил меня, словно электрический удар…» Потрясенный Лавкрафт начал читать другие его книги и был весьма обрадован, узнав, что в начале ноября Дансейни собственной персоной должен выступить с лекцией в бостонском отеле «Копли-Плаза».

Лавкрафт присутствовал там с тремя другими издателями-любителями, прибыв достаточно рано, чтобы занять места в первом ряду. Он сообщал: «Дансейни начал с опозданием, его сопровождал и представил профессор Джордж Бейкер из Гарварда. Дансейни галпиновского телосложения – ростом шесть

футов и два дюйма и очень стройный. У него открытое и красивое лицо, хотя и испорченное тоненькими усиками. Манера поведения у него мальчишеская и немного неловкая, а его улыбка обворожительна и заразительна. Волосы у него светлокаштановые. Его голос мягкий, речь изысканная и явственно британская… Сначала Дансейни затронул свои идеалы и методы, потом поставил кресло перед столиком, сел и начал читать свою короткую пьесу „Враги королевы“».

По мнению Лавкрафта, любые усы портили лицо их обладателя. Эдварда Джона Мортона Дракса Планкетта, восемнадцатого барона Дансейни (1878–1957), иногда называли хуже всех одетым человеком в Ирландии. Его обычной лекторской одеждой был бесформенный, мешковатый твидовый костюм, карманы которого были набиты карандашными записками. Он говорил бегло, не без некоторого налета театральности, но с незначительным оттенком ирландской напевности в английском, привитом в британской привилегированной школе для мальчиков.

Темпераментный, энергичный, многогранный, спортивный и поэтически чувствительный, Дансейни был англо-ирландским пэром, писателем, солдатом, поэтом, спортсменом и путешественником – многие хотели бы быть таким лордом, представься им возможность. Помимо странствий по миру, охоты на лис на Британских островах и диких козлов в Сахаре, победы в чемпионатах Ирландии по шахматам и стрельбе из пистолета, службы британским офицером во время англо-бурской и Первой мировой войн, сотрудничества с Уильямом Батлером Йейтсом и Театром аббатства в «Ирландском возрождении» и, наконец, неудавшейся попытки заняться политикой, Дансейни так же написал шестьдесят с лишним книг рассказов, пьес, стихов, в том числе и автобиографию – в основном гусиным пером.

Дансейни жил то в доме в стиле эпохи Регентства в Кенте, то в нормандском замке в графстве Мит, в часе езды от Дублина. Замок был модернизован около двух столетий до этого. Как однажды заметила леди Дансейни: «Если вы собираетесь модернизировать замок, то восемнадцатый век – самое лучшее время для этого». В огромной библиотеке, за книжными шкафами, располагались убежище священника и потайная лестница, сохранившиеся со времен преследования католиков, до того как Дансейни приняли протестантство.

Дансейни чрезвычайно повлиял на писателей фэнтези двадцатого века. Он упростил героическое фэнтези, возрожденное Уильямом Моррисом в восьмидесятых годах девятнадцатого века, до формы рассказа, хотя романы в этом жанре писал тоже.

Религиозный скептик, он изобрел целые пантеоны божеств, правивших его воображаемыми мирами. Это не были боги абстрактного и моралистического типа, которым так благоволят богословы, но того типа, в которых верили на заре человечества и что наделены людским тщеславием, ревностью, раздражительностью, мстительностью и жестокостью. Лавкрафт назвал творчество Дансейни «непревзойденным в волшебстве кристальной поющей прозы и величайшим в создании великолепного и томного мира радужно диковинного образа» – слова, уже сами по себе являющиеся довольно радужной прозой.

После лекции лорд в монокле «был окружен охотниками за автографами. Подстрекаемая своей теткой, мисс Гамлет почти собралась духом попросить автограф, но в последний момент испугалась… Что до меня, то мне не нужна была подпись, ибо я не выношу раболепства перед великим». Последнее предложение – всего лишь обоснование собственной робости.

Элис Гамлет, одна из коллег Лавкрафта, «никак не могла отказаться от мысли взять автограф»[224] и написала Дансейни письмо, вложив в него кое-какие подарки, в том числе и оригинал письма Линкольна. Дансейни любезно ответил. Лавкрафт написал поэму в шестьдесят четыре строки «Эдварду Джону Мортону Драксу Планкетту, восемнадцатому барону Дансейни». Сочиненная в его худшем стиле под восемнадцатый век, она появилась в «Трайаут» Ч. В. Смита:

> Как солнце над долиной, тьмой объятой,
> Встает пред взором, разливая злато,
> Живит лучами на домах росу
> И пробуждает вновь цветов красу,
> Так и над царствами, что мрак гнетет,
> В сверканье зрите Планкетта восход!

Мисс Гамлет послала экземпляр «Трайаут» Дансейни, который ответил:

«Моя дорогая мисс Гамлет!

Я очень благодарен вам за то, что вы прислали мне столь великолепное посвящение, и – заслуживаю я того или нет – весьма признателен автору этой поэмы за его сердечную и щедрую восторженность, вылившуюся в стихах. Подобные посвящения приводят меня в огромное смущение, ибо я начинаю сомневаться, что заслуживаю их, и перед такими друзьями я чувствую себя обязанным в будущем делать все зависящее от себя, дабы попытаться оправдать их оценку. Очень рад слышать,

что „Рассказы сновидца“ смогли достигнуть цели, для которой они предназначены. Огромное спасибо за ваше письмо.

Искренне ваш, Дансейни

Поздравления мистеру Лавкрафту.

Госпожа Сплетня»[225]

Последняя строка написана Ч. В. Смитом.

Как в личном плане, так и в творчестве Дансейни оказал ошеломительное влияние на Лавкрафта. На какое-то время он даже оттеснил По, долгое время бывшего его кумиром. Дансейни воплощал все, чем Лавкрафт хотел бы быть. Притягательность настоящего британского лорда, который не только писал изящную фантастику, но также был и изысканной, обворожительной и чарующей личностью, была огромна.

Это событие повлекло за собой поток дансейнинских рассказов Лавкрафта. В плане прозы то был самый продуктивный период в его жизни. В течение 1917–1921 годов он выдал по меньшей мере семнадцать рассказов, не считая написанных в сотрудничестве.

Его первым – или одним из первых – дансейнинским рассказом был «Белый корабль», написанный сразу после лекции. Объемом чуть менее трех тысяч слов, это сновиденческое повествование начинается: «Меня зовут Бэзил Элтон, я смотритель маяка на Северном мысу, на котором до меня трудились мой отец и мой дед…» Герой говорит о «судах под белыми парусами», что раньше проходили мимо его маяка, но теперь уж появляются редко. Он рассказывает: «С юга, когда полная луна сияла высоко в небесах, появлялся раньше Белый Корабль. С юга скользил он ровно и тихо по поверхности моря…»

Наконец Элтон оказывается на борту корабля, который плавает по фантастическим странам. Он бросает якорь в райском Сона-Ниле, где «нет ни времени, ни пространства и нет ни страдания, ни смерти, и где я жил многие эры».

Пресытившись совершенством, Элтон убеждает капитана отправиться в Катурию, «которую не видел ни один человек, но которая, по поверьям, лежит за базальтовыми столпами на западе». Когда они заплывают за Столпы, их стремительно несет к водопаду, «в котором океаны всего мира низвергаются в бездонное ничто». Они падают, и Элтон пробуждается и видит, что его маяк погас, а на скалах лежит разбившийся корабль.

Много позже Лавкрафту уже не нравился «Белый корабль», от которого, по его словам, «меня тошнит, когда бы я ни подумал о нем!». Он «слащавый и сентиментальный»[226]. Но это слишком сурово. «Белый корабль» далеко не его лучший рассказ, но в

некоторых других тех недостатков, которыми он был так недоволен, даже еще больше.

«Артур Джермин» (1920) – научно-фантастический рассказ ужасов, начинающийся звучным утверждением: «Жизнь – ужасная штука, и из-под того, что мы знаем о ней, проглядывают демонические намеки на истину, порой делающие ее в тысячу раз ужасней».

Артур Джермин, в котором чувствительная и поэтическая натура скрывается под обезьяноподобной внешностью, является наследником титула баронета и родового безумия. Его предок, сэр Уэйд Джермин, в восемнадцатом веке был исследователем Конго. Он вернулся оттуда с фантастическими рассказами о разрушенном городе, населенном исчезнувшим белым племенем. Он также привез с собой жену, которую скрывал от глаз посторонних. Сэр Джермин брал ее в Африку в последующие путешествия, из последнего же вернулся без нее. Спустя некоторое время он оказался в сумасшедшем доме.

Артур Джермин отправляется в Африку и ищет затерянный город, но находит лишь жалкие руины. До него доходят слухи о чучеле белой богини, фетише исчезнувших жителей. По возвращении в Англию некий знакомый присылает ему богиню. Когда же Джермин открывает ящик, то обнаруживает в нем мумию самки обезьяны, которая является его прапрапрабабушкой, загадочной женой сэра Уэйда.

Рассказ принадлежит к жанру о затерянных народах, столь популярному во время написания «Артура Джермина». Генри Райдер Хаггард и Эдгар Райе Берроуз обращались к этой идее многократно. Увы! Ныне самолеты столь совершенны, что уже навряд ли хоть одна квадратная миля земной поверхности не была рассмотрена с воздуха. Так что затерянные народы и города исчезли из литературы, поскольку не осталось мест, где они могли бы скрываться вполне правдоподобно.

На этот раз Лавкрафт поведал свою историю в простой и прямой прозе, не загроможденной определениями вроде «страшный» и «жуткий». Когда через несколько лет Эдвин Ф. Байрд купил «Артура Джермина» для «Виэрд Тэйлз», Лавкрафт пришел в ярость, так как Байрд поменял заголовок рассказа на «Белая обезьяна». Это, заявил он, выдает развязку. Я же сомневаюсь, что в действительности многие читатели были бы удивлены кульминацией, какое бы название ни использовалось.

Можно спросить: почему людям нравится читать истории о страхах, ужасах, бедствиях, смерти и отчаянии? Ведь, действительно, многим нравится. Если кто-то читает

художественную литературу из удовольствия возбуждать искусственные и замещающие чувства, то чувства страха и так далее так же законны, как и более приятные чувства симпатии, волнения, торжества, любви и веселья. Джозеф Аддисон, один из кумиров Лавкрафта восемнадцатого века, размышлял над этим вопросом еще два с половиной столетия назад: «Две главные страсти, которые наиболее серьезные поэты стараются в нас пробудить, суть страх и сострадание. И здесь, между прочим, можно задаться вопросом, как это так происходит, что подобные страсти, весьма неприятные в любое другое время, становятся очень даже притягательными, будучи вызваны надлежащими описаниями…

Следовательно, если мы рассмотрим природу этого удовольствия, то обнаружим, что оно появляется не столько из описания ужасного, сколько из того образа, что мы создаем в себе во время чтения. Когда мы смотрим на подобные жуткие вещи, мы не просто испытываем удовольствие от того, что находимся в полной безопасности от них. Мы считаем их одновременно и внушающими ужас, и безопасными; поэтому чем больше пугающа их видимость, тем больше то удовольствие, что мы испытываем от чувства собственной безопасности. В двух словах, мы смотрим на описываемые ужасы с теми же любопытством и удовлетворением, с какими мы осматриваем мертвое чудовище».

После «Артура Джермина» последовали «Кошки Ултара». В этой миленькой сказочке дансейнинский стиль Лавкрафта сочетается с его любовью к кошкам: «Говорят, что в Ултаре, что лежит за рекой Скай, никто не смеет убить кошку, и в этом я нисколько не сомневаюсь, глядя на то, как одна из них сидит и мурлычет перед камином. Ибо кошка загадочна и близка к тем необыкновенным вещам, что недоступны человеческому оку. Она – душа Древнего Египта и хранитель сказов забытых городов Мероя и Офира. Она – родственник владык джунглей и преемник тайн седой и зловещей Африки»[227].

В этой деревне проживает чета стариков, которая любит ловить и убивать кошек соседей. Однажды через городок проходит караван смуглых, похожих на цыган чужеземцев. Среди них мальчик-сирота Менее, чьим единственным другом является черный котенок. Этот котенок пропадает.

Менее взывает к своим богам, караван уходит. В ту же ночь исчезают все кошки Ултара. На следующий день они возвращаются, безмятежные и сытые. Два скелета – вот все, что осталось от старой пары.

Рассказ «Рок, покаравший Сарнат», написанный примерно в то же время, – превосходная фантазия в духе Дансейни: «Лежит в

краю Мнар огромное и безмятежное озеро, которое не питает ни одна река, и ни одна река из него не вытекает. Десять тысяч лет назад стоял на его берегу могущественный город Сарнат, но нет более Сарната там».

До Сарната стоял город из серого камня Иб, «населенный существами, не очень приятными на вид». Испытывая ненависть к похожим на лягушек жителям Иба, сарнатяне уничтожили их. На тысячелетнюю годовщину разрушения Иба король Сарната Зоккар устраивает великий пир[228], на который приглашены другие правители. Но в полночь… Лавкрафт был весьма удивлен, когда позже узнал, что в Индии существует город с таким же названием, поскольку считал, что он его выдумал.

Тогда же был написан и рассказ ужасов в две с половиной тысячи слов «Показания Рэндольфа Картера». Лавкрафт вел в письмах полемику с Лавмэном о рассказах ужасов и в начале декабря получил от него письмо на эту тему.

В ту же ночь ему приснился кошмар, в котором он вместе с Лавмэном выполнял ночью некую загадочную миссию. Вскоре после этого он написал об этом рассказ.

Героя, чье имя появляется лишь в заголовке, зовут Рэндольф Картер, в то время как Лавмэн из сна становится Харли Уорреном. Рассказ начинается так: «Повторяю вам, джентльмены, ваше расследование бесполезно. Держите меня здесь хоть вечность, если вам угодно, посадите меня в тюрьму или казните, если вам так нужна жертва для умилостивления иллюзии, которую вы называете правосудием, но я не могу добавить чего-либо к тому, что уже рассказал».

«Джентльмены» расследуют исчезновение Харли Уоррена. Уоррен, как это становится известно, изучает оккультные науки. В ту ночь Картер идет с Уорреном, прихватившим с собой фонарь, переносной телефонный аппарат и книгу, написанную неизвестными символами. Сам Картер несет фонарь и две лопаты. Они идут «на древнее кладбище, столь древнее, что я задрожал от множественных примет незапамятных времен».

Они поднимают гранитную плиту и обнаруживают под ней зияющую дыру, в которую Уоррен готовится спуститься. Несмотря на протесты Картера, он отказывается позволить ему идти с ним, объясняя: «…Я не хотел бы тащить комок нервов вроде тебя вниз к возможной смерти или безумию». Затем он спускается, разматывая телефонный кабель. Минует зловещее молчание, и Уоррен кричит по телефону: «Боже! Если бы ты только мог видеть то, что вижу я!. – Это ужасно – чудовищно-невероятно!»

После дальнейших восклицаний Уоррен взывает: «Картер! Ради бога, поставь плиту на место и беги отсюда, если можешь!

Быстро! Бросай все и беги – это твой единственный шанс! Делай, как говорю, и ни о чем не спрашивай!»

Уоррен выкрикивает несколько подобных предостережений со все нарастающим волнением. Он заканчивает воплем «Прочь!» Затем – тишина…[229]

Рассказ (впервые опубликованный в «Трайаут» Смита) представляет собой эффектное второстепенное произведение, несмотря на чрезмерную риторику. Рэндольф Картер, позже появляющийся в нескольких рассказах, – вымышленная идеализация самого Лавкрафта, почти как Конан-киммериец, огромный доисторический варвар-авантюрист, был идеализацией своего создателя – Роберта Э. Говарда.

Картер описывается как мечтательный, эрудированный, аристократичный и, пожалуй, неудачливый холостяк из Бостона. У него есть две вещи, к которым тщетно стремился Лавкрафт: достаточно денег, чтобы жить как джентльмен, и документ о прохождении военной службы – он служил во французском Иностранном легионе. Он интересуется запретными верованиями, но, когда требуется предпринять решительные действия, он оказывается парализованным страхом – «инертным в оковах полного ужаса». Иностранный легион, должно быть, был рад с ним распрощаться. Лавкрафт, никогда не оказывавшийся в подобных передрягах, несомненно, представлял, что нервная личность вроде него самого вела бы себя именно так. Однако те, кто знал его, уверяли меня, что Лавкрафт встретил бы страшную опасность достойно.

Позже в 1920 году у Лавкрафта был еще один всплеск творческой активности. Первый рассказ был «Дерево» – несущественная работа с использованием знаний по античности. Два скульптора – Калос и Музидес – близкие друзья, пока тиран Сиракуз не просит их посостязаться, сделав для него статую. После этого Музидес отравляет Калоса. Позже свершается месть Калоса, когда ветвь огромного дерева, выросшего на его могиле, падает на дом Музидеса.

Примерно в это же время Лавкрафт написал более известный «Селефаис». Так же как и «Белый корабль», «Селефаис» – сновиденческое повествование. Мир снов Лавкрафта приобретал все более четкую форму. В рассказе сочетаются дансейнинский колорит, география «Кошек Ултара» и собственное мировоззрение Лавкрафта: «Во сне Куранес увидел город в долине, морской берег вдали, снежную вершину, возвышающуюся над морем, и ярко раскрашенные галеры, уплывающие из гавани в далекие страны, где море встречается с небом. Это во сне он получил имя

Куранес, ибо наяву он звался по-другому. Возможно, для него было вполне естественным приобрести во сне новое имя, ведь он был последним в роду и таким одиноким среди миллионов безразличных лондонцев, так что было не так уж и много тех, кто заговорил бы с ним и напомнил ему, кем он был. Денег и земель он лишился, и его не заботило то, что думают о нем люди, но предпочитал грезить и писать о своих снах. Те, кому он показывал написанное, осмеивали это, так что через какое-то время он оставлял свои сочинения лишь для себя, а потом и вовсе прекратил писать».

Любимое место Куранеса в снах – город Селефаис в долине Оот-Наргай. После приключений в мире сновидений Куранес не может вернуться в Селефаис. Он прибегает к наркотикам, чтобы погружаться в сны глубже, и, уже умирая, вновь находит свой город: «И после этого Куранес правил над долиной Оот-Наргай и всеми соседними областями сна, держа свой двор поочередно в Селефаисе и в облачном Серенниане. Он правит там до сих пор и будет счастливо править во веки веков, хотя под утесами Иннсмута волны канала насмешливо играли с телом бродяги, проковылявшего через полузаброшенную деревушку на рассвете. Насмешливо поиграли и выбросили на скалы под увитым плющом Тревор-Тауэрзом, где тучный и весьма мерзкий миллионер-пивовар наслаждается купленной атмосферой угасшего дворянского рода»[230].

Модель Лавкрафта для Куранеса ясна как день. С точки зрения мастерства рассказ достоин похвалы, однако нотки жалости к себе и принятия желаемого за действительное могут испортить удовольствие читателей. Тем не менее все писатели выводят себя в своих произведениях под тем или иным видом. Кого еще можно так хорошо знать, как не себя?

«Из вне» (1920) – традиционная фантазия на тему ужасов, или научно-фантастический рассказ ужасов о безумном ученом, конструирующем машину, которая позволяет ему заглянуть в другое измерение. Он соблазняет рассказчика принять участие в эксперименте, уготовив ему судьбу быть съеденным тварью из запредельного мира.

«Храм» (1920), объемом более пяти тысяч слов, написан в форме записки командира немецкой подводной лодки, вложенной в бутылку. Граф фон Альтберг-Эренштайн рассказывает, как он потопил английский грузовой корабль. Мертвого члена экипажа потопленного судна выносит на подлодку. В его кармане находят вырезанную из слоновой кости

голову юноши, которая производит зловещее впечатление.

На подводной лодке происходит взрыв. Ее преследуют стаи загадочных дельфинов. Члены команды либо умирают, либо сходят с ума, либо поднимают бунт, и их убивают – пока в живых не остается один лишь командир. Судно опускается на дно посреди руин Атлантиды, и граф решает закончить свою жизнь, исследуя в водолазном костюме ее развалины.

Рассказ посредственен, разнообразные события в нем так и не образуют связной картины. Интересно лавкрафтовское изображение немецкого офицера, который говорит о своей «железной немецкой воле»: «Я всегда остаюсь немцем, и быстро заметил две вещи», «Я – пруссак и здравомыслящий человек». Это, конечно же, карикатура на врага – хотя и не настолько, чтобы злоупотреблять доверчивостью, поскольку подобных немцев было довольно много. Ирония заключается в том, что Лавкрафт не смог разглядеть, что, когда он говорил об англосакском арийском превосходстве, он сам выглядел точно так же.

«Страшный старик» (примерно конец 1920–го) – вполне отвечающая требованиям небольшая фантазия в тысячу слов, традиционный рассказ о том, как три вора отправляются грабить старого морского капитана, обладающего необычными способностями, и как все трое находят жуткую смерть.

Рассказ примечателен тремя обстоятельствами. Во-первых, он напоминает рассказы Дансейни «Правдоподобное приключение трех литераторов» и «Как Нут практиковал свое искусство на гнолах» и его пьесу «Ночь в гостинице», а возможно, и был сделан по их образцу. Во-вторых, действие происходит в городе Кингспорт в лавкрафтовской Новой Англии – в вымышленном дубликате Марблхеда, штат Массачусетс. Позже Лавкрафт использовал его и в других рассказах.

Наконец, в рассказе есть одно из тех неприязненных и брюзжащих замечаний о «чужаках», которые в последующее десятилетие формировали лейтмотив сочинений Лавкрафта. Трех его воров звали Анджело Риччи, Джо Чанек и Мануэль Сильва, они «происходили не из Кингспорта и принадлежали к тому новому разнородному племени чужаков, что лежит вне магического круга жизни и традиций Новой Англии…».

«Музыка Эриха Занна» (1921) многими считается одним из лучших рассказов Лавкрафта. Его герой рассказывает, как, будучи бедным студентом в неназванном французском городе, он снял дешевую комнату в одном из ветхих домов на улице Д'Осейль. Его сосед из мансарды над его комнатой – старый немой

немецкий музыкант, и до рассказчика доносится его таинственная музыка. Когда он завязывает с немым знакомство, тот позволяет ему послушать его игру, но не разрешает выглядывать из закрытого шторой окна, откуда открылся бы вид на город. Занн также отказывается, выказывая при этом страх, играть ту таинственную музыку, что доносилась до рассказчика.

Однажды ночью он слышит беспорядок в комнате музыканта и входит, чтобы помочь. Занн пытается написать ему объяснение своей тайны. Вдруг из-за окна раздается неземная мелодия. Занн хватает свою скрипку и начинает лихорадочно играть. Окно разбивает буря, свечи гаснут, и ветер уносит рукопись Занна. Когда же герой выглядывает из окна, он видит лишь мрак…

Когда кто-то спросил Лавкрафта, никогда не бывшего за границей, как ему удалось так хорошо описать атмосферу Парижа, тот ответил, что он все-таки там был – во сне, вместе с По.

«Безымянный город» (1921) – первый рассказ из того, что позже назовут циклом Мифа Ктулху[231]. Герой рассказывает о разрушенном городе в Аравийской пустыне: Нет легенды настолько древней, чтобы назвать его имя или припомнить, что он когда-то был полон жизни; но о нем шепчутся вокруг бивачных костров, да бормочут старухи в шатрах шейхов, так что все племена избегают его, толком даже не зная почему. Именно это место безумный поэт Абдул Аль-Хазред увидел ночью во сне, а затем сложил необъяснимое двустишие:

> То не мертво, покоится что вечно,
> И смерть умрет в эпохе быстротечной.

Так детское прозвище Лавкрафта, Абдул Аль-Хазред, нашло себе применение. Исследуя развалины, рассказчик находит резные изображения и мумии расы маленьких цивилизованных динозавров. Когда он начинает выбираться из тоннеля, его затягивает назад завывающим ветром, в котором, как он думает, ему слышатся голоса духов прежних обитателей. А когда он пробивается к поверхности, он видит на фоне неба «кошмарное полчище мчащихся демонов – искаженных ненавистью, абсурдно облаченных, полупрозрачных демонов расы, которую невозможно принять за что-либо другое, – расы ползающих рептилий безымянного города»[232].

Хотя рассказ и был профессионально издан лишь после смерти Лавкрафта, он довольно хорош для своего жанра. Как и множество произведений Лавкрафта, он основан на его сне.

«Иные боги» (1921) – очень впечатляющая небольшая фантазия, вновь обращающаяся к стране снов из «Кошек Ултара». Она начинается: «Над высочайшими земными вершинами живут боги земли, и нет ни одного человека, кто мог бы сказать, что смотрел на них». Но затем: «В Ултаре, что лежит за рекой Скай, жил некогда старик, страстно желавший узреть богов земли. Он основательно изучил Семь тайных книг Земли и был знаком с Пнакотическими манускриптами из далекого и холодного Ломара. Его звали Барзай Мудрый, и сельчане порой рассказывают, как он взошел на гору в ночь загадочного затмения».

Очевидно, Ломар не располагается, как это указывается в «Полярисе», в далеком прошлом явного мира, напротив – это часть мира сновидений. Барзай и молодой жрец Атал взбираются на запретную гору Хатег-Кла. Близ вершины Барзай оказывается впереди. Когда Атал поднимается выше, притяжение словно тянет его вверх, а не вниз. Барзай кричит сверху: «Иные боги! Иные боги! Боги внешнего ада, что сторожат немощных богов земли!.. Отвернись… Возвращайся… Не смотри! Не смотри! Мщение бездонных бездн… Этой проклятой, дьявольской дыры… О милостивые боги земли, я падаю в небо!»[233]

«Искания Иранона» – слабенькая сказка из сновиденческого мира Лавкрафта. В венке из виноградной лозы и в изорванных пурпурных одеждах странствует Иранон, зарабатывая пением на еду, и ищет, но так и не находит волшебный город Айра. Рассказ портят все те же нотки жалости к себе, что слышны в «Селефаисе». Лавкрафт, в сущности, утверждает, что особы с тонкой артистической чувствительностью вроде него должны проводить свои жизни в праздной мечтательности, в то время как другие их содержали бы.

«Изгой» (1921) также считается одним из лучших рассказов Лавкрафта, хотя лично мне он не нравится. И в этом я, кажется, солидарен с самим автором, который назвал его «чересчур многословно механическим в напряженном воздействии и почти комическим в напыщенной помпезности языка… Он представляет собой верх моего буквального, хотя и бессознательного подражания По». Рассказ, действительно, столь выдержан в духе Эдгара По, что некоторые полагают, что он мог бы сойти за какой-нибудь обнаруженный неизвестный рассказ По. Его первые абзацы – практически переложение начала «Береники» По.

Герой рассказывает, что он вырос в полном одиночестве:

«Мне не известно, где я родился, кроме того, что замок был бесконечно древним и бесконечно ужасным, со множеством темных галерей и высокими потолками, где перед глазами представали лишь паутины да тени». Окруженный густым лесом, этот замок был полон летучих мышей, крыс, заплесневелых книг и рассыпающихся скелетов. Чем бедняга питался, не говорится.

В конце концов герой поднимается на единственную высокую черную башню замка, чтобы осмотреться. Но на вершине он с удивлением обнаруживает, что вместо высотной точки обзора он всего лишь достиг поверхности земли.

Он выбирается, бродит по сельской местности и находит другой замок. Внутри него веселятся люди в ярких одеждах, но, завидев его, с криками разбегаются. В том, что выглядит как дверной проем, он видит омерзительное чудовище, «прогнивший, сочащийся призрак больного откровения». Когда же он дотрагивается до твари, то выясняет, что это его собственное отражение в зеркале, что он и есть упырь.

Первоисточники рассказа очевидны. Один – это «Маска Красной Смерти» Эдгара По. Другой – «Дневник одинокого человека» Натаниела Готорна. В этом произведении Хоторн упомянул идею рассказа, в котором он прогуливался по Нью-Йорку. К его изумлению, при его виде люди с криками разбегались, пока он не посмотрелся в зеркало и не обнаружил, что «я прогуливался по Бродвею в своем саване!».

Название «Изгой» весьма знаменательно. Лавкрафт, по его же признанию, сам сделал себя изгоем. Но для изгоя – отшельника, пророка, провидца, чудака – настали трудные времена. Он наслаждается жизнью лишь в тех пределах, в которых может отказаться от обычных мирских удовольствий, не сожалея о них.

В своей аскетической, беспорочной жизни Лавкрафт довольно неплохо справлялся с подавлением страстей, но он так и не достиг полного, буддистского умерщвления желания. Он страстно желал некоторых вещей, которых у него не было: вернуть и отреставрировать дом деда, совершить путешествие по Западу и Старому Свету, быть джентльменом-землевладельцем с достаточным доходом, чтобы сохранять эту роль. Поэтому его жизнь как изгоя, и без того не очень счастливая, претерпевала периоды полного страдания.

«Лунное болото» (1921) – заурядный рассказ сверхъестественного ужаса. В нем повествуется об американце ирландского происхождения, который покупает поместье в Ирландии и намеревается осушить болото, населенное привидениями. Но болотные духи обращают землевладельца и всех его рабочих, выписанных из других мест, в лягушек или

отделываются от них как-то по-другому.

После заключения матери в больницу в марте, весь 1919 год Лавкрафт был бездеятелен. Хотя его тетушки и старались занять ее место, потакая ему во всем, для него оказалось трудным привыкнуть к отсутствию Сюзи.

В 1920–м он оживился. Он интересовался, сможет ли преподавать в вечерней школе – его ночной образ жизни, по его словам, исключал преподавание в дневное время. Его новые клиенты в «призрачном авторстве», как он убедился, будут оплачивать его исправления их произведений.

Весной его посетили издатели-любители Даас, Хоутейн и Кляйнер. Затем бостонские любители, объединенные в «Хаб Клаб»[234], с третьего по десятое июля организовали свой съезд. Лавкрафт поехал туда.

До того времени Лавкрафт покидал дом редко. За три года, предшествующие лекции Дансейни, он ни разу не выезжал из Род-Айленда и не провел и ночи вне дома с октября 1901 года, когда ему было одиннадцать. Тогда его мать увозила его на отдых на летний курорт, но «нервная ностальгия» мальчика «вынудила к скорому возвращению»[235].

В Бостоне Лавкрафт прекрасно провел время. Там были его коллеги Кук, Кляйнер и другие. Он даже немного подурачился, пародируя свою позу восемнадцатого века и говоря другим, что «вполне готов стать обычным хулиганом – на денек». Несмотря на свою очевидную серьезность, Лавкрафт обладал живым чувством юмора бесстрастного и невозмутимого типа.

В первую ночь он поехал домой в Провиденс, чтобы вернуться на следующий день. Затем остальные убедили его остаться в Бостоне на ночь. Шестого числа он отправился с Элис Гамлет, «ее компаньонкой миссис Томпсон [теткой мисс Гамлет – как будто присутствие Лавкрафта требовало компаньонки] и в сопровождении мистера Уайта» на экскурсию по центральной части Бостона. Затем миссис Томпсон и мисс Гамлет взяли Лавкрафта на ночь к себе домой в Дорчестер, поскольку шум гостиницы был для него тяжким испытанием и ему «пришлось позаботиться о тихой комнате для себя».

Седьмого августа он вновь приехал в Бостон на пикник «Хаб Клаб». Его пригласила Эдит Доуи Минитер, лидер массачусетской любительской прессы с восьмидесятых годов девятнадцатого века. Между тем он стал за раз трижды лауреатом ОАЛП: за «Белый корабль», а также за эссе и передовицу.

Из-за дождя участникам пикника пришлось перекусить под крышей, но потом погода прояснилась вполне достаточно, чтобы

вся группа смогла прогуляться по парку Мидлсекс Феллз. Миссис Минитер нарвала лавра и сплела из него венок для Лавкрафта. Она заставила его носить этот венок в честь наград остаток всего дня.

Пятого сентября он снова был в Бостоне, на конференции «Хаб Клаб», где впервые встретился с Джеймсом Ф. Мортоном. Лавкрафт читал «длинную и скучную» речь, как он выразился сам, в «занудной и монотонной манере» и «напыщенном стиле»[236]. Его также уговорили спеть.

Посещение Бостона стало для него привычным. 22 февраля 1921 года, одетый в новый костюм со склада-магазина, он бросил вызов новоанглийской зиме и приехал на конференцию в Доме Куинси. Тема дня была «Что вы сделали для любительской печати и что любительская печать сделала для вас». Лавкрафт прочел доклад «Что любительство и я сделали друг для друга». Он поведал о своем вхождении в эту сферу и о своих целях как председателя Отдела общественной критики: «Возможно, то, что я сделал для любительской печати, весьма незначительно, но, по крайней мере, я могу заявить, что сделанное мною воплощает мои наилучшие усилия, направленные на… помощь честолюбивым писателям… То, что я сделал, должно было начать ясно выраженную кампанию по повышению литературных стандартов… Я взял на себя ответственность за довольно большое количество частных критических отзывов и предложил свои услуги всем желающим переработать рукописи для журналов… Когда я занялся любительством, я, к сожалению, находился во власти иллюзии, будто умею писать стихи, – иллюзии, которая привела меня к отчуждению от читателей из-за множества длинных и отвратительно занудных метрических страданий…

К счастью, я могу быть менее сдержан относительно того, что сделало для меня любительство… Любительская пресса дала мне целый мир, в котором я живу. Обладая нервным и замкнутым характером, изводимый желаниями, значительно превосходящими мои дарования, я являюсь типичным неудачником в огромном мире стремлений… В 1914 году, когда ко мне впервые простерлась щедрая длань любительства, я был так близок к состоянию растительности, как может быть близко только животное – возможно, более удачно меня можно было бы сравнить с приземленным картофелем…

Также любительство одарило меня кругом людей, среди которых я не являюсь совершенным чужаком, – людей, обладающих академическими познаниями, но которые в большинстве своем не столь заносчивы достижениями, чтобы хмуриться на отстающих… То, что я дал любительской печати, –

прискорбно мало. То, что любительская печать дала мне, – сама жизнь».

Лавкрафт рассказывал своей матери: «Мои высказывания принимали на удивление громкими аплодисментами, которые, естественно, доставляли мне огромную радость». За обедом разговор перешел на политику, во время которого Лавкрафт отстаивал республиканскую политику Гардинга.

Среди множества любителей, с которыми встретился Лавкрафт, была высокая, поразительно красивая женщина с энергичным характером – Соня Гафт Грин. Их познакомил Кляйнер на палубе пароходика, перевозившего их на пляж. Миссис Грин надеялась издать свой любительский журнал. Позже она писала о Лавкрафте: «Я восхищалась его личностью, но, честно говоря, поначалу не его внешностью».

Лавкрафт подробно объяснил миссис Грин достоинства ОАЛП. Он обещал написать ей и выслать образцы своих и других работ на поприще любительской прессы.

На вечер он заготовил еще одну речь, на тему «Лучший поэт». Когда же подошла его очередь, он отложил текст в сторону и, к своему удивлению, без труда выступил экспромтом, с шутками и отступлениями. Речь «вызвала оглушительные аплодисменты»[237].

Лавкрафт присутствовал и на другой встрече в середине марта, когда каждый должен был подготовить какое-нибудь выступление с ирландским колоритом в честь дня святого Патрика. По этому случаю Лавкрафт написал «Лунное болото» и прочел его перед собравшимися.

Вскоре шестидесятитрехлетней Сюзи Лавкрафт потребовалась операция на желчном пузыре, которая, судя по всему, была проведена успешно. Однако пять дней спустя она заявила, что хочет умереть, ибо: «Я буду жить в одних мучениях». На следующий день, 24 марта 1921 года, она скончалась от «cholecystitis chalangitis»[238] – воспаления желчного пузыря и желчного протока.

Во время последней болезни Сюзи ее навещала сестра Лилиан Кларк, но сын, очевидно, не приходил. Не зная, как долго Сюзи была прикована к постели перед операцией, мы не можем сказать, было ли это намеренно или нет – он мог оставаться дома из-за нервного изнеможения.

Возможно, смерть Сюзи обернулась бы благом для Лавкрафта, стимулировав его на независимость и самостоятельность. Но этого не случилось, ибо у него были две любящие тетушки, готовые, желавшие и жаждавшие взвалить на себя бремя Сюзи. Так Лавкрафт лишился какой бы то ни было

возможности избавиться от роли маменькиного сынка – вместо этого он просто стал сынком своих тетушек.

Глава девятая. Фантаст-путешественник

Выразительно хвали очень скучные те дни,
чья эпоха уж прошла,
Убеди их без огрех: в королевы Анны век
лишь Культура и цвела.
Поминай нехорошо все, что ново и свежо, —
это грубо, всяк чтоб знал,
Ведь Искусству там конец,
Жозефины где венец
двор изысканный держал.

У. Ш. Гилберт «Терпение», акт I

Смерть Сюзи жестоко ударила Лавкрафта: «Психологически я ощущаю неимоверно возросшую бесцельность и неспособность интересоваться событиями – отчасти из-за того, что большая часть моего прежнего интереса к вещам заключалась в обсуждении их с матерью и выслушивании ее мнения и одобрения».

«…Я презираю себя за то, что продолжаю жить без всякого веского повода затягивать столь унылый фарс. Я редко просыпаюсь без отвращения к необходимости оставаться в сознании еще шестнадцать или семнадцать часов, прежде чем снова впаду в забвение, и рано или поздно я сочту разумным предпринять шаги, дабы обрести сон более милосердного постоянства».

Он также поносил все остальное человечество, называя его «волками, гиенами, свиньями, дураками и безумцами»[239].

Уинфилд Скотт Лавкрафт оставил состояние в десять тысяч долларов. Дед Говарда Филлипса Лавкрафта, Уиппл Ван Бурен Филлипс, завещал пять тысяч своей дочери Сюзи и две с половиной тысячи своему внуку. Сестра Уинфилда Скотта Лавкрафта, Мэри Луиза Лавкрафт Меллон, умерла в 1916 году, оставив своему племяннику Говарду Филлипсу Лавкафту две тысячи.

Поскольку Говард Филлипс Лавкрафт был единственным наследником своей матери, по завещанию ему отходило состояние общей суммой по меньшей мере в девятнадцать с половиной тысяч долларов – либо напрямую от матери, либо через нее. Двенадцать тысяч пришли от отца и его сестры и семь с половиной тысяч от деда по материнской линии. По-видимому, его мать выручила еще некоторые деньги от продажи имущества Филлипсов.

Часть этой суммы Лавкрафт и его мать потратили на жизненные нужды. Часть была потеряна на биржевой сделке, в которую Сюзи вовлек в 1911 году ее брат Эдвин Филлипс. И очень много, несомненно, было израсходовано на двухлетнюю госпитализацию Сюзи.

В начале двадцатых годов Лавкрафт говорил, что состояние его и теток достигает двадцати тысяч долларов и что этих денег им достаточно до конца жизни. Хотя в 1921 году покупательская способность двадцати тысяч в несколько раз превышала покупательскую способность такой же суммы сегодня – в наши дни это было бы 60–70 тысяч, – эти деньги не означали достатка для трех человек, не способных зарабатывать на жизнь и вынужденных жить на проценты, а иногда и тратить само состояние. Вместе с тем, когда Лавкрафт ссылался на эти двадцать тысяч, он подразумевал состояние Филлипсов и, возможно, не включал в оценку семейного состояния наследство со стороны отца.

В любом случае, племянник с тетушками жили на скудный бюджет. Соня писала о его доходах за те годы, что он жил с ней в Нью-Йорке: «Его тетки, не получавшие, как он, доли из состояния Филлипсов, должны были высылать ему пятнадцать долларов еженедельно, но пока его содержала я, они высылали лишь пять, да и то не всегда охотно». Исходя из этих пятнадцати долларов в неделю, годовой доход Лавкрафта от его вложений должен был составлять 750–780 долларов. Полагая шесть процентов в качестве наиболее вероятной процентной ставки в то время, личное состояние Лавкрафта в 1921 году должно было составлять 12 500–13 000 долларов.

Чтобы принять эти цифры, мы должны допустить либо что полная стоимость Лавкрафта и его теток была больше двадцати тысяч, потому что он не учитывал свои личные деньги, доставшиеся от отца, либо же что Лавкрафт обладал почти двумя третями от общего состояния, что оставляет менее десяти тысяч обеим теткам. Думаю, что верно первое предположение.

Лучшая оценка, которую я могу сделать из этой скудной записи, состоит в том, что полное состояние всех троих было

двадцать пять тысяч долларов и что из этого Лавкрафт имел примерно половину. Тетки, помимо пяти тысяч, которые каждая из них получила от Уиппла Филлипса, возможно, получили наследство из других источников – Лилиан Кларк от своего мужа, а Энни Гэмвелл от своего сына, который, как и Говард Филлипс Лавкрафт, унаследовал две с половиной тысячи по завещанию Уиппла Филлипса. Они также поделили доходы от продажи дома на Энджелл-стрит, 454.

Главное – а возможно, и единственное – вложение Лавкрафта были векселя, датированные 1911 годом, обеспеченные закладной на каменоломню, которую разрабатывал итало-американец Мариаоно де Магистрис. Де Магистрис, судя по всему, выплачивал проценты регулярно. В двадцатых годах Лавкрафт любил упоминать этот источник доходов, поскольку он давал ему иллюзию принадлежности к джентльменам-землевладельцам.

Несмотря на то что в начале двадцатых Лавкрафт, может, и имел денег больше, нежели каждая его тетя, он все-таки никогда не зарабатывал их достаточно, чтобы оплачивать свои скромные расходы. Поэтому, за исключением тех двух лет, когда в Нью-Йорке его субсидировала жена, он понемногу спускал свое состояние. То, что он знал об этом зловещем курсе, видно из нотки дурного финансового предчувствия в поздних письмах. Ко времени его смерти его состояние упало до трех векселей общей стоимостью пятьсот долларов, ежегодный доход с чего составлял, вероятно, всего лишь тридцать долларов[240]. Его деньги практически все вышли. Остальные векселя, предположительно, были погашены или проданы, а деньги потрачены. Можно даже сказать, что, поскольку Лавкрафт все-таки не был настоящим бедняком, он умер как раз вовремя, дабы избежать подобной участи.

Когда Лавкрафт говорил о своих тетушках и состоянии, он, кажется, предполагал – фаталистически или же реалистически, – что никогда не будет зарабатывать много денег. Он действительно работал, часто довольно напряженно, и действительно зарабатывал кое-какие деньги. И он судорожно искал работу.

Но всем его усилиям, однако, неизбежно препятствовали, во-первых, его несостоятельность как научиться какой-либо специальности в юности, так и накопить записи в трудовой книжке на третьем десятке жизни, и, во-вторых, комплекс джентльмена. Это табу ограничило его выбор занятий лишь «благородными» и утвердило его во мнении, что само понятие наживания денег – пошло.

В «Теории праздного класса» (1899) Торстейн Веблен обратил

внимание, что показное равнодушие к деньгам является частью старой аристократической позы. Таковыми прикидывались для демонстрации принадлежности к имущему классу и, таким образом, отсутствия необходимости заботиться о подобных вещах. Когда же, однако, самопровозглашенный аристократ оказывался действительно бедным: «Где бы канон явного ничегонеделания ни имел возможность беспрепятственно утвердиться, в результате появится побочный, до известной степени иллюзорный праздный класс – крайне бедный, живущий в опасных условиях нужды и лишений, но морально неспособный унизиться до доходных занятий. Обнищавший джентльмен и леди, видавшая лучшие дни, вполне обычны даже сегодня. Это пронизывающее чувство презрения к малейшему физическому труду знакомо всем цивилизованным народам… У людей с тонкой чувствительностью, долгое время приучавшихся к благородным манерам, чувство постыдности физического труда может стать настолько сильным, что при критическом стечении обстоятельств даже заглушит инстинкт самосохранения».

Когда Сюзи умерла, старшая тетя Лавкрафта, Лилиан Филлипс Кларк, переехала в дом 598 по Энджелл-стрит.

Следующие три года Лавкрафт жил со своими тетками – обычно с обеими, кроме случаев, когда Энни Гэмвелл уезжала на отдых или временную работу.

После смерти матери Лавкрафт прозябал в халате и тапочках, мало чем занимаясь, кроме написания писем. Через три недели даже снисходительные тетушки заставили его встряхнуться. Они напомнили, что во время последней болезни Сюзи он получил приглашение от нового и подающего надежды члена ОАЛП. То была вышедшая на пенсию профессор М. А. Литтл из Хейверхилла, штат Массачусетс.

Девятого июня Лавкрафт навестил мисс Литтл. Он также посетил видного издателя-любителя Чарльза В. Смита, тоже жившего в Хейверхилле. В то время Смит был маленьким, седобородым стариком шестидесяти девяти лет. Он занимался изданиями с 1888 года, а «Трайаут» печатал с 1914–го, и продолжал заниматься издательской деятельностью еще почти тридцать лет.

Мисс Литтл решила отправиться вместе с Лавкрафтом на встречу со Смитом, который радушно принял их в «обветшалом старом коттедже», заполненном сувенирами и хламом целых десятилетий. Он как раз набирал для грядущего выпуска «Трайаут» рассказ Лавкрафта «Страшный старик».

Четвертого июля Лавкрафт присутствовал на ежегодном собрании НАЛП в Бостоне. На нем В. Полу Куку подарили

круговую чашу. Лавкрафту поручили роль тамады, и он лишь отделывался вялыми шутками: «Поскольку сказать мне нечего, мне надлежит сказать это со вкусом…»

Лавкрафт также продолжал писать за Буша. Восьмого августа ему позвонил его друг детства Гарольд Бэйтимен Манро, ставший помощником шерифа. Манро пригласил его проехать с ним в автомобиле по местам под Тонтоном, штат Массачусетс, где они часто бывали мальчишками: у Манро были дела в тех краях. Они отправились на новеньком «форде Т», принадлежавшем Манро. На Грейт-Мидоу-Хилл Лавкрафт с радостью обнаружил, что старый дом, где они играли в детстве, все еще стоит. Позже он отметил, что Манро «…не скучает по юности, как я. Унылая рутина взрослой жизни его всецело устраивает – и все же я поменял бы сегодняшние два любых своих взрослых и интеллектуальных „кутежа“ в Бостоне на один лишь час из семнадцати – или восемнадцатилетнего возраста со всей старой „бандой“…»[241].

Затем коллега Лавкрафта Дж. Дж. Хоутейн предложил написать ему серию из шести связанных рассказов ужасов для публикации в его новом профессиональном журнале «Хоум Брю» («Домашнее варево»). Хоутейн обещал заплатить ему пять долларов за рассказ, или тридцать за все. Это составляло около четверти цента за слово – самая низкая цена, но когда-то Лавкрафту ведь надо было начинать.

Для него оказалось утомительным писать связную серию рассказов заранее установленной длины. Он жаловался на «бремя наемного труда» и «засушливую желтую[242] пустыню коммерциализации». Но рассказы все-таки были написаны.

Хоутейн назвал серию «Ужасные истории», но позже они были переизданы под общим заголовком «Герберт Уэст – реаниматор». Первая часть, «Из тьмы», появилась в первом выпуске «Хоум Брю» в январе 1922 года. Герберт Уэст, герой серии, постоянно оживляет мертвецов, а после попадает в неприятности. В последнем рассказе «Легионы из могил»: «Уэст первым заметил осыпающуюся штукатурку на той части стены, где была скрыта древняя кладка могилы… Затем я увидел маленькое черное отверстие, откуда задул мерзкий леденящий ветер и разнеслась вонь кладбищенских недр гнилостной земли… потом погас электрический свет, и на фоне какого-то адского свечения я увидел полчище безмолвно трудящихся тварей… Они неторопливо разбирали, камень за камнем, вековую стену. А потом, когда проем стал достаточно большим, они по одному вошли в лабораторию, ведомые гордо вышагивающей тварью с красивой восковой головой. Какое-то чудовище с печальными

глазами схватило Герберта Уэста. Уэст не сопротивлялся и не издал ни звука. Затем они все набросились на него и на моих глазах разорвали на части, унеся куски в подземный склеп поистине мифической омерзительности»[243].

Из всех рассказов Лавкрафта эти, включенные в «Герберт Уэст – реаниматор», являются, возможно, самыми незапоминающимися. Но они тем не менее сыграли свою роль в профессиональной карьере Лавкрафта. Хоутейн исправно оплатил два первых рассказа, а вот деньги за остальные Лавкрафт ждал месяцами.

В течение 1921 года Лавкрафт продолжал переписку с Соней Грин, с которой познакомился на бостонском собрании в феврале.

Соня родилась 16 марта 1883 года в молодой еврейской семье Симона и Рахиль Шифиркиных, в Ичне под Конотопом Черниговской губернии на Украине. Дед Сони, Моисей Гафт, противился их браку, так как Шифиркины были недостаточно ортодоксальны.

В Ичне Симон Шифиркин держал магазин – без особого успеха, поскольку сельчане ненавидели евреев. Однажды местные жители, ссылаясь на ходившие слухи о погроме, убедили Шифиркиных бежать в Конотоп, после чего разграбили их лавку.

Когда Симон был призван на военную службу, царские офицеры регулярно вымогали взятки из мизерной платы новобранцев. Они также принуждали их писать своим родственникам и выпрашивать деньги, которые потом забирали. Упрямых рядовых били и сажали в карцер, пока они не становились более благоразумными.

После военной службы Симон Шифиркин предложил поискать счастья в Западной Европе. Отец Рахиль настоял, чтобы молодая пара развелась, и Рахиль осталась дома. Симон уехал, пообещав послать за ней и их маленькой дочерью, как только упрочит свое положение. Но его письма приходили все реже и реже и наконец перестали совсем. Рахиль вернула себе фамилию Гафт.

Ее братья эмигрировали в Англию и преуспели в Ливерпуле в качестве ревизора и торговца. Они позвали Рахиль, и Она приехала с Соней и открыла ателье дамского платья. Когда же ее навестили направлявшиеся в Америку друзья, которых она знала еще в России, она присоединилась к ним, оставив Соню в Школе барона де Хирша под Ливерпулем.

В Соединенных Штатах Рахиль вышла замуж за овдовевшего лавочника из Элмайры, штат Нью-Йорк, по имени Соломон Мозесон, назвавшегося Сэмюэлем Моррисом. В 1892 году

девятилетнюю Соню привезли из Англии и отдали в школу в Элмайре.

Моррис оказался хмурым скрягой с деспотичной матерью. Когда Соне исполнилось тринадцать, он потребовал, чтобы она пошла на работу, поскольку он устал содержать ребенка от другого мужчины. Так Соню отдали в ученицы модистке.

Через два года, когда Соня уже работала модисткой в Нью-Йорке, она познакомилась с двадцатипятилетним торговцем, тоже евреем-выходцем из России, поменявшим свое имя на Стэнли Грин. Они обручились, но и Грин оказался сомнительным товаром: любитель покомандовать, вспыльчивый и безумно ревнивый. Женщины из Гафтов, кажется, выказывали необыкновенно скверную проницательность при выборе мужей. Соня попыталась расторгнуть помолвку. Рыдая и умоляя на коленях, Грин все-таки убедил шестнадцатилетнюю девушку выйти за него замуж.

Соня родила двух детей: мальчика, умершего еще в младенчестве, и девочку, Флоренс Кэрол. Грин волочился за женщинами и бездельничал, а Соня содержала его, пока наконец не развелась. Она отзывалась о нем как о «слабоумном психе». С дочерью Флоренс, матерью Рахиль и двумя детьми, которых Рахиль родила от Морриса, прежде чем расстаться с ним, Соня обосновалась в Нью-Йорке.

Еще во время помолвки Грин, дабы развить умственные способности Сони, заставлял ее изучать европейскую литературу. В результате она стала энергично саморазвиваться. В 1917 году она познакомилась с Джеймсом Ф. Мортоном, который ввел ее в клуб «Утренняя заря» Уолкера. Это был клуб обедов и лекций, и Соня стала его завсегдатаем. Поднимаясь в мире бизнеса как продавец и модельер женских шляпок, она посещала вечернюю школу для улучшения своего английского.

Где-то в 1920 году Мортон попросил Соню разрешить ему использовать ее квартиру для заседания клуба «Синий Карандаш», нью-йоркского общества любительской прессы. Тогда была его очередь принимать собрание, а его жилище было слишком маленьким. Так Соня познакомилась с любительской печатью. Вскоре она посетила собрание в Бостоне, на котором познакомилась с Г. Ф. Лавкрафтом.

В то время она зарабатывала около десяти тысяч долларов в год продажами и в качестве заведующей мастерской для магазина одежды Ферл Хеллер в Манхеттене. В 1921 году это было царское жалование для мужчины и просто неслыханное для женщины. После развода с Грином у Сони были другие поклонники, в том числе и Мортон.

Затем Соня вступила в ОАЛП. В порыве щедрости она даровала в казну ее официального органа «Юнайтед Аматер» пятьдесят долларов. Как редактор Лавкрафт был вне себя от радости от этого неожиданного дохода. «У миссис Г., – писал он, – проницательный, восприимчивый и содержательный ум…» «Под внешностью романтического подшучивания и риторического сумасбродства она обладает умом необычайного размаха и деятельности, а также необычайным образованием, обусловленным европейским взращиванием»[244].

Высокая, великолепно сложенная, красивая брюнетка царственной внешности – «как Юнона», отзывались о ней некоторые, – Соня выглядела много моложе своих лет. Сэм Лавмэн вспоминал ее как «одну из самых красивых женщин, которых я когда-либо встречал, и очень добрую».

Хотя Соня жила в Соединенных Штатах с девяти лет, она проявляла всю экстравертность, непостоянство, импульсивность и маниакальную щедрость, столь свойственные дореволюционным русским. Она была энергичной, предприимчивой, решительной, волевой и не могла «оставаться спокойной и двух секунд». Ее культура не имела ничего общего с ее «европейским образованием», а была достигнута за счет упорной, целеустремленной учебы, в том числе и на курсах в Колумбийском университете. Когда во время деловой поездки она заглянула к своему коллеге Альфреду Галпину в Мэдисоне, штат Висконсин, чтобы с пылкой страстью подстегнуть его «Писать, Делать, Творить», он «чувствовал себя как воробей, укушенный коброй».

Из-за ее разговорчивости Лавкрафт назвал ее «ученым, но эксцентричным человеческим фонографом». Во всем остальном он расточал в ее адрес похвальбы: «Мадам Г., без всякого сомнения, личность самых выдающихся качеств, чей благородный и добрый склад ума никоим образом не притворен и чей интеллект и преданность искусству заслуживают искренних похвал. Непостоянство, свойственное европейскому и неарийскому наследию, не должно затмевать аналитическому наблюдателю серьезные достоинства и неподдельную культуру, которые его перекрывают»[245].

Узнав, что у Сони есть дочь-подросток, Лавкрафт осторожно спросил, не захочет ли та встречаться с одним из его одиноких молодых друзей. Соня заверила его, что Флоренс не нравятся интеллектуалы вроде Кляйнера.

В действительности же Соня и ее дочь не ладили между собой. Лавкрафт однажды отозвался о Флоренс как о «ветреной девушке… дерзкой, испорченной и чрезвычайно независимой…

черствой…», но во всем остальном не обращал на нее внимания. Соня настаивала на усердном самосовершенствовании, но дочь ей противилась. Через несколько месяцев после свадьбы Сони и Лавкрафта Флоренс ушла из дому, работала стенографисткой, уехала в Париж и вышла замуж за молодого американца. Вскоре она развелась, но, уже именуясь Кэрол Уэлд, оставалась в Париже еще семь лет, в качестве корреспондента «Херст». Она снова увиделась с матерью, лишь когда Соня была уже на девятом десятке.

Дерлет описывал Соню как «женщину невероятной привлекательности и личного обаяния», Коул – как «по-настоящему эффектную с ярчайшей женской притягательностью». Большую противоположность, чем между общительной Соней и чопорно сдержанным Лавкрафтом, трудно было бы отыскать.

Но помимо любительской прессы у них все-таки были и другие общие черты. Соня проявляла литературные амбиции, которые, впрочем, не заходили очень далеко. Ее сочинения были чересчур сентиментальны. Как и Лавкрафт, она испытывала презрение к коммерциализации (что довольно странно ввиду ее успеха в бизнесе). Как и у Лавкрафта, у нее были высокие и строгие критерии моральных устоев и поведения. Некоторые из ее идей были довольно странными: например, она считала, что джентльмены не должны носить карманный нож.

Летом 1921 года Соня активно занималась первым номером своего любительского журнала «Рейнбоу» («Радуга»), который вышел в октябре. Лавкрафт послал ей длинное философское письмо, которое она опубликовала как статью под названием «Ницшеанство и реализм».

В этой статье мало говорится о Ницше, но много о политических убеждениях Лавкрафта. В отличие от Ницше, он не верил в постоянно благое правительство, возможное «среди кишащего жалкого сброда, именуемого людьми». Подобно Аристотелю, Лавкрафт полагал, что все формы правления – монархия, аристократия, демократия и охлократия (господство толпы) – несут в себе семена собственного разрушения. Он благоволил умеренной аристократии, поскольку такой строй дает возможность создавать произведения искусства – а только ради них и стоит жить. Он не имел в виду какую-либо абсолютистскую власть царей или кайзеров: «Приемлемое количество политических свобод, безусловно, необходимо для свободного развития разума, так что, говоря о достоинствах аристократической системы, философ имеет в виду скорее устройство определенных традиционных общественных классов, как в Англии и Франции, нежели правительственный

деспотизм»[246].

Лавкрафт, однако, не был таким строгим стратификационистом, как можно предположить из этого отрывка. Незадолго до этого он написал для «Юнайтед Аматер» эссе «Американизм». В нем, наряду с восхвалениями англосаксов, предостережений против ненордической иммиграции и нападок на «политических преступников вроде Эдварда, или Имона, де Валеры», он заявляет: «Но особенности американизма, свойственные нашему континенту, нельзя умалять. Устранение непреложных и строгих классовых черт оборачивается явным социологическим преимуществом, позволяющим постоянно и прогрессивно пополнять верхние слои за счет свежей и энергичной массы нижестоящих».

Если это и противоречит вышестоящему заявлению о «традиционных общественных классах», то это лишь еще одно доказательство способности человеческого разума одновременно придерживаться двух взаимно исключающих взглядов.

Другие любители тоже вняли просьбам принять участие в журнале Сони. Галпин предоставил статью «Ницше как практикующий пророк», а Мортон, Кляйнер и Лавмэн – стихи.

В воскресенье 4 сентября 1921 года Соня, совершавшая деловую поездку, остановилась в Провиденсе и позвонила Лавкрафту. Он пригласил ее на длительную обзорную прогулку по городу, а затем они поднялись на Колледж-Хилл к его дому. Там он представил ее Лилиан Кларк. Знакомство прошло хорошо: «Обе казались довольными друг другом, и моя тетя с тех пор щедра на похвальбы в адрес мадам Г., чьи идеи, речи, манеры, внешний вид и даже платье вызвали у нее величайшую благосклонность. Поистине, после этого визита моя тетушка стала значительно больше уважать любительство – институт, чья исключительная демократия и случающаяся время от времени разнородность порою вынуждают меня извиняться за него».

Угостив Лавкрафта с тетей обедом в гостинице «Краун», Соня предложила пригласить несколько ведущих любителей, в том числе Лавкрафта и Лавмэна, в Нью-Йорк. Обеспечение их жильем она брала на себя.

Это был первый из ряда визитов, которыми Соня и Лавкрафт обменивались в течение нескольких следующих месяцев. Как-то он пригласил ее на выставку стеклянных цветов в Музее сравнительной зоологии в Гарварде. Когда они бывали в Бостоне, либо где-то еще вне Провиденса, Лавкрафт взял за правило останавливаться в разных отелях. Несколько раз они обедали в греческом ресторане в Бостоне, который нравился Лавкрафту фресками античных сцен.

В следующем июне Соня приехала в Провиденс, когда с Лавкрафтом жили обе тети. Он сообщил, что она «очень понравилась» Энни Гэмвелл, «несмотря на расовые и социальные разногласия, которые она зачастую не может преодолеть»[247]. Обаяние Сони смогло растопить даже такой монумент староамериканского классового самолюбия, как Энни Эмелин Филлипс Гэмвелл.

За тринадцать месяцев, с декабря 1921–го по декабрь 1922–го, Лавкрафт написал остальные рассказы из цикла «Герберт Уэст – реаниматор», поэму в прозе «Ньярлатхотеп» и безуспешный «Азатот». Он также писал передовицы и статьи для любительских изданий, в том числе «Исповедь неверия» для «Либерал» за февраль 1922 года.

В этой статье рассказывается о внутреннем развитии Лавкрафта: о его утрате веры в христианство, заигрывании с исламом и античным язычеством и становлении материалистическим атеистом. Он описывает свое мировоззрение как «…цинизм, смешанный с безмерной жалостью к вечной человеческой трагедии людских устремлений, превосходящих возможности их осуществления.

Война укрепила все взгляды, которых я начал придерживаться… Демократия была для меня несущественным вопросом, главным образом, во мне пробуждала гнев наглость вызова англосакскому превосходству. Я… – страстный сторонник англо-американского воссоединения, мое убеждение заключается в том, что разделение единой культуры на два государства расточительно, а зачастую и опасно. И в данном случае мое убеждение сильнее вдвойне, ибо я верю, что вся существующая цивилизация зависит от саксонского господства»[248].

Лавкрафт написал и другие рассказы. В конце 1921 года он сочинил «Картину в доме», простой рассказ ужасов без признаков фантастики. Он начинается зловеще: «Искатели ужасов стремятся в неизвестные, далекие места. К их услугам катакомбы Птолемеев и высеченные из мрамора мавзолеи кошмарных стран. Они взбираются на залитые лунным светом башни разрушенных замков Рейна и в страхе спускаются по черным, покрытым паутиной ступеням под разбросанными камнями позабытых городов Азии… Но подлинный эпикуреец ужасного, для которого вновь испытанное возбуждение от неописуемого ужаса есть важнейший результат и оправдание самого существования, более всего ценит старинные уединенные фермы в лесной глуши Новой Англии, ибо в них темные элементы силы, одиночества, нелепости и невежества объединяются в совершенство

отвратительного».

Герой рассказывает, как он в генеалогических исследованиях путешествовал на велосипеде по Мискатоникской долине. Эта долина названа по вымышленной реке, на которой Лавкрафт разместил свой дьявольский город Аркхэм. Застигнутый грозой, рассказчик ищет укрытие на старой ветхой ферме. Внутри он обнаруживает крепкого, седобородого, одетого в лохмотья старика, говорящего на архаичном наречии. «Под дождь попали, а? – приветствовал он. – Хорошо, что рядом с домом-то оказалися да догадались войти. Я, поди, спал, а иначе б услыхал вас…»[249]

На столе лежит экземпляр «Regnum Congo» («Королевство Конго», 1598) Антонио Франческо Пигафетты, одного из участников Первой кругосветной экспедиции Магеллана. Лавкрафт говорит, что книга была «написана на латыни по дневникам моряка Лопеса»[250].

Старик пожирает глазами иллюстрацию конголезской мясной лавки, на которой мясник бодро разделывает на продажу человеческое тело. Затем на открытую страницу падает капля крови, стекающей из комнаты наверху. Герой впадает в лавкрафтовский паралич от страха, пока удар молнии не разрушает дом, «принеся забвение, которое только и уберегло мой разум». Как молния разрушила дом, не причинив вреда рассказчику, – непонятно.

«Гончая» (1922) – эффектный, хотя и перегруженный прилагательными, рассказ ужасов, соответствующий канону Мифа Ктулху, который уже стал приобретать четкую форму.

Герой повествует, как ради новых ощущений он и его друг Сент-Джон серьезно увлеклись декадентством. В склепе под старинным английским особняком, где они проживали в уединении, они организовали музей ужасов, обставив его предметами, похищенными из могил: трупами – мумифицированными, превращенными в чучела или же сохраненными как-то по-другому, – черепами, скелетами, надгробиями и прочими жизнерадостными безделушками.

Разграбляя могилу вампира в Нидерландах, они находят амулет с символом крылатой гончей: «на вещицу намекал запретный „Некрономикон“ безумного араба Абдула Аль-Хазреда – наводящий ужас символ души в запретном культе трупоедства в неприступном Ленге, что в центральной Азии». После этого их преследует гончая, или вампир, или оба вместе, пока не разрывают Сент-Джона на части…

Вымышленный «Некрономикон», книга зловещих заклинаний для призывания жутких существ из других миров и измерений,

стала важнейшим элементом в последующих рассказах Лавкрафта из Мифа Ктулху. Название книги, возможно, возникло из «Астрономикона» Манилия. Это древнеримская астрологическая поэма первого века христианской эры, которую Лавкрафт цитировал в своих газетных колонках.

Рассказы Лавкрафта оживлены упоминанием множества научных, исторических и оккультных книг. Некоторые из них существуют, некоторые – лишь легенда, а некоторые, вроде «Некрономикона», были выдуманы Лавкрафтом. В «Полярисе» и «Иных богах» Лавкрафт создал Пнакотические манускрипты (или их фрагменты), которые остались частью канона вымышленных книг в Мифе Ктулху. Во втором из этих рассказов он ввел Семь тайных книг Земли, которые в «Сновиденческих поисках Кадафа Неведомого» обзавелись более звучным титулом Семь тайных книг Хсана.

Среди настоящих книг – «История Атлантиды» и «Исчезнувшая Лемурия» (1896, 1930) Скотта-Эллиота, «Sadducismus Triumphatus» (1681) Джозефа Глэнвиля и многие другие. К легендарным же относятся «Книга Тота» и «Книга Цзяна». «Книга Тота» впервые была упомянута в древней египетской сказке «История Сетны Кхамуста», известной из папируса эпохи Птолемеев, но, возможно, являющейся более древней. Согласно данному сочинению, эта книга могущественных заклинаний изначально была написана египетским ибисоголовым богом мудрости Техути, или Тотом.

Когда в начале этого века папирус был опубликован, писатели фэнтези ухватились за «Книгу Тота» как реквизит для своих историй. Например, она фигурирует в «Выводке королевы-ведьмы» (1924) Сакса Ромера.

«Книга Цзяна» была состряпана Еленой Петровной Блаватской, основательницей теософии, в книге «Тайная доктрина» (1888). Этот трактат, сосредоточие фальсификаций и плагиата, в основном состоит из цитат «Цзяна», усеянных ее собственными комментариями и диатрибами. Хотя мадам Блаватская и утверждала, что «Цзян» был написан в Атлантиде на уже забытом языке сензар, в действительности это переложение, без всяких ссылок на источник, английского перевода с санскрита древней «Ригведы».

В рассказе «Гипнос» (1922) герой вновь живет в старинном английском особняке с единственным другом, с которым исследует мир снов с помощью наркотиков. Друг проникает дальше, чем рассказчик, и возвращается в ужасе от увиденного. После этого он страшится созвездия Северная Корона. Через

некоторое время луч красного цвета из той области неба поражает его спящим. На следующий день открывается: все, что осталось от друга – которого, по утверждению властей, и не существовало, – лишь изваяние головы, изображающей рассказчика в молодости.

Позже, в 1922 году, Хоутейн уговорил написать Лавкрафта еще одну серию рассказов в четырех независимых частях. Это был «Притаившийся ужас», который начал ежемесячно публиковаться с январского выпуска «Хоум Брю» фрагментами в среднем по две тысячи слов каждый.

«Притаившийся ужас», как и «Герберт Уэст», всего лишь надлежащим образом выполненная работа по найму. Рассказчик расследует загадочные исчезновения и ограбления фермеров близ пустующего особняка Мартенсов на Тандер-Маунтин (Громовая гора), по-видимому, в штате Нью-Йорк. Мартенсы были странной голландской семьей, покинувшей Новый Амстердам после взятия его в 1664 году британцами и переименования в Нью-Йорк.

Местные жители, «вырождающееся население скваттеров»-«полукровок», лишь сбивчиво рассказывают о на падениях дьяволов. Герой с двумя помощниками проводит ночь в особняке. Этих помощников похищают. Рассказчик пробует вновь, с другом-журналистом по имени Манро – который погибает.

Рассказчик оказывается самым что ни на есть неумелым следователем: всегда засыпает на дежурстве, оказывается парализованным страхом, кричит или теряет разум. «Я полагаю, что мой рассудок был частично расстроен из-за происшествий…» «…Хотя ни один человек в здравом уме не стал бы тогда и пытаться, я в своем искреннем пылу позабыл об опасности, благоразумии и аккуратности…» «Мой мозг был охвачен таким же полным хаосом, как и земля…» «После этого я, помню, бежал с лопатой в руке… перескакивал, кричал, задыхался, мчался прыжками…» «…Я понял и впал в безумие…»[251] Едва ли это тот человек, которого хотелось бы иметь товарищем в экстремальной ситуации.

Соня убедила Лавмэна приехать в Нью-Йорк поискать работу получше. Он приехал 1 апреля 1922 года. Соня поселила его в своей квартире, а сама перебралась к соседке. Пятого числа Соня, Лавмэн, Мортон и Кляйнер разговаривали по междугородной связи с Лавкрафтом в Провиденсе, приглашая его присоединиться к ним. На следующий день Лавкрафт сел на поезд до Нью-Йорка; он еще никогда не был так далеко от дома. Он поселился в Сониной квартире вместе с Лавмэном.

Последовала незабываемая неделя. Лавкрафт встречался с

Мортоном, Кляйнером и Хоутейном. Он познакомился с Фрэнком Белнапом Лонгом, молодым честолюбивым автором сверхъестественных рассказов. Лонг выиграл конкурс в журнале для мальчиков и благодаря своему рассказу-победителю был приглашен в ОАЛП. Когда в «Юнайтед Аматер» был опубликован еще один его рассказ, Лавкрафт написал ему.

Лонг оказался маленьким темноволосым юношей двадцати лет, он был студентом в Школе журналистики Нью-Йоркского университета и сыном преуспевающего дантиста. Подобно Лавмэну и Лавкрафту, он обладал литературными и поэтическими устремлениями. Из-за сердечных шумов родители избаловали его почти так же, хотя и немного меньше, как Лавкрафта в его домашнем детстве. Чувствительный, эстетический и возвышенный, он был подвержен пылкому, но проходящему энтузиазму в хобби, увлечениях и убеждениях.

Друзья Лавкрафта истерли ноги, осматривая с ним достопримечательности Нью-Йорка: Вулворт-билдинг, финансовый район и часть Бруклина. Лавкрафт был восхищен сумеречным силуэтом Манхэттена: «Он поднимался из воды в сумерках – холодный, гордый и прекрасный, город чудес из восточной сказки, чьи братья – горные пики. Он был непохож ни на один земной город, ибо над багровым туманом возносились башни, шпили и пирамиды, которые могут привидеться лишь в опиумном сне в землях за Оксом»[252].

Однако трущобы бедного Ист-Сайда пробудили в нем ксенофобию: «…Эти свиньи инстинктивно собираются в толпы… Ублюдочная мешанина потной плоти полукровок, лишенная интеллекта, омерзительная для взора, обоняния и воображения – да пошли небо милосердное облако циана, которое удушило бы все это невероятное уродство, покончило со страданиями и очистило место».

Хотя сегодня подобное описание иммигрантской бедноты звучит шокирующе, во времена детства Лавкрафта оно не было необычным среди «старых американцев». Нативизм с ненавистью к иностранцам и иммигрантам был весьма важным фактором в американском мышлении и политике всю вторую половину девятнадцатого и начало двадцатого веков. Нативистские ораторы выражались так же крепко, как и Лавкрафт, вплоть до использования его любимого уничижительного словечка «полукровки». С 50–х и до 90–х годов девятнадцатого века ирландцы назывались «невежественной, преступной и идолопоклоннической толпой полукровок», чехи – «извращенными животными, гарпиями, прогнившими физически и духовно». О поляках и русских говорили: «Давайте выгоним

плетьми этих славянских волков назад в европейские берлоги, откуда они приходят, или же истребим их». Так что отношение Лавкрафта к национальным меньшинствам не было оригинальным – лишь немного не ко времени.

Лавкрафт познакомился с соседкой, которая дала приют Соне, и приласкал ее кошку. Соня сказала:

– Сколько настоящей любви тратится на простую кошку, когда любая женщина была бы так благодарна за нее!

– Как женщине может нравиться такое лицо, как у меня? – спросил Лавкрафт.

– Матери может, да и некоторым другим не пришлось бы очень стараться.

Они рассмеялись, и Лавкрафт продолжил гладить кошку. Казалось, Соня уже положила глаз на Лавкрафта как на своего мужчину.

Кульминация наступила во время обеда в итальянском ресторане на 49–й улице. Лавкрафт впервые пробовал итальянскую еду и довольствовался мясным супом с овощами, спагетти с фрикадельками и пармезаном. От вина он отказался, заявив, что никогда не пробовал алкоголя и не собирается начинать сейчас. Однако у него появилось длительное пристрастие к итальянской еде, особенно к спагетти. После обеда они отправились на русское ревю «Chauve Souris» Никиты Балиева с его прославленным «Маршем деревянных солдатиков».

На следующее утро, тринадцатого апреля, Лавмэн и Лавкрафт попрощались с Соней на Грэнд-Сентрал: Лавмэн сел на поезд в Кливленд, Лавкрафт – в Провиденс.

На протяжении следующих месяцев Лавкрафт продолжал писать о «тщетности всех усилий» и говорить, что «в настоящее время я работаю, только чтобы убить скуку». Тем не менее он был довольно активен.

По пути на ярмарку Соня остановилась в Магнолии, штат Массачусетс, небольшом курорте между Глостером и Салемом, где она должна была представлять свою фирму. По ее приглашению Лавкрафт приехал в Магнолию. Прогуливаясь по эспланаде при лунном свете, они услышали «своеобразное храпение, какой-то хрюкающий гул, громкий даже на расстоянии». Соня сказала:

– О, Говард, вот обстановка для действительно странного и загадочного рассказа.

– Так и напиши его, – ответил он.

– О нет, у меня не получится.

– Попробуй. Опиши мне, какая картина предстает в твоем

воображении[253].

В ту ночь Соня засиделась допоздна и написала набросок рассказа. Когда Лавкрафт просмотрел его на следующий день, он пришел в такой восторг, что Соня импульсивно его поцеловала.

Лавкрафт покраснел, чрезвычайно смутившись, а затем побледнел. Когда же Соня подшутила над ним, что он так разволновался, он объяснил, что его не целовали с самого младенчества.

Он, однако, действительно взялся за правку рассказа – или же написал его с простого наброска. «Кошмар на побережье Мартина» – вполне достаточный, но ничем не примечательный – был опубликован под именем Сони в «Виэрд Тэйлз» за ноябрь 1923 года. Как и «Артур Джермин», он был переименован редактором – на этот раз в «Невидимое чудовище», что выдавало сюжет. Рассказ напоминает «Что это было?» Фитца-Джеймса О'Брайена и «Проклятую тварь» Амброза Бирса, за исключением того что в нем угроза исходит не от человекоподобной твари, а от морского чудовища, наделенного сверхъестественными возможностями.

В конце июля Лавкрафт отправился в поездку в Кливленд, которую обещал Галпину и Лавмэну. Когда Галпин звал его в первый раз, Лавкрафт не решился, поскольку его тетушки стали бы возражать против этого: «…любая серьезная попытка расколола бы дом номер 598 в гражданской войне».

Но он все-таки поехал, освоив акробатику переодевания на пульмановской полке. Ландшафт Огайо ему не понравился. Деревни, по его словами, были «невыносимо унылы», прямо из «Главной улицы» Синклера Льюиса.

Когда он сошел на станции «105–я улица», к нему бросился Галпин. Лавкрафт приветствовал его:

– Так это сын мой Альфредий!

– Без всякого сомнения, – ответил Галпин, энергично пожимая ему руку.

Дом Галпина находился за углом от дома Лавмэна. Втроем они провели прекрасные литературные выходные и даже немного по-ребячески пошумели, пока не было семьи Галпина. Галпин, мечтавший стать композитором, тщетно пытался пристрастить Лавкрафта к классической музыке, сводив его на концерт и дав послушать запись «Ноктюрн соль мажор» Шопена.

Как обычно, находясь вдали от своих женщин, Лавкрафт расцвел: «У меня не болит голова и нет приступов депрессии – в общем, я на время стал по-настоящему живым, здоровым и нахожусь в отличном настроении». Он даже смягчил свои антикварные правила в одежде, купив ремень и мягкие

воротнички и выходя без шляпы и жилета. «Можете ли вы представить меня без жилета, шляпы, в мягком воротничке и ремне, легко шагающим рядом с юношей двадцати лет, как будто я не старше его? …Когда я снова приеду в Нью-Йорк, я вернусь к важным манерам и степенным одеяниям, подобающим моим преклонным годам…» (Скоро ему должно было исполниться тридцать два.)

Лавмэн представил Лавкрафта членам своего литературного круга. Одним из них был (Гарольд) Харт Крейн (1899–1932), заработавший за свою короткую жизнь репутацию значительного поэта. Как и у Лавкрафта, у Крейна была мать – чудовище: сексуально фригидная, глупая, раздражительная, сумасбродная и непредсказуемая. Сам Крейн, будучи трезвым, был человеком огромного обаяния – обворожительным собеседником и прирожденным рассказчиком.

Однако Крейн был пьяницей и активным гомосексуалистом – от шатался по кабакам, цепляя моряков, и порой ему доставалось за его старания. Благодаря его обаянию, его всегда приглашали в дома. Но, напившись, он становился ужасным гостем. Он, бывало, носился голым по дому, выкрикивая угрозы и непристойности. Как-то он гонялся за хозяйкой с бумерангом, намереваясь размозжить ей голову. Он мог поломать мебель хозяев или выкинуть ее из окна. Однако в течение пребывания Лавкрафта в Кливленде поведение Крейна было пристойным.

Другим членом этого круга был Гордон Хатфилд, с которым Крейн враждовал: оба весь вечер изводили друг-друга. В отличие от Крейна, Хатфилд демонстрировал свое отклонение откровенно женоподобными манерами. Лавкрафт позже писал: «Видели бы вы эту вычурную бабу, что я встретил в Кливленде… Я не знал, поцеловать его или убить!»[254]

Лавкрафт также узнал о друге Лавмэна по переписке Кларке Эштоне Смите (1893–1961), некоторые письма и рисунки которого Лавмэн показал ему. Смит вел в сельской северной Калифорнии почти такую же отшельническую жизнь, как и Лавкрафт в Провиденсе. За исключением нескольких поездок в Сан-Франциско и Кармел, где он обучался у богемного поэта Джорджа Стерлинга, Смит почти всю свою жизнь провел близ Оберна, штат Калифорния.

Его отец – англичанин купил участок холмистой лесистой местности в миле от Оберна и занялся там разведением птицы, не особо, впрочем, преуспев в этом. Обоим родителям Смита было около сорока, когда он родился.

Смит решил стать поэтом рано. Он бросил школу в восьмом

классе и занялся самообразованием посредством таких героических мер, как прочтение всей энциклопедии и полного словаря. Как и Лавкрафт, он страдал длительными приступами неопознанной болезни.

В молодости Смит ненавидел Оберн, называя его «чумной дырой». В городе у него были продолжительные любовные связи с замужними женщинами. Из «трех мушкетеров» «Виэрд Тэйлз» – Лавкрафта, Смита и Говарда – он был единственным, чью нормальную мужскую сексуальность никто и никогда не подвергал сомнению.

Когда здоровье Смита улучшилось, он понял, что в Америке двадцатого века поэзией на жизнь не заработать. Поэтому он нанимался на временную работу: лесорубом, сборщиком фруктов, горняком, наборщиком и ночным редактором местной газеты.

Стихотворения Смита стали появляться с 1912 года в газетах, журналах и небольших сборниках: «Шагающий по звездам» (1912), «Оды и сонеты» (1918) и «Чернота и хрусталь» (1922). В 1920 году он сочинил знаменитую большую поэму «Едок гашиша»:

> Склонитесь: император снов есмь я,
> Себя венчаю солнцем многоцветным
> Миров немыслимых и потайных,
> В их облачаюсь небеса, когда
> Парю в зените тронном, озаряя
> Средь космоса без края горизонты… [255]

Как и Лавкрафт, Смит иногда писал о воздействии наркотиков, но решительно отрицал, что пробовал какие-либо из них. Оба говорили, что у них и без наркотиков есть все необходимые кошмары.

Когда стихотворения Смита увидели свет, западные публикации прославляли его как гениального юношу, равного Мильтону, Байрону, Китсу и Суинберну. Его старшие коллеги Бирс, Стерлинг и Де Кассерес провозгласили его ведущим поэтом Америки тех дней. Что же тогда случилось с поэзией Смита, столь щедро восхвалявшейся во времена ее появления? Можно было бы подумать, что ее всю похоронили вместе с автором, как это говорили о музыке Рубинштейна. Из сегодняшних знатоков поэзии большинство даже и не слышали о Смите.

В стихотворениях Смита, большинство из которых либо сверхъестественно-фантастические, либо любовные, не было ничего неуместного. Они живые, волнующие, запоминающиеся, красочные своей декадентской пышностью,

высокохудожественные и технически безупречные. Но вкус публики всегда меняется непредсказуемо, так что такой вещи, как прогресс, в искусстве в действительности не существует. За последние десятилетия под влиянием Элиота, Паунда и других американская поэзия ушла в направлении, совершенно отличном от смитовского. Большинство его стихотворений написаны в размеренных формах, вроде сонета, тогда как почти вся современная американская поэзия (так называемая) написана белым стихом.

Достоинство этого бесформенного «стиха» заключается в том, что он прост. Это поэзия ленивых, или поэзия в черновике. Ее может писать кто угодно – даже ребенок или компьютер, – и ее действительно пишет кто угодно. И это приносит ей популярность, поскольку в нынешней обстановке сверхуравниловки – когда на конкурсе рисунков побеждает орангутанг из Топикского зоопарка[256] – принято считать, что если задача не может быть выполнена любым, то за нее и вовсе не следует браться. Делать или восторгаться чем-либо, что требует выдающегося таланта, напряженных усилий и строгой самодисциплины, есть элитарность – что считается крайне безнравственным.

В 1922 году Смит стал известен в Калифорнии как поэт, выступающий в дамских клубах. Он начал писать сверхъестественную фантастику, в связи с которой он главным образом ныне и вспоминается, лишь через несколько лет. Он также увлекался рисованием, живописью и скульптурой.

Смит допускал ошибку, занимаясь скульптурой и графикой без формального обучения. В этих областях искусства, как в боксе среди спортивных дисциплин, разрыв между любителем и профессионалом просто огромен, и у самоучки весьма мало шансов. Поэтому резные работы и рисунки Смита оставались в лучшем случае талантливым примитивизмом.

Лавкрафт написал Смиту из Кливленда, восторгаясь его стихами, рисунками и акварелями. Так завязалась переписка, продлившаяся всю жизнь Лавкрафта.

Лавкрафт провел в Кливленде больше двух недель. По дороге домой он остановился в Нью-Йорке, где снова поселился у Сони. Она прекрасно готовила и испекла яблочный пирог для его тетушек. Соня и Лавкрафт всё звали их погостить, и Энни Гэмвелл приехала в октябре.

Лавкрафт посещал места вроде знаменитого Американского музея естественной истории. Он выискивал остатки колониальной архитектуры – например, особняк Юмела в Вашингтон – Хайтс. Мортона также увлекали эти экскурсии, у

Лонга же они вызывали скуку. Лавкрафт и Лонг сочинили поэму, начинающуюся:

Заре
Эдгар А. По (?)
Посвящено мисс Саре Лонгхёрст – июнь 1829 г.

Вчера я любовался вами
Под света желтого лучами,
Что лились с маковой луны,
Как нотки песни снов страны.

Они «состряпали сообщение от стодвадцатипятилетнего отшельника из Мэна, у которого была неизвестная поэма По». Галпин, которому они послали этот подлог, не поверил, что стихотворение действительно было написано самим Эдгаром По. Он, однако, весьма хвалил его как принадлежащее одному из лучших подражателей По – пока не узнал, кто его сочинил на самом деле. Тогда он нашел в нем изъяны.

Лавкрафт писал для Буша, который к тому времени утроил оплату до одного доллара за каждые восемь строк тех отвратительных стихов, что Лавкрафту приходилось править. Он познакомился с другом Мортона Эвереттом Макнейлом, когда-то имевшим успех в качестве автора приключенческих романов для мальчиков, но теперь в старости испытывавшим трудные времена. Лавкрафт отказался навестить родственников отца в Нью-Йорке, будучи уверенным, что они «чопорные, ханжеские, обыкновенные и лишенные воображения» люди[257].

Вернувшись в Провиденс, Лавкрафт снова погрузился в рутину. В начале января он гостил в Бостоне у Эдварда Ш. Коула и читал лекцию о Дансейни на собрании «Хаб Клаб». Он посетил Салем и Марблхед, написав восторженные рапсодии об их старинных красотах. Он назвал Марблхед «фантастическим сном».

Лавкрафт становился знатоком колониальной архитектуры. Он писал, что архитектура является величайшим искусством, в то время как другие человеческие идеалы и стремления бессмысленны. «Я перестал восторгаться характером – все, что я ценю в любом человеке, так это его манеры, образованность и выбор галстука».

Он высказался за фашизм в его первоначальной форме диктаторства Муссолини в Италии: «Нет никаких причин, почему нельзя угнетать массы во благо сильнейших… В чем же еще состоит сущность толпы?» Поскольку Лавкрафт осознавал, что он

едва ли может быть причислен к этим «сильнейшим», его высказывание не следует воспринимать слишком буквально. Возможно, это была лишь еще одна вспышка возмутительного мнения, выдвинутого pro tern[258], чтобы встать в позу или развязать спор.

Лавкрафт узнал, что Эрнест Денч из клуба «Синий Карандаш» организовывает поездку издателей-любителей в Англию. Тогда он заявил: «Единственная причина, по которой я не бросаюсь собирать деньги на поездку Денча, заключается в том, что я просто не смог бы вернуться, увидев старинные красоты и памятники моего народа»[259]. Я уверен, что это было лишь притворством, настоящей же причиной того, что он и не пытался поехать, было отсутствие денег.

После Сервантеса, в начале семнадцатого века прикончившего рыцарский роман, спародировав его в своем «Дон Кихоте», всякого рода сказки утратили популярность на полтора века. Лишь несколько писателей семнадцатого века – например Сирано де Бержерак, Свифт и Фонтенель – иногда сочиняли истории об удивительных плаваниях, путешествиях на Луну или внеземных пришельцах, которые сегодня классифицировались бы как научная фантастика.

В восемнадцатом веке фантастика, агонизировавшая столь долго, вновь влилась в русло европейской литературы из трех источников: восточных сказок, впервые появившихся в виде французского перевода Галлана «Тысячи и одной ночи», готического романа, принесенного из Германии в Англию Хорасом Уолполом «Замком Отранто» (1764), и детских волшебных сказок, произошедших из традиционных крестьянских сказок, множество которых было собрано и издано в начале девятнадцатого века братьями Гримм и другими.

В то же время Вальтер Скотт своим романом «Уэверли» (1814) и последующими основал жанр современного исторического романа. Хотя люди уже давно писали истории о былых днях – например «Илиада» Гомера, – Скотт первым осознал, что прошлое во многих отношениях отличается от настоящего и что эти различия в костюмах и традициях можно использовать в развлекательных целях.

Многие писатели девятнадцатого века порой вводили в свои произведения сказочные сюжеты: Диккенс в «Рождественском хорале» ввел тему путешествий во времени. Эдгар Аллан По был особенно активен в фантастической области. Помимо готических рассказов ужасов и детективных историй, он писал о сказочных плаваниях, воздушных путешествиях, полетах на Луну,

оживлениях мумий, алхимии и на другие фантастические темы.

В 50–х годах девятнадцатого века Бодлер перевел рассказы Эдгара По на французский язык, и их прочитал Жюль Верн, тогда безуспешный молодой парижский адвокат, биржевой маклер и драматург. Вдохновившись, Верн стал первым в мире писателем-фантастом, живущим за счет своих произведений: он написал около ста романов. В 90–х годах в Великобритании его последователем стал Г. Дж. Уэллс. Там, где Верн оставался в рамках существовавшей техники, Уэллс легко придумывал что-либо, что могло лечь в основу захватывающей истории: невидимость, антигравитацию, поедающие людей растения и захватчиков с Марса.

В 80–х годах Уильям Моррис, разносторонний британский художник, оформитель, поэт, реформатор, издатель и писатель-романист, создал современное героическое фэнтези. В своих псевдосредневековых романах вроде «Колодца на краю света» Моррис объединил антикварный романтизм Скотта и его подражателей со сверхъестественностью Уолпола и, в свою очередь, его подражателей. После Морриса Дансейни приспособил героическое фэнтези к форме короткого рассказа.

На смене девятнадцатого и двадцатого веков научно-фантастические или фэнтези-рассказы печатали множество многотиражных журналов, как в Великобритании, так и в Америке. С 1890–го по 1920 год рассказы с фантастическими сюжетами Герберта Уэллса и Артура Конана Дойла обычно сначала появлялись в таких журналах, и только потом их издавали в виде книг. Однако до 1919 года периодических изданий, посвященных фантастической литературе, не существовало.

В 1919 году «Стрит энд Смит Пабликэйшнз» начали издавать первый журнал фэнтези и научной фантастики «Фрил Бук» («Захватывающая книга»). Он печатался два раза в месяц: первый номер увидел свет 1 марта 1919 года, и до 15 октября 1919 было издано еще шестнадцать. Затем из-за неопытности редакторов и забастовки печатников «Фрил Бук» обанкротился.

Следующему идея журнала фантастических историй пришла на ум Дж. К. Хеннебергеру, издателю успешного «Колледж Хьюмор». Давнишний поклонник Эдгара По, Хеннебергер был вдохновлен на издание «Виэрд Тэйлз» строками из его стихотворения:

> …Из той страны, где вечно сны,
> где чар высоких постоянство,
> Вне Времени – и вне Пространства.[260]

Хеннебергер пригласил редактировать «Виэрд Тэйлз» и параллельное издание «Дитектив Тэйлз» («Детективные рассказы») в Чикаго Эдвина Ф. Байрда, автора детективных произведений. Первый выпуск «Виэрд Тэйлз» с обложкой, изображающей мужчину и женщину, корчащихся в щупальцах огромного спрута, появился в марте 1923 года. Журнал печатал как научную фантастику, так и фэнтези, но большее предпочтение в нем отдавалось второму.

Хеннебергер ознакомился и сериями рассказов Лавкрафта в «Хоум Брю». Он посчитал их слишком хорошими для этого журнала и навел справки. Вскоре друзья убеждали Лавкрафта предложить свои рассказы этому новому рынку. Но, сообщал Кук, «он был даже раздражен. Кто это сказал, что ему нужен рынок?» Для Лавкрафта сочинительство все еще было чем-то, что джентльмен делает для собственного развлечения, а также для своих друзей, без всякого помысла о деньгах.

Где-то в апреле Лавкрафт позволил уговорить себя послать Байрду пять своих рукописей. Его сопроводительное письмо вряд ли можно превзойти по неумению подать себя:

«Милостивый государь!

Имея обыкновение писать сверхъестественные, страшные и фантастические рассказы для собственного развлечения, за последнее время я был буквально затравлен едва ли не дюжиной исполненных благих намерений друзей, с тем чтобы я предложил некоторые из этих готических ужасов Вашему недавно учрежденному изданию…

Из этих пяти работ две, вероятно, самые лучшие. Если Вы сочтете их неудовлетворительными, то остальные и нет необходимости читать…

У меня и в мыслях нет, что эти произведения окажутся пригодными, ибо я не уделяю внимания требованиям коммерческого сочинительства. Моя цель-то удовольствие, которое я могу получить от создания определенных причудливых картин, ситуаций или атмосферных эффектов, и единственный читатель, которого я подразумеваю, – это я сам.

Образцами для меня являются неизменно былые писатели, особенно По, который был моим любимым литературным деятелем еще с раннего детства. Ежели случится такое чудо, что Вы решитесь опубликовать мои рассказы, у меня есть лишь одно условие: чтобы не делалось никаких вырезок. Если рассказ не может быть опубликован в том виде, в каком написан, вплоть до последней запятой и точки с запятой, он должен любезно принять

отказ. Редакторские вырезки, вероятно, единственная причина, по которой ни у одного из ныне здравствующих американских писателей нет подлинного прозаического стиля… Но я, пожалуй, излишне осторожен, ибо навряд ли мои рукописи достойны Вашей благосклонности. „Дагон“ был отвергнут… [название, вероятно, „Блэк Маск“ („Черная маска“), вычеркнуто Байрдом], куда я послал его под принуждением – почти так же, как посылаю Вам приложенные рукописи».

Лавкрафт сделал все, чтобы гарантировать отказ своим рассказам: высокомерный тон, поза «искусство ради искусства», порицание собственных работ и упоминание предыдущего отказа. Он только не умолял Байрда вернуть его рукописи.

Всем редакторам известно, что большинство представляемого им на рассмотрение материала отсылалось и в другие места, но указывать на это – бестактно. Более того, предлагать редактору более одного произведения за раз – тоже плохая стратегия. Если редактор получает от автора сразу несколько, то он может принять только лучший, отвергнув остальные, даже если они окажутся лучше другого материала, что он приобретает на данный момент.

Поэтому то, что Байрд купил все пять рассказов и еще несколько, что послал ему Лавкрафт, кое-что говорит о его объективности и чувстве юмора. Он опубликовал письмо Лавкрафта с противоречивым комментарием: «Вопреки вышеизложенному или же благодаря этому, мы принимаем некоторые рассказы мистера Лавкрафта, и в следующем выпуске „ВИЭРД ТЭЙЛЗ“ вы найдете его „Дагон“»[261].

Из одиннадцати номеров «Виэрд Тэйлз» с октября 1923–го по февраль 1925 года произведения Лавкрафта были напечатаны в девяти: один раз его стихотворение, остальное – рассказы. (Несколько номеров были изданы месяцем позже.) Сей факт может создать впечатление, что период 1923–1925 годов был для Лавкрафта весьма продуктивным. В действительности же его самый большой всплеск производительности имел место ранее, в 1918–1922 годах, а с 1923–го по 1925–й в «Виэрд Тэйлз» в быстрой последовательности печатались ранние рассказы. Примерно половина из них уже была всеобщим достоянием, поскольку ранее они были напечатаны в любительских журналах, неохраняемых авторским правом. Тем не менее Байрд щедро за них заплатил.

Лавкрафт с ужасом узнал, что, хотя Байрду и понравились рассказы, он «не сможет решиться на их принятие, пока я не пошлю их напечатанными с двойным интервалом. Не знаю, буду ли я утруждать себя. Мне крайне нужны деньги, но – тьфу! – как я

ненавижу печатать! Может, я попытаюсь напечатать один „Дагон“ – остальные только в случае четко выраженного согласия. Ненавижу труд»[262].

Несомненно, что помимо своей неискушенности в обычаях издательского мира Лавкрафт еще не примирился с необходимостью зарабатывать на жизнь. В некотором роде этого так никогда и не произошло.

Глава десятая. Робкий возлюбленный

И каждый скажет там,
Когда ты пойдешь по цветам,
«Коль растительной он доволен любовью,
с коей я не смог бы жить,
Каким же чрезвычайно чистым парнем
сей чистый парень должен быть!»

У. Ш. Гилберт «Терпение», акт I

В течение 1923 года, несмотря на возобновление клятв уйти из любительской печати, Лавкрафт посещал собрания любителей. Он с удовольствием принял Мортона и Мо, которым устроил пешие экскурсии. Показывая Провиденс гостям, Лавкрафт, бывало, то и дело останавливался перед каким-нибудь колониальным реликтом или лесным пейзажем и восклицал: «Где, кроме как не в Провиденсе, вы могли бы найти…» то, чем он хотел, чтобы его друг восхитился.

Он страдал от приступов головной боли, депрессии и человеконенавистничества, которые побуждали его писать: «Естественная отвратительность и омерзительность человеческой твари может быть преодолена лишь в некоторых образцах с хорошей наследственностью и образованностью…»[263] Потакая своей аристократической фантазии, он говорил в своей самой показной, презрительной и надменной манере о том, что оставит писательство: «Я почти решился больше не писать рассказы, а лишь смотреть сны, когда у меня будет к этому желание, не прерываясь на какую-нибудь пошлость вроде записывания видений для грубой[264] Публики. Я пришел к заключению, что Литература не является надлежащим занятием для джентльмена и что писательство должно рассматриваться не более чем изысканное Достоинство».

Отношение Лавкрафта к заработку на жизнь напоминает отношение Артура Мейчена («Machen», рифмуется с «blacken»

(«чернеть, чернить»)), который после По и Дансейни оказал на него сильнейшее литературное влияние. Мейчен писал, что «эта мука заработка остается крайне неестественной для человека…».

Уроженец приграничных земель Уэльса, Мейчен был мечтательным и непрактичным человеком, писал он медленно и мучительно. Он никогда не зарабатывал прилично ни писательством, ни чем-либо еще, хотя и пробовал себя в качестве клерка, учителя, репортера и артиста.

Несмотря на некоторую раздражающую манерность и смутную незаконченность многих рассказов, произведения Мейчена обязательны для любого ценителя фантастики. Его излюбленная тема – пережитки языческой магии и культа плодородия и все еще существующие духи, которым эти ритуалы были посвящены, в пещерах, верованиях и на шабашах в Британии.

Лавкрафт пренебрег простым советом Сэмюэля Джонсона из восемнадцатого века: «Ни один человек, за исключением болванов, никогда не писал кроме как за деньги». Когда Хью Б. Кейв, автор рассказов для журналов, поинтересовался мнением Лавкрафта насчет этого изречения, тот отверг его как «обывательское». Но Лавкрафт также и писал: «Я думаю, мне глупо пытаться писать… хотя… я не смог бы удержаться от этого, если бы захотел»[265].

Лавкрафт выпустил еще два номера «Консерватив», в марте и июле 1923 года. Они были последними, и он не присваивал им номера томов, просто пронумеровав двенадцатым и тринадцатым. В них содержались поэмы Лавмэна и Мортона, статьи Галпина и Лонга и редакторские статьи самого Лавкрафта.

Эти статьи в основном касались литературной критики. Тон Лавкрафта в них был мягким, за исключением того места, где он описывал «несвязное и непоследовательное „стихотворение“ под названием „Бесплодная земля“», принадлежащее Т. С. Элиоту, как «в целом совершенно бессмысленный набор фраз, научных ссылок, цитат, жаргонизмов и обрывков, предложенный публике (в качестве мистификации или же нет) как нечто оправданное нашим современным разумом с его недавним осмыслением собственной хаотичной банальности и беспорядочности». Я полагаю, что другие думали о «Бесплодной земле» то же самое, но не решались высказать это из-за авторитета Элиота.

В августе Лавкрафт позвонил семье Эдди из Провиденса, с которыми он долгое время состоял в переписке. Где-то в 1918–1919 годах Сюзи Лавкрафт посетила собрание суфражисток. Там она познакомилась с некой миссис Клиффорд Мартин Эдди, чей

сын, К. М. Эдди-младший, увлекался сочинительством. Миссис Эдди узнала, что Лавкрафт занимается «призрачным авторством», и ее сын и его невеста Мюриель Гаммнонс, с которой он недавно обручился, позвонили Лавкрафтам.

Отвечая на звонок, Сюзи возбужденно превозносила своего одаренного сына. Он будет рад, говорила она, переписываться с Эдди, но он ненавидит телефон, как и все современные машины.

Эдди впервые встретились с Лавкрафтом в жаркий воскресный день 23 августа 1923 года. В ответ на их приглашение он появился на их пороге «в аккуратном сером костюме, белой рубашке и черном галстуке, на нем была панама…»[266]. Они пожали его холодную руку и недоверчиво выслушали его заявление, что он с удовольствием совершил трехмильную прогулку от своего дома при температуре почти 100° F (38°C). Он подружился с кошкой Эдди и с благодарностью принял чашку горячего кофе со сливками и четырьмя ложками сахара.

Эдди стали на многие годы его единственными настоящими друзьями, помимо тетушек, которые были у него в Провиденсе. В последующие визиты он часто приходил поздно вечером и уходил глубоко заполночь. Он читал семейству Эдди свои рассказы. Иногда он приносил троим их детям коробку разбитых плиток шоколада или крекеров, которые покупал практически ни за что.

В ноябре 1923 года Клиффорд Эдди и Лавкрафт отправились на охоту на Темное болото близ Чепачета, штат Род-Айленд, о котором ходили всяческие слухи. Лавкрафт надеялся, что там он найдет атмосферу для сверхъестественного рассказа. Хотя они прошли семнадцать миль, болота так и не обнаружили. Зато Лавкрафт сделал заметки о диалекте местных сельских жителей, которые использовал позднее. (Кук, впрочем, говорил, что лавкрафтовские «диалекты янки» в основном были плодом его воображения, а если и существовали когда-то, то к его времени уже вышли из употребления. Одно письмо Лавкрафта наводит на мысль, что он узнал о них из «Бумаг Бигелоу» Джеймса Расселла Лоуэлла.)

Темное болото действительно существовало, к северу от Фостера в северо-западной части штата. Через несколько лет после безуспешных поисков Лавкрафта и Эдди оно было затоплено Понагансетским водохранилищем.

Лавкрафт выполнял кое-какую «призрачную» работу для Эдди. Он исправил несколько его рассказов, которые позднее были проданы «Виэрд Тэйлз». Взамен Мюриель Эдди перепечатывала некоторые рукописи Лавкрафта. Из тех рассказов, что он правил, «Поедающий призраков» («Виэрд Тэйлз», апрель 1924 года) банально начинается с того, что путешественника

застигает буря и он находит странный дом в лесу. Авторы переработали вампирский сюжет.

«Любимые мертвецы» («Виэрд Тэйлз», май-июнь-июль 1924 года), хотя и числится номинально за Эдди, в значительной степени был работой Лавкрафта. Это не фантастика, а страшный рассказ на тему некрофилии, чей герой получает удовольствие, прижимаясь к трупам. Он начинается с едва завуалированного описания детства Лавкрафта: «Мое раннее детство было лишь затяжной прозаичной и монотонной апатией. Сурово аскетический, болезненный, слабый, низкорослый и склонный к продолжительным приступам патологической угрюмости, я был изгнан из общества нормальных здоровых мальчиков своего возраста. Они обзывали меня „занудой“ и „старухой“, ибо у меня не было ни интереса к их грубым детским играм, ни сил принимать в них участие, появись у меня такое желание»[267].

Поскольку рассказчик не может удовлетворить свою любовь к мертвым, работая владельцем похоронного бюро, он, дабы насытить свою страсть, становится массовым убийцей. В некоторых городах рассказ привел читателей в такой ужас, что даже был возбужден судебный процесс, чтобы запретить продажу «Виэрд Тэйлз» в газетных киосках. Напуганные редактор и издатель после этого были более осторожны с рассказами даже с гораздо меньшей приправой ужасного.

В 1923 году знакомство Лавкрафта и Сони продолжалось. Дружба переросла в ухаживание, в котором Соня, как она признала позже, «была зачинщицей». Согласно ей, «именно после тех каникул в Магнолии началась наша интимная переписка, которая и привела к нашей свадьбе. Г. Ф. писал мне обо всем, что он делал, куда он ездил, – иногда заполняя своим мелким почерком тридцать, сорок и даже пятьдесят страниц. Затем он решил вырваться из Провиденса»[268].

Кто бы ни предложил пожениться первым, тема семейной жизни в Нью-Йорке между ними затрагивалась. Соня писала, что после возвращения домой Лавкрафта и миссис Гэмвелл от нее в 1922 году «…мне было нестыдно писать ему, как сильно я по нему скучаю. Его признательность за это подвела нас обоих к более серьезной теме…

Между тем он говорил в письмах о своем желании уехать из Провиденса и обосноваться в Нью-Йорке. Мы оба обдумывали возможности совместного проживания. Кое-кто из наших друзей уже догадывался. Я признавалась друзьям, что Говард мне очень нравится и что если бы он захотел жениться на мне, я с радостью стала бы его женой. Но ничего определенного решено не было».

Лавкрафт уже повидал кое-что из широкого мира, и ему начал немного надоедать даже любимый Провиденс. Он нашел, что Кливленд «интеллектуально намного оживленнее Провиденса, в котором все артистические проявления ограничены искусственными и квазивикторианскими социальными кругами». Он писал Кларку Эштону Смиту: «Как и вы, я не знаком здесь ни с кем, кто совершенно близок мне по духу, и полагаю, что в конечном счете переберусь в Нью-Йорк»[269].

В начале 1924 года Лавкрафт и Соня решили, что поженятся, как только это представится возможным. Лавкрафт отказался рассказать своим теткам о помолвке, сославшись на то, что хочет сделать им сюрприз. Вероятно, причина этого заключалась в том, что он боялся тягостной сцены. Соня высылала Лавкрафту солидные подарки в виде денег и марок.

За 1923 год Лавкрафт написал три рассказа. Первым был «Праздник», второстепенный рассказ из цикла Ктулху. Как и в «Безымянном городе», в нем нет диалогов, лишь неспешное приготовление к кульминационному ужасу.

Рассказчик приезжает в вымышленный город Кингспорт в Новой Англии, следуя традиции отмечать Йоль[270] со своими родственниками. Он присоединяется к потоку безмолвных людей в капюшонах, идущих в мрачную церковь, и спускается с ними в склеп. Там проводятся некие странные обряды. Появляется полчище тварей с перепончатыми крыльями, как у летучих мышей, и такими же перепончатыми лапами, и люди улетают на них… Лавкрафт не только упоминает Абдула Аль-Хазреда, но и рассказывает об экземпляре его «шедевра», проклятого «Некрономикона», хранящегося в библиотеке Мискатоникского университета в вымышленном городе Аркхэм.

«Крысы в стенах» – один из известнейших рассказов ужасов Лавкрафта. Его главный герой – де ла Пор, американец английского происхождения. Он покупает и восстанавливает разрушающийся английский особняк своих предков, несмотря на слухи о наложенном на него проклятии. Он селится в нем вместе с семью слугами и девятью кошками, причем старшего кота зовут Черномазый – как и собственного кота Лавкрафта в детстве.

Проклятие принимает форму набегов армии невидимых крыс, которых слышат лишь де ла Пор и кошки. Де ла Пор и его товарищи находят в подвале древний алтарь. Когда же его смещают, под ним обнаруживается проход в огромную пещеру. Там перед ними предстают свидетельства – в том числе и множество скелетов в загонах – каннибальского культа, который обосновался в этом месте еще до появления человека. Рассказчик

сходит с ума: «Они уже взорвали Экзамскую обитель, отняли у меня Черномазого, а меня самого, испуганно перешептываясь о моей наследственности и произошедшем, заточили в этой зарешеченной комнате в Гэнвелле… Еще они стараются утаить большинство фактов, касающихся обители. Когда я говорю о несчастном Норрисе, они обвиняют меня в омерзительном преступлении, но они должны знать, что я не совершал его. Они должны знать, что то были крысы, мчащиеся потоком крысы, чей бег никогда не даст мне заснуть. Дьявольские крысы, что носятся под обивкой этой комнаты и ввергают меня в еще больший ужас, чем я когда-либо знал. Крысы, которых они так и не могут услышать. Крысы, крысы в стенах»[271].

Не считая серий «Герберт Уэст – реаниматор» и «Притаившийся ужас», «Крысы в стенах» объемом восемь тысяч слов был на то время самым большим рассказом Лавкрафта. На этот раз он продал его «Виэрд Тэйлз», не предлагая сперва любительским журналам.

Следующий рассказ, «Неименуемое», он отдал Куку для публикации в последнем номере «Вэйгрант». Но Кук испытывал денежные затруднения, и у него ухудшилось здоровье. Он страдал застарелым аппендицитом, однако из-за патологической боязни хирургического вмешательства не мог его вылечить. Поэтому его долго планрфовавшийся «Вэйгрант» вышел лишь в 1927 году. За это время Лавкрафт продал рассказ «Виэрд Тэйлз», где он был напечатан в 1925 году.

«Неименуемое» – невыразительный рассказик примерно в три тысячи слов, подсказанный отрывком из книги сверхъестественных чудес Коттона Мазера «Magnalia». Рассказчик, Рэндольф Картер, повествует о споре со своим лишенным воображения другом о многоликом чудовище, согласно легенде обитавшем в заброшенном доме. Они находят этот дом – и в темноте на них нападает чудовище.

3 февраля 1924 года Лавкрафт написал длинное письмо Эдвину Ф. Байрду, просившему его продолжать сочинять рассказы для «Виэрд Тэйлз». Помимо жалоб на Хеннебергера, не заплатившего ему за уже купленные журналом работы, он предоставил Байрду автобиографический отчет. Он писал о своем мировоззрении на то время: «Моя повседневная жизнь являет собой нечто вроде высокомерной летаргии, лишенной как добродетелей, так и пороков. Я не от мира сего и лишь наблюдаю за ним с иронией, а порой и с отвращением. Я ненавижу человеческое племя с его притворством и грубостью… Чертовски странно, что я, почти шести футов ростом, белый представитель

нордического типа – типа хозяина-завоевателя и человека действия, – являюсь таким же погруженным в раздумья аналитиком и дилетантом в ощущениях, как и какой-нибудь большеглазый и низкорослый брюнет из Средиземноморья… Я уверен, что охотнее был бы полководцем, нежели поэтом… Безопасное предпочтение, поскольку никогда не буду ни тем, ни другим. Тщетность и бесплодность – вот мой основной принцип. Я никогда ничего не добьюсь, потому что особо не забочусь о жизни и мире, чтобы даже и пытаться…»[272]

Картина, изображенная в этой мешанине прямоты и манерности, снобизма и отчаяния, рассудительного самосознания и ложной расовой фантазии, отнюдь не многообещающая для человека, готовящегося завязать требовательные отношения супружества.

Впрочем, несмотря на свое лукавое исповедание тщетности, Лавкрафт все-таки надеялся, что сможет зарабатывать на жизнь. Внемля совету Байрда, Соня отдала образцы его работ в контору журнала «Ридинг Лэмп» («Настольная лампа»). Его редактор, мисс Такер, казалось, пришла в восторг.

Над «Виэрд Тэйлз» нависли перемены, поскольку Хеннебергер нес от журнала убытки в тысячи долларов. Он подыскивал нового редактора, так как работа одновременно над «Виэрд Тэйлз» и «Дитектив Тэйлз» оказалась слишком сложной задачей для Байрда.

Хеннебергер также завязал отношения с Гарри Гудини (псевдоним Эриха Вейса), известным фокусником, мастером побегов и разоблачителем медиумов спиритизма. Гудини предоставил сюжеты для двух рассказов, которые были написаны за него «призраками» и опубликованы в «Виэрд Тэйлз». Хеннебергер уговорил его вести постоянную колонку в своем журнале. Поскольку Гудини мало что понимал в писательстве, ему в помощники был предложен Лавкрафт.

Заявленная на мартовский выпуск 1924 года, колонка «Спросите Гудини» появилась лишь в следующем номере. Однако на основе идей Гудини Лавкрафт сочинил рассказ «Заточённый с фараонами». В нем, якобы от лица Гудини, в стиле сверхъестественного ужаса повествуется о том, как ночью около Сфинкса в Гизе его схватила банда арабов и сбросила в погребальный колодец. На дне он обнаруживает полчище неописуемых чудовищ, совершающих невыразимые непристойности.

Лавкрафт написал черновик «Заточённого с фараонами» и после напечатал окончательную версию. Затем, в воскресенье 2 марта 1924 года, он сел на поезд, отправляющийся в 11:09 до

Нью-Йорка, чтобы встретиться и пожениться с Соней. Он так ничего и не сказал теткам о своем намерении.

Ожидая поезд, он все клевал носом, а когда сел, то обнаружил, что забыл чистовик рукописи на станции. К счастью, у него был с собой черновик от руки.

В Нью-Йорке он провел ночь в квартире Сони в доме 259 по Парксайд-авеню, Бруклин, в качестве компаньонки там присутствовала мисс Такер из «Ридинг Лэмп». На следующее утро он отправился в контору «Ридинг Лэмп», где мисс Такер предоставила ему одну из своих машинисток, чтобы восстановить окончательный вариант «Заточённого с фараонами». Не закончив и половину работы, он был вынужден умчаться на встречу с Соней, чтобы получить разрешение на вступление в брак и купить кольцо. Соня писала: «Что касается частностей – получение разрешения, покупка кольца и т. д., – он оказался довольно общительным. Он сказал, что можно было бы подумать, что он женится в энный раз – в такой привычной манере он этим занимался.

Служащий брачной конторы подумал, что я моложе. Я была на семь лет старше Говарда, а он сказал, что ничто не может радовать его больше: Сара Хелен Уитмен была старше По, и, женись он на ней, его судьба могла бы сложиться лучше»[273].

Они отправились в часовню Святого Петра на пересечении Бродвея и Визи-стрит, в финансовом районе. Лавкрафт настаивал на церемонии в этой церкви не потому, что был обращен в англиканство, а потому, что она датировалась 1776 годом и в ней бывали адмирал лорд Хоу, Джордж Вашингтон и другие знаменитости эпохи барокко.

И там 3 марта 1924 года преподобный Джордж Бенсон Кокс объявил Говарда Филлипса Лавкрафта и Соню Гафт Шифиркину Грин мужем и женой.

Исследователи Лавкрафта много размышляли о причинах союза этой странной пары. Мюриель Эдди полагала, что это Соня предложила Лавкрафту вступить в брак, он же слишком чтил кодекс джентльмена, чтобы сказать «нет». Джеймс Уоррен Томас подозревал, что главным мотивом Лавкрафта было желание получить кухарку, домохозяйку и надежный источник дохода одновременно. Доктор Келлер предположил, что Лавкрафт хотел вырваться из-под власти теток и их атмосферы благородного упадка, в то время как Соня надеялась, что одаренный писатель поможет ей осуществить ее литературные амбиции. Профессор Сент-Арманд думал, что на Лавкрафта оказали влияние параллели между ним и Соней, с одной стороны, и Эдгаром По и

миссис Уитмен, с другой. Август Дерлет предположил, что у Сони была идея, что, как и в старой истории про Джорджа Бернарда Шоу и Айседору Дункан, у нее и Лавкрафта может родиться ребенок, совмещающий ее красоту и его интеллект[274].

Насколько можно судить, Лавкрафт и Соня просто влюбились друг в друга. Любовь превращает мудрейших в дураков, и люди порой влюбляются в совершенно им неподходящих – еще с тех времен, как Елена сбежала с Парисом из Трои, а может быть, и намного раньше.

По крайней мере, Соня была предупреждена. Еще в начале их романа Лавкрафт подарил ей автобиографический роман Джорджа Гиссинга «Личные записки Генри Рикрофта» (1903), попросив прочитать его, если она хочет знать, с каким человеком связывает свою судьбу.

Роман написан в форме беспорядочных воспоминаний английского писателя и журналиста, который, получив небольшое наследство, ушел на пенсию и одиноко проводит оставшиеся годы в безделье в деревне. Он рассказывает, как ненавидел свою работу в журналистике. Он был женат, но отсутствие каких бы то ни было упоминаний о жене подразумевает, что свой брак он ненавидел тоже. Он обстоятельно анализирует самого себя: «Я не дружу с людьми. Как сила, которая управляет течением времени, они внушают мне недоверие и страх, как видимая же масса, они заставляют меня держаться в стороне и часто вызывают отвращение. Большую часть своей жизни люди символизировали для меня лондонскую толпу, и мои мысли не могла бы выразить ни одна фраза, сдержанная по содержанию… [Человек может быть прекрасен как личность, но] объедините его с собратьями по социальному организму, и десять к одному, что он превратится в вульгарное создание без единой своей мысли, готовое к любому злу, к которому его подтолкнет пагубное влияние».

«У меня были задатки ученого. С моими-то свободным временем и уравновешенностью ума мне следовало набираться знаний. Как счастливо, как невинно жил бы я в стенах какого-нибудь колледжа, полностью погруженный в воображении в мир прошлого… Он, как я теперь вижу, был моим подлинным идеалом – во всех своих перипетиях и невзгодах я жил больше прошлым, нежели настоящим».

«Позвольте мне сказать самому себе правду. Действительно ли я верю, что в любой период своей жизни я был тем человеком, кто заслуживает любви? Думаю, что нет. Я всегда был слишком эгоцентричным, слишком требовательным ко всему окружающему и безрассудно гордым. Подобные мне живут и умирают в

одиночестве, сколь много бы людей их по видимости не окружало».

«Можно было бы сказать, что со мной так или иначе случалась любая глупость, какая только может случиться с безденежным человеком. В моем характере, кажется, не было дара к разумному самоуправлению. Мальчиком и уже взрослым я попадал в каждую яму и болото, какие только можно было различить на моем пути… Те, кто выражался мягко, называли меня „непрактичным“, а большинство погрубее – я уверен – „идиотом“. Именно идиотом вижу я себя, когда бы ни оглядывался назад на долгий и уединенный путь. Чего-то, очевидно, мне не доставало с самого начала – какого-то уравновешивающего принципа, которым в той или иной степени обладает большинство людей. У меня был ум, но в обычных жизненных обстоятельствах толку от него не было».

«…Во всех практических делах я ленив и нелеп»[275].

Сходство с Лавкрафтом просто поразительно. Поскольку Лавкрафт осознавал эту схожесть, он, по-видимому, несмотря на всю болтовню о своей нордической крови, арийской культуре и англосакской знатности, все-таки понимал собственные недостатки весьма хорошо.

Вопрос о сексуальности Лавкрафта вызывал большой интерес. Некоторые писатели называли его «бесполым». Другие высказывали предположение, что он был гомосексуалистом – по крайней мере, латентным. Они ссылались на его равнодушие к гетеросексуальным отношениям, отсутствие женщин в его рассказах, чьими главными героями часто являются одинокий рассказчик и его близкий друг, и на его многочисленные дружеские отношения с мужчинами моложе его, среди которых были явные гомосексуалисты или же имеющие склонность к этому.

«Латентный гомосексуализм» тем не менее – неясное и скользкое понятие. Более того, обвинение в «скрытых гомосексуальных наклонностях» стало таким пунктиком, что оно навешивается практически на каждую знаменитость, чья половая жизнь хоть сколько-нибудь необычна.

Согласно тому, что я читал, многие или большинство мужчин проходят в подростковом возрасте через фазу, когда, будучи подвержены гомосексуальным воздействиям, они могут быть склонены к таковым отношениям. Большинство из них становятся гетеросексуальными, но некоторые, в зависимости от силы воздействия, вырастают гомосексуалистами или бисексуалами. Мы не можем сказать, как Лавкрафт отреагировал бы на

гомосексуальные воздействия в пубертатном периоде. В сущности, пока он не познакомился с Соней, он не подвергался вообще никаким сексуальным воздействиям. Он настаивал: «В действительности – хотя, конечно же, я всегда знал, что педерастия была отвратительным обычаем многих древних народов, – я не слышал о гомосексуализме как о действующем инстинкте до своего четвертого десятка…»

«Когда мальчишки разговаривали или вели себя низко, я мог бы рассказать им побольше, чем они пытались сказать мне, – хотя (таково было состояние викторианской официальной медицины) мои знания были ограничены одним лишь нормальным сексом. Я был уже в средних годах и женат, когда впервые узнал о такой вещи, как инстинктивный гомосексуализм…»[276]

В одном письме он разъяснил свое отношение к гомосексуализму: «Коль скоро затронута тема гомосексуализма, основное и неизбежное возражение против него заключается в том, что он естественно… отвратителен подавляющему большинству человечества… Я, например, ненавижу как физически нормальное прелюбодеяние (которое есть презренное и подлое предательство), так и педерастию – но, хотя я и смог бы получить удовольствие (физическое) или же соблазниться прелюбодеянием, я просто не смог бы рассматривать ненормальное состояние без физической тошноты».

То, что это было честнейшее мнение Лавкрафта, подтверждается письмом, которое он написал Роберту Барлоу в последний год своей жизни. Как и некоторые из молодых протеже Лавкрафта, Барлоу стал активным гомосексуалистом. Впрочем, его гомосексуальность развилась, возможно, лишь незадолго до смерти Лавкрафта – по крайней мере, он, несомненно, так и не узнал об отклонении своего юного друга.

В данном письме Лавкрафт критиковал написанный Барлоу рассказ о художнике, в котором пробудилась сильная привязанность к профессиональному боксеру. Лавкрафт счел это неправдоподобным: «Во всем мире не существует ни малейшей причины, по которой любой здравомыслящий взрослый художник вдруг захотел бы посмотреть на недалекого и грубого боксера – профессионала или поговорить с ним. А если бы какая-то трагическая болезнь или порок развития вызвали в художнике ненормальный интерес, он, естественно, проводил бы все свое время в борьбе и искоренении болезни – не выставляя или поддерживая ее, как это могла бы делать незначительная личность».

Лавкрафт, как это было типично для него, с важным видом разглагольствовал о том, что мало знал. Многие художники,

считавшиеся «великими», занимались тем, что Лавкрафт не одобрил бы. Особенно графика и скульптура, судя по всему, привлекательны выше среднего для гомосексуалистов. Лавкрафт продолжал: «А когда это доходит до выставления себя полным дураком из-за женщин – черт побери! Сравните миллионы первоклассных мужчин, которые не поступают так, с довольно незначительным числом тех, кто поступает]… Сие мелочное притворство и важничанье – всего лишь жалкая несдержанность, совершенно нормальная, но эстетически постыдная. Все бы мы хотели целовать хорошеньких девушек до своего смертного часа – но мы чертовски хорошо знаем, что это было бы лишь отталкивающим и низменным притворством, за исключением очень немногих женщин, которые действительно испытывают к нам чувство, пока мы молоды».

Нет необходимости втолковывать ошибки в логике Лавкрафта, но представляется маловероятным, что он написал бы такое письмо – признаваясь в желании целовать хорошеньких девушек, – если бы был гомосексуалистом или же знал, что таковым был Барлоу.

Нарушения в сексе вроде подавления, неудовлетворенности, импотенции и извращений нередки среди писателей. Можно назвать Карлейля, Достоевского, Э. Т. А. Гофмана, Д. Г. Лоуренса, Т. Э. Лоуренса, Ницше, Стрейчи и Т. Г. Уайта. Являются ли подобные нарушения более распространенными среди писателей, нежели среди общего населения, мне неведомо.

Однако может существовать некая связь между сексуальными особенностям этих писателей и тем фактом, что некоторые из них, подобно Лавкрафту, проповедовали авторитаризм, милитаризм, расизм, идею сверхчеловека и другие доктрины, классифицированные одним писателем как «героический витализм»[277]. Это, несомненно, был случай Карлейля, Д. Г. Лоуренса и Ницше. Подобный замещающий жестокий героизм представляется благодатной формой компенсации для болезненных, слабых и психически неуравновешенных типов, вроде изводившегося демонами Хьюстона Стюарта Чемберлена, прославлявшего «тевтонских арийцев».

Лавкрафт, несомненно, страдал от вполне достаточного сексуального подавления, чтобы объяснить его эротическое поведение. Мы уже не можем выяснить, осложняли ли его жизнь одно или несколько других нарушений, указанных выше. Но было бы не вполне разумно притягивать неизвестную причину, где уже есть известная, сама по себе достаточная для объяснения явления.

На основе известных фактов гомосексуализм Лавкрафта представляется, как и наследственный сифилис, настолько

маловероятным, что, хотя он и не опровергнут полностью, им можно с уверенностью пренебречь. И весьма поразителен тот факт, что, учитывая его своеобразное воспитание и попытку его матери сделать его женственным, он все же не стал явным гомосексуалистом.

Главными факторами в сексуальности Лавкрафта были укоренившийся антисексуальный предрассудок и подавление, которые он почти наверняка унаследовал от матери. Они явились результатом ее поведения в целом, отказа прикасаться к нему после младенчества и описания его как «омерзительного».

К тому же его половое влечение, судя по всему, было слабым. Он, несомненно, подразумевал самого себя, когда в конце жизни писал о проблемах переходного периода в половой морали: «В эти переходные дни счастливейшими являются люди с вялым эротизмом, которые могут порвать с этим взбаламученным вопросом и с ироничной отчужденностью наблюдать со стороны за корчами примитивного большинства»[278]. Мы не можем сказать, какой фактор – влияние его матери или же какая-то физическая недостаточность – более всего способствовал его сексуальной вялости, но само сочетание, несомненно, было слишком большим для его мужской сексуальности.

В любом случае, Лавкрафт вырос с таким мощным антисексуальным комплексом, что большую часть его жизни любые его сексуальные наклонности – нормальные или нет – просто заглушались. Он доводил свой антисексуальный педантизм до нелепых крайностей. Когда Кук опубликовал безобидный рассказ о натурщице, позировавшей художникам обнаженной, Лавкрафт отозвался длинным резким письмом, критикуя Кука за его «вопиющий образец упадка мышления и морали». Он также писал: «Эротизм относится к низшему порядку инстинктов, и это больше животная черта, нежели благородная человеческая». «Что касается пуританских запретов, то я восторгаюсь ими с каждым днем все больше. Они призваны сделать жизнь произведением искусства…»[279]

Впрочем, если привести примеры отношения к данному вопросу из времени и места Лавкрафта, он уже не покажется таким нелепым. Генри Дейвид Торо был таким же антисексуальным, как и Лавкрафт: «Мы ощущаем в себе животное, которое пробуждается пропорционально тому, как дремлет наше высшее естество. Оно низкое и плотское, и, возможно, его нельзя побороть полностью… Непорочность – цветение человека, и то, что называется Гением, Героизмом, Святостью и подобным им, является лишь разнообразными плодами, которые следуют за нею. Человек незамедлительно

вливается в Бога, когда открыт канал чистоты…»

Или рассуждения вымышленного Джорджа Эпли Маркуонда, когда он усаживается для мужского разговора с сыном о сексе: «Ты знаешь и я знаю, что вся эта идея о сексе – в основном чепуха. Я могу честно сказать, что секс не играл главной роли в моей жизни, и надеюсь, в твоей тоже. Ни один разумный мужчина не позволяет своим мыслям останавливаться на подобных вещах, то же самое должно быть верным и для женщин. И на этом мы закроем эту отвратительную тему»[280].

Можно только дивиться, как Эпли вообще удалось родить сына. Хотя Лавкрафт держал свою половую жизнь в узде, он рано отказался от мысли навязывать свои моральные принципы другим. В 1921 году он писал Кляйнеру: «Размышляя над происхождением своих убеждений, я недавно задался вопросом, не являются мои антиэротические взгляды слишком поспешными, сформированными из одного лишь субъективного предубеждения, а не из скрупулезных и беспристрастных наблюдений… Соответственно, я уже почти убежден, что половой инстинкт у большей части человечества на много сильнее, чем я мог бы допустить без обширной начитанности и воображения, и что он безжалостно довлеет над средним человеком – даже из интеллектуальных классов – до такой степени, которая делает его низвержение при помощи высших интересов невозможным… Единственное средство излечения, казалось бы, лежит в постепенной эволюции общества за пуританскую фазу и принятии некоторых послаблений в морали внебрачного сожительства».

Лавкрафт был убежден, что рождение детей может быть гражданским долгом, но удовольствие не имеет с этим ничего общего: «Неизменной обязанностью примерного гражданина является невозмутимое привнесение своей доли в воспроизводство будущего поколения, но некоторые столь позорно уклоняются от ответственности, что иностранцы, вероятно, поглотят нас за какие-то несколько лет, если только не будут сдержаны законодательством и Ку-клукс-кланом».

Позже некоторые молодые литературные протеже Лавкрафта, вроде Лонга и Дерлета, взяли в привычку хвастаться ему в своих письмах об успехах с девушками. Часто результатом было ответное письмо с терпеливыми наставлениями в строгой сексуальной морали. Например, Лавкрафт убеждал, что вседозволенность во внебрачных связях логически приведет к требованиям подобной свободы в содомии, инцесте и скотоложстве. И они будут оправдываться как «почтенные и прогрессивные»[281]. Он полагал, что народы и культуры, допускающие подобные свободы, находятся на пути к упадку и

разложению. Современные социальные тенденции наводят на мысль, что Лавкрафт, возможно, был не так уж и неправ.

Когда Лавкрафт познакомился с Соней, она спросила его в письме, что он думает о любви. Ответом была многословная проповедь, как если бы холостой философ обращался к юной ученице, готовящейся выйти замуж: «Взаимная любовь мужчины и женщины друг к другу – воображаемое переживание, заключающееся в наделении ее объекта неким особым отношением к эстетико-эмоциональной жизни испытывающего ее…

Юность привносит с ней определенные эротические и образные стимулы, заключающиеся в осязаемых явлениях стройных, невинно позирующих тел и зрительных образах классических эстетических форм, символизирующих тип свежести и юной незрелости – что очень прекрасно, но не имеет ничего общего с семейной любовью.

Ни один сдержанный мужчина или женщина не предполагает подобного исключительного физического состояния возбуждения кроме как в кратком периоде ранней юности, и любая личность высокого уровня развития при приближении к среднему возрасту может вскоре перенести свои физические нужды в другие области. Для таких людей другие формы возбуждения значат много больше, нежели сексуальное выражение, поэтому они уделяют ему лишь поверхностное внимание…»

Это лишь еще одно рационалистическое обоснование собственных черт, желаний и ограничений Лавкрафта. Можно задаться вопросом, как мужчина с такими прохладными, отвлеченными и инертными представлениями вел себя после свадьбы.

Как и обычно, у нас есть некоторые соображения на этот счет. Соня писала Дерлету: «Как женатый мужчина, он [Лавкрафт] был вполне превосходным любовником, но он отказывался проявлять свои чувства в присутствии других». Она доверительно говорила матери Фрэнка Лонга, что Лавкрафт (предусмотрительно прочитавший кое-какие книги о сексе) действительно мог «делать это».

В другой раз она также сказала, что он был сексуально «достаточным – и даже более того». Когда Дерлет посетил ее в 1953 году, она сообщила ему: «Говард был совершенно достаточным в сексуальном плане, но он всегда приступал к сексу, как будто он ему не совсем нравился»[282]. Каждый раз, по ее словам, ей приходилось брать инициативу на себя.

Я делаю вывод, что за месяцы, последовавшие после свадьбы, Лавкрафт выполнял свои супружеские обязанности вполне

удовлетворительно, пускай даже и без особого энтузиазма. Можно вспомнить англичанина викторианской эпохи, предварившего вступление в супружеские отношения следующими словами, обращенными к своей невесте: «Теперь я должен выполнить весьма неприятную обязанность»[283].

По-видимому, в сексуальном отношении Лавкрафт был физически здоров, или почти здоров. С другой стороны, либо из-за материнских запретов, либо по причине низкой физиологической потребности, либо же из-за обоих этих факторов, он был рад вернуться к холостяцкой жизни. Когда он и Соня расстались, он, кажется, не тосковал по брачным отношениям. В сущности, он отказался от возможности возобновить их, когда она сделала последнюю попытку вернуть его назад. Бедный Лавкрафт, бедная Соня!

Глава одиннадцатая. Дон Кихот в Вавилоне

Без этих пространных объяснений вы либо совсем меня не поняли бы, либо, подобно бессмысленной черни, сочли бы меня сумасшедшим. Теперь же вы без труда поймете, что я – одна из бесчисленных жертв беса противоречия.

Э. А. По «Бес противоречия»

Когда Эдгар По писал «Бес противоречия», он имел в виду тот порыв, что порой находит на разумнейших из людей: сделать что-то глупое, совершенно несвойственное им, вредное для них или даже самоубийственное – даже если они отдают себе в этом отчет. Именно бес понуждает нас устраивать публичные сцены, ссориться с теми, кто полезен нам более остальных, ставить все на кон или играть в русскую рулетку. Когда мы стоим над пропастью или у окна небоскреба, бес шепчет нам: «Давай, прыгай!» Это именно то, из-за чего мы называем человека вроде Лавкрафта «своим худшим врагом». По, боровшийся с этим бесом всю свою жизнь, объяснял, как он действует: «Нам нужно как можно скорее выполнить какую-то работу. Мы знаем, что любая отсрочка окажется гибельной… Мы полны рвения, мы жаждем скорее приступить к выполнению задачи, предвкушая упоительные результаты, мысль о которых преисполняет нас восторгом. Это нужно, это необходимо сделать именно сегодня, и тем не менее мы откладываем все на завтра. А почему? Ответ один: из духа противоречия, хотя мы и не осведомлены о принципе, кроющемся за этим словом. Наступает новый день и приносит с собой еще более нетерпеливое желание поскорее выполнить возложенный на нас долг, но, усиливаясь, наше нетерпение приносит с собой, кроме того, безымянную, пугающую своей необъяснимостью жажду мешкать… Бьют часы – это отходная нашему благополучию. Но это же и петушиный крик, спугивающий призрака, столь долго порабощавшего нас. Он бежит, он исчезает. Мы свободны. Былая энергия возвращается к нам. Теперь мы готовы трудиться. Увы, уже поздно».

Лавкрафта тоже изводил бес. Его подлинную природу я

оставляю психиатрам, у которых найдутся какие-нибудь правдоподобные объяснения. Но мы еще не раз заметим его смутные очертания, выглядывающие из-за плеча Лавкрафта.

Новобрачные Лавкрафты планировали сразу же отправиться в однодневное свадебное путешествие, но слишком устали для этого. На следующий день, «поменяв именную табличку на дверях квартиры на Парксайд-авеню и сообщив торговцам новую фамилию», они сели на поезд до Филадельфии и по прибытии остановились в гостинице «Роберт Моррис». Лавкрафт весело сообщал, что «отметиться в книге записи постояльцев как „мистер и миссис“ было очень легко, несмотря на полное отсутствие опыта».

Чтобы успеть к назначенному сроку по совместной работе с Гудини, им надо было напечатать рукопись до конца. В отеле «Вендиг» они нашли общественную стенографическую контору и за доллар взяли там напрокат пишущую машинку. На протяжении трех часов Соня сидела и диктовала с рукописного черновика, а Лавкрафт печатал двумя пальцами.

После, рассказывала Соня, «мы слишком устали для путешествия или чего-то еще»[284]. Она, вероятно, пришла в замешательство, увидев, что Лавкрафт остался твердо верен длинной ночной рубашке девятнадцатого века, это время как большинство мужчин перешли на пижамы.

На следующий день они совершили автобусную экскурсию по Филадельфии. Они закончили печатать «Заточённого с фараонами» и отослали его в контору «Виэрд Тэйлз». Не позднее чем через три недели Лавкрафт получил за свою работу сто долларов. Он настоял на том, чтобы потратить все эти деньги на обручальное кольцо с бриллиантами, уверяя сомневавшуюся Соню, что «они появятся откуда-нибудь еще».

Вернувшись в Бруклин, Соня вновь занялась своим магазином дамских шляпок, Лавкрафт же обдумывал, где найти то самое «откуда-нибудь еще», откуда «они появятся». Незадолго до этого бывший наниматель Сони Ферл Хеллер оставила бизнес. Соня и две ее партнерши арендовали для продажи шляпок магазин на 57–й улице в Манхэттене. Чтобы начать дело, Соня продала некоторые акции для оплаты поездки в Париж. Там она закупила шляпок и материалов для их воспроизведения. Магазин, однако, так и не стал приносить прибыль, поскольку цены оказались слишком высокими для покупателей.

Первые недели женитьбы Лавкрафта его письма бурлили радостным настроением. Он производил впечатление счастливого новобрачного, завоевавшего свою любовь, доказавшего свою

возмужалость и готового покорить весь мир: «Двое как один. Еще один человек носит имя Лавкрафтов. Основана новая семья!»

«Другими словами, Старый Теобальд покоряет высоты на основе партнерства, и лучшие девять десятых группы есть нимфа, чья прежняя фамилия на дверной табличке по указанному выше адресу только что была заменена моей».

«Жаль, что вы не увидите дедулю на этой неделе, постоянно встающего в дневное время, оживленно суетящегося… И все это с перспективой регулярной литературной работы – моей первой настоящей работы – в недалеком будущем!

Мое здоровье в целом идеально. Стряпня С. Г. [Сони]… – последнее слово в совершенстве… Она даже готовит съедобные оладьи из отрубей! …И – mirabile dictu – она, по крайней мере, пытается заставить меня выполнять упражнения Уолтера Кампа, известные как „Ежедневная дюжина“![285]… Пока я не испытывал головной боли, с тех пор как прошла та, что была вызвана спешкой из-за дела Гудини – Хеннебергера. Определенно, Старый Теобальд энергичен, как никогда прежде!»[286]

«Регулярной литературной работой» была надежда, что мисс Такер наймет его в качестве критика в «Ридинг Лэмп». Обдумывая это, мисс Такер тем временем предложила Лавкрафту начать документальную книгу о таких сверхъестественных пережитках, как колдовство и дома с привидениями в Америке. Она продавала бы ее как его литературный агент. Лавкрафт начал собирать материалы.

Он изливал похвалы своей невесте. Он считал, что она спасла его от возможного самоубийства: «Для человека моего темперамента более активная жизнь требует многих вещей, без которых я мог обходиться, сонно и инертно плывя по течению, избегая мира, который изнурял меня и внушал отвращение, и не имея никакой цели, кроме пузырька с цианидом, когда закончатся мои деньги. Прежде я намеревался следовать именно этому курсу и был полностью готов обрести забвение, когда бы ни иссякли деньги или же ни выросла слишком чрезмерно для меня полнейшая апатия, – как вдруг, около трех лет назад, в круг моего сознания вошла наш великодушный ангел С. Г. Г. и начала сражаться с этой идеей противоположной идеей борьбы и наслаждения от жизни через награды, которые принесет эта борьба».

Он рассказывал, как Соня вселила в него «необходимость „проснуться и покорить“… Нью-Йорк! Конечно же! Где же еще человек может ожить, когда у него нет собственной жизнестойкости и ему необходим магический толчок внешнего побуждения к активной жизни и результативному труду?».

Они решили не позволять денежным буржуазным предрассудкам вставать на их пути. Плата за квартиру Сони не зависела от того, жил ли в ней Лавкрафт или нет, и он надеялся вскоре оплачивать свою долю расходов. Он извинился за то, что не рассказал тетушкам о своих планах жениться, сославшись в качестве оправдания на свою «ненависть к сентиментальным розыгрышам и тем тягостным, ничего не решающим уговорам, к которым смертных всегда побуждают радикальные шаги…».

Достойно сожаления, что этим большим надеждам суждено было рухнуть столь основательно, особенно когда, казалось бы, Лавкрафт все-таки почти добился успеха. Он смог бы, если бы не сочетание личных недостатков, неверных решений и просто невезения, словно сговорившихся уничтожить его. Несмотря на преданность Сони, привычки и установки тридцати трех лет нельзя было легко изменить.

Вскоре домашнее хозяйство Лавкрафта – Грин стало испытывать трудности. Финансовое положение Сони ухудшилось. Поскольку дела в магазине на 57–й улице шли плохо, она ушла из него и открыла собственное шляпное дело в магазинчике, который прежде арендовала и снабжала в Бруклине. Здесь, увы, покупательницы еще меньше могли позволить себе покупать модные шляпки.

Затем оставалась детская зависимость Лавкрафта от своих теток. Вместо того чтобы пользоваться услугами какого-нибудь нью-йоркского банка, он продолжал разрешать им заведовать его деньгами и скупо выдавать проценты из его ипотечного обязательства. Стоило ему получить чек от «Виэрд Тэйлз» или откуда-нибудь еще, он отправлял его тетушкам, чтобы они могли получить по нему деньги и отослать их ему. Когда его обувь или другие предметы одежды требовали починки, он тоже отправлял их тетушкам – те отдавали вещи в ремонт в Провиденсе и затем высылали обратно.

На протяжении двух лет – в среднем раз в неделю, а иногда и чаще, – он писал длинные письма Лилиан Кларк, не считая более редких посланий Энни Гэмвелл. Письма миссис Кларк часто изобиловали утомительными мелочными подробностями повседневной жизни. В них рассказывалось о его еде, одежде, экскурсиях и встречах с друзьями. Хоть и менее интеллектуальные, нежели некоторые из его других писем, они дают практически каждодневный отчет о его делах в Нью-Йорке.

В ответ Лилиан Кларк высылала своему племяннику провиденсские газеты и массу вырезок, не позволяя таким образом истираться «серебряной пуповине»[287]. Лавкрафт

никогда не принимал близко к сердцу фразу в свадебной церемонии об «отречении от всех других». В своем первом после свадьбы письме миссис Кларк он убеждал обеих тетушек приехать и жить с ним: «А теперь, семья, приезжайте на празднование! Вы – и это уже не подлежащее изменению решение Судьбы – собираетесь жить здесь постоянно! Отрицательный ответ не принимается, а если вы не приедете добровольно, то будете похищены! То же самое относится и к Э. Э. Ф. Г. [Энни Гэмвелл] …»[288].

Но тетушки приглашение не приняли. Впрочем, той весной Энни Гэмвелл останавливалась у них, поскольку она хотела также повидаться и со своими друзьями в Нью-Джерси. Соня написала Энни письмо, источающее радушие:

«Дорогая!

…Я так рада, что вы приедете!.. Моя дорогая, я вправду надеюсь, что вы сможете остаться надолго! …Не могу дождаться, когда же вы приедете сюда…

С любовью, ваша Соня».

Лавкрафт добавил обещание показать город и попросил выслать еще кое-какую одежду. Ему также доставили из Провиденса множество предметов домашней мебели, поскольку он утверждал: «Я не смог бы жить где-либо без своих собственных семейных вещей – мебели, знакомой мне с детства, книг, которые читали мои предки, и рисунков, выполненных моими матерью и бабушкой». Друзья поражались той основательности, с которой он взялся за перевозку Провиденса в Бруклин. Ненужную мебель в Провиденсе – раскладушку, комод и газовую плиту – отдали Эдди, еще Лавкрафт оставил глобус звездного неба.

Пока же он наслаждался жизнью. Он купил модели-сувениры Вулворт-билдинг и Статуи Свободы, объяснив: «Я так люблю Нью-Йорк, что собираюсь перетащить кое-что от него домой»[289].

Дополнительная напряженность в браке, как открылось Соне, была вызвана своеобразными привычками и мировоззрением ее мужа. Хотя она, возможно, и пыталась делать на это милое лицо, он был слишком прохладным возлюбленным. Он никогда не говорил слова «любовь», а его представление о словесном выражении любви заключалось во фразе: «Моя дорогая, ты даже не представляешь, как высоко я тебя ценю». Его успехи в нежных физических контактах заключались в переплетении своего мизинца с ее и выдавливании из себя «ап!».

Лавкрафт пытался перестроиться с ночного образа жизни. В мае, когда Мортон пригласил его на собрание литературного

клуба, он ответил, что не сможет прийти, если у Сони не получится появиться там тоже, добавив: «Обычно ей приходится рано заваливаться спать, и я должен приходить в соответствующее время, поскольку она не может лечь спать, пока не лягу я…»

Он, однако, постепенно вновь вернулся к своему обыкновению «не ложиться спать большую часть ночи, как когда он с Сэмом Лавмэном приезжали ко мне [к Соне], и когда его тетя, миссис Гэмвелл, навещала нас, в то время как мне приходилось рано вставать, готовить и подавать завтрак, готовить ему обед и затем возвращаться к работе»[290].

Существуют вполне логичные основания для писательской работы поздно ночью. Большинству авторов необходимо, чтобы им не мешали на протяжении многих часов. Прервите писателя – и у него уйдет четверть, а то и половина часа на то, чтобы вернуться к своему настрою. Так что, чтобы не давать ему сочинять совсем, нужно лишь прерывать его каждые пятнадцать минут или около того.

Поздно ночью не звонят ни телефон, ни дверной звонок. Соседи, торговцы, доставщики или сборщики налогов не возникают на пороге ради важных дел. Дети, если таковые имеются, спят в кроватях, вместо того чтобы просить папочку пойти погулять и поиграть с ними или сводить в кино.

С другой стороны, если у писателя обычная средняя семья, эти ночные часы напряженны для остальных домочадцев, которых их работа, учеба, походы в магазины и другие потребности вынуждают держаться традиционного распорядка. Для разрешения этой дилеммы некоторые писатели встают в четыре утра и делают большую часть работы до завтрака.

Рассеянность Лавкрафта была просто создана для того, чтобы свести с ума любого живого, расторопного и рационального человека. Соня писала: «Иногда мы договаривались, что он встретит меня после работы и мы пойдем обедать в какой-нибудь модный ресторан, а затем посмотрим спектакль или кино, а порой и комическую оперу. У него не было представления о времени. Множество раз мне приходилось ждать его в каком-нибудь фойе или на углу улицы, когда мороз доходил до тридцати градусов, а иногда и ниже. Без всякого преувеличения, в ожидании его я часто стояла там от сорока пяти минут до полутора часов».

Всплыла и его ксенофобия. Лавкрафт сказал Соне, «что, когда бы мы ни оказались в компании, он оценит ее только в том случае, если „арийцев“ будет большинство»[291]. Когда он отпускал грубые замечания о евреях, Соня обычно напоминала

ему, что, в конце концов, она сама выходец из тех самых «чужеземных орд», которые он так бранил. Тогда Лавкрафт самодовольно отвечал: «Ты теперь миссис Г. Ф. Лавкрафт из дома 598 по Энджелл-стрит, Провиденс, штат Род-Айленд»[292], словно это каким-то образом избавляло от клейма.

Лавкрафт любил колониальные реликты Нью-Йорка, но не его суетные, разношерстные и грубые толпы. Чем дольше он жил в нем, тем больше усугублялась его ксенофобия. Соня старалась разубедить его в ней, указывая на то, что каждый народ состоит из людей всех типов и у каждого есть свои праведники и подлецы.

«Позже Г. Ф. уверял меня, что совершенно „исцелился“. Но… когда бы мы ни оказывались в толпах из различных рас, столь характерных для Нью-Йорка, Говард просто серел от ярости. Казалось, он совсем терял рассудок. И если говорить по правде, именно это отношение к меньшинствам и его жажда сбежать от них в конечном счете и побудили его вернуться в Провиденс… В основном это касалось семитских народов: „крысомордые азиаты с маленькими глазками“ – так он их называл. В общем же все иностранцы были „полукровками“»[293].

Когда недостатки Лавкрафта как человека и мужа изложены печатным шрифтом, приятным он не кажется. Тем не менее многие знавшие его именно таким его и описывали. Всегда добрый, обходительный и любезный в личных отношениях, он также был и обворожительным собеседником, имевшим интересные идеи практически по каждой теме. Годами позже Соня вспоминала его как «поразительного человека. Он был „мудр, как змий, и прост, как голубь“[294], когда того требовали обстоятельства, но он не был расчетливым человеком и никогда не преследовал личных целей»[295].

Несмотря на эти возникшие напряженности, супружество мирно текло еще полгода. Соня давала Лавкрафту деньги на расходы, утешая его гордость словами: «Я уверена, ты вернешь мне все с процентами».

Деньги, которые Лавкрафт получал от Сони, а также поступавшие время от времени платежи от тетушек, клиентов по «призрачному авторству» или «Виэрд Тэйлз», он тратил скромно. Порой он покупал книги, иногда отдавал Соне или своим друзьям. Он также давал деньги другим издателям-любителям – «благородным жуликам», как их называла Соня, – просивших его в письмах о помощи, даже если для этого ему приходилось ограничивать себя.

Как предложила Соня, они называли друг друга Сократ и Ксантиппа[296]. Она откармливала его: «Когда мы поженились, он

был высоким, худым и выглядел так, словно недоедал. Мне, по счастью, нравится явственно аскетический тип, но Г. Ф. был слишком уж худым даже для моего вкуса, поэтому я взяла за обыкновение готовить сбалансированную пищу по вечерам, подавать питательный завтрак (ему нравилось сырное суфле! – довольно неподходящее блюдо для завтрака), и я оставляла ему несколько (почти дагвудовских)[297] сэндвичей, кусок торта и кое-какие фрукты на обед (он любил сладкое) и постоянно говорила, чтобы он обязательно выпил чая или кофе. Все это было, конечно же, пока я держала торговлю в Нью-Йорке…»

В результате вес Лавкрафта, в последние несколько лет уже превышавший сто сорок фунтов, достиг почти двухсот[298]. Соня полагала, что при таком весе он «выглядел и чувствовал себя чудесно».

Все еще надеясь стать солидным семейным человеком, Лавкрафт вместе с Соней купил два участка земли в Йонкерсе. Они планировали, что на большем участке однажды постоят дом, достаточно большой для них самих и тетушек Лавкрафта, в то время как участок поменьше держали в качестве вложения средств. В конце июля Лавкрафт написал йонкерсской «Хоумлэнд Компани» о невозможности продолжения еженедельных выплат по сто долларов. Очевидно, компания по продаже недвижимости согласилась продолжать иметь дело с Лавкрафтами, поскольку несколькими годами позже Соня все еще обладала правом на владение участками, и по ее просьбе ее сводный брат продал сначала один участок, а затем другой.

Лавкрафт совершал с Соней длительные прогулки по старинным местам и часто наведывался в знаменитые нью-йоркские музеи. Как он говорил: «Что толку жить в большом городе, если не пользоваться этим с толком?»[299]

В течение этого времени и Лавкрафт, и Соня испытывали чувство, что каждый уступает другому в чем только можно – явление, знакомое женатым парам. Соня писала: «Я совершенно держалась в тени и уступала ему во всех вопросах и домашних проблемах, независимо от их значимости – с тем, чтобы устранить или ослабить, если возможно, какие-то комплексы, которые могли у него быть. Даже касательно расходования заработанных мною денег я не только советовалась с ним, но и старалась дать ему почувствовать, что именно он является главой семьи».

Между тем сам Лавкрафт описывал свое положение так: «Я низведен до положения полнейшего подчинения и никогда не отвечаю на супружеское замечание кроме как „Да, моя дорогая!“ в самой что ни на есть семейной манере».

Едва Лавкрафт начал семейную жизнь в Бруклине, как в «Виэрд Тэйлз» произошли потрясения. Хеннебергер был по уши в долгах, задолжав по меньшей мере сорок три тысячи долларов, а возможно, и все шестьдесят. Он и Байрд, его редактор, разошлись раздраженными друг на друга. Выпуски журнала за май и июнь 1924 года так и не были изданы.

Взяв редакторство на себя, Хеннебергер (с помощью Отиса Адельберта Клайна, молодого автора бульварных романов и литературного агента) сумел издать «юбилейный выпуск» двойного объема за май, июнь и июль 1924 года. Он мог бы оказаться и последним выпуском, если бы не дурная слава рассказа Эдди и Лавкрафта «Любимые мертвецы» и последовавшие попытки запретить журнал, придавшие «Виэрд Тэйлз» жизненных сил.

Подыскивая нового редактора, Хеннебергер подумал о Лавкрафте. В марте он написал ему из Чикаго, интересуясь его мнением. Вместо того чтобы обрадоваться, Лавкрафт пришел в ужас. Он писал Фрэнку Лонгу: «Дедуля намерен устроиться здесь и заняться интенсивным загоном наличных на местных пастбищах, если только… не грянет гром из конторы „Виэрд Тэйлз“ и не переместит меня в мерзкий, современный и отталкивающий своей грубостью ЧИКАГО… Чертова возможность!.. Этот честный, но неотесанный Хенни пишет, что он совершает радикальное изменение в политике „Виэрд Тэйлз“ и что у него есть идея совершенно нового журнала, посвященного ужасам По и Мейчена. Этот журнал, по его словам, будет „как раз в моем духе“, и он хочет знать, не подумаю ли я над переездом в ЧИКАГО, чтобы его редактировать! О господи, о Монреаль! Это, может, и чепуха, но твоя бабуля убеждает меня принять приглашение, если оно явственно последует вместе со всеми необходимыми гарантиями. Я и помыслить не могу об этом без дрожи – только подумай, какая трагедия этот переезд для старого антиквара, только погрузившегося в наслаждение от реликвий почтенного Нового Амстердама! С. Г. совсем не против проживания в Чикаго – но ведь здесь колониальная атмосфера, которая дает мне само дыхание жизни. Я бы не стал раздумывать над подобным переездом, даже если предложение было бы действительным, не исчерпав прежде все виды риторики, пытаясь убедить Хеннебергера позволить мне редактировать на расстоянии. И есть опасение, что вся эта чертова затея провалится после нескольких номеров, оставив меня на мели среди чуждых пейзажей Запада… Можешь держать пари, что твой дедуля будет тщательно разглядывать что-либо подобного рода, прежде чем обдумать это серьезно! Впрочем, все это может быть пустой

болтовней»[300].

В результате Лавкрафт дал Хеннебергеру уклончивый ответ. Хотя Хеннебергер и писал: «Я предлагал ему стать редактором „Виэрд Тэйлз“», я не нашел других свидетельств, подтверждающих, что Лавкрафту действительно предлагали редакторство «Виэрд Тэйлз», или что он отказался переезжать в Чикаго, или что он отклонил какое-то действительное предложение редакторства. Хеннебергер, однако, много раз ездил в Нью-Йорк и несколько раз встречался с Лавкрафтом, и он был изрядным болтуном. Так что предложение редакторства «Виэрд Тэйлз» могло быть сделано во время этих встреч. В любом случае, к тому времени, когда Хеннебергер все-таки сделал Лавкрафту твердое предложение, он уже не руководил «Виэрд Тэйлз», обзаведшимся новым редактором.

Другим человеком, который рассматривался Хеннебергером как замена Байрду, был Фарнсуорт Райт, входивший в лавкрафтовскую фракцию ОАЛП. Уроженец Сан-Франциско, переехавший в Чикаго, Райт продал несколько рассказов «Виэрд Тэйлз». Он был высоким, худым знатоком Шекспира, страдавшим от болезни Паркинсона. Из-за этого недуга его пальцы дергались так бесконтрольно, что ему приходилось печатать даже собственную подпись в письмах.

Чтобы разрешить все претензии и контрпретензии между Хеннебергером, его коммерческим директором Джоном Лансингером, Эдвином Байрдом и еще одним сотрудником по имени Уильям Шпренгер, был составлен комплексный договор. К концу сентября Лансингер и Байрд, ведшие бизнес как «Колледжиэйт Паблишинг Компани», стали владельцами «Дитектив Тэйлз». Шпренгер и Райт стали совладельцами «Попьюлар Фикшн Паблишинг Компани», издателя «Виэрд Тэйлз», с Шпренгером в качестве коммерческого директора и Райтом в качестве редактора. Хеннебергер оставался номинальным издателем, но до выплаты всех долгов не мог получать какую-либо прибыль. После еще одного перерыва, в три месяца, с ноябрьского номера 1924 года был возобновлен регулярный выпуск «Виэрд Тэйлз».

В сентябре Хеннебергер приехал в Нью-Йорк, где много говорил о своем планирующемся новом периодическом издании, названном «Гоуст Сториз» («Истории с привидениями»). Он уверял Лавкрафта, что тот определенно нанят в этот журнал редактором на полный рабочий день. Ему полагался оклад в сорок долларов, который позже должен подняться до ста.

Хеннебергер обещал первую выплату двадцать шестого сентября. День наступил, но так и прошел без денег. Хеннебергер

кормил обещаниями Лавкрафта на протяжении двух месяцев. Он давал ему лишь незначительную работу вроде редактирования сборника анекдотов.

Наконец в ноябре из-за нехватки финансовой поддержки Хеннебергер сдался. Предложенное им редакторство все-таки оказалось «пустой болтовней». Будучи должным Лавкрафту за незначительную редакторскую работу, Хеннебергер расплатился с ним кредитом на шестьдесят долларов в книжном магазине. Девятого числа Лавкрафт вместе с Лонгом отправился туда и выбрал восемнадцать книг и еще одну в качестве подарка Лонгу. Книги, отобранные Лавкрафтом для себя, в основном были Дансейни и Мейчена, наряду с несколькими о колониальной Америке, одной о Древнем Риме и экземпляром «Ватека» Бекфорда, повести в жанре старинной готики и восточных сказок.

Две особенности Лавкрафта требуют объяснений. Одна из них была неофобия – страх и ненависть к переменам. Другая – фанатичная привязанность к некоторым физическим, материальным вещам.

Соня рассказывала: «Он ненавидел все новое и незнакомое, было ли это предметом одежды, городом или лицом. Но когда он привыкал к новизне чего бы то ни было, то поначалу настороженно признавал это, а затем и принимал… Он ненавидел заводить новых друзей, но, единожды заведя, оставался им верным». (Возможно, немного преувеличено, но в целом соответствует истине.) Он выходил из себя из-за сноса любого старого здания. Одной из причин его злобы на национальные меньшинства было то, что они заняли старинные кварталы Провиденса и изменили их.

Эту причуду объяснить нетрудно. Лавкрафт начал жизнь избалованным богатым мальчиком. Но затем его жизнь, вплоть до женитьбы, только и катилась под откос, по мере того как иссякали деньги, а в отношении мирских успехов он все больше и больше отдалялся от людей, которых знал с детства. В то время как другие восходили к славе, он вязнул в болоте парализующих неврозов и благородного упадка. Он восхищался теми, кто добился успеха, и горько сетовал, что ему не удалось того же.

Поэтому при возвращении назад во времени все казалось лучше. Поскольку Лавкрафт не верил в бессмертную душу на небесах, что могло бы его утешить, по мере продвижения вперед все, несомненно, становилось хуже.

Как это выразил один психиатр, для каждого, хранящего приятные детские воспоминания, «земля его юности является землей счастья…». Отсюда счастье заключается в старании

сдержать течение времени сохранением всего – домов, традиций, одежды и институтов – из дней былого.

Более того, Лавкрафт цеплялся за домашнюю мебель (в основном не колониальную, а викторианскую) с тем, что его жена называла «нездоровым упорством»[301]. Он отказался переезжать на Средний Запад, потому что там недоставало колониальной атмосферы. Для честолюбивого, подвижного молодого американца семидесятых годов двадцатого века подобный довод – сумасшествие, для Лавкрафта же он имел чрезвычайное значение.

Можно было бы расценивать страсть Лавкрафта к своей мебели лишь как побочный продукт его неофобии, но в ней, возможно, заключается все-таки большее. У Гарольда Ф. Сирлза – психиатра, которого я только что цитировал, – есть объяснение привязанности детей к плюшевым мишкам, одеяльцам, в которые они кутаются при испуге, и другим схожим предметам. Он называет эти вещи «переходными предметами», поскольку они помогают ребенку осуществить переход от полной зависимости от своих родителей к нормальным, уверенным отношениям со сверстниками-одноклассниками, возлюбленными, соседями, друзьями и товарищами по взрослой работе и игре.

Ребенок, не обладающий такими вещами, склонен оставаться чрезмерно привязанным к своим родителям. Переходный предмет отучает его от подобной зависимости. Далее: «Конкретность мышления ребенка предполагает, что для него, так же как и для представителя так называемой примитивной культуры и взрослого-шизофреника, обилие нечеловеческих предметов вокруг него является компонентами его психологического бытия в более глубоком смысле, нежели для взрослых в нашей культуре…»

Согласно доктору Сирлзу, у нормальной личности любовь к вещам постепенно перерастает в любовь к людям, и движущей силой этой перемены является развитие сексуальности в подростковом возрасте. Это не значит, что созревший взрослый человек перестает заботиться о своих родителях или безразличен к фамильной собственности и вещам своего детства. Но если кто-то считает, как это делал Лавкрафт, что без подобных реликвий не стоит и жить, то это означает, что процесс взросления данной личности остановился на стадии плюшевого мишки. Принимая во внимание то значительное сексуальное подавление, в условиях которого воспитывался Лавкрафт, теория доктора Сирлза о том, что средством выхода из стадии переходных объектов является сексуальность, имеет смысл: «Те личности, которым… не удалось совершить это заключительное достижение нормального пубертатного возраста, по-видимому, продолжают всю свою жизнь

отождествлять себя более с природой, нежели с человечеством. Именно по отношению к природе они страстно испытывают близкое родство, человечество же ненавидят, и окружающие их люди им чужды»[302].

Если определить «природу» как «виды Новой Англии, особенно Провиденс», то получится сущность Лавкрафта, который, несмотря на близкие дружеские отношения со многими людьми, «теоретически ненавидел все человечество» и настаивал на том, что его подлинным интересом в жизни была «общая видимая картина».

Мисс Такер, редактор «Ридинг Лэмп», решила не нанимать Лавкрафта, и публицистическая книга, которую она от него требовала, так и не была написана. Новый журнал Хеннебергера потерпел неудачу, так что Лавкрафту ничего не оставалось, кроме как заняться поисками работы. С конца июля 1924 года он обходил агентства по трудоустройству и нанимателей, к которым его направляли эти агентства.

Просиживание часами в конторах и последующие расспросы незнакомцев были для Лавкрафта сущей пыткой. Он легкомысленно относился к беседам с новыми людьми и знал, что джентльмены не хвастаются своими способностями и не пытаются «продать себя». После утра подобных схваток, физически и психологически истощенный, он обычно проводил день, гуляя в парках или посещая музеи, чтобы «избавиться от неприятного осадка». К тому же в самом начале он наткнулся на одно непреодолимое препятствие: «Отсутствие коммерческого опыта – ужасная преграда: каждый достаточно вежлив и любезен, но это трудная работенка – навести их на разговор о найме!»

Много чего было против Лавкрафта: его старомодный, старающийся замаскировать бедность внешний вид, его робкое и неуклюжее поведение с незнакомцами, его педантичная манера вести разговоры, даже его высокий голос. Работодатели могли и не придавать значения всему этому, но они не могли не обратить внимания на то, что почти тридцатичетырехлетний мужчина никогда не работал. Он не мог предъявить никаких записей в трудовой книжке, когда его спрашивали о них. Будь он на пятнадцать лет моложе, отсутствие опыта не казалось бы таким проблематичным, поскольку никто не ожидает от простого юноши богатого опыта. Но дело обстояло совсем не так, и, должно быть, не один сотрудник управления кадров задавался вопросом, не провел ли этот странный парень последние пятнадцать лет в сумасшедшем доме.

Он писал письма-резюме для издателей. У нас есть черновик

одного из них:

«Уважаемый сэр!

Если в наши дни системности, агентств и объявлений ничем не мотивированное заявление о найме представляется необычным, то я полагаю, что обстоятельства, вызвавшие его, помогут смягчить то, что при других обстоятельствах оказалось бы бесцеремонным нахальством. Дело заключается в том, что некоторые определенно рыночные способности должны быть предложены в нетрадиционной манере, дабы они низвергли современный фетиш, требующий коммерческого опыта и из-за которого предполагаемые работодатели отвергают нерассмотренным заявление любого ищущего место, неспособного похвалиться в соответствующем пункте конкретной работой по профессии.

Представление о том, что даже культурный и интеллектуальный человек никак не может приобрести скорую результативность в области, лишь незначительно отличающейся от его собственной рутинной деятельности, казалось бы, наивно, но недавние события весьма выразительно показали мне, что оно является широко распространенным предрассудком. Начав два месяца назад поиски работы, для которой я от природы и по знаниям хорошо подхожу, я обращался едва ли не по сотне объявлений, но не добился ни разу, чтобы меня достаточно выслушали, – а всё, очевидно, из-за того, что я не могу указать предыдущую работу в определенном производственном подразделении, представленном различными фирмами. Преуспев таким образом в обычных методах, я наконец в порядке эксперимента предпринимаю решительные меры.

Место, поисками которого я занят и которое, я полагаю, Ваше учреждение могло бы предоставить, того типа, в котором требуются услуги автора, ревизионного корректора, переписчика, критика, обозревателя, корреспондента, корректора, наборщика или кого-либо еще, пускай даже отдаленно принадлежащего к данному типу. В этих видах деятельности я готов проявить зрелое и эффективное умение, несмотря на то что никогда систематически не нанимался кем бы то ни было; кроме того, из уважения к обычаям и требованиям я согласен начать самым скромным образом и с небольшой оплаты, которую обычно получают начинающие. Все, что я желаю, – исходная опора, после чего, я уверен, за меня будет говорить моя работа.

По призванию я писатель и корректор – пишу оригинальную художественную прозу, критику и стихотворения, а также имею исключительно основательный опыт в подготовке правильного и

беглого текста по заданным темам и разрешении наиболее трудных и запутанных задач по переписыванию и творческой переработке прозы и поэзии. Более семи лет я перерабатывал почти все сочинения одного видного американского автора, редактора и лектора, включая несколько книг и множество стихотворений, которые впоследствии получили немалую известность по прохождении издательских кругов. Я также редактировал и правил книги и для других, и могу, если потребуется, представить их образцы, равно как и менее объемные работы – опубликованные рассказы, рецензии, отредактированные мною печатные органы ассоциаций и тому подобное.

Однако такое внештатное производство явно неустойчиво и неопределенно, и теперь я – будучи женат и обосновавшись в Нью-Йорке – чрезвычайно желаю сменить его на регулярные и постоянные оплачиваемые взаимоотношения с любым ответственным предприятием сходной природы. То, что я могу соответствовать какой-нибудь простой должности, затрагивающей английское сочинительство и риторику, литературную деятельность, а также знакомство с типографскими формами и практиками, представляется мне весьма очевидным. Возможно, мне недостает обстоятельного опыта какого бы то ни было коммерческого предприятия, но тем не менее я полагаю, что обладаю ценными качествами по меньшей мере равного достоинства в умении сочинять живо, бегло и правильно с набросков, заметок или предложений, а также в таких особенностях, как быстрое и разборчивое восприятие, орфографическая правильность, стилистическая щепетильность и остро развитое чувство тонкости английского словоупотребления. Что касается этих особенностей, я готов пройти через любой вид практического экзамена, вроде сочинения связного текста из предложенных намеков и конспектов или же чтения корректуры под вашим наблюдением для проверки скорости и безошибочности.

Мне тридцать четыре года, я выходец из культурной американской среды. Мое образование, хотя и не включающее университет или познаний профессионального переводчика в современных языках, соответствует образованию джентльмена и включает все основные элементы либеральной культуры, литературной техники, дисциплины и уравновешенного консерватизма. С этой оснасткой – какой бы посредственной она ни была – я не сомневаюсь в том, что способен занимать некоторую должность, предложенную организацией, подобной Вашей, даже если отсутствие предшествующей занятости и

создает надуманное препятствие. Круглые затычки находят круглые дырки, квадратные затычки находят квадратные дырки[303]. Справедливо и то, хотя и с большим затруднением, но я в этом уверен, что где-то должна существовать соответствующая дырка для такой затычки, которую метафора поговорки может выстругать трапецоэдрической!

Надеюсь – опрометчиво или нет – на Ваш ответ и возможность более полно продемонстрировать свою производственную пригодность.

Искренне Ваш,

Говард Филлипс Лавкрафт»[304].

Худший подход к предполагаемому работодателю сложно даже представить. Неудивительно, что это редкостное письмо не принесло никакой работы.

Лавкрафт смог бы написать компетентное резюме по профессии, знай он, как писать его без многословия, риторики, педантизма и чрезмерности, проявленных в этом образчике. В другом подобном письме он заверял предполагаемого нанимателя, типографщика, что тому не следует опасаться, что Лавкрафт из-за своего чисто англо-американского происхождения будет вести себя по-снобистски по отношению к другим служащим, не столь удачливым. В этом Лавкрафт был как раз тем, кому требовался «призрачный автор».

Он опубликовал объявление в соответствующей рубрике «Нью-Йорк Таймс»:

«ПИСАТЕЛЬ И КОРРЕКТОР, внештатный, желает установить регулярные и постоянные оплачиваемые взаимоотношения с любым ответственным предприятием, которому требуются литературные услуги; исключительно богатый опыт в подготовке правильного и беглого текста по заданным темам и в разрешении наиболее трудных, запутанных и объемных задач по переписыванию и творческой переработке прозы и поэзии; также рассмотрел бы должность, имеющую дело с таким чтением корректуры, для которого необходимы быстрое и разборчивое восприятие, орфографическая правильность, стилистическая щепетильность и остро развитое чувство тонкости английского словоупотребления; хороший печатник; тридцати четырех лет, женат; семь лет перерабатывал всю прозу и поэзию для ведущего американского лектора и редактора. Y 2292, приложение к „Таймс“».

Очевидно, Лавкрафт не знал, что означает быть хорошим

печатником. «Ведущий американский лектор» – это Дэвид В. Буш, для которого он все еще писал.

В результате своих усилий Лавкрафт все-таки получил работу, но он не подходил для нее настолько, насколько это только было возможно. Он ответил на объявление о найме некой компании из Ньюарка. Двадцать третьего июля он приехал туда и выяснил, что это была работа «комиссионера по представлению услуг „Кредиторз Нэшнл Клиэринг Хауз“, бостонской фирмы с филиалом в Ньюарке, чья сфера деятельности… заключается в сборе незначительно просроченных счетов, прежде чем они разовьются в дурную привычку». Лавкрафт должен был продавать на комиссионной основе услуги этого агентства по взыскиванию долгов.

Его наняли, он вернулся домой, заполнил пачку анкет и посетил собрание комиссионеров. Он был воодушевлен заявлением заведующего отделом продаж, что исправленный Лавкрафтом текст стандартного разговора о покупке будет принят филиалом. Он также познакомился с «главой нью-аркского филиала, грубым, но исполненным благих намерений парнем по имени Уильям Дж. Бристол, который, судя по всему, проявляет признаки левантийского[305] наследия».

На следующей неделе Лавкрафт провел два изнурительных и бесплодных дня, топча улицы Большого Нью-Йорка и наведываясь к потенциальным клиентам. Лучшие клиенты, как он выяснил, были в швейном производстве, находившемся в руках «самого несносного типа людей». Затем Бристол взял его на экскурсию, дабы показать ему, как проводятся подобные дела: «Я прошел совсем немного, когда мой гид стал весьма откровенным относительно манеры бизнеса и признал, что джентльмен по рождению и воспитанию имеет очень мало шансов преуспеть в подобном роде комиссионерства… где нужно быть либо сверхъестественно притягательным и очаровательным, либо же таким грубым и бессердечным, что можно преступать все правила тактичного поведения и навязывать беседу скучающим, недружелюбным и нерасположенным жертвам»[306].

Лавкрафт был уволен, получив разрешение отказаться от должности без недельного предупреждения об увольнении. Очарованный Лавкрафтом, «честный Бристол» раскрыл ему свою душу. Его подлинным стремлением, признался он, было возвращение в страхование. Для этого – поскольку он осознавал собственную грубость – ему потребуется помощь такого джентльмена, как Лавкрафт. Он нанял Лавкрафта, чтобы тот написал ему сопроводительное письмо для получения должности управляющего в какой-нибудь страховой компании. Казалось,

боги были решительно настроены сделать из Лавкрафта «призрачного автора».

Однако он не сдавался. Он упрямо продолжал обходить агентства по трудоустройству и издателей. Его друзья пытались ему помочь. Лавмэн, вновь приехавший в августе в Нью-Йорк искать работу, полагал, что сможет получить для него редакцию каталогов Галереи Андерсона, но работа досталась другому. Какое-то время Лавкрафт думал, что у него хороший шанс на редакторство отраслевого журнала «Хэбердэшер» («Галантерейщик»), но и с этим ничего не вышло.

Гарри Гудини, с которым Лавкрафт уже встречался, также предложил свою помощь. Он снабдил Лавкрафта рекомендательным письмом к Бретту Пейджу, главе газетного синдиката. Пейдж был радушен, но у него ничего не было. По его словам, единственной работой, для которой Лавкрафт был пригоден, была работа корректора издательства или же помощника редактора какого-нибудь отраслевого журнала. Лавкрафт и сам пришел к такому выводу, но ни один из издателей, к которым он обращался лично или через письма, не считал его подходящим, чтобы нанять.

До конца года Лавкрафт прилагал изнурительные, если не нелепые усилия по поискам работы. Несмотря на то что в период президентства Кулиджа страна явно процветала и работу найти было нетрудно, он так ничего и не добился, кроме еще нескольких клиентов для «призрачного авторства». Для застенчивого, не от мира сего человека, проведшего большую часть своей жизни в болезненной, уединенной, потакающей своим желаниям праздности, его старания были поистине геркулесовы. Его друг Кляйнер считал, «…что Лавкрафт ничего и не получил бы от коммерческих отношений. Его работой было писать рассказы, и надо было дать ему продолжать то, что он делал. Но то положение, в котором он оказался после прискорбной женитьбы, требовало от него приложения некоторых усилий для получения постоянной работы с регулярным жалованием. Некоторые из его писем предполагаемым работодателям читались теми, от кого и ожидать-то нельзя было хоть какого-то понимания. Думаю, мне простительно заметить, что эти письма были того рода, которые временно стесненный обстоятельствами английский джентльмен мог бы написать, пытаясь добиться выгодных взаимоотношений в мире бизнеса позавчерашнего дня. Их тон, конечно же, был совершенно неверным».

Описание Кляйнера писем Лавкрафта работодателям удачно, но я все-таки не согласен с тем, что он ничего не получил бы от штатной работы. Взять хотя бы то, что работа за жалование

является одной из вещей вроде влюбленности, или службы в армии, или переживания шторма на море, или перенесения хирургической операции: о них можно многое узнать из книг, но никакое чтение не расскажет об этом так, как испытание на себе. Так как работа – часть жизненного опыта почти всех мужчин и большинства женщин современной Америки, тот, кто никогда не работал за жалование, остается с искаженным и обрывочным видением мира. Работа необязательно помешала бы Лавкрафту сочинять рассказы, поскольку он все равно уделял писательству лишь небольшую часть своего времени.

Кроме того, у него были навыки редактора и некоторый практический опыт в выпуске любительских изданий. С некоторой закалкой он смог бы стать превосходным редактором. Даже незначительный успех на такой работе избавил бы его от необходимости недоходного «призрачного авторства» и большей части той суеты, которой он наполнял свои дни.

Затем, произведения Лавкрафта портит отсутствие убедительных персонажей и правдоподобных диалогов. Это следствие его малочисленных контактов с людьми – его изоляции от всех, за исключением небольшого круга родственников и сходных по духу друзей. В литературе ужасов искусство создания характеров и диалоги не являются первостепенными, но любой рассказ, в котором эти составляющие хорошо проработаны, лучше, нежели рассказ – равный во всех других отношениях, – в котором они сделаны плохо или отсутствуют совсем.

Другой характерной чертой прозы Лавкрафта, привнесенной из его уединенной, изолированной жизни, является некоторая равнодушная безличность. Он проявляет небольшой интерес или сочувствие своим героям. В сущности, его персонажи ни едят, ни пьют. В редких случаях, когда им приходится иметь дело с женщинами, они обычно попадают в беду. Здесь тоже обладание большим житейским опытом помогло бы Лавкрафту в сочинительстве. Поскольку обычно он по своему желанию не общался с окружающими и не интересовался взглядами, значительно отличающимися от его собственных, он был бы вынужден делать это по требованиям своей работы.

Стань Лавкрафт редактором, он, быть может, никогда бы не достиг статуса, равного положению покойного Джона В. Кэмпбелла. Но такая работа могла бы дать Лавкрафту как личности некий более необходимый статус, уверенность в себе и житейский опыт, равно как и доход.

На сроки 1923–1924 годов и 1924–1925 годов Соня была избрана президентом Объединенной ассоциации любительской

прессы, а Лавкрафт – редактором. В конце второго срока Лавкрафт отказался занимать свою должность дальше. Он продолжал посещать собрания клуба «Синий Карандаш» и жаловаться на поток почты от любителей, но после этого уделял любительской печати уже меньше времени.

После того как другие члены «лавкрафтовской ОАЛП» также отказались от должностей, президентом уговорили стать Эдгара Дж. Дэвиса, а редактором – Виктора Э. Бэкона. Однако, лишенная лавкрафтовской магнетической притягательности для других писателей-любителей, эта фракция вскоре угасла. После 1925 года собрания и издания прекратились. Лавкрафт так и не помирился с другой фракцией ОАЛП, которую он называл «псевдообъединенной Эрфорда»[307], по имени одного из ее руководителей, Дж. Ф. Роя Эрфорда.

Лавкрафт продолжал интересоваться деятельностью Национальной Ассоциации Любительской Прессы и порой отсылал свои эссе в любительские журналы, но уже никогда не занимал выборных должностей в любительстве. Когда летом 1925 года ему предложили председательство в Отделе критики НАЛП, он отказался, находясь в то время в тяжелом нервном состоянии. Однако в тридцатых годах он иногда помогал этому отделу.

В последние годы своей жизни Лавкрафт по-прежнему сотрудничал с НАЛП в качестве «исполнительного судьи» и набирал в нее новых членов. Он все так же волновался из-за несговорчивости любителей, тративших свою энергию на междоусобицы и интриги вместо совершенствования своего литературного стиля, так и не поняв, что организации такого рода привлекают людей, для которых подобные склоки являются главным удовольствием в жизни.

Что же касается самой значимой работы Лавкрафта – его рассказов, – то время, отданное за эти годы любительской печати, было растрачено на хобби, которое большинство людей давно бы уже забросило или, по крайней мере, уделяло бы ему меньший интерес в свободное от других дел время. Лавкрафт же так и не смог полностью посвятить себя профессиональной карьере – из-за своей заветной позы «джентльмена-любителя».

Пока Лавкрафт жил с Соней в Бруклине, большинство его работ были «призрачными». Помимо не прекращавшегося потока заказов от Буша и случайной работы от других претендентов на звание писателя, он получил кое-что и от Гудини, снабдившего Лавкрафтов билетами на свое шоу на старом ипподроме 15 января 1925 года.

Мастер побегов, будучи борцом со спиритизмом, разоблачал

трюки несметных медиумов. Помимо других заказов, Гудини предложил сотрудничество между ним самим, Лавкрафтом и Эдди над книгой с предполагаемым названием «Рак суеверия». Дабы повергнуть дракона оккультного мошенничества раз и навсегда, Гудини должен был предоставить основополагающие идеи, Лавкрафт – подготовить наброски глав, а Эдди – написать саму книгу с редакторской помощью Лавкрафта.

Лавкрафт набросал планы двенадцати глав, Эдди написал одну, и Лавкрафт подправил ее. Но затем Гудини заболел перитонитом и 31 октября 1926 года умер. Лавкрафт считал, что Гудини представлял собой «один из худших случаев заблуждавшегося разума», так как он, хотя и был «образованным человеком, наделенным талантом и умом», довольствовался быть «всего лишь ловким шоуменом».

Лавкрафт и Эдди осилили еще две главы, но не смогли найти издателя и забросили этот проект. Они обнаружили, как и другие до них, что публика будет платить огромные деньги, чтобы ее дурачили, но практически ничего, чтобы ей открыли на это глаза.

Лавкрафт написал в 1924 году один рассказ – «Дом, который все избегали». Объемом чуть более десяти тысяч слов, он продемонстрировал растущую склонность Лавкрафта к сочинению более длинных произведений. Он весьма хорош, хотя и – как жаловался Райт, когда Лавкрафт отослал этот рассказ в «Виэрд Тэйлз», – слишком затянут и многословен в начале. В нем также чересчур много характерных для Лавкрафта прилагательных вроде «ужасный» и «непристойный». Лавкрафт думал, что как медленное разворачивание сюжета, так и упомянутые прилагательные необходимы для создания жуткой атмосферы, которую он считал главным пунктом рассказов ужасов. Тем не менее в этом рассказе Лавкрафт умело использовал местный колорит, который он знал лучше всего.

«Дом, который все избегали» основан на реальном доме и легенде. Дом – это особняк Стивена Харриса, номер 135 по Бенефит-стрит, Провиденс, где Лилиан Кларк жила до смерти Сюзи Лавкрафт. Это большой, коробкообразный желтый дом, обшитый досками, на восточной, поднимающейся вверх стороне улицы, в паре кварталов от Энджелл-стрит. С одной его стороны свободный участок, а с другой – ряд схожих старых больших деревянных зданий.

В доме Стивена Харриса два этажа, а также мансарда под пологой крышей. Кроме того, из-за склона холма его подвал выходит на Бенефит-стрит на уровне тротуара. Вход в жилые квартиры здания осуществляется через лестницу на южной

стороне. Два огромных вяза на Бенефит-стрит затеняют дом от дневного солнца и, когда покрыты листвой, практически скрывают от взоров западный фасад. Во времена Лавкрафта особняк пустовал годами и сильно обветшал. Впоследствии он был починен и заселен.

Дом был построен в 1764 году, а в 1866–м получил свой теперешний номер. Когда-то на его месте было кладбище, останки с которого перенесли на Северное кладбище. Существовало предание, что по невнимательности там забыли останки французской четы, которые так и остались покоиться под домом. Говорили, что жена Стивена Харриса после смерти своих детей сошла с ума и кричала из верхнего окна дома по-французски.

Легенда, использованная Лавкрафтом, – глава «Зеленая картина» из книги Чарльза М. Скиннера «Мифы и легенды нашей земли» (1896). В этой небольшой сказке повествуется о доме в Скенектади, штат Нью-Йорк, где на полу в подвале появилась плесень в форме человеческого силуэта, которая восстанавливалась всякий раз, когда ее оттирали. Поговаривали, что это вампир, похороненный под подвалом, пытается выбраться из своей могилы, но удерживается в ней заклинанием.

«Дом, который все избегали» начинается одним из бессвязных философских вступлений, столь характерных для Лавкрафта: «Даже в величайших ужасах редко когда отсутствует ирония. Порой она содержится непосредственно в цепи событий, а порой затрагивает лишь их случайное отношение к людям и местам».

Рассказчик продолжает описанием «дома Уильяма Харриса» на Бенефит-стрит: «Во времена моего детства избегаемый дом пустовал, его высоко поднятый внутренний двор, где никогда не задерживались птицы, отличался бесплодными, искривленными, ужасными деревьями, высокой, необыкновенно тусклой травой и кошмарно уродливыми кустами… Мелкосекционные окна в основном были разбиты, а повсюду в непрочной обшивке, шатких внутренних ставнях, отслаивающихся обоях, осыпающейся штукатурке, неустойчивых лестничных пролетах и тех обломках разбитой мебели, что все еще сохранились, витал не имеющий имени дух запустения»[308].

У рассказчика есть дядя, Элайхью Уиппл, доктор медицины – судя по всему, моделью для него послужил доктор Франклин Чейз Кларк. Будучи любителем старины, Уиппл собрал сведения о доме, и его племянник изучает их.

Далее следуют тысячи слов об истории Провиденса, дома и Харрисов, живших в нем. В свое повествование Лавкрафт искусно вплетает реальные исторические события, такие как ураган 1815

года. Все, кто живет в доме, становятся вялыми или болезненными, они рано умирают, если только не съезжают. Есть и безумная женщина, кричащая по-французски, и – еще до нее – француз, оккультист-любитель, похороненный под домом.

Рассказчик и его дядя проводят ночь в подвале с прибором для уничтожения злобного существа, которое, по их убеждению, является причиной всех этих несчастий. Существо оказывается студенистой тварью, испускающей некую газообразную эманацию. Эта эманация может поглотить и впитать кого угодно – и тело, и душу, – так что сознание жертвы неким образом продолжает жить как часть существа. Такая незавидная участь постигает дядю…

Райт из «Виэрд Тэйлз» отверг «Дом, который все избегали» на том основании, что его начало слишком затянуто и многословно. Но Лавкрафт отказался сократить рассказ по его просьбе.

Райт оставался редактором «Виэрд Тэйлз» пятнадцать лет. Несмотря на нервное расстройство и низкий бюджет, из-за которого журнал приходилось издавать более низкого качества, он добился таких поразительных результатов, что сегодня мы говорим о писательской школе «Виэрд Тэйлз».

Райт публиковал множество типовых рассказов о привидениях, оборотнях и вампирах, состряпанных по банальным, избитым шаблонам. Он делал это отчасти из-за нехватки средств, а отчасти из-за того, что считал, что должен печатать кое-какую халтуру для привлечения незрелых читателей. По той же причине он использовал кричащие обложки, изображавшие обнаженных героинь, корчащихся в похотливых объятиях колдунов, упырей и прочих угрожающих созданий. Несмотря на подобные обложки, внутри журнал в сексуальном плане был безупречен, как того мог только желать даже Лавкрафт со своими пуританскими воззрениями.

В «Виэрд Тэйлз» публиковались разнообразнейшие произведения, и некоторые превосходного качества. Печаталась и чистая научная фантастика, и героическое фэнтези вроде рассказов Роберта Э. Говарда о Конане, могучем доисторическом варваре-авантюристе. Здесь появились ранние работы нескольких писателей – например Роберта Блоха, Теннесси Уильямса и Рэя Брэдбери, – которые добились литературной славы и успеха. Большинству своих авторов Райт платил по полцента за слово (основной тариф дешевых журналов), а более знаменитым – цент или полтора. Лавкрафт стал получать по самому высокому тарифу после 1927 года.

В двадцатых годах, когда Лавкрафт приобретал

популярность, самым популярным писателем «Виэрд Тэйлз» был не он, а Сибури Куин, плодовито сотрудничавший с журналом всю свою жизнь. Его рассказы отвечали литературным требованиям, но изобиловали повторами и строились по заезженной схеме – термин «литературный поденщик» подходит к Куину всецело.

Бизнес Куина был связан с похоронным делом, что довольно подходяще для человека, писавшего о вурдалаках и привидениях. Он редактировал специализированный журнал, а также работал коммивояжером, продавая похоронные принадлежности. Во время одной деловой поездки в Новый Орлеан его тамошние партнеры, желая показать ему город, пригласили его в модный публичный дом. Когда девушки узнали, что их посетитель был Сибури Куин из «Виэрд Тэйлз», их любимого журнала, то были так польщены его визитом, что предложили ему обслуживание за счет заведения.

Журнал балансировал между доходами и убытками, но Хеннебергер, Райт и Шпренгер были ему верны. В 1930 году они начали выпуск родственного журнала «Ориэнтал Сториз» («Восточные сказки»), который продержался чуть более трех лет. Смена его названия на «Мэджик Капит» («Ковер-самолет») так и не сделала его прибыльным.

Журналами, которые могли конкурировать с «Виэрд Тэйлз», были «Тэйлз оф Мэджик энд Мистери» («Волшебные и загадочные рассказы», 1927), «Стрейндж Тэйлз» («Странные рассказы», 1931–1933) и «Стрейндж Сториз» («Странные истории», 1939–1941). Обычно они выдерживали лишь несколько выпусков, и ни один из них так и не приблизился по жизнестойкости к «Виэрд Тэйлз».

Эти периодические издания составляли часть той массы дешевых журналов, что множились в Соединенных Штатах в двадцатые-тридцатые годы двадцатого века. Все они печатались на дешевой древесномассной бумаге в стандартном «дешевом размере» 6 на 10 дюймов. Реклама на последних страницах «Виэрд Тэйлз» гласила: «Искусственные зубы», «Геморрой: не страдайте напрасно», «Приносит умиротворяющее тепло жизненно важной железе мужчинам за сорок», «Теперь человек может говорить с Богом».

Лавкрафт и другие критики часто использовали термин «дешевый»[309] для обозначения низкопробной, массовой литературы, предназначенной для едва грамотных читателей. Порой такое описание оказывалось справедливым. С другой стороны, большинство «дешевых» рассказов демонстрировали качества, которых сегодня иногда явно не хватает. Они откровенно написаны для развлечения, а не для того, чтобы

раскрыть душу автора, или показать его талант, или же привлечь читателя к какому-то благому делу. Они хорошо построены, вразумительны и динамичны. Они написаны на ясном и простом английском. Поэтому их до сих пор можно читать с удовольствием.

С 1933–го по 1938 год едва ли не исключительным правом на создание обложек для «Виэрд Тэйлз» обладала миссис Маргарет Брундэдж. Для несметного количества рисунков обнаженных героинь, которым угрожали злодеи и чудовища, она использовала в качестве моделей своих дочерей. Лавкрафт отрывал обложки от своих экземпляров, дабы не смущаться обладанием подобных развратных картин. Райт никогда не назначал рассказы Лавкрафта в качестве темы для обложки – возможно, потому, что в его произведениях практически не было женщин, которых могли бы воплотить стройные мисс Брундэдж.

Почти полное исчезновение дешевых журналов во время Второй мировой войны резко сократило рынок для американского короткого рассказа. По существу, сегодняшние научно-фантастические журналы являются едва ли не последней трибуной этого жанра. После 1945 года роман в мягкой обложке узурпировал место в популярной художественной литературе, прежде занимавшееся дешевыми журналами.

В 1938 году, переживая трудные времена, Хеннебергер, Райт и Шпренгер продали контрольный пакет своей «Попьюлар Фикшн Паблишинг Компани» Уильяму Дж. Делани и Т. Раймонду Фолею, издателям «Шот Сториз» («Короткие рассказы»), который в свое время был главным конкурентом «Эдвенче Мэгэзин» («Приключенческий журнал»). Редакторские офисы были переведены в Нью-Йорк. Через два года, когда здоровье Райта ухудшилось, его новые наниматели без долгих рассуждений уволили его, и вскоре он умер.

Редактором «Виэрд Тэйлз» была назначена шотландка средних лет Дороти Макилрайт, которая до этого редактировала «Шот Сториз» и теперь стала заниматься обоими журналами. Хотя мисс Макилрайт была опытным редактором, она не проявляла подхода Райта к фантастике. Она покупала рассказы, которые были «сверхъестественными» лишь в узком, буквальном смысле слова, так что журнал утратил свое притягательное разнообразие. Он протянул еще десять лет, но в 1954 году был закрыт. Хотя составители антологий до сих пор разрабатывают его осыпающиеся страницы, за последние двадцать лет у писателей-фантастов не было рынка, во всем соответствующего «Виэрд Тэйлз».

Несмотря на все несомненные дарования Райта, его политика

в отношении Лавкрафта была странной. Осторожный к любым потрясающе новым идеям, он взял за обыкновение отвергать рассказ при его первом представлении, предлагая позже рассмотреть его снова, и покупал его во второй раз. Писатели сообразили, что при отказе Райта купить рассказ им надо было отложить его на какое-то время, а затем предложить вновь – неизмененным, но с припиской, что он был исправлен в соответствии с предложениями Райта. Позабыв все подробности первого предложения, Райт, как правило, покупал его. Он купил многие рассказы Лавкрафта, отвергнув их сначала один или даже несколько раз.

После смерти Лавкрафта «Виэрд Тэйлз» также купили несколько его рассказов, когда-то отвергнутых. Такова была и участь «Дома, которого все избегали».

Еще до того, как Лавкрафт переехал в Нью-Йорк, Кляйнер, Лонг и Макнейл завели обыкновение еженедельно собираться поочередно в доме каждого. Вскоре после переезда Лавкрафт стал членом этой группы. Равно как и Сэм Лавмэн, снова приехавший в августе 1924 года на поиски работы и нашедший место в торговле редкими книгами. Затем группу пополнили Джордж Уиллард Кирк, продавец книг, Герман К. Кёниг, электротехник, Артур Лидс, обозреватель и автор приключенческих рассказов, и Джеймс Фердинанд Мортон.

Мортон был давнишним борцом за права негров, и его речи на эту тему приводили в ярость белого супрематиста Лавкрафта. Как-то раз Мортон отстаивал близость с чернокожими женщинами в таких выражениях, которые предполагали, что он сам наслаждался подобной близостью. Лавкрафт взорвался: «Любого белого мужчину, занимавшегося подобными вещами, нужно клеймить словом НЕГР на лбу!»

Кто-то, заметив, что фамилии всех изначальных членов начинаются на буквы К, Л или М, предложил назвать группу Клуб Кэлем. Так и поступили, но Лавкрафт называл их просто «банда». Позже к группе присоединились (несмотря на фамилии) Брест Ортон, уроженец штата Вермонт, штатный сотрудник «Эмерикэн Меркьюри» («Американский вестник») Менкена, и Уилфред Бланш Талман, журналист, писатель и редактор, интересовавшийся своим голландским происхождением, член Голландского общества Нью-Йорка. Осенью 1924 года Талман поступил на первый курс Университета Брауна, через два года перевелся в Колумбийский университет и закончил его в 1928–м.

Клуб продолжал собираться, обычно вечером по средам, на квартирах разных членов, хотя большая часть встреч проходила у

радушного Лонга. Они засиживались далеко за полночь, обсуждая искусство, науку, политику, литературу, эстетику, философию – в общем, все, о чем думали. Искусство, литература и эстетика были их основными темами, и те, кто занимался сочинительством, часто читали свои рукописи вслух. Иногда Лавкрафт уговаривал Мортона почитать его рассказы, поскольку восхищался его профессиональной манерой чтения.

Подобные свободно организованные дискуссионные группы интеллектуалов расцветали, где бы такие люди ни находились – в больших ли городах или же в университетских городках. Например, в тридцатых годах три великих английских писателя фэнтези – К. С. Льюис, Дж. Р. Р. Толкиен и Чарльз Уильямс – входили в оксфордскую «Инклингз» («Намеки»). Но, вследствие особой ориентированности членов Клуба Кэлем на фантастику и фэнтези, эта группа может считаться первым в мире обществом любителей научной фантастики.

Эти встречи были самым большим удовольствием для Лавкрафта в Нью-Йорке, и он редко пропускал их. Он не главенствовал в беседах, но, когда говорил – рассказывал Кирк, – это было подобно тому, как «падает энциклопедия, раскрывается и заговаривает с вами»[310].

Хотя Лавкрафт никогда не подавлял своим авторитетом и не был чрезмерно радушным, как Лонги, он притягивал других членов клуба тем самым загадочным магнетизмом, который проявлял в ОАЛП. Он был неизменно деликатным. Некоторые участники группы, сочтя Макнейла скучным, старались уклониться от собраний на его квартире, Лавкрафт же всегда приходил, дабы не задеть его чувств.

Когда Лавкрафт покинул Нью-Йорк, клуб утратил свою популярность. Собрания проводились, но редко, обычно один-два раза в год, когда приезжал Лавкрафт.

Несколько раз Лавкрафт встречал Харта Крейна, работавшего тогда на нью-йоркские рекламные агентства. Друг Лавмэна, Крейн добился некоторой поэтической славы и теперь работал над большой поэмой «Мост». Это произведение, появившееся в 1930 году, демонстрирует великолепные поэтические приемы, но полно таких неестественных метафор, что необходимо перечитать их по крайней мере один раз, чтобы понять, что же поэт имел в виду.

Крейн и Лавкрафт терпели друг друга, но друзьями не стали. 14 сентября 1924 года Крейн писал своей матери: «Пока меня приветствовали только его [Лавмэна] фалды – так Сэмбо занимают с самого приезда его многочисленные здешние друзья. Мисс Соня Грин [sic] и ее писклявый муж, Говард Лавкрафт

(который приезжал к Сэму в Кливленд тем же летом, когда у него был и Галпин), таскали его по трущобам и портовым улицам до четырех утра, ища колониальные образцы архитектуры, пока, говорит Сэм, он не застонал от усталости и не взмолился о метро!»

Лавкрафт сообщил своей тете Лилиан, что Лавмэн «слишком быстро устает, чтобы быть хорошим исследователем». Лавкрафт знал, что Крейн был гомосексуалистом и алкоголиком, но выражал лишь сожаление, что одаренный человек страдает от таких пагубных слабостей: «Бедный Крейн! Настоящий поэт и человек со вкусом, отпрыск старинной семьи из Коннектикута и джентльмен до мозга костей, но раб распутных привычек, которые скоро разрушат его тело и все еще поразительную красоту!»[311]

В 1931 году Крейн отправился в Мексику на стипендию Фонда Гуггенхайма, выделенную ему для написания поэтического шедевра на латиноамериканские темы. Он ничего не сочинил, но продолжал свои эффектные кутежи. Он также завел свой первый гетеросексуальный роман с женщиной, которая в то время разводилась. В 1932 году, когда они возвращались морем в Соединенные Штаты, Крейн, несчетное количество раз дававший зарок завязать, снова ударился в разгул, не выдержал и выпрыгнул за борт.

Как и всегда, Лавкрафт жадно читал. Его любимыми писателями оставались По, Дансейни и Мейчен, но он также восторгался ранними рассказами Роберта У. Чэмберса и многими произведениями Элджернона Блэквуда и М. Ф. Шиля. Он не считал их работы гладкими: «У Блэквуда совершенно отсутствует стиль, за исключением время от времени встречающихся случайностей…»

Лавкрафт также был немного знаком с современными авторами реалистических романов, которые он читал больше из чувства долга, нежели из удовольствия. О «Джунглях» Эптона Синклера он сказал: «Эти возбужденные социологические разглагольствования не являются искусством – пропаганда никогда не была таковым… Хотя Синклер как писатель гладок, и он мог бы быть художником, если бы поменьше беспокоился о бедных угнетенных неудачниках и прочем в подобном духе». Синклара Льюиса он так же считал «морализирующим эссеистом, но не художником…»[312].

Он благосклонно отзывался о двух недавно вышедших публицистических книгах – «Книге проклятых» (1919) Чарльза Форта и «Ведьмовском культе в Западной Европе» (1921)

Маргарет Элис Мюррей. Его оценка, однако, не была той, на которую могли бы надеяться авторы. Он восторгался этими книгами как стимулами для написания сверхъестественной прозы, а не как изложениями фактов. С научной же точки зрения он считал эксцентричные космологические идеи Форта бредовыми.

Теория мисс Мюррей заключалась в том, что великая европейская ведьмовская паника шестнадцатого и семнадцатого веков была борьбой христианства и широко распространенного языческого культа, сохранившегося в подполье с дохристианских времен. Лавкрафт рассматривал ее со сдержанным скептицизмом. Он полагал, что подобные культы могли существовать, но мисс Мюррей слишком уж преувеличила их размеры и значение.

Помимо чтения, посещения музеев и встреч с друзьями, Лавкрафт любил прогулки. Он исследовал Проспект-Парк в Бруклине, Нью-йоркский зоологический парк в Бронксе, Флашинг, Ямайку и, в Нью-Джерси, Элизабет. Он посетил дом По и особняк ван Кортлендов.

Однажды вечером Лавкрафт и Кирк предложили прогуляться до дома Кляйнера от Морнингсайд-Хайтс в Манхэттене до Бушвика в Бруклине – расстояние примерно в десять миль. Они находились не дальше чем в трех кварталах от дома Кляйнера, когда Лавкрафт пришел к заключению, что поход слишком тяжел даже для его железной выносливости. Так что он и Кирк отправились по домам на подземке.

Лавкрафт также исследовал ночью Гринич-Виллидж – в те времена, когда этот район был полон подпольных питейных заведений и перестрелки между бутлегерами и бандитами были обычным делом. Кляйнер вспоминал: «…По крайней мере, как-то раз, бродя среди старых бочек и ящиков в темном закоулке этого района, Лавкрафт наткнулся на вход, который внезапно осветился, и какой-то возбужденный иностранец, одетый в фартук – что было почти безошибочным признаком бармена подпольной забегаловки, – резко спросил, чего он хочет. Лавмэн и Кирк пошли за Лавкрафтом и благополучно увели его»[313].

Лавкрафт относился к Нью-Йорку противоречиво. Как и многие другие, он считал его одновременно пленительным и отталкивающим. В сентябре 1924 года он все еще мог написать об очертаниях Манхэттена: «Если бы я только мог описать все волшебство этой картины!»

Однако после этого его неприязненные замечания участились. Он жаловался на «грубую враждебность чужаков», «отвратительный космополитизм», «напасть чужеземцев», «пошлый торгашеский дух и плебейскую суету Нью-Йорка» и

«носящийся человеческий сброд в подземке». Колкости и ругательства в адрес иностранцев и национальных меньшинств в общем и евреев в частности становились все обильнее.

В одной из своих экспедиций Лавкрафт наткнулся в Бруклине на квартал ортодоксальных евреев на Ривингтон-стрит: «Это место было полным откровением, ибо на него не походили ни одни из трущоб, виденных мною прежде. Здесь живут евреи разных сортов в совершенно не ассимилировавшемся состоянии, со своими потомственными бородами, ермолками и традиционными костюмами – которые придают им весьма живописный вид, совсем не такой оскорбительный, как у крикливых, напористых евреев, предпочитающих чистое бритье и американскую одежду»[314].

Стараясь объяснить, почему он считает этих людей менее отвратительными, нежели ассимилировавшихся представителей, Лавкрафт излагал ложную теорию, популярную тогда среди англо-американских неевреев. Теория заключалась в том, что большинство евреев русского и польского происхождения были не «настоящими» евреями, а потомками хазар, татарской нации, некогда имевшей царство на юго-востоке России, между Волгой и Днепром. В седьмом веке хазарский каган и большинство его подданных приняли иудаизм. Основанное на торговле, их царство было сравнительно просвещенным. По сути, хазары стали слишком цивилизованными, чтобы это принесло им пользу, ибо в десятом веке более отсталые русские уничтожили их государство.

В двадцатых годах лишь немногие англо-американцы видели татар, и поэтому их легко представляли как отвратительный народ. Англо-американские неевреи рассудили, что, коли евреи неприятны, то «татарские евреи», как их называли, должны быть еще хуже. На этих «азиатских татаро-монголоидов»[315] возлагалась вина за большевистскую революцию и другие печальные события. Предрекалось, что когда в России будет свергнута власть «татарских евреев», русские установят умеренный демократический строй.

В действительности же после хазар осталась лишь небольшая народность – крымчаки, сочетающие иудаизм с монголоидной расой и тюркско-татарским языком. Они проживают в Крыму, если война и сталинские депортации не выселили или не уничтожили их совсем, и они мало смешались, если смешались вообще, с другими русскими евреями.

Возрастающая враждебность Лавкрафта к Нью-Йорку была отнюдь не исключительной. Непригодность Нью-Йорка для постоянного проживании была американским клише по крайней мере на протяжении века. Когда вымышленный Джордж Эпли

Маркуонда отправляется туда примерно в 1909 году, он пишет своей жене: «Хотя мы и являемся американцами, мы все выглядим словно чужеземцы в иностранном городе. Я и думать не хочу, что он определяет образ будущего. Если это так, то, я считаю, весь мир сходит с ума, и мы приближаемся к концу эпохи»[316].

С июля 1924 года у Лавкрафтов начались трудности. Сначала обанкротился магазин шляпок Сони. Примерно в то же время она лишилась своих сбережений из-за краха банка, так что ко времени, когда она расплатилась с долгами, у нее оставалось всего лишь несколько сотен долларов[317]. Упорная женщина быстро нашла временную работу, но в сентябре ей пришлось продать свое пианино. Его купил за 350 долларов преподобный Джордж Т. Бейкер из церкви Святого Гавриила.

Двадцатого октября Соне весь день нездоровилось, и вечером, когда она уже легла, у нее начались «внезапные желудочные спазмы». Лавкрафт отвез ее в больницу, а на следующий день принес ее вещи. Он ежедневно навещал Соню в течение всех десяти дней ее пребывания там, читая ей вслух и играя с ней в шахматы. Соня была заядлой шахматисткой и, как правило, выигрывала у мужа, который мало интересовался этой игрой. Во время ее болезни Лавкрафт написал «Дом, который все избегали».

Тридцатого октября Соня вернулась домой. Ей поставили диагноз «нервное расстройство». Это вполне понятно в свете того, что, несмотря на деловые и финансовые напасти, она пыталась не только продолжать работать в режиме полного рабочего дня, но и одновременно вести хозяйство, содержать и баловать своего одаренного, но нетрудоспособного мужа.

Для поправки здоровья Соне устроили проживание на ферме одной семьи, по фамилии Крейг, близ Сомервилла, штат Нью-Джерси. Лавкрафт навестил ее 10 ноября и продолжил поездку поездом до Филадельфии. Он остановился в гостинице Молодежной христианской организации и провел два восторженных дня в исследованиях старины. «Филадельфия просто чудесна! Я очарован выше всяких слов!» – писал он.

Поскольку Лавкрафтам не представлялось возможным содержать квартиру на Парксайд-авеню, 259 и дальше, они решили переехать. Было неясно, где они будут жить и даже будут ли они продолжать жить вместе. Соня, которая могла взяться за что угодно, обдумывала получение «пригодного жилища в обмен на мелкие услуги».

Пока Соня отсутствовала, Лавкрафт начал учиться вести хозяйство своими силами. До сих пор у него всегда была женщина, делавшая это для него. В те дни в американских семьях все еще широко соблюдалось строгое разделение труда по

половому признаку, хотя разграничение уже начинало стираться. Обыкновенному американскому мужчине пришлось преодолевать отнюдь не малый психологический дискомфорт, чтобы заставить себя заниматься такой «женской работой», как готовка, уборка, мытье посуды и застилание постели. Муж, помогающий мыть посуду, был распространенным предметом шуток в карикатурах.

Что бы ни происходило в душе Лавкрафта в этот период неудач, он производил впечатление человека, относящегося к краху своего дома фаталистически. Подобно своим собственным бессильным героям-повествователям, он беспомощно взирал на приближение рока. Он писал о «надвигающемся конце этого дома в лабиринте бедности и неопределенности» и «давайте есть, пить и радоваться… Ибо завтра мы распадемся на атомы!». Он вздыхал: «…В моем возрасте [тридцать четыре года!] у человека очень мало интересов, и все они связаны с прошлым – либо собственным прошлым, либо прошлым своей расы и цивилизации»[318].

Энни Гэмвелл навестила Лавкрафтов в августе. Позже, узнав об их предстоящем переезде, в декабре в Бруклин приехала Лилиан Кларк и помогала им в поисках жилья.

Тем временем Соне предложили работу в универмаге в Цинциннати. Лавкрафт считал, что если уезжать из Нью-Йорка, то Провиденс был бы предпочтительней. Но Соня прагматично указала, что для того, чтобы жить, один из них должен иметь работу, а единственной работой в обозримом будущем была эта в Цинциннати: «Я хотела, чтобы Говард поселился со мной там, но он сказал, что возненавидит жизнь в городе на Среднем Западе и что предпочтет остаться в Нью-Йорке, где у него, по крайней мере, есть друзья. Я предложила, чтобы один из них приехал пожить с ним в нашей квартире, но его тетки считали, что для меня благоразумнее будет отдать на хранение и продать мою обстановку и найти какую-нибудь студию, достаточно большую, чтобы Говард мог поставить там старую (часть которой уже разваливалась) мебель, что он привез из Провиденса…»

«Он ценил эту старую мебель из своего дома в Род-Айленде, очень ценил. Поскольку достаточной по размерам комнаты для моей современной мебели и его старой… за которую он цеплялся с нездоровым упорством, не было, чтобы порадовать его, я рассталась с некоторыми своими весьма дорогими предметами обстановки. Я продала их за гроши, чтобы он мог окружить себя атмосферой своего дома, насколько это только было возможно»[319].

Соня выказывала чувство понятной горечи, как из-за потери своей мебели, так и из-за готовности Лавкрафта позволить теткам

думать за него. Даже Лилиан Кларк, кажется, считала, что он доводит свой фетишизм к фамильным ценностям до крайности. В следующем году, когда Лавкрафт был в отчаянии, он писал ей, оправдывая свою одержимость: «Да, на бумаге легко говорить, что „собственность – это бремя“, и что мудрее всего ничего не иметь, а просто жить в чемодане или сундуке… и так далее… В самом деле, превосходная теория! Но в действительности все зависит от личности. Основа жизни для каждого индивидуума различна… То есть для каждого индивидуума существует некоторая вещь или группа вещей, которые образуют фокус всех его интересов и центр всех его чувств и без которых простой процесс выживания не только ничего не значит, но зачастую оказывается невыносимым бременем страданий. Те, для кого старинные ассоциации и пожитки не являются этим единственным интересом и жизненной необходимостью, могут сколько угодно читать нотации о глупости „рабства имуществу“ – при условии, что они не будут пытаться навязать свои взгляды другим. Они счастливцы – судьба была благосклонна к ним! Но другим, устроенным так, что они нуждаются в осязаемых связях со своими истоками, проповедовать подобные идеалы и гипотезы бесполезно. Природа предопределила для их нервной системы другие нужды, и советовать им сжечь свои вещи ради свободы так же глупо, как советовать им отрезать свои ноги, дабы избавиться от бремени покупки брюк. Так уж получилось, что я не способен находить удовольствие или интерес в чем бы то ни было за исключением мысленного воссоздания былых и лучших дней – ибо, по правде говоря, я не верю в вероятность встречи с действительно близкой мне средой или проживания вновь среди культурных людей с историческими воспоминаниями старых янки – так что, чтобы избежать этого безумия, ведущего к насилию и самоубийству, я должен цепляться за какие-то частицы старых дней и старых манер, что мне достались. Поэтому не следует ожидать от меня, что я избавлюсь от громоздкой мебели, рисунков, часов и книг, которые помогают сохранить дом номер 454 [по Энджелл-стрит] в моих снах. Пока они в порядке, я буду в порядке, ибо они – то единственное, что дает мне возможность открывать по утрам глаза или предвкушать еще один день в сознании без криков полного отчаяния и битья о стены и пол с неистовыми воплями, дабы проснуться от кошмара „реальности“ в моей собственной комнате в Провиденсе. Да – подобная чувствительность характера весьма стесняет, когда нет денег, – но критиковать таких легче, нежели излечивать. Когда несчастный глупец, обладающий такой чувствительностью, позволяет себя выслать и загнать в тупик из-за временно ложной перспективы и

незнания мира, единственное, что можно поделать, это дать ему цепляться за его жалкие обрывки столько, сколько он сможет удержать их. Для него они – жизнь»[320].

Судя по этому неистовому письму, Лавкрафт не только застрял в развитии на стадии плюшевого мишки, но и не имел ни малейшего намерения оставлять ее. Когда он сталкивался с какой-либо трудностью, он обычно, вместо того чтобы решительно взяться за ее преодоление, оправдывался тем, что он личность особенная – «пожилой любитель старины» или человек с «чувствительным характером», – и потому совершенно не способен с ней справиться. Эта склонность – уходить от проблем эгоцентричным рационалистическим обоснованием и проявлением жалости к себе – была такой же частью его природы, как и его карие глаза.

Когда Лавкрафт говорил о «загоне в тупик из-за временно ложной перспективы», он явно имел в виду идею Сони о супружеской жизни в Нью-Йорке. Но настоящим автором этих ложных перспектив и незнания мира – если только можно возложить вину на какую-то личность – была не Соня, а его мать.

После некоторых поисков Лавкрафты нашли большую студию, которая понравилась Лавкрафту, в Бруклине на Клинтон-стрит, 169, в нескольких кварталах от станции подземки «Боро-Холл». Им приходилось спать на диване, поскольку Лавкрафт не потерпел бы кровать в комнате, в которой работал. Лилиан Кларк проживала в другой комнате в том же доме, пока не вернулась в Провиденс.

Затем, в последний день 1924 года, Соня уехала в Цинциннати.

Глава двенадцатая. Гуннар в яме со змеями

Я был знаком со старым этим градом;
Стан лепры, полукровки где поют
Чужим богам хвальбы и в гонги бьют
Под улицами в склепах с брегом рядом.
Развалины следили зло за мной,
С жильцами их, без трезвости следа,
Пока я шел по грязи чрез врата
Во двор, где человек бывал порой[321].

Г. Ф. Лавкрафт
«Внутренний двор»

Год с четвертью, последовавшие после отъезда Сони, были самым унылым периодом в жизни Лавкрафта. Его депрессия и мизантропия достигли почти самоубийственного уровня, в то время как своим поведением он показывал себя с наихудшей стороны. Приступы бездействия и недоступности, а также склонность растрачивать по мелочам время и способности достигли пика. Его фобии, предубеждения и тоска по родине были просто маниакальными.

Вопреки всему Лавкрафт сохранял внешний вид сдержанного, приличествующего джентльмену самообладания, вводивший в заблуждение его друзей. Фрэнк Лонг, знавшийся с ним в то время более всех, говорил мне, что он не замечал за ним никаких невротичных или психотических симптомов. Лавкрафт всегда был самим собой. В самом угнетенном состоянии он прибегал к своей объективной материалистической философии, согласно которой в космических масштабах ничто в действительности не имеет значения. Однажды, когда он вместе с Сэмом Лавмэном ехал в подземке и какая-то девушка засмотрелась на него, он сказал

Лавмэну: «Мое единственное желание – оставаться незаметным, не привлекать внимания. Если бы я мог стать невидимым, я бы с радостью сделал это. Я избегаю банального большинства людей и впитал многое из философии старого доброго епископа Беркли, отрицавшего существование материи и даже действительность самой жизни. Для меня ничего в действительности не существует. Сны предоставляют мне разрешение той фантастической неопределенности, которую мы предпочитаем называть жизнью… Ты, Сэмюэлий, приписываешь людям слишком большое значение и важность, и из-за этого-то ты и страдаешь. Стань безличным и непроницаемым для толпы. Отвергни контакт не только с ними, но и с их существованием. Книги и старые колониальные дома надежнее всего, они хорошо хранят свои мрачные и непостижимые тайны. Не доверяй ничему, кроме прошлого или старины».

Мне сказали, что встречать тревожные события с кажущейся беспристрастной отстраненностью – характерная черта шизоидной личности. Чтобы понять сокровенные чувства Лавкрафта за его внешностью высокомерного безразличия, нужно обратиться к его письмам тетушкам.

Работа Сони в Цинциннати не принесла ничего хорошего. Согласно ей, другие служащие обиделись на наем чужака и ополчились на нее. Через несколько недель у нее сдали нервы, и она легла в частную больницу доктора Бейера. Там она отдохнула и вновь принялась за работу, но вскоре опять оказалась в больнице. На этот раз, в середине февраля 1925 года она сдалась и вернулась в Бруклин.

Выдержав месяц временной работы по дизайну шляпок, Соня уехала в Саратогу-Спрингс для продолжительного отдыха. Она остановилась в доме женщины-врача и работала гувернанткой ее дочери.

В начале июня Соня снова вернулась в Бруклин. Ей тоже начала не нравиться жизнь в Нью-Йорке. Лавкрафт писал: «Суматоха и толпы Нью-Йорка угнетают ее, как когда-то это начиналось и со мной, и со временем мы надеемся покинуть этот Вавилон навсегда. После того как прошла новизна музеев, силуэтов на фоне неба и ярких архитектурных впечатлений, я нахожу его скучным и надеюсь вернуться в Новую Англию до конца жизни – сначала в район Бостона, а потом в Провиденс, если я когда – либо заработаю денег, чтобы жить там, как подобает члену моей семьи»[322].

Никто не мог долго сдерживать Соню, и к середине июля у нее в перспективе была другая работа. Но увы тоске Лавкрафта по

«стране янки»! Работа была в магазине в Кливленде, куда она отъехала двадцатого августа. Лавкрафт вновь отказался ехать с ней в унылую пустыню Огайо.

Весь этот год Лавкрафт провел в своей индивидуалистической манере. Без Сони рядом – за исключением кратких визитов каждые две недели или около того, – закармливавшей его искусно приготовленной едой, он заморил себя до своей прежней худобы. К июню он ликующе провозгласил, что похудел до ста сорока шести фунтов[323].

Его ежедневный обед состоял из четверти буханки хлеба, четверти банки консервированной вареной фасоли (съедавшейся холодной) и большого куска сыра. Стоимость – восемь центов. Кошмар гурмана, но в остальном вполне достаточно для поддержания жизни. Когда тетушки беспокоились о его недоедании, он уверял их, что при аскетической диете и длительных прогулках его здоровье превосходно. И таким его физическое здоровье, судя по всему, было на протяжении всего 1925 года.

Лавкрафт часто ходил в рестораны, куда его приглашали члены «банды». Он любил итальянскую еду, но объяснял это предпочтение необычным образом: итальянские владельцы ресторанов добры к своим кошкам. Он также позволил друзьям познакомить его с испанскими и арабскими ресторанами. Он с гордостью сообщал, что живет на пять долларов в неделю, из которых пятнадцать центов ежедневно уходят на еду.

Перед своим отъездом в Цинциннати в последний день 1924 года Соня пошла с Лавкрафтом в магазин одежды. Она купила ему новый костюм, пальто, шляпу и перчатки. Ее раздражал его древний кошелек для мелочи, и она купила ему еще и бумажник.

Поначалу Лавкрафт сомневался. Глядя на себя в зеркало, он сказал: «Но, моя дорогая, это чересчур уж стильно для дедули Теобальда, это как будто и не я. Я выгляжу как модный хлыщ!»[324]

Рядом с его студией на Клинтон-стрит, 169 сняли комнату воры. В воскресенье 24 мая, пока Лавкрафт спал весь день, они взломали замок в двери между соседней комнатой и нишей, служившей платяным шкафом. Они украли новый летний костюм, который ему купила Соня, и оба его старых зимних костюма. Также они унесли его новое пальто, плетеный чемодан Сони и радиоприемник, который он хранил для Лавмэна. У него остался старый костюм, два старых пальто (легкое и теплое), пиджак без пары и брюки в последней стадии изношенности.

Лавкрафт был просто уничтожен, а затем взбешен, в

особенности из-за того, что только расплатился за подгонку костюма к своей вновь обретенной тощей фигуре.

Соня рассказывала: «Я вправду думаю, что он был рад, когда позже украли его новые костюм и пальто, ведь у него оставались старые». Но из-за множества гневных пассажей в его письмах я не верю в это. Десять месяцев спустя, когда Лавкрафт уже купил кое-какую новую одежду, он все еще кипел от злости из-за кражи: «И если какой-нибудь… вор прикоснется к этой одежде, что ж, клянусь…, я размажу его… по нему одним кулаком и сотру его… другим, одновременно пиная его сзади обеими ногами в самых остроносых туфлях и самым жестоким образом!»[325]

Другое письмо, его тете Лилиан, показывает, что он был отнюдь не равнодушен к одежде: «Думаю, я научился определять разницу между той одеждой, что джентльмен носит, и той, что не носит. Это чувство было отточено постоянным лицезрением того мерзкого грязного сброда, коим кишат улицы Нью-Йорка и чья одежда представляет такие систематические отличия от нормальной одежды настоящих людей с Энджелл-стрит и в трамваях на Батлер-авеню или Элмгроув-авеню, что глаз начинает ужасно тосковать по родине и жадно хвататься за любого джентльмена, одежда которого прилична, подобрана со вкусом и скорее наводит на мысль о бульваре Блэкстоун, нежели о Боро-Холл или „Адской кухне“. Белнап одевается правильно, так же как и Кирк, Лавмэн обычно тоже, но его вкус не безупречен. А вот Мортон, Кляйнер, Лидс и Макнейл откровенно невыносимы. И вот, тоскуя о виде Свон-Пойнта, всегда аккуратного в отношении правильных людей, я решил одеваться как Батлер-авеню или же не одеваться совсем. К черту, я буду либо придерживаться добропорядочного провиденсского вкуса, либо носить проклятый купальный халат! Определенный фасон лацканов, ткань и подгонка говорят сами за себя. Мне забавно смотреть, как некоторые из этих вульгарных молодых олухов и иностранцев тратят состояния на различные виды дорогой одежды, которую они расценивают как свидетельство похвального вкуса, но которая в действительности является их полным социальным и эстетическим проклятием – она не намного отличается от плакатов, кричащих жирными буквами: „Я – безграмотный крестьянин“, „Я – крыса – полукровка из трущоб“ или „Я – безвкусная и наивная деревенщина“… Уж лучше носить изношенные и изорванные лохмотья со вкусом, чем щеголять в новейшем и моднейшем костюме, покрой и ткань которого несут несмываемое клеймо плебейства и упадничества»[326].

Помимо снобизма и провинциальности, это письмо демонстрирует живой интерес к внешнему виду. Даже если

Лавкрафт предпочел бы носить старую одежду в хорошем вкусе, нежели новую в плохом, он все равно хотел быть «модным хлыщом» – по-консервативному, – имей он возможность себе это позволить.

Если после утраты Лавкрафт и притворялся необеспокоенным, то он лишь ставил нужду себе в заслугу. И в этом не было ничего исключительного. Большинство людей, обнаружив, что они мало могут изменить себя и свою обстановку, изо всех сил принижают свои недостатки заявлениями, что то, кем они являются и чем они владеют, хорошо. Если кто-то смышлен, то интеллект есть величайшая добродетель, если же у него могучие мускулы, то их сила важнее мозгов. Если у кого-то выдающиеся предки, то знаменитая родословная – самое главное, а если он поднялся из неизвестности, то восторгаться нужно тем, кто сделал себя сам.

Если в ком-то энергия бьет через край, то его идеал – резвость и сила, ну а если кто-то, подобно Лавкрафту, инертен и нетороплив, то праздность – это то, что приличествует джентльмену. И если кто-то «старый американец», то «старые американцы» – соль земли. Члены других групп поступают так же: «Мы – избранный Богом народ». «Черные – великолепны». Все это – рационалистическое обоснование собственных интересов.

Лавкрафт не остался без одежды. 1 июля 1925 года Соня уже вернулась из Саратоги, но еще не уехала в Кливленд. Обедая в ресторане, Лавкрафты увидели на другой стороне улицы витрину с одеждой. После обеда Соня купила Лавкрафту за двадцать пять долларов новый летний костюм, который привел его в восторг.

Когда в октябре похолодало, Лавкрафт отправился самостоятельно подыскивать себе новый зимний костюм. Проявив неожиданное умение торговаться, он приобрел темно-серый костюм с двумя пуговицами, выставленный за тридцать четыре с половиной доллара, за двадцать пять. Он волновался и раздражался из-за того, что это был костюм «презренного и новомодного типа с двумя пуговицами», а не с тремя, как он привык, на котором верхняя пуговица не застегивалась и скрывалась лацканом. Он был уверен, что будет ощущать неудобство от нехватки этой невидимой пуговицы. Однако, узнав, что в том году производились костюмы только с двумя пуговицами, он на этот раз позволил возобладать здравому смыслу.

Все еще не полностью экипированный, на следующей неделе Лавкрафт отправился за костюмом подешевле для повседневной носки. Посетив множество магазинов в Бруклине, он пошел в

квартал дешевой одежды в районе 14–й улицы и 7–й авеню в Манхэттене. Здесь он обнаружил «…неописуемые отбросы, затаскивающие в дыры в стене, где напыщенные чудовища воют о невозможности продавать ниже цен в $4,95, $6,50, $10,00… $18,00… Жирные крысомордые паразиты насмехаются, когда кто-то у них не покупает, и выражают злобу на диалектах столь милосердно исковерканных, что белые люди их не понимают… Безумие в тканях, развешанных фантастическим образом…»[327].

Наконец он купил в магазине уцененных товаров приличный коричневый костюм с добавочными брюками за одиннадцать долларов девяносто пять центов. Артур Лидс научил его множеству уловок, вроде посещения распродаж или покупки соломенной шляпы в конце сезона, чтобы жить практически ни на что.

Лавкрафт с радостью обнаружил, что домовладелица дома 169 по Клинтон-стрит, миссис Берне, была англичанкой. Но он был менее рад узнать, что она следует английской традиции недогревать дома. Также она имела обыкновение отключать нагреватель воды в часы, когда лишь немногие могли принимать ванну или бриться. Когда же Лавкрафт купил электрообогреватель, она запретила использовать его из-за счетов на электричество.

Так что дрожащий Лавкрафт взялся за приобретение керосинового обогревателя. По той деятельности, какую он развил при выборе, покупке и установке этого агрегата, можно было бы подумать, что он запускает космический корабль. Поскольку Лавкрафт обзавелся обогревателем, то теперь он мог, по крайней мере, разогревать свою консервированную фасоль, тушенку и спагетти. Он мог также подогревать воду для бритья в неурочные часы.

Осенью в платяной нише Лавкрафта вышло из строя освещение. Сам он не мог справиться с этой проблемой, а миссис Бёрнс лишь обещала починить, но так и не сделала этого. В конце концов Соня, во время одного из своих приездов в Нью-Йорк в следующем январе, вызвала электрика, который и восстановил освещение.

С апреля по июль Лавкрафта беспокоили мыши. Он поставил мышеловки и поймал несколько. Поймав мышь, он выбрасывал ее вместе с мышеловкой: «Со времени моего последнего письма я поймал еще двух захватчиков и каждый раз избавлялся от них вместе с мышеловками. Мышеловки стоят всего лишь пять центов за пару, так что не стоит обременять себя отталкивающими подробностями, когда можно избежать их по два с половиной цента за одно переживание!»[328]

Избавляться от мышеловок, чтобы не прикасаться к крошечным трупикам, было привилегией Лавкрафта – даже если, при его-то жизненном уровне, она и исчислялась пятицентовиками. Однако его оправдание не очень-то созвучно с «пьющим кровь врагов из свежесобранных черепов». Впрочем, через несколько лет он признался: «…я вовсе не притворяюсь, что хоть как-то соответствую тому типу, которым восхищаюсь… Вы совершенно правы, говоря, что именно слабые склонны преклоняться перед сильными. Это в точности мой случай… Без всяких сомнений, я даю подчеркнуто высокую эмоциональную оценку тем качествам, которыми обладаю менее всего…»[329]

Лавкрафт прожил на Клинтон-стрит совсем недолго, когда со смешанным чувством ужаса и очарования обнаружил, что среди его соседей по дому есть выходцы с Востока. Более деятельный писатель приложил бы все усилия для знакомства с этими людьми, дабы узнать об их диковинных мыслях и особенностях. Лавкрафт же предпочел скромно держаться в стороне и забавляться фантазиями, в которых они играли ужасные роли, характерные для жителей Востока в беллетристике: «…как-то комнату рядом с моей занимал некий сириец, и он наигрывал на странной волынке жуткие и завывающие монотонные мелодии, под которые я воображал мерзких и неописуемых тварей в склепах под Багдадом и в бесконечных коридорах Иблиса под залитыми лунным светом проклятыми руинами Истахра[330]. Я никогда не видел этого человека, и мое право представлять его в любой форме, какую я выбрал, придавало очарование его таинственным пневматическим какофониям. В моем воображении он всегда носил тюрбан и длинный халат из выцветшего узорчатого шелка, и у него не было правого глаза… потому что он взглянул им на что-то такое в гробнице, что ни один глаз не может увидеть и остаться после этого целым. По правде говоря, я никогда не видел в реальности большинство своих соседей. Я лишь с омерзением слышал их – только иногда видел мельком в коридоре лица с печатью ужасного упадка. Подо мной жил старый турок, который обычно получал письма со странными марками Леванта. Александр Д. Мессае – Мессае – что за имя, прямо из „Тысячи и одной ночи“!»[331]

Лавкрафт продолжал свои антикварные прогулки. Он исследовал парки и часто посещал музеи. Он часто наведывался и в книжные магазины, выискивая издания по сниженным ценам – как-то ему посчастливилось купить однотомник Булвера-Литтона за десять центов.

24 января 1925 года Лавкрафт вместе с Мортоном, Лидсом, Кирком и Эрнстом Денчем из клуба «Синий карандаш»

отправились в Йонкерс, чтобы понаблюдать полное солнечное затмение, начинавшееся в 9:12 утра. Они прекрасно разглядели корону, но Лавкрафт чуть не замерз до смерти. «Боже! – писал он. – Я никогда не забуду ту экспедицию ради затмения… К тому времени, когда я доковылял обратно, я был совершенно обессилен до самого конца зимы…»

Где-то в марте Лавкрафт и некоторые его друзья заглянули в книжный магазин «Капитолий» на Бродвее, и там некий чернокожий, подписывавшийся просто «Перри», вырезал их силуэты. Лавкрафт, чей силуэт представлен в этой книге, похвалил его искусство, но вознаградил художника одной из своих расистских колкостей: «…Определенно искусно для работы жирного негритоса!»

Он начал исследования вдали от дома. В апреле он и Кирк поехали на экскурсию в Вашингтон, где работал гидом один из корреспондентов Лавкрафта – Эдвард Ллойд Секрайст, антрополог из Смитсоновского института. Их довезла на автомобиле Энн Тиллери Реншоу, одна из клиенток Лавкрафта по «призрачному авторству», управлявшая Школой речи Реншоу.

Они осмотрели обычные достопримечательности: Белый дом, Капитолий, мемориал Джорджа Вашингтона, Маунт-Вернон, здание суда Ферфакса, Арлингтонское национальное кладбище и остальные. Лавкрафт с удовольствием обнаружил, что люди там выглядели менее «омерзительными и нечистокровными»[332], нежели в Нью-Йорке. Он так увлекся местным многообразием колониальной архитектуры, что едва не опоздал на поезд домой.

В июле Лавкрафт следил за газетными репортажами о знаменитом «Обезьяньем процессе» – судом над Скопсом, преподававшем теорию эволюции, в Дейтоне, штат Теннесси. Уильям Дженнингс Брайан[333], выступавший добровольным обвинителем в этом деле, умер через несколько дней после процесса. Несмотря на огромные разногласия между своими взглядами и Брайана, Лавкрафт сочувствовал Брайану, который, как и он сам, родился в неподходящее время: «Несчастная душа! У него были благие намерения, равно как и велико было его невежество. И я нисколько не сомневаюсь, что его тревога о развитии человеческой мысли была глубокой, альтруистической и неподдельно неистовой страстью. Его ограниченный маленький разум зачерствел в определенном устарелом типе психологии американских пионеров и не смог вынести напряжения национального культурного развития. Жизнь, должно быть, была для него адом, когда все ценности его искусственной жизни раскалывались одна за другой под давлением времени и научных открытий – он был человеком без мира, в котором мог бы жить, и

напряжение оказалось слишком большим для смертного тела. Теперь он покоится в вечном забвении, которое он отрицал бы первым и громче всех. Requiescat in pace!»[334]

Девятого сентября на два доллара, высланные ему Лилиан Кларк, Лавкрафт с Лавмэном и Лонгами совершил водное путешествие вверх по Гудзону до Ньюберга, штат Нью-Йорк. В том же месяце он отправился в поход по парку «Пэлисейдс» с туристическим клубом Мортона «Бродяги». Он с изумлением отметил, что в то время как он шел в своей обычной второсортной одежде, «Бродяги» были экипированы в духе Великих Северных лесов – в бриджах, туристских ботинках и с брезентовыми рюкзаками.

В другой раз одна из его тетушек оплатила его прогулку на пароходе по Гудзону до Олбани. Иногда ему приходилось отказываться от приглашений посетить своих иногородних друзей вроде Мортона в Нью-Джерси из-за нехватки всего лишь нескольких пятицентовиков для оплаты проезда.

На следующий день после путешествия в Ньюберг Артур Лидс сводил Лавкрафта на показ немого немецкого фильма «Зигфрид» под аккомпанемент музыки Вагнера. Стойкий нордизм фильма восхитил Лавкрафта: «Что касается фильма – это были восторг и наслаждение, запомнившиеся навеки! Это была сама сокровенная душа бессмертного и непобедимого белокурого северянина, воплощенная в сияющем воине света, великом Зигфриде, убийце чудовищ и поработителе королей… Музыка тоже была неописуемого вдохновения. Невосприимчивый к музыке в общем, я не могу не тронуться волшебством Вагнера, чей гений ухватил глубочайшую суть тех наследственных желтобородых богов войны и власти, пред коими моя душа склоняется как ни перед кем другим – Вотана, Тора, Фрейра и огромного Альфёдра, – холодных голубоглазых гигантов, достойных поклонения народа – победителя!»[335]

Лавкрафт посещал собрания Клуба Кэлем и «Синего Карандаша». Одним из неформальных членов Клуба Кэлем был актер, «изысканный Уилер Драйден». Драйден был одним из двух английских единокровных братьев Чарли Чаплина и, по словам Лавкрафта, «славным парнем, хотя и тем еще олухом». Они спорили о религии – Драйден защищал Бога от нападок Лавкрафта. Лишенный почвы под ногами, бедный Драйден вынужден был прохныкать: «Но послушай, знаешь ли, я не утверждаю, что Бог – это милый почтенный джентльмен с длинной бородой!»[336]

Теперь Лавкрафт начал понимать один из рисков

писательской жизни. Я уже упоминал, что писатели, живущие вне Нью-Йорка и артистических мест вроде Таоса и Кармела, склонны жить уединенно и отшельнически, потому что у них весьма мало коллег, с которыми они могут поговорить на профессиональные темы.

С другой стороны, в Нью-Йорке или в колонии художников все-таки слишком много коллег для общения. К тому же есть прилипалы, которые при малейшем потворстве будут наведываться в дом писателя, пить его пиво, рассказывать о своей жизни, разглагольствовать о великих творениях, которые они однажды создадут, – в общем, тратить его время. Для работающих не по найму людей и ученых время является самым драгоценным, что у них есть.

Лавкрафт пытался избежать этих трудностей. Кирк (какое-то время тоже живший на Клинтон-стрит, 169) и Лавмэн всегда жаждали «пустого безделья в книжных лавках или кафетериях днем» или долгих разговоров по вечерам.

Лавкрафт прибегал к уловкам «для избавления от ежедневных визитов и бездельничанья в кафетериях». Он притворялся отсутствующим – вплоть до чтения в своей платяной нише с задернутыми шторами, чтобы из-под двери не пробивался свет. Он принимал друзей в купальном халате и тапочках, сконфуженно объясняя, что как раз собирается лечь спать. Он был вежливо неразговорчив, пока они не прекращали своих попыток вызвать его на интересную беседу. Он отмечал прогресс: «В этом призвании мои вечера принадлежат лишь мне – читая что-либо или делая то, что мне нравится, я достигаю чувства уравновешенности, свободы и вновь обретаю индивидуальность, которой мне долго недоставало. Меня приглашали провести вечер с „бандой“ в трущобах на 4–й авеню и Даунинг-стрит, и пару месяцев назад я чувствовал бы себя обязанным из вежливости согласиться. Теперь же я строго и безжалостно сам себе хозяин и вежливо отклонил исполненное благих намерений приглашение, заявив, что мои личные дела могут сделать невозможным мое участие, хотя мне и очень жаль, и так далее».

Он отказался от приглашения Лавмэна снова съездить в Вашингтон, как бы ни хотел «увидеть город настоящих белых людей»[337], потому что, позволь он Лавмэну оплатить его проезд (ему самому это было не по средствам), то не смог бы затем с приличием избегать постоянного общества Лавмэна.

Он решил сократить не только свое общение, но также и переписку: «…Думаю, я не буду ложиться сегодня ночью, чтобы наверстать время, потерянное в прелестях общения… Возможно, мне придется пренебречь перепиской и позволить письмам

немного накопиться – но теперь это не принесет вреда…»

«Надеюсь вскоре написать еще несколько рассказов – но я должен избавиться от своего излишнего любительского увлечения письмами. Любое бремя или обязанность пагубно влияют на творческое воображение…»

«Чтобы сохранять равновесие для сочинительства, я должен поддерживать свой распорядок более независимым от внешних событий, но учтивость вынуждает меня подчиняться многим общественным требованиям, пока я не смогу разработать дипломатических средств для их сокращения».

«Тяжело сохранять свое время для себя самого! Только что позвонил Кирк и приглашал меня на субботний вечер так настойчиво, что я не смог найти хоть какой-то повод для вежливого отказа!»[338]

Пытаясь отстраниться от своих друзей, Лавкрафт испытывал немалые трудности. Его обыкновение спать, пока другие работают, и работать во время отдыха других делало его легким объектом для помех. Его личное обаяние продолжало привлекать посетителей, поскольку они находили его общество восхитительным, а его кодекс «вежливость-любой-ценой» удерживал его от отражения их наступлений. Наконец одинокий, изолированный человек впервые оказался в центре круга близких по духу, преданных и восхищенных друзей, лестью которых он любил наслаждаться.

То же самое было и с его обширной перепиской. Пол Кук рассказывал, что «часто указывал ему, что это может приносить только вред его литературной работе. Он же признавал этот факт и намеревался прекратить переписку с различными корреспондентами или, по крайней мере, сократить свои письма. Но случайное замечание в письме приводило в движение целый караван мыслей, и в результате выходила порядочная рукопись… Все, кто состоял с ним в переписке, как и я сам, наслаждались его письмами, но некоторые из нас стонали, видя, как этот человек расходует свою энергию, и он тратил ее слишком много на эти личные письма, которые, в конце концов, значили совсем немного, в то время как ему следовало бы работать над таким творческим сочинительством, которое обеспечило бы ему место, что он заслуживал в литературе».

Лавкрафт так и не сократил числа еженедельных писем Лилиан Кларк, порой занимавших более сорока страниц. В конце 1925 года он также громогласно, как и всегда, жаловался на неумеренную корреспонденцию.

После отъезда Сони Лавкрафт настойчиво продолжал поиски

работы, но уже меньше и не систематично. В конце концов, он ведь перепробовал все, что только приходило ему в голову, и тщетно.

В мае 1925 года Артур Лидс и его коллега по фамилии Йесли разрабатывали проект из коротких отраслевых статей по торговле, и некоторые из них – в основном о недвижимости – было поручено написать Лавкрафту. Он написал шесть статей, и по крайней мере одна, за которую он должен был получить три с половиной доллара, была опубликована. Но затем проект заглох.

Лавкрафт безрезультатно ответил по крайней мере на два объявления в «Нью-Йорк Тайме» о коммерческих писателях. Время от времени он зарабатывал несколько долларов, выполняя конторскую работу для своих друзей, вроде печатания или надписывания адресов на конвертах для книжного каталога Кирка. Он преодолел свое презрение к длительному печатанию и перепечатал несколько своих старых рассказов для «Виэрд Тэйлз». Некоторые, например «Изгой» и «Страшный старик», он продал как раз в это время.

Рассказывая своей тетушке Лилиан о стараниях Лавмэна издать книгу стихов, он заявил: «Я слишком стар, циничен и устал от жизни, чтобы быть заинтересованным в книгах своего хлама – я не взялся бы за хлопоты печатания материала, пока не узнал бы, что это принесет финансовую отдачу». Это было всего лишь защитной реакцией. Есть все основания полагать, что профессионально изданная книга его рассказов – что часто обсуждалось, но так и не было сделано – доставила бы ему огромное удовольствие.

В декабре Лавкрафт получил предложение от одного британского литературного агентства работать их американским представителем. После обсуждения с друзьями и получения противоречивых советов, он отказался от предложения. Хотя я и сомневаюсь, что из него вышел бы хороший литературный агент, но он приобрел бы кое-какой опыт, а также необходимые связи в издательском мире.

Целый год у Мортона было предложение о работе, соблазнявшее Лавкрафта. Мортон обручился с дамой зрелого возраста, Перл К. Меррит. Нуждаясь в больших деньгах, он узнал, что в Патерсоне, штат Нью-Джерси, обдумывают создание городского музея. Мортон сразу же отправился в Нью-Джерси, прошел тест государственного служащего и получил должность хранителя музея. Он женился на мисс Меррит и переехал в Патерсон.

Музея еще не было. Библиотечное общество Патерсона приобрело старый дом с конюшней на условиях, позволявших

престарелому владельцу жить в доме до конца жизни. Тем временем коллекции, занимавшие целую комнату в библиотеке, пришлось хранить в отремонтированной конюшне. Со временем город надеялся построить подходящее здание.

Весной 1925 года Мортон решил, что ему понадобится помощник, и подумал о Лавкрафте. Тот оказался сговорчивым, будучи прирожденным хранителем музея, каких еще не бывало. Однако открытие этого учреждения ускорить было нельзя. Весь 1925 год Лавкрафт сообщал, что работа в музее так и остается нерешенным вопросом.

Поначалу Лавкрафт считал, что сможет полюбить Патерсон – город, богатый колониальной стариной. Но близкое знакомство с его прокопченными промышленными кварталами лишило его иллюзий, ибо у него вызывал отвращение уже один лишь вид ненавистных «чужаков». Он заявил, что «элемент итальянских и славянских полукровок обозначен физиономиями мерзкой черни». Он порицал жадных промышленников за «импортирование мрачных полчищ низших сирийцев, евреев, поляков и южных итальянцев, чьи притуплённые умы и надломанные души вынуждают их работать за нищенскую заработную плату, пока их не пробудят агитаторы»[339].

Идея музея медленно воплощалась в реальность. В апреле 1926 года, когда Лавкрафт вернулся в Провиденс, место помощника хранителя все еще можно было получить.

Останься он в Нью-Йорке подольше, работа, вероятно, досталась бы ему.

Мортон руководил своим музеем пятнадцать лет, собрав прекрасную коллекцию минералов. В 1941 году, когда ему было семьдесят лет, Мортоны купили в Нью-Хэмпшире дом, чтобы жить в нем на пенсии. После этого, 1 октября Мортона насмерть сбил автомобиль.

В марте 1926–го Лавкрафт все-таки получил временную работу за семнадцать с половиной долларов в неделю от нанимателей Лавмэна книготорговцев «Добер энд Пайн». Лавкрафт надписывал конверты, в которых должны были разослать десять тысяч каталогов. Работа продлилась около трех недель. Лавкрафт ее ненавидел, но, по крайней мере, уже нельзя было сказать, что он никогда не получал зарплаты.

Летом 1925 года Лавкрафт выдал три рассказа: «Кошмар в Ред-Хуке», «Он» и «В склепе». Они из разряда его средних произведений, и все так или иначе отражают самого Лавкрафта. Он написал «Кошмар в Ред-Хуке», объемом в семь тысяч пятьсот слов, в конце июля 1925 года.

В Род-айлендской деревне с «высоким, крепко сложенным и выглядящим здоровым пешеходом» случается нервный приступ: он с криками срывается с места, спотыкается и падает. Это Томас Ф. Мэлоун, детектив Нью-йоркского полицейского участка, находящийся на лечебном отдыхе после пережитого разрушения. Мэлоун – ирландского происхождения, выпускник Дублинского университета, а в свободное время поэт, с «присущим кельтам проникновенным видением таинственного и сокрытого, но и с острым глазом логика на внешне неубедительное…».

Лавкрафт достиг некоторого прогресса, с тех пор как отвергал всех ирландцев как неразумных фанатиков. И Томас Мэлоун не просто герой рассказа – он также один из очень немногих героических героев Лавкрафта.

Мэлоун назначен на работу в район Бруклина Ред-Хук, который Лавкрафт описывает по собственному знакомству. Согласно Соне, стимулом к написанию рассказа послужил гнев, который у него вызвало поведение компании хулиганов, вторгшихся в ресторан, где он как раз обедал:

«Ред-Хук – беспорядочное скопище разношерстной нищеты близ старинной береговой линии напротив Губернаторского острова, с грязными шоссе, взбирающимися от пристаней к возвышенности, где захудалые участки Клинтон-стрит и Корт-стрит уводят к Боро-Холлу… Население – безнадежная путаница и загадка: сирийские, испанские, итальянские и негритянские элементы сталкиваются друг с другом и с фрагментами скандинавских и американских зон, лежащих неподалеку. Это вавилонское столпотворение шума и грязи, отвечающее чуждыми криками на плеск маслянистых волн у прокопченных пристаней и чудовищные органные литании портовых гудков…»[340]

Толстый старый ученый Роберт Сайдем, одиноко живущий в полуразрушенном доме, становится центром культа зловещих узкоглазых выходцев с Востока. Мэлоун распознает в этих угрожающих азиатах курдских езидов, или дьяволопоклонников, нелегально проникнувших в страну.

(Настоящие курды, потомки древних мидян, – крупные, здоровые европеоиды, в то время как езиды – миролюбивая, благонравная секта, вопреки своей специфической теологии. Но Лавкрафт никогда не видел курдов, и в 1925 году любой писатель все еще мог извлекать выгоду из зловещей идеи «дьяволопоклонства».)

Сайдем женится на девушке из хорошей семьи и отправляется в свадебное путешествие на корабле компании «Кьюнард». Его и его невесту загадочным образом убивают. На корабль с грузового судна высаживается банда «смуглых наглых головорезов», и им

необъяснимым образом позволяют забрать труп Сайдема.

Слухи о многочисленной демонической церемонии с человеческим жертвоприношением вынуждают полицию совершить облаву на Ред-Хук. Во время налета «всасывающая сила, не принадлежащая ни земле, ни небесам», увлекает Мэлоуна вниз, в пещеру под домами. Там он обнаруживает вальпургиеву ночь колдовства с резвящимися всевозможными демонами земных мифологий – Сатаной, Лилит, Молохом, сатирами и другими привидениями. И в кульминации кошмара…

В рассказе есть действие и колорит, но его главным недостатком является то, что Лавкрафт так логически и не додумал сюжет. Происшествие следует за происшествием без необходимой связанности.

В поздних рассказах Лавкрафт выстраивал свои фантазии более тщательно. Как раз после сочинения «Кошмара в Ред-Хуке» он писал Кларку Эштону Смиту: «Я всегда полагал, что сверхъестественное произведение более действенно, если в нем отсутствуют банальные предрассудки и догматы распространенных культов». Тем не менее «Кошмар в Ред-Хуке» с его традиционными средневековыми демонами, вызванными заклинаниями их поклонников, содержит массу «банальных предрассудков». Но впредь Лавкрафт не обращался к этим затасканным темам, перейдя к более оригинальным концепциям.

В начале августа, скучая и чувствуя себя словно заключенным в тюрьму, Лавкрафт предпринял длительное путешествие на пароме и трамвае до города Элизабет, штат Нью-Джерси, дабы насладиться его колониальными реликтами. Сидя в Скотт-парке, он написал целиком свой следующий рассказ – «Он». Это короткое сочинение в четыре тысячи слов отнюдь не выделяется среди работ Лавкрафта, ибо страдает одним из тяжелейших случаев синдрома прилагательных.

Но все же его первые абзацы часто цитируются из-за их автобиографичности. В них Лавкрафт изливает свои чувства к Нью-Йорку: «…Мой приезд в Нью-Йорк был ошибкой. Ибо как бы я ни искал потрясающего чуда и вдохновения в переполненных лабиринтах древних улиц, что бесконечно вьются из забытых дворов, площадей и равным образом забытых береговых линий, и в гигантских современных башнях и пиках, мрачно, подобно Вавилону вздымающихся под убывающей луной, я находил лишь чувство ужаса и угнетения, угрожавшее поработить, парализовать и уничтожить меня…

Но успеху и счастью не суждено было случиться. Там, где луна намекала на очарование и древнее волшебство,

ослепительный дневной свет являл лишь убожество, чуждость да гибельную слоновую болезнь простиравшегося вверх и в стороны камня; толпы же людей, бурлившие на улицах подобно потоку в горном ущелье, были низкорослыми смуглыми чужестранцами с огрубевшими лицами и узким разрезом глаз, грубыми чужестранцами без снов и родства с окружающими их картинами, и которые ничего не значили для голубоглазого человека из старинного народа, хранящего в своем сердце любовь к чудесным тропинкам в зелени и белым колокольням новоанглийской деревни.

Так что вместо поэм, на которые я надеялся, явились лишь повергающий в дрожь мрак да невыразимое одиночество. И я наконец-то узрел ужасную истину, которую прежде никто не осмеливался выдохнуть – тайну тайн, для которой даже шепот громок, – что этот город камня и стрекота не есть чувственное увековечивание старого Нью-Йорка, как Лондон – старого Лондона, а Париж – старого Парижа, но что он, по сути, совершенно мертв, а его расползающееся тело не до конца забальзамировано и кишит сомнительными живыми тварями, не имеющими ничего общего с ним, как это было при жизни. С этого открытия я потерял спокойный сон, хотя кое-что из утраченной безмятежности и вернулось, когда я постепенно ввел обыкновение держаться подальше от улиц днем и осуществлять вылазки лишь по ночам… С таким облегчающим режимом я даже написал несколько поэм и все еще воздерживался от возвращения домой к родителям, дабы не показаться приползшим назад после постыдного поражения».

Затем начинается и сам рассказ. Во время одной из своих ночных прогулок рассказчик встречается с незнакомцем в широкополой черной шляпе и в черном же плаще – словно «человек-загадка», что был стандартным персонажем в старых немых сериалах.

Загадочный незнакомец, «он» рассказа, приглашает героя к себе домой. Он оказывается пожилым человеком в одеяниях восемнадцатого века и рассказывает о предке, который купил магические тайны у индейцев, расплатившись с ними отравленным ромом. Его речь становится все более и более архаичной: он произносит «sartain» и «arning»[341]. Он показывает рассказчику из окна видение – сначала пейзаж времен аборигенов, затем в колониальное время, а затем и в будущем: «Я зрел этот демонический вид всего лишь три секунды, и за эти секунды я увидел то, что будет вечно мучить меня в моих снах. Я увидел небеса, кишащие чуждыми летающими тварями, а под ними адский черный город из гигантских каменных террас с

нечестивыми пирамидами, зло взметнувшимися к луне, и дьявольские огни, горящие в бесчисленных окнах. И я увидел омерзительно толпящихся на воздушных галереях желтых, косоглазых жителей этого города, одетых в жуткое оранжевое и красное и безумно пляшущих под бой лихорадочных литавр, стук непристойных кротал[342] и сумасшедшие стоны приглушенных рожков, чьи непрерывные погребальные песни усиливались и затихали подобно волнам богохульного асфальтового океана»[343].

Рассказчик в ужасе кричит от этого зрелища футуристического рок-фестиваля. Его вопли привлекают призраков индейцев, которых отравил предок загадочного незнакомца, – они приходят отомстить. «Предок» и есть сам незнакомец, продлевавший себе жизнь магическими средствами…

В сентябре Лавкрафт написал «В склепе». Объемом чуть меньше трех тысяч слов, рассказ построен строго логически. Это прогресс по сравнению с довольно бесформенными и бессистемными сюжетами его ранних рассказов. По словам Лавкрафта, он почерпнул идею у «интересного приятеля из Массачусетса»[344], имея ввиду издателя-любителя Чарльза В. Смита.

Этот простой, но хорошо скомпонованный коротенький рассказ о привидениях повествует о грубом, черством гробовщике из новоанглийской деревни по имени Джордж Бёрч. Обнаружив, что он должен уместить длинный труп в коротком гробу, и не желая облекать себя на расходы и хлопоты по изготовлению другого гроба, Бёрч отрезает у трупа ступни. В рассказе идет речь о мести этого трупа.

В августе у Лавкрафта появилась идея для еще одного рассказа, который он предварительно озаглавил «Зов Ктулху». Он сделал набросок, но на время отложил его. Сам рассказ он написал лишь в следующем году, когда уже вернулся в Провиденс.

Райт купил «Кошмар в Ред-Хуке» и «Он» для «Виэрд Тэйлз», но, опасаясь еще одного шума, как с «Любимыми мертвецами», счел «В склепе» слишком ужасным. Через шесть лет, однако, он купил этот рассказ за пятьдесят пять долларов и опубликовал без всяких последствий в апрельском номере за 1932 год.

В последующие месяцы Лавкрафт упоминал другие рассказы, которые надеялся написать, но так и не сделал этого: «…Я намереваюсь поместить несколько своих задуманных фантазий в восточную обстановку – возможно, в Багдад».

«Я также влюбился в один из древних керамических светильников, чья дешевизна обязана их неограниченному количеству, недавно откопанному, – греческая штучка примерно 500 г. до н. э. Сейчас он стоит предо мной, прелестный в своем очаровании, и уже предложил моему воображению по крайней мере один сюжет для сверхъестественного рассказа. Сюжет, в котором он будет фигурировать как пережиток Атлантиды, а не Греции».

«Затерянные миры всегда были моей излюбленной темой, и я обращусь к ним еще не раз, прежде чем отложу свое художественное перо навсегда… Я намерен заняться кое-какими межпланетными сочинениями, но при этом не нарушу никаких известных фактов или законов астрономической науки, как они известны на сегодня».

«Я хотел бы написать историю о прокладывании подземки под Вестминстер-стрит – или подземки Провиденс-Потакет – и случайном обнаружении разрушенных коринфских колонн, свидетельствующих о форуме некоего неизвестного римского города в верховье залива Нарраганет. Трирема под командованием Гнея Помпония Фалко в ходе войны против средиземноморских пиратов во времена Цицерона уносится штормом через Геркулесовы столбы в безбрежную Атлантику. Наконец корабль достигает спокойного залива, населенного краснокожими варварами, и после заключения договора на склоне великолепного холма строится город, который получает имя МУСОСИК – так колонисты понимают название Мушассак, которое слышат от варваров»[345].

Когда же дело дошло до написания, Лавкрафт изменил направление. В ноябре В. Пол Кук попросил его написать «статью… об элементе ужаса и сверхъестественности в литературе, но я [Лавкрафт] помешкаю с ее подготовкой. Тем временем я надеюсь остаться в стороне и на свой риск сочинить достаточно для создания какого-нибудь произведения».

Кук был тихим, скромным маленьким человеком, преданным любительской печати даже больше Лавкрафта. Он был президентом как НАЛП, так и ОАЛП, а также редактором в последней. В своих домах в Нью-Хэмпшире и Массачусетсе он издавал прославленные любительские журналы, сначала «Монаднок Мэгэзин», а затем «Вэйгрант».

В 1925 году Кук сворачивал издание «Вэйгранта» и хотел, чтобы Лавкрафт написал эссе для первого выпуска нового журнала с далеко идущими планами «Риклуз» («Затворник»). Лавкрафт озаглавил свое сочинение «Сверхъестественный ужас в литературе» и начал исследования. Как он обнаружил, в этом

жанре существовало множество важных рассказов, о которых он слышал, но никогда не читал. Он приступил к заполнению этих пробелов в своих знаниях. Несмотря на свое храброе обещание заняться собственным художественным произведением, он позволил статье Кука поглотить его время и внимание.

Статья оказалась большей работой, нежели он предполагал вначале. В течение января он писал письма, оправдывая задачу как «превосходную умственную тренировку» и «замечательный предлог для отказа от приглашений». Он предрекал, что закончит работу через «две или три недели», но был все еще занят ей, когда уехал из Нью-Йорка в апреле. В июле он завершил печатание окончательного черновика, хотя «работа едва не убила меня»[346].

«Сверхъестественный ужас» занял практически все писательское время Лавкрафта на восемь месяцев. И для чего? Чтобы Кук смог напечатать эту статью бесплатно в любительском журнале для нескольких сотен других любителей.

Весьма далекая от «умственной тренировки», она была образцом легкомысленного потворства Лавкрафта своим слабостям.

В 1927 году Кук действительно издал «Риклуз». В единственном выпуске фантастической литературе уделялось столько внимания, что его можно назвать первым фан-журналом научной фантастики. Кук намеревался издать еще один, но второй выпуск так и не был напечатан, поскольку у него умерла жена и он покинул Новую Англию.

Профессиональному писателю трата двух третей года на неоплачиваемое хобби покажется полнейшим безумием. Но Лавкрафт в действительности никогда и не стал профессионалом. Он принадлежал к среде и традиции, в которых термин «любитель» был похвалой. Он означал не «начинающий», «новичок» или «неумеха», но «джентльмен, который делает что-то из любви, а не для пошлых денег». Кук, отношение которого было почти таким же, восхищенно отзывался о Лавкрафте: «И Лавкрафт был любителем. Он не написал ни строчки на издателя или публику. Он отказывался переделывать рассказ, который, будучи измененным в соответствии с требованиями редактора, был бы принят и оплачен. Если его работа, сделанная в соответствии с его собственными предпочтениями, продавалась, это было хорошо и полезно. Ежели нет – он находил удовлетворение в отказе подчинить свое искусство мамоне. Если бы он считал приемлемым сохранять свои рассказы короткими, он мог бы продать все, что удосужился написать. Но его искусство росло, или же расширялись идеи его творчества, и ему нужно было все

больше и больше полотен, пока не стало практически невозможно найти рынок для его поздних работ»[347].

Лавкрафтовский идеал любительства принадлежал увядающей традиции заморских земель. С другой стороны, в мире объединенных в организации людей с податливыми личностями можно много чего сказать за неисправимого индивидуалиста, упрямо держащегося максимы Макиавелли: «Следуй своему курсу, и пусть люди говорят». Немного Дон-Кихота таится во многих из нас.

Тем не менее, если уж кто-то настаивает на исполнении роли Рыцаря Печального Образа в реальной жизни, он не должен жаловаться, когда мельница отбрасывает его вверх тормашками. Донкихотство – дорогая игра, и тот, кто в нее играет, должен ожидать расплаты.

Объемом около тридцати тысяч слов, статья «Сверхъестественный ужас в литературе» была самым длинным произведением, написанным Лавкрафтом. Она начинается громким утверждением, содержащим, впрочем, некоторую долю психологической истины: «Старейшее и сильнейшее чувство человечества есть страх, и старейший и сильнейший род страха есть страх перед неизвестным»[348]. Несомненно, это было истинным для Лавкрафта, чей страх перед неизвестным вынудил его упустить множество возможностей. Он заставлял его пугливо избегать новых мест, новых знакомств и новых видов работы.

Лавкрафт отслеживает ужас в литературе от античных писателей вроде Плиния Младшего и Апулея до готических романов, а от них до своих современников Мейчена, Блэквуда, Дансейни и М. Р. Джеймса. Статья охватывает огромную область, и это добротная, искусная работа, которая в других руках могла бы стать и магистерской диссертацией.

Согласно покойному Томасу О. Мэбботту, Лавкрафт в «Сверхъестественном ужасе» разрешил одну проблему истолкования По. В «Падении дома Ашеров», утверждает Лавкрафт, Родерик Ашер, его сестра Маделина и сам дом – все имеют одну общую душу.

В одном из своих последних произведений, «В горах Безумия», Лавкрафт разрешил еще один вопрос По. То была подлинность «горы Йаанек» в поэме «Улялюм». Читатели долго были озадачены тем, что По расположил эту гору «Там, где полюсом правит Борей»[349]. Под «бореальным полюсом», объяснил Лавкрафт, По подразумевал южный магнитный полюс, к которому и дует Борей. Отсюда гора Йаанек была вулканом Эребус в Антарктике[350].

Однако «Сверхъестественный ужас в литературе» – собрание данных того типа, что мог бы выполнить любой профессор английской литературы. Жаль, что Лавкрафт не потратил это время на свой ненаписанный рассказ о светильнике из Атлантиды. Многие ученые смогли бы написать «Сверхъестественный ужас», но лишь Лавкрафт мог написать лавкрафтовский рассказ.

Первостепенным фактором в последний год пребывания Лавкрафта в Нью-Йорке было его ухудшающееся психическое состояние. Его страсти и предрассудки, которые он привез из Провиденса, вместо угасания, как это происходит с большинством людей при погружении в более широкий мир, выросли до степени маниакальности. Провиденс не отдалился в добрые воспоминания юности, но стал навязчивой идеей. Лавкрафт тосковал по дому, как самый незрелый ученик школы – интерната в свою первую ночь вдали от дома. Кук сообщал: «Я видел Лавкрафта только раз в период его проживания в Нью-Йорке. Тогда у меня был всего час времени в городе, и нам удалось лишь немного поболтать. По его письмам я почувствовал, что его психика расстроена, и когда я встретился с ним, его несчастье было мучительно очевидно».

Лавкрафта стали изводить пустяки. В своих письмах Лилиан Кларк он растягивал на страницы рассказы о своих битвах с масляными обогревателями, осветительными приборами, будильниками, мышеловками и пиджачными Пуговицами.

Он уговаривал своих тетушек, чтобы они не дали истечь его подписке на «Провиденс Ивнинг Бюлитин»: «Чем больше я вижу другие газеты, тем больше люблю „Бюлитин“». Уже готовый откликнуться на объявление о найме прислуги, он писал: «Вот надеюсь на быстрое богатство, которое потрачу на покупку номера 454 [по Энджелл-стрит] и конюшню, расчистку двора и восстановление каменной стены…»

Его тетушки предложили, что если уж он так хочет увидеть Провиденс, то почему бы ему не приехать погостить? Он ответил: «Что до поездки – как я уже сказал ЭЭФГ [Энни Эмелин Филлипс Гэмвелл], я не вынес бы увидеть Провиденс снова до тех пор, пока не смогу остаться там навсегда…

А беглый взгляд был бы подобен взгляду моряка дальнего плавания, принесенного бурей к своему родному порту, а затем вновь унесенного в безграничную темень чуждого моря»[351].

Его снобизм обострился. Он восторгался женой Таллина, с которой познакомился, когда та была проездом в Нью-Йорке в августе, не только за ее личное обаяние, но также и за то, что она «происходила из древнейших норманнских дворян, осевших в

Ирландии». Точно так же он относился и к Уилфреду Б. Талману, ибо Талман был «высоким, худощавым, светлым и аристократически аккуратным». Он высоко ценил Кляйнера, потому что, за исключением своей работы, «он безусловно джентльмен-любитель», не извлекающий прибыли из своих стихотворений или увлечения орнаментными шрифтами.

Он был удивлен, когда у одного знакомого по фамилии Хэнкок обнаружилась привычка одалживать вещи и не возвращать их – и это несмотря на то, что «он происходит из одной из самых аристократических семей Англии!». Но когда в сентябре объявили забастовку шахтеры, он писал: «… Весьма прискорбно, что общество позволило себе стать столь взаимосвязанным, что должно зависеть от капризов шайки грязных крестьян»[352].

Он находил убежище в своих георгианских мечтаниях и позах и в философии безразличия и тщетности: «Что до меня-то я решительно оставил современную эпоху. В космосе бесцельного хаоса и на планете тщеты и упадка лишь воображение имеет хоть какое-то значение. Время и пространство – полнейшие случайности, и, когда поживешь в упадочной и лишенной иллюзий эпохе, которая не может сказать ничего важного, обзаводишься здравым смыслом и перестаешь тратить время на современное мычанье, возвращаешься к периоду, выражения которого заключают в себе нечто такое, на что отзывается твоя психология… По времени я возвращаюсь к георгианской эпохе, а в качестве места охотнее всего выбираю английскую или новоанглийскую сельскую местность – луга, леса, фермы и деревни, – если только не странствую по просторам вселенной в поисках исключительных ужасов»[353].

Он чувствовал, что теряет силы: «Я хочу написать множество вещей, но иногда у меня появляется чувство стареющего рабочего, что моя рука, возможно, утратила ту и без того небольшую сноровку, которой всегда обладала. Когда мой хлам готов, он всегда разочаровывает меня: он никогда не выражает всю полноту картины, что у меня в голове, – но поскольку топорная фиксация образа все же лучше, чем ничего, я надрываюсь и делаю эту ничтожность как только можно лучше».

Его чувство к Нью-Йорку обратилось в черную ненависть. Он писал о «нечистокровной современности» этой «чуждой пустыни» и необходимости выбираться из «кошмарных трущоб этой вавилонской столицы», наполненной «толпами злобных иностранцев»[354].

Его этнические фобии достигли геноцидального неистовства. Новое водохранилище за городом для обеспечения системы водоснабжения Нью-Йорка вызвало у него вспышку против города

как «безжалостного в истреблении целых деревень настоящих людей ради поддержания жизни зловонных полукровок-паразитов этой хаотичной столичной неразберихи!». Иммиграция, радикально сокращенная в 1924 году, была ограничена недостаточно: «Я, естественно, надеюсь, что разношерстную иммиграцию вскоре надолго сократят – боже, уже и так было нанесено достаточно вреда приемом бесконечных орд невежественных, суеверных и биологически низких отбросов Южной Европы и Западной Азии»[355].

Трудно терпеть того, кто поносит других как «биологически низкие отбросы», в то время как большинство этих отбросов по крайней мере смотрят в лицо действительности, исполняют свой долг и содержат себя и свои семьи – сам же Лавкрафт ничего этого не делал. Из его этнических объектов для издевок неграм доставалось больше всего: «Конечно же, нельзя позволять неграм пользоваться пляжами на южных курортах – можете ли вы представить себе чувствительных людей, купающихся рядом со стаей сальных шимпанзе? Единственное, что делает жизнь выносимой там, где есть черные, – закон Джима Кроу, и я хотел бы, чтобы его применяли в Нью-Йорке как к черномазым, так и к более многочисленным азиатским типам жирных крысомордых евреев. Либо уберите их с глаз долой, либо перебейте их – всё, что угодно, лишь бы белый человек мог гулять по улицам без дрожи и тошноты!»[356]

Даже самый достойный похвалы негр стал мишенью для насмешек Лавкрафта. Когда Лилиан Кларк похвалила свою служанку Делайлу, он ответил, что «она, несомненно, ценный негр и должна принести добрые девятьсот или тысячу долларов на любом приличном рынке к северу от Саванны…[357] Жаль, что я не могу подарить вам на Рождество документ, разрешающий продажу такого превосходного предмета собственности, ведь эти надоедливые аболиционисты уничтожили всю торговлю…»[358]. Упоминание о негритянке-адвокате вызвало у него сарказм: «Что до черной адвокатессы Л. Мэриан По – что ж, пока она не будет связываться с белими, я щитаю што врида ни будет… Тогда я предлагаю, чтобы и Делайла занялась профессиональной деятельностью – возможно, медициной, или теологией, или государственным управлением».

Для миллионов белых американцев поколения Лавкрафта один лишь вид негра, играющего роль, традиционно принадлежавшую белым из высшего общества – осуществление власти над белыми, практика богословия, права, медицины, увлечение благородными видами спорта или другими забавами, даже проявление непривычной сообразительности и

трудолюбия, – вызывал глубокий психологический дискомфорт и пробуждал возмущение и гнев.

Проводя такие словесные различия, как «настоящие люди» против «зловонных полукровок-паразитов» или «люди, поляки и черномазые»[359], Лавкрафт делал в точности то же самое, что и первобытный человек, называя своих сородичей «настоящими людьми». Вывод из этого – кто-то не из племени уже не является настоящим человеком, и, следовательно, по всем правилам его можно безнаказанно ограбить, убить или съесть.

Для нас, живущих в семидесятых годах двадцатого века, кажется странным, что эмоционально сдержанный, добрый и чрезмерно щедрый с друзьями и знакомыми, интересующийся стариной и экзотикой и гордящийся своим объективным и беспристрастным мировоззрением человек смог обнаружить такую ядовитую ненависть к людям, никогда не причинявшим ему вреда, – просто потому, что ему не нравились их внешний вид, произношение и другие поверхностные качества. Более того, в большинстве научных вопросов Лавкрафт был расчетливым, скептическим материалистом, быстро расправляющимся с Чарльзом Фортом, Атлантидой, гелиоцентрической теорией Эллиота Смита и со всем оккультизмом. И все же он, словно наивный ребенок, поверил в псевдонаучный арийский культ и использовал его для обоснования своей этнической ненависти.

Август Дерлет пытался снять с Лавкрафта обвинения в расовых предрассудках. В действительности он не был расистом и антисемитом, заявлял Дерлет, он лишь иногда насмехался над иностранцами, потому что они изменили его любимый Провиденс[360]. Но это была просто попытка Дерлета обелить своего идола.

Однако неудивительно, что Лавкрафт принял эту точку зрения, поскольку перед Первой мировой войной она была широко распространена среди «старых американцев». Это было то, во что их дети были воспитаны верить наряду с протестантством, национализмом, капитализмом и круглой Землей. Этот шовинизм «старых американцев» был если и не глобальным, то, по крайней мере, почтенным. Никто и не помышлял о том, чтобы скрывать его как постыдный. Биограф Генри Адамса объясняет: «Антисемитизм возник в националистической и клерикальной клоаке Германии Бисмарка, объединившись с подобным воззрением России и Восточной Европы, нахлынул во Францию и, наконец, в Соединенные Штаты, когда волны обездоленных беженцев от насилия толпы предстали со своими диковинными бородами, пейсами и изношенными кафтанами. Когда же пришельцы преуспели в золотых джунглях,

их успех показался привередливым пуританским моралистам вроде Генри Джеймса пошлой пародией на капиталистическое общество. Часто это было бесспорным, ибо им недоставало изящной драпировки в виде достойных уважения семейных связей, осмотрительно общей религии, старых школьных знакомств и скромных манер.

Скрытое неприятие иностранцев и расизм того времени против южно-европейских иммигрантов и выходцев с Востока выплеснулись на евреев как на главный образ врага англосаксонского превосходства… когда в 1894 году лидеры „браминов“[361] благоразумно обратились к новой Бостонской лиге ограничения иммиграции, чьей миссией было спасение нации от смешения с полукровками».

Что касается «скромных манер», то люди, переходящие из одной культурной среды в другую, вроде переезда в чужую страну, часто производят впечатление неучтивых, так как они пока не знают, какое поведение ожидается от них в новом окружении. Им может потребоваться два или три поколения для усвоения всех тонкостей жестов и языка, чтобы наконец произвести о себе хорошее впечатление.

Воинствующий англосаксонский национал-шовинизм медленно угасал в течение двадцатых-сороковых годов двадцатого века. Он был все еще распространен в двадцатых и даже до сих пор не исчез полностью. Между двумя мировыми войнами писатели и интеллигенция, не без помощи выходок Гитлера, возглавили отход от «староамериканского» шовинизма. То, что Лавкрафт оставался верным этим взглядам с такой рьяностью, в то время как другие американские интеллектуалы отказывались от них, требует объяснения.

Посмертный психоанализ в лучшем случае гипотетичен. Тем не менее существует подтверждение тем бессознательным стимулам, что наделили Лавкрафта этой агрессивной племенной позой. Ребенком его отвергали сверстники, взрослым же он претерпевал множество неудач. А его пребывание в Нью-Йорке было просто прорвавшейся плотиной неудач. Он пытался, женившись вне своей «староамериканской» среды и переехав в крупный город, стать городским космополитом, но ему это не удалось. Он пытался приспособиться к чуждому окружению, но ему это не удалось. Он пытался стать работником по найму, но ему это не удалось. Он не удался и как муж и глава семьи. Очевидно, он пытался осуществить в своей жизни слишком много перемен сразу.

Далее, ксенофобия – страх и ненависть к иностранцам –

является распространенной защитной реакцией на собственные неудачи и недостатки. Ксенофоб утешает себя мыслью, что, по крайней мере, он лучше тех ублюдков.

Более того, как и большинство интеллектуальных интровертов, Лавкрафт был чужаком в своем собственном мире. Он сам заявил: «Я всегда – изгой»[362]. Он критиковал собственную неловкость в общении с обыкновенными американцами, если среди них находились представители национальных меньшинств или иностранцы. Он защищал свое ранимое «я», отгораживаясь от «чужаков» и говоря: «Я ненавижу любое иностранное влияние». Но на самом деле чужаком-то был он. Он почувствовал бы себя совсем как дома лишь в окружении, целиком состоящем из Г. Ф. Лавкрафтов, – но такого общества не существует.

Он все – таки уточнял свои ксенофобские настроения: «Как я всегда говорил, миссионеры – чертовы зануды, которых нельзя выпускать из дома, – тупые, напыщенные ослы без научной проницательности и исторической перспективы, с проклятием вечной слепоты к тому очевидному факту, что различные земли, расы и условия развиваются естественным путем и требуют различных культурных критериев, традиций и различных этических и социальных кодексов»[363].

Другими словами, иностранцы приемлемы в своих иных странах, и им следует предоставить самостоятельно идти своими экзотическими путями. Идеалом Лавкрафта представляется мир, аккуратно и навечно разделенный на водонепроницаемые отсеки по расам, культурам и народам. Его волновало любое взаимопроникновение, поскольку в его представлении подобные группы были несмешивающимися, как масло и вода. Слияние двух явственно различных групп казалось ему нарушением законов природы, а нарушение закона природы было для него предельным ужасом. Теория «плавильного котла»[364] просто бесила его. Его поза была в чем-то схожа с позой матери героя в «Последнем пуританине» Сантаяны: «Миссис Элден… застывала при соприкосновении с несхожим. Высшая сила и отличие были невыносимы: если она не могла копировать их, она их отрицала. И малейшая грубость или простота ниже ее собственной оскорбляли ее тоже… За границей не могло быть ничего, кроме внешней тьмы – чуждого, языческого, непонятного мира, от которого нужно держаться как можно дальше… И она полагала, что если порой этот ужасный внешний мир причиняет беспокойство, то необходимо объявить ему войну, дабы преподать ему урок, но безоговорочно лучше игнорировать его совсем»[365].

Несмотря на весь тот опасный вздор, что Лавкрафт писал и

говорил о национальных меньшинствах, мы ни в коем случае не должны забывать контраст между этими теоретическими громами и молниями и его отношением к реальным личностям. Фрэнк Лонг, полагающий, что я слишком уж подчеркиваю национализм Лавкрафта, пишет мне: «Возможно, вам трудно будет в это поверить, но за весь Нью-йоркский период, на всех встречах и во всех разговорах, что у меня с ним были, он ни разу не проявил действительной враждебности к „представителям ненордических рас“[366] – используя термин, который он больше всего любил, – в моем присутствии, либо в метро, либо где-то еще… Если бы один из них попал в беду, он первым бы бросился к нему или к ней на помощь. Эмоционально он был само воплощение доброты. Все это было лишь риторическим – вроде словесной гигантской бойни, которую в шестидесятые развязывали писатели-хиппи андерграундной прессы. Это была его болезнь, если хотите – вербальная составляющая, – но это не характеризовало его на глубинном, основополагающем уровне… Во всех разговорах, что у меня были с Говардом, он ни разу не употребил термины вроде „Kike“, „dago“, „spic“ – даже „nigger“. Он почти всегда говорил „negro“[367], по-видимому, это было только в письмах миссис Кларк, когда то, что он говорил, было чудовищным, скверным, как и некоторые его замечания другим корреспондентам».

Уилфред Талман тоже настаивает, что у него нет «никаких воспоминаний о том, что он [Лавкрафт] когда-либо делал, на словах или в письме, антисемитские заявления. И я также не помню, что он когда-нибудь говорил нечто такое, чтобы намеренно задеть слушателя». Возможное объяснение заключается в том, что Лавкрафт, все еще придерживавшийся старых нативистских взглядов, все-таки осознавал, что среди образованных американцев подобные воззрения порицались все более и более как устаревшие и негуманные. Поэтому он и не афишировал их, за исключением своих тетушек и очень немногих близких друзей.

В результате всех тягот, навалившихся на него, Лавкрафт был близок к обширному психотическому расстройству. В январе 1926 года он писал свой тетушке Лилиан: «Большинство современных евреев безнадежно, если говорить об Америке. Они – продукт чуждой крови, наследуют чуждые идеалы, побуждения и эмоции, которые навсегда исключают возможность массовой ассимиляции… Действительность заключается в том, что азиатская раса, ослабленная и протащенная через нечистоты несчетных столетий, не может соприкасаться с гордой, деятельной и воинственной нордической расой как эмоционально

равная. Может, они и хотят этого, но не могут: их духовные чувства и взгляды прямо противоположны. Ни одна раса не может оставаться беззаботной, когда ей противостоит другая… Восток против Запада – они могут проговорить целую вечность, так и не узнав, чем же в действительности является их оппонент. С нашей стороны существует бросающее в дрожь физическое отвращение к большинству представителей семитов, и когда мы пытаемся относиться к ним терпимо, мы либо просто слепы, либо лицемерим. Два столь противоречивых элемента никогда не смогут построить одно общество: чувства подлинной взаимосвязи не может быть там, где затрагивается столь непомерное несоответствие наследственных воспоминаний, – так что, где бы Вечный Жид ни странствовал, ему придется довольствоваться своим собственным обществом, пока он не исчезнет или не будет уничтожен в результате внезапной вспышки физической ненависти с нашей стороны. Я чувствовал себя вполне способным перебить десяток-другой, когда ездил в переполненном вагоне Нью-йоркской подземки… Граница проведена явственно, и в Нью-Йорке она может даже перейти в новую сегрегацию, ибо здесь проблема принимает самую отвратительную форму, пока омерзительные азиатские полчища таскают свои грязные туши по улицам, где некогда ходили белые люди, выставляют свой гнусный внешний вид, извращенные лица и чахлые формы – пока мы не будем вынуждены либо перебить их, либо эмигрировать сами, либо пока не окажемся, заходясь истерическим смехом, в сумасшедшем доме. Поистине, можно сказать, что настоящая проблема существует лишь в Нью-Йорке, ибо только здесь вытеснение обычных людей так дьявольски заметно. Для гордого, светлокожего представителя нордической расы не достойно прозябать единственно среди низкорослых косоглазых трещоток с грубыми методами и чуждыми эмоциями, которых он ненавидит и презирает каждой клеткой своего организма, как млекопитающие ненавидят и презирают пресмыкающихся, инстинктом древним, как сама история, – и так закат Нью-Йорка как американского города будет неизбежен. Между тем все, что нужно делать, – это избегать личного общения с вторгающимся материалом – тьфу! От них становится не по себе, как будто жмет обувь или как будто колется шерстяное нижнее белье. Опыт научил остатки американского народа – о чем он даже и не думал, когда первые идеалисты открыли путь отбросам, – что не существует такой вещи, как ассимиляция расы, чья взаимосвязь с нашей историей так слаба, чьи основные эмоции столь противоположны нашим и чей физический внешний облик столь отвратителен нормальным членам нашего вида. Такова

смертельная болезнь Нью-Йорка. Проблема нашей Новой Англии, хотя и не столь отвратительная на поверхности, тем не менее достигла удручающих размеров, ибо в то время как Нью-Йорк затоплен азиатами, наши улицы наводнены едва ли менее нежеланными латинянами – низкосортными южными итальянцами и португальцами и крикливой напастью франко-канадцев. Эти элементы сформируют обособленную римско-католическую культуру, враждебную нашей, объединившись с ирландцами – которые, пребывая в крайне неассимилировавшемся состоянии, являются сущей чумой Бостона.

Многие из этих рас могли бы ассимилироваться – например, нордические ирландцы из Восточной Ирландии и те из франко-канадцев, кто имеет нормандское происхождение, – но процесс будет очень медленным. Между тем разделение и обоюдная враждебность должны сохраняться, хотя у нас много меньше того бросающего в дрожь и бесящего физического отвращения, что превращает Нью-Йорк в ад для чувствительного представителя нордической расы… За пределами Нью-Йорка и района Новой Англии встречаются другие расовые и культурные проблемы. Мерзкая польская деревенщина в Нью-Джерси и Пенсильвании совершенно не подвержена ассимиляции, за исключением тончайшего сочащегося ручейка, в то время как мексиканцы – наполовину или три четверти индейцы – составляют несговорчивую малость на юго-западе… Вообще, Америка создала из своего населения полную неразбериху и заплатит за это слезами посреди преждевременной гнилости, если только вскорости не будет что-то предпринято… Не допуская стай средиземноморского и азиатского сброда, что нынче сочатся и ползают по всему ландшафту, мы могли бы почти полностью избавиться от того самого чувства нестерпимого отвращения, которое теперь вызывает у нас иностранное имя… В нациях, так же как и в обществе, сходство является основополагающим принципом. Что до меня, то мне дурно от представителей богемы, ходячего хлама, помешанных и плебеев – всяких К. М. Эдди, подхалимов, помесей и т. д. Какое-то время они забавляют, но потом начинают страшно действовать на нервы. Люди действуют на нервы, когда они обладают отличающимися воспоминаниями, живут по отличающимся нормам и лелеют отличающиеся цели и идеалы. Единственным обществом для обычного консервативного американца является то, что состоит из обычных консервативных американцев – хорошего происхождения и, несомненно, воспитанных в старых традициях. Именно поэтому Белнап [Лонг] почти единственный из „банды“, кто не раздражает меня даже

временами. Он обычный – он связывает с врожденными воспоминаниями и жизнью в Провиденсе до такой степени, что представляется настоящей личностью, а не плоской тенью из сна, как большинство из богемы. Но в своей недавней кампании по освобождению я добился успеха, и с этого времени рядом со мной не будет никого, за исключением тех, кто обещал твердо следовать консервативной англосаксонской традиции. И это правильно, ибо в хаотической разнородности мне не было б покоя. Любое мое усилие было бы парализовано, поскольку ни одно из них не казалось бы достойным приложения сил, если бы не могло обеспечить мне место среди людей моего же склада ума, свободного от банальных или чуждых общественных контактов и влияний. И даже если нельзя найти нишу в близком по духу обществе, то, по крайней мере, можно быть одиноким, и этого мне вполне достаточно. Быть свободным от раздражающих и враждебных общественных материалов – вот главное, ибо в противном случае, при столкновении лицом к лицу с жизнью в изгнании в ненавистном хаосе, единственным выходом будет пуля в голову»[368].

Можно прокомментировать несколько моментов из этих взбешенных разглагольствований. Лавкрафт, например, говорит о «нас», или «белых людях», или «обычных консервативных американцах», кто, как он полагает, испытывает «бросающее в дрожь физическое отвращение» к «омерзительным азиатским полчищам», «мерзкой польской деревенщине» и другим чужакам, а также «нестерпимое отвращение» при звуке иностранных имен. Он полагал, что говорит за всех оставшихся «старых американцев». В действительности же в то время лишь убывающее меньшинство испытывало подобные чувства, остальные смешались с иммигрантами и национальными меньшинствами без каких-либо особых чувств за или против них. Так что Лавкрафт на самом деле говорил лишь за себя одного.

Его догмы о непримиримой вражде между Востоком и Западом, непреодолимой пропасти, разделяющей Европу и Азию, неспособности к ассимиляции неевропейцев и так далее – чепуха. Подобных ассимиляций было множество. Например, сирийцы во времена падения Западной Римской империи составляли в Западной Европе основной торговый класс, но спустя несколько веков совершенно исчезли вследствие ассимиляции.

Наконец, настойчивое утверждение Лавкрафта о том, что «неарийцы» не имеют ничего общего с арийцами, что у них совершенно отличные мысли и идеалы и что они никогда не смогут стать близкими им по духу – вздор человека, который путешествовал очень мало и знал лишь немногих «неарийцев».

Тот, кто познакомился с людьми множества отличающихся культур и рас, понимает, что после преодоления барьеров языка и этикета сходство становится больше вопросом общих интересов, нежели наследственной памяти.

Лавкрафт подходил к той точке, когда не только национальные меньшинства, но практически каждый действовал ему на нервы. Он сделал исключение для Лонга, очевидно, потому, что Лонг, как и он сам, был «старым американцем», в некоторой степени не от мира сего и имел схожие убеждения о кодексе джентльмена – хотя Лонг никогда не разделял национальных фобий Лавкрафта и вскоре пришел к более реалистичным воззрениям.

Встревоженная вспышкой Лавкрафта, Лилиан Кларк сделала ему выговор. Но он успокоил ее относительно своего поведения с друзьями: «Кстати, не воображайте, что моя нервная реакция на чуждых Нью-йоркских представителей принимает форму разговоров, способных оскорбить какую-либо личность. Кое-кому известно, где и когда обсуждать вопросы с социальным или национальным оттенком, и наша группа не замечена в проступках или ничтожных повторениях убеждений. Я не думаю, что у меня не получается ценить талантливые и добродетельные качества всего собрания, ибо к каждому его участнику я питаю искреннее уважение»[369].

Зимой 1925–1926 годов Лавкрафт начал открыто намекать, что хотел бы, чтобы его попросили вернуться в Провиденс: «Что же касается постоянного местожительства – черт меня возьми! Но СГ была бы только рада помочь мне обосноваться там, где мой разум был бы уравновешен и эффективен. То, что я имел в виду под „опасностью вынужденного возвращения в Нью-Йорк“, было делом индустриальной перспективы, как продемонстрировала возможность переезда в Патерсон, ибо при моем скудном финансовом положении практически любое прибыльное вакантное место явилось бы тем, от чего я с какой угодно степенью здравого смысла или пристойности не смог бы отказаться. И если бы я остался в Нью-Йорке, я, возможно, смог бы вынести это с философским смирением, но если бы вернулся домой, то, вероятно, не смог бы даже и обдумывать перспективу повторного уезда. Оказавшись в Новой Англии, я должен смочь зацепиться там…»

На всем протяжении своего пребывания в Нью-Йорке Лавкрафт называл домом Провиденс. Мортон убеждал его, что работа в музее скоро будет вакантна. «Но, – говорил Лавкрафт, – если бы я однажды вновь увидел Новую Англию с ее холмистыми улицами, спускающимися прямо к морю, аллеями древних вязов,

теснящимися мансардными крышами и белыми колокольнями, вздымающимися над вековыми церковными погостами, я уже не смог бы заставить себя покинуть ее границы»[370].

Если же задаться вопросом, почему он просто не вернулся в Провиденс, то возможный ответ кроется в строках рассказа «Он», где рассказчик «воздерживался от возвращения домой к родителям, дабы не показаться приползшим назад после постыдного поражения». Возвращение в Провиденс было бы именно таким поражением, а за два года Лавкрафт претерпел достаточно поражений для целой жизни.

В это время, согласно Сэму Лавмэну, Лавкрафт носил с собой пузырек с ядом. Когда он говорил о самоубийстве, то, возможно, и не блефовал. Мать Фрэнка Лонга написала тетушкам, предупреждая их, что может случиться все, что угодно, если не принять меры в отношении психического состояния Лавкрафта.

В марте Лилиан Кларк написала Лавкрафту, убеждая его погостить в Провиденсе, где можно было бы разместиться в небольшой квартире на Уотермэн-стрит. Лавкрафт отозвался со сдержанным воодушевлением: «Хорошо!!! Все ваши послания прибыли и получили радушный прием, но третье было сущей кульминацией, так что все остальное откладывается в сторону!! Ух! Бах!..

А теперь о вашем приглашении. Ура!! Да здравствуют штат Род-Айленд и плантации Провиденса!!! Но я уже вне темы визита. Даже если мое физическое состояние и в расцвете, мои нервы в беспорядке – и я никогда бы не смог сесть на поезд из Провиденса в Нью-Йорк снова… Я не жажду постыдного возращения через меньшее отверстие трубы, но если вы и ЭЭФГ считаете, что для меня вполне достойно сбежать назад к цивилизации и Уотермэн-стрит, то я уверен, что и думать не смогу о чем-то кроме неотъемлемой части Род-айлендской земли. Мне как раз прошлой ночью снился Фостер… Что же до деталей, то я с полным одобрением предоставляю вам и ЭЭФГ планирование всего, если вы не возражаете, и поддерживаю отправку моих вещей вперед меня.

Теперь о переселениях – вопрос о разочаровании не стоит. Я отнюдь не надеюсь жить где-то на седьмом небе от счастья и хочу лишь протянуть свои последние несколько дней в какой-нибудь тихой заводи, где общее окружение не будет слишком уж отвратительным. Не стоит вопроса и об иллюзии или разочаровании от Провиденса – я знаю, что это такое, и мысленно жил всегда только там. Когда я отрываю глаза от работы, то вижу за окнами лишь Энджелл-стрит, а когда думаю о том чтобы выйти купить что-то, перед моим взором предстает Вестминстер-стрит…

Во мне нет чувственной – как отстоящей от умственной – убежденности, что в данный момент я не нахожусь в Провиденсе, – в самом деле, с психологической точки зрения я есть и всегда буду там…

Но, как я уже сказал, если вся компания считает, что Бостон или Кембридж более подходящее пристанище, то я не склонен выставлять против их решений мнение ума, чьи непростительные опрометчивость и идиотизм вызвали в 1924 году этот переезд в Нью-Йорк… По существу я отшельник, которому придется очень мало иметь дело с людьми, где бы он ни оказался. Я думаю, что большинство людей лишь нервируют меня, – я, возможно, могу только по случайности и исключительно редко повстречаться с людьми, которые не действовали бы мне на нервы… Моя жизнь проходит не среди людей, но среди видов – мои частные привязанности не личные, а топографические и архитектурные… Я лишь впаду в догматизм, говоря, что должен быть именно в Новой Англии – в той или иной форме. Провиденс является частью меня – и я есть Провиденс…»[371]

Это сочетание кроткого «выкручивания рук» и воплей о помощи принесло результаты. В конце марта Лилиан Кларк написала Лавкрафту, что можно снять половину двухквартирного дома по Барнс-стрит, 10. Если ему понравится, то он и она могут жить там. Он ответил тотчас: «Ого-го! Бах!! Ура!! Ради бога, запрыгивайте в это жилище не медля ни секунды! Не могу поверить в это – слишком хорошо, чтобы было правдой!»

Соня сменила работу, но новая тоже была в Кливленде. Она сразу же приехала в Бруклин и умело взяла на себя всю заботу по сборам мужа и организации перевозки его имущества в Провиденс. Лавкрафт понимал, что много чего взял у Сони, а взамен отдал лишь самую малость. Он чувствовал укоры совести и действительно не отрицал низости своих действий: «Я никогда не встречал более поразительного бескорыстного и участливого отношения, при котором каждая денежная нехватка принимается и прощается, как только оправдывается неизбежностью, и при котором уступки распространяются даже на мои заявления (как обусловленные моими наблюдениями за воздействием меняющихся условий на мои нервы), что единственной важнейшей составляющей моей жизни является определенная степень покоя и свободы для творческого литературного сочинительства… Преданность, которая может безропотно мириться с подобным сочетанием некомпетентности и эстетического эгоизма – вопреки тому, как оно по всем ожиданиям должно в действительности приниматься, – феномен, несомненно, столь редкий и столь близкий к историческому

качеству святости, что ни один человек, обладающий хоть малейшим чувством артистической гармонии, не мог не отозваться на нее иначе как с глубочайшим взаимным почтением, уважением, восхищением и любовью – как в действительности она и принималась поначалу, когда проявилась при менее тяжелых обстоятельствах и много меньшем осмыслении хроники неудач, простиравшихся впереди… СГ всецело поддерживает мой замысел окончательного возвращения в Новую Англию и сама намеревается через некоторое время искать свободные места на производстве в районе Бостона…»[372]

Несмотря на это восхваление, есть основания полагать, что чувства Лавкрафта к Соне были двойственными. В последующие годы он редко упоминал ее, как и любую другую женщину, коли на то пошло – как будто он жил в одном из тех английских мужских клубов, в помещении которых не допускается произносить имена дам.

В одном из немногих поздних случаев, когда он все-таки упоминал Соню, он жаловался, что она «управляла» им. В действительности же Соня исполняла роли мужа, жены и матери семьи, в то время как он был фикцией мужа – мужчиной на содержании и трудным ребенком. Эти обстоятельства не могли не уязвлять его болезненное самолюбие. Чем более деятельной, умелой, великодушной и самоотверженной была Соня, тем наверняка больше его раздражал контраст между ними.

К пятнадцатому апреля все было упаковано и отправлено. «Банда» провела для Лавкрафта прощальное собрание, двое из них подарили ему книги. Семнадцатого он отбыл в Провиденс.

Соня собиралась поехать с ним, но из-за назначенной встречи для обсуждения предполагаемой новой работы она пока осталась в Нью-Йорке. Она последовала за Лавкрафтом в Провиденс позже.

Глава тринадцатая. Живой Ктулху

Меня не тянет к нынешним вещам,
Ведь прежде видел свет я в граде старом,
От моего окна где крыши валом
Спускались в гавань, давшей дом мечтам.
И улицы, заката где лучи
Оконца красили дверей резных,
И шпили с блеском флюгеров златых —
Все это в детстве снилось мне в ночи[373].

Г. Ф. Лавкрафт «Истоки»

Лавкрафт взял с собой роман, чтобы почитать в поезде до Провиденса, но виды Новой Англии в окне так взволновали его, что читать он не смог.

Прибыв поздно вечером 17 апреля 1926 года, он обосновался в своем новом доме. Это был большой деревянный дом в викторианском стиле на Барнс-стрит, 10–12, в трех кварталах к северу от городка Университета Брауна. Лавкрафт и его тетя заняли часть половины дома под номером 10. Лавкрафт поселился на нижнем этаже, а Лилиан Кларк, которая пока еще не въехала, на верхнем. Энни Гэмвелл жила тогда в Провиденсе где-то в другом месте, в качестве компаньонки слепой женщины.

Через несколько дней Лавкрафт все еще распаковывал и разбирал вещи с помощью служанки Лилиан Кларк Делайлы. В. Пол Кук заглянул к нему и нашел, что Лавкрафт «…был без всяких сомнений счастливейшим человеком, которого я когда-либо видел: он мог бы позировать для картинки „После приема“ рекламы медикаментов… Его прикосновение было ласковым, когда он расставлял вещи по местам, а когда выглядывал в окно, его глаза сияли подлинным светом любви. Он был так счастлив, что мурлыкал – будь у него необходимый орган, он еще и урчал бы»[374].

Сообщения Лавкрафта о возвращении домой были полны

восторгов: «…Поезд набирал скорость, и я испытывал тихие приступы радости возвращения шаг за шагом к бодрствующей и трехмерной жизни. Нью-Хейвен – Нью-Лондон – а затем старомодный Мистик с его колониальным склоном холма и закрытой скалистой бухточкой. И наконец воздух наполнился безмолвным и неуловимым волшебством – благородные крыши и шпили, над которыми поезд невесомо мчался по высокому виадуку – Уэстерли – к Провинции РОД-АЙЛЕНД и ПЛАНТАЦИЯМ ПРОВИДЕНСА Его Величества! БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЯ!.. Я неловко возился с чемоданами и пакетами, безнадежно пытаясь выглядеть спокойным – ЗАТЕМ – бредовый мраморный свод за окном – шипение пневматических тормозов – снижение скорости – волны восторга и падение завес с моих глаз и разума – ДОМ – УЗЛОВАЯ СТАНЦИЯ – ПРОВИДЕНС!!!! Что-то щелкнуло – и все фальшивое исчезло. Больше не было ни волнения, ни чувства странности, ни ощущения периода времени, прошедшего с тех пор, когда я последний раз стоял на этой священной земле… То, что я видел во сне каждую ночь после того, как покинул ее, теперь стояло предо мной в прозаической реальности – точно такое же, черта в черту, деталь в деталь, доля в долю. Просто я был дома – и дом был таким, каким он всегда и был со времени моего рождения тридцать шесть лет назад. Другого места для меня не существует. Мой мир – Провиденс».

Он добавил, что «моя жена будет здесь либо постоянно, либо наездами, в зависимости от достигаемых в данный момент деловых договоренностей»[375]. Он заглянул к семье Эдди: «Мы узнали об этом, когда однажды вечером в наших дверях раздался звонок… и там стоял Лавкрафт! Выглядел он вытянувшимся и исхудалым… а его руки были холодны как лед, когда он протянул их для дружеского рукопожатия!»

Переезд Лилиан Кларк был отложен на несколько недель из-за приступа невралгии. Когда же она переехала, для заключения определенных долговременных соглашений прибыла Соня. Она вспоминала: «Затем у нас была встреча с тетушками. Я предложила, что сниму большой дом, обеспечу хорошую служанку, оплачу все расходы, и обе тетушки будут жить с нами без каких-либо затрат или, по крайней мере, будут жить лучше с небольшими затратами. ГФ и я действительно договаривались о сумме арендной платы за такой дом с правом его покупки, если он нам понравится. ГФ использовал бы одну его половину в качестве рабочего кабинета и библиотеки, а в другой я бы вела свои дела. На это тетушки спокойно, но твердо уведомили меня, что ни они, ни Говард не позволят себе, чтобы жизнь в Провиденсе обеспечивала работа его жены. Так оно и было.

Теперь я понимаю, на чем мы все стояли. Гордость предпочитала страдать молча – как их, так и моя»[376].

Для Лавкрафта было приемлемо жить на заработок жены в Нью-Йорке, но в Провиденсе, где их знали и где им необходимо было подчеркивать свое социальное положение, это было невозможно. Если уж на то пошло, приличной замужней женщине с трудоспособным мужем не должно было работать за жалование совсем.

Интересно было бы узнать чувства Лавкрафта, которые он испытывал, пока эти женщины занимались перетягиванием каната. Но во всех своих письмах за этот период он благоразумно замалчивает данную тему. Очевидно, склонный поначалу согласиться с предложением Сони, он неожиданно изменил свое мнение и принял – хотя бы и молчаливым согласием – точку зрения тетушек. В Нью-Йорке он изливал похвалы Соне за ее «изумительно благородное» отношение. Он заявил, что после того, что она сделала для него, он никогда ее не покинет: «Я надеюсь, что она не воспримет переезд чересчур уныло либо как нечто достойное осуждения с точки зрения верности и хороших манер».

«Отношение СГ во всех подобных вопросах такое доброжелательное и великодушное, что любой замысел долго временной изоляции с моей стороны показался бы едва ли не варварским и совершенно несовместимым с нормами хорошего тона, которые побуждают ценить и уважать самую бескорыстную и исключительную преданность»[377].

Более того, он торопил Соню с приездом в Провиденс. Когда же наступил критический момент, он, в сущности, все-таки порвал с ней. Лавмэн заметил: «Лавкрафт обращался с ней – сознательно или же нет – бессердечно». Можно понять, почему Лавкрафт так и не обсуждал этот эпизод.

Возможно, уступчивость Лавкрафта по отношению к тетушкам была не просто слабостью в его намерениях, но выходом его собственного желания. Его замечание годичной давности о проживании в Провиденсе – «если я когда-либо заработаю денег, чтобы жить там как подобает члену моей семьи» – подразумевает, что он разделял мнение своих тетушек о подобающем для Филлипсов образе жизни на этой священной земле.

Такой человек будет либо содержать жену, либо же обходиться без нее. Находиться у нее на содержании – позор для имени семьи. Поскольку Лавкрафт не мог обеспечивать Соню и даже вносить свою долю в их совместные расходы, он спокойно позволил тетушкам прогнать ее. Таким образом, он уклонился

как от супружеских обязанностей, так и от какого-либо чувства вины за их невыполнение.

Со стороны Лавкрафта положение было нелегким. Это происходило задолго до движения за освобождение женщин. Распространенное мнение, будто глава семьи должен приносить весь – или, по крайней мере, большую его часть – семейный заработок, было гораздо устойчивее, нежели сейчас.

Лавкрафт никогда не прикидывался тем, кем он не был. Соня взяла на себя инициативу в ухаживании, хотя он и пытался предупредить ее о том, во что она ввязывается. И если после рассматриваемого события он едва ли выглядел героем, то его стать не стала бы величественней, продолжай он позволять Соне его содержать.

Пять лет спустя Лавкрафт писал Дерлету: «Моя собственная авантюра с супружеством закончилась бракоразводным процессом по причинам на 98 процентов финансовым». Эта оценка не учитывает других весомых факторов, таких как его топомания (его фантастическая привязанность к определенному месту), ксенофобия и сексуальное подавление. Тем не менее вполне вероятно, что эти другие преграды могли бы быть преодолены, если бы Лавкрафт смог достойно зарабатывать на жизнь. В последний год своей жизни он написал более взвешенный отчет: «Я горячо одобряю гармоничное супружество, но принял внешнее сходство за сущностное. Маленькие сходства не выросли, как ожидалось, больше – да и маленькие различия не стали, как ожидалось, меньше. Вместо этого в обоих случаях произошло обратное – не без помощи, несомненно, финансовой ненадежности, неизменно являющейся врагом семейного регулирования. Стремления и внешние предпочтения расходились все больше и больше – пока наконец – хотя и без действительных упреков или даже горечи с какой-либо стороны – Высшему суду округа Провиденс не позволили осуществить его исправительные и разводящие функции, и Старый Джентльмен не был вновь возведен в строгий холостяцкий сан»[378].

Соня изложила свою точку зрения на фиаско в статье, написанной после смерти Лавкрафта для провиденсской газеты: «Я верю, что он любил меня настолько сильно, насколько только можно любить с тем характером, что у него был. Он никогда не упоминал слова „любовь“. Обычно он говорил: „Моя дорогая, ты даже не знаешь, как высоко я тебя ценю“. Я пыталась понять его и была благодарна за любые крохи, что слетали с его губ в мой адрес… Я разглядела в Говарде сократову мудрость и гений. Я надеялась со временем смягчить его больше, вытащить его из бездонных глубин одиночества и психических комплексов при

помощи подлинной, супружеской любви. Боюсь, мой оптимизм и чрезмерная самонадеянность ввели нас обоих в заблуждение. (Его любовь к сверхъестественному и таинственному, я уверена, произошла от полнейшего одиночества.)

Другими словами, я надеялась, что мои объятья превратят его не только в великого гения, но также в любовника и мужа. Но в то время как гений развивался и выбирался из куколки, любовник и муж отступали на задний план, пока не превратились в призраков и наконец не исчезли совсем»[379].

Бедная энергичная, щедрая, руководящая, любящая Соня! Мораль представляется следующей: девушки, не выходите замуж за мужчину с мыслью «сделать из него человека» или как-то по-другому радикально изменить его нрав. Не получится. Принимайте его таким, какой он есть, либо не принимайте совсем.

Лишь только обосновавшись в Провиденсе, Лавкрафт вернулся к своему старому обычному распорядку. Он мало ел, не ложился почти всю ночь, днем спал. Он проводил время за чтением, писанием и прогулками. За исключением более поздних путешествий, он, по существу, так и провел остаток своей жизни.

Лавкрафт заявил: «Если бы я мог получать материал для переработки в избытке, то больше не писал бы рассказов для этих дешевых торгашеских поставщиков. Публика из безвольных недоумков, стоящая над душой, пока пишешь, портит стиль». Он полагал, что его стиль был чем-то редким и ценным, что переделка под коммерческие требования «испортила» бы. В действительности же его стиль оставляет желать лучшего. В значительной степени вдохновленный По, большей своей частью он относится к тому типу, что ныне считается напыщенным, многословным и громоздким, со множеством длинных предложений, характерных для немецкого языка. В последующие годы он отчасти улучшил его.

Лавкрафт передал некоторые из своих заказов на переработку Клиффорду Эдди, работавшему билетным агентом Гудини. Последний занял место Дэвида Буша как самый крупный и хорошо платящий клиент Лавкрафта по «призрачному авторству». Когда Гудини выступал в Провиденсе в начале октября 1926 года, он пригласил Лавкрафта и семью Эдди на свое шоу, а затем и на ужин со своей женой Беатрис.

Гудини заплатил Лавкрафту семьдесят пять долларов за статью, разоблачающую хитрости астрологии. Он хотел, чтобы Лавкрафт написал для него еще одну, о колдовстве, и приехал в Детройт для сотрудничества. Опасаясь новой ссылки, Лавкрафт

отделался от Гудини. Следующее, что он о нем услышал, была его неизлечимая болезнь.

Одним из новых корреспондентов Лавкрафта был крепкий белокурый юноша из Саук-Сити, штат Висконсин, Август Уильям Дерлет (1909–1971). Первокурсник Висконсинского университета, Дерлет был немецкого происхождения и, по его словам, изначально вел род от французского дворянина – эмигранта графа Д'Эрлетта. Обладая литературными устремлениями, 16 июля 1926 года он написал Лавкрафту. С тех пор они поддерживали еженедельную переписку на протяжении десяти лет.

Другие корреспонденты рассказали Лавкрафту, что Клуб Кэлем провел собрание в честь своего убывшего члена. Лавкрафт был польщен, что они скучают без него, но скромно отказался от их похвал: «Правда состоит в том, что я действительно самый что ни на есть не-интеллектуал, если не почти безусловный антиинтеллектуал. Я не переношу математику, не испытываю интереса к подвигам интеллектуальной живости, не обладаю особой быстротой в понимании и, безусловно, совершенно не отмечен способностью удерживать в голове множество одновременных нитей сложного вопроса… Это правда, что я восхищаюсь и уважаю интеллект чрезвычайно, но неправда, что я им обладаю».

Лавкрафт писал, что «Нью-Йорк был кошмаром» и что «Америка проиграла Нью-Йорк полукровкам, но солнце сияет все так же ярко над Провиденсом, Портсмутом, Салемом и Марблхедом – я потерял 1924 и 1925 года, но рассвет весеннего 1926–го так же прекрасен, как я и видел его из Род-айлендских окон!»[380]

На своих длительных прогулках он обнаружил, что знает Провиденс не так хорошо, как предполагал. Он открыл, что в нем есть «самые отвратительные трущобы, какие только может представить человечество», населенные «слизнеподобными существами… которые кишат повсюду и хрипят в едком дыму, выходящем из проходящих мимо поездов… или тайных подземных алтарей»[381].

Он исследовал гору Плезант, Дэвис-Парк и Федерал-Хилл «и был поражен великолепными итальянскими церквями». Монумент Бенедикта Музыке[382] в Парке Роджера Уильямса привел его в исступленный восторг: «Все видимые объекты – мягкий вычищенный дерн, пронизывающая синева неба и воды, блестящая и немного красноватая белизна самого вздымающегося храма – в сочетании с задним фоном леса за озером, теплом и волшебством разгара весны создают атмосферу неповторимого

очарования и даже своего рода языческой святости»[383].

Вопреки обету никогда не покидать Род-Айленд вновь, сентябрь застал его в Нью-Йорке, в квартире Кирка. Он присутствовал на собрании ожившего Клуба Кэлем и совершил короткую поездку с Соней, приехавшей из Кливленда. Несмотря на его протесты, она настояла на оплате его еще одной экскурсии по старине Филадельфии.

В октябре Лавкрафт и Энни Гэмвелл совершили автобусную поездку по родовым местам западного Род-Айленда – городкам Фостер и Мусап-Велли. Они искали дома предков, а также дальних родственников: «Единственный изъян в картине – недавний социально-этнический, ибо ФИННЫ, будь они прокляты вовеки веков, купили дом старого Джоба Плейса! Эта финская чума поразила Северный Фостер лет десять назад, но едва ли добилась настоящего устойчивого положения в Мусап-Велли, где лишь две семьи портят в остальном прочную колониальность. Их редко слышно или видно – но все-таки у меня мурашки по телу бегают при мысли об этой коровьей деревенщине в доме, где родилась жена моего двоюродного дедушки, – и топчущей древнее кладбище Плейсов!»[384]

Тот факт, что финны, хотя и не говорящие на индоевропейском языке, в основном относятся к нордическому расовому типу, их не пощадил. Письмо, написанное Лавкрафтом Лонгу в августе, по сути, содержит одну из его самых вопиющих вспышек против национальных меньшинств – в тираде, против которой вряд ли возразил бы Гитлер: «И, конечно же, проблему монголоидов Нью-Йорка нельзя рассматривать спокойно. Город осквернен и проклят – я покинул его с чувством, что замарался от соприкосновения с ним, и какому-нибудь растворителю для забвения потребуется много времени, чтобы очистить меня!.. Как, во имя Неба, восприимчивый и обладающий чувством собственного достоинства белый человек может продолжать жить в мешанине азиатских отбросов, в которую превратилась эта территория – с отметинами и напоминаниями о нашествии саранчи со всех сторон, – совершенно выше моего понимания… Здесь серьезная и огромная проблема, по сравнению с которой негритянский вопрос – просто шутка, ибо в этом случае нам приходится иметь дело не с невинными полугориллами, но с желтыми, бездушными врагами, чьи омерзительные туши вмещают опасные душевные машины, бескультурно извращенные в единственной жажде материальной выгоды любой ценой. Я надеюсь, что концом будет война – но не раньше того времени, когда наши умы полностью освободятся от гуманистических барьеров сирийского суеверия, навязанного нам Константином…

…В Новой Англии у нас собственные местные напасти… в виде обезьяноподобных португальцев, неописуемых южных итальянцев и тарабарящих франко-канадцев. В общих чертах, наша напасть – романская, так же как ваша – семито-монголоидная, в Миссисипи – африканская, в Питсбурге – славянская, в Аризоне – мексиканская, а в Калифорнии – китайско-японская»[385].

По крайней мере, Лавкрафт был беспристрастен к неанглосаксам. Он ненавидел их всех. Могу лишь заметить, что обвинение иностранца в «тарабарщине» – одно из любимых слов Лавкрафта уничижительного значения – всего лишь другой способ сказать, что обвинитель не понимает его языка. Незнание иностранного языка хотя и простительно, но едва ли является разумным предметом гордости.

Теперь Лавкрафт говорил меньше о превосходстве нордической расы над другими европеоидными расами и больше о несовместимости культурных принципов. В то время как большинство американских интеллектуалов отказывалось от своих национальных фобий, он продолжал за них цепляться – прямо как Коттон Мазер в старости, жаловавшийся, что, кажется, уже никто не воспринимает колдовство всерьез.

Лавкрафт признался Кларку Эштону Смиту, что не читал «Серебряного жеребца»[386] Джеймса Бранча Кабелла, добавив: «Ирония интересовала меня раньше, когда я был моложе и более впечатлен бренностью вещей, которые она высмеивает… Я бесконечно предпочитаю Кабеллу Дансейни – он обладает неподдельным волшебством и свежестью, которых, судя по всему, утомительному софисту недостает».

Даже Дансейни, считал он, «уже не пишет тот материал, что писал двадцать лет назад». Из рассказов Дансейни он предпочитал ранние – из «Богов Пеганы» (1905) и еще семи сборников, что были изданы до 1919 года. Поздние же его работы Лавкрафт порицал в основном за то, что Дансейни увлекся юмором. Хотя и отнюдь не лишенный чувства юмора в письмах и разговорах, Лавкрафт осуждал его в художественных произведениях. Он полагал, что юмор портит любой жуткий эффект, который мог бы быть в рассказе, а сверхъестественный эффект был как раз тем, что Лавкрафт ценил более всего.

Рассказы, которыми Лавкрафт восторгался более всего, были из тех, что вызывали у него frisson[387] своим эффектом потусторонности. Этот эффект, утверждал он, лучше всего достигается «мощным воздействием временного прекращения действия законов природы и близкого присутствия невидимых

миров или сил». Он больше не почитал фантастику Герберта Уэллса, поскольку его «фантазия слишком рассчитана и научна, а скрытая тенденция к социальной сатире принижает ее убедительность».

Среди работ По Лавкрафт не любил «Колодец и маятник» – в основном потому, что ужасы этого рассказа «слишком явно физические»[388]. Он считал «Падение дома Ашеров» лучшим из произведений По.

Он был знаком и с современной реалистической художественной литературой – и даже называл Теодора Драйзера «великим художником», несмотря на топорность его прозы. Но Лавкрафта не интересовали вещи, о которых Драйзер писал. Не увлекала его и «сентиментальность Диккенса, героическая помпезность обоих Дюма или слащавость Виктора Гюго». Подлинная фантазия, как у Дансейни и Кларка Эштона Смита, говорил он, «обладает правдивостью, достоинством и значительным местом в эстетике, которых… нет в сентиментальном светском романе»[389].

Любимой повестью Мейчена у Лавкрафта была «Холм грез» (1907). В этом небольшом романе рассказывается об английском мальчике, сыне сельского священника. Герой, обладающий поэтическими наклонностями, уезжает в город, все бьется и бьется, становится наркоманом, сходит с ума и заканчивает жизнь самоубийством. История из того рода, что были популярны в девятнадцатом и начале двадцатого веков – о сверхчувствительном художнике, ненавидимом и гонимом обывателями жестокого и грубого мира. «Холм грез» содержит автобиографические черты – хотя сам Мейчен, которому пришлось побороться, дожил до почтенных лет.

Особенно Лавкрафту нравились в этом произведении сны, в которых герой Мейчена переносится в Британию римских времен. Лавкрафт обожал атмосферу, даже чересчур приукрашенную, как в данном случае, а «Холм грез» просто пропитан атмосферностью. Но это не для тех, кто в своих произведениях предпочитает развитие событий. Для Лавкрафта же произведения с действиями относились к литературному «дну»[390].

Лавкрафт признавал еще одного мастера фантастики – Уолтера де ла Мара, чей роман «Возвращение» (1911) очень его привлекал. Он повествует о человеке, которым пытается завладеть дух давно умершего французского колдуна. Однако дух добивается цели лишь частично: он изменяет внешний вид этого человека до похожего на колдуна, но ему не удается овладеть его разумом. Так что герой пробуждается и обнаруживает, что у него другое лицо, ко вполне понятному ужасу своей жены.

Лавкрафт чувствовал, что его собственные произведения ухудшаются: «Моя техника, я полагаю, лучше той, что была в моей молодости. Но всегда подозреваешь, что вопреки техническому улучшению может быть и параллельное ослабление напряженности и живости твоей работы, по мере того как незаметно переходишь от насыщенной и всему удивляющейся юности к бесстрастному и циничному среднему возрасту»[391].

В ответ на колонку «Почему я люблю Провиденс» в «Провиденс Санди Джорнал» Лавкрафт написал в газету длинное письмо, призывая к защите колониальных зданий, восстановлению старых строений и запрету небоскребов: «Эти замечания вызваны волной увлечения заменой зданий, которая как раз захлестнула наш город… Никто, и это правда, не огорчен лицезрением конца или его ожиданием таких викторианских язв, как Биржа Батлера, Зал Пехоты и чудовищное здание Высшего суда, но когда сносится гармоничное георгианское строение вроде старого особняка Батлера рядом с Галереей, казалось бы, самое время задаться вопросом, является ли эта перемена действительно гражданской необходимостью или же это лишь проявление грубого, неугомонного коммерческого авантюризма…

Сокровища, подобные этим, слишком драгоценны, чтобы терять их без борьбы, и заслуживают всех усилий и финансирования, которые могут быть затрачены на помощь им против вторжений обывательщины разрастающегося города. Любой быстро растущий нефтяной центр может иметь яркие огни, небоскребы и многоквартирные дома, но лишь горячо любимое прибежище веков безупречного вкуса и утонченного стиля жизни обладает увенчанными вазами и увитыми плющом стенами, видами с остроконечными крышами и шпилями, непредсказуемыми изгибами мощеных дворов и аллей и всеми прочими разнообразными штрихами старинного пейзажа, что означают Провиденс для тех его подлинных уроженцев, кто в нем вырос и кто лелеет каждое его настроение и вид, лето и зиму, солнце и дождь»[392].

Когда Лавкрафт писал это, викторианская архитектура и мебель считались проявлением самой что ни на есть безвкусицы, и выражение «викторианское уродство» было расхожим клише. С тех пор викторианские постройки поднялись в глазах общественности. Их выдающиеся образцы оберегаются. По прошествии времени, возможно, викторианские реликты будут считаться такими же ценными, каковыми были колониальные во времена Лавкрафта. Но сам Лавкрафт никогда объективно не рассматривал эти приливы и отливы вкусов. Ибо его веком был восемнадцатый, и по определению произведения этого периода

были навсегда выше остальных.

В мае Хеннебергер предложил, что он попробует продать собрание рассказов Лавкрафта. Это было первое из ряда подобных предложений, но все они так ни к чему и не привели.

В двадцатых годах двадцатого века еще не существовало небольших, полупрофессиональных издательств, специализирующихся на научной фантастике, книги в бумажной обложке также не выпускались. Бульварные романы в мягкой обложке были популярны среди юных читателей Америки до Первой мировой войны, но вышли из употребления в Соединенных Штатах. Вторая мировая война, с ее нехваткой бумаги и грузового пространства, воскресила бумажные обложки.

Во времена Лавкрафта единственным книжным рынком, который предлагали издатели, был рынок книг в переплете из материи. И тогда, и сейчас подобные издатели обычно считаются со сборниками рассказов только признанных писателей. Опубликовать такой сборник неизвестного автора означает возможную потерю денег. Неизвестный писатель, создавший хороший роман, как правило, может продать его, но сборник рассказов ему удается продать лишь изредка.

Летом 1926 года у Лавкрафта начался один из его величайших всплесков художественной производительности. Период с сентября 1926–го по июль 1927–го лицезрел написание шести рассказов, включая и некоторые из его главнейших работ.

За сентябрь и октябрь он написал «Зов Ктулху», который набросал еще перед отъездом из Нью-Йорка. Эта повесть в двенадцать тысяч слов продемонстрировала развитие лавкрафтовской прозы.

В своих ранних рассказах Лавкрафт вводил элементы, которые позже сформировали часть так называемого Мифа Ктулху. Термин означает художественный фон примерно дюжины его рассказов, построенный на едином вымышленном окружении и наборе положений.

Рассказы Мифа Ктулху не образуют последовательного целого, так как Лавкрафт не проработал в деталях свои положения. Каждый рассказ – независимая часть, разделяющая элементы с другими рассказами, но не согласующаяся с ними полностью.

В «Ньярлатхотепе» (написанном в 1920 году) Лавкрафт впервые ввел самого Ньярлатхотепа. В «Безымянном городе» (1921) он привнес Абдула Аль-Хазреда и его загадочное двустишие. В «Гончей» (1922) он упомянул шедевр Абдула,

проклятый «Некрономикон». В «Празднике» (1922)[393] он вывел на сцену «Некрономикон» (вместе с другими оккультными книгами, настоящими и вымышленными) и позволил своему герою процитировать кое-что из его прозы, напоминающей Ницше. Также в «Празднике» вводятся вымышленные города Новой Англии Кингспорт и Аркхэм, художественные дубликаты Марблхеда и Салема соответственно, и Мискатоникский университет в Аркхэме.

Идеи Мифа Ктулху используются в рассказах Лавкрафта в различной степени. Иногда они центральные в рассказе, а иногда лишь упоминаются. Поэтому существуют разногласия касательно того, какие рассказы следует относить к Мифу. (Название «Миф Ктулху» никогда не использовалось самим Лавкрафтом, а было придумано после его смерти. Порой он шутливо говорил об этих рассказах как о своих «Ктулхуизме или Йог-Сототике».)

«Зов Ктулху» – главный рассказ этого цикла. В нем впервые была полностью использована концепция, которую Лавкрафт описывал так: «Все мои рассказы основаны на фундаментальной предпосылке, что всеобщие человеческие законы и чувства не действенны или же не значимы в неограниченном космосе… Чтобы добиться сущности подлинного внешнего… необходимо напрочь забыть, что существуют такие вещи, как органическая жизнь, добро и зло, любовь и ненависть и все подобные местные черты незначительной и временной расы, именуемой человечеством»[394].

Рассказы цикла предполагают, что Землей некогда правила раса сверхъестественных – или, по крайней мере, сверхчеловеческих – могущественных существ – Великих Древних или Древних[395]. В некоторых рассказах они – сверхъестественные существа, обладающие полубожественным могуществом, в других же выступают как пришельцы или захватчики с другой планеты. В одних случаях они были парализованы безликими космическими силами, в других – разгромлены, изолированы или изгнаны в борьбе с другими внеземными существами. Древние, однако, борются за возвращение владычества над Землей. Безрассудные смертные нарушают изоляцию Великих Древних, которые вследствие этого начинают ужасающе себя проявлять. Иногда Древние уязвимы перед магическими заклинаниями, иногда перед более материальным оружием, а иногда и ни перед чем, что смертные могли бы применить против них.

Как и большинство рассказов Лавкрафта, «Зов Ктулху» ведется от первого лица. Он начинается: «Самой милосердной вещью в мире, я полагаю, является неспособность человеческого

разума соотносить между собой все его содержимое. Мы живем на безмятежном островке неведения посреди черных морей бесконечности, и нам не было предначертано отправиться в далекое плавание. Науки, каждая из которых простирается в своем собственном направлении, до настоящего времени причинили нам немного вреда, но однажды знание, объединенное из разрозненных частей в одно целое, раскроет такие кошмарные перспективы реальности и наше ужасающее положение в ней, что мы либо сойдем с ума от этого откровения, либо укроемся от смертельного света в покое и безопасности нового средневековья».

После дальнейшей лекции о «странных пережитках запретных эпох» начинается собственно рассказ: «Мое знакомство с событиями началось зимой 1926–1927 годов со смертью моего двоюродного деда Джорджа Гэмвелла Энджелла, заслуженного профессора в отставке, изучавшего семитские языки в Университете Брауна, Провиденс, штат Род-Айленд»[396].

Двоюродный дед со старым добрым Род-айлендским именем внезапно умирает в девяносто два года после «столкновения с негром, похожим на моряка», на улице Провиденса. В качестве наследника и душеприказчика Энджелла рассказчик просматривает его личные вещи. Среди них пластина из обожженной глины размером с маленькую книгу с нанесенным непонятным текстом и барельефом гротескной фигуры. Хотя в некотором роде и человекоподобная, фигура эта обладает чешуйчатым телом, длинными когтями, крыльями и головой, с лица которой свисают щупальца, как у осьминога.

Два года назад эту вещь, созданную по увиденному в снах, подарил профессору нервный молодой художник по имени Уилкокс. Он рассказал Энджеллу о своих снах об «огромных циклопических городах из титанических блоков и взметнувшихся к небесам монолитов, покрытых сочащейся зеленой тиной и зловещих своим скрытым ужасом». В этих снах Уилкокс слышал некий голос, говорящий на неизвестном языке, из которого он разобрал только «Ктулху фхтагн».

Лавкрафт объяснил эту груду букв попыткой отразить звуки нечеловеческих голосовых органов, которые нельзя точно отобразить на письме. Он говорил, что «Ктулху» («Cthulhu») равным образом можно было бы представить как «Хлул-хлу» («Khlul-hloo», «и» как в «full») или «тлу-лу» («tluh-luh»)[397].

В 1908 году инспектор полиции из Нового Орлеана, Джон Р. Леграсс, принес на антропологическую конференцию статуэтку похожего кальмароголового чудовища, напоминавшего также и идола культа одного вырождающегося племени эскимосов.

Леграсс разогнал сборище подобного культа, практиковавшего человеческие жертвоприношения. Плененный приверженец этого культа по имени Кастро объяснил: «Были эры, когда другие Твари правили Землей, И у Них были огромные каменные города. Их остатки… все еще можно найти в виде циклопических камней на островах в Тихом океане. Все Они умерли за множество эпох до появления человека, но существуют искусства, которые могут Их воскресить, когда звезды вновь займут необходимое положение в цикле вечности. Они действительно явились со звезд, и Они принесли с Собой Свои изваяния.

Эти Великие Древние, продолжал Кастро, не состоят всецело из плоти и крови. У Них есть форма – разве не доказывает этого сей идол со звезд? – но форма не образована материей. Когда звезды находятся в надлежащем положении, Они могут нырять через небеса из мира в мир, когда же положение звезд иное, Они не могут жить. Но хотя Они больше и не живут, Они не могут по-настоящему умереть. Все Они лежат в каменных домах в Своем огромном городе Р'лие, оберегаемые заклинаниями могущественного Ктулху для славного воскрешения, когда звезды и Земля еще раз будут готовы для Них».

Поскольку для оживления Им нужна была посторонняя помощь, Они телепатически переговорили с восприимчивыми людьми и организовали культ для проведения надлежащих ритуалов, когда придет время.

Заключительная часть головоломки – газетный очерк об обнаружении судна с одним живым моряком на борту. Этот живой моряк, Йохансен, был единственным уцелевшим из отряда, высадившегося на неизвестном острове, поднявшемся из океана.

Рассказчик отправляется в Норвегию встретиться с Йохансеном, но выясняет, что тот совсем недавно умер. Йохансен оставил воспоминания, которые его вдова передает герою рассказа. На острове отряд подвергся нападению самого Ктулху – огромного студенистого существа. Йохансену удалось спастись. Рассказчик уверен, что Энджелл и Йохансен умерли, потому что «знали слишком много», и опасается разделить их судьбу.

«Зов Ктулху» – превосходный рассказ в своем роде, написанный в основном простой репортерской прозой. Более того, Лавкрафт впервые собрал свои концепции в связное целое.

При первом представлении Фарнсуорт Райт – как он обычно и поступал с потрясающе новыми идеями – забраковал «Зов Ктулху». Следующим летом, однако, он попросил взглянуть на него снова. Лавкрафт представил его с двумя другими рассказами и одним из своих пораженческих писем. Он поносил традиционные межпланетные рассказы вроде сказок Берроуза о

Джоне Картере (которые в юности он любил) с их доблестным человеческим героем, влюбившимся в прекрасную инопланетную принцессу: «Если бы я писал „межпланетный“ рассказ, то он имел бы дело с существами, организованными весьма отлично от земных млекопитающих и руководствующихся мотивами, совершенно чуждыми всему, что мы знаем на Земле, – точная степень чуждости зависит, конечно же, от места действия рассказа – либо находящегося в Солнечной системе, либо еще дальше в совершенно непостигаемых безднах… Я лишь подступил к этому в „Ктулху“, где тщательно избегал земного в некоторых лингвистических и терминологических образцах из Вне, которое я показываю. Все очень хорошо – но стерпят ли это читатели? И это все, что они, вероятно, получат от меня в будущем – за исключением случаев, когда я буду затрагивать явно земные сцены, – и я последний, кто будет убеждать принять материал сомнительной ценности для особого предназначения журнала».

Вопреки неумению Лавкрафта преподносить материал, Райт купил рассказ за сто шестьдесят пять долларов. Он был напечатан в «Виэрд Тэйлз» за февраль 1928 года.

Согласно списку, который Лавкрафт вложил в более позднее письмо, рассказом, последовавшим за «Зовом Ктулху», был «Холодный воздух» (три с половиной тысячи слов). Этот пустячок – традиционные ужасы с небольшой долей научной фантастики, явное подражание рассказу По «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром».

Герой рассказывает, как, проживая в пансионате в Нью-Йорке, он знакомится с жителем того же дома доктором Муньосом. Этот пожилой врач – испанец живет в комнате, в которой холодильной установкой поддерживается низкая температура. По прошествии времени установка ломается. Муньос умирает и тотчас распадается на то, что По в похожем рассказе назвал «полужидкой омерзительной гниющей массой». Муньос в действительности был мертв уже восемнадцать лет, но сохранялся в живом виде при помощи передовой медицинской техники и холода.

Во время посещения Бостона Лавкрафт осмотрел квартал очень старых домов в Норт-энде. Он слышал о тоннелях, соединяющих подвалы домов, предположительно использовавшихся контрабандистами в колониальные времена, и это предание положило начало рассказу «Модель Пикмана» объемом в пять тысяч слов.

«Модель Пикмана» – более традиционный рассказ для «Виэрд

Тэйлз», нежели большинство произведений Лавкрафта. Герой рассказывает своему другу Элиоту об эксцентричном бостонском художнике Ричарде Аптоне Пикмане. Происшествие, связанное с Пикманом, закончилось для него нервным потрясением, из-за которого он теперь не может заходить в бостонскую подземку. Сам же Пикман исчез.

Художник, по словам рассказчика, обосновал свою студию в подвале одного из старинных домов Норт-энда. Там он писал вселяющие ужас картины пиршествующих гулов[398]. На особенно жутком полотне приколота фотография, на которой изображена чудовищная модель картины, из-за нее-то рассказчик (подобно многим героям Лавкрафта) заходится криком и убегает: «… Ей-богу, Элиот, это была фотография с натуры»[399].

Рассказ относится к среднему разряду лавкрафтовских произведений или даже несколько ниже, поскольку проявляет свою эффектность слишком рано. При последующем посещении Бостона Лавкрафт к своему ужасу обнаружил, что древние дома, на которых был основан его рассказ, были все снесены в развитии недвижимости.

Позже в 1926 году Лавкрафт написал еще два коротких рассказа: «Серебряный Ключ» и «Таинственный дом в туманном поднебесье». «Серебряный Ключ» (пять тысяч слов) – еще один рассказ, погруженный в дансейнинский сновиденческий мир Лавкрафта, или, скорее, это рассказ о Рэндольфе Картере, когда он больше не может попадать в сны: «Когда Рэндольфу Картеру исполнилось тридцать лет, он потерял ключ от ворот снов. До этого времени он компенсировал прозаичность жизни еженощными путешествиями в удивительные и древние города за пределами пространства и в прекрасные, неслыханные края садов за неземными морями. Но когда его сковал средний возраст, он почувствовал, что эти привилегии мало-помалу ускользают от него, пока наконец он не лишился их совсем. Больше не плыли его галеры по реке Укранос мимо позолоченных шпилей Франа и не ступали его караваны слонов через благоухающие джунгли Кледа, где позабытые дворцы с растрескавшимися колоннами из слоновой кости спали, прекрасны и нетревожимы, под луной».

Для Лавкрафта было типично определять средний возраст начиная с тридцати. Друзья Картера пытаются убедить его в важности реального мира: «Поэтому Картер старался делать то же, что и другие, и притворялся, будто банальные события и чувства приземленных умов важнее фантазий редкостных и утонченных душ»[400].

С грустью размышляя о том, «как пусты, ненадежны и

бессмысленны все человеческие устремления», Картер пробует религию, науку, оккультизм, путешествия и писательство – но все напрасно. Он находит лишь «боль, уродство и отсутствие гармонии… нужду и лишения». На протяжении нескольких страниц Лавкрафт распространяется о том, как Картер страдает от «суетности и тщетности реальности».

Наконец, Картер вспоминает о фамильной ценности в виде большого серебряного ключа. Он возвращается в пристанище детства близ Аркхэма, при помощи ключа вновь становится мальчиком и исчезает из реального мира. Рассказчик полагает, что Картер использовал ключ для возвращения в свой мир снов: «Я спрошу его, когда увижу, ибо я ожидаю вскоре встретить его в неком сновиденческом городе, который мы оба раньше посещали. В Ултаре, что за рекой Скай, ходят слухи, что новый король восседает на троне Илек-Вада, этого легендарного города над пустотелыми скалами из стекла, возвышающимися над сумеречным морем, в которых бородатые гнорри с плавниками создают свои необыкновенные лабиринты…»

Как и в большинстве поздних рассказов Лавкрафта, стиль «Серебряного Ключа» весьма искусен. Но Рэндольф Картер – это второе «я» Лавкрафта, и автор просто погряз в оргии нарциссизма, пронизанного жалостью к себе. Он воображает, что его обладание «редкостной и утонченной душой» дает ему право на жизнь в вечном эстетическом наслаждении, выше потребностей обыкновенных болванов.

Как-то Лавкрафт раскритиковал свою раннюю фантазию «Белый корабль» как «крайне слащавую и жеманную». Мне же кажется, что такая критика более заслуженно подходит к «Серебряному Ключу», который не понравился многим читателям «Виэрд Тэйлз».

«Таинственный дом в туманном поднебесье» (три тысячи восемьсот слов) находится в Кингспорте, месте действия «Страшного старика». Лавкрафт почерпнул идею утесов, что фигурируют в рассказе, во время своей поездки с Соней в Марблхед. На одной из этих скал, возвышающихся над морем, стоит дом, в который невозможно проникнуть со стороны моря, если только не умеешь летать. Но единственная дверь в дом располагается как раз на этой стороне, и стена там стоит вровень с отвесным склоном утеса.

Некий философ, Томас Олни, проводит лето в Кингспорте «с полной женой и шумливыми детьми». Испытывая любопытство к странному дому, Олни продирается через лес под ним и стучит в его окна. Чернобородый мужчина в старинном костюме помогает

ему перелезть через подоконник и радушно его принимает. Мужчина рассказывает Олни сказки об Атлантиде, Иных Богах и подобных чудесах.

В дверь со стороны моря раздается особый условленный стук. Входят Нептун со свитой тритонов и нереид и «убеленная сединами ужасная фигура древнего Ноденса, Повелителя Великой Бездны»[401]. Это Старший Бог, упомянутый где-то еще в Мифе Ктулху. Ноденс помогает Олни войти в огромную раковину, в которой он ездит, и увозит его на прогулку. На следующий день Олни возвращается домой, но в таинственном доме в поднебесье он оставил частицу своей души, и поэтому он уже никогда не будет таким, как прежде. Эта очаровательная сказка относится как к дансейнинскому циклу, так и к циклу Мифа Ктулху.

Оба рассказа были отосланы Райту вместе со вторым предложением «Зова Ктулху», но тот отверг их. Как это уже бывало, позже он передумал и купил оба. Он заплатил за «Таинственный дом в туманном поднебесье» пятьдесят пять долларов.

В ноябре 1926 года Лавкрафт принялся за сновиденческую фантазию в дансейнинском стиле. Он писал Дерлету: «Я уничтожил множество рассказов как лежащие ниже даже моих самых снисходительных критериев, и я не уверен, что подобная судьба не постигнет объемистую фантазию, что я стряпаю в данный момент».

По мере продвижения с повестью он становился мрачнее: «Остается только представить себе, насколько удачной может быть эта причудливость, растянувшаяся до размеров романа. Сейчас я на 72–й странице своей сновиденческой фантазии и весьма опасаюсь, что приключения Рэндольфа Картера, возможно, достигли той точки, когда окажутся утомительными для читателя, или же само изобилие сверхъестественных образов разрушило силу любого из образов, должных производить желаемое впечатление странности… Возможно, работа в целом займет около ста страниц – маленькая книжка, – и маловероятно, что она когда-либо увидит свет в напечатанном виде»[402].

Его перо неутомимо летало, и примерно в конце января 1927 года он закончил повесть. При своих тридцати восьми тысячах слов «Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого» были самым длинным произведением из когда-либо им написанных.

Лавкрафт считал, что повесть «не очень-то хороша, зато дает полезную практику для дальнейших и более достоверных проб в форме романа». Фрэнку Лонгу придется приехать в Провиденс, чтобы взглянуть на нее, ибо «перепечатка манускриптов

подобного объема совершенно не по силам немощному старому джентльмену, теряющему всякий интерес к рассказу в тот момент, когда он его заканчивает»[403].

Лавкрафт действительно так и не перепечатал этот труд. К счастью, его любительское отношение к своим произведениям все-таки не лишило нас этой замечательной, хотя и забракованной повести. После смерти Лавкрафта Барлоу передал рукопись Дерлету, который и опубликовал ее.

Повесть в том виде, в каком мы ею располагаем, является черновиком, который так и не был доработан. Трудно предположить, купил бы ее Райт для «Виэрд Тэйлз». Однако, если бы Лавкрафт дожил до появления журнала «Анноун» («Неведомое») в 1939 году, «Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого», должным образом отредактированные, были бы весьма подходящими для него.

В этом произведении описываются приключения Рэндольфа Картера, лавкрафтовского ученого холостяка из Бостона, в краю снов его ранних дансейнинских рассказов. Этот край, более или менее соразмерный с явным миром, существует в другом измерении. Повесть начинается: «Трижды Рэндольф Картер видел во сне тот чудесный город, и трижды его вырывали оттуда, когда он в безмолвии замирал на высокой террасе над ним. Прекрасный, весь в золоте, сверкал он в лучах заходящего солнца – со стенами, храмами, колоннадами и арочными мостами из мрамора с прожилками, фонтанами в серебряных чашах, радужно переливающимися на просторных площадях и в благоухающих садах; и широкими улицами, стелющимися между изящными деревьями, полными цветов вазами и статуями из слоновой кости, выстроившимися в мерцающие ряды, – а на его крутые северные склоны взбирались ярусы крыш из красной черепицы и старых остроконечных фронтонов, скрывающих узкие дорожки с пробивающейся меж булыжников травой…

Когда и в третий раз он проснулся, так и не спустившись по тем пролетам и так и не побродив в тишине того заката, он долго и истово молился скрытым богам снов, что капризно нависают над облаками Кадафа Неведомого, по холодной пустоши которого не ступала нога человека. Но боги не дали ответа и не смягчились, и не выказали они хоть какого-то знака расположения, когда молился он им во сне и заклинал их жертвоприношениями при помощи бородатых жрецов Нашта и Каман-Та, чей подземный храм с огненной колонной располагается недалеко от ворот в бодрствующий мир…

Наконец, изведенный желанием сверкающих в закате улиц и скрытых меж древних черепичных крыш дорожек на холме…

Картер решился отправиться с дерзкой просьбой туда, куда не доходил прежде человек, и бросить вызов ледяным пустыням во тьме и добраться до того места, где Кадаф Неведомый, окутанный облаками и увенчанный невообразимыми звездами, тайно в ночи хранит ониксовый замок Великих.

В легкой дремоте спустился он по семидесяти ступеням в огненную пещеру и поговорил о своем замысле с бородатыми жрецами Наштом и Каман-Та. Жрецы же покачали увенчанными пшентами[404] головами и возвестили, что это будет смертью его души… Подобные путешествия содержат неисчислимые повсеместные опасности, равно как и ту ужасающую конечную угрозу, что бессвязно бормочет-то, о чем нельзя говорить, – за пределами упорядоченной вселенной, куда не достигают сны; ту окончательную бесформенную гибель из предельного хаоса, что богохульствует и пузырится в самом центре бесконечности, – безграничного султана демонов Азатота, чье имя не осмеливаются произнести вслух ни одни уста и который жадно гложет в непостижимых, лишенных света покоях вне времени среди приглушенного, сводящего с ума боя мерзких барабанов и пронзительного монотонного завывания проклятых флейт, под чьи отвратительные отстукивания и плач медленно, неуклюже и нелепо танцуют гигантские Конечные Боги – слепые, безголосые, мрачные и бездумные Иные Боги, чья душа и посланник есть крадущийся хаос Ньярлатхотеп»[405].

Не смутившись предостережениями жрецов, Картер «отважно спустился по семистам ступеням к Вратам Глубокого Сна и вступил в Зачарованный Лес». Там он держит совет со своими старыми друзьями – маленькими, покрытыми мехом зугами. Далее он идет в Ултар и советуется со старым жрецом Аталом, который сопровождал Барзая Мудрого во время злополучного для него восхождения на Хатег-Кла. Когда же ни Атал, ни Пнакотические манускрипты, ни Семь Тайных Книг Хсана не могут сказать ему, как добраться до Кадафа Неведомого, он опаивает Атала, и тот направляет его к горе Нгранек на острове Ориаб на юге. (Если сопроводительная карта и не согласуется с произведениями полностью, то и сами произведения не согласуются друг с другом.)

С Картером происходит еще множество приключений – с ночными мверзями, чудовищами с Луны, дхолами, гулами, гагами и гастами. (Названия вроде «зуги» и «гаги» придают повести ребячливый налет; Лавкрафт, возможно, изменил бы их при переработке.)

Картер взбирается на гору Нгранек и добирается до недоступного плато Ленг – которое, судя по всему, является не

частью бодрствующего мира, как это было в «Гончей», но сновиденческой версией Тибета. Наконец Картер предстает перед самим Ньярлатхотепом, в его замке на вершине Кадафа Неведомого. Ньярлатхотеп говорит ему: «Да будет тебе известно, что твой чудесный город из золота и мрамора – лишь итог того, что ты видел и любил в юности. Это великолепие бостонских крыш на склонах холмов и западных окон, пламенеющих в закатных лучах; благоухающего цветами Коммона, величественного купола на холме и разбросанных в беспорядке фронтонов и труб в фиолетовой долине, где сонно течет Чарльз, перекрытый множеством мостов. Это и видел ты, Рэндольф Картер, когда твоя няня впервые вывезла тебя в коляске весенней порой, и это будет последним, что предстанет пред твоим взором в воспоминаниях и любви».

Ньярлатхотеп отправляет Картера в путь к его волшебному городу на спине шантака – огромной чешуйчатой птицы с лошадиной головой. Он пытается обмануть исследователя, но Картер отвечает его же оружием и просыпается в своем родном Бостоне.

Мнения об этой повести различны. Некоторые, вроде профессора Сент-Арманда, считают ее лучшим произведением Лавкрафта, другие же – Джеймс Блиш, например – худшим. Сам Лавкрафт называл ее «бледным вторичным дансейнизмом»[406]. В повести слабы сюжет и словесные портреты, а также видна ее недоработанность.

Тем не менее я нахожу, что это зловещее сюрреалистическое сновиденческое повествование увлекает и одной лишь изобретательностью автора. Лавкрафт расточителен на оригинальные, красочные и занятные идеи. Эта повесть принадлежит к тому же разряду сновиденческих произведений, что и «Фантастес» и «Лилит» Джорджа Макдональда и книги об Алисе Льюиса Кэррола.

Параллели между поисками Рэндольфа Картера своего волшебного города, обретением его в родном Бостоне и отъездом Лавкрафта из Провиденса и возвращением обратно весьма трогательны. Лавкрафт тоже был «изведен желанием» своего родного города, даже если некоторые и сочтут подобное чувство непостижимым.

После «Сновиденческих поисков Кадафа Неведомого» Лавкрафт написал «Цвет из космоса» – рассказ в двенадцать тысяч слов, один из лучших из цикла Ктулху. Он начинается: «К западу от Аркхэма вздымаются холмы первозданной дикости, да

простираются долины с густыми лесами, коим неведом топор. Есть там темные узкие лощины меж холмов, по которым причудливо взбираются деревья, и струятся там ручейки, на которые никогда не падал луч света…

Старожилы покинули те края, а иностранцам жить там не нравится. Пытались там обосноваться и франко-канадцы, и итальянцы, приезжали поляки – тоже уехали. И это не из-за того, что можно увидеть или потрогать, но из-за чего-то такого, что воображается. Места те отнюдь не благоприятны для фантазий и по ночам не приносят спокойных снов…»[407]

Рассказчик объясняет, что в этой местности находится «окаянная пустошь», медленно разрастающаяся вокруг бесплодного участка. Он выведывает всю историю у одного из немногих оставшихся старожилов.

В 1882 году в центре района упал метеорит. Это был крайне необычный метеорит, состоящий из кожистой субстанции, которая сбила с толку лаборатории Мискатоникского университета своим убыванием и последующим исчезновением.

Затем все живое в округе поразили загадочные болезни. Растения и животные обезображивались и умирали. Члены семьи с ближайшей фермы один за другим сходили с ума и тоже умирали. Как обнаруживается, инопланетный пришелец, что прибыл с метеоритом, – газообразное существо неземного цвета…

Рассказ написан в простой, вялой повествовательной манере без каких бы то ни было ярких отрывков. Но читатель легко может представить себя в одном из этих холмистых районов юго-востока Новой Англии, где заброшены все фермы, за исключением небольшого числа, и местность возвращается к природной дикости.

В 1904 году в Нью-Йорк приехал молодой изобретатель по имени Хьюго Гернсбэк. Он родился в Люксембурге и получил образование в Германии. Гернсбэк основал «Электро Импортинг Компани» и через четыре года начал выпуск журнала «Модерн Электрике» («Современное электрооборудование»). Это был первый из ряда журналов, издававшихся Гернсбэком, – таких как «Электрикэл Иксперименте» («Электрический экспериментатор») и «Сайэнс энд Инвеншн» («Наука и изобретение»). В некоторых из этих журналов Гернсбэк публиковал научно-фантастические рассказы, написанные им самим или же фантастами того времени.

Гернсбэк верил, что научная фантастика вызовет у молодежи интерес к науке и ознакомит с ее основами. По его мнению, научно-фантастические рассказы должны предсказывать

устройства, которые однажды действительно могут войти в употребление. Гернсбэк изобрел слово «телевизор» еще задолго до того, как аппарат с таким названием стал реальностью.

В 1926 году Гернсбэк начал выпуск первого журнала, посвященного исключительно научной фантастике, – «Эмейзинг Сториз» («Удивительные рассказы»). Через два года он обанкротился и лишился руководства журналом, но вскоре вернулся с другим – «Уандер Сториз» («Рассказы о чудесах»). Через несколько лет этот журнал постигла та же участь.

В течение этих лет Гернсбэк, как и множество издателей, обходившихся малыми средствами, был щедр на обещания своим авторам, но частенько не выплачивал им обещанного. Флетчер Прэтт, трудившийся с Гернсбэком над «Уандер Сториз», переводил европейские научно-фантастические романы, которые впоследствии печатались по частям. Когда несколько частей такого романа были опубликованы, Прэтт принуждал Гернсбэка выплатить ему долг, угрожая оставить перевод незаконченным.

Сомневаясь, что Фарнсуорту Райту понравится «Цвет из космоса», Лавкрафт отправил его в «Эмейзинг Сториз». В июне 1927 года он узнал, что рассказ принят. Он был должным образом напечатан в сентябрьском выпуске.

Однако получение платы за него оказалось проблемой. Лишь в следующем мае, после множества настойчивых писем Лавкрафта, журнал выслал ему чек на двадцать пять долларов. Это составило пятую часть цента за слово – смехотворная цена.

Впоследствии Лавкрафт упоминал Гернсбэка как «Хьюго-крысу». Как правило, он отказывался слать рассказы в другие журналы кроме «Виэрд Тэйлз», хотя некоторые платили и лучше, ибо, по его словам, они были слишком «коммерческими». Возможно, он был озлоблен своим опытом сотрудничества с Гернсбэком.

В 1927 году Лавкрафт говорил о других произведениях, которые намеревался написать. Одним из них был роман объемом с книгу, разворачивающийся в «более естественной обстановке, в которой некоторые ужасные нити колдовства тянутся из веков на мрачном и изводящем воспоминаниями фоне древнего Салема». В апреле он писал: «Прямо сейчас я при помощи карт, книг и рисунков досконально изучаю Лондон, дабы получить фон для рассказов, содержащий побольше старины, нежели может предоставить Америка… Набросок, отслеживающий историческое развитие города от крытой соломой кельтской деревни на сваях… То, что я пишу, возможно, начинается во времена Рима…»[408]

В ночь на 31 октября Лавкрафту приснился сон о Древнем

Риме. Он читал перевод «Энеиды», и в сочетании с Хэллоуином это породило следующий сон: «В небольшом провинциальном городке Помпело, у подножия Пиреней в Испании Ближней, пламенел закат, день заканчивался. Это, должно быть, была эпоха поздней республики, ибо провинция все еще управлялась сенатским проконсулом, а не преторианским легатом Августа, день же был первым перед ноябрьскими календами[409]. К северу от небольшой равнины поднимались холмы, все в алых и золотых красках, и закатывающееся солнце таинственно озаряло красным необработанный свежий камень и оштукатуренные здания пыльного форума и деревянные стены цирка, располагавшегося неподалеку на востоке. Группы горожан – широкобровые римские колонисты и жестковолосые романизированные аборигены вместе с явными гибридами обеих пород, все одетые в дешевые шерстяные тоги, – а также несколько легионеров в шлемах и чернобородых варваров в грубых одеждах из близлежащей Гаскони заполонили немногочисленные мощеные улицы и форум, движимые какой-то смутной тревогой. Сам я только сошел с носилок, которые носильщики-иллирийцы, судя по всему, спешно принесли из Калагурриса, что южнее в Иберии. Оказалось, что я был квестором[410] провинции по имени Л. Целий Руфий и что я был вызван проконсулом, П. Скрибонием Либо, приехавшим из Тарраго несколькими днями раньше. Солдаты были пятой когортой Двенадцатого легиона под командованием военного трибуна Секстия Аселлия…»

Собрание касается Очень Древнего Народца с холмов, «маленьких желтых косоглазых» людей[411], которые ежегодно похищают кого-нибудь из местных жителей для использования в своих зловещих обрядах. В этом году никто из крестьян не исчез, и это породило убеждение, что Очень Древний Народец затевает нечто особенно жуткое.

После долгих споров Скрибоний Либо направляет когорту – вместе с рассказчиком – остановить надвигающийся шабаш. С холмов раздается зловещий бой барабанов. Свет меркнет, наступает холод, появляются громадные скачущие формы, легионеры сходят с ума от ужаса…

Более года Лавкрафт забавлялся идеей сделать из этого сна рассказ. Наконец в феврале 1929 года он уведомил Фрэнка Лонга, что охотно позволяет ему использовать сон, поскольку сам потерял всякий интерес к этой идее.

Так Лонг написал новеллу – «Ужас с холмов». Он перенес сон Лавкрафта в современность и ввел в него существо из четвертого измерения, Шогнара Фогна, как одного из Великих Древних, ответственного как за уничтожение римской когорты, так и за

ужасающие деяния в современном мире. Лонг выполнил работу со знанием дела, но нельзя не сожалеть о том, что Лавкрафт так и не довел до конца свой изначальный замысел.

В 1927 году Лавкрафт был ободрен сообщением, что «Кошмар в Ред-Хуке» будет переиздан в антологии «Не ночью!». Он отредактировал книгу посредственных стихов «Белый огонь» одного любителя, Джона Рейвенора Буллена, и написал предисловие к ней. Работа была «кошмаром», но поклонник Буллена заплатил за нее.

Кук наконец-то напечатал «Риклуз» с трактатом Лавкрафта «Сверхъестественный ужас в литературе». Лавкрафт подумывал о расширении этого труда до размеров книги, как его убеждал друг по переписке Роберт Э. Говард, но так и не сделал этого.

Фарнсуорт Райт все говорил об издании сборника рассказов Лавкрафта. Однако в 1927 году он напечатал книгу, в которую вошел небольшой роман об опасности восточного оккультизма – «Лунный ужас» А. Г. Бёрча, – дополненный рассказами Райта и других[412]. Райт пережил тяжелые времена, распродавая весь тираж, и годами позже все еще рекламировал «Лунный ужас». Ничтожный результат этой книги свел на нет идею сборника Лавкрафта.

Лавкрафт был весьма занят «призрачным авторством». Он обзавелся двумя новыми клиентами, одним из которых был бывший дантист, журналист и консул Соединенных Штатов по имени Адольф де Кастро. Де Кастро (урожденный Данцигер) сотрудничал с Амброзом Бирсом и извлекал из этого факта выгоду с самого исчезновения Бирса в Мексике в 1913 году. (Существует, однако, предание, согласно которому при их последней встрече Бирс ускорил отъезд де Кастро, сломав трость о его голову.) Де Кастро описывали как добродушного парня, не лишенного обаяния и образованности, но немного жуликоватого. Возможно, это и не совпадение, что арестованный полицией словоохотливый приверженец культа в «Зове Ктулху» носит имя Кастро.

Другим клиентом была миссис Зелия Б. Рид, привлекательная вдова на четвертом десятке, обеспечивавшая себя и сына на Среднем Западе журналистикой и сочинением рассказов. С Лавкрафтом ее познакомил Сэмюэль Лавмэн. И де Кастро, и миссис Рид в избытке обеспечивали Лавкрафта работой, но оказалось, что получить с них деньги было не так-то легко.

Когда миссис Рид упала духом после критики Лавкрафта ее скромных литературных способностей, он писал ей длинные непринужденные письма, чтобы ободрить ее. Он рассказал ей о

своих фантастическом, научном и поэтическом периодах; «… теперь же, когда мне тридцать семь, я мало-помалу берусь за чистое изучение старины и архитектуру и совершенно отдаляюсь от литературы!».

Псевдонимы, говорил он, есть дело вкуса. Можно даже начать ревновать к собственному псевдониму, которому приходится быть верным, когда он укоренился: «Мое главное возражение против псевдонимов заключается в том, что они имеют свойство подразумевать у их обладателя некую разновидность самосознания или самоинсценировки, что до некоторой степени чуждо для процесса безличного, безучастного художественного творения. Они подразумевают, что их обладатель держится на расстоянии и думает о себе как об авторе, вместо того чтобы настолько погрузиться в свое эстетическое видение, что совсем не считать себя личностью»[413].

Это весьма показательный совет, поскольку исходит от человека, пользовавшегося в юности дюжиной псевдонимов.

Лавкрафт также убеждал миссис Рид в собственном антикоммерческом, «искусство-ради-искусства», взгляде на литературу. Никто, говорил он, не может написать из коммерческих соображений что-либо «стоящее» или обладающее хоть какой-то «глубиной». Единственным правильным мотивом для сочинения «…является тот род возвышенного видения, что придает вселенной незнакомые краски и который окружает маскарад жизни мистическим обаянием и скрытой значимостью так остро и убедительно, что ни один взор не может созерцать его без непреодолимого желания ухватить и сохранить его сущность; удержать ее для будущего и разделить с теми, кого можно побудить рассмотреть ее с родственной точки зрения».

Нужно уметь получать такое чувство от вида «крыш и шпилей, рощ и садов, полей и террас, стриженых лужаек и покрытых рябью прудов с лилиями». Другими словами, если вы реагируете на красивый пейзаж также эмоционально, как Лавкрафт, и если вы хотите писать, как По, Дансейни и Мейчен, – что ж, превосходно; если же нет – забудьте об этом.

Для гения, который может преодолеть все преграды, или для того, кто имеет независимый доход, это могло бы быть хорошим советом. Но для молодой женщины со скромными способностями, пытающейся зарабатывать на жизнь при помощи пишущей машинки, совет был ужасным. Лавкрафт всегда призывал Зелию «писать литературу как противоположное занудной каше и явному буржуазному фуражу ходовых известных романистов»[414], тогда как на самом деле те способности, которыми она обладала, как раз и были предназначены для производства «буржуазного

фуража».

Друзья Лавкрафта получали схожий совет. Он говорил, что пишет «исключительно для собственного наставления, поскольку переложение на бумагу моих снов совершенствует и кристаллизует их». «Литератор действительно должен быть независимым в финансовом отношении», – говорил он, добавляя: «Я больше уважаю честного водопроводчика или водителя грузовика, который пишет для собственного удовольствия в свободное от работы время, нежели литературного поденщика, уничтожающего собственную личность в презренной уступке пустым и поддельным требованиям невежественной толпы». Дерлету следует «напрочь позабыть о моде и писать то, что находится в нем». Увлечение сексом в художественной литературе в двадцатых годах было «мимолетной стадией культурного упадка»[415]. (Лавкрафту следовало дожить до семидесятых!)

Замечания Лавкрафта о литературе отражаются и на его суждениях о других людских делах. Его интеллект был чрезвычайно высок, но из-за его отшельнической, книжной индивидуальности и специфического воспитания его развитие в чувствах и суждениях было очень замедлено.

Детский, незрелый или простодушный ум склонен разделять явления на несколько классов, проводить непреложные различия между этими классами и выносить скорые, крайние суждения о членах каждого класса. По мере взросления он начинает понимать, что эти классы – лишь человеческие искусственные признаки, достаточно полезные, но не стоящие слишком серьезного восприятия, и что – особенно среди людей – члены какого-либо класса выказывают бесконечное многообразие и их должно судить по их индивидуальным качествам.

Как Лавкрафт классифицировал людей на простые группы по национальностям, расам и культурам и преувеличивал различия между ними, так он и разделял художественную литературу на маленький класс «настоящей литературы», которая «обладает какой-то глубиной», и много больший класс «популярной халтуры» и «стряпню поденщиков». Он полагал, что несколько ценителей вроде него самого воспринимают первый класс, второй же привлекает только «невежественную толпу». Он выстроил теорию, что «настоящая литература» создается лишь немногочисленными гениями, которым, подобно Дансейни, не приходится продавать свои рукописи, дабы заработать на жизнь.

Глава четырнадцатая. Взбунтовавшийся супруг

В вещах старинных неких признак есть
Неясной сущности, важнее формы;
Эфир тончайший, неопределенный,
С законом связан все ж времен и мест.
Знак непрерывности – он тускл, размыт,
Его не разглядеть весь никогда;
Таит в себе прошедшие года,
Ключ тайный может лишь его открыть[416].

Г. Ф. Лавкрафт
«Непрерывность»

В период после возвращения из Нью-Йорка Лавкрафт был далеко не затворником или отшельником. Об этом позаботились его друзья, которыми он обзавелся в Нью-Йорке. Они продолжали навещать его все лето и осень 1927 года. Седьмого июня он взял Джеймса Фердинанда Мортона на «…Вайолит-Хилл, каменоломню на Мэнтон-авеню, на территории „Провиденс Крашт Стоун энд Сэнд Компани“. Да, эта компания – макаронник Мариаоно де Магистрис, на чьей земле я в течение последних двадцати лет владею жалкой, как капля в море, закладной! Каждый февраль и август парень высылает мне чек на небольшую сумму, хотя никогда и не расплачивается полностью, – так что я стал относиться к нему как к некоему непременному атрибуту и испытываю весьма собственнический интерес к его каменистой недвижимости… У меня появился бы хороший шанс потерять свою скромную тысячу, если бы мне пришлось когда-нибудь лишить его права пользования»[417].

В середине июня приехал Дональд Уондри и тут же был подхвачен вихрем на экскурсию по Ньюпорту, Салему и другим живописным местам. Лавкрафт показал Уондри одно из своих

излюбленных мест, где он писал, – Куинсникетский парк к северу от Провиденса.

В Куинсникетском парке были холм и озерцо со скалистым мыском. Лавкрафт любил сидеть на этом мысу и смотреть на озеро, окруженное лесом. Позже Куинсникетский парк был включен в состав более крупного государственного парка Лес Линкольна.

Уондри был еще в Провиденсе, когда приехали Мортон и семья Лонгов. Доктор Лонг повез всех в Ньюпорт на своем новом «эссексе», но изнывал от скуки во время литературно-антикварных дискуссий. Наконец Лавкрафт нашел для него магазин электробытовых приборов, где тот смог послушать по радио поединок Демпси и Шарки.

На следующий день, когда Лонги уехали, Лавкрафт, Мортон и Уондри отправились на каменоломню де Магистриса, чтобы набрать образцов минералов: «…Владелец – итальяшка принял нас с церемониальным гостеприимством. Старый добрый католик отправил всех своих рабочих на поиски образцов, а его по-спортивному американизированный сын отвез нас домой на своем новом щегольском автомобиле – не говоря уже о том, что пропыхтел назад и сходил за геологическим молотком, который забыл Мортоний. Вот что я называю настоящей романской любезностью!»[418]

Что это? Лавкрафт (хоть и употребляет слово «итальяшка») хвалит итальянца, в то время как на протяжении многих лет итальянцы состязались с поляками за второе место сразу после евреев в его списке ненавистных национальностей! Де Магистрис, всего лишь обыкновенный итало-американский мелкий подрядчик, оказался порядочным, любезным человеком. Так что Лавкрафт волей-неволей внес – пускай и небольшую – поправку в свои взгляды.

Лавкрафт все еще поносил Нью-Йорк за его «зловонную, аморфную гибридизацию» и «нечистокровного и уродливого иностранного колосса, тараторящего и воющего на его месте пошло и без мечтаний»[419]. Тем не менее, хоть четкая граница, которой он очертил свое окружение, так никогда и не исчезла, он мало-помалу начал ее расширять, впуская за нее один этнос за другим.

Уондри и Мортон еще оставались в Провиденсе, когда 12 июля приехали В. Пол Кук и Х. Уорнер Мунн, честолюбивый молодой писатель, на машине последнего. Лавкрафт вовлек своих гостей в более необычное мероприятие – сидение до 2:30 ночи на могильных плитах на кладбище епископальной церкви Святого Иоанна.

В конце июля Лавкрафт отправился в одно из своих путешествий, которые с тех пор составляли его главное развлечение. Он навестил Кука в Атоле, штат Массачусетс, «…и был приглашен на замечательную поездку по живописным и историческим местам… В Уэст-Брэттлборо мы заглянули к поэту Артуру Гудинафу, необычному старомодному фермеру, неприметно живущему среди своих родовых холмов»[420].

Лавкрафт подходил к дому Гудинафа в сдержанном настроении. За девять лет до этого Гудинаф напечатал в «Трайауте» Чарльза В. Смита поэтический панегирик под названием «Лавкрафт – Признание». Четвертая строфа в нем звучала следующим образом:

> Кто в лаврах вам откажет?
> Без сомненья,
> У вас в висках их кроются коренья;
> Страница, что смешит иль в грусть ввергает,
> Суть больше фотоснимка отражает!

из-за гротескной метафоры о висках, из которых произрастают лавры, Лавкрафт подозревал, что Гудинаф его высмеял. Знакомство же вскоре убедило его, что Гудинаф его восхвалял. А когда они ушли, Лавкрафт сказал Куку: «Да ведь он гений!»

На что Кук ответил: «Говард, ты сам гений, хоть и не похож на Артура»[421].

Путешествуя на автобусе и останавливаясь в гостиницах Молодежной христианской организации, Лавкрафт продолжил поездку через Портленд, штат Мэн, где посетил дома Лонгфелло; горы Уайт-Маунтинс, где прокатился на зубчатой железной дороге, поднимающейся на гору Вашингтон; Портсмут и Ньюберипорт; Хаверхилл, где встретился с Чарльзом В. Смитом; Глостер, Салем и Марблхед и наконец приехал домой, дабы сразиться с грудой заказов на переработку.

Визиты к нему не закончились. В октябре из Нью-Йорка приехал Уилфред Талман. Он повел Лавкрафта в библиотеку и прочел ему вводный курс по геральдике.

Лавкрафт вдохновился на проведение небольшого генеалогического исследования своего рода. К своему удовольствию он обнаружил побочного предка, серебряных дел мастера по имени Сэмюэль Кейси, который в колониальные времена был приговорен к повешению за фальшивомонетничество. Кейси был освобожден из заключения вооруженной бандой друзей и покинул страну. Лавкрафт никогда

не воспринимал генеалогию настолько серьезно, насколько это можно было бы ожидать. Он писал с насмешкой Лонгу: «Нет – евреев я пока не нашел, но вы непременно услышите о них, если обнаружу. После признания во всех этих кельтах, я хочу сознаться и кое в чем с севера Сахары. Я упоминал египетского жреца Рааик-Камсеса, который доплыл до Кассетерид на финикийском корабле во времена Псамметиха и был выброшен на зеленые берега Курнаса близ современного Квинстауна? Каждому школьнику известно, что он женился на Катлин, дочери Фиана Храброго, и если правда то, что их сын Фиан Грозный был предком Уи Ниаллов, тогда, несомненно, я являюсь египтянином по древней жреческой линии! Затем, конечно же, есть кроманьонец Глвхлгкс, чьи победы над Маленьким Народцем на полях Дордогна увековечены фресками в тысяче пещер…»[422]

Лавкрафт прочитал «Закат Европы» Шпенглера и пришел к выводу, что «арийская раса» приближается к упадку главным образом из-за сентиментальной защиты «непригодных». Он призывал ко всеобщему регулированию рождаемости, дабы слабоумные не скрещивались с «лучшими классами», которые порой занимаются этим как попало, и чтобы «спасти основное биологическое качество расы!»[423]. Данная идея, распространенная в то время, заключала в себе долю истины, но также и непродуманные, упрощенные представления о действии наследственности.

Он был увлечен замечательным романом в жанре фэнтези «Червь Уроборос» Э. Р. Эддисона. Эта сказка является одним из выдающихся образцов поджанра, иногда именуемого «героическим фэнтези» или «литературой мечей и колдовства». Возможно, роман привлекал Лавкрафта потому, что его герои представляются важничающими, неправдоподобными версиями английских поместных дворян, не стесняющимися отшвыривать со своего пути простых болванов или даже убивать их, если те слишком уж задирают носы.

Он также прочел некоторые романы Марселя Пруста и восторгался подробными (для некоторых даже нудными) описаниями, которыми Пруст создавал атмосферу своих произведений.

В конце двадцатых годов направление лавкрафтовской мысли склонялось к более умеренным, терпимым и широким взглядам, с меньшим числом прежних острых предрассудков. Он признал, что есть что сказать и о других эпохах, а не только о его любимом восемнадцатом веке: «Если бы я мог создать идеальный мир, он был бы Англией с пылом елизаветинцев, правильным вкусом

георгианцев и с утонченностью и чистыми идеалами викторианцев».

Лавкрафт утратил веру в «сухой закон», как он писал Дерлету: «Я сам начинаю сомневаться в его полезности, хотя изначально был его восторженным сторонником. Если бы что-то могло полностью избавить от спиртного, это было бы хорошо – но вопрос состоит в том, привела ли нынешняя попытка к какому-либо результату, сопоставимому с нанесенным вредом».

Август Дерлет расхаживал по Саук-Сити в купальном халате и с моноклем в глазу. Он говорил, что делает это для придания атмосферы рассказам, которые писал об английском детективе, Соларе Понсе, созданном по образцу Шерлока Холмса, – однако более вероятной причиной этого было его желание шокировать степенных среднезападных бюргеров Саук-Сити.

Лавкрафт мягко пожурил своего юного друга, припомнив свою собственную юношескую манерность, и предрек, что Дерлету вскоре наскучат эти выходки. Это был мудрый совет от одного из главных позеров в мире, но Лавкрафт уже избавился от многих своих притворных манер.

Он дружелюбно спорил с Дерлетом о религии, замечая о его родительском вероисповедании: «Мне – атеисту протестантского происхождения – представляется, что католичество является замечательным вероисповеданием для тех художников, чей вкус всецело готический и мистический, без какой-либо примеси античного или интеллектуального».[424]

Дерлет также серьезно относился к сомнительным феноменам оккультизма, спиритуализма и экстрасенсорного восприятия, был восприимчив к байкам о привидениях и предзнаменованиях. На протяжении многих лет Лавкрафт указывал на слабые места и ошибки в аргументах Дерлета в пользу сверхъестественных явлений.

В ноябре 1927 года Лавкрафт принялся за крупное произведение – «Случай Чарльза Декстера Уорда». Эта фантазия повествует о магическом оживлении давно умершего человека и колдовском взывании к существам из Запределья, которые в случае успеха могли оказать ужасающее воздействие на весь мир. Как и Рэндольф Картер, Чарльз Декстер Уорд является еще одним художественным двойником самого Лавкрафта.

Действие повести происходит в Провиденсе, и она пропитана местным колоритом и историей: «Он жил в огромном георгианском особняке, стоявшем на почти отвесном холме, что поднимется как раз к востоку от реки, и из задних окон беспорядочно выстроенных флигелей он мог с

головокружительной высоты смотреть поверх теснящихся шпилей, куполов, крыш и верхушек высотных зданий нижнего города на пурпурные холмы сельской местности вдали. Здесь он родился, и отсюда, с прекрасного классического крыльца на кирпичном фасаде с двумя пролетами, его няня впервые вывезла его в коляске…»

Это описание особняка Хэлси, под номером 140 по Проспект-стрит, построенного в 1801 году. Какое-то время, когда этот дом пустовал, считалось, что в нем живет привидение – пианист, а на полу несмываемое пятно крови.

Чарльз Уорд – подлинный лавкрафтовский персонаж. «Когда он подрос, начались его знаменитые прогулки – сначала с нестерпимо медленно плетущейся няней, а затем в одиночестве, витая мыслями в облаках». В подростковом возрасте Чарльз «высокий, худой и мягкий, с серьезностью во взоре и немного сутулый, одетый довольно небрежно и больше производящий впечатление безобидной неловкости, нежели привлекательности»[425].

Уорд становится любителем старины, настолько увлеченным своими исследованиями, что предпочитает отказаться от колледжа, нежели как-то сократить их. Особенно он интересуется своим предком Джозефом Карвеном, который приехал в Провиденс в 1692 году и обладал завидной способностью выглядеть на один и тот же возраст в течение пятидесяти лет.

Карвен, как выясняется, занимался алхимией и черной магией. На протяжении десятилетий он приводил своих соседей в ужас странными зрелищами и звуками с уединенной фермы, и в 1770 году был сформирован вооруженный отряд, чтобы от него избавиться.

На Стэмперс-Хилл, недалеко от своего дома, Уорд обнаруживает старый дом Карвена. Там он находит портрет Джозефа Карвена, который очень походит на самого Чарльза Декстера Уорда, и тайник с записями Карвена.

К тревоге своих родителей, Уорд предпринимает оккультные исследования и изменяется сам, становясь все более и более похожим внешним видом и голосом на Карвена.

Он покупает старую ферму Карвена в Потаксете и перевозит туда свои оккультные приборы. Опасаясь за рассудок сына, старшие Уорды обращаются к врачу, доктору Маринусу Уиллету, который обследует Уорда и двух его необычных сообщников.

Разграбляются могилы. Уиллетт выясняет, что шайка располагает методами воссоздания и оживления умерших людей, если у них есть для начала хотя бы немного «основных солей» трупа. Старший Уорд и Уиллетт приходят на ферму в отсутствие

молодого Уорда и, к своему ужасу…

Эта повесть, в отличие от «Зова Ктулху», не основная в Мифе Ктулху, поскольку единственной бесспорной связью с ним является упоминание в заклинаниях существа Йог-Сотот. В поздних рассказах Йог-Сотот – Великий Древний. Построение «Случая Чарльза Декстера Уорда» менее связное, нежели некоторых лучших рассказов Лавкрафта.

Объемом в сорок восемь тысяч слов, «Случай Чарльза Декстера Уорда» был самым длинным рассказом, когда-либо сочиненным Лавкрафтом. Первого ноября он написал Дерлету, что собирается начать печатать его.

В действительности же он так и не сделал этого. После того как он поклялся больше не писать для де Кастро, декабрь застал его таки пишущим для него. Когда же в январе 1928 года он закончил эту работу, миссис Рид попросила его откорректировать «Проклятие Йига».

Тем временем свою помощь в перепечатке «Случая Чарльза Декстера Уорда» предложил Дональд Уондри. Лавкрафт согласился, но Уондри нашел, что рукопись настолько переполнена исправлениями, что практически не поддается расшифровке. Итоговый печатный текст содержал столько ошибок, что потребовался новый черновик.

Лавкрафт отложил рукопись в сторону и сам уже никогда не задумывался об этой задаче. В 1940–м году, после смерти Лавкрафта, Дерлет и Уондри перепечатали рукопись с оригинала с помощью профессионалов. В 1941–м сокращенная версия повести была опубликована в двух частях в «Виэрд Тэйлз». Затем они напечатали полную версию в своем втором томе «Лавкрафтианы», «За стеной сна» (1943).

Самое невероятное заключается в том, что, когда Лавкрафт выяснял у издателей возможность публикации сборника своих рассказов и обнаружил, что они не заинтересованы, кто-то из них сказал, что можно было бы взглянуть на роман объемом с книгу. Все это время он хранил у себя «Случай Чарльза Декстера Уорда», но не нашел ему применения.

В 1927 году Лавкрафт узнал о новом журнале фэнтези, «Тэйлз оф Мэджик энд Мистери». Он отослал туда несколько рукописей, из которых журнал принял «Холодный воздух». Рассказ был напечатан в номере за март 1928 года, но этот выпуск, четвертый, оказался предпоследним. Лавкрафту, возможно, так и не заплатили.

Навещая родственников в Оклахоме, Зелия Рид услышала от свекрови своей сестры страшную историю о змеях. Вернувшись в

Канзас-Сити, она воплотила эту идею в рассказ «Проклятие Йига» и отослала набросок Лавкрафту для критического отзыва. Он написал рассказ, который появился за подписью Зелии в «Виэрд Тэйлз» за ноябрь 1929 года. Зелия получила сто шестьдесят пять долларов, из которых пятнадцать с половиной заплатила Лавкрафту. За исключением местного колорита, который предоставила Зелия, практически весь рассказ был написан им.

«Проклятие Йига» повествует о чете первопоселенцев, Уокере и Одри Дэвис, которые приезжают в Оклахому. Женщина наталкивается на множество детенышей гремучей змеи и убивает их. Встревоженный, Дэвис говорит ей, что теперь на них падет проклятие Йига, индейского змеиного бога. Он так допекает свою жену болтовней о мести Йига, что в темноте она принимает его за змеиного бога…

Зима 1928 года застала Лавкрафта заваленным переработкой чужих произведений. Хотя он и отзывался о де Кастро как о «липком старом лицемере, чей рассказ загубил мне зиму», он тем не менее исправил упомянутый рассказ – «Последний тест». Также де Кастро убеждал Лавкрафта переработать его воспоминания об Амброзе Бирсе. Лавкрафт ознакомился с рукописью, нашел ее чересчур перегруженной и решил не браться за работу, пока не получит плату вперед. Тогда де Кастро уговорил отредактировать рукопись Фрэнка Лонга, а также написать для нее вступление.

На протяжении года после возвращения Лавкрафта в Провиденс Соня работала в Нью-Йорке за плату меньшую, чем могла бы получать где-то в другом месте, – все ради того, чтобы быть рядом с мужем. В середине 1927 года ей поступило предложение из Чикаго, которое было слишком заманчивым, чтобы от него отказаться. Через полгода, разочаровавшись в Чикаго, она оставила и это место. В декабре она приехала в Провиденс на зимний отпуск. Соня и Лавкрафт отправились на прогулку по старинным местам Провиденса, но Лавкрафт едва не умер от холода. Соне пришлось отвести его домой и приводить в чувство растиранием конечностей.

Планируя открыть еще один магазин дамских шляпок, она упрашивала Лавкрафта приехать весной в Нью-Йорк на его открытие. В апреле 1928 года Лавкрафт приехал – не очень, казалось бы, охотно, ибо писал: «На следующей неделе я, возможно, буду вынужден поехать в Нью-Йорк». Соня сняла квартиру на Восточной 16–й улице, 395 в Бруклине и восполнила недостаток своей мебели. Ее новый магазин был примерно в

квартале от квартиры. Лавкрафт похвалил превосходный вкус, проявленный ею при обустройстве магазина и квартиры. Он помог ей с объявлениями и рекламой.

Магазин открылся 28 апреля, и визит Лавкрафта затянулся до июня. Однако это не было обычным супружеским воссоединением. Соня описывала это так: «Той весной я пригласила Говарда погостить у меня, и он охотно согласился, но только как гость. Для меня даже его соседство было лучше, чем ничего. Он пробыл у меня лето, но я видела его только по утрам, очень рано, когда он обычно возвращался с прогулок с Мортоном, Лавмэном, Лонгом, Кляйнером – с кем-то из них или же со всеми»[426].

Попросту говоря, Лавкрафт отказывался возобновлять супружеские отношения, даже когда секс был бы совершенно законен и соответствовал нравственным нормам. Мы можем лишь гадать о причинах этого: его антисексуальное табу, половая несостоятельность, боязнь половой несостоятельности или же страх вновь остаться в Нью-Йорке.

Для Сони же, нормальной, полной жизни женщины, подобное отношение было тягостным. Хотя для измен она была слишком порядочна, платоническое замужество совершенно не было ее образом жизни. Если она думала, что ее муж приехал «охотно», то его письма показывают обратное. Пытаясь в течение нескольких дней поработать в Нью-Йорке, писал Лавкрафт, он дошел «…до грани того, что было бы полным расстройством, если бы у меня не было преданного и блестящего коллеги – моего юного „приемного внука“ Фрэнка Б. Лонга, – на которого можно было опереться при воплощении моих замыслов…».

«Только тяжкое семейное бремя могло заставить меня потратить впустую весну в этом проклятом столичном очаге чумы… На этот раз моя жена действительно думала, что мне пойдет только на пользу, если я перенесу немного семейного фона на ее теперешнее место действия. Беспристрастно поразмыслив, я не мог не признать существенную правоту подобного мнения, и поэтому решил, что меньшее, что я могу сделать, это преодолеть на сезон свое отвращение к столице и избежать той тягостной семейной дисгармонии, что дает тему для столь многих художественных произведений!»

Другими словами, временное пребывание в Нью-Йорке было лучше семейной ссоры. По мнению Лавкрафта, быть женатым хорошо, если не приходится жить с супругой. Секс – постыдное занятие, к которому необузданные животные инстинкты могут принудить юных, но которое не должно интересовать пары среднего возраста вроде Лавкрафтов. Через десять дней Лавкрафт

писал все в том же ключе, хотя и более жизнерадостно: «Жене пришлось из-за бизнеса на какое-то время поселиться здесь, и она рассудила, что будет хорошо, если я заеду на время. Не имея веских возражений и желая избежать семейной гражданской войны, я прикинулся пацифистом… И вот я здесь. Проклятый город выглядит все таким же для меня – без новизны и потрясений. Теперь я могу переносить его лучше, поскольку у меня есть настоящий дом в Штатах, куда я могу вернуться»[427].

Лавкрафт жаловался, что все большие города через какое-то время ему надоедают, но он определенно был занят в течение этого пребывания в Нью-Йорке. Он и Соня совершали длительные прогулки по старинным местам. Когда Сони не было, он отправлялся к Лонгам, которые возили его в Уэст-Пойнт и на озеро Махопак.

Лавкрафт и Лонг стали сотрудничать в «призрачном авторстве», и это продолжалось три или четыре года. Они дали объявления в «Виэрд Тэйлз» и «Нью-Йорк Таймс», что принесло им около пятнадцати клиентов, половина из которых претендовали на поэтов. Лавкрафт получил одну солидную рукопись от некоего «писателя», но она оказалась такой безнадежной, что он предпочел отослать ее назад не переработанной, нежели взять деньги с тупицы, который не смог ее толком написать.

Клуб Кэлем практически распался, лишенный магнетизма присутствия Лавкрафта, собиравшего его членов вместе. Несколько ветеранов, впрочем, провели ряд собраний.

Лавкрафт планировал путешествие на Юг. С расширением горизонтов росли и его желания: «Если я когда-либо буду обладать настоящими деньгами, то, несомненно, приобрету скромный „форд“…» «Я бы насладился личным осмотром Оксфорда – как любитель старины, – не говоря об остальной Старой Англии. Я клянусь, что однажды доберусь до Лондона, даже если после этого мне придется отправиться в богадельню». Зная, что для воплощения подобных замыслов потребуются деньги, он говорил, что будет писать даже для исповедальных журналов, если сможет заработать тысячу долларов за грех, о котором когда-то услышал[428].

16 июня 1928 года Лавкрафт позаимствовал у Сони чемодан и отправился в череду поездок. Сперва Брест Ортон отвез его на выходные в свой семейный дом в Вермонте. Лавкрафт был восхищен архаичностью сельской жизни: «Поездка оказалась сущим удовольствием и душевным стимулом, ибо она подвела меня сверхъестественно близко к тем основополагающим и

сохранившимся источникам жизни ранней Америки, которые мы в городах – и в южной Новой Англии вообще – уже привыкли считать иссякшими. Жизнь здесь течет без изменений еще со времен до Войны за независимость: все те же пейзажи, здания, семьи, занятия и образы мысли и речи»[429].

Работай Лавкрафт когда-нибудь подсобным рабочим на ферме, он, быть может, тосковал бы по той жизни менее романтически. Из Норт-Монтпилиера к Ортону приехал, чтобы встретиться с Лавкрафтом, Уолтер Дж. Коутс, издатель любительского журнала «Дрифтвинд» («Дрейфующий ветер»). Заглянул Кук со страничной корректурой лавкрафтовского «Дома, которого все избегали», который он планировал издать книгой.

Восемнадцатого числа Лавкрафт добрался автобусами до Атола, штат Массачусетс, где остановился у Кука. Двадцать девятого он приехал в Норт-Уилбрахэм, штат Массачусетс, куда его пригласила ветеран любительской прессы Эдит Доуи Минитер. Миссис Минитер жила со своей кузиной Эванор Биб, полной сквайершей семидесяти лет, которая разъезжала в экипаже и контролировала местную политику. Она была «готова завязаться в узел», когда Лавкрафт наваливал сахар в свой кофе, оставив не растворившуюся массу на дне. К своему удовольствию, Лавкрафт обнаружил такие древности, как лампы на свином жиру и лесенки для кошек в дымоходах, чтобы они могли перебираться с одного этажа на другой. Также он впервые увидел дикого оленя.

Эти поездки обошлись Лавкрафту не намного дороже платы за автобус, так как хозяева настаивали на предоставлении ему постели, стола и развлечений. Позже его друзья считали, что это путешествие было одним из счастливейших периодов в его жизни.

Пробыв неделю в Норт-Уилбрахэме, Лавкрафт пространствовал по Массачусетсу на автобусе и трамвае и приехал в Олбани, штат Нью-Йорк. Там он сел на корабль и по реке Гудзон приплыл в Нью-Йорк, где обменялся чемоданами с Соней.

Потерпев неудачу с принятием Лавкрафтом роли супруга, Соня сдала свою квартиру пожилой чете и сняла где-то в другом месте комнату, и поэтому Лавкрафту пришлось остановиться в гостинице. Поскольку продолжение жизни с Лавкрафтом было явно невозможно, Соне не требовалось четырех просторных комнат.

Одиннадцатого июля Лавкрафт вновь прибыл в Филадельфию, откуда продолжил путешествие в Балтимор, Аннаполис и Вашингтон. На поезде он доехал до долины Шенандоа, где посетил Бесконечные пещеры: «Более часа меня, очарованного, водили по беспредельным безднам и пропастям волшебной красоты и дьявольской загадки – то здесь, то там

подсвеченным с изумительным эффектом спрятанными лампами, а местами демонстрирующим приводящие в трепет гроты и пучины непреодолимой ночи; черные бездонные шахты и коридоры, где скрытые ветры и воды вечно текут из этого мира и всех возможных человеческих миров вниз, вниз к незнающим солнечного света тайнам гномов и мверзей и к мирам, в которых в неоспоримом ужасе царствуют паутинокрылые чудовища и мифические горгульи…»[430]

Вернувшись в Провиденс, Лавкрафт энергично взялся за «Данвичский кошмар» – повесть в семнадцать с половиной тысяч слов, основанную на сказке, которую он услышал месяц назад, живя в доме мисс Биб в Массачусетсе. В ней сочетаются фон Новой Англии и полностью выстроенный Миф Ктулху. Она начинается: «Если путешествующий по северу центрального Массачусетса выберет неверное ответвление на перекрестке у пика Эйлсбери, что находится как раз за Динз Корнерз, то он окажется в пустынной и необычной местности. Земля поднимается, а обрамленные колючим кустарником каменные стены сжимают колею пыльной петляющей дороги все больше и больше»[431].

Повесть рассказывает о вырождающихся янки Данвича и необычной семье Уэйтли. Она состоит из Колдуна Уэйтли, который владеет потрепанным экземпляром «Некрономикона», его дочери Лавинии, калеки-альбиноски, и ее сына от неизвестного отца, Уилбура, достигшего размеров взрослого мужчины и зрелости в возрасте десяти лет. У всех Уэйтли отталкивающие лица без подбородков.

Дважды в год, на Хэллоуин и Майский день, для проведения невыразимых обрядов Уэйтли восстанавливают на холмах круг из камней – нечто вроде мини-Стоунхенджа[432], создание которого приписывается индейцам. Во время совершения этих обрядов с вершины холма раздается загадочный громоподобный шум, и при таких обстоятельствах Лавиния и забеременела.

Лавкрафт обратился к двум феноменам Новой Англии. Его «круг из камней» происходит от обнаруженных там нескольких построек из необработанного камня. Как правило, археологи приписывают их ранним колонистам или индейцам, хотя многие местные любители древности предпочитают поговаривать о друидах, древних скандинавах или других экзотических пришельцах.

Самая впечатляющая из этих построек – Мистери-Хилл, близ Норт-Салема, на самом юге штата Нью-Хэмпшир. На этом месте некогда стояло целое поселение из каменных плит, сложенных в

стены без какого-либо скрепляющего раствора или образовывавших стены и крыши полуподземных жилищ. Тамошняя огромная плита с прямоугольной выемкой на верхней поверхности называется «жертвенный стол». Лавкрафт однажды посетил Мистери-Хилл вместе с Х. Уорнером Мунном, корреспондентом и сотрудником «Виэрд Тэйлз». Он также, несомненно, читал и о других мегалитических стоянках.

Другой феномен – «шумы Мудуса», которые, как говорят, на протяжении трех веков время от времени раздавались около городка Мудус на юге центрального Коннектикута. Эти звуки, напоминающие взрывы, часто объясняют некими неясными сейсмическими процессами.

Колдун Уэйтли, гласит повесть, перестраивает верхний этаж своего дома в нечто вроде загона. Его скот продолжает исчезать, но он покупает его все больше, расплачиваясь старинными золотыми монетами.

Старый Уэйтли умирает, а его дочь Лавиния исчезает. Уилбур Уэйтли, ростом уже восемь футов[433], берет свой «Некрономикон» в библиотеку Мискатоникского университета, чтобы сравнить его с хранящейся там латинской версией. Библиотекарь, семидесятилетний доктор Генри Армитейдж, обращает внимание на отрывок – звучащий, словно цитата из Ницше, – который переписывает Уэйтли: «Не должно думать, что человек есть старейший либо последний из властителей Земли или же что общеизвестная масса жизни и материи шествует в одиночестве. Древние были, Древние есть, и Древние будут. Не в пространствах, нам известных, но между ними шествуют Они – невозмутимые и древние, безразмерные и нами незримые. Йог-Сотот знает врата. Йог-Сотот есть врата. Йог-Сотот есть ключ и страж врат. Прошлое, настоящее, будущее, всё суть одно в Йог-Сототе».

Несколько месяцев спустя Уэйтли вламывается в библиотеку, чтобы похитить книгу, но на него нападает сторожевая собака. Когда же Армитейдж и два других профессора прибывают на место происшествия, собака уже сорвала одежду с искалеченного Уэйтли.

Ниже пояса Уэйтли покрыт черным мехом. Ноги у него как у плотоядного динозавра, на обоих бедрах располагается по глазу, также есть хвост. Из живота выступает пара десятков щупальцев с кровососущими ротовыми отверстиями. После смерти он разлагается в лужу зловонной слизи. «Когда появился медицинский эксперт, на расписном паркете оставалась лишь вязкая беловатая масса, чудовищная же вонь почти развеялась».

Фрейдисты-любители указывали на сексуальный символизм

лавкрафтовской «вязкой беловатой массы» и других тем: анатомии Уэйтли, в которой «ниже пояса… всякое сходство с человеком исчезало, и начинался чистейший плод больного воображения»; «длинных зеленовато-серых щупальцев с красными сосущими ротовыми отверстиями», исходящих из брюшной полости твари; использования Лавкрафтом пещер и тоннелей в качестве символов ужаса и его темы дегенерации, являющейся результатом смешения рас.

Все это, говорят они, отражает страх Лавкрафта перед половыми сношениями. Один подобный критик утверждает, что эти темы «являются исследованием его собственного подсознания, которое сдерживает свою потрясающую мощь несмотря на дефектность его стиля и лингвистических конструкций, а также кажущуюся ограниченность его ума». Один из поздних корреспондентов Лавкрафта, Дж. Верной Ши, проанализировал проблему. Лавкрафтовские «…произведения были очень сильно вдохновлены Артуром Мейченом. Воспитание Мейчена, сына священника, было сходно с воспитанием Лавкрафта, и его произведения полны подавленной сексуальности. Его „Повесть о белом порошке“, главный герой которой из-за приема лекарства превратился в омерзительную белую слизь, трактовалась как подростковая мастурбационная фантазия (Лавкрафт добился схожего результата в своем „Холодном воздухе“)» а другие повести, вроде «Великого бога Пана» и «Белых людей», намекают на сексуальные оргии, о которых Мейчен не осмеливался писать. В конечном итоге Мейчен сублимировал свою подавленность, переведя «Воспоминания» Казановы, у Говарда же подобного курса лечения не было. Хотя почти всякий другой писатель-фантаст сделал бы приверженцев Ктулху… участниками невыразимо мерзких разнузданных обрядов, чопорный Говард поклялся никогда не упоминать секс. Читателю приходится использовать свое воображение, чтобы интуитивно постичь, что же расстраивало Говарда столь ужасно. Как Мейчен, как Хоторн, ГФЛ не смог заставить себя обратиться к сексуальным проблемам в своих рассказах…

Любопытно, что Лавкрафт, кажется, никогда не бунтовал против моральных устоев своей матери.

Что правда, то правда – некоторые фрейдисты доводят символизм до сомнительных крайностей, обнаруживая половые органы во всем вытянутом или пустотелом. Однако, принимая во внимание саму жизнь Лавкрафта и его позы, вышеупомянутые умозаключения вполне правдоподобны.

С другой стороны, Лавкрафт обладал исключительным

воображением. Оно сводило воедино все виды потрясающих идей, из которых лишь незначительная часть содержала явный сексуальный символизм. Сам же Лавкрафт заметил: «…Забавно поразмышлять, как психологи будущего поняли бы чьи-нибудь рассказы. Без всяких сомнений, они нашли бы глубокий смысл в уходах Кларкэш-Тона от земной реальности, в разгуле убийств Боба с Двумя Пистолетами, да и в моих указаниях на космическую запредельность и путешествия в минувшие века в осыпающемся и населенном колдунами Аркхэме»[434].

В то время как Уилбур Уэйтли испускает дух на полу библиотеки Мискатоникского университета, тварь из верхнего этажа дома Уэйтли вырывается и начинает опустошать местность. Она плющит дома и пожирает скот и людей. Она невидима, и у нее множество ног, которые оставляют отпечатки словно стадо слонов. Армитейдж добывает дневник Уэйтли, повествующий о его оккультном развитии:

«Сегодня выучил Акло для Саваофа, которые не понравились, ответ идет с холма, а не из воздуха… Похоже, у того, что живет на верхнем этаже, будет верный шанс. Я могу увидеть его ненадолго, когда делаю вурский знак или дую на него порошком Ибн-Гази…»

Слова «Акло» и «вурский» происходят из повести Мейчена «Белые люди», в которой говорится о «буквах Акло» и «нечестивом вурском своде».

Армитейдж и двое бесстрашных коллег-профессоров отслеживают чудовище до холма с кругом из камней. Они делают тварь видимой, опрыскивая ее порошком Ибн-Гази…

«Данвичский кошмар» – один из лучших рассказов Лавкрафта, богатый на идеи и постоянно держащий в напряжении. Однако использование Лавкрафтом фонетического написания для отображения диалекта («Господом клинусь всимагущим, ни знаю, чиво он хочит и чиво сабираица делать») по современным нормам излишне. Писатели девятнадцатого века вроде Киплинга часто использовали этот прием, современные же приучены обращаться к нему весьма редко. Одна из причин этого – многие нынешние читатели освоили методы чтения с листа, и незнакомые комбинации букв сбивают их с толку.

Несколько лет назад по «Данвичскому кошмару» был снят одноименный художественный фильм. Хотя как развлечение он и неплох, но по воздействию он и близко не стоит рядом с оригиналом. По своему обыкновению Голливуд превратил Уилбура Уэйтли в обычного юношу и снабдил его девушкой, дабы обеспечить обязательную любовную сцену. Необъяснимые эпизоды и спецэффекты нагромождены один на другой так, что, должно быть, приводили в замешательство даже самого

внимательного зрителя.

Райт купил «Данвичский кошмар» за двести сорок долларов – самой большой чек за литературный труд, который когда-либо получал Лавкрафт. Однако после завершения этого рассказа он не писал новой прозы более полутора лет – несмотря даже на то, что наслаждался некоторыми признаками успеха. Британская составительница антологий Кристина Кэмпбелл Томпсон отобрала три его рассказа, которые были изданы в 1927–1931 годах под выходными данными «Селуин энд Блант, Лтд»., Лондон. «Кошмар в Ред-Хуке» был напечатан в «Вам понадобится ночник», «Модель Пикмана» – в «Только при свете дня», «Крысы в стенах» – во «Включите свет!». «Зов Ктулху» был перепечатан в «Берегись тьмы!» (1929) под редакцией Т. Эверетта Харре для «Маколи Компани».

За некоторые эти публикации Лавкрафт получил небольшие суммы – в одном случае пятнадцать долларов. В других же случаях все деньги отходили «Виэрд Тэйлз», которым принадлежали все права. Хоть и запоздало, но Лавкрафт все-таки начал задумываться о подобных вещах: «Кажется, Райт однажды что-то сказал о „правах“ на мои рассказы, но я был слишком скверным и беспечным бизнесменом, чтобы обратить на это внимание».

Друзья Лавкрафта всячески убеждали его попытаться найти рынок для сборника рассказов. (Антология содержит рассказы разных авторов, а сборник – одного.) Дерлет рекомендовал «Авангард Пресс», которые издали кое-какие его работы. Ортон вызвался попробовать продать сборник.

Лавкрафт колебался. Помимо планов на антологию, Райт говорил и об издании сборника рассказов Лавкрафта. Поэтому Лавкрафт считал: «Все-таки я должен дать шанс первым издать сборник рассказов Райту. Он продолжает изъявлять желание заняться им, и он – несмотря на всю свою ограниченность – всегда был столь внимателен и честен в делах со мной, что меньшее, что я могу сделать, это предоставить ему право выбора первому…»[435]

На Лавкрафта всегда можно было рассчитывать, что он поведет себя по-джентельменски. Но из издательских планов Райта так ничего и не вышло.

Даже эти результаты не побуждали Лавкрафта к написанию новых рассказов на протяжении долгого времени. Прежде всего, его «призрачный» бизнес был весьма активен, хоть и не всегда прибылен. Поскольку он не мог сказать «нет» настойчивому клиенту, он был всегда занят. Он говорил Дерлету: «Не знаю,

когда у меня будет время для нового рассказа». Сокращение капитала подстегивало его не ослаблять напряженной работы, но поскольку он не стал бы торговаться с клиентами или требовать с них оплаты, они продолжали злоупотреблять им. Поэтому, несмотря на весь свой труд, «призрачным авторством» он так и не зарабатывал на жизнь достаточно.

Вопреки всем своим стараниям уклониться от работы на де Кастро, он все – таки позволил ему убедить себя отредактировать еще один рассказ – «Электрический палач», опубликованный в «Виэрд Тэйлз» в 1930 году. Одна старая леди из Вашингтона, федеральный округ Колумбия, по имени Элизабет Толдридж уговорила Лавкрафта переработать огромное количество своих посредственных стихов. Она стала одной из его постоянных корреспонденток, отсылая ему кипы газетных вырезок.

Вопреки очевидному успеху с «Данвичским кошмаром» и антологиями, Лавкрафт был удручен своими перспективами. В поэзии, признался он мисс Толдридж, «мои поэтические способности были разрушены» чрезмерным подражанием «мистеру Попу, доктору Юнгу, мистеру Томсону, мистеру Аддисону, мистеру Тикеллу, мистеру Парнеллу, доктору Голдсмиту, доктору Джонсону и так далее. Мои стихотворения утратили все признаки самобытности и искренности, а единственной заботой было воспроизведение типичных форм и настроений георгианской обстановки, в которой, как подразумевалось, они и были сочинены».

Это подражание, сокрушался он, перенеслось и на его прозу: «Есть мои „По – произведения“ и мои „Дансейни – произведения“ – но увы! – где мои Лавкрафт – произведения? Лишь в некоторых из своих более реалистичных работ в прозе я показал хоть какие-то признаки развития – в данный поздний период, – какой-то свой стиль…»

Он выслал мисс Толдридж образцы своей поэзии, добавив: «Во всех этих стихотворениях вы не без ироничного удивления заметите, что я щедро использую архаизмы, инверсии и поэтические вольности, против которых непрестанно предостерегаю других! Моя поэзия – просто антикваризм, и ничего более»[436].

То, что в начале своей карьеры Лавкрафт подражал По, Дансейни и георгианским поэтам, – неудивительно. Большинство писателей как раз и начинают с подражания предшественникам. Поэтому-то многие современные писатели прошли через периоды Хемингуэя, Фолкнера и даже Лавкрафта. Если все идет хорошо, со временем они ассимилируют подобные влияния – как Лавкрафт советовал своим клиентам, они учатся быть «самими собой».

В случае же Лавкрафта этот процесс был весьма и весьма замедлен. Во-первых, он был смещен десятью потерянными годами его болезненного затворничества – так что он начал серьезно писать лишь в двадцать семь. Затем, процесс был заторможен его бесом противоречия – его архаичностью, манерностью и снобизмом.

Бес закрыл ему глаза на развитие литературных техник со времен По, из-за него он презирал практичность как «буржуазную», недостойную внимания джентльмена. Теперь же, хоть и слишком поздно, он начал осознавать, сколь дорого ему обошлись его ранние позы.

Кроме того, когда он пришел к более реалистичному взгляду на свое творчество, уже само это самоосмысление указало ему на его ранние подражательность и стилистическую блажь. И впредь он становился все более и более самокритичен.

«За последнее время у меня появилась возрастающая неудовлетворенность своими трудами – особенно ранними, – так что я едва ли не рад, что Райт, кажется, отказался от замысла с книгой. В моем стиле присутствует некое качество дешевой мелодрамы – нелепость, напыщенность, несдержанность, – требующее сглаживания, хотя оно и пошло на убыль с моего периода „Гипноса“ и „Гончей“».

Впоследствии Лавкрафт не только забраковал свои ранние рассказы, но и часто говорил, что не признает вообще все, за исключением последних. Не обладающий самовлюбленностью удачливого писателя, Лавкрафт легко ввергался в уныние неблагоприятной критикой. Когда же он сам осознал промахи собственных трудов, это просто убило его.

Из-за нахлынувшего потока работы по «призрачному авторству» и чрезмерной самокритики художественная производительность Лавкрафта оставалось низкой на протяжении всей его оставшейся жизни. После «Данвичского кошмара» он в среднем писал лишь немногим более одного рассказа в год, не считая совместных работ и переработок. Стараясь отвечать растущим требованиям читателей, Райт перепечатывал – без оплаты – многие ранние лавкрафтовские рассказы и опубликовал множество его стихотворений.

В некоторых отношениях Лавкрафт развивался. По политическим взглядам он был все еще консервативным нативистом, поддерживавшим Гувера против Эла Смита. Последний, считал он, представлял «декадентские и неассимилируемые банды из Южной Европы и Востока»[437].

Он, однако, отдалился от идеи «сухого закона» еще больше.

Узнав, что у Фарнсуорта Райта случаются запои, он сказал, что, учитывая страдания Райта, «я испытываю искушение откопать местного бутлегера… и послать брату Фарнсуорту ящик искусственного великолепия»[438]. (В действительности же Райт пил весьма умеренно.)

Становились шире и его эстетические взгляды. Техника «потока сознания», разработанная Джеймсом Джойсом, по его словам, может потрясти простодушных людей как «бессмысленная несвязность», но в ее защиту есть что сказать. Ее крайние формы, считал он, «выходят за рамки подлинного искусства», но «предназначены для оказания сильного воздействия на само искусство»[439].

Соня жаловалась, что после возращения Лавкрафта в Провиденс «наша супружеская жизнь… велась на стопках бумаги, омываемых реками чернил». После визита в Нью-Йорк весной 1928 года «на протяжении нескольких следующих месяцев мы вновь сожительствовали лишь в письмах». Лавкрафт писал почти ежедневно.

«Он и хотел жить таким образом и даже был доволен – но не я. Я начала настаивать на законном раздельном проживании – по сути, на разводе. Но в течение всего этого периода он испробовал все средства, которые только смог изобрести, чтобы убедить меня, как высоко он меня ценит, и что развод сделает его совершенно несчастным, и что джентльмен не разводится со своей женой, если у него нет для этого оснований – а у него их не было. Я отвечала ему, что делаю все, до чего могу додуматься, чтобы сделать наш брак удачным, но такого, лишь в переписке, брака не может быть и в помине, ведь для подлинного брака необходима близость. Тогда он, бывало, рассказывал об очень счастливой паре, которую знал: жена жила со своими родителями в Вирджинии, а муж из-за болезни где-то в другом месте, и их супружество сохранялось посредством писем. Я же отвечала, что никто из нас по-настоящему не болен, и что я не желаю быть далекой женой, „наслаждающейся“ обществом далекого мужа только по переписке».

В конце 1928 года Соня оплатила Лавкрафту еще одну поездку. Она «…сказала ему, что хоть и считаю невозможным оставаться его женой, но хочу, чтобы он знал, что я буду ему другом, если ему понравится такая дружба, и что он должен развестись со мной, познакомиться и жениться на девушке из своего окружения и культурной среды, жить в Провиденсе и попытаться зажить нормальной жизнью и быть счастливым.

„Нет, моя дорогая, если ты уйдешь от меня, я никогда не

женюсь вновь“, – говорил он. „Ты не осознаешь, как высоко я тебя ценю“, – уверял он меня снова и снова. „Но ты показываешь свою любовь так неслышно!“ – повторяла я снова и снова»[440].

Наконец Лавкрафт сдался. 25 марта 1929 года он пошел в адвокатскую контору и подписал договор о расторжении брака с Эдди в качестве свидетеля. Лавкрафт обосновал развод уходом жены и добился предварительного решения суда. В действительности же это Лавкрафт оставил Соню, которой приходилось жить там, где она могла заработать на жизнь для них обоих. Но суд решил, что мужчина есть глава семьи, и потому определил его местожительство как законное место проживания всей семьи.

Позже Лавкрафт объяснял, что брак в порядке в том случае, если у пары схожие вкусы, устремления, идеи, чувства и идеалы, но на подтверждение этой схожести уходит по крайней мере два года сожительства. Поэтому он одобрял либеральные законы Род-Айленда по разводу и идею судьи Бена Линдсея о браке, перед заключением которого будущие супруги договариваются о количестве детей и условиях развода. Он считал, что шансы на счастливый брак для «сильно индивидуализированной, упрямой и одаренной богатым воображением личности» вроде него самого «чертовски малы».

«И если у него будет тот обычный характер, что в большинстве случаев сопутствует подобной интеллектуальной натуре, то он не будет склонен считать надменное безбрачие какой-то высокой ценой, которую приходится платить за эту неземную неоскверняемость. Независимость и полная изоляция от пустой толпы – вещи, столь необходимые для определенного склада ума, что при сопоставлении с ними все остальные проблемы становятся второстепенными… И все-таки я не считаю супружество такой трудностью, как могло бы показаться. С женой такого же характера, как у моей матери и тетушек, я, пожалуй, смог бы воспроизвести тип того домашнего быта, что был во времена Энджелл-стрит, даже если бы в семейной иерархии мне достался другой статус. Но в ответ на разнообразные береговые знаки реки – времени года выявляют основные и важнейшие различия, а также противоположные устремления и представления о ценностях в планировании постоянной совместной среды… Я не смог бы существовать нигде, кроме медленно меняющейся и исторически обоснованной тихой заводи Новой Англии, – и несчастный мореплаватель обнаружил такую панораму, обремененную, однако, экономическим гнетом – настоящим удушением!.. Такая старая птица, как эта, уже не в том возрасте, чтобы вить новые гнезда, и лучше бы и не

пыталась».

Очевидно, «жена», которую желал Лавкрафт, была не супругой в сексуальном смысле, а суррогатной матерью, которая дрожала бы над ним, нянчилась и освобождала от всех рутинных дел, поручений и обязанностей. Пытаясь представить свой провал в супружестве в лучшем виде, Лавкрафт приуменьшил поразительную приспособляемость Сони и игнорировал ее великодушное предложение продолжать поддерживать его в Провиденсе. Он также преувеличил свои возможности по поддержанию «независимости» и «изоляции» и возрождению былого образа жизни с женой хоть какого типа – он даже себя-то не мог содержать.

Более того, он считал, что большинство мужчин схожего с ним интеллектуального типа не возражало бы против безбрачия. Но по всем показателям лишь очень малое количество мужчин на четвертом десятке так же безразлично к сексу, как это изображал Лавкрафт.

Соня проработала в Нью-Йорке и вблизи от него еще три года. Порой она и Лавкрафт обменивались письмами. В 1932 году она отправилась в Европу. Она писала: «У меня было сильное искушение пригласить его с собой, но я знала, что поскольку я больше не была его женой, он отказался бы». Возможно, и так, но жаль, что она все-таки не предложила. Путешествие по Европе было одним из сильнейших неосуществленных желаний Лавкрафта. Соня говорила: «Тем не менее я писала ему из Англии, Германии и Франции, высылая ему книги и открытки со всеми мыслимыми видами, которые, по моему мнению, могли его заинтересовать.

Когда я побывала в лондонском ресторане „Чеширский сыр“, я послала ему копию пивной кружки, из которой пил доктор Джонсон, и другие сувениры, в том числе открытку с видом угла… в котором стояли стол и стулья, где сидели, выпивали и болтали доктор Джонсон с близкими друзьями и Босуэлл…

По возвращении в США я заболела. Выздоровев, я отправилась в прекрасный Фармингтон, штат Коннектикут. Этот прекрасный город в колониальном стиле так очаровал меня, что я сразу же написала Говарду, чтобы он приехал ко мне, что он и сделал… Да, думаю, я все еще очень любила Говарда – больше, чем могла признаться даже самой себе. Ибо, хотя в своих путешествиях я и встречала множество достойных мужчин и некоторые из них искренне предлагали мне руку и сердце, никто так и не привлек меня за восемь лет, в течение которых я не могла не сопоставлять с Говардом то, что мне представлялось

недостаточностью других мужчин в плане интеллекта… Когда я и Говард расставались на ночь, я спросила: „Говард, разве ты не поцелуешь меня?“ Он ответил: „Нет, лучше этого не делать“.

В то время я проводила кое-какие исследования для Бруклинского детского музея. Среди нескольких работ мне было поручено написать одну под названием „Роджер Уильяме произносит речь о свободе перед священнослужителями Новой Англии“. Большинство исследований было проведено в Нью-йоркской библиотеке на 5–й авеню и 42–й улице. Но когда я рассказала Говарду Лавкрафту, что делала по этому заданию и что хотела бы найти побольше данных, он любезно отвел меня в Хартфордскую библиотеку и тут же занялся поиском первоисточников и тасканием с полок томов для меня… Расставаясь вечером, я уже не просила его поцеловать меня. Я хорошо усвоила урок»[441].

Это была ее последняя встреча с Лавкрафтом. Работа для музея была для Сони временной – чтобы продержаться, не будучи занятой в торговле дамскими шляпами. В 1933 году она вернулась в этот бизнес в качестве закупщика. Те, кто видел ее тогда, описывали ее как гораздо менее обаятельную, нежели то великолепное создание, на котором женился Лавкрафт. На шестом десятке она поправилась и носила простую одежду и прическу.

В конце 1933 года Соня отправилась морем в Калифорнию, где решила остаться. Перед отъездом она сожгла целый чемодан писем Лавкрафта.

В течение следующих двух лет она сменила несколько работ в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В 1935–м она встречалась с сенатором от Калифорнии, когда, оказавшись с ним на какой-то лекции, познакомилась с худощавым, стройным седовласым мужчиной с аристократическими манерами – доктором Натаниэлем Абрахамом Дэвисом, вдовцом с уже взрослыми детьми. На следующий день он навестил ее и после некоторого разговора напрямик спросил ее:

– Вы еврейка или нет?

– А вам какая разница? – с улыбкой спросила она.

– Пожалуйста, ответьте. Это важно!

– А вы кто? Еврей или нет?

– Я – еврей!

– И я тоже, – ответила Соня.

Дэвис встал, молитвенно сложил руки и вскричал: «Слава Богу!»[442] На следующем свидании он сделал ей предложение, а на следующий день они поженились.

Дэвис был шестидесятивосьмилетним евреем португальского

происхождения из Бразилии. Он сделал обширную карьеру. Его дяди (братья Уеши) занимались судоходным бизнесом, и он путешествовал на их кораблях и получил медицинскую степень в Австралии. До переезда в Калифорнию он был практикующим акушером в Мельбурне. Не имея возможности пройти стажировку для получения права на врачебную практику, он стал деканом в небольшом колледже.

Дэвис был религиозен. Соня стала подавать кошерную пищу, регулярно посещать синагогу и вступила в Хадассу. Также он был поэтом, погруженным в мистицизм и идеализм. Он верил в реинкарнацию и доктрину розенкрейцеров и основал международную мирную организацию из одного человека под названием «Всепланетный».

Хотя Дэвис и был, помимо всего прочего, профессором по экономике и внешней торговле, в отношении денег он проявлял здравого смысла немногим больше, чем Лавкрафт. Он постоянно соблазнялся покупкой земель и терял свои вложения. После женитьбы он стал отдавать свой заработок Соне, и они справлялись уже лучше.

Колледж Дэвиса закрылся, и ему пришлось искать работу. Для человека почти семидесяти лет это было нелегко. Он получил было одну – книжного продавца, но через какое-то время его уволили из-за возраста. Тогда он устроился газетным репортером в «Херст», но потерял и эту работу, когда профсоюз отказался принять его в свои ряды – тоже на основании возраста. Соня снова стала работать, чтобы содержать семью.

Она прожила с Дэвисом в состоянии (по ее словам) блаженного счастья семь лет. Затем Дэвис стал угасать от рака. Он умер в 1945 году, после трехлетней мучительной болезни.

Соня продолжала работать, отвергая предложения, пока и сама тоже не состарилась. Она вышла на пенсию и поселилась в Приюте Дианы Линн в Санленде, штат Калифорния, где 26 декабря 1972 года и умерла, дожив до восьмидесяти девяти лет. Она, несомненно, прожила полную жизнь.

Глава пятнадцатая. Независимый эксперт

Эта земля под вечными тенями,
Давних веков ей видится расцвет;
Гордые вязы меж могил ветвями
Арки смыкают над мглой прошлых лет.
Резвятся памяти лучи крутом,
Алые листья шепчут о былом[443].

Г. Ф. Лавкрафт «Где По когда-то бродил»

После поездки в начале 1929 года в Бостон с Сэмом Лавмэном – для осмотра старинных достопримечательностей – в середине апреля Лавкрафт отправился в еще одно весеннее путешествие. Он усвоил, что «чужое путешествие совершенно меркнет по сравнению с собственными ощущениями».

Сначала он остановился в доме Бреста Ортона в Йонкерсе. В Нью-Йорке «банда» и новые друзья, с которыми он познакомился через Ортона, засыпали его приглашениями. В ответ на гостеприимство Ортона Лавкрафт переработал несколько его рассказов.

Ортон, молодой человек со связями, предложил Лавкрафту найти для него работу в Нью-Йорке, как он это уже сделал для Уондри. Сдерживая дрожь, Лавкрафт отказался. Больше он обрадовался бы деловым связям, которые дали бы ему возможность жить в Провиденсе. Но поскольку его профиль и способности, по сути, ограничивались лишь издательским делом, которое, в свою очередь, было сосредоточено в Нью-Йорке, его шансы на получение должности, на которую он рассчитывал, были далеки от обнадеживающих[444].

Лавкрафт провел неделю у Ортона и еще одну у Лонгов. Его чувства по отношению к Нью-Йорку были смешанными: «По злой

иронии судьбы большинство моих ближайших друзей живут в городе, который я не переношу». С другой стороны: «Это местечко не так уж и отвратительно, когда знаешь, что не прикован к нему и что у тебя есть Провиденс, который встретит тебя…» Через несколько лет он с ностальгией вспоминал свое пребывание в Нью-Йорке с «…его долгими непринужденными собраниями в различных местах – полным пренебрежением к часам – старинными, хорошо знакомыми достопримечательностями – оживленными еженедельными встречами – тогдашними пылкими разногласиями и не менее пылкими спорами – книжными магазинами и экспедициями – несомненно, они сияют золотым светом даже по прошествии одиннадцати долгих лет»[445].

По окончании визита в Нью-Йорк Лавкрафт поехал на Юг. Он предполагал добраться не дальше Филадельфии, но весьма своевременный чек от клиента по «призрачному авторству» продлил его поездку до Фредериксберга, Ричмонда и Уильямсберга. Он писал: «Это мое первое настоящее насыщение стойкой и старинной культурой Юга – единственной, которую я могу считать равной культуре Новой Англии». Особенно ему понравился Ричмонд – потому что, в отличие от «ужасающе обыностраненного» Балтимора, в нем было «лишь три процента иностранцев». Он с удовольствием обнаружил, что приступы тоски по родине, которые ранее превращали путешествие в мучительное удовольствие, теперь ослабевали.

Лавкрафт посетил церковь Святого Иоанна в Ричмонде, в которой в начале «измены законному правительству Его Величества» Патрик Генри произнес свои «дешевые мелодраматические слова… Кафедра, с которой он говорил, до сих пор оберегается и отмечена табличкой, но как верноподданный Короля я отказался взойти на нее». Он самодовольно отметил кастовое положение «черномазых» на Юге, но в то же время похвалил «очаровательного ризничего-мулата – очень смышленого», который «показывает посетителям здание»[446].

По пути домой Лавкрафт поднялся по долине Гудзона и провел несколько дней, исследуя старинные городки вроде Харлея и Нью-Палца. Опоздав на пересадку автобуса, он в первый (и, насколько мне известно, единственный) раз в своей жизни поймал попутку. Дружелюбный водитель грузовика «Стандард Ойл» подбросил его от Харлея до Кингстона.

В Кингстоне он навестил еще одного друга по переписке – Бернарда Остина Двайера. Вместе с дешевым чемоданом Лавкрафт возил с собой сумку из черной лаковой кожи, в которой держал канцелярские принадлежности, годовой дневник,

экземпляры «Виэрд Тэйлз» и небольшую подзорную трубу для осмотра пейзажей и архитектуры. В парке Кингстона он оставил сумку на скамейке и взобрался на холм, но, вернувшись через несколько минут, на месте ее не обнаружил. Приехав домой, он восстановил свое снаряжение и в последующие поездки ездил с подобной же сумкой.

От Двайера Лавкрафт отправился в Олбани, а оттуда в Атол, где провел неделю у Кука. Кук отвез его в Провиденс и там накупил книг в магазине дяди Клиффорда Эдди.

Лавкрафт, теперь уж совсем непоседа, совершил в 1929 году еще два путешествия. В августе Лонги проводили отпуск в Онсете, штат Массачусетс, и пригласили Лавкрафта присоединиться к ним. Все более и более жадный до новых впечатлений, он восторженно писал: «Путешествие в Онсет окончилось своего рода кульминацией – моим первым полетом на аэроплане. Очень возбуждающее впечатление, которое я хочу повторить. На гидроаэроплане, который поднялся высоко над заливом Баззардс и одарил чувством космической независимости от картоподобного мира и сине-зеленой красоты, распростершейся внизу»[447].

Лонги убеждали Лавкрафта поплавать. Раньше он отговаривался, что никогда не учился плавать из-за страха перед судорогами от холода, но они наконец уломали его. Он появился в старомодном купальном костюме 1910 года, с трусами до колен, и проплыл несколько ярдов[448] вполне приличным брассом без видимых пагубных последствий.

Двадцать восьмого августа Лавкрафт и его младшая тетя, Энни Гэмвелл, отправились в автобусную поездку на запад Род-Айленда поискать места предков в Мусап-Велли и городках Фостер. Они потратили целый день, выискивая могилы Говардов, Лайонов, Филлипсов, Уипли и Уипплов. Лавкрафт переписывал эпитафии вроде той, что была на надгробной плите его прапрадеда Асафа Филлипса:

> О праведных цвесть память будет
> Когда спит прах их волей судеб[449].

Лавкрафт провозглашал себя «законченным сельским сквайром»[450]. Он отнюдь не единственный человек с мыслью о том, что он обладает инстинктами собственника без собственности.

Лавкрафт продолжал зарабатывать «призрачным авторством». В апреле вышла в свет книга де Кастро о Бирсе, но продавалась

плохо. Де Кастро ворчал, что ее приняли бы лучше, изъяви Лавкрафт желание ее переработать. В июле он заплатил Лавкрафту аванс (как тот и требовал вначале) за переработку книги. Следующие два месяца Лавкрафт был занят ею, но, насколько мне известно, переделанная версия так и не была напечатана.

Также Лавкрафт взялся за еще одну солидную «призрачную» работу. В январе 1929 года Морис Мо прислал ему рукопись «Дорог поэзии», книги о понимании поэзии, которую надеялся издать в качестве учебника. Лавкрафт не только принялся за ее переработку, но и отказался от оплаты, объяснив: «Джентльмену не по нутру требовать денег за услугу, оказываемую другу»[451]. Он начал эту работу в июле и был все еще занят ею в сентябре, по-видимому, эта книга также не была издана.

В начале 1929 года некий Ли Александр Стоун, доктор медицины, начальник одного из отделений Чикагской службы здравоохранения, нанял Лавкрафта написать статью о преступности Чикаго. Лавкрафт написал, но денег за нее не получил. После полутора лет вежливых напоминаний об оплате он написал этому деятелю:

«Сэр!

Что касается вашего упорно неоплачиваемого счета за переработку – относительно которого вы так упорно воздерживаетесь от любых разъяснений несмотря на неоднократные запросы, – то я решил, рискуя тем самым поощрить недобросовестную практику, отказаться от услуг агентства по сбору платежей и одарить вас затрагиваемой суммой.

Я впервые столкнулся с таким безнадежным счетом и полагаю, что могу считать данную сумму ($7,50) вполне незначительным ущербом, чтобы списать ее на приобретение практического опыта. Мне необходимо было научиться осторожности при принятии неизвестных клиентов без достаточных рекомендаций – особенно клиентов из крикливого района, культивирующего коммерческий рост, а не честность, принятую среди джентльменов.

Между тем я крайне признателен за столь точный ответ на популярный вопрос: „Находится ли Чикаго во власти преступности?“

С уместным для данной ситуации уважением и надеждой, что мой скромный дар сможет послужить вам финансовой поддержкой, поверьте мне, сэр,

Ваш наипокорнейший слуга,

Г. Ф. Лавкрафт».

Позже в том же году Лавкрафт написал статьи для доктора Вудберна Харриса – врача, проводившего кампанию против «сухого закона» в Чикаго. Он переписал рассказ Зелии Рид «Курган», сделав его частью Мифа Ктулху. Рассказ основан на сказках, услышанных ею в Оклахоме, и повествует об открытии подземной цивилизации в глубинных пещерах. Перед тем как взяться за эту задачу, он написал Элизабет Толдридж: «Да – все, относящееся к цивилизациям майя и ацтеков, интересно, и я полагаю, что обращусь к этой теме не единожды. И в самом деле, моя следующая работа по переработке даст мне возможность попрактиковаться, поскольку она потребует ввести данную тему так, как если бы я создавал свое совершенно оригинальное сочинение»[452].

Но, как оказалось, затем он не возвращался к оригинальному сочинительству на протяжении месяцев, а рассказы на месоамериканские[453] темы (другие, нежели его работа над «Курганом») так и не были написаны. Когда «Курган» был предложен «Виэрд Тэйлз» первый раз, Райт отверг его как слишком длинный (двадцать восемь тысяч слов). Он был напечатан только после смерти Лавкрафта и Райта.

Лавкрафт все так же продолжал прилагать лишь незначительные усилия по продвижению своих произведений на рынке. Сначала Райт отказался от «Таинственного дома в туманном поднебесье», а затем попросил взглянуть на него вновь. Однако, ответил Лавкрафт, «слишком поздно. Я отдал его Куку для его „Риклуиз“, и было бы очень дурным тоном просить его вернуть – намекать ему таким образом, что он может получить только то, что никому другому не нужно».

У Кука, впрочем, были свои беды – его жена умерла в начале 1930 года. Когда стало ясно, что он уже никогда не издаст следующий «Риклуиз», Лавкрафт отослал «Таинственный дом в туманном поднебесье» Райту, который опубликовал его в номере за октябрь 1931 года.

Лавкрафт говорил о предложении рассказов, отвергнутых Райтом, традиционным научно-фантастическим журналам, однако находил подобную не приличествующую джентльмену мелочную торговлю отвратительной: «Что касается меня, то я испытываю нечто вроде неприязни к отправке куда-либо того, что уже было раз отвергнуто, так что на данный момент я склонен подождать, пока у меня не появится чего-нибудь нового… Мне не нравится продвигать свои работы. Глупое отношение, без всяких сомнений, но старики останутся стариками!»

Во время своего весеннего приезда в Нью-Йорк Лавкрафт встречался с заместителем редактора «Рэд Бук Мэгэзин» («Журнал Красная книга»), «но это лишь убедило меня, что этому типу журнала ничего из моего не подходит». Он отмахнулся от своей неудачи с изданием книги: «Что до сборника моего хлама – таковой часто выносился на обсуждение, но в итоге так ничего и не вышло, и меня особо не заботит, выйдет ли когда-нибудь или нет».

Неудачливые писатели и другие художники часто говорят, что их не волнует, ценят ли массы их труд: они творят лишь для самовыражения. Возможно, они лишь прикидываются безразличными, огораживая свое самолюбие от унижения провала. Когда же к художникам все-таки приходят слава и удача, большинство из них принимают эти награды так же охотно, как и простые смертные.

В случае Лавкрафта уныние, в которое ввергал его каждый отказ, предполагает, что он не был так уж безразличен к земной славе, как изображал это. И он признавался в этом. Когда в 1935 году издательство «Лоринг энд Массей» поинтересовалось, есть ли у него что-нибудь, что они могли бы издать, он написал другу, что не думает, что этот запрос к чему-либо приведет, поскольку четыре других издательства уже отказались от сборника его рассказов. Тем не менее: «Я пробежал несколько рассказов лишь из общего принципа испробовать всевозможные средства. Мне бы не хотелось думать впоследствии, что моя книга могла бы быть изданной, если бы я отозвался на запрос»[454].

Несомненно, он и в самом деле был бы рад увидеть свое имя на корешке профессионально напечатанной книги, несмотря на все уверения в обратном.

Талант Лавкрафта ненадолго вспыхнул и в поэзии. Наконец-то он начал отдаляться от Аддисона, Драйдена и По в качестве образцов для подражания. В 1925 году он сочинил изящный шуточный стишок из одиннадцати четверостиший, «Год долой»:

Имей я целый год безделья,
Да денег много – много лишних,
Тогда б затеял приключенье
Смелей всех путешествий книжных.

Я справочником был бы сыт,
От карт прибавилось б в мозгах —
Америка сперва ведь чтит
Рекламодателей в краях.

Он рассказывает обо всех местах, в которые спланировал бы путешествие:

> Узнал бы цены на билет
> В Циндао, после в Йокохаму
> И для поездки на Тибет,
> Увидеть чтобы далай-ламу.
> …
> Так мог бы я мечтать – пока
> Не пролетел бы этот год,
> Я не потратил ни гроша,
> И вряд ли нужен был поход![455]

Он пытался вырваться из шаблонных оков поэзии восемнадцатого века: «В некоторых поэтических пробах, которыми я занят сейчас, я изо всех сил стараюсь избавиться от этой склонности [использовать шаблонный стиль], которая, как вы, вероятно, знаете, некогда была у меня в весьма сильной форме, обязанной моему пожизненному пристрастию к стилю восемнадцатого столетия»[456].

В конце двадцатых годов стал очень популярен поэт Эдвин Арлингтон Робинсон. Его «Сонеты, 1889–1927» были изданы в 1928 году, и есть основания полагать, что Лавкрафт был вдохновлен его поэзией. Упоминание Робинсона в одном из его писем, возможно, подразумевает поэтически одаренного уроженца штата Мэн – контролера в подземке и таможенного служащего, разделявшего антикоммерческие взгляды Лавкрафта и писавшего: «Да будь проклят бизнес».

Где-то в ноябре 1929 года Лавкрафт написал стихотворение – «Посланник» – с ироническим подтекстом. Бертран К. Харт, литературный редактор «Провиденс Джорнал», в своей колонке похвалил «Зов Ктулху», напечатанный в антологии Харре. Он отметил, что Лавкрафт сделал местом жительства художника Уилкокса дом номер 7 по Томас-стрит, где когда-то жил он сам. В отместку Харт «пригрозил договориться с местными упырями и привидениями, чтобы они подослали чудовищного гостя к моему [Лавкрафта] порогу в три часа ночи…». В ответ Лавкрафт сочинил:

> Придет в три ночи нечто, он сказал,
> Со старого погоста под холмом;
> Но, греясь мягким очага теплом,

Что это бред, себя я убеждал.
То, верно, шутка лишь, я размышлял,
Придуманная тем, кто незнаком
Со Знаком Старших, что с седых времен
Взывает к формам тьмы как ритуал.
Не это, нет – но лампу я зажег,
Когда из Сиконка взошел Лев звездный,
А башня три часа пробила грозно,
И потускнел последний уголек.
Затем я услыхал стук тихий в дверь —
И правды ужас съел меня, как зверь![457]

Лавкрафт узнал, что ряд старых кирпичных товарных складов вдоль Саут-Уотер-стрит, у подножия Колледж-Хилла, должен быть снесен. Возмущенный, он горестно стенал: «Их судьба – источник величайшей боли и раздражения для меня, хоть я и отлично понимаю, что ее нельзя предотвратить»[458]. 7 декабря 1929 года он сочинил стихотворение из двенадцати четверостиший «Кирпичный ряд»:

Стояли долгие они там годы —
Кирпич и скаты крыш над краем порта,
И в воздухе соленом дымоходы,
Да холм зеленый, вверх всходящий гордо.
…
И если должен черствый век сорвать
Сокровища те с одеянья града,
То будут порта улицы являть
Вид пустоты с тоскою безотрадной…[459]

Можно усомниться в уподоблении этих коробкообразных утилитарных строений «сокровищам», но враждебность Лавкрафта к переменам была не особо разборчивой. Он сохранил бы любое здание, построенное до, скажем, 1830 года. Стихотворение, опубликованное в «Провиденс Джорнал», вызвало похвалу читателей, но так и не спасло склады – из которых, впрочем, несколько до сих пор стоят между Саут-Уотер-стрит и Саут-Мэйн-стрит.

В январе 1930 года Лавкрафт написал цикл сонетов на сверхъестественные темы. Он сочинил тридцать три стихотворения примерно за неделю. «Виэрд Тэйлз» купил десять из них за тридцать пять долларов, еще пять приобрел «Провиденс Джорнал». Остальные были опубликованы в любительских

журналах.

Лавкрафта (который справедливо называл себя «по существу прозаиком») в поэзии значительно превзошли Роберт Э. Говард, Август Дерлет и Кларк Эштон Смит. Однако этот цикл сонетов был настоящим достижением. Я привел части этих сонетов в качестве эпиграфов к Главам III, XII, XIII и XIV. Вот еще один, «Колокола», в полном виде:

> Из года в год далекий гулкий звон
> В ветрах едва я различал в ночи,
> Не с колокольни, мог что я найти,
> Но чуждый, словно шел из бездны он.
> Ответ ища, все сны я вспоминал
> И звоны, появлялись что в мечте,
> И Иннсмут тихий, вились чайки где
> Вкруг шпиля древнего, что я видал.
>
> Всегда меня дивил звук дальних нот,
> Пока дождь хладный в мартовскую ночь
> Не ввел меня в зев памяти ворот
> К тем башням, что звонили во всю мочь, —
> Но от течений, мчащихся во тьме
> Чрез затонувший дол на мертвом дне[460].

Лавкрафт назвал этот цикл «Грибки с Юггота» – по названию вымышленной планеты за Нептуном в рассказах Мифа Ктулху. Когда в 1930 году был открыт Плутон, Лавкрафт напомнил своим друзьям, что в известном смысле он это предсказал.

«Грибки с Юггота» продемонстрировали, что Лавкрафт, несомненно, обладал некоторым поэтическим талантом. Но в поэзии, как и во многом другом в своей жизни, он выбрал неверное направление и осознал свою ошибку слишком поздно. После «Грибков» он уже мало обращался к поэзии.

Переписка Лавкрафта разрослась больше, чем когда бы то ни было. Одним из его корреспондентов была старая леди из Бостона, утверждавшая, что ведет род от Мэри Эсти, повешенной за колдовство в Салеме в 1692 году. Обрадованный Лавкрафт надеялся узнать у нее какие-нибудь предания, которые смог бы использовать в своих произведениях. Но его потомок ведьмы оказалась сумасбродной выдумщицей, заявлявшей, что обладает даром предвидения, и желавшей знать, где находятся Данвич и Аркхэм, поскольку она не могла найти их на картах.

В августе 1930 года Лавкрафт начал переписываться с другим

автором «Виэрд Тэйлз» – Робертом Эрвином Говардом (1906–1936). Лавкрафт, Говард и Кларк Эштон Смит, хоть никогда и не встречались, стали «тремя мушкетерами» «Виэрд Тэйлз», постоянно сотрудничая с журналом и непрестанно переписываясь.

Почти всю свою жизнь Говард провел в Кросс-Плейнсе, что в центральном Техасе. Он был единственным ребенком пограничного врача. Будучи болезненным и подвергаясь нападкам сверстников в детстве, интенсивными тренировками он укрепил свое тело до двухсотфунтовой[461] массы мышц, став совершенным боксером, наездником и фанатичным спортсменом. У него был замкнутый, раздражительный отец и (как у Лавкрафта) чудовище-мать – чрезмерно любящая, собственническая женщина, препятствовавшая его естественному интересу к девушкам.

Ненасытный читатель и плодовитый, многогранный писатель, Говард был и неплохим поэтом. Его красочные, звонкие стихотворения, если и не такие выдающиеся, как у Смита, гораздо более интересны, нежели большинство Лавкрафта, из-за нехватки денег Говард не учился в колледже. Сначала он перебивался случайной работой вроде продавца прохладительных напитков и землемера, затем окунулся в писательство с полной внештатной занятостью. После нескольких лет (1926–1929) скудных заработков и множества отказов его дела пошли в гору. Он был единственным настоящим профессиональным писателем из трех, поскольку Смит считал себя главным образом поэтом, а Лавкрафт – «призрачным автором». За свою короткую жизнь он написал больше прозы, чем Смит и Лавкрафт вместе взятые. Его почти две сотни рассказов относились к жанрам фэнтези, научной фантастики, вестерна, восточных приключений, а также к спортивной и исторической тематике.

На протяжении семи лет Лавкрафт и Говард поддерживали обширную переписку. Они спорили о человеческих расах, миграциях племен, взлетах и падениях цивилизаций. Говард был ирландского происхождения, и потому был сторонником ирландцев, в то время как Лавкрафт – англичан. Порой они обменивались и колкостями.

Когда Говард обмолвился, что хотел бы родиться варваром или на фронтире, Лавкрафт обвинил его в романтизме, сентиментальности, наивности и в том, что он является «врагом человечества». Говард парировал, что лавкрафтовская идеализация восемнадцатого века такая же романтическая и наивная. Лавкрафт обвинил Говарда в превозношении физической стороны жизни над интеллектуальной; Говард ответил, что он лишь придерживается гармоничных взглядов –

соревнования и тренировки ему так же необходимы, как и Лавкрафту увлечение стариной. Когда Лавкрафт похвалил Муссолини и фашизм, Говард, для которого личная свобода была важнейшим политическим принципом, осудил Муссолини (тогда бомбившего и травившего газом эфиопов) как мясника, а фашизм – как тиранию, рабство и прикрытие для финансовой олигархии.

В этих спорах доводы Говарда были поубедительнее, чем у Лавкрафта. Он, судя по всему, намного превосходил Лавкрафта сердечностью, широтой взглядов, уравновешенностью, житейской мудростью и здравым смыслом. Его роковая слабость обнаружилась лишь позже.

Главным художественным творением Говарда была Гиборейская эпоха из цикла рассказов о Конане. Это вымышленная доисторическая эпоха, давности примерно двенадцать тысяч лет, между гибелью Атлантиды и началом засвидетельствованной истории. Конан-киммериец – огромный варвар-авантюрист, совмещающий в себе качества Геракла, Синдбада и Джеймса Бонда.

Говард, разрабатывая рассказы о Конане, которых он сочинил более двух десятков, написал очерк «Гиборейская эпоха». В нем была изложена псевдоистория мира Конана, хотя Говард утверждал, что это отнюдь не серьезная теория о доисторическом периоде человечества. Он наделял свои королевства и персонажей именами из античной, восточной, древнескандинавской и некоторых других историй и мифологий – такими как Дион, Валерия, Тот-Амон, Асгард и Туран.

Где-то в конце сентября 1935 года Говард отослал Лавкрафту экземпляр «Гиборейской эпохи» и попросил по прочтении переслать его своему почитателю Дональду А. Уоллхейму. Лавкрафт отправил рукопись с сопроводительным письмом:

«Уважаемый Уоллхейм!

Здесь то, что Боб с Двумя Пистолетами просил меня переслать вам для „Фантаграф“, – я весьма надеюсь, что вы сможете это использовать. Это действительно замечательное произведение – из всех, кого я знаю, у Говарда самое великолепное чувство драмы Истории. Он обладает панорамным видением, включающим эволюцию и взаимодействие рас и народов за продолжительные периоды времени, которое приводит в такое же сильное волнение, какое (даже еще большее) вызывают вещи вроде „Последних и первых людей“ Стэплдона.

Единственный изъян в этой работе – неискоренимая склонность Р. Э. Х. к выдумыванию имен, чересчур похожих на настоящие имена из древней истории, – и которые, по нашему

мнению, вызывают слишком неуместные ассоциации. Во многих случаях он делает это намеренно – основываясь на теории, что хорошо знакомые имена происходят из описываемых им мифических королевств, – но подобное намерение сводится на нет тем фактом, что нам хорошо известна этимология многих исторических выражений, а потому мы не можем принять то происхождение, что он предлагает. Э. Хоффманн Прайс и я, оба спорили с Бобом с Двумя Пистолетами по этому вопросу, но не добились какого-либо успеха. Единственное, что остается, – принимать терминологию как он ее дает, закрывая глаза на огрехи, и быть чертовски признательными, что можем наслаждаться подобной яркой искусственной легендой…

С наилучшими пожеланиями —

Искренне ваш, ГФЛ»[462]

Несмотря на критику Лавкрафта, в защиту терминологии Говарда можно кое-что сказать. Хотя придуманные Говардом имена и не очень интересны, они, как заимствованные из древних источников, придают очарование старины, не будучи при этом слишком трудными для современного читателя, который, освоив методы чтения с листа, спотыкается о любое имя причудливее Смита.

Уоллхейм опубликовал часть «Гиборейской эпохи» в своем «Фантаграфе». В 1938 году Уоллхейм, Форрест Дж. Аккерман и три других почитателя издали весь очерк в виде одноименной брошюры, напечатанной на мимеографе.

Лавкрафт враждовал с Аккерманом на протяжении нескольких лет. Родившийся в 1916 году в Калифорнии, Аккерман заработал репутацию признанного фаната научной фантастики, обеспечивая себя среди прочего деятельностью в качестве продавца журналов, редактора и литературного агента.

В 1932 году, когда Аккерман учился в средней школе, Кларк Эштон Смит опубликовал в «Уандер Сториз» рассказ под названием «Житель марсианских недр». Этот рассказ в жанре ужасов повествует об исследователях Марса, столкнувшихся с чудовищем. Эта тварь, по-видимому, кормится глазными яблоками исследователей, будучи оснащенной отростками для их извлечения. Аккерман написал в «Фэнтези Фэн» («Любитель фэнтези») Чарльза Хорнига и разнес рассказ на том основании, что сверхъестественным ужасам не место в журнале научной фантастики. Лавкрафт отвечал: «Что касается вспышки Аккермана, то я опасаюсь, что его навряд ли можно воспринимать всерьез в вопросах критики фантастической литературы. Рассказ Смита был действительно великолепен, за исключением

низкопробной концовки, на которой настаивал редактор „Уандер Сториз“. Аккерман как-то и мне написал письмо с очень детскими нападками на мои работы – очевидно, он любит словесную пиротехнику как таковую и, кажется, совершенно безразличен к фантастическим ощущениям».

Перебранка заполняла колонку на протяжении первых шести выпусков фан-журнала. Несомненно, ответы Аккермана раздражали Лавкрафта, поскольку в течение трех следующих лет его упоминания Аккермана оживлялись такими выражениями, как «привычная напасть», «пустой наглец», «нахальный невоспитанный юнец», «надутое маленькое посмешище», «маленькая вошь» и «хлипкий дурачок».

К 1937 году, однако, Лавкрафт оставил подобную ребяческую язвительность. Он сказал об Аккермане: «Я уверен, что под своей наружностью он должен быть сметливым и очаровательным парнем! …созрев во что-то весьма отличное от несносного ребенка трехлетней давности… Против него у меня совершенно ничего нет!»

Лавкрафт проанализировал качества, способствующие литературному успеху, и советовал Зелии Рид: «Мой шанс на создание чего-то прибыльного в плане серьезного художественного произведения столь незначителен, что им можно пренебречь; что же касается вас, то вы, судя по всему, имеете общие черты с той более удачливой группой (вроде Бута Таркингтона и Синклера Льюиса), чьим серьезным увлечениям посчастливилось приблизиться к популярной (и потому прибыльной) сфере…»

«В высшей степени великий художник», по его словам, со своего искусства может надеяться лишь на скромный заработок, в то время как «сущий идиот и невежда» вроде Эдгара Райса Берроуза может по счастливой случайности сколотить состояние.

«Однако обычно удачливый коммерческий писатель (за исключением класса бульварных романов) по качествам находится где-то посередине – с умеренной одаренностью идеями и довольно гладкой техникой… Что действительно определяет его успех, так это третья и совершенно отличная составляющая – необъяснимая и неощутимая связь с мысленными и эмоциональными процессами весьма большого круга читателей, – которая никак не соотносится с литературным мастерством и обнаруживается равным образом как среди величайших гениев, так и среди тупейших болванов… Но когда народная симпатия незначительна или вообще отсутствует – как в моем случае, – то не стоит ожидать большего, нежели скуднейшей материальной

прибыли, за исключением редких случаев».

Убежденный, что никогда не наживет состояние писательством, Лавкрафт говорил, что он «ухватился бы с почти неприличной жадностью за любую действительно постоянную работу, исключая совсем уж нелепую». Он был уверен, что так смог бы заработать больше, чем «изматывающей нервы и плохо оплачиваемой пыткой „призрачным авторством“».

Он даже хотел бы обладать умением писать в популярном стиле. Узнав, что Дерлет продал детективный рассказ, он признался: «Жаль, что я не умею этого – писать детективы в тысячу раз лучше, чем перерабатывать, – но, боюсь, у меня нет таланта»[463]. В действительности же он был способен к сочинению детективных историй больше, чем многие из тех, кто их писал. Но из-за неуверенности в себе и нехватки инициативности он даже и не пытался попробовать.

Какое-то время Лавкрафт продержался на работе в Провиденсе, которая по его ранним меркам была не так и далека от «совсем уж нелепой». Он продавал билеты на вечерние сеансы в кинотеатре повторного показа – сидя в будке с раскрытой книгой перед глазами. Когда начинался последний сеанс, он уходил, останавливался перекусить в круглосуточном ресторанчике «Уолдорф» и возвращался на Колледж-Хилл, чтобы провести остаток ночи за работой.

Лавкрафт редко упоминал эту работу в разговорах и, насколько мне известно, никогда в письмах – она была не того рода, за которую взялся бы джентльмен. Из тех немногих сведений, что мне удалось обнаружить, я делаю вывод, что эта работа была у него где-то в период 1928–1930 годов, по-видимому, в тридцатых годах Лавкрафт уже не занимался поисками работы. К тому времени, впрочем, разразилась Великая депрессия, и работу с трудом удавалось найти даже самым представительным и опытным людям.

В 1928 году Брест Ортон переехал из Нью-Йорка в родной Вермонт и основал в Братлборо издательство «Стивен Дей Пресс». Он уговаривал Лавкрафта тоже приехать в Братлборо, чтобы работать у него редактором. Лавкрафт отказался, сославшись на климат. В период увлечения По он выразил свои мысли о зимах Новой Англии в одном из стихотворений:

> Вспоминаю сезон,
> Весь с первого дня;
> То безумнейший сон,
> Мертвит что меня,
> Когда жуть Зимы в белом саване мучит и сводит с

ума[464].

На протяжении нескольких лет Ортон иногда отсылал Лавкрафту небольшие задания по редактированию, в основном чтение корректуры. Он верил, что со временем убедит Лавкрафта переехать в Братлборо. Однако в 1932 году он продал свою издательскую компанию и вернулся в Нью-Йорк, положив конец этой возможности.

Лавкрафт стал более чем когда-либо настаивать на том, что писателю необходимы традиция, корни и отождествление с одним местом. В западном Род-Айленде он чувствовал «… собственный потомственный кровоток, струящийся через весь пейзаж словно по венам какого-то гигантского и совершенного организма…».

«Дом – идеальная среда, если нужно развивать свои лучшие качества, а Нью-Йорк не может быть местом проживания белого человека… Человек принадлежит тому месту, где были его корни, – где пейзаж и среда имеют некую связь с его мыслями и чувствами в силу их формирования. Подлинная цивилизация осознает этот факт, и то обстоятельство, что Америка начинает забывать об этом, убеждает меня много больше – нежели просто вопрос банального мышления и буржуазных комплексов, – в том, что основное американское устройство становится все менее и менее истинной цивилизацией и все более и более громадным, механическим и эмоционально незрелым варварством роскоши»[465].

Это, конечно же, не подходит ко всем писателям. Некоторые – как, например, Дерлет – преуспели, привязавшись к своим родным пустошам, другие же равным образом добились успеха, странствуя по всему свету.

Лавкрафт все еще играл роль надменного, аристократичного и богатого эстета: «Единственной причиной для джентльмена делать что-либо кроме того, что велит его фантазия, заключается в том, что он может наилучшим образом подкреплять свои иллюзии красоты и цели в жизни, гармонично окунаясь в структуру своих наследственных ощущений. Личность – феодальная, гордая, надменная, освобожденная и влиятельная – вот все, что имеет значение, и общество полезно для джентльмена лишь настолько, насколько оно усиливает те удовольствия, которыми он мог бы наслаждаться без него».

Будущая аристократия, представленная в его время Фордами

и Рокфеллерами, будет, как он полагал, «аристократией исключительно богатства, великолепия, мощи, скорости, величины и солидности, ибо, будучи созданной на основе приобретения и промышленности», она будет воплощать «грубый идеал делания, противоположный цивилизованному идеалу бытия»[466]. Истинный джентльмен – исчезающий вид – должен просто существовать и позволять миру обращаться к нему.

Машинный век, предостерегал Лавкрафт, вскоре разрушит Юг, как он это уже сделал с Северо-Востоком. «О раковой машинной культуре ничего хорошего сказать нельзя…» Хотя он и получил огромное удовольствие от полета на аэроплане, «я с сожалением вижу, что аэропланы начинают широко использоваться в коммерческих целях, поскольку они лишь добавляют чертовски бесполезного ускорения к и без того переускоренной жизни; но как аппараты для забавы джентльмена они неплохи!»

Лавкрафт ссылался на нескольких ведущих мыслителей – Ральфа Адамса Крама, Джозефа Вуда Крутча, Джеймса Траслоу Адамса, Джона Кроу Рэнсома, Т. С. Элиота и Олдоса Хаксли, – которые также предупреждали о зловещих социальных последствиях механизации. Лавкрафт считал, что «машинному веку понадобятся целые поколения, чтобы создать достаточно устойчивые иллюзии для построения нового остова удовлетворяющей традиции». Между тем «все, что можно сделать в настоящее время, – это бороться с будущим изо всех сил»[467].

Лавкрафтовская неофобия – боязнь нового – общераспространенная человеческая черта. Люди любят перемены, но также и стабильность. Нет перемен – им скучно, а когда их слишком много – им тревожно. В молодости они склонны способствовать переменам больше, нежели с возрастом, когда у них уже сформировались привычки, ассоциации и привязанности к вещам, какими они были.

Незрелый во многих аспектах, Лавкрафт был преждевременно стар в своем отношении к переменам. Он говорил в тридцать восемь лет: «…что касается моего характера, то я родился стариком». Он страдал от «шока будущего» задолго до изобретения Элвином Тоффлером этого термина. Лавкрафт иллюстрирует собой в крайней форме изречение Бертрана Рассела: «Наука, хоть и ускорила чрезвычайно внешние перемены, так и не нашла какого-либо способа ускорения психологических изменений, особенно касательно бессознательного и подсознательного. Лишь у немногих людей бессознательное чувствует себя свободно в условиях, отличных от существовавших в их детстве»[468].

Он все еще кипел от злости из-за «наплыва чуждых, вырождающихся и неспособных к ассимиляции иммигрантов». Призывая «чтить принцип аристократии» и называя себя антидемократом, он тем не менее отдавал предпочтение умеренной и либеральной политике правительства. Казалось бы, он хотел, чтобы правительство обходилось с ним либерально и терпимо, а национальные меньшинства держало в ежовых рукавицах. Это походит на замечание Уолтера Липпмана о Г. Л. Менкене – что он, «кажется, думает, что вы можете добиться привилегированного, упорядоченного по классам аристократического общества с полной свободой слова. Подобное бескомпромиссное проявление утопического сентиментализма еще поискать надо».

У Лавкрафта не было определенного мнения о цензуре, он хотел, чтобы существовал какой-то способ «различать настоящее искусство – или науку – и коммерческую порнографию…»[469] – проблема, до сих пор ставящая в тупик самые проницательные умы законников. Он не одобрял тот гнев, в который приходили некоторые люди постарше из-за отношения к сексу в искусстве. Их чувства, говорил он, должно быть, исказились нездоровыми викторианскими предрассудками о сексе. Что до него самого, то: «Я почти не пользуюсь телефоном, хотя он и есть в тихом доме, где я проживаю. Я нахожу больше удовольствия в барьерах между мной и современным миром, нежели в связях, соединяющих меня с ним. Я хочу оставаться абстрактным, обособленным, безучастным, безразличным, объективным, беспристрастным, всесторонним и вне времени… Весь идеал современной Америки – основанный на скорости, механической роскоши, материальных достижениях и экономической показухе – представляется мне невыразимо легкомысленным…»

Он осознавал собственную противоречивость: «Я, как видите, представляю собой некий гибрид между прошлым и будущим – архаичный в личных вкусах, чувствах и интересах, но столь научно-реалистичный в философии, что не переношу никакой интеллектуальной точки зрения, кроме самой передовой».

Он, однако, все-таки не считал себя особо обойденным судьбой: «Повезло тому, чей характер и возможности позволяют ему жить большей частью в историческом воображении, – так же как и тому, кому посчастливилось оказаться там, где процессы перемен наиболее постепенны и наименее заметны»[470].

Он немного отошел от своей ранней самоуверенности: «Я уже не столь расточителен на мнения, каким был прежде, выросши из стадии доморощенного сената…» «Я часто невесело улыбаюсь некоторым выразительным догмам и возмущениям своего

раннего периода „Кляйкомола“»[471].

В начале 1930 года Лавкрафт бился со своей «призрачной» работой, чтобы наскрести денег на следующее путешествие. Среди прочего он ставил оценки за семестровые работы из вашингтонской Школы речи Реншоу.

Он отбыл в апреле, направившись прямо в Южную Каролину. Из Колумбии он написал, что обнаружил подлинный «рай»: «Но что за место! Настоящая цивилизация, с чистыми американцами, чувством отдохновения и спокойствия и безбрежным количеством пышных (хотя и не старинных) красот. Почему, во имя Неба, кто-то живет на Севере – за исключением из принуждения или из сентиментальной привязанности?»[472]

Он провел несколько дней в Чарлстоне, кипя энергией, загорая на солнце и впадая в исступление от колониальных реликтов. Он останавливался в гостиницах Молодежной христианской организации и экономил на прачечной, стирая рубашки и белье в раковине. Лавкрафт сам себя подстригал – при помощи приспособления, посредством двух зеркал позволявшего стричься даже сзади. Он завтракал бутербродом с сыром, кофе и мороженым, а обедал в итальянских ресторанах. Он с тревогой заметил, что его вес увеличился до ста сорока двух фунтов[473].

С одеждой же у него возникли проблемы. В Ричмонде он попытался купить новые сменные воротнички, но обнаружил, что магазины больше не торгуют ими. Ему пришлось ждать возвращения в Нью-Йорк, чтобы пополнить свои запасы. Всю свою жизнь он носил сменные воротнички, но в двадцатых годах этот тип начали вытеснять рубашки с прикрепленными воротничками. Его друг Кук рассказал о перемене: «Прежде мне был неведом ни комфорт рубашек-неглиже, ни экономящие время рубашки с прикрепленными воротничками. Говарду случилось быть со мной в тот день, когда я запасся на складе рубашек-неглиже и наполнил мусорную корзину белыми воротничками. Он был искренне возмущен. С какой стати я намеренно опускаюсь в социальной иерархии, когда в этом нет необходимости и, более того, когда это стоит мне денег? Почему бы не попробовать мягкие белые воротники, если жесткие определенно вышли из моды? Наконец, почему бы не носить рубашку со сменными воротничками, которые тогда можно было бы менять… Я рассказываю об этом случае только для того, чтобы проиллюстрировать, как стоек был Говард в своем чувстве класса».

В середине мая Лавкрафт приехал в Нью-Йорк и навестил Лонгов. В квартире Лавмэна он снова встретился с «тем трагически испитым, но теперь знаменитым» поэтом, Хартом

Крейном, чья поэма «Мост» принесла ему успех. Когда Крейн был трезвым, Лавкрафт находил его «человеком потрясающей образованности, интеллекта и эстетического вкуса, способного спорить занимательно и глубоко, как никто другой. Бедняга – наконец-то он „состоялся“ как стандартный американский поэт… И все же на самой вершине своей славы он находится на грани психологического, физического и финансового краха, без всякой уверенности в том, что у него когда-либо вновь появится вдохновение на крупное литературное произведение»[474]. Дальнейшие события подтвердили это суждение Лавкрафта.

В начале июня чеки за переработку, высланные Лавкрафту, дали ему возможность подняться по Гудзону и навестить Двайера в Кингстоне, а затем взять восточнее и заехать к Куку в Атол. На протяжении нескольких месяцев Кук был в крайне тяжелом состоянии из-за сочетания хронического аппендицита и нервного расстройства, сопровождавшегося галлюцинациями и угрозами самоубийства. В тот период ему на какое-то время снова полегчало.

В июле Лавкрафт отправился в Бостон на собрание НАЛП. Программа включала прогулку на корабле по реке Чарльз, в которую внесло разнообразие спасение одного пьяного, свалившегося в воду близ Гарвардского моста.

В августе Лавкрафт навестил Лонгов во время их летнего отпуска в Онсете. Они повозили его по Кейп-Коду. В конце своей поездки он записался на железнодорожную экскурсию в Квебек за двенадцать долларов.

В la belle Province[475] Лавкрафт заметил «типичные старинные французские фермы – подлинный росток исторически коренной традиции строительства». Вид города Квебек с его насупившейся крепостью на холме над рекой Святого Лаврентия поразил его: «Квебек! Смогу ли я когда-нибудь забыть его на достаточно долгое время, чтобы подумать о чем-нибудь другом? Кого теперь волнует Париж или Антиполис? Ничего подобного я прежде не видел и вряд ли увижу!.. Все мои прежние критерии городской красоты сменены как устаревшие. Я с трудом могу поверить, что это место полностью принадлежит миру бодрствования».

«…Это сон из городских стен, холмов, увенчанных крепостью, серебряных шпилей, узких извилистых крутых улочек, величественных видов и спокойной и неторопливой цивилизации старинного мира… Все вместе превращает Квебек в почти неземную частицу сказочной страны»[476].

Через три дня, посвященных осмотру достопримечательностей, Лавкрафт сел на поезд в Бостон. Оттуда

он совершил морское путешествие до Провинстауна, на самой оконечности Кейп-Кода: «…Круиз – мое первое пребывание в открытом море – стоил цены экскурсии. Оказаться в безграничных водах вне пределов видимости земли означает… получить фантастическое воображение, стимулированное самым действенным способом. Равномерно чистый горизонт пробуждает все виды предположений о том, что может лежать по ту сторону».

Вот вам и приписываемый Лавкрафту страх моря. Теперь, превратившись в восторженного путешественника, он сочувствовал Дерлету, когда тот жаловался на плоский, сельский Висконсин, в котором он чувствовал себя «высаженным на необитаемом острове». Лавкрафт писал: «Неудивительно, что я теперь в движении, наверстывая упущенное время. Но вот же черт – хотя у меня теперь есть здоровье для путешествий, у меня больше нет денег, так что мне приходится довольствоваться этими слишком короткими и слишком редкими поездками. Не знаю, доберусь ли я когда-нибудь до Старого Света, – хотя мне было бы жаль умереть, так и не увидев Англии»[477].

Увы! Потерянное время не вернешь. Однако поездка Лавкрафта в Квебек сказалась на его мировоззрении. Годами он поносил франко-канадцев как часть «иноземных шаек», оскверняющих Новую Англию. В то же время он осторожно хвалил французскую культуру как «бесспорно превосходящую нашу». В 1929 году он писал: «Я ненавижу тараторящего француза с его мелким жеманством и елейными манерами и защищал бы английскую культуру и традицию до последней капли крови. Но тем не менее я вижу, что культура французов глубже нашей…»[478]

После Квебека тон Лавкрафта изменился: «Достойная особенность французов Квебека заключается в том, что они с незапамятных времен пребывают на той же самой земле и в тех же самых условиях и традициях. Именно это и создает цивилизацию!.. Нет, французы неплохи, и, увидев Квебек, я уже не смогу снова подумать о Сентрал-Фолсе, Вунсокете и Фолл-Ривере как о всецело иностранных»[479].

Он даже нашел доброе слово для католической церкви Квебека – как сплачивающей общество силы.

В 1930 году Лавкрафт позабавился, когда некоторые из его корреспондентов восприняли вымышленный «Некрономикон» серьезно и отказались верить, что его не существует. Его ободрило упоминание его произведений в книжной колонке Уильяма Болито в «Нью-Йорк Уорлд». Меньше ему понравилось, что Болито поставил его в один ряд с «любезным поденщиком

Отисом Адельбертом Клайном». Клайн, заведовавший литературным агентством и бывший агентом Роберта Э. Говарда в его последние годы жизни, также писал фантастику, в том числе и несколько романов в подражание марсианским и венерианским сказкам Эдгара Райса Берроуза.

Несмотря на эти признаки литературного признания, Лавкрафт считал, что он не соответствует той литературе, которую хочет писать. Он желал «ухватить те трудно постижимые и неопределимые ощущения, способствующие созданию иллюзий о беспорядочных измерениях, реальностях и пространственно-временных элементах, которыми в большей или меньшей степени обладают все чувствительные и одаренные воображением люди… Это пытался сделать По, но ему недоставало особенного характера. Пытаюсь и я, и у меня есть характер, чтобы осознать, чего я добиваюсь, но мне не хватает мастерства для передачи читателю чего-то ценного». Он сетовал: «Да – жаль, что у меня нет энергии и вдохновения для написания хоть каких-нибудь из тех мириадов рассказов, что витают в моей голове, но зимой я на многое не способен!.. Как бы ни любил я свою родную землю Новой Англии, возможно, однажды мне придется переселиться – в какой-нибудь город вроде Чарлстона, штат Южная Каролина, Сент-Огастина, штат Флорида, или Новый Орлеан…»[480]

Перед поездкой в Чарлстон в 1930 году Лавкрафт закончил черновик своего нового рассказа. Он взял его с собой и прочитал Лонгу в Нью-Йорке. Назвав его «Шепчущий во тьме», он вернулся домой полный решимости напечатать его, но завершил эту работу лишь в конце сентября 1930–го.

Приехав из Чарлстона в Нью-Йорк, Лавкрафт обнаружил запрос от Клифтона Фадимана, тогдашнего редактора издательства «Саймон энд Шустер». Фадиман интересовался, есть ли у Лавкрафта какие-нибудь романы на продажу. Лавкрафт ответил в своем обычном самоумаляющем стиле и получил следующий ответ:

«23 мая, 1930 г.

Уважаемый мистер Лавкрафт!

Весьма признательны вам за ваше письмо от 21–го числа. Боюсь, вы правы в том, что наш интерес к сборнику рассказов не будет очень живым.

Однако я надеюсь, что вы серьезно возьметесь за работу и создадите тот роман, о котором говорите. Если он окажется пригодным, то его тема [сверхъестественное] окажется скорее благом, нежели препятствием.

Искренне ваш,

Клифтон П. Фадиман
„Саймон энд Шустер, Инкорпорейтед“».

Лавкрафт говорил, что он может однажды приняться за роман, но так никогда и не сделал этого. Ничего он не предпринимал и со «Случаем Чарльза Декстера Уорда». Он оправдывал свою праздность позой высокомерного и пессимистического безразличия: «Что же касается сборника моих сочинительств – я, возможно, как-нибудь попробую заинтересовать какого-нибудь издателя, хотя и не считаю необходимым спешить с этим вопросом». «Я не думаю, что замысел с романом приведет к чему-то серьезному: вероятно, это часть обычной попытки растрясти возможные рукописи к рассмотрению, хотя число действительно принятых будет незначительным»[481].

«Шепчущий во тьме», объемом в двадцать шесть тысяч слов, был одним из лучших рассказов Лавкрафта. Ученый затворник по имени Генри У. Экли, живущий на пенсии в Вермонте, переписывается с рассказчиком, Альбертом Н. Уилмартом, преподавателем Мискатоникского университета. Уилмарт обратил внимание на слухи и газетные заметки, что сопровождали наводнения в Вермонте в ноябре 1927 года. Отчеты упоминают загадочные трупы в переполненных реках: «Это были розоватые твари, примерно пяти футов в длину, с туловищами ракообразных, на которых располагались пара огромных спинных плавников или же перепончатых крыльев и несколько членистых конечностей, а на том месте, где обычно находится голова, у них были закрученные эллипсоиды, покрытые множеством очень коротких усиков».

Уилмарт рассказывает о слухах о подобных тварях, скрывающихся в холмах округа Виндхем, что на юго-востоке Вермонта. Экли пишет, что эти крылатые креветки-переростки преследуют его, хотя он и защищает свой дом с помощью оружия и собак. Они следят за ним, равно как и он за ними. Ему даже удалось сделать граммофонную запись их речи.

Экли отсылает Уилмарту фотографии следов тварей, схожих с отпечатками когтей крабов. Пришельцы, однако, сделаны из «некой материи, совершенно чуждой нашей части пространства», поэтому их нельзя сфотографировать. По мнению Экли, эти создания прилетели с Юггота (Плутона) «на жестких, мощных крыльях, которые способны противостоять эфиру…». С научной точки зрения это полнейшая дикость, но Лавкрафт часто снабжал своих инопланетян неправдоподобными крыльями.

Граммофонная запись содержит диалог человеческого голоса и жужжащего, механически звучащего подражания человеческой речи. Голоса обсуждают на загадочном языке Ньярлатхотепа и других Великих Древних. Разговоры заканчиваются рефреном «Йа! Шуб-Ниггурат! Черная Козлица из Лесов с Тысячей Младых!». Шуб-Ниггурат, одна из Древних, является чем-то вроде богини плодородия.

Лавкрафт позаимствовал обычай заканчивать вымышленные имена на «-ат» и «-от» у Дансейни, часто проделывавшего подобное (Заккарат, Сакнот). В свою очередь Дансейни мог извлечь это из Библии и других схожих источников, ибо в древнееврейском языке «-от» – распространенное женское окончание множественного числа. Лавкрафт объяснял, как он выбирает имена: «Большей частью они придуманы, чтобы навести на мысль – либо непосредственно, либо отдаленно – об определенных именах в действительной истории или фольклоре, вызывающих сверхъестественные или зловещие ассоциации. Так, „Юггот“ несет некий арабский или древнееврейский оттенок, намекающий на некоторые слова, переданные из древности магическими заклинаниями, содержащимися в мавританских и еврейских рукописях».

Последующие письма Экли подразумевают, что Твари наступают. Но затем приходит совершенно противоположное письмо, в котором он отрекается от всего, сказанного против югготинян. Кажется, они действительно добрые и желают лишь мирного сотрудничества.

Югготиняне, как выясняется, извлекают у людей мозг и помещают его в металлический цилиндр, который можно подключить таким образом, что мозг способен чувствовать и общаться. В таком законсервированном виде избранные земляне переправляются по всей вселенной.

По настоянию Экли Уилмарт приезжает в Вермонт. Он обнаруживает Экли, всего закутанного, сидящим в затемненной гостиной, будто бы страдающим от приступа астмы. Слабым голосом, едва ли не шепотом, Экли раскрывает Уилмарту тайны космоса. Уилмарт рассказывает: «Я столкнулся с именами и терминами, которые прежде слышал где-то в другом месте в наиужаснейшем контексте, – Юггот, Великий Ктулху, Цатоггуа, Йог-Сотот, Р’лие, Ньярлатхотеп, Азатот, Хастур, Йан, Ленг, озеро Хали, Бетмура, Желтый Знак, Л’мур-Катулос, Бран и Magnum Innominandum[482] – и был низвергнут чрез безымянные эпохи и непостижимые измерения в миры старейшего космического бытия, о котором безумный автор „Некрономикона“ лишь смутно догадывался».

Эти имена представляют список существ Мифа Ктулху. Некоторые из них мы уже встречали. Имя Бетмура было позаимствовано из одноименного рассказа Дансейни, происхождение же других следующее.

Когда Миф Ктулху обрел форму, Лавкрафт предложил написать рассказы на его основе другим авторам. Некоторые согласились. Иногда они заимствовали лавкрафтовские зловещие божества, неизвестные места и богохульные книги, иногда изобретали и свои собственные.

Например, Кларк Эштон Смит придумал «Книгу Эйбона», или «Liber Ivonis», Дерлет – «Cultes des Goules» («Культы вампиров») «графа Д'Эрлетта» (своего реального предка), Лонг – существо Шогнар Фогн и перевод «Некрономикона» доктора Джона Ди[483], Говард – «Unaussprechlichen Kulten» «Фридриха Вильгельма фон Юнста». В 1932 году из-за последнего из названных наименований возник спор. Предполагалось, что оно означает «Невыразимые культы», но Райт решил, что «unaussprechlich» означает «непроизносимые» (неплохое описание для некоторых лавкрафтовских имен). За разрешением обратились к одному из художников – иллюстраторов Райта – похожему на гнома немцу по происхождению К. К. Сенфу. Сенф рассудил, что правильно будет «unaussprechlich»[484].

Когда коллеги-писатели присылали Лавкрафту рукописи с рассказами Мифа Ктулху, он в свою очередь перенимал у них имена и концепции. Например, Цатоггуа был введен Кларком Эштоном Смитом в его рассказе «Повесть Сатампра Зейроса»; Элтдаунские черепки – Ричардом Ф. Сирайтом, корреспондентом Лавкрафта, продавшим два своих рассказа «Виэрд Тэйлз». Из рассказов Роберта У. Чэмберса и Амброза Бирса Лавкрафт взял Хастура, Хали и Желтый Знак.

В «Шепчущем во тьме» Экли говорит Уилмарту: «Оттуда, из Н'кай, явился ужасающий Цатоггуа – вы знаете об этом аморфном, жабоподобном божестве, упоминавшемся в Пнакотических манускриптах, „Некрономиконе“ и Комориомском цикле мифов, сохраненном верховным жрецом Атлантиды Кларкэш-Тоном». Это была маленькая шутка Лавкрафта: «Кларкэш-Тон» – псевдоним, придуманный им для Смита.

Н'кай также подземная область в совместном рассказе Рид и Лавкрафта «Курган». Катулос был злым колдуном из Атлантиды в романе Роберта Говарда «Череп-лицо». Бран – древнее британское божество, а также герой нескольких рассказов Говарда о древнебританских пиктах[485].

Уилмарту удается избежать попытки отравления.

Прокрадываясь по дому ночью, он осознает, что в одном из металлических цилиндров находится мозг Экли, а тот Экли, которого он видел, был, должно быть, замаскированным инопланетянином…

В то время как предыдущие рассказы Мифа Ктулху можно в основном классифицировать как фэнтези, «Шепчущий во тьме» является научной фантастикой. Любители литературы воображения долго пытались найти определение для научной фантастики и фэнтези и выявить четкое различие между этими двумя направлениями жанра.

Я разделяю литературу на два основных жанра: реалистическая литература и литература воображения. Реалистическая литература основана на сюжетах, которые могли бы произойти: рассказы обыкновенных людей, занимающихся реалистичными вещами в известной обстановке в настоящем либо же в известном прошлом. Литература же воображения состоит из сюжетов, которые произойти не могли, будучи помещенными в будущее, или в другой мир, или в доисторическое прошлое, подробности которого неизвестны.

Литература воображения может быть разделена на научную фантастику и фэнтези. В научной фантастике сюжет основан на научном или псевдонаучном предположении вроде путешествия в межзвездном пространстве или во времени, воздействия нового изобретения или открытия либо предсказания о мире будущего.

С другой стороны, в фэнтези сюжет основан на сверхъестественном предположении – существовании богов, демонов, призраков или других сверхъестественных существ, а также на действующей магии.

В то время как дансейнинские рассказы Лавкрафта относятся к фэнтези, рассказы Мифа Ктулху оказываются на границе между научной фантастикой и фэнтези либо весьма близки к ней. Некоторые можно отнести либо к одному из направлений, либо сразу к обоим, поскольку четкой границы между ними не существует. «Данвичский кошмар» – преимущественно фэнтези, так как Йог-Сотот призывается и изгоняется при помощи магических заклинаний. «Шепчущий во тьме», однако, относится к научной фантастике: возможности инопланетян, хоть и сверхъестественные, все же ограничены природными законами. «Зов Ктулху» оказывается на границе между поджанрами.

Как и другие Древние и Старшие Боги, Ктулху называется «богом», однако здесь термин не подразумевает того же, что и в традиционных религиях. Лавкрафтовские «боги», в отличие от Зевса и Иеговы, не интересуются нравами и обычаями людей. Они

не берут на себя ответственность вознаграждать хороших и наказывать плохих. Их способности, пускай и весьма огромные, подчиняются законам природы. Они поглощены собственными делами и интересуются мелкими заботами людишек не больше, чем люди интересуются мышиной возней, и испытывают сожаление при уничтожении людей, оказавшихся на их пути, не больше, чем люди при истреблении мышей.

Подобное беллетристическое положение было названо «механистическим сверхъестественным». Оно представляет космос, который, хоть и населен сверхчеловеческими существами, по существу аморален, безжалостен и безразличен к судьбе человека. Фриц Лейбер ясно охарактеризовал роль Лавкрафта в этой концепции: «Возможно, важнейшим отдельным вкладом Лавкрафта было приспособление научно-фантастического материала к целям сверхъестественного ужаса. Упадок по меньшей мере наивной веры в христианскую теологию, приведший к безмерной утрате престижа Сатаны и его воинства, оставил чувство сверхъестественного ужаса свободно болтающимся без какого-либо общеизвестного объекта. Лавкрафт взял этот свободный конец и привязал к неизвестным, но возможным обитателям других планет и регионов за пределами пространственно-временного континуума. Это приспособление было утонченно последовательным. Сначала он смешал научно-фантастический материал с традиционным колдовством. Например, в „Данвичском кошмаре“ гибридное существо из другого измерения изгоняется декламацией магической формулы, и в этом рассказе магический ритуал вообще играет значительную роль. Но в „Шепчущем во тьме“, „Тени безвременья“ и „В горах безумия“ сверхъестественный ужас почти полностью вызывается повествованием о деяниях чуждых космических существ, а книги колдовских ритуалов просто превратились в искаженные, но все же реалистичные события из истории подобных существ, особенно в отношении их прошлого и будущего пребывания на Земле»[486].

Хотя «Виэрд Тэйлз» переживали отнюдь не лучшие времена, Райт купил «Шепчущего во тьме» за триста пятьдесят долларов и опубликовал его в номере за август 1931 года.

Разделавшись с «Шепчущим во тьме», Лавкрафт, как это уже не раз бывало с ним, занялся сумасбродством. Чтобы сохранить свои впечатления от Квебека, в октябре 1930 года он принялся за «путевые заметки» по этому району. Они обернулись трактатом с целую книгу, озаглавленным

Описание города Квебек в Новой Франции
Некогда присоединенной к владениям
Его Британского Величества
Г. Лавкрафта,
джентльмена из Провиденса в Новой Англии.

Это труд объемом в семьдесят пять тысяч слов со множеством карт и эскизов. Половину его составляет история Новой Франции начиная с ее открытия в тридцатых годах шестнадцатого века Картье и до девятнадцатого века. Лавкрафт не отказывал себе в архаизмах («mixt», «extream», «joyn'd») и нераскаявшемся торизме. Рассказывая о Войне за независимость, он говорит об англичанах как о «нас», а об американцах как о «бунтовщиках» или «врагах».

Оставшаяся половина работы – поразительно подробное описание Квебека и его окрестностей. С осовремененной орфографией и затушеванной приверженностью Короне она могла бы стать превосходным официальным путеводителем. Но Лавкрафт даже не перепечатал этот трактат, не говоря уже о предложении его издателям, хотя он и отнял у него целых три месяца, за которые он без труда смог бы написать пригодный для продажи роман. 14 января 1931 года Лавкрафт закончил работу, «исключительно для собственного прочтения и кристаллизации моих воспоминаний».

Когда Талман спросил его, почему он не пытается продать свои объемистые путевые заметки, он ответил, что это ни к чему: его стиль из тех, «по отношению к которым современный торгашеский мир совершенно чужд и даже активно враждебен». Он просто сделал то, что хотел. Дух любительства едва ли мог завести дальше.

Весь 1930 год здоровье Лавкрафта было отменным, за исключением того, что где-то в конце года он страдал от тика левого глаза. Иногда из-за этого ему приходилось браться за ненавистную пишущую машинку.

Он писал: «Зима – единственный враг, от которого я могу защититься лишь бегством, и как бы я ни любил старую Новую Англию, боюсь, однажды мне придется переместить свою штаб-квартиру южнее… Может быть, я даже закончу свои дни среди колониальной старины Чарлстона, Саванны, Сент-Огастина или Нового Орлеана – или, возможно, Бермудских островов или Ямайки». Он разглагольствовал в подобном духе на протяжении всей оставшейся жизни, но так и не переехал. Слишком сильны были инертность и удобство проживания с преданной тетушкой.

Его настрой был скорее стоическим, нежели жизнерадостным.

Он не придал большого значения утрате своей веры в бессмертие, поскольку, по его словам, «даже обычная продолжительность жизни преподносит большинству людей всю ту скуку, какую они могут вынести, и обладай они бессмертием, то в конце концов сочли бы его невыносимым… Я уверен, что не хочу ничего, кроме небытия, когда скончаюсь через несколько десятилетий». Он изображал безразличие к земному успеху: «Нет – я не брошу писать фантастику, хотя и полагаю, что с течением времени у меня будет все меньше и меньше читателей. К счастью, мне наплевать, читает ли кто или нет то, что я пишу»[487]. Причины, по которым он не покончил с собой, чтобы избежать «обременительного свойства» жизни, были «…прочно связаны с архитектурой, ландшафтами, светом и атмосферными эффектами и принимают форму неясных ощущений тревожного ожидания, соединенного со смутными воспоминаниями, – ощущения определенных перспектив, особенно те, что ассоциируются с закатами, являются средствами приближения к сферам или условиям совершенно неопределимых наслаждений и свобод, каковые я знал в прошлом…».

В то же самое время он полагал: «…Для среднего человека существует потребность в личном прибежище в некоторой системе ориентиров… Верующие ищут мистического отождествления с системой наследственных мифов, тогда как я, не будучи религиозным, ищу соответствующего мистического отождествления с единственной непосредственной материальной внешней реальностью, которую признают мои ощущения, – т. е. с непрерывным потоком обычаев вокруг меня».

Он добавил: «Совершенно необязательно воспринимать эти традиции и обычаи серьезно… можно даже посмеяться над их простодушием и заблуждениями – как я и в самом деле смеюсь над набожностью, недалекостью и консерватизмом новоанглийского окружения, которое люблю так сильно и считаю таким необходимым для довольства»[488].

После расстановки ориентиров следующей потребностью Лавкрафта для удовлетворения чувства тревожного ожидания было путешествие. «Я должен однажды увидеть Старый Свет, – писал он, – даже если при этом разорюсь». Наряду с Каркассонном «я очень хочу увидеть… Нюрнберг, Ратисбон, Ротенбург и другие города Европы, в которых средневековый порядок вещей сохраняется поистине нетронутым веками»[489].

Такое путешествие, однако, должно было быть совершено на его собственных условиях – с элементами неопределенности, спонтанности и неизвестности. Какой-либо строго определенный маршрут испортил бы его: «Я не заплатил бы и полдоллара, чтобы

увидеть даже Лондон… по программе, разработанной Куком!»

Тем не менее путешествия он совершал только те, что позволяли его ограниченные средства. Перебиваясь на пятнадцать долларов в неделю, он говорил, что «превратился в скрягу во всем, за исключением платы за автобус и комнату в гостиницах Молодежной христианской организации и путеводителей»[490]. Он предпочитал автобусы поездам не только потому, что они были дешевле, но и потому, что, как считал он, они проезжают по более живописным местностям. Обычно он покупал билет в оба конца еще в начале поездки, чтобы быть точно уверенным, что сможет вернуться домой.

Лавкрафт продолжал советовать своим молодым друзьям избегать манерности и гармонично соответствовать своим истокам, хотя сам и не следовал своим же советам. Он распекал Дерлета за монокль, пальто из альпака и купальный халат, которые тот одевал на улицу: «…В юности, как я уже говорил раньше, у меня развился комплекс благородного старика, и я старался как только мог подражать портновской моде своего почтенного деда. Но когда я состарился до третьего десятка, начала раскрываться моя перспектива, и я осознал, как нелепо было вообще придавать какой-либо особый воображаемый смысл тому, как я выглядел… Это изящное одеяние старческого возраста в действительности является претензией на неприметность, нежели на самоутверждение. Джентльмен обладает определенным чувством гармонии с окружающей его обстановкой… и костюм естественно становится одной из незначительных принадлежностей этой общей согласованной схемы… Как бы неловко я ни чувствовал себя в костюме из бриджей, бархатного кителя с серебряными пуговицами, башмаков с огромными серебряными пряжками, треуголки и так далее, я знаю чертовски хорошо, что, поносив его минут пять, я напрочь забуду о нем и буду читать или марать бумагу точно так же, как если бы был одет в свои обычные лохмотья… за исключением того, что чувствовал бы себя полнейшим ослом, если бы кто-то застал меня в этом обмундировании… Это лишь вопрос здравого смысла – избегать пробуждения враждебности и насмешек, в то время как добиться чего бы то ни было посредством этого совершенно невозможно».

Может, Лавкрафт и утверждал, что избавился от позы благородного старика, но в этом же самом письме – написанном, когда ему было сорок, – он все еще называл себя «дедулей» и «старым джентльменом». Откуда же эта настойчивая деланность старости? Большинство людей считают, что она наступает

довольно быстро и без ее ускорения. Правда, в позах Лавкрафта присутствовала некоторая игривость, и многие из них принимались насмешливо, с озорным огоньком в глазах. Тем не менее подобная настойчивость позы старика предполагает более глубокий мотив.

Как и большинство людей, Лавкрафт придавал большое значение гармоничности в поведении – то есть поступкам, которые одобрили бы равные ему. Он говорил, что хоть его и не заботило бы, что о нем подумают пролетарий или «обыкновенный фанатичный викторианец», «мне определенно не понравилось бы быть общим объектом презрения или насмешек для тех людей, с кем я более или менее схож…».

Под такими людьми он подразумевал интеллигенцию Новой Англии. Лавкрафт, однако же, не придерживался обычного образа жизни людей своего возраста и положения. Он не был занят на работе, не встречался с девушками и не увлекался спортом. Его образ жизни как раз таки и вызывал презрение и насмешки у его соседей. Один из них рассказал мне: «Конечно, я помню Лавкрафта. Обычно я видел его прогуливающимся по улице – с опущенной головой и так забавно сутулящимся. Мы, дети, считали его просто чудаком»[491].

Притворная старость могла быть защитой от презрения его ровни. Если бы он был достаточно стар, люди не ожидали бы от него ни занятости на работе, ни свиданий с девушками, ни увлечения спортом. Конечно же, все знали, что его старость была лишь притворством, но его она утешала. Если он постоянно думал о себе как о старике, то ему не приходилось с грустью размышлять о своей неспособности соответствовать общепринятым стандартам.

По взглядам Лавкрафт оставался непреклонным антимодернистом. Реформаторы орфографии, например, были «…проклятыми провинциалами с одними лишь деньгами на уме, которые вершат самое низкое, на что только способны, чтобы разложить нашу культуру на этом континенте и заменить ее на проклятое ублюдочное поклонение машинам и скорости… Я отказываюсь принимать вторгающуюся культуру полукровной Механамерики»[492].

Мировые события, однако, начали навязывать изменения его устаревшим социальным и политическим взглядам. За 1930 год Великая депрессия усугубилась. Безжалостно возросла безработица. Экономический спад продолжался до 1933 года, и положение начало меняться на противоположное лишь примерно в 1937–м – в год смерти Лавкрафта.

Пропагандисты коммунизма и фашизма сходились во мнении, что демократический капитализм подходит к концу. Скоро, заходились они, люди будут вынуждены выбирать между коммунизмом и фашизмом. В эти тягостные годы демократический капитализм, казалось, действовал столь скверно, что по сравнению с ним коммунизм и фашизм выглядели едва ли не заманчивыми.

Между 1928 и 1930 годами Лавкрафт утратил веру в республиканский консерватизм. Он поверил в предсказания о гибели демократического капитализма, хотя и не был уверен, какая форма правления его сменит, – сам он склонялся к фашизму. Во всяком случае, он был уверен, что правительство будет более авторитарным и с большим экономическим регулированием, нежели считалось приемлемым по тогдашним взглядам американских консерваторов: «Советизм, капитализм и фашизм сойдутся в любопытном трехстороннем парадоксе, дабы разрешить загадку культуры, в которой постоянное промышленное перепроизводство уничтожит закон спроса и предложения и превратит отношения личности с экономической структурой в капризную, изменчивую и трудно разрешимую проблему».

«…Коммунизм – действительно логичная форма правления, к которой держит курс машинный век, если его вовремя не обуздать крайне радикальными мерами… которые обеспечат более широкое распространение средств к жизни без препятствования существующей цивилизации и искусству, основанному на индивидуальных мыслях и чувствах. Принципы фашизма представляются мне наилучшими. Демократия – это просто посмешище».

В другом месте он описывал «политически и экономически социалистическое государство» как «неминуемое государство завтрашнего дня»[493]. Он определенно отдалился от республиканизма Гардинга, хотя эти изменения во взглядах были непостоянными и не демонстрировали его окончательного политического курса.

Все еще оставаясь колонистом, он поддерживал отделение Новой Англии от Соединенных Штатов (как это едва не произошло в 1810 году) и объединение с Канадой. Тогда: «… Наши города вскоре стали бы местом избраннейшей англо-канадской жизни и культуры… и можно было бы избавиться от большинства наших иностранцев посредством субсидирования их эмиграции в более индустриализированные области нео-Америки… Чего бы я только не отдал, чтобы увидеть старый флаг вновь поднимающимся над белой башней провиденсского Дома

Колоний, построенного в 1761 году, откуда он был предательски спущен 4 мая 1776 года! Боже, храни Короля!»

Хотя Лавкрафт и придал франко-канадцам статус «настоящих людей», черных он все еще не признавал: «Теперь наиковарнейшей загвоздкой в проблеме негров является тот факт, что она действительно двойственна. Черный есть безмерно низшее существо. Среди современных несентиментальных биологов – видных европейцев, для которых не существует проблемы предрассудков, – в этом отношении вопроса быть не может. Однако есть также и тот факт, что существовала бы очень серьезная и весьма законная проблема, даже если бы негры были равны белым людям».

Эта проблема, по его словам, заключается в том, что две несходные расы – различных традиций и обычаев – при совместном проживании встретили бы огромные трудности – из-за неизбежной враждебности, возникшей между ними, пока они полностью не слились бы, или «онечистокровились».

В обсуждение «негритянского вопроса», однако, вкрадывается новая нотка. Пускай Лавкрафт и ошибается, полагая, что ученые сошлись на том, что негры – «безмерно низшие существа». Они не сошлись тогда, не сходятся и ныне. Пускай он и преувеличивает трудности ассимиляции. Но, по крайней мере, он выказывает некоторое сочувствие черным, а не презрение и ненависть: «Никто не желает им существенного вреда, и все бы возрадовались, если бы нашелся какой-либо способ облегчить те трудности, с которыми они сталкиваются…»[494] Он предлагал, помимо прочего, выделить им некоторые штаты.

Хотя Лавкрафт и продолжал напыщенно разглагольствовать о природе человеческих рас и судьбах человечества, отнюдь не обладая достаточными знаниями для этого, он проявлял все возрастающее осознание пустоты и поверхностности своих ранних изречений. Он заметил о своей прежней вере в принуждение масс к моральной чистоте: «Я отношусь с насмешкой к некоторым фанатичным средневозрастным придиркам, коими я частенько блистал в старые денечки „Кляйкомола“!» В его папках хранились экземпляры «„Консерватив“, такие напыщенные и глупые, что я не позволил бы прочитать их хладнокровному нелюбителю ни за какие деньги»[495].

Запоздало, но все же он начал взрослеть.

Глава шестнадцатая. Озадаченный бард

Я видел Юггот на Краю и Йит,
Зловещую Каркозу, что в Гиадах.
А в илистой пучине океана
Я зрел могилу, в коей Он лежит —
Кто был, кто будет. Помню я полет
На бьякхи и на шантаке верхом,
Где Кадаф над бескрайним вечным льдом
Свой ониксовый замок зло несет[496].

Лин Картер «Вне»

За последние шесть лет своей жизни Лавкрафт путешествовал больше, чем когда-либо прежде. У него появилось еще больше друзей, и его взгляды стали более зрелыми и реалистичными. Выросла его литературная техника. В то же время его литературная производительность сократилась, а попытки издаться приносили все больше разочарований.

Он был угнетен все возрастающей убежденностью в провале. Затворничество, которое он культивировал столь долго, теперь виделось ему ошибкой: «В детстве я был практически инвалидом – нервной развалиной с тысячей побочных немощей, и, вообще говоря, физически встал на ноги лишь в тридцать лет. Да и мой выход из отшельничества никогда не был полным. Я, несомненно, вырвался из запоздалой юности вполне достаточно, чтобы путешествовать самостоятельно – насколько позволяли скудеющие финансы – и лично встречаться с разными людьми, с которыми ранее общался только посредством переписки, но это чересчур отсроченное самовведение в мир не „захватило“ так основательно, как это могло бы произойти, будь я хронологически моложе. Эпоха экспансии и позднего рассвета была относительно короткой и сменилась чем-то вроде

медленного дрейфа назад к отшельнической жизни моей юности. Перспективы увядали и сокращались, а блеск тревожного ожидания мерк все больше и больше – пока наконец я не увидел, что бескрайние горизонты один за другим оборвались. Прежде чем я это осознал, я по сути, снова был в своей раковине. Я возненавидел Нью-Йорк, куда переехал, словно отраву, и вернулся в Старый Провиденс через два года и три месяца после своего выступления. Старость говорит: ты не можешь быть гибким и открытым, когда холод четвертого десятка касается твоих костей»[497].

Частично это правда, а частично – психологическая защита. В 1931 году, когда Лавкрафт написал эти строки, он путешествовал больше и встречался с большим числом людей, нежели когда-либо прежде. Однако, хотя его подвижность и искушенность росли, его надежды росли еще быстрее, поэтому ему и казалось, что он откатывается назад. Его разговоры о «холоде четвертого десятка» – вздор. Некоторые люди и после сорока лет осуществляли полную смену рода деятельности, например, переходя из бизнеса в медицину, из пастырства в антропологию, из армии в писательство или из юриспруденции на сцену.

Он утратил иллюзии относительно своих любимых сред – Древнего Рима, георгианской Англии и колониальной Америки: «Я понимаю, что римляне были в высшей степени прозаичным народом, верным всем практичным и утилитарным принципам, которые я так ненавижу, и не обладавшим ни гениями, подобным древнегреческим, ни очарованием северных варваров».

«За исключением некоторых избранных кругов, я, без всякого сомнения, нашел бы свой восемнадцатый век невыносимо грубым, ортодоксальным, надменным, ограниченным и искусственным… То, на что я оглядываюсь с ностальгией, – это мир грез, придуманный мною в возрасте четырех лет по картинкам из книг и георгианским улочкам на холмах Старого Провиденса»[498].

История Дартмутского колледжа[499], которую он редактировал, изменила «мое представление о жизни восемнадцатого века в Коннектикутской долине: люди там были, несомненно, грубее и более фанатичны в религиозном плане – даже вплоть до периода Войны за независимость, – нежели я полагал прежде».

Чувство ускользающего времени угнетало его: «Недавно меня ужаснула нехватка времени относительно дел, которые мне необходимо выполнить: годы бегут, а в моей программе так ничего и не достигнуто, – поэтому я пытаюсь разработать принципы сбережения, которые выжмут из меня еще немного старческих продуктов»[500].

Однако он никогда не экономил времени на письмах или некоммерческих излияниях вроде путевых заметок о Квебеке. Он также восхвалял праздность, оправдывал леность и безделье. Одобрять бездеятельность и затем выражать недовольство, что дела до сих пор не сделаны, – это случай пирога, который два раза не съешь.

Сожаления об упущенных возможностях наполнились горечью. Он жалел, что не учился в колледже: «Я знаю, что был бы безмерно богаче – менее неловким, застенчивым и более приспособленным к жизни, – позволь мне здоровье в юности пройти традиционный курс обучения, сопровождающийся общественной деятельностью».

Он жалел, что не работал над своим телосложением. Дерлет, напоминавший белокурую гориллу, намекнул, что предпочел бы выглядеть утонченным эстетом. Лавкрафт ответил: «Черта с два, я хотел бы действительно выглядеть как человек, который, возможно, в дни своего давно минувшего расцвета играл в футбол!»[501] Он оценивал себя следующим образом: «Все те „страдания“, что я перенес, в значительной степени выражаются в форме безрадостного падения – за исключением устремлений, – общего чувства тщетности во вселенной и постоянного ухудшения в плане земных успехов».

«…Мне необходим коммерческий агент – или если бы только мой хлам был достаточно существенным, чтобы быть весомым товаром. Нехватка хоть какой-либо практической расчетливости у меня такова, что можно предположить лишь отсутствие или раннее удаление определенной группы клеток из моего старческого серого вещества мозга!»[502]

Соня могла бы сделать из него превосходного агента – но он ее прогнал.

Мы можем приблизительно оценить доходы и расходы Лавкрафта за этот период по информации, разбросанной в его письмах. С пределом погрешности примерно в 150 долларов, я полагаю, что он тратил за год в среднем около 1470 долларов[503].

По моим оценкам, оригинальным сочинительством Лавкрафт зарабатывал около трехсот долларов в год. Сюда входят деньги, полученные от Фарнсуорта Райта, обычно платившего ему за оригинальные работы полтора цента за слово, его доля за «Чрез врата Серебряного Ключа» и 595 долларов за два рассказа, проданные журналу «Эстаундинг Сториз» («Удивительные истории»). Я полагаю, что он получил по пять долларов за каждое из пяти стихотворений, проданных Райту, и в общей сложности пятьдесят долларов за публикации в нескольких антологиях.

Остаются еще два источника дохода: проценты и амортизация закладной на каменоломню и его заработок с «призрачного авторства». Что касается закладной, доподлинно нам известно лишь то, что на момент смерти Лавкрафта его вложенный капитал составлял пятьсот долларов. В начале двадцатых годов капитал был около двенадцати или тринадцати тысяч, но Лавкрафт, несомненно, тратил его не стесняясь. Нам не известно, когда и насколько быстро он истощился, за исключением замечания Лавкрафта в 1927 году о «шансе потерять свою скромную тысячу, если бы мне пришлось когда-нибудь лишить его права пользования»[504].

Судя по всему, его ежегодный дефицит, который он покрывал из капитала, был много больше в начале двадцатых годов, когда он был более беззаботным транжирой, а его доходы незначительными, нежели в тридцатых, когда он освоил множество уловок по экономии и упрочился, хотя и не совсем надежно, как писатель и корректор. Если допустить, что его капитал составлял тысячу долларов в 1931 году и пятьсот в 1936–м, то его ежегодный дефицит должен был составлять сто долларов. Если это действительно так, то в тридцатых годах его ежегодный доход от закладных – при шести процентах в качестве ставки – должен был в среднем составлять около сорока пяти долларов.

Самое большое неизвестное – доходы Лавкрафта от «призрачного авторства». Несомненно, они не компенсировали разницы между его расходами, с одной стороны, и его доходом с закладных и оригинального сочинительства, с другой. Если его доход с оригинального сочинительства и процентов с капитала равнялся тремстам сорока пяти долларам, то между доходом и расходом остается разрыв в 1125 долларов, который должен быть восполнен переработкой и чеками с капитала. Если дефицит Лавкрафта составлял около ста долларов в год, то с переработки он должен был получать примерно 1025 долларов. Для полной реалистичности положим, что «призрачное авторство» приносило ему от девятисот до тысячи двухсот долларов.

Хотя это и весьма грубая оценка, она согласуется с тем, что известно о Лавкрафте. Даже если его капитал к моменту смерти практически и истощился, реальный голод ему не грозил, поскольку его всегда могла поддержать тетушка. Энни Гэмвелл умерла в 1941 году, оставив немногим более десяти тысяч наличными и в ценных бумагах. Переживи ее Лавкрафт, он унаследовал бы эти деньги и протянул бы еще многие годы.

Одним из новых друзей Лавкрафта стал его коллега-фантаст,

его преподобие доктор Генри Сент-Клер Вайтхэд (1882–1932). Вайтхэд был епископальным священником в Данедине, штат Флорида, пастором церкви Доброго Пастыря. Холостяк средних лет, атлетического сложения, но со склонностью к язвам, он жил со своим стариком-отцом и активно работал в местных организациях мальчиков.

Вайтхэд писал романы для мальчиков, религиозные работы и рассказы для «Виэрд Тэйлз». Место действия большинства его страшных рассказов – Виргинские острова, где он долгое время жил. Во многих из них затрагиваются такие афро-американские оккультные верования, как вуду и джамби (виргинский эквивалент зомби).

Вайтхэд переписывался с Лавкрафтом. В январе 1931 года он принялся за рассказ, идею для которого ему подал Лавкрафт, и Вайтхэд убеждал его закончить эту работу совместно.

Лавкрафт, однако, зарекся от совместных работ на том основании, что «это обуза для обоих авторов, а результат находится ниже того уровня, которого мог бы достичь каждый из них по отдельности». В частности, он отказался от предложения Вайтхэда «из-за невозможности воздать должное вест-индскому месту действия, которое он счел подобающим. Я – заклятый враг диванной экзотичности и верю в сочинительство только о тех вещах, которые лично знаю, – за исключением, конечно же, случаев дансейнинских фантазий или космической бесконечности»[505].

Кроме того, Лавкрафт начал собственный рассказ, «об адском антарктическом ужасе». Он закончил произведение в феврале, но волновался за «печатание – кошмар, зловеще маячащий впереди!».

Лавкрафт закончил работу – вопреки «ненавистному стуку этого проклятого отродья машинного века»[506] – и назвал рассказ «В горах Безумия». Это научно-фантастическая повесть объемом в сорок две тысячи слов в рамках Мифа Ктулху. Хотя она чересчур длинна и медленно разворачивается, это, быть может, лучший из его больших рассказов.

Рассказчик, профессор Мискатоникского университета, предлагая свой отчет общественности, надеется воспрепятствовать дальнейшим антарктическим экспедициям. Он опасается, что они обнаружат то, что людям лучше не знать, или что они вызовут некое всемирное бедствие.

Он рассказывает, как выступила его недавняя экспедиция с ездовыми собаками и самолетами. В Антарктике они открывают горную цепь выше Гималаев. Передовая группа разбивает лагерь у подножия этих гор и там обнаруживает пещеру, наполненную

ископаемыми. Среди этих ископаемых – четырнадцать загадочных кожистых существ, восемь невредимых и шесть поврежденных.

Рост цельных образцов составляет восемь футов[507], их тела бочкообразные, на одном конце располагаются лапы, а на другом – гроздь щупальцев. Также они снабжены перепончатыми крыльями, складывающимися в вырезы на боках. Затем радио передовой группы смолкает.

Следующая группа, в которую входит и рассказчик, вылетает к лагерю и обнаруживает, что все люди и собаки мертвы за исключением одного человека и одной собаки – они исчезли. В то время как остальные остаются работать в лагере, рассказчик и еще один человек улетают в горы. Они приземляются в грандиозном разрушенном городе Древних, которые были подобны гигантским крылатым голотуриям[508].

Рельефы на стенах излагают историю расы. Прибыв на Землю с далекой звезды в докембрийские времена, они создали гигантских амебовидных слуг, называемых в «Некрономиконе» шогготами. Они использовали их для постройки своих городов, но иногда шогготы бунтовали. Со временем и Древние, и шогготы исчезли.

Кое-какие находки сообщают двум исследователям, что же произошло с передовой группой. Замороженные Древние были все еще живы. Оттаяв, они пришли в себя, но подверглись нападению обезумевших собак. В последовавшей стычке все люди и собаки были убиты, и Древние взяли одного человека и одну собаку для изучения. Они находятся где-то в лабиринте коридоров – и, кажется, некоторые из шогготов выжили…

Это захватывающая, прекрасно написанная повесть, даже если – как и другие рассказы о затерянных на Земле городах и расах – и устаревшая с прогрессом воздушных исследований. Один отрывок из нее проливает свет на изменение взглядов Лавкрафта. Рассказчик и его спутник обнаруживают останки некоторых из выживших Древних, которые повстречали шоггота и теперь лежат обезглавленные и покрытые слизью. Рассказчик говорит: «Бедняги! В конце концов, по своему естеству они не были злыми созданиями. Они были людьми иной эпохи и иного порядка бытия. Природа сыграла с ними злую шутку… и это обернулось их трагическим возвращением домой. Они даже не были дикарями – ибо, что же они, в самом деле, сделали? Такое ужасное пробуждение в холоде неведомой эпохи – возможно, нападение покрытых мехом, неистово лающих четвероногих и ошеломленная защита от них и равным образом обезумевших белых обезьяноподобных в чудных одеяниях и со странными принадлежностями… Бедный Лейк, бедный Гедни… и бедные

Древние! Ученые до последнего – что они сделали такого, чего мы бы не сделали на их месте? Боже, какой интеллект и настойчивость!.. Лучеобразными, растениями, чудовищами, звездным выводком – кем бы они ни были, они были людьми!»[509]

Здесь Лавкрафт, некогда самый этноцентричный и антропоцентрический из людей, переворачивает новую страницу. Древние едва ли были англосаксонскими протестантами, но, поскольку они обладают качествами, которые он уважает, он приветствует их как равных цивилизованных существ. У него ушло больше времени, чтобы увидеть различные расы и племена человечества в таком же однородном свете.

Лавкрафт осилил перепечатку повести, отослал машинописную копию Райту и отправился в весеннее путешествие. В июне 1931 года он был сокрушен отказом Райта принять повесть, хотя и догадывался, когда предлагал ее, что может потерпеть неудачу из-за ее размера. Райту пришлось бы публиковать ее по частям, а его правило – и Лавкрафт знал это – заключалось в отказе от подобной методики, поскольку он редко когда имел на руках достаточную сумму, чтобы расплатиться. Положение «Виэрд Тэйлз» всегда было шатким, поэтому Райт осторожничал с новшествами и был сверхчувствителен к реакции читателей. Один грубый просчет мог положить конец его журналу. Но тем не менее Лавкрафт был в ярости: «Будь проклят Райт за то, что отказался от повести, – я едва не убился, печатая ее!»[510]

В начале 1931 года «Г. П. Патнамс Сонз», зная о все растущей репутации Лавкрафта, поинтересовались, есть ли у него что-нибудь, что они могли бы издать. Он отослал им собрание рассказов и повестей. Как и прежде «Авангард Пресс» и «Саймон энд Шустер», «Патнамс» рассмотрели его, но в июле решили отказать. Перспективы Лавкрафта с книгоиздателями отнюдь не улучшались из-за его обыкновения предлагать потрепанные и изорванные старые машинописные тексты, уже побывавшие у дюжины друзей и редакторов.

Непринятие повести «В горах Безумия» вкупе с отказом «Патнамс» убедили Лавкрафта, что он может и вовсе перестать писать: «Я в самом деле думаю, что прекращу писать совсем – или, по крайней мере, прекращу пытаться делать большее, чем время от времени набрасывать кое-какие заметки для собственного наставления. На серьезные работы о сверхъестественном нет какого-либо спроса. Я убедился в подобном отношении после вежливого отказа от моего

материала, только что полученным от „Патнамс“ – которые просили посмотреть его в первую очередь».

«Я настолько раздосадован всеми своими произведениями, что почти решился в дальнейшем ничего не писать. Ни в одном из случаев я и близко не подошел к передаче того настроения или образа, которые хочу донести, а когда не достигаешь этого в сорок один, то и нет особого смысла тратить время на дальнейшие попытки…»

«Мне будет довольно трудно пристроить свою антарктическую повесть – действительно, в последнее время отказов столь много, что я думаю на какой-то срок прекратить писать и полностью заняться переработкой»[511].

Лавкрафт признавал, что легко лишается уверенности в себе. Он хвалил Дерлета за его стойкость: «Я завидую вашей непоколебимости перед лицом отказов – ибо при подобных обстоятельствах у меня появляется некоторое сомнение в достоинствах своего материала и сопутствующее нежелание писать дальше. Прямо сейчас, например, воздействие совместного отказа Райта и Патнама заставляет меня отказаться от оригинальных проб и предпринять некоторые усилия по переработке»[512].

Несомненно, чтобы преуспеть в качестве внештатного писателя при жизни, одного таланта недостаточно. Как уже говорилось в Главе VII, нужно также обладать энергией, самовлюбленностью, стойкостью, непоколебимостью и прожженным реализмом. К несчастью для таких людей, как По и Лавкрафт, их великий талант, или гений, развивался, как ни смотри, за счет других качеств. Чем больше был их гений, тем менее рационально они могли им пользоваться.

Подход Лавкрафта к собственным произведениям стал еще более строгим. Он отвергал «Изгоя», которым повсеместно восторгались, как «трухлявый кусок риторической околесицы, густо замазанный подражанием По». Он полагал, что должен радикально изменить свой стиль: «Все мои рассказы, за исключением, быть может, одного или двух, при тщательном анализе вызывают у меня глубокое недовольство, и я почти решил потребовать остановки, пока не смогу справляться лучше, чем сейчас… Беда большей части моего материала в том, что он сидит меж двух стульев – мерзкого журнального рода, подсознательно внедрившегося в мой метод посредством общения с „Виэрд Тэйлз“, и настоящего рассказа».

«Что до моих произведений – обладают они каким – либо потенциалом или же нет, – то я знаю, что им необходим чертовски тщательный пересмотр. Они чересчур экстравагантны и

мелодраматичны, им недостает глубины и утонченности… Мой стиль тоже плох – он полон очевидных риторических уловок, избитых фраз и ритмических рисунков. Ему далеко до совершенной и объективной простоты, которая является моей целью, – тем не менее я оказываюсь косноязычным, когда пытаюсь использовать лексику и синтаксические построения, отличные от моих собственных».

Лавкрафт был не единственным писателем, считавшим, что его работы тяготеют к определенному типу, структуре и тону, и что – когда он пытается писать в совершенно отличном ключе – у него иссякает вдохновение, оставляя его в «писательском ступоре». Он объяснял, почему не пишет рассказов с действиями: «По существу я статическая, созерцательная и объективная личность, почти отшельник в обычной жизни, и всегда предпочитаю наблюдать, нежели участвовать. Моя естественная – и единственно искренняя – форма воображения заключается в пассивном свидетельстве – в идее быть неким свободно плавающим глазом, который видит все типы сверхъестественных явлений, но не очень затрагивается ими. По своему складу я не способен разглядеть что-либо интересное в одних лишь движениях и событиях. Что захватывает меня – так это условия, атмосфера, внешний вид и прочее в подобном роде»[513].

Это объясняет, почему в большинстве рассказов Лавкрафта выведены пассивные и слабые герои, над которыми скорее производится действие, нежели действуют они сами, и которые в кризисных ситуациях обычно теряют голову и паникуют. Очевидно, он считал себя антигероем и, как и большинство писателей, вводил кое-что от этой воображаемой личности в свои рассказы. Такое представление о самом себе, хоть и разительно отличающееся от ревущего и пьющего кровь берсерка, каковым он любил воображать себя на третьем десятке, было, возможно, несправедливым по отношению к настоящему Лавкрафту.

В этот период уныния в конце 1931 года Лавкрафт начал рассказ, действие которого происходит во Флориде, но забросил его, чтобы заняться «призрачным авторством». Одной из трудностей при сочинении страшного рассказа о теплой стране, по его словам, являлось то, что для него тепло было таким благотворным, что в тропиках трудно было даже представить какую-либо реальную опасность.

В начале мая 1931 года Лавкрафт вновь отправился на Юг. Там он сопоставил «полукровочный бедлам» Нью-Йорк с южной «…культурой такой глубины и стойкости, что чувствуешь себя среди настоящей нации – как никогда не почувствуешь на

индустриализированном, обыностраненном и быстро изменяющемся Севере. Те же самые условия – среди французов – существуют в старинном Квебеке; в Новой Англии же мы их утратили. На недорогом автобусном маршруте можно увидеть, как глубоко старая южная позиция затронула даже мещан – чьи предки, конечно же, проживали в Вирджинии на протяжении трех веков. Здесь есть инстинктивная обходительность и дружелюбие того сорта, что неведомы Северу, и длительные поездки порой разнообразятся словоохотливыми замечаниями – культурными и по замыслу интересными – совершенно незнакомых людей».

Два странствующих музыканта – певец и слепой гитарист – развлекали пассажиров автобуса, которые с удовольствием присоединились к пению без «глупой пуританской замкнутости и псевдодостоинства соответствующих классов янки»[514].

После остановок в Чарлстоне и Саванне, полюбовавшись их старинными достопримечательностями во второй раз, Лавкрафт отправился в Сент-Огастин, где с удовольствием посетил фермы по разведению страусов и аллигаторов и старый испанский форт. После он добрался автобусом до Данедина, в северной части побережья Мексиканского залива, к северу от Сент-Питерсберга, чтобы навестить Вайтхэда. Тепло наполнило его энергией. Он любил климат Флориды, но не проявлял интереса к ее плоским, болотистым ландшафтам и отсутствию старины за пределами Сент-Огастина.

Прежде Лавкрафт никогда особенно не обращал внимания на птиц. Скорее, наоборот – тот факт, что любители птиц склонны ненавидеть кошек, располагал его против них. Единственный раз, когда он не смог ответить в споре, был когда некая любительница птиц из Провиденса выбранила его как союзника кровожадных кошек. Во Флориде, однако, птицы, начиная с пеликанов и заканчивая пернатыми помельче, привели его в восторг.

Ему чрезвычайно понравился Вайтхэд, и он прочитал свои рассказы в местном клубе мальчиков. Вайтхэд одолжил ему белый тропический костюм и настоял, чтобы Лавкрафт взял его с собой при отъезде.

Своевременные чеки за переработку позволили Лавкрафту доехать автобусом и поездом до Ки-Уэста, где он обратил внимание на латиноамериканское влияние – там даже фильмы демонстрировались на испанском. Испанская колониальная архитектура, как и французская, начала его увлекать. «Местные кубинцы, – отметил он, – весьма живописны и отнюдь не такие опустившиеся, как наши итальянцы с Федерал-Хилл».

Лавкрафт не имел ничего против этого «иностранизма», поскольку Ки-Уэст, как и Квебек, был «действительно старым и

естественно развившимся городом». В самом деле, он нашел его «очаровательным»[515]. Будь у него деньги, он съездил бы и на Кубу.

Хотя он и купил дешевую соломенную шляпу, он быстро привык ходить без нее – для него это был настоящий разгул непринужденности, поскольку «на севере мужчины моего возраста придерживаются традиционного головного убора». Он наслаждался дрейфом без определенной программы, посмеиваясь над точными планами, разработанными Мортоном для путешествия в Новую Шотландию: «…Потому что я не получил бы и намека на удовольствие от какого-нибудь путешествия, маршрут которого был бы полностью известен заранее. Все возбуждение от путешествия заключается в элементе удивления и неожиданности – как раз и полагающем качество авантюрного освобождения»[516].

Приехав в июле в Нью-Йорк, он заметил, что, хотя прежде у него не было чувства времени, путешествия научили его быть пунктуальным. Его друг Бробст утверждает, что в тридцатых годах Лавкрафт всегда появлялся вовремя[517].

Уилфред Талман, у которого была хорошая работа, имел причуду покупать массу одежды, которая ему затем надоедала, и он ее раздаривал. Он подарил Лавкрафту курортный костюм мышиного цвета, хотя Лавкрафт и колебался, принять ли его, поскольку «на нем рисунок, и поэтому он, возможно, слишком моложавый для старика». В конце концов он взял костюм, но отказался от светло-серого зимнего пальто взамен пальто 1909 года, которое он до сих пор носил. Оно «было таким моложавым, что его вид на мне был бы еще хуже, чем вид моей теперешней археологической реликвии…»[518].

Лавкрафт познакомился с другом Лавмэна, Леонардом Гайнором, работавшим в «Парамаунт Пикчерс» и проявлявшим интерес к его работам. Возможность продажи на экранизацию вряд ли была велика, но Лавкрафт предпочел не рисковать разочарованием от ее осуществления: «…Голые факты говорят, что ничего из моего никогда бы не подошло для его целей. Фильму требуется действие, в то время как моя специализация – атмосфера»[519].

Пятнадцатого июля Лавкрафт отправился в увеселительную поездку на автомобиле в округ Уэстчестер, на которую его пригласил его молодой друг Аллан Б. Грейсон. Машину вела мать Грейсона. В Ардесли они навестили кузину Грейсонов. Лавкрафт писал: «Эта кузина – теперь уже почтенная леди – стала отчасти полузатворницей и чудаковатой особой в результате чрезмерной родительской опеки в юности: у ее отца родилась мысль держать

ее в строгом уединении, пока он не сможет найти ей мужа из немецкой знати. Это ему не удалось – и он умер, оставив запуганную и уже непривлекательную дочь в среднем возрасте, неприспособленную к жизни по причине ранней изоляции. После его смерти она быстро вышла замуж за обычного, полудеревенского и не очень-то образованного соседа, женившегося на ее деньгах, – и теперь чета там и живет, пожилая и чудаковатая, среди живописной красоты и архитектурной роскоши. Они не держат слуг, а в огромном доме закрыли все комнаты за исключением трех, проживая как отдыхающие и облачаясь в самые что ни на есть бесформенные и неописуемые одеяния»[520].

Не надо даже напрягаться, вчитываясь между строк, чтобы увидеть, что Лавкрафт осознавал параллели между несчастной леди и собой.

Остаток года Лавкрафт провел в Провиденсе, за исключением коротких поездок в Бостон, Плимут и Хартфорд. В Хартфорде он договорился о работе, за которую получил пятьдесят долларов, по корректуре книги о Дартмутском колледже, издававшейся компанией Ортона. (Это была та самая книга, что изменила его взгляд на колониальные времена.) В остальном же он был поглощен «призрачным авторством» и переработкой, письмами, чтением и прогулками.

Со своими корреспондентами Лавкрафт спорил о науке и религии. Мо он заявил, что бедой викторианской эпохи было то, что все ее лучшие умы ушли в науку, а для искусства никого не осталось – отсюда и превратности викторианского стиля. С католиком Дерлетом касательно религии он был обходителен. Но когда в начале 1931 года с католицизмом заигрывал Фрэнк Лонг, Лавкрафт обрушил на него гром и молнии: «…этот немыслимый и антиобщественный анахронизм, называемый папистской церковью… Папизм поощряет все женоподобное и отвратительное». Хотя в других случаях он и признавал, что в религии есть некая практическая социальная ценность, здесь он заявил: «Я ненавижу и презираю религию», потому что, по его словам, она лжет относительно фундаментальных, научно установленных фактов[521].

Лавкрафт все еще относился с враждебностью к «иностранным влияниям», но, за исключением черных рас (негроидов, австралоидов и меланезийцев), он оставил расовые споры. Теперь он строил свой нативизм на культурных основаниях: «Ни один антрополог с репутацией не настаивает на неизменно передовой эволюции нордической расы по сравнению

с эволюцией европеоидной и монголоидной рас. Собственно говоря, легко согласиться с тем, что средиземноморская раса отличается высоким процентом эстетически чувствительных, а семитские группы сильнее в проницательном и точном восприятии. Также может быть, что монголоиды выделяются эстетическими способностями и нормальностью философской приспособляемости».

Эти группы, однако, все еще были обречены на взаимную вражду, ибо: «Те сентименталисты, что пытаются притворяться, будто различные культуры могут понять и полюбить друг друга, способны причинить один лишь вред… В действительности, как показывает Шпенглер, культуры глубоко укоренены, поразительно уникальны и внешне враждебны – их различия непомерно огромнее, нежели это обычно полагается… То, что мы подразумеваем под нордическим „превосходством“ – это лишь следование тем характерным ожиданиям, что естественны и неискоренимы в нас… Мы не называем [итальянцев] низшими, а просто признаем, что они отличны за рамками свободного взаимопонимания и культурной совместимости… И не забывайте, что мы наносим ущерб иностранным группам – точно так же, как и они нам. Китайцы считают наши манеры плохими, наши голоса – хриплыми, наш запах – тошнотворным, а нашу белую кожу и длинные носы – омерзительными словно проказа. Испанцы считают нас пошлыми, грубыми и неуклюжими. Евреи… искренне полагают, что мы дикие, садистские и по-детски лицемерны… Так каков же ответ? Просто держитесь как можно дальше от массы всех этих почти равных и высоко развитых рас. Пускай они изучают друг друга так глубоко, как только смогут, в интересах того интеллектуального осмысления, что содействует пониманию и терпимости. Но не давайте им смешиваться чересчур свободно…»

Эта позиция, хотя все еще и этноцентрическая, все же более искушенная, нежели его ранние ребяческие восхваления нордической или арийской расы, и он уже не объявлял свое низкое мнение о не – англосаксах объективным фактом. Более того, поскольку культуры действительно отличаются обычаями, нравами и моралью, а ксенофобия является едва ли не универсальной человеческой характерной чертой, доводы Лавкрафта отнюдь не лишены основания. Однако, чтобы оправдать свои чувства, он преувеличивал несходства между разными культурами и трудности адаптации и ассимиляции. Он не предвидел воздействия гомогенизирующего эффекта индустриализации и урбанизации на мировые культуры, а также смягчения межэтнической враждебности посредством

значительного распространения высшего образования и международных путешествий.

Порой Лавкрафт даже выказывал скептицизм по отношению к этническим стереотипам: «…Поверхностная концепция о различном расовом и национальном наследии часто забавно противоречит реальным фактам». Он отказался от прежней мизантропии: «Если кто-то не придает слишком большого значения людям, то в целом это не означает, что он ненавидит или презирает их. Уверен, я не испытываю подобных чувств»[522].

В политике он говорил о неизбежности какого-либо типа социализма. Вынужденный выбирать между фашизмом и коммунизмом, он предпочел фашизм. Демократия действовала лишь в маленьком масштабе, а в Соединенных Штатах она превратилась в не более чем «мистификацию», прикрытие для плутократии. «Цивилизованные цели», к которым предположительно должно стремиться правительство, есть физическая безопасность, возможность узнать и выразить свое мнение, атмосфера, благоприятствующая искусству и науке, и «чувство нахождения на своем месте». Даже коммунизм был бы приемлем, если бы мог все это обеспечить, но до того времени ему этого не удавалось.

Он добавил: «Многому можно научиться у Советской России, хотя никто не пожелал бы, чтобы система этой страны была полностью… перенята…»[523] Несколькими годами ранее, когда Лавкрафт был все еще политически ультраконсервативным, в таком же взгляде на Советский Союз его убеждал Э. Хоффманн Прайс[524].

Лавкрафт выступал против цензуры. Это вызывало у него трудности, когда он старался взглянуть на фашизм с сочувствием. Он сдался перед переменами, если не смирился с ними:

«Несомненно, перемены в Америке (и, коли на то пошло, где-то в другом месте), проистекающие из механизации, не могут быть одобрены при любом полете оптимистичной фантазии. Все, что можно сказать за них, так это то, что они совершенно неизбежны. Все в современном мире непосредственно и полностью проистекает из открытий практической паровой тяги и крупномасштабного использования электрической энергии, и возможностей для уничтожения открытия, на которое уже раз наткнулись, не существует… В действительности же ни один образ жизни, как установившийся естественным образом, не является много лучшим или худшим, нежели любой другой. То, что мы ненавидим, – просто перемена как таковая. И весьма естественно и разумно, поскольку большая часть интереса к жизни происходит из иллюзий, зависящих от неизменного

окружения и преемственности в обычаях и нравах…»

Здесь Лавкрафт предвосхищает теорию Тоффлера о «шоке будущего». Как и обычно, лавкрафтовское «мы» – это просто сам Г. Ф. Лавкрафт. Многие одобряют перемены независимо от «интереса к жизни» или «неизменного окружения и преемственности в обычаях и нравах». Другие предпочитают сочетание стабильности и перемен. Если классифицировать людей согласно их любви или нелюбви к переменам, Лавкрафт окажется в этой шкале на конце «нелюбви», в то время как чудаки, требующие постоянных перемен ради самих же перемен, выстроятся на ее противоположном конце.

По отношению к своему сочинительству Лавкрафт чувствовал вину даже еще больше. Он стыдился большинства из того, что написал на третьем десятке. Он хотел бы писать реалистичную прозу ради денег, но не мог. Рассказы с действием были популярны, но не были настоящим искусством, поэтому и журналы вроде «Аргоси» никогда не смогли бы «стать рынком для меня». Он считал себя слишком старым, чтобы стать таким же разносторонним, как Дерлет. В действительности же Лавкрафт мог писать превосходные приключенческие повести с действием, но он убедил себя, что все подобные произведения суть «дешевый и низкопробный хлам» и что единственная литература, относящаяся к какому-либо настоящему «искусству», зависит от атмосферы.

Он все еще проповедовал лишенный юмора, «искусство-ради-искусства» взгляд на литературу: «помнить о читателе – совершенно фатально» для истинного искусства. «Искусство требует, чтобы автор писал о том, что находится в его душе, не больше и не меньше». И: «…все эксцентричное по существу безвкусно, притворно и крайне противоположно подлинно сверхъестественному».

Дерлет посоветовал Дж. Вернону Ши, молодому корреспонденту, приобрести сексуальный опыт, чтобы оживить свое сочинительство. Лавкрафт же уверял Ши, что, напротив, для писательства подобный опыт не требуется. «В самом деле, я не вижу какой-либо разницы между работами, что я написал до свадьбы, и теми, что написал за супружеский период…» Возможно, это говорит больше о браке Лавкрафта, нежели о ремесле литератора.

Однако Лавкрафт тщательно различал свое отношение к сексу в жизни и в литературе: «Я отношусь с отвращением ко всем сексуальным ненормальностям в самой жизни»[525], но его отнюдь не возмущало их реалистичное изображение в искусстве. Это действительно было переменой с тех дней, когда он

критиковал Кука за публикацию того рассказа о натурщице.

Лавкрафт интересовался акцентами и диалектами. Он годами обсуждал их региональные разновидности в письмах мисс Толдридж и Ши. Но его знания оставались поверхностными. Очевидно, он никогда не читал доступных тогда хороших книг по фонетике английского языка – таких как Джона С. Кеньона и Джорджа Ф. Крэппа. Так, он неверно называл общепринятое американское конечное и предконсонантное «r» (как в слове «farmer») «вибрирующим „r“». Он выражал распространенную ошибку, что ораторы с пролетарским Нью-йоркским диалектом переставляют звуки «er» и «oi», произнося «Ernest Boyd» («Эрнст Бойд») как «Oinest Bird» («Ойнст Берд»)[526]. (В действительности они имели склонность использовать в обоих словах единый промежуточный звук, между «oi» и «er».)

В 1925 году Райт отверг рассказ Лавкрафта «В склепе» как слишком страшный. Летом 1931 года Дерлет убедил Лавкрафта позволить ему перепечатать этот рассказ, рукопись которого совсем истрепалась. Лавкрафт, поблагодарив Дерлета, заметил, что, поскольку от рассказа отказались уже три редактора, «я сомневаюсь, что будет много проку от того, чтобы снова послать его Райту, – ненавижу опошление, заключающееся в постоянной мелочной торговле»[527]. Дерлет, однако, все равно отослал «В склепе» Райту. В октябре тот купил его за пятьдесят пять долларов.

Продажа ободрила Лавкрафта на написание нового рассказа. В качестве эксперимента он начал его в стиле, совершенно отличном от своего обычного.

Он начинал три раза, но каждый раз увязал в трудностях. В ноябре он забросил эксперименты и написал рассказ в своем обычном стиле. Он был назван «Тень над Иннсмутом», и его объем достиг двадцати шести тысяч слов. Сочетающий элементы нескольких предыдущих работ, он не является лучшим лавкрафтовским произведением, но все же – несмотря на промах Лавкрафта с размещением кульминации в его середине – это достойный и возбуждающий рассказ, основной в Мифе Ктулху.

Рассказчик – студент колледжа, который, совершенно в лавкрафтовском духе, отмечает «свое совершеннолетие поездкой по Новой Англии – осмотром достопримечательностей и старины, а также генеалогическими исследованиями, – запланировав добраться прямо из древнего Ньюберипорта до Аркхэма, откуда произошла семья моей матери. У меня не было автомобиля, и я путешествовал поездом, трамваем и автобусом, всегда выбирая самый дешевый из возможных маршрутов»[528].

Экономия заводит его в ветшающий порт Иннсмут, о котором ходят зловещие слухи. Иннсмутцы ведут свой род от капитана Марша, который в сороковых годах девятнадцатого века привез с острова в южных морях странную жену. Они обладают рыбоподобной «иннсмутской внешностью», характеризующейся покатым лбом, срезанным подбородком, выпученными глазами и чешуйчатой кожей.

Рассказчик останавливается в замызганной гостинице «Гилман Хаус» и находит одного из немногих местных жителей, не относящегося к Ним. Это девяностолетний пьяница, который после потчевания виски рассказывает легенду об Оубеде Марше.

Бесстрашный капитан, судя по всему, обнаружил некий остров, жители которого получают рыбу и золото в обмен на человеческие жертвоприношения расе водных человекообразных существ, любимцев Ктулху. Жители моря скрестились с островитянами. Их отпрыски начинают жизнь совсем как люди, но затем приобретают рыбоподобную внешность морских жителей. Со временем они возвращаются в море, где живут уже вечность. Жена Марша была одним из этих гибридов.

Рассказчик вызывает подозрения у местных жителей, и они пытаются ворваться в его комнату в гостинице. Он вылезает из окна, и далее на протяжении нескольких страниц следует искусное повествование о бегстве и погоне, вопреки убеждению Лавкрафта в своей неспособности писать о действиях. Рассказчику удается сбежать – хотя, будучи лавкрафтовским героем, при виде чего-то ужасающего он падает в обморок подобно героине викторианского романа. Но затем, в процессе своих генеалогических исследований, он узнает, что тоже является Маршем…

Сам Лавкрафт был низкого мнения о рассказе: «Я не думаю, что многого добился этим экспериментом. Результат, объемом в шестьдесят восемь страниц, имеет все те же недостатки, о которых я сокрушаюсь, – особенно в отношении стиля, куда вопреки всем предосторожностям прокрались избитые фразы. Обращение к любому другому стилю было подобно работе на иностранном языке – поэтому я остался ни с чем… Нет – я не намерен предлагать „Тень над Иннсмутом“ для публикации, потому что у него нет никаких шансов на принятие. Возможно, я буду использовать его в качестве карьера для разработки»[529].

Дерлет вызвался напечатать рассказ, а когда его предложение было отклонено, раздразнил Лавкрафта так, что тот напечатал его сам. Он отослал Дерлету машинописную копию, назвав рассказ «моя собственная многословная и сомнительная лебединая песня… нечто вроде величественного финала моего

нынешнего прозаичного периода».

Дерлет убеждал Лавкрафта попытать удачи в «Виэрд Тэйлз», но некоторые другие корреспонденты Лавкрафта выступили с критикой. Это его так обескуражило, что он доработал рассказ, стеная при этом: «Что касается моего сочинительства, то я полагаю, что завязал навсегда. Неблагоприятные отзывы о моей недавней работе разрушили мою веру в него, и я не считаю себя способным изложить на бумаге то, что действительно хочу выразить»[530].

Он говорил: «Мне едва ли не смешно размышлять о том, что когда-то я считал себя близким к тому, чтобы научиться писать рассказы!» Он «практически отказался от профессиональной арены», ибо: «Определенно вероятно, что я исписался…» Теперь он писал десятицентовым механическим карандашом, потому что из-за перьев уставала рука, а «один лишь вид пишущей машинки приводит меня в оцепенение». «Она не только иссушает все источники мысли и воображения, но еще и заставляет меня сильно нервничать и вызывает головную боль…»[531]

Чтобы писать вновь, ему необходимо было «выбросить из головы весь омерзительный образ лавочников и торговцев». «Единственное, что заставляет меня писать, это полная свобода от всех ограничений и всех мыслей о каких-либо критических нормах или читателях, кроме меня самого».

Он был «всегда слишком близок к нервному истощению, чтобы быть кем-то другим, кроме как заторможенным из-за опыта неоднократных отказов»[532]. Когда Дерлет убеждал его встряхнуться и не волноваться из-за нескольких отказов, Лавкрафт печально ответил: «Что касается моего нынешнего отношения к сочинительству и предложениям – я понимаю, почему вы считаете мою антиотказную политику невыносимо глупой и излишне недальновидной, и я не готов выдвинуть какого-либо оправдания кроме того простого факта, что частые отказы действительно определенным образом влияют на мою психологию – разумно или нет – и что их воздействие вызывает у меня некий литературный столбняк, который совершенно препятствует моим дальнейшим художественным сочинениям вопреки всем напряженнейшим усилиям. Я был бы последним, кто говорил бы, что они и должны приводить к подобному результату или что они воздействовали бы – даже в незначительной степени – на психологию, прочную и уравновешенную на сто процентов. Но, к несчастью, моя нервная уравновешенность всегда была довольно неопределенной величины, а теперь она и вовсе в одной из своих самых измученных фаз… Я чувствую себя страшно неблагодарным, что

не пользуюсь вашими великодушными ободрением и предложениями, и едва ли смог бы винить вас, если бы вы умыли руки, отказавшись от старика как от совсем безнадежного дела, – и все-таки я уверен, что вы понимаете, как высоко я ценю ваш интерес и сотрудничество, и насколько сожалею, что представляюсь упрямым, глупым и жертвой капризов впадения в детство».

Август Дерлет был молодым человеком огромной энергии и относился как раз к тому типу «прочного и уравновешенного на сто процентов», о котором говорил Лавкрафт. Он завидовал этим качествам Дерлета: «Должно быть, здорово быть суперменом – но сжальтесь над простыми смертными!»[533]

В действительности же, по сравнению с разочарованиями, которые переносят большинство писателей, отказы, полученные Лавкрафтом, были такими малочисленными, что их можно было бы назвать смехотворными, не описывай мы трагическую ситуацию. Он, бывало, сдавался после одной или двух безуспешных попыток. (Современный писатель продает свои произведения лишь после дюжины или даже больше отказов.)

Лавкрафт страдал вовсе не от «капризов впадения в детство», но от принуждений и запретов, наложенных на него в настоящем детстве, – от многих из которых он так и не избавился. Таким образом, когда его писательская техника была на самом пике, а идеи поразительно оригинальными, как и всегда, его специфическая психология – ничтожное самомнение, антикоммерциализм и «профессиональный дилетантизм» – пресекли тот успех, которого он мог бы достичь.

Несмотря на отчаяние самоосмысления, в январе 1932 года Лавкрафт все-таки написал еще один рассказ – повесть в пятнадцать тысяч слов под названием «Сны в ведьмовском доме». Возможно, идею для нее подсказал «Дом чудес» со стенами и полом, построенными под необычными углами, который Лавкрафт и Соня посетили на Кони-Айленд[534] девятью годами раньше.

Уолтер Гилман, студент Мискатоникского университета, снимает комнату в старинном доме Аркхэма. Некогда в нем укрывалась Кезия Мейсон, сбежавшая из Салема во время охоты на ведьм в 1692 году. Гилман живет в комнате Кезии, отличающейся необычными углами. Он изучает неевклидово исчисление и квантовую физику, а также интересуется «Некрономиконом» и другими оккультными трудами в надежде найти формулы, дающие доступ к неизвестным измерениям.

Склонные к буквальности критики возражали, что такой

вещи, как «неевклидово исчисление», не существует. Естественно, не существует, поскольку Евклид блистал почти за две тысячи лет до изобретения исчисления Ньютоном и Лейбницем. Лавкрафт, я уверен, знал об этом и просто использовал данный термин, как научные фантасты часто применяют псевдонаучные термины, дабы «придать художественное правдоподобие повествованию, в противном случае бесцветному и неубедительному».

Гилману снятся тревожные сны, в которых он видит саму ведьму и спутника старухи по имени Бурый Дженкин. Эта тварь напоминает огромную крысу с головой, по виду человеческой, и лапами, подобными человеческим рукам. Пара таскает Гилмана в свои измерения, где все выглядит словно скопление кубов и других геометрических фигур.

По Аркхэму ходят слухи о грядущем шабаше с жертвоприношениями детей. Подозревая, что Кезия намеревается вовлечь в это его, Гилман все больше и больше сходит с ума. Он поговаривает о переезде или обращении к специалисту по нервным заболеваниям, но с лавкрафтовской беспомощностью лишь безучастно ожидает своей гибели… Это хороший рассказ, весьма оригинальный и изобретательный, связывающий мнимый салемский ведьмовской культ семнадцатого века с Мифом Ктулху.

Лавкрафт не торопился продавать рассказ. Когда Дерлет убеждал его позволить ему хотя бы напечатать его, он ответил: «Я ни за что на свете не позволил бы вам тратить время на его перепечатку…» Примерно в начале мая Лавкрафт поручил одному своему клиенту, работу которого он перерабатывал, в качестве оплаты напечатать «Сны в ведьмовском доме»[535]. Он собирался послать его по кругу своих друзей, чтобы выслушать их критические замечания, прежде чем решить, стоит ли отсылать его Райту.

Первым в списке был Дерлет, Кларк Эштон Смит – вторым. Грубоватый и придирчивый критик, Дерлет жестко высказался о рассказе. Тогда Лавкрафт решил, что «этот случай показывает мне, что мои литературные дни, похоже, закончились», и попросил Дерлета незамедлительно вернуть рукопись.

На протяжении месяцев рассказ покрывался пылью. Затем Дерлет, который хотел собрать все произведения Лавкрафта, снова позаимствовал рукопись, чтобы напечатать копию для себя. Когда у него был оригинал – где-то в конце 1932 года, – он показал его Райту. Тот сразу же купил его за сто сорок долларов и опубликовал в номере за июль 1933 года. Лавкрафт отказался продавать права на радиопостановку, опасаясь «опошления» рассказа в процессе переделки[536].

В мае 1932 года Лавкрафт отправился в следующее большое путешествие. Погостив у Лонгов в Нью-Йорке, он продолжил путь через Вашингтон, Роанок, Ноксвилл, Чаттануга, Мемфис, Виксберг, Натчез и Новый Орлеан. Он наслаждался каждым моментом путешествия: Лукаут-Маунтин, закат на Миссисипи, старинные места Натчеза.

В Новом Орлеане жил коллега Лавкрафта по «Виэрд Тэйлз» писатель Эдгар Хоффманн Прайс. Среди прочего Прайс был выпускником Уэст-Пойнта, офицером американской кавалерии во время Первой мировой войны, востоковедом-любителем и искусным автомехаником. Потеряв работу во время Великой депрессии, он пытался удержаться на плаву, сочиняя рассказы для дешевых журналов.

Никогда прежде не встречавшись и не переписываясь с Прайсом, Лавкрафт «не собирался вмешиваться и представляться». Однако он написал Роберту Говарду в Техас, рассказав ему о своем путешествии.

Ранее Говард уговаривал Лавкрафта навестить его в Техасе, обещая экскурсию по историческим местам Штата одинокой звезды. Он был очень огорчен, что Лавкрафт Приехал в Новый Орлеан, когда сам он был без гроша, без автомобиля и не мог к нему присоединиться.

Зато Говард телеграфировал Прайсу, сообщив ему, где найти Лавкрафта. Непринужденный Прайс тут же позвонил Лавкрафту, приехал к нему в гостиницу и отвез к себе домой. Лавкрафт назвал это посещение «самым долгим визитом в моей жизни, который я когда-либо наносил – или же предполагал нанести».

«…Визит, длившийся двадцать пять с половиной часов без перерыва, начиная с вечера воскресенья [12 июня] и почти до полуночи понедельника. Прайс снимал комнату во Французском квартале, и время от времени его сосед по комнате заваривал чай или кофе или готовил еду… Казалось, никто не хотел спать, и за обсуждениями и литературной критикой часы пролетели незаметно. Последующие визиты длились по десять часов или около того – и я общался с Прайсом, пока не уехал»[537]. Прайс тоже описал встречу:

«Впервые я увидел ГФЛ в вестибюле гостиницы третьего класса на Сент-Чарльз-стрит в Новом Орлеане в начале июня 1932 года. Он был одет в мешковатый старый костюм табачного цвета, с аккуратными заплатками в нескольких местах… Глаза, которые я увидел, были темно-карими, живыми, глубокими и совершенно нормальными – вопреки моим ожиданиям, без какой бы то ни было таинственности.

Что же касается прочего, то он сутулился так, что я недооценил его рост, равно как и ширину плеч. У него было худое, узкое вытянутое лицо с длинными подбородком и челюстью. Ходил он скорым шагом. Его речь была быстрой и немного прерывистой – как будто его телу было трудно угнаться за живостью ума…

Я был до некоторой степени напряжен, не столько от перспективы встречи с легендарной личностью, обладавшей, по моим представлениям, сверхъестественным взором, сколько от доходивших до меня слухов – а именно, что он был невыносимо строгим пуританином, из-за чего приходилось контролировать свою речь и особенно избегать любого упоминания алкоголя или привычек, которые он считал порочными. Но уже через мгновенье я знал, что он не был ни вампиром, ни пуританином, а дружелюбной и человечной личностью, вопреки производимому впечатлению ожившего словаря.

Он не был напыщенным, не был и надменным – как раз наоборот. Просто у него была склонность использовать официальную и академическую манеру для выражения самых легкомысленных замечаний. Мы не прошли и квартала, как я осознал, что ни одна другая манера речи не могла быть по-настоящему естественной для ГФЛ. Если бы он пользовался менее высокопарными выражениями и говорил бы так, как все остальные, то это и было бы деланым…

В порядке любезности я спрятал пять бутылей домашней браги (это было в 1932 году [когда все еще действовал „сухой закон“]) и бочонок красного вина. Его пристрастие к кофе упростило проблему напитков. „Пристрастие“ – не то слово, скорее – страсть. Он пил чашку за чашкой, а я ставил кофейник за кофейником. В каждую чашку он добавлял четыре ложки сахара с верхом. На протяжении двадцати восьми последовавших часов, в течение которых мы болтали в головокружительном темпе, он пил кофе.

И он ел. Его длинное лицо озарилось, когда я упомянул большой котелок чили кон карне[538], который приготовил за день до его неожиданного прибытия. В холодильнике были и другие лакомства, но при упоминании чили он дал волю классической аллюзии, в которой фигурировали слова „нектар“ и „амброзия“, и заявил, что чем больше специй в блюде, тем лучше…

Двадцать восемь часов мы болтали, обмениваясь идеями, перекидываясь фантазиями и состязаясь в причудах. У него был огромный энтузиазм до новых впечатлений – от видов, звуков, построения слов и идей. За всю свою жизнь я встретил лишь

одного или двух человек, которые походили на него тем, что я называю „интеллектуальной жадностью“. Гурман слов, идей, мыслей. Он разрабатывал, соединял, очищал – и все в пулеметном темпе.

Он не курил, не пил, и, судя по всем его разговорам и письмам, женщины для него тоже не существовали. Но за исключением этого, его пристрастия и интересы были почти всесторонними…

За эти двадцать восемь часов ко мне зашли знакомые из Французского квартала – люди, которых, по моему убеждению, он счел бы распутными, пошлыми и тупыми. Они ввалились весело, да еще с бутылками. Пресечь этот произвол – как, я опасался, он воспримет это – было бы затруднительно, да и, в известном смысле, умалением моего почетного гостя, нежели вежливостью по отношению к нему. Также я боялся, что эта компания в лучшем случае заскучает от человека лавкрафтовских манер и характера, если вообще не пустится в оскорбления.

Но это обернулось… Он не только встретил пришедших совершенно по-приятельски и радушно, что опровергло все слышанное мною о его нетерпимости в некоторых отношениях, но и пошел с ними на небывалый компромисс. А когда он взял слово, они слушали этого странного, этого исключительного, этого книжного, этого педантичного пуританина из Провиденса. Он завладел их вниманием с первых же минут. Его уверенность и самообладание успокоили и восхитили меня…

Это был разносторонний вечер. Одним из моих самых любимых рассказов ГФЛ был и до сих пор остается „Серебряный Ключ“. Говоря ему о том удовольствии, что я испытывал при его чтении, я предложил его продолжение, повествующее о деяниях Рэндольфа Картера после исчезновения. Мой интерес к его рассказу воодушевил его, а его благодарный отклик, в свою очередь, воодушевил меня, так что еще до того, как закончилось наше собрание, мы серьезно решили взяться за эту задачу. Через несколько месяцев я написал первый черновик в шесть тысяч слов.

ГФЛ учтиво поаплодировал, а затем в буквальном смысле взялся за перо. Он выслал мне развитие в четырнадцать тысяч слов того, что я посылал ему ранее, в обычной лавкрафтовской манере. Конечно же, я увяз. Идея продолжения одного из его рассказов оказалась более фантастической, нежели любая фантазия, когда-либо им написанная. Когда я расшифровал его рукопись, то прикинул, что он оставил нетронутыми менее пятидесяти моих оригинальных слов – одно место, которое он счел не только само по себе сильным и красочным, но и

совместимым со стилем его собственного сочинения. Конечно же, он был прав, отказавшись от всего, кроме основной схемы. Я мог лишь дивиться, что он создал столь многое из моего неадекватного и топорного начала. В сущности, все, что я сделал, – это подтолкнул его этим стартом к созданию чего-то…

В этом рассказе ГФЛ увековечил наше двадцативосьмичасовое знакомство. Кадильницы из кованого железа, которые он упоминает в начале повести, были в моей комнате на Ройял-стрит, 305, так же как и камин в стиле Адама[539] и старинные бухарские и персидские ковры на стенах.

Мы немало повеселились при сотрудничестве. По грандиозной прихоти мы решили, что сделаем еще множество совместных работ, дабы извлечь выгоду из того, что он назвал моей быстротой сочинения. Вместо указания двойного авторства мы создали бы новую звезду литературы – Этьена Мармадюка де Мариньи, чья производительность по самым осторожным оценкам достигала бы миллиона слов в месяц. Мы придумывали мавританские дворцы, автомобили, выполненные на заказ, и все виды роскоши, которыми Этьен Мармадюк де Мариньи обзавелся бы со своих непомерных доходов, – например, автоматическая мороженица, предлагающая две тысячи сортов, и винный погреб такого же многообразия. ГФЛ был широких взглядов – в большей степени, нежели о нем говорилось раньше. Я охотно согласился исключить устричные рестораны и вообще все, имеющее отношение к дарам моря. Из уважения к чувствительности ГФЛ я совершенно не уделил внимания женщинам»[540].

Из Нового Орлеана Лавкрафт отправился домой. Когда он был в Нью-Йорке, пришла телеграмма от Энни Гэмвелл, в которой сообщалось, что Лилиан Кларк, уже долгое время бывшая почти инвалидом из-за неврита и артрита, очень плоха и, судя по всему, не выживет.

Лавкрафт успел на поезд в Провиденс и застал тетю в коме. Через два дня, 3 июля 1932 года, в возрасте семидесяти шести лет она тихо умерла.

В течение двух месяцев Лавкрафт оставался дома, за исключением нескольких непродолжительных экскурсий. Пароходные компании, осуществлявшие плавания в Нью-порт, вели тарифную войну и снизили стоимость проезда до пятидесяти центов. Лавкрафт воспользовался этим, чтобы трижды сплавать в Ньюпорт. Там он нашел местечко на утесе, где мог сидеть и писать в живописном уединении. Также он съездил в Ньюберипорт, чтобы понаблюдать полное солнечное затмение.

Лавкрафт записался на железнодорожную экскурсию за

десять долларов из Бостона в Монреаль и Квебек. Он уговаривал Кука присоединиться к нему. Тот отказался, предвидя суровые испытания: «Сон, если таковой будет вообще, на сиденье. Заполненный до отказа поезд. Шумные, вопящие дети, визжащие женщины и пьяные мужчины.

Время от времени засохший бутерброд или чашка затхлого кофе…» Про себя Лавкрафт думал, что это и к лучшему, что Кук отказался. Ибо, несмотря на все свои сетования о нехватке энергии, во время осмотра достопримечательностей он носился со скоростью, утомлявшей его спутников. Кук вспоминал: «Рано утром следующего вторника [6 сентября], перед тем как мне надо было идти на работу, из Квебека приехал Лавкрафт. Никогда прежде и впредь я его таким не видел. Складки кожи, свисающие со скелета. Запавшие глаза, словно прожженные дыры на одеяле. А эти изящные, чувствительные руки и пальцы художника превратились в клешни. Парень был мертв, за исключением нервов, за счет которых он и функционировал. В тот вечер у него был запланирован обед в Сомервилле с женщиной, для которой он делал какую-то переработку, а на день он наметил другие дела. Я был просто напуган»[541].

Кук вышел из себя и отругал друга за глупость. Он повел Лавкрафта в ресторан, чтобы тот нормально позавтракал, а затем в меблированные комнаты, где жил сам, и угрозами заставил его отсыпаться весь день. Он отпустил Лавкрафта только после того, как накормил его второй раз.

Клиенткой из Сомервилля, штат Массачусетс, была Хейзел Дрейк Хилд (1896–1961), разведенная женщина полной комплекции с темно-рыжими волосами. В 1932 году жена Клиффорда Эдди Мюриель организовала Клуб писателей Новой Англии и так познакомилась с миссис Хилд. Хейзел написала рассказ, «Каменный человек», с вполне приемлемым сюжетом, но в дилетантском исполнении. Миссис Эдди свела ее с Лавкрафтом, который приехал в Сомервилль, чтобы переработать этот и другие рассказы.

Лавкрафт полностью переписал «Каменного человека», введя в него элементы Мифа Ктулху. Действие рассказа происходит в Адирондакских горах: живущий в лесной глуши оккультист узнает из «Книги Эйбона» формулу, позволяющую обращать людей в камень. Он применяет ее к человеку, которого подозревает в любовной связи со своей женой, а та из мести… «Каменный человек» появился под именем Хейзел Хилд в «Уандер Сториз» за октябрь 1932 года.

Лавкрафт переработал для миссис Хилд и несколько других рассказов. Один из них – «Ужас в музее», о музее восковых фигур.

В нем выставляются огромное паукообразное чудовище с щупальцами, называемое Ран-Тегот, и останки человека, принесенного ему в жертву. В итоге оказывается, что чудовище не сделано из воска.

Другой рассказ, «Крылатая смерть», повествует об ученом, умертвившем своего коллегу-конкурента при помощи укуса мухи це-це, зараженной сонной болезнью. Дух жертвы вселяется в другую муху, тоже зараженную. «Вне вечности» – рассказ о загадочной мумии с острова в Тихом океане. В нем излагается легенда о народе исчезнувшего континента Му и его боге Гатанотоа с Юггота, один лишь вид которого в буквальном смысле слова обращает в камень. «Ужас на кладбище» рассказывает о появлениях привидений в деревушке Новой Англии, населенной вырожденцами, пьяницами и слабоумными. Все четыре рассказа были опубликованы за подписью Хейзел Хилд в «Виэрд Тэйлз».

Обед Хейзел и Лавкрафта прошел в романтической обстановке при свечах. Она сообщила по секрету Мюриель Эдди, что, будучи одинокой, хотела бы получше познакомиться с Лавкрафтом и просила ее помочь в налаживании отношений.

Лавкрафту, однако, этого вполне хватило, и он не собирался продолжать. Его визиты в Сомервилль прекратились. Хотя он и продолжал работать с Хейзел, он всегда оказывался слишком занят, чтобы заехать в Сомервилль или даже зайти к Эдди, когда Мюриель Эдди приглашала обоих.

На выборах 1932 года Лавкрафт окончательно перестал поддерживать республиканскую партию, назвав ее «безнадежно устаревшей». Из ведущих кандидатов он отдавал предпочтение программе социалиста Нормана Томаса, но, полагая, что голосовать за него будет бессмысленно, выступил за Франклина Д. Рузвельта.

Лавкрафт был впечатлен «Технократией», расцветшей в 1932 году, – он называл ее «необычайно важной»[542]. Это движение инициировал один инженер по имени Говард Скотт. Он предлагал разрешить кризис демократического капитализма путем передачи управления в руки некоего совета инженеров (что Торстейн Веблен предлагал еще за десять лет до этого), основываясь на том сомнительном предположении, что инженеры якобы более надежны и менее своекорыстны, нежели остальные люди. «Технократия» издала несколько книг и ряд статей, но после избрания Рузвельта ее деятельность постепенно сошла на нет.

Вскоре после выборов Лавкрафт был сражен известием, что Генри Вайтхэд, у которого он гостил предыдущей весной во

Флориде, умер 23 ноября. Смерть Вайтхэда была первой из нескольких утрат среди писателей «Виэрд Тэйлз», которые вкупе с отставкой и смертью Райта привели к упадку журнала.

После путешествия в Канаду Лавкрафт продолжал холить свой антикоммерциализм. Он баловался любительской печатью, «которую я совершенно не могу убедить себя оставить». Хотя план Кука по публикации «Дома, которого все избегали» провалился, Лавкрафт отказался попробовать предложить его Райту снова, потому что «я не хотел бы торговывать свою продукцию редакторам, которые относятся к ним так же прохладно, как Сатрап Фарнабазий»[543].

Гарольд С. Фарниз, декан Института музыкальных искусств Лос-Анджелеса, написал Лавкрафту, предлагая совместный проект: одноактная оперетта на основе Мифа Ктулху под названием «Болотистая река», действие которой происходит на планете Юггот. В качестве начала Фарниз уже положил на музыку два сонета из лавкрафтовского цикла «Грибки с Юггота» – «Мираж» и «Маяк Старшего». Лавкрафт ответил со смешанным восторгом и сомнением: «Я просто ошеломлен силой подразумеваемого комплимента! Если бы я был способен воздать должное подобному предприятию, то взялся бы за все, что угодно, – ибо, несмотря на полное незнание музыки, я очень восприимчив к ее чудесной силе и весьма ценю ее способность усиливать воздействие родственных ей форм выражения. Однако против этого вырисовывается тот факт, что у меня нет какого-либо опыта в драматургических сочинениях – а как явному новичку сотворить что-либо искусное для соотнесения с партитурой настоящего композитора?.. Я очень хотел бы сотрудничать, если бы считал себя способным на это, – ибо образ болотистых рек, поросших ядовитыми водорослями и медленно текущих через не пропускающие солнечный свет сплетения абсурдных и гигантских деревьев или же плещущихся об испещренные пещерами базальтовые утесы с вырезанными на них нечеловеческими иероглифами, – один из тех, что, без всякого сомнения, остро захватывает мое воображение!»

Фарниз продолжал настаивать. Он даже подобрал персонажей, среди которых были Юрренгарт (тенор), Янни – дева (сопрано), Хлорандер (тенор), Никелевый Человек (баритон или бас), Арил (меццо-сопрано), священник Серак (баритон), Террет – перевозчик (бас) и «жители деревни на болоте».

В то время как он обдумывал проект, Лавкрафт увиливал от перспективы сочинения множества диалогов, которые считал вредными для своего эффекта сверхъестественности. В конечном

счете он отступил в приступе скромности. Это был «слишком большой заказ для того, кто совершенно не имеет опыта». «Я не верю, что хоть как-то способен на написание этого». «Я лишь выставил бы себя ослом, если бы взялся за нечто столь амбициозное и ответственное». «Лучше и не соблазняться чересчур амбициозным, и мне кажется, что разумнее всего будет позволить Фарнизу подыскать для сотрудничества кого-нибудь другого»[544].

Можно поразмышлять, что потерял бы Лавкрафт, приняв предложение Фарниза, и как он надеялся приобрести опыт, даже не берясь за что-либо, и почему он был так уверен, что не способен написать либретто. Но, наряду со всеми его другими запретами и комплексами, страх «выставить себя ослом» был, возможно, решающим фактором. Ему и так много чего не удалось. Эти неудачи били по его чувствительному эго, пока, несмотря на его позу холодной отчужденности, он был уже не в состоянии выносить подобные удары. Впредь он вел себя осторожно, делая только то, в чем был уверен в своих способностях.

А это подразумевало наемную работу вроде написания брошюры о путешествиях по Европе, чем Лавкрафт занимался в декабре. Он вознамерился браться за сочинительство художественных произведений лишь в качестве случайного и единичного развлечения. Он считал, что его стиль был «до некоторой степени вдохновлен дешевыми кричащими методами и настроениями коммерческого сочинительства», а также «полон неловкостей и грубостей» и «затасканных риторических приемов»[545].

Однако он вовсе не собирался позволять, чтобы в его рукописи вносили изменения какие-нибудь «толстокожие поставщики провизии для толпы, которые ничего не знают и не заботятся о подлинном качестве…». «У меня совершенно нет ничего общего с коммерческим писательством». «Весь этот утомительный бизнес по угождению детским прихотям невежественной черни вызывает у меня неописуемое отвращение и приводит в ярость…» Когда Прайс уколол Лавкрафта, что тот отказывается перерабатывать свои рассказы просто из лени, он ответил: «Возможно, вы и правы в том, что некоторое нежелание изменять работы вызвано леностью, – но, как это ни странно, я испытываю некоторое уважение к подобной разновидности лености. Прежде всего, я не осуждаю совсем уж решительно любой вид лени. Всякая работа по сути тщетна, и ленивый человек в конечном итоге часто оказывается умнейшим… Несомненно, я презираю какое бы то ни было выполнение

тяжелой работы у когда целью не является истинное мастерство… Что я действительно желаю – так это любой вид нелитературной работы с оплатой пятнадцать долларов в неделю или больше – плюс достаточно нетревожимого досуга, чтобы писать с мастерством как с единственной целью и без единой мысли о публике или профессиональном рынке».

Он говорил, что работал бы «кем угодно – лифтером, киркомотыжником, ночным сторожем, портовым грузчиком, черт с ним – только не писателем»[546]. Но я не нашел никаких свидетельств тому, что Лавкрафт искал какую-либо штатную работу после 1930 года, и равным образом мне не известно, от кого он ожидал признания «истинного мастерства» своих непроданных сочинений.

Лавкрафт много разглагольствовал о «подлинном качестве» и «истинном мастерстве» в художественной литературе, наивно полагая, что такие вещи существуют. В действительности же подобные понятия – всего лишь туманные абстракции, не более реальные, чем эльфы. Каждый имеет право определять их, как ему заблагорассудится, но, как указал психолог Тулесс, «дать определение единорогу так же легко, как и носорогу»[547]. Выдающийся, каковым он был, Лавкрафт, в сущности, провел значительную часть своей жизни, по-ученому споря об анатомии единорогов и культуре эльфов.

Лавкрафт объяснял, почему он не может писать реалистичную прозу: «…Просто мне нечего сказать в любой области вне нереального. Я не обладаю тонкой чувствительностью драмы действительной жизни. Теоретически я понимаю ее важность и могу восхищаться художественным мастерством, которое ее фиксирует и использует, но это не увлекает меня в той мере, чтобы заставить захотеть самому переложить ее на бумагу».

Равным образом неотразимым доводом было: «Я опасаюсь, что никто не может быть подлинно великим реалистом без того, чтобы не вынюхивать и сплетничать в отвратительных количествах. Подобное мне инстинктивно противно и омерзительно…»

Хотя «нельзя сказать, что все реалисты – хамы», тем не менее: «Лонг и я часто пытались разрешить вопрос относительно того, можно ли быть одновременно удачливым реалистом и джентльменом, и наши заключения в основном тяготели к отрицательному ответу». Лавкрафт верил в то, что нужно «в первую очередь быть джентльменом, и только потом каким-то определенным художником – если вообще им быть»[548].

Глава семнадцатая. Противоречивый мыслитель

День ясный краше на своем исходе,
Когда поля сиянье золотит;
Прохладу предвещает тень природе
И морю, что в безмолвии лежит[549].

Г. Ф. Лавкрафт «Закат»

На следующий день после Рождества 1932 года Лавкрафт по приглашению Лонгов отправился в Нью-Йорк, где пробыл неделю. У Лавмэна теперь была достаточно большая квартира, чтобы выставить коллекцию диковинок, антиквариата и предметов искусства. Он подарил Лавкрафту две вещицы: каменную статуэтку мексиканских индейцев и африканский кремневый нож с рукояткой из слоновой кости.

Вернувшись домой, Лавкрафт принялся за работу по «призрачному авторству», терзаемый растущим страхом перед нищетой. Теперь, когда не стало Лилиан Кларк, ему приходилось платить аренду за свою часть дома на Барнс-стрит, 10 полностью, что составляло сорок долларов в месяц. Эта статья расходов съедала жалкие остатки его капитала с угрожающей быстротой.

Меж этих финансовых проблем Лавкрафт обратил внимание на просроченную работу. Как правило, он с неохотой брался за совместные проекты, так как «любой стесняющий фактор сковывает мое воображение». Возможно, он не воспринимал всерьез подшучивание с Прайсом в Новом Орлеане над продолжением «Серебряного Ключа».

Однако Прайс воспринимал. В конце сентября 1932 года Лавкрафт получил от него черновой набросок в шесть тысяч слов намеченного продолжения. Он ответил Прайсу письмом, искрящимся похвалами, но Дерлету признался: «Я в самом деле не смог избежать этого сотрудничества, поскольку Прайс прислал свой начальный вклад еще до того, как я смог вежливо отделаться, и казался столь страждущим продолжать, что отказ был бы просто свинством».

Лавкрафт нашел время вернуться к продолжению,

озаглавленному «Чрез врата Серебряного Ключа», только через шесть месяцев, но затем на него обрушился поток работ по «призрачному авторству», среди которых была переработка романа объемом в восемьдесят тысяч слов, а также клиент из Хартфорда, которому нужна была помощь в исследованиях по старине в местном Атенеуме.

Наконец 6 апреля 1933 года Лавкрафт отослал рукопись Прайсу. Он сообщил Дерлету, что работа оказалась для него вдвое тяжелее оригинального сочинительства, и со свойственным ему пессимизмом добавил: «Я все-таки не думаю, что рассказ продастся»[550].

Прайс внес ряд изменений в законченную рукопись и отослал ее в «Виэрд Тэйлз». Семнадцатого августа Райт вернул ее с тем, что Лавкрафт назвал «слезливым» отказом. Райт заявил, что рассказ ему понравился, но он опасается его покупать, так как «с тем никудышным бизнесом, что идет сейчас, мы, по моему мнению, не можем рисковать, что столь многие читатели не станут покупать журнал только потому, что в нем напечатан рассказ, совершенно чуждый даже их самым фантастическим снам…»[551].

Как это случалось и раньше, Райт передумал. В ноябре Прайс навестил его в Чикаго, и после некоторого разговора Райт купил рассказ за сто сорок долларов. Полагая, что Лавкрафт выполнил по крайней мере три четверти работы, Прайс настоял, чтобы Лавкрафту выплатили три четверти гонорара, или сто пять долларов.

«Чрез врата Серебряного Ключа», я считаю, намного превосходит рассказ, продолжением которого он является. Он начинается: «В просторной комнате, увешанной гобеленами со странными узорами и устланной бухарскими коврами, впечатляющими как возрастом, так и мастерством изготовления, за заваленным бумагами столом сидели четыре человека. Из дальних углов, где время от времени невероятно старый негр в темной ливрее наполнял странные кадильницы из кованого железа, исходил гипнотический аромат ладана, а в глубокой нише в одной из стен тикали необычайные часы в форме гроба, циферблат которых покрывали загадочные иероглифы, а движение четырех стрелок не согласовывалось ни с одной временной системой, известной на нашей планете…»[552]

Четверо – это Этьен-Лоран де Мариньи, «известный креольский исследователь тайн и восточной старины» и душеприказчик исчезнувшего Рэндольфа Картера; Уорд Филлипс, пожилой чудак и мистик из Провиденса, знавший Картера; Эрнст К. Эспинуолл, апоплексического вида адвокат из Чикаго и

двоюродный брат Картера; и бородатый Свами Чандрапутра, одетый в тюрбан. Эспинуолл настаивает, что пришло время делить имущество Картера. Против этого возражают де Мариньи и Филлипс.

Упомянутый свами объясняет, что, вернувшись в детство, Картер воспользовался Серебряным Ключом, чтобы открыть врата в неземные измерения. Он противостоит сверхъестественному стражу врат, упоминаемому в «Некрономиконе» как «УМР АТ-ТАВИЛ, Древнейший, коего писец толкует как ОТСРОЧИВШИЙ ЖИЗНЬ»[553].

В подобном сну гиперпространственном космосе Картер встречает других Древних. Он учится ощущать себя в прошлом, настоящем и будущем, а также чувствовать других бесчисленных существ, из которых Рэндольф Картер является лишь одной «гранью»[554].

Одно из этих существ-чародей Зкауба, живущий в отдаленном прошлом на планете Йаддит, где развитая раса – «складчатая, частично сквамозная и сочлененная странным образом, в основном подобно насекомым, но не без карикатурного сходства со строением человека». Их конечности снабжены клешнями, а своими мордами они напоминают тапиров. («Сквамозный» обозначает «чешуйчатый».) Йаддитяне воюют с «белесыми клейкими дхолами из древних тоннелей, испещривших планету»[555].

Картер овладевает разумом Зкаубы, чтобы изучить способы возращения на Землю в человеческом обличии.

Но теперь он обнаруживает, что заклинания, необходимые для этого, на Йаддите раздобыть невозможно. Они записаны на пергаменте в шкатулке, в которой Картер нашел Серебряный Ключ. Как и Лавкрафт, отправляясь в Нью-Йорк с рукописью для Гудини, Картер забыл взять этот пергамент с собой. Все, что происходит с писателем, – неважно, насколько неприятным это было, – может рано или поздно появиться в его сочинениях.

Все, что Картер может поделать, – это пройти через время и пространство до Земли в теле Зкаубы, найти пергамент и с его помощью вернуть свой настоящий человеческий облик. Он совершает путешествие в «оболочке из световых волн», в то время как «грань» Зкаубы посредством наркотика удерживается в бессознательном состоянии. Но он должен отсрочить грозящее разделение своего имущества, пока не сможет вернуть человеческую внешность.

На протяжении всего этого повествования Эспинуолл усмехается и фыркает. Он обвиняет свами в том, что на нем одета маска. Свами признает это, но объясняет, что он и есть Рэндольф

Картер. Крича, что свами – всего лишь мошенник и жулик, Эспинуолл хватает его за бороду, чтобы сорвать маску…

Несмотря на ворчанье Лавкрафта, Прайс заслуживает похвалы за побуждение Лавкрафта к написанию столь занимательного произведения. И хотя загадочным часам так и не дается объяснения, соавторы создали качественный, держащий в напряжении рассказ.

К марту Лавкрафту стало ясно, что в 1933 году он из-за нужды не сможет совершить весеннее путешествие. «Жаль, что я не знаю, как людям удается обзаводиться деньгами!» – сокрушался он.

В доме Сэмюэля Б. Мамфорда по адресу Колледж-стрит, 66 жила незамужняя леди по имени Элис Рейчел Шеппард. Это был кубический, обшитый досками желтый дом со смотровой надстройкой на крыше, располагавшийся за Библиотекой Джона Хэя в городке Университета Брауна.

Подруга Энни Гэмвелл, мисс Шеппард с 1900 года преподавала в средних школах Провиденса немецкий язык.

Хотя и не имея немецких корней, она была такой ярой германофилкой, что прекратила подписку на «Нью-Йорк Тайме», когда газета осудила Гитлера.

Мисс Шеппард, занимавшая в доме Мамфорда первый этаж, сообщила Энни Гэмвелл, что жильцы с верхнего этажа съезжают, и та решила занять его вместе со своим племянником. Вся арендная плата составляла бы всего сорок долларов в месяц (столько же, сколько Лавкрафт платил на Барнс-стрит, 10), и они делили бы ее меж собой. Они стали бы обладателями пяти просторных комнат, а из Университета Брауна, чьей собственностью являлся дом, подводились горячая и холодная вода и паровое отопление.

Лавкрафт смирился с мучениями переезда, потому что дом был «колониальным». Пусть в нем и не было настоящего веерообразного окна над парадным входом, зато его заменяла почти не уступающая по качеству резьба.

Лавкрафт переезжал с 21–го по 23–е мая, две последующие недели он обустраивал свои владения и помогал с переездом тетушке. Энни Гэмвелл обедала в пансионате Феддена, не далее чем в квартале от нового дома, и иногда Лавкрафт присоединялся к ней.

Обосновавшись, Лавкрафт завел рапсодии о своем новом жилище: «Восхищаясь подобным [колониальными домами] всю свою жизнь, я нахожу нечто волшебное и фантастическое в опыте постоянного проживания в одном из них впервые. Зайти домой

через резной георгианский портал и сесть у белого колониального камина, созерцая через секционное окно море вековых крыш и сплошной зелени… Я все еще боюсь, что зайдет какой-нибудь музейный сторож и выгонит меня отсюда по закрытии в шесть часов вечера!»

«В этом доме действительно обитали люди в париках, бриджах и треуголках!»[556]

Лавкрафт ошибался относительно возраста дома Мамфорда. Он считал, что здание было построено около 1803 года, тогда как в действительности оно было возведено в 1825, когда уже давно исчезли парики, бриджи и треуголки. Но все же дом был выдержан в стиле восемнадцатого века.

На протяжении недели-другой Лавкрафт пребывал в исступлении, и он навсегда полюбил этот дом. Вскоре он подружился со всеми соседскими кошками. Этим кошкам позволяли собираться на соседней крыше пониже, где они спокойно сидели, по-кошачьи игнорируя друг друга, прежде чем разойтись по своим делам. Лавкрафт назвал это племя братством «Каппа Альфа Тау», или КАТ[557]. Буквы обозначали «Kompson Ailouron Taxis», или «Компания Грациозных Кошек». Всю свою оставшуюся жизнь он описывал в письмах проделки КАТ.

Четырнадцатого июня мисс Шеппард позвонила в дверь Энни Гэмвелл, чтобы пригласить ее на прием у ректора Университета Брауна после церемонии вручения дипломов. Спеша открыть, Энни Гэмвелл упала с лестницы и повредила лодыжку.

Миссис Гэмвелл провела три недели в больнице и вернулась домой с ногой в гипсе. Два месяца она пользовалась услугами сиделки и после снятия гипса в августе ходила на костылях. Днем, когда сиделка брала перерыв, Лавкрафту приходилось оставаться дома, чтобы принимать посетителей. Он вынужден был отказаться от запланированной поездки на собрание НАЛП в июле.

Лавкрафт был склонен падать духом при любой обременительной рутине. Он жаловался: «…Мои нервы расшатаны к черту из-за моего „заключения“… Целый год… вычеркнут из моей жизни». Лишь к концу 1933 года миссис Гэмвелл смогла выходить без трости.

Пока Энни Гэмвелл была больна, Уилфред Талман соблазнил Лавкрафта на еще одну неоплачиваемую работу. Он занял пост редактора ежеквартального журнала Голландского общества Нью-Йорка «De Halve Maen»[558]. Название означает «Полумесяц» – по имени корабля, на котором Генри Гудзон открыл реку, носящую его имя. Статья в тысячу четыреста слов, озаглавленная

«Некоторые голландские следы в Новой Англии», повествует о попытках голландцев утвердиться на этой территории в ранние колониальные времена.

Талман написал несколько рассказов для «Виэрд Тэйлз». Один из них («Две черные бутылки», опубликован в номере за август 1927 года) Лавкрафт перерабатывал и внес изменения в диалог, что не понравилось Талману. Он отомстил при работе над «Некоторыми голландскими следами», когда, по его словам, «придирался в переписке к орфографии, пунктуации и историческим фактам, пока рукописный текст, устроивший нас обоих, не достиг размеров книги»[559].

В 1933 году политические взгляды Лавкрафта изменились. Какое-то время он открыто сочувствовал фашизму. Хотя он и не уверовал полностью и слепо в фашистские доктрины, его можно было бы назвать попутчиком фашистов. Подобным образом многие американские интеллектуалы того времени, включая и некоторых молодых друзей Лавкрафта вроде Роберта Барлоу, стали попутчиками коммунистов.

В отличие от своей сестры Лилиан, Энни Гэмвелл была человеком живых социальных инстинктов. Непосредственное общение на протяжении нескольких месяцев с друзьями тетушки из консервативного предпринимательского класса лишило Лавкрафта всяких иллюзий относительно этих «лучших людей». Он нашел их глупыми, нудными, чуждыми эстетизма и интеллектуальности, полными «невежества, распущенных мыслей, бездумных привычек, трусливых уверток» и других недостатков.

Ксенофобия Лавкрафта, угасшая было, разразилась вновь. В его письмах за 1933 год содержится множество примеров разглагольствований против национальных меньшинств. Он неистовствовал по поводу «чуждого и эмоционально отталкивающего культурного потока» и «безжалостной предприимчивости» евреев, их мнимого контроля над американскими газетами посредством рекламы, из-за которой «вкус коварно формируется по неарийскому образу». Его раздражали иммигранты: «копошащиеся крестьяне», «вонючие полукровки», «ублюдки из гетто» и «отбросы и отребье своих стран… слабовольные людишки, не способные удержаться на плаву среди собственного народа»[560].

Он пытался проводить различия между расой и культурой: «Семитская кровь нисколько не могла нам повредить…» «Беда еврея не его кровь… но его… враждебная культурная традиция». Впрочем, он все еще говорил об «арийских расовых инстинктах»,

утверждая, что нордическая раса «мыслит, чувствует и действует в характерной нордической манере до тех пор, пока остается превалирующей старая кровь»[561].

В действительности Лавкрафт так и не отделался от своих псевдонаучных расовых убеждений. Он утверждал не только то, что арийские завоеватели принадлежали к нордической расе (неправдоподобно), но также и то, что они доказали свое превосходство, навязав свой язык побежденным. Никто из арийцев, говорил он, никогда не утрачивал родную арийскую речь (неверно)[562].

Он все еще изображал неловкость в присутствии людей, отличных от него самого. Когда он писал о «латинской полукровизации» Провиденса, то заметил: «Нужно приехать на Юг в Ричмонд, чтобы найти город, в котором и вправду чувствуешь себя как дома – где встречный обыкновенный человек выглядит так же, как и ты, имеет такой же тип чувств и воспоминаний и реагирует почти так же на идентичное воздействие».

Его донимали не только «запаршивевшие шайки извращенных чужаков» в Нью-Йорке, но и обитавшие там мнимые литераторы и интеллигенция, чей «тип также вызывает у меня крайне неприятную смесь дискомфорта и скуки… Я ощущаю себя исследователем среди странного африканского или полинезийского племени… и чувствую себя до некоторой степени неловко, если не присутствует еще несколько „белых людей“ – обыкновенных людей из настоящей Америки»[563].

Переедь Лавкрафт когда-нибудь жить на Юг, он нашел бы большинство южан не более близкими по духу и приятными, нежели Нью-йоркцев, бизнесменов, интеллектуалов и представителей национальных меньшинств. Например, их оскорбили бы его религиозные взгляды. В подобном психическом состоянии для Лавкрафта почти каждый представлял собой неприятное общество.

Отвергнув ранее большинство своих соотечественников как «буржуа», «стадо» или «чернь», Лавкрафт считал отвратительными людей столь многих классов, что едва ли кто и оставался, кого можно было бы отнести к «обыкновенным людям из настоящей Америки». Однако при личном общении с людьми, как бы ни презирал он их абстрактно, его утонченные манеры так хорошо скрывали любую неприязнь, что его друзья с трудом воспринимали его мизантропические вспышки серьезно.

Я полагаю, что главной причиной лавкрафтовской мизантропии было не то, что остальные делали или говорили, а тот факт, что они преуспевали в жизни, в то время как он – нет.

Несмотря на свой мощный интеллект, превосходное культурное окружение, унаследованный социальный статус «старого американца» и монашескую бережливость, Лавкрафту не удавалось полностью обеспечивать себя. Контраст изводил его, и порой он готов был выместить свое недовольство на ком угодно.

Один из друзей Лавкрафта сказал: «Расовая мономания Говарда была настолько близка к безумию, насколько я только могу себе представить». Определенно, разглагольствования Лавкрафта на эту тему наводят на мысль о заключении психиатра Гарольда Сирлза, на которого я уже ссылался ранее. Доктор Сирлз утверждает, что для страдающих психозом абстракции более реальны, нежели конкретная реальность, и они реагируют на них с большим чувством, чем на реальность[564]. Это не означает, что у Лавкрафта был психоз, но та степень, до которой он мог выйти из себя из-за абстракций вроде «расовый инстинкт» и «культурные потоки», предполагает психологическое нарушение не меньшего уровня.

30 января 1933 года Адольф Гитлер был приведен к присяге в качестве канцлера Германии президентом фон Гинденбургом (которым Лавкрафт восторгался). За последующие несколько месяцев он превратил свое положение в тотальную диктатуру.

Во время школьных летних каникул того же года Элис Шеппард, соседка Лавкрафта снизу, съездила в Германию и вернулась полная восторгов. Она нашла, что «боевой дух и общее состояние Германии безгранично выше, нежели они были в прошлом году. Сообщения о „варварствах“ невероятно преувеличены».

В течение следующего года письма Лавкрафта изобиловали оправданиями диктаторов в целом и Гитлера в частности. Фашистские диктаторы, говорил он, – единственные, кто может остановить «упадочничество», в которое, по его мнению, погрузилась цивилизация, и «разрушение западных культурных стандартов». Они очищают свои страны от «чуждых пороков». Лавкрафт считал, что Гитлер, Муссолини, Кемаль и Сталин всеми силами стремятся исцелить «гнилостность» современной культуры.

Гитлер, пускай и «впадающий в крайности, нелепый и порой дикий», все же «глубоко искренен и патриотичен». Хотя он действительно представляет собой опасность, «это не может затмить нам подлинную правоту главного стремления этого человека… Я понимаю, что он шут, но видит Бог, мне нравится этот парень!». «Гитлер малообразован, неуравновешен и невротичен, но он – одна из тех грубых сил, что порой вершат

историю…»

Лавкрафт осуждал сожжение книг и подавление свободы мысли и слова: «Я далек от нацизма, и, возможно, меня бы выгнали из Германии за мои взгляды на вселенную, научные факты и право свободного эстетического выражения – но в то же время я отказываюсь присоединиться к слепому предубеждению толпы против честного шута, чьи основные цели в высшей степени правильны, несмотря на случающиеся время от времени пагубные перегибы и нелепости в его нынешней политике»[565].

Лавкрафт продолжал многоречиво разглагольствовать об «исторических и социологических силах», «бремени Версаля» и угрозе коммунизма, по сравнению с которой Гитлер был меньшим злом. Подобные настроения были тогда распространены среди американцев, придерживавшихся консервативных, изоляционистских, германофильских и расистских взглядов, – таких как Г. Л. Менкен, полковник Роберт Маккормик, Джон Фостер Даллес и Чарлз Линдберг.

В то же время Лавкрафт стал восторженным сторонником Франклина Д. Рузвельта и его «Нового курса». В конце концов, говорил он, Рузвельт – джентльмен. Если его программа и разработана для помощи невежественным массам, то это не более чем noblesse oblige[566] подлинного аристократа по отношению к стоящим ниже.

Как же мог человек, поддерживавший Рузвельта, называвший себя либеральным демократом, восхвалявший Нормана Томаса и говоривший о неизбежности социализма, одновременно оправдывать Гитлера и писать: «Я – откровенный фашист» и «Я убежден, что единственным видом цивилизованного правления, возможного при индустриальной экономике машинного века, может быть лишь некоторая форма фашизма»?[567]

Ответ заключается в том, что Лавкрафт называл себя кем угодно, не особо заботясь о соответствии. Например: «Мне придется называть себя чем-то вроде гибрида фашиста и небольшевистского социалиста прежних времен» и: «С 1931 года я являюсь тем, кого, вероятно, можно было бы назвать социалистом – или, как у русских, меньшевиком, как отличного от большевика».

Более того, его представления как о программе Рузвельта, так и о фашизме были весьма абстрактными, нереалистичными и незапятнанными личным общением с политиками. Его друг Э. А. Эдкинс писал: «Ни один монах в своей келье не был более отрешен от волнений и занятий повседневной жизни, нежели этот костлявый остроклювый мечтатель, сидевший в своем гнезде на „Древнем холме“[568]. Но сфера его интеллектуальной

любознательности была такова, что он проявлял академический интерес даже к правлению и необычайно романтическому представлению о „Новом курсе“, витиевато осложненному утопическими идеологиями, что удивили бы даже мистера Рузвельта, который, по мнению Лавкрафта, собирался извлечь из своей президентской шляпы подлинное тысячелетнее царство Христа. Приукрашивания, внесенные Лавкрафтом, заключались в достаточных ассигнованиях для бедствующих джентльменов и ученых, баронской щедрости к крестьянству, обильных пожертвованиях для тех, кто желает практиковаться в искусствах и науках, строгом образовательном критерии для избирателей и постепенном замещении существующей денежной аристократии интеллектуальной»[569].

Лавкрафтовский идеальный «социальный фашизм» не походил ни на одну из форм правления, когда-либо существовавших на Земле, – определенно, не на европейские диктатуры, называвшиеся тогда «фашистскими». Он пропагандировал «дела, управляющиеся уполномоченными, которых назначил диктатор, избранный интеллектуальным и отобранным по образовательному критерию электоратом… Избирательные бюллетени должны выдаваться лишь тем, кто прошел как беспристрастную проверку умственных способностей, так и тест на экономические, социальные, политические и общие культурные знания; понятно, что возможности для образования всегда должны быть равными».

Когда Лавкрафт описал эту утопию Роберту Э. Говарду, тот благоразумно указал, что подобный элитарный с точки зрения интеллекта правящий класс, не будучи контролируемым, окажется таким же тиранническим, как и любая другая элита. Что же до вопроса, который приходит на ум современному читателю, – как удержать диктатора, выбранного избирателями с каким бы то ни было коэффициентом умственного развития, от подтасовки результатов выборов или изменения конституции, чтобы оставаться у власти постоянно, – то Лавкрафт, кажется, над ним никогда и не задумывался.

С конца 1933 года лавкрафтовская критика Гитлера и фашизма стала более суровой. Нацисты, говорил он, в своем принуждении искусства служить своим политическим и экономическим целям почти также плохи, как и коммунисты. Гитлер, возможно, все еще оставался меньшим злом по сравнению с коммунизмом, но его «попытки управлять германской культурой, кажется, становятся менее, а не более разумными».

Последние три года своей жизни Лавкрафт объявлял себя

«выступающим против нацистского племенного идеала». Он говорил о «трагедии тех новых философов, столь популярных в тоталитарных диктатурах, что превозносят безумие и требуют, чтобы образованность использовалась лишь в предвзятых пропагандистских целях». Он осуждал «безумные научные заблуждения… наблюдающиеся в нацистской Германии и Советском Союзе»[570]. Нацисты, заключил он, так же плохи, как и коммунисты. Как и большинство либеральных американцев, в гражданской войне 1936–1939 годов в Испании он симпатизировал республиканцам, но был смущен и встревожен сталинскими чистками за тот же период.

К 1935 году Лавкрафт избавился от увлечения фашистскими учениями. Он все еще поддерживал Рузвельта, но признавался, что озадачен проблемой, «как добиться пристойной разновидности социализма». Он отдавал предпочтение скандинавскому эволюционному развитию социализма, но сомневался, сработает ли это в Соединенных Штатах без coup d'etat[571]. Переворот мог бы привести «к какой-либо тиранической и деспотической группе вроде описанной в „У нас это невозможно“ Льюиса…[572] Современная политика – для старика это чересчур».

Помимо выходок Гитлера и его нацистов, на Лавкрафта повлияла книга Синклера Льюиса «У нас это невозможно» (1935): он упоминал этот роман, который прочел по частям в «Провиденс Бюлитин», в нескольких письмах. Другим воздействием послужила великолепная популяризация биологических наук – «Наука жизни» (1929–1934) Г. Дж. Уэллса, Джулиана Хаксли и Джорджа Ф. Уэллса[573]. Эту книгу в сентябре 1935 года Лавкрафту дал почитать Дж. Верной Ши. Лавкрафт назвал ее «бесспорно величайшим цельным описанием биологических знаний, которое я когда-либо встречал… Самая важная книга, которую я прочел в старости…»[574] Он держал ее у себя более года, читая и перечитывая заново.

Значимость «Науки жизни» здесь заключается в том, что ее авторы лаконично развенчали арийский миф: «Во-первых, такой вещи, как „арийская раса“, не существует. Существуют лишь группы народов различных рас, разговаривающие на языках арийского типа…

Во-вторых, не существует и такой вещи, как чистая „еврейская раса“. Термин „еврейский“ подразумевает общность с определенной религиозной и псевдонациональной традицией, в которой заключается и некоторая общность происхождения. Но сами евреи имеют явно смешанное происхождение…

В-третьих, нордическая раса, которой придано столь много

политического значения, едва ли существует где-либо в состоянии, даже приближающемся к чистому. В Германии, например, нордические гены в значительной степени смешаны с альпийскими и, в меньшей степени, с генами средиземноморского происхождения; кроме того, произошло некоторое проникновение монгольских признаков с Востока…

В-четвертых, представителям нордической расы не принадлежат, как это часто утверждается, все великие достижения в человеческой истории. Величайшее из всех достижений, от варварства до цивилизации… было совершено на Ближнем или Среднем Востоке, вероятно, темноволосым народом средиземноморского типа – но определенно не высокорослой, светловолосой и голубоглазой нордической расой…»

Разочарование Лавкрафта в Гитлере и арийском культе усилило еще одно событие. В конце 1935–1936 учебного года Элис Шеппард вышла на пенсию, подарила Лавкрафту несколько своих книг и в августе уехала в Германию. Она планировала прожить там три года, а затем навсегда обосноваться Ньюпорте. В сентябре в квартиру на первом этаже на Колледж-стрит, 66 въехали новые жильцы. Хотя их низкий социальный статус «разбил сердце» Энни Гэмвелл, Лавкрафт сказал, что он «в старости стал демократичным», и поэтому не обеспокоился ими[575].

Германская идиллия мисс Шеппард долго не продлилась. Когда она приехала, нацистские преследования евреев были в самом разгаре. Совершенно разочаровавшись, мисс Шеппард вскоре вернулась в Провиденс, где ее отчеты из первых рук о жестокостях нацистов привели в ужас мягкосердечного Лавкрафта.

Одной из самых разительных перемен в Лавкрафте в его последние годы было избавление от юдофобии. Его одержимость в отношении евреев уже была притуплена дружбой с такими талантливыми евреями, как Сэм Лавмэн, Роберт Блох, Генри Каттнер и Дональд Уоллхейм. К 1936 году Лавкрафт настаивал на ассимиляции как на разрешении так называемого «еврейского вопроса»: «У основного еврейского вопроса есть свои трудные культурные аспекты, но биологически нездоровая позиция нацистов его не разрешает… К тому же равным образом глупо принижать даже общепризнанно смешанное искусство немецких или американских евреев. Быть может, такое искусство не отражает подлинного немецкого или американского восприятия, но, по крайней мере, у него есть право быть независимым как откровенно экзотическому или составному продукту – который в самом деле может отличаться от нашего собственного искусства

по внутреннему качеству. Также равным образом глупо утверждать, что простой элемент крови как отличный от культуры делает искусство неизбежно смешанным… Практически любой путь разрешения [вражды неевреев и евреев] лучше, нежели деспотичный и антинаучный, выбранный нацистами…»

Он также предупреждал о попытках крайне правых консерваторов вновь добиться власти посредством «…искусно организованного фашистского движения, основанного на примитивных эмоциональных призывах… (размахивание флагом, воодушевление номинальных христиан против „еврейской интеллектуальности“, возбуждение урожденных американцев против „католическо-ирландско-еврейской… демократии“…)»

В качестве инструментов этих «реакционеров» для достижения своих целей Лавкрафт называл отца Кофлина, «Серебряные рубашки» Уильяма Дадли Пелли и Ку-клукс-клан. Теперь он выражал озадаченное неодобрение, когда один его молодой друг обнаружил нацистские взгляды вроде тех, что он сам же поддерживал несколькими годами ранее: «Его профашистские идеи не удивительны в свете его прошлых менкеновских взглядов, но этот его новоявленный антисемитизм действительно странен. Раньше у него его не было (наш добрый друг Лавмэн – еврейского происхождения, и <…> восторгался его работами), и я полагаю, что он должен исходить из его нынешней германофилии – которая склонна пренебрегать старым немецким основным направлением, взамен сосредотачиваясь на современном эксцентричном режиме»[576].

Также Лавкрафт разочаровался в «Закате Европы» Шпенглера. Шпенглер, считал он, довел свои органические аналогии – уподобление культуры живому существу с переживаемыми молодостью, зрелостью и старостью – до ненаучной крайности.

За несколько недель до своей смерти Лавкрафт посетил митинг в поддержку «Нового курса» и был восхищен «исключительной проницательностью и умом» главного оратора раввина Стефана Уайза: «Я ясно представляю себе благовоспитанных нацистов с Уолл-стрит, проклинающих его как нечестивого неарийского интеллектуала!»[577] В общем, в последние годы жизни Лавкрафт совершил поразительный поворот во взглядах.

Лето 1933 года принесло поток гостей. Четвертого июля на четыре дня приехал Эдгар Хоффманн Прайс, а в конце его визита появился Пол Кук. Прайс вспоминал: «В следующем году ГФЛ и я встретились в Провиденсе, Колледж-стрит, 66. Миссис Гэмвелл тогда лежала в больнице, так что не было никого, кто уговаривал

бы нас соблюдать разумный распорядок. Помню, на этот раз мы были на ногах на протяжении тридцати четырех часов…

К нам присоединился Гарри Бробст, стажер местной психиатрической лечебницы, и мы отправились на кладбище, как раз за Бенефит-стрит, около четырех часов утра… ГФЛ завел монолог об Эдгаре Аллане По и миссис Хелен Уитмен, за которой тот ухаживал. Вот здесь дом этой леди, а дальше…

Внезапно, словно на материализованное жестом ГФЛ, я смотрел на церковное кладбище и, казалось, почти был на нем. Это могло бы быть сценой одного из его рассказов. При том освещении и, возможно, из-за внезапного появления оно представлялось чем-то таким, что не могло принадлежать нашему миру… С безупречным умением произвести эффект ГФЛ берег это зрелище до последнего и затем, точно рассчитав время, выдвинул его как доказательство того, что в Провиденсе до сих пор есть кое-что, свойственное лишь ему одному.

На следующий день я приготовил ост-индское карри. Пришел Гарри Бробст с шестью бутылками пива. Это представлялось дерзким поступком, пока я не узнал о тонких различиях, проводимых ГФЛ. Теперь пиво было законно. Мы не нарушали законов страны, заявил он с целью оправдать перемену в поведении. Мы выпили с его благословения, хотя он и отказался пропустить с нами стаканчик.

– А что, – спросил он из научного любопытства, – вы собираетесь делать с таким большим его количеством?

– Выпить, – ответил Бробст. – Здесь всего по три бутылки на каждого.

Никогда не забуду полный недоверия взгляд ГФЛ… И он наблюдал за нами с нескрываемым любопытством, не лишенным опасений, пока мы пили эти три бутылки на каждого…

Он был в восторге от ост-индского карри с мясом молодого барашка и рисом. Мы обсуждали это блюдо в переписке на протяжении нескольких месяцев. „Так, есть разновидность для женщин, детей и большей части американской публики – бледная, слабая, совершенно безобидная приправа. И есть вредоносное, взрывное и обжигающее карри по настоящему индийскому рецепту. Одна его капля, по поверьям, выводит вздутия на ботинках из кордовской кожи…“[578] И Лавкрафт жаждал именно этой разновидности. Он смотрел, как я готовлю блюдо, и время от времени пробовал, пока оно медленно варилось на плите.

– Побольше химикатов и кислот? – спрашивал я его.

– Ммм… Аппетитно, и жгучести в самый раз, но могло бы быть и посильнее.

Когда же он согласился, что блюдо почти готово, я признал, что хоть и ел за свою жизнь карри поострее, это было вполне крепким…

В Род-Айленде есть районы, в которых нет ни автобусных, ни междугородных железнодорожных сообщений. Когда я узнал об этом, то настоял, чтобы мы посетили эти районы на моем „форде А“ – „Великом Джаггернауте“[579], как ГФЛ прозвал автомобиль. Он стеснялся позволить мне оказать ему такую услугу и пытался свести идею на нет, но я-то знал, что, раз преодолев свои сомнения относительно того, что он называл перестановкой ролей хозяина и гостя, он страстно предвкушал осмотр уголков Род-Айленда, в которых прежде никогда не бывал.

Он оказался хорошим проводником. Нам пришлось всего лишь раз или два останавливаться, чтобы спросить дорогу. Мы доехали до табачной фабрики, которая когда-то принадлежала родственнику Джилберта Стюарта, чьи портреты Джорджа Вашингтона сегодня часто перепечатываются. Я бы вполне довольствовался внешним осмотром. Входная плата составляла пятьдесят центов, а я был совершенно без денег и не хотел, чтобы он тратил свои. Я знал, что, хотя он и не испытывал резких взлетов и падений, как я, он был крайне бережлив, чтобы позволить себе путешествия вроде поездки в Новый Орлеан. Но он настоял…

В конце концов я выяснил, что он годами мечтал посмотреть на дом Хэзарда[580], и мы отправились туда. Говорили, что у этого дома редкий и необычный тип крыши. Его вид восхитил ГФЛ. Затем им овладела отвага. Раз уж мы оказались здесь, то должны осмотреть и интерьер, предложил он.

Мысль о вторжении в частное жилище мне не понравилась, но мне не хотелось возражать. ГФЛ взял на себя руководство. Только когда мистер Хэзард подошел к двери, я осознал, какую стойкость потребовалось проявить Лавкрафту. На ужасное мгновение он стал мучеником своей любви к архитектуре и старине. Он заметно дрожал, с трудом подбирал и мямлил слова. Под этим болезненным, бесстрастным лицом таилась чрезвычайно чувствительная личность, смятенная полнейшим пониманием собственной наглости в просьбе – да еще почти во время полуденного ленча – разрешить осмотреть дом.

Хэзарды, однако, проявили великодушие, успокоив его. Думаю, они были вознаграждены, увидев, что он смог оценить, например, определенную колонну винтовой лестницы и стойку перил»[581].

Гарри К. Бробст был одним из немногих близких друзей Лавкрафта в Провиденсе начиная с 1932 года. Когда Лавкрафт

познакомился с ним, он проходил практику в психиатрическом отделении Больницы Батлера в качестве медицинского брата. В 1939 году он закончил Университет Брауна по специальности «Психотерапия» и со временем стал профессором психологии в Университете штата Оклахома.

Примерно в 1930 году Лавкрафт поссорился с Клиффордом Эдди из-за работы по «призрачному авторству» и после этого уже меньше встречался с семьей Эдди. В последние годы своей жизни он, однако, обзавелся еще одним другом в Провиденсе. Это был маленький, но выдающийся юноша по имени Кеннет Дж. Огерлинг, который в 1936 году до поступления в Гарвардский университет какое-то время жил в Провиденсе. Он стал врачом в Нью-Йорке.

После Прайса и Кука проездом заглянул Мортон, а затем друг Кларка Эштона Смита, весьма привлекательная девушка по имени Хелен В. Салли, обучавшаяся музыке. Хелен Салли познакомилась с «бандой» в Нью-Йорке, и Лонги отвезли ее в Провиденс. Лавкрафт писал Смиту о «разрушительном опустошении», которое она произвела меж ними. Позже он написал ей, извиняясь за нежелательные любовные предложения, которые ей делали некоторые из них. Он снял для нее номер в близлежащем пансионате и устраивал ей обзорные экскурсии. Он настаивал, чтобы все оплачивал он, даже счет за пансионат. После путешествия в Ньюпорт: «В тот вечер, после обеда, он повел меня на кладбище, связанное с По… Было темно, и он начал рассказывать замогильным голосом странные, сверхъестественные истории, и вопреки тому, что я очень прозаическая личность, что-то в его поведении, тьма и какой-то зловещий свет, словно исходивший от надгробий, так меня напугали, что я помчалась с кладбища, преследуемая им по пятам, с одной лишь мыслью, что должна добраться до улицы раньше, чем он – или что это было – схватит меня. Я добежала до уличного фонаря – дрожащая, задыхающаяся и едва не в слезах, а у него было очень странное выражение лица, почти торжествующее. Мы ничего друг другу не сказали»[582].

Большинству холостяков едва ли пришло бы в голову развлекать хорошенькую девушку, заманив ее ночью на кладбище и напугав до полусмерти. Но Лавкрафт был большим оригиналом.

Троюродная сестра Лавкрафта, Этель Филлипс, потеряла связь с ним и его тетушкой. Став миссис Рой Э. Морриш, она возобновила старое знакомство и нанесла несколько визитов Энни Гэмвелл на Колледж-стрит, 66. Во время этих посещений Лавкрафт уединялся за занятиями и не показывался. Очевидно,

тетушка попрекнула его за нелюдимость, потому что в следующий раз, когда миссис Мориш зашла, он появился и целый вечер читал лекцию об истории Род-Айленда.

Несколько дней последней недели июля 1933 года Лавкрафт провел с Лонгами в Онсете. Фрэнк Лонг уговаривал Лавкрафта попробовать использовать при сочинении рассказов графопостроитель. Было доступно несколько моделей подобного устройства, с помощью которого потенциальный писатель мог составлять произвольные комбинации из сцен действия, персонажей и сюжетных элементов. Лавкрафт приобрел одну модель, под названием «Плот Гейм», но она была предназначена для рассказов о «любви и приключениях», и Лавкрафт счел идею «слишком уж омерзительной», чтобы даже проверять ее на опыте.

В августе ему посчастливилось найти сиделку для тетушки, и он смог совершить третье путешествие в Квебек. Он становился все более и более благосклонным к франко-канадцам, даже признавая их низкие образовательные стандарты, колкую настороженность по отношению к англоговорящим и упорство, с которым они цеплялись за свои особенности: «Долгая поездка на поезде в Квебек… была необыкновенно приятной… Большинство пассажиров были честными простыми французскими крестьянами, решившими навестить землю предков или поклониться в чудотворной церкви Сент-Анн-де-Бопре».

«Как бы я ни ненавидел любое иностранное влияние, будь я проклят, если не восхищаюсь этими упорными маленькими поедателями лягушек…»[583]

В Квебеке он провел четыре дня. Помимо прочего, там его взволновало знакомство со старым слепым французским врачом и наемником, утверждавшим, что он был одним из «Мужественных всадников»[584] Теодора Рузвельта и знал Жюля Верна.

После возвращения Лавкрафта в Провиденс сиделка Энни Гэмвелл уволилась. Он договорился об установке электрического устройства для открывания дверей, так что ему не приходилось постоянно дежурить, чтобы впускать посетителей.

В августе 1933 года Лавкрафт написал «Тварь на пороге», повесть объемом немногим более десяти тысяч слов. По жанру она располагается на границе между научной фантастикой и фэнтези, но ближе к последнему. Закончив ее в рукописи, он не мог «решить, хороша ли она хоть сколько-нибудь или же нет». Он заставил себя напечатать ее лишь зимой.

Затем Лавкрафт отправил ее по кругу своих друзей. В августе 1934 он говорил, что их отзывы его ободрили, но он все еще не

предлагал рукопись, «чтобы избегать, насколько это возможно, внешней критики и отказов». «…Я не хочу получить отказ прямо сейчас»[585]. Так или иначе, он был уверен, что Райту рассказ не понравится.

Профессионалу это покажется невероятным, но повесть пролежала у Лавкрафта еще два года. Летом 1936 года он наконец-то отослал ее Райту вместе с другим рассказом, озаглавленным «Обитатель тьмы». Тот сразу купил оба.

«Тварь на пороге» – из среднего разряда лавкрафтовских произведений: хуже его лучших, но гораздо лучше рассказов, бывших обыкновением для «Виэрд Тэйлз». Лавкрафт более обычного уделил внимание персонажам, сама же повесть начинается типично: «Это правда, что я всадил шесть пуль в голову моего лучшего друга, и все же я надеюсь показать этим отчетом, что не являюсь его убийцей. Сначала меня назовут безумцем – безумнее того человека, которого я застрелил в его палате в Аркхэмском санатории…»[586]

Рассказчик, Даниэль Аптон, повествует об упомянутом «лучшем друге», Эдварде Пикмане Дерби. Его описание содержит автобиографический отрывок, уже процитированный в Главе III: «Он был самым необыкновенным ребенком-ученым, которого я когда-либо знал…»

Более обыкновенный Аптон зарабатывает на жизнь, женится и рождает сына. Он, однако, проявляет лавкрафтовские черты, вроде склонности к обморокам от потрясений. Параллели с собственной жизнью Лавкрафта заметны и в повествовании о юности Дерби: «В уверенности же в себе и в практических делах Дерби, однако, из-за своей изнеженности значительно отставал. Его здоровье улучшилось, но чересчур заботливые родители потакали его привычкам детской зависимости, так что он никогда не путешествовал в одиночку, не принимал независимых решений и не брал на себя какую-либо ответственность. Еще с ранних лет стало ясно, что он не будет способен на борьбу в бизнесе или профессиональной сфере…»

В Мискатоникском университете Дерби увлекается магическими верованиями вроде «Некрономикона». Его взрослые годы схожи с лавкрафтовскими: «К двадцати пяти годам Эдвард Дерби был поразительно образованным человеком и довольно известным поэтом и фантастом, хотя недостаток общения и обязанностей замедлил его литературное развитие, привнеся в его работы подражательность и чрезмерную книжность… Он оставался холостяком – скорее из-за застенчивости, инертности и родительской опеки, нежели из-за склонности – и вращался в обществе очень мало и без всякого интереса. Когда началась

[Первая мировая] война, по состоянию здоровья и из-за укоренившейся робости он остался дома… Мать Эдварда умерла, когда ему было тридцать четыре, и на протяжении месяцев он был совершенно нетрудоспособен по причине некоего странного психологического заболевания. Тем не менее отец отвез его в Европу, и ему удалось отойти от своей болезни без видимых последствий. Потом он казался пребывающим в своего рода нелепом оживлении, словно частично избавившись от некой незримой неволи».

Дерби связывается с кружком распутных студентов и балуется черной магией. Он знакомится со студенткой по имени Асенат Уэйт – маленькой, темной и симпатичной, за исключением некоторой примеси «иннсмутской внешности». Она происходит из Иннсмута, где ее отец, Эфраим Уэйт, был известен как колдун. Асенат – сильная и волевая женщина, заявляющая, что посредством гипноза может обмениваться личностями с другими. Она добивается любви Дерби и выходит за него замуж. Затем выясняется, что Асенат использует свои способности, чтобы время от времени обмениваться душами со своим беспомощным мужем. Так называемая личность Асенат в действительности является личностью не дочери Эфраима Уэйта, а самого старого зловещего Эфраима…

Некоторые критики решили, что Асенат – литературное отображение Сони Грин. Некоторые сходства есть, особенно энергичное участие Сони в доведении отношений до свадьбы и ее стремление управлять мужем, как Асенат делает это в более буквальном смысле с Дерби.

Есть, однако, и множество отличий. Представляется вполне приемлемым рассматривать Асенат как составной продукт воображения Лавкрафта с примесью черт различных женщин, которых он знал, – матери, Сони и других.

Несмотря на то что Лавкрафт был всецело джентльменом, чтобы выразиться столь откровенно, можно предположить, что к тому времени он уже осознал, что человеком, причинившим ему больше всего вреда, была его мать. Его замечание о «частичном избавлении от некой незримой неволи» подтверждает эту мысль.

Остаток года Лавкрафт провел дома, за исключением кратких поездок в Кейп-Код и Плимут. Он писал о своем стремлении посетить Старый Свет. Он также говорил, что надеется совершить континентальное путешествие по Соединенным Штатам и встретиться со своими западными корреспондентами, среди которых были Смит и Дерлет. Он, однако, не поехал бы в Чикаго посмотреть Всемирную выставку 1933 года «Век прогресса», даже

если бы смог себе это позволить, ибо ее «проклятые современные чудачества в архитектуре» были такими уродливыми, что «вызвали бы у меня тошноту до конца жизни»[587].

В конце года Лонги снова пригласили Лавкрафта в Нью-Йорк на Новый год. Лавмэн подарил Лавкрафту древнеегипетскую статуэтку ушебти из гробницы, статуэтку майя и деревянную обезьянку с острова Бали. Лавкрафт был очень обрадован, когда Абрахам Меррит, редактор «Херст» и автор таких прославленных фантазий, как «Корабль Иштар», пригласил его на обед в клуб «Игроки».

В канун Нового года Лавкрафт посетил вечеринку, устроенную Сэмом Лавмэном и его соседом по квартире. Лавмэн рассказывал: «Мой сосед Пэт Макграт, с которым я делил квартиру и который про себя называл Говарда „упырем“, решился на своего рода новогодний праздничный праздничный вечер, и вот – было приглашено около двадцати пяти наших друзей. Среди них были миссис Грейс Крейн (мать Харта Крейна), которая была совершенно потрясена необычными разговорами наших гостей, и Говард Ф. Лавкрафт. Подавались напитки, а для Лавкрафта, который никогда даже не пробовал алкоголя, – имбирное ситро. Пэт поманил меня на кухню: „Ты не заметил, каким разговорчивым вдруг стал Говард?“ Нет, не заметил, но когда мы зашли в комнату, где собрались гости, Лавкрафт там был сама душа компании – болтающий, жестикулирующий, излучающий улыбки и смех, наполняющий свою вербальную гимнастику остротами и даже не отказывающий себе в бодрой арии из „Микадо“ Гилберта и Салливана – проявление веселья, которого я прежде никогда у него не видел и не слышал. Пэт радостно прошептал мне на ухо: „Я ПЛЕСНУЛ ЕМУ АЛКОГОЛЯ В СИТРО!“.»

Говорят, Лавкрафт позабыл про свои запреты настолько, что прокричал «Дерьмо!», когда кто-то выдвинул мнение, которое он счел нелепым. Он так никогда и не узнал, что с ним случилось, – годом позже он все еще похвалялся, что ни разу в своей жизни не притрагивался к алкоголю[588].

Напечатав «Тварь на пороге», Лавкрафт не обращался к оригинальному сочинительству на протяжении нескольких месяцев. Ему поступало столько заказов на «призрачное авторство», что он отдавал их излишек друзьям.

У него возникли проблемы с Зелией Рид, вышедшей замуж за Д. У. Бишопа, владельца фермы в Миссури. Зелия отказалась оплачивать те скромные счета за переработку, что выставили ей Лавкрафт и его коллеги. По словам его друзей, она решила, что ей больше не нужна их помощь.

После нескольких месяцев бесплодных усилий Зелия попыталась вновь обратиться к Лавкрафту за поддержкой. Чтобы заманить его, летом 1934 года она начала выплачивать свой долг по доллару в неделю. Когда же она стала уговаривать его написать еще один рассказ с расчетом лишь на последующую выгоду (с оплатой, когда и если рассказ будет продан), он отказался. Он заявил, что слишком занят выполнением обязательств перед другими клиентами и находится в опасном нервном состоянии. Тогда Зелия прекратила выплаты. Согласно Лавкрафту, к концу 1936 года она все еще была должна ему двадцать шесть долларов, тридцать четыре Фрэнку Лонгу и одиннадцать Морису Мо. Когда они потребовали уплаты долга, она просто пришла в ярость.

У миссис Бишоп были свои причины для недовольства. Главная состояла в том, что, хотя она и узнала многое о писательстве от Лавкрафта, он пытался сделать из нее автора страшных рассказов в своем духе. Ее же способности, как выяснила она, были предназначены для так называемых «честных покаяний» – рассказов о том, «как я утратила свое целомудрие на заднем сиденье лимузина „паккард“, но была спасена любовью хорошего человека». Поскольку истории подобного типа были сущим проклятьем для Лавкрафта, Зелия так и не осмелилась сказать ему, что пишет и продает их[589].

В 1934 году прельстить Лавкрафта на «призрачное авторство» авансом попытался и де Кастро – у него был трактат под названием «Новый путь», представлявший необычный взгляд на происхождение Иисуса. Лавкрафт отослал его к Мо и Прайсу, которые также отказали ему.

К Лавкрафту снова проявили интерес книгоиздатели: «Алфред А. Кнопф» в 1933 году и «Лоринг энд Массей» в начале 1935–го. В обоих случаях он предложил коллекцию рассказов, и в обоих случаях она была с сожалениями отклонена. Еще до отказа от «Лоринг энд Массей» Лавкрафт был настолько уверен в неудаче, что в раздражении заявил, что покончил с профессиональным писательством: «Я сомневаюсь, что буду отвечать на какие-либо дальнейшие запросы от издателей – это явно напрасное дело, учитывая непопулярность данного типа рассказов. Не верю я и в то, что когда-либо напишу еще что-нибудь».

И будь он «проклят, если буду торговать вразнос» рукописями «по равнодушным издателям». Друзья Лавкрафта пытались отговорить его от пораженческих настроений, но: «Его негативному взгляду на свой труд было предрешено расти, а не уменьшаться, и я [Дерлет], как и большинство корреспондентов

Лавкрафта, скоро смирился с этим, зная, что любая перемена в его взглядах на будущее должна прийти изнутри и не может снаружи – и неважно, сколько из нас старалось его ободрить, взяв дело в свои руки и продавая его рукописи…»[590]

В 1933–1934 годах Лавкрафт много размышлял о литературной технике. Советуя одному другу, как построить сюжет рассказа, он изложил усовершенствованную схему составления наброска. В первом наброске, говорил он, события рассказа приводятся в том порядке, в каком они происходят. Во втором – в порядке, в котором они излагаются. Он может совершенно отличаться от первого, особенно когда автор обращается к прошлому. Затем рассказ пишется начерно, а потом – набело[591].

В одном письме Лавкрафт выразился так, словно пришел к согласию с самим собой. Если уж он не смог стать вторым По, то, по крайней мере, не будет мучиться из-за этого: «Хоть я и испытываю глубочайшее уважение к авторам реалистичной прозы и завидую тем, кто способен создавать удачное отображение жизни в повествовательной форме, после осуществленных проб я с грустью осознал, что это та область, что определенно закрыта для меня. Действительность такова, что там, где затрагивается реальная, неприкрашенная жизнь, мне абсолютно нечего сказать. Жизненные события столь глубоко и хронически неинтересны мне – да и в целом я знаю о них так мало, – что я не могу выдумать ничего связанного с ними, что обладало бы живостью, напряженностью и интересом, необходимыми для создания настоящего рассказа. То есть я неизлечимо слеп к драматическим или беллетристическим ценностям, за исключением касающихся нарушений естественного порядка. Конечно, объективно я понимаю, что такие ценности существуют, и могу весьма успешно использовать их в критике и переработке работ других, но они не захватывают мое воображение в достаточной мере, чтобы найти творческое выражение… Самое же главное, я не знаю жизни в той мере, чтобы быть ее действенным толкователем, из-за своего нездоровья в юности и природной склонности к уединению мои контакты с человечеством – с его различными аспектами, нравами, манерами выражения, установками и нормами – были чрезвычайно ограниченными; и, вероятно, существует весьма незначительное количество людей, за исключением дремучего деревенского класса, кто более фундаментально неискушен, нежели я. Мне неведомо, что делают, думают, чувствуют и говорят различные типы людей… Потенциальный реалист, не знающий жизнь как следует, волей-неволей вынужден прибегать к имитации – копированию того, чего нахватается из сомнительных

и искусственных источников: книг, пьес, газетных репортажей и им подобных… Допустим, мне требуется описать, как один из ваших лихих юных светских детективов действует в заданной ситуации. Но я не лихой юный светский детектив и никогда не был им – и даже никогда не был знаком с кем-либо из них. Понятное дело, я не знаю, как, черт возьми, один из них (полагая, что такие личности существуют) действовал бы в любой заданной ситуации… И это верно для столь многих типов людей – а типов, которые я действительно понимаю, так мало (и я не уверен, что понимаю даже их), – что я никогда бы не смог создать действующих лиц для любого самодостаточного литературного произведения…

…Я интересуюсь лишь обширными картинами-историческими течениями-порядками биологического, химического, физического и астрономического устройства, – и единственный конфликт, имеющий для меня какое-либо эмоциональное значение, это конфликт принципа свободы, или беспорядочности, или авантюрной возможности с вечной и сводящей сума непоколебимостью космического закона… и особенно законов времени. Индивидуумы и их судьбы в рамках естественного закона трогают меня очень мало… Другими словами, единственные „герои“, о которых я могу писать, это явления. Космос – такой плотно замкнутый цикл рока, в котором все предопределено, что на меня ничто не производит впечатление как действительно драматическое, за исключением внезапного и ненормального нарушения этой безжалостной неминуемости… чего-то такого, что не может существовать, но которое можно вообразить существующим… Разумеется, лучше быть художником широких взглядов со способностью находить красоту в каждой стороне жизненного опыта – но когда точно не являешься таким художником, то и нет смысла блефовать, обманывать и притворяться, будто являешься таковым. Итак, определено, что я – маленький человек, а не большой, и я, черт побери, предпочел бы так и продолжать, по честному, и стараться быть хорошим маленьким человеком в своей узкой, ограниченной и миниатюрной манере, нежели прикрываться и притворяться большим, чем я есть на самом деле. Подобное притворство может привести лишь к тщетному самообману, напыщенной бессодержательности и окончательной утрате хоть какого-то маленького хорошего, чего я мог бы достигнуть, если бы придерживался той одной маленькой области, которая действительно была моей»[592].

Требование Лавкрафта, что писатель должен писать только о том, что знает лично, – это идеализированное наставление,

которому практикующий писатель не может позволить себе следовать буквально. (Коли на то пошло, Лавкрафт сам не всегда ему следовал.) Хотя личный опыт и является огромным подспорьем в описании любой среды, писатели все-таки не живут столь долго, чтобы окунуться во все те среды, о которых они, возможно, хотели бы написать. Поэтому практичный беллетрист должен дополнять собственный опыт тем, что может узнать из чтения, путешествий и разговоров.

Если Лавкрафт действительно пытался писать реалистическую прозу, как он на это намекал, то наверняка полностью уничтожил все эти фальстарты, ибо не известно, что от них уцелел хоть один клочок.

В других же случаях Лавкрафт предавался недовольству и отчаянию – «негативизму», за который его попрекал Дерлет: «Меня самого до сих пор раздражает собственная неспособность придавать форму и выражение реакциям, вызываемым у меня определенными явлениями внешнего мира… Но в моем возрасте мне уже ясно, что я никогда не смогу выразить словами то, что хочу выразить… У меня есть что сказать – но я не могу этого сказать».

Среди произведений, от которых он «отрекся», были два из его самых впечатляющих: «Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого» и «Случай Чарльза Декстера Уорда». Роберт Барлоу, состоявший с ним в переписке, однако, уговаривал его одолжить рукописи, обещая их напечатать.

Лавкрафт сообщил, что его личные средства неуклонно тают: «Расходы сохраняются, доходы падают до едва ли заметных». Последний костюм, который он когда-либо покупал, был приобретен им еще в Атоле на распродаже в 1928 году, и он до сих пор носил пальто 1908 года. Он предрекал свою смерть, когда израсходуются остатки его капитала: «Пока я храню внушительное количество старых семейных реликвий – но когда случится мой окончательный финансовый крах, трудно предположить, что произойдет. Определенно, я не хочу пережить обстановку, создаваемую фамильными книгами, картинами, мебелью, вазами, статуэтками и т. д., которые окружали меня всю жизнь».

Он был беспомощен предотвратить свою судьбу: «У меня никогда не было ни малейшей способности к коммерческим делам – в самом деле, мое отсутствие умения в этой области доходит до несомненной умственной пустоты. Я просто не могу мыслить или вычислять на языке прибыли… недостаток, который в конечном счете обернется моим уничтожением»[593].

Даже детские воспоминания, в которых он находил такое

утешение, стали приносить разочарование, побледнев в «бездарности и неудачах вроде моих». Он раскритиковал Фарнсуорта Райта, платившего ему за рассказы больше, чем все его другие редакторы вместе взятые, как педантичного, непоследовательного и напыщенного. Он совершенно не заботился о своем физическом организме: «Что до моего здоровья-то мне просто наплевать на него. Мне совершенно безразлично, отправлюсь ли я завтра в забвение или буду жить до ста лет – при условии, в последнем случае, что у меня будет достаточно денег для сохранения моей собственности. Если я когда-либо и ускорю приход костлявой, то это будет просто из-за отсутствия денег на сносную жизнь»[594].

Он считал: «Было бы лучше, если бы побольше людей совсем позабыли о своем здоровье». Суеверный мог бы сказать, что костлявая поймала его на слове.

Значительная часть времени Лавкрафта в эти последние годы уходила на бесполезную работу в любительской печати. Он завербовал в НАЛП Барлоу и других. Он позволил взвалить на себя должность председателя Отдела критики НАЛП и получал груды любительских журналов на отзывы.

Он продолжал свою деятельность вплоть до последнего года жизни, даже несмотря на возмущение поведением любителей: «При просмотре текущих публикаций меня раздражает преобладание материала хронических подростков – полных надежд вечных новичков до семидесятипятилетнего возраста». «Что за фабрика склок это любительство!» Когда экс-президент НАЛП, Ральф У. Бэбкок, обругал нового президента – Хаймана Брадофски (которого Лавкрафт поддерживал), – он пришел в ярость из-за «крайне оскорбительных и совершенно необоснованных нападок, которые он только что обрушил на бедного Хайми…»[595] В действительности же – поскольку любое хобби, организованное подобным образом, по существу является ребяческим – такие незрелые забавы, как оскорбления, междоусобицы, козни и бездумные интриги, просто неизбежны среди любителей.

Несмотря на превратности Великой депрессии, круг читателей научно-фантастических журналов в тридцатые годы вырос. В течение почти всего этого десятилетия существовало четыре американских журнала литературы воображения, не считая такие неудавшиеся попытки, как «Стрейндж Тэйлз». Этими четырьмя были «Виэрд Тэйлз», «Эмейзинг Сториз», «Уандер Сториз» (позже «Фрилинг Уандер Сториз», «Захватывающие

рассказы о чудесах») и «Эстаундинг Сториз» (позже «Эстаундинг Сайнс Фикшн»). Крупное расширение этой области началось только в 1938 году, когда появился «Мавл Сайнс Сториз» («Рассказы о чудесах и науке»). С 1939–го по 1941–й количество журналов перевалило за двадцать.

Лавкрафт мало обращал внимания на три откровенно научно-фантастических журнала – «Эмейзинг», «Уандер» и «Эстаундинг». Он был уверен – и не без оснований, – что их страницы полны невдохновленной прозы «массовых поденщиков» вроде Отиса Адельберта Клайна. Лавкрафт не застал значительного улучшения литературного качества журналов в конце десятилетия. Это развитие в значительной степени было заслугой Джона В. Кэмпбелла (1910–1971), ставшего в 1937 году редактором «Эстаундинг Сториз».

Но талантливые писатели начали появляться в научной фантастике еще при жизни Лавкрафта. Например, одним из них была Кэтрин Л. Мур, чей первый изданный рассказ, «Шамбло», появился в «Виэрд Тэйлз» в ноябре 1933 года. Лавкрафт пришел в восторг от него и включил мисс Мур в круг своих корреспондентов. В 1940 году она вышла замуж за другого члена этого круга – Генри Каттнера.

Равным образом Лавкрафт был восхищен «Марсианской Одиссеей» Стэнли Г. Вейнбаума в «Уандер Сториз» за июль 1934 года. Вейнбаум подавал все признаки будущего титана научной фантастики, когда 14 декабря 1934 года умер от рака гортани.

В начале тридцатых впервые появились и организации любителей научной фантастики. Ранние клубы и их издания были недолговечны – но, как только исчезал один, тут же возникал другой.

В этом движении Лавкрафт сыграл основную роль, поскольку некоторые издатели фан-журналов входили в его круг. Некоторые также были его коллегами по любительской печати или же вовлечены им в нее. Их любительские журналы специализировались на рассказах и статьях о литературе воображения и, таким образом, были первыми фан-журналами научной фантастики. Среди изданий членов лавкрафтовского кружка были «Дрэгонфлай» («Стрекоза», или же «Полет дракона») и «Ливз» («Листья») Барлоу, «Фэнтези Фэн» Чарльза Д. Хорнига и «Фантаграф» Дональда А. Уоллхейма.

В 1934 году Уильям Л. Кроуфорд из Эверетта, штат Пенсильвания, начал выпуск журнала под названием «Анъюжуэл Сториз» («Необыкновенные рассказы»), ставший «Мавл Тэйлз» («Рассказы о чудесах»). Кроуфорд надеялся, уговаривая профессиональных писателей предоставлять свои рассказы

бесплатно, достигнуть достаточного большого тиража среди любителей и преобразовать таким образом любительское издание в профессиональное, способное платить за материалы. Так или иначе, но план не сработал. После семи выпусков нехватка средств вынудила Кроуфорда оставить эту затею.

В 1936 году Кроуфорд также пытался издать книгой «Тень над Иннсмутом» Лавкрафта. Он отпечатал четыреста экземпляров и половину из них переплел, сто пятьдесят из которых продал, прежде чем из-за финансового краха вынужден был прекратить издание и отправиться в поездку по распространению подписки на «Фам Джорнал» («Фермерский журнал»). Эти сто пятьдесят экземпляров были все, чего Лавкрафт достиг при жизни в появлении своего имени на обложке. Он был не очень доволен результатом; однако, учитывая все те мучения, через которые прошел Кроуфорд (в том числе и отдавленные прессом пальцы), удивительно, что книга вообще была напечатана.

В последний год своей жизни Лавкрафт обсуждал с одним любителем с Запада – Дуэйном У. Римелом из Эсотина, штат Вашингтон – возможность издания совместного фан-журнала. Однако этот проект не был осуществлен. Лавкрафт умер слишком рано, чтобы стать свидетелем перерастания любительства научной фантастики в крупное социолитературное движение с плеядой организаций, изданий и собраний. Первый Всемирный съезд был проведен в Нью-Йорке 2–4 июля 1939 года.

Роберт Хейвард Барлоу (1918–1951) начал переписываться с Лавкрафтом в 1931 году. Весной 1934 года это был низкий, худощавый юноша шестнадцати лет с маленьким подбородком и выступающим лбом. Он страдал от глазной болезни и приступов малярии. Этому вежливому маленькому человеку с живым интеллектом и разнообразными артистическими способностями мешала сама же его многогранность. Очень часто он начинал дел больше, чем мог закончить.

Лавкрафт описывал Барлоу следующим образом: «писатель; художник; скульптор; печатник; пианист; разработчик и изготовитель марионеток и кукловод; ландшафтный садовник; чемпион по теннису; знаток шахмат; переплетчик; меткий стрелок; библиофил; коллекционер рукописей и бог знает кто еще!» Знакомые вспоминали Барлоу как приятного человека и интересного собеседника. После первой встречи с ним Лавкрафт назвал его «выдающимся парнишкой» и «действительно замечательным вундеркиндом… но слишком взрослым для своего возраста»[596].

Жизнь Барлоу была осложнена, во-первых, обстановкой в

семье и, во-вторых, его гомосексуальными наклонностями. Возможно, эти два фактора были связаны между собой. Но его сексуальное отклонение, вероятно, развилось лишь ближе к концу жизни Лавкрафта.

Дом семьи находился в Де-Лэнде, штат Флорида, в семнадцати милях от прибрежного Дейтона-Бич. Отец Барлоу, Эверетт Д. Барлоу, был отставным подполковником армии США и в некотором роде душевнобольным. Подверженный приступам глубокой депрессии, он страдал от мании, заключавшейся в необходимости защищать свой дом от нападений загадочных «Их». Также у него был пунктик на почве религии и секса.

Роберт Барлоу плохо ладил с отцом. В то время он говорил своим друзьям, что ненавидит подполковника, но позже, когда его родители развелись, он поддерживал с ним дружескую переписку. Мать Роберта Барлоу, Бернис Барлоу, баловала и нежила сына (отчасти так же, как с Лавкрафтом обращалась его мать) и ссорилась с мужем из-за его воспитания.

Весной 1934 года Барлоу с матерью жили в Де-Лэнде, а отец – на Севере, восстанавливаясь у родственников после очередного приступа. В январе Роберт Барлоу начал уговаривать Лавкрафта приехать погостить во Флориде. К апрелю Лавкрафт эту поездку спланировал. Он сообщил, что совершит ее на малые средства: плата за проезд туда и обратно на автобусе от Провиденса составляла тридцать шесть долларов, на другие же расходы он дополнительно выделял тридцать долларов.

В путешествиях Лавкрафт обычно тратил на еду доллар и семьдесят пять центов в неделю: десять центов на завтрак и пятнадцать на обед. Он обходился покупкой дешевых продуктов вроде хлеба и консервированных бобов и приемом пищи в снятом номере при помощи собственного ножа, вилки, ложки и консервного ножа. Расходы на жилье он оценивал в доллар за ночь. Иногда он обходился даже лучше – например, когда в 1931 году снял комнату в Сент-Огастине за четыре доллара в неделю.

Погостив неделю у Лонгов в Нью-Йорке, Лавкрафт остановился на несколько дней в Чарлстоне. Он писал: «Один из друзей Лавмэна – художник Прентисс Тейлор – теперь живет здесь… Я должен был навестить его, но с облегчением узнал, что он уехал из города». Он посетил фрегат «Конститьюшн», прежде чем отправиться в Де-Лэнд, куда прибыл 2 мая.

У Барлоу жара придала Лавкрафту энергии. В приподнятом настроении он ходил без шляпы и пиджака и похвалялся приобретенным загаром.

Единственным его разочарованием была невозможность продолжить путешествие до Гаваны. Его несколько утешила

поездка с Барлоу в Силвер-Спрингс. Там он впервые увидел тропическую реку, оплетенную джунглями, и даже мельком заметил диких аллигаторов.

Пока Лавкрафт был в Де-Лэнде, он и Барлоу сочинили небольшой литературный розыгрыш под названием «Бой, которым закончилось столетие». Объемом около двух тысяч слов, он начинается: «В канун года 2001–го, посреди романтичных руин Гаража Кохена, где некогда располагался Нью-Йорк, собралась огромная толпа любопытствующих зрителей, дабы стать свидетелями кулачного боя между двумя прославленными чемпионами тверди небесной из загадочного предания – Боба с Двумя Пистолетами, Ужаса Прерий, и Нокаута Берни, Дикого Волка Западного Шокана…

Во втором раунде Шоканский Пьяница сильным правым пробил ребра Техасца и запутался во всяческих внутренностях, позволив таким образом Бобу с Двумя Пистолетами нанести эффектные удары в незащищенный подбородок своего противника. Боба здорово допекала женоподобная чувствительность, проявляемая несколькими зрителями, когда по первым рядам вокруг ринга разбрызгивались мускулатура, железы, кровь и куски плоти…»[597]

Боб с Двумя Пистолетами – это, конечно же, Роберт Э. Говард, а под Нокаутом Берни Лавкрафт подразумевал Бернарда Двайера. Под псевдонимами были упомянуты более двух дюжин других коллег: Фрэнк Белнап Лонг как Фрэнк Спящий-Колокол Короткий, Сибури Куин как Мичелла Айва, а сам он как Лошадиная Сила Искусство-Ненависти[598]. Барлоу напечатал сочинение в виде брошюры и разослал ее другим любителям и членам лавкрафтовского кружка. На протяжении месяцев Лавкрафт уклончиво отрицал свое авторство, говоря: «…Это едва ли относится к тем вещам, за которые мог бы взяться степенный старик».

Барлоу уговорили Лавкрафта остаться до конца июня. Миссис Барлоу вспоминала: «…Ее сын и Лавкрафт были неразлучны. Они бодрствовали ночами и не утруждали себя спускаться к завтраку. Они проводили дни, катаясь на лодке по озеру, играя с кошками Барлоу – Киром, Дарием и Алфредом А. Кнопфом… И они постоянно беседовали – Лавкрафт бойко и непрерывно говорил на несвязанные темы: о войне в Эфиопии, химии и лорде Дансейни. Барлоу построили „лесной“ домик между Юстисом и ДеЛэндом. …Роберт использовал его в качестве мастерской. Пока Лавкрафт говорил, мальчик переплетал книги кожей змей, которых подстрелил специально для этого».

Барлоу и Лавкрафт попросили Пола Кука выслать

непереплетенные листы «Дома, которого все избегали» Лавкрафта: Роберт намеревался сам переплести оставшийся материал. Лавкрафт занимал семью Барлоу чтением своих рассказов. Как-то он отправился с Барлоу и еще с какими-то двумя людьми в поход за ягодами. Лавкрафт заявлял о своей любви к лесным сценам, но практическое знание леса – это кое-что другое. Барлоу описывал вылазку: «Мы собирали уже больше часа, Лавкрафт шарил в кустах, героически стараясь не отставать от нас, хотя, не имея опыта в сборе ягод, собрал лишь половину корзины, тогда как мы уже закончили. Так что мы помогли ему наполнить ее и отправились домой, и ГФЛ по собственному почину отстал от нас. Когда мы подошли к речушке, я крикнул ему, чтобы показать, где находится мостик из доски. Он ответил, что видит его, и мы пошли дальше.

Когда же мы добрались до дома, его с нами не было. Он подошел значительно позже, весь промокший до нитки. Оказалось, он не видел доски, по которой надо было переходить, а просто бухнулся в речку… Перепачканный и печальный, он прежде всего оставался джентльменом – он извинился перед моей матерью, что растерял ягоды!»

Несмотря на подобные неудачи, Лавкрафт чудесно провел время. Тепло наполняло его энергией; позже он писал: «Вы бы видели меня… – таскающего кирпичи, выкапывающего и пересаживающего деревья, носящего ведра воды для саженцев апельсиновых деревьев и т. д…»[599]. Он двинулся назад на север через Чарлстон, Ричмонд и Филадельфию, вернувшись домой 10 июля.

В оставшуюся часть 1934 года к Лавкрафту приезжали Мортон, Прайс, Кук и Коул. Сам Лавкрафт совершал лишь локальные поездки. В начале сентября он отправился на корабле на остров Нантакет. Там он взял на прокат велосипед, чтобы объехать город и осмотреть его старинные достопримечательности: «…Впервые за двадцать лет я снова был на колесах. Езда оказалась такой легкой и привычной, как будто я последний раз слез с велосипеда лишь вчера, – и она вернула мне утраченную молодость так живо, что я чувствовал, что мне нужно спешить домой к открытию средней школы на Хоуп-стрит! Жаль, что степенные пожилые джентльмены, катающиеся на велосипеде, слишком заметны в Провиденсе!»

Он написал статью о Нантакете, использовав в качестве заголовка прозвище, которым город наградил Дэниел Уэбстер, – «Неизвестный город в море». Он сочинил стихотворение на смерть котенка Сэма Перкинса, любимца из местных кошек:

У сада в этот вечер вид
Мрачней невыносимо,
Как будто в воздухе стоит
Дух гибели незримый.

Качаясь, травы скорбь таят —
Им не сказать словами;
О лапках память все хранят,
Меж ними что ступали[600].

Прайс уговаривал Лавкрафта написать вместе еще один рассказ о Рэндольфе Картере. В конце концов, они ведь оставили несчастного Рэндольфа исчезающим в загадочных часах… Но Лавкрафт отговорился: «Я слишком близок к нервной катастрофе, чтобы браться за такой весьма напряженный и принудительный труд, как совместное сочинительство».

В сентябре Лавкрафт также начал жаловаться – как оказалось, зловеще пророчески – на «несварение желудка»[601].

В ноябре 1934 года, вопреки своим дерзким словам о прекращении сочинительства, Лавкрафт принялся за еще один рассказ. «Тень безвременья»[602] – научно-фантастическая новелла объемом в двадцать семь тысяч слов, относящаяся к Мифу Ктулху. Она начинается: «После двадцати двух лет кошмаров и ужасов, спасаясь лишь безрассудной убежденностью в мифическом происхождении определенных ощущений, я не могу поручиться за ту истину, которую, как мне представляется, я обнаружил в Западной Австралии в ночь с 17 на 18 июля 1935 года»[603].

Рассказчик Натаниэль Уингейт Пизли повествует, как он поступил на должность преподавателя Мискатоникского университета и со временем вырос до профессора с докторской степенью. В 1908 году он стал жертвой загадочной амнезии, в ходе которой утратил память о своей прежней жизни, и им как будто овладела другая личность, немало знавшая об одних вещах, но совершенно ничего о других. Его жена, охваченная ужасом и отвращением, разводится с ним и вместе с двумя из трех его детей отказывается с ним видеться – даже после восстановления его нормального состояния.

В 1913 году к Пизли возвращается его прежняя личность, и с тех пор его изводят периодически повторяющиеся сны, в которых он является представителем Великой Расы, господствовавшей на Земле в триасовый период: «Представители Великой Расы имели

форму огромных складчатых конусов высотой десять футов[604], от верхушек которых отходили эластичные конечности толщиной в один фут, несшие на себе голову и другие органы. Они изъяснялись щелканьем или скрежетом огромных лап или же клешней, расположенных на концах двух из четырех этих конечностей, а передвигались посредством расширения и сокращения вязкой прослойки на широких десятифунтовых основаниях».

Чтобы исследовать прошлое и будущее, эти сверхмоллюски овладели секретом ментального путешествия во времени. Они могли обмениваться личностями со существами других эпох, и один из них проделал это с Пизли. Из плененных личностей других периодов вытягивалась информация, а если они могли приспособиться, то им разрешалось путешествовать по миру на атомных летательных аппаратах. Во время своего пленения Пизли встречал множество других захваченных подобным образом разумов и общался с ними: «Был там разум с планеты, известной нам как Венера, который будет существовать лишь через неисчислимые эпохи, и разум с внешней луны Юпитера, живший шесть миллионов лет назад. Из земных разумов было несколько представителей крылатой звездоголовой полурастительной расы из Антарктики эпохи палеогена; один из народа рептилий мифологической Валузии; три покрытых мехом гиперборейца, поклонявшихся Цатоггуа и существовавших еще до появления человека; один из совершенно омерзительных чо-чо; два паукообразных обитателя последней эпохи Земли…

Я беседовал с разумом Янг Ли, философа из жестокой империи Цан-Чан, которая появится в 5000 году; с разумом полководца большеголовых коричневых людей, населявших Южную Африку в 50 000 г. до н. э.; с разумом флорентийского монаха по имени Бартоломео Корци из двенадцатого века…»

И так далее на целую страницу. «Народ рептилий мифологической Валузии» позаимствован из рассказов Роберта Говарда о короле Кулле, а «гиперборейцы, поклонявшиеся Цатоггуа», взяты у Кларка Эштона Смита.

Пизли рассказывает о своих снах коллегам. Один австралийский археолог приглашает его присоединиться к раскопкам загадочных развалин в пустыне. Гуляя среди руин ночью, Пизли наталкивается на свидетельство того, что угроза из-под земли, которой страшилась Великая Раса, все еще существует…

Это хороший рассказ – не лучший лавкрафтовский, но вполне на уровне. К тому же «Тень безвременья» был последним значительным рассказом, который написал Лавкрафт.

Глава восемнадцатая. Угасающий светоч

Любя холмы, поля и старину,
Как ты в края иные
Ушел первопроходцем,
За Провиденса шпили столь родные?
Искал ли ты страну
Древнее, чем они, —
Какой-то Аркхэм, чары где все рождены?[605]

К. Э. Смит «Говарду Филлипсу Лавкрафту»

На Рождество 1934 года Лавкрафт и его тетушка нарядили елку, впервые со времен его детства. По приемнику Энни Гэмвелл он прослушал рождественское радиообращение британского короля. (Ранее один его друг подарил ему маленький радиоприемник, но он так и не смог его освоить.) Когда король закончил свою речь: «…Я перевернул лицом вниз долларовую купюру, вложенную под ленту, которой был перевязан один из моих подарков… Я не мог вынести вида одного из тех, кто послужил орудием безжалостного отсечения этих колоний от Империи, остову которой они по праву принадлежат!»[606]

Тридцатого декабря Лавкрафт отправился в новогоднюю поездку в Нью-Йорк. Собрание «банды» 2 января 1935 года привлекло пятнадцать членов Клуба Кэлем. Из Вашингтона приехал Барлоу – он учился там в художественном колледже.

В суровую зиму 1934–1935 годов Лавкрафт не выходил из дома, занимаясь «призрачным авторством» и перепиской. Урывками он работал над «Тенью безвременья», жалуясь, что «я просто не могу создать что-либо оригинальное, когда моя программа так переполнена». По его словам, у него было множество сюжетов, но слишком мало времени и сил, чтобы обратить их в рассказы. Он отверг несколько предложений о совместном сочинительстве.

Лавкрафт наконец-то осознал свой недостаток, заключавшийся в «тяжеловесности прилагательных». С текущей

работой, сказал он, «…я пока приостановлюсь, а затем удалю непроизвольные вкрапления чрезмерной приукрашенности, которые упорно продолжают вкрадываться, – упоминания „чудовищных и сводящих с ума тайн демонического палеогенового ужаса“ и т. д. и т. п.».

Закончив примерно в конце марта рассказ «Тень безвременья», он заявил, что «настолько неудовлетворен им, что просто не смогу его напечатать». Он отослал свои каракули, написанные карандашом, Дерлету, наставляя его: «Не беспокойтесь о рукописи – ее утрата не причинит особого вреда; в конечном счете я, быть может, выкину ее сам». Он надеялся, как писал об этом, «продолжать мятеж против переработки и обширной переписки достаточно долго, чтобы хоть как-то приняться за еще один рассказ – нечто связанное с Аркхэмом»[607].

Лавкрафт начал посещать бесплатные лекции, в больших количествах устраивавшиеся Университетом Брауна. Осенью и весной 1935 года он присутствовал на поэтических чтениях Арчибальда Маклиша и лекциях по кинематографу, японскому искусству, о храме Святой Софии в Стамбуле, Альбрехте Дюрере, архитектуре итальянского барокко и Бенджамине Франклине.

Две лекции о Франклине получили продолжение. На протяжении всей своей жизни Лавкрафт видел яркие сны, которые позже мог вспомнить во всех подробностях.

Большинство из них снилось ему зимой. По его словам, три четверти снов имели отношение к местам и людям из его детства, «но реально существующие места часто переходят в неизвестные и фантастические области с пейзажами и архитектурными видами, едва ли принадлежащими нашей планете. Порой я вижу исторические сны, происходящие в различных давних периодах. А иногда – но не часто – сон образует готовый художественный сюжет».

В последние годы жизни Лавкрафту снилось, как он с группой людей в средневековых одеждах лазил по крышам какого-то старинного города, преследуя «тварь древнейшего зла»; как он подошел к трамваю и обнаружил, что у всех его пассажиров конусообразные морды, заканчивающиеся одиночным красным щупальцем; как встретился с порочным священником на чердаке, заполненном запрещенными книгами; как к нему пришла группа зловещих молодых черных магов, одетых в смокинги; как он вновь посетил свой бывший дом на Энджелл-стрит, 598, в котором все лежало в гниющей разрухе, а из его прежней комнаты доносился звук волочащихся шагов; как на него напали

насекомые, которые пронзали его мозг, вызывая видения о жизни на других мирах; как в 1864 году, будучи хирургом Эбеном Спенсером, он встретился с другим врачом, занимающимся экспериментами в духе прославленного Франкенштейна;[608] как наблюдал с зубчатой стены какого-то замка за битвой между армиями призрачных воинов; и как хранитель некоего музея предложил ему миллион фунтов стерлингов за глиняный барельеф, который он только что изваял. После же лекций о Франклине: «Эти лекции произвели на меня такое впечатление, что в ночь после второй из них мне приснился ярчайший сон, в котором участвовали доктор Франклин и я сам, а время подверглось необычайному искривлению… в результате чего 1785 год незаметно перешел в 1935–й. Франклин и я ехали на лошадях из Филадельфии в Нью-Йорк в мире 1785 года – он только возвращался из Франции. Дорога была узкой, разбитой и обрамлялась изгородями, плотно увитыми виноградными лозами и шиповником. Я был одет в полный зеленый мундир старого образца (скажем, 1760 года) с серебряными пуговицами, украшенный орнаментом красноватый жилет, короткие штаны табачного цвета в обтяжку и черные кожаные сапоги для верховой езды. Судя по моим отражениям, которые я позже мельком видел в окнах, на мне были довольно маленький, мелко завитый припудренный парик с косой в сетке и черная треуголка. Доктор Франклин был одет в костюм из буйволовой кожи с претензией на квакерский стиль, и он был без парика – его волосы (уже очень седые) были стянуты на уровне плеч. На нем была широкополая квакерская шляпа… Голос моего спутника был приятным, не затронутым возрастом и без какого-либо неприятного провинциального акцента. Наш разговор касался некой жуткой истины, о которой я каким-то образом узнал, – а именно, что со временем случилось нечто страшное и непостижимое и где-то впереди лежит чудовищный кошмар механизации и упадка под названием 1935 год. Франклин мне не верил – но до деревушки Нью-Брансуик уже дошли кое-какие слухи, потому что, когда мы проезжали по ее мощеным улочкам, мы встречали перепуганные толпы, а со всех колоколен раздавался звон. Чуть позже, близ Метучена, мы попали в загадочный туман, а в Равее различали призрачные формы 1935 года (новые здания, машины, по-современному одетых людей), ложившиеся на булыжники, мансардные крыши, георгианские фасады и одетых в бриджи обитателей 1785 года… На полпути до Элизабеттауна туман исчез, и мы полностью оказались в мире 1935 года: наши лошади вставали на дыбы, напуганные вереницами автомобилей. Наконец Франклин осознал, что что-то не так, – ибо он увидел прохожих, в

изумлении уставившихся на наши костюмы. Как только он начал размышлять над проблемой, он, казалось, без труда осознал, что же произошло, и его научные познания были столь широки, что он смог разобраться в современном использовании электрического разряда, который он так эффектно вырвал с небес в 1752 году[609]. В (современном) Элизабете… я остановился, чтобы купить какую-нибудь одежду 1935 года, и оделся прямо в магазине. Доктор Франклин, однако, отказался сменить свое полуквакерское одеяние и продолжал притягивать к себе изумленные взоры. В Ньюарке мы оставили лошадей в платной конюшне и по Гудзоновскому тоннелю добрались до Нью-Йорка, выйдя на 33–й улице… Здесь на костюм Франклина внимания никто не обращал, и мы гуляли без помех – я указывал философу на различные чудеса и ужасы 1935 года (вроде Эмпайр-стейт-билдинг, толп иностранцев, странного транспорта и т. д.), в то время как он старался согласовать их со своими прежними знаниями. Иногда мы заговаривали о политике, и я откровенно осудил его за то, что он позволил своей пропаганде всего лишь колониальных реформ разрастись до предательской величины одобрения того мятежа против нашего Монарха и Парламента, что эгоистичные, жадные и введенные в заблуждение провинциалы начали в 1775 году и завершили с катастрофическим и самоубийственным успехом два года назад (или, скорее, сто пятьдесят два, поскольку этот призрак мира 1935 года был ужасающе реалистичен)[610]. Я был, как мне казалось, кем-то вроде секретаря генерала регулярных войск Его Величества сэра Гая Карлтона – сначала в Квебеке, а затем в Нью-Йорке (до вывода наших войск). Во время этой путаной экскурсии и разговора, без наступления какой бы то ни было драматической развязки или следования какому-либо логическому сюжету, я медленно начал пробуждаться»[611].

Когда Лавкрафт выражал свои личные чувства, нотки уныния звучали громче. Он был уверен, как никогда прежде, что дни его писательства закончились: «…Возможно, я полностью утратил способность к художественному изложению, и мне следует совсем прекратить заниматься рассказами. Хотя я поэкспериментирую еще немного, прежде чем окончательно приду к такому заключению. Нет – это [„Тень безвременья“] единственная вещь со времен „Твари на пороге“, которую я не уничтожил. Из недавнего ничего в действительности так и не ожило – и я, безусловно, не желаю издавать механический и шаблонный вздор того сорта, что пачкает страницы „Виэрд Тэйлз“ и еще более худших родственных ему журналов».

Он составил список своих семейных ценностей: «Комплект из

дюжины чайных ложек… два больших стола, четыре кресла, один табурет и одна маленькая этажерка. …Добротный обитый гвоздями сундук восемнадцатого века, маленькая кожаная сумка или чемодан… пара медных подсвечников. …Немного довольно интересных старых газет…» и так далее. Он ругал себя, что не сохранил вещей больше: «В конце концов, материальные предметы, которые я так безрассудно холил и лелеял как наследие минувших лет, всего лишь капля в море по сравнению с тем, что наследуют многие другие. Меня охватывает зависть, когда я слышу о том или ином человеке, живущем в доме, доставшемся ему от предков, или обладающем мебелью, фарфором, серебряной и оловянной посудой, картинами и т. д. и т. п., которыми его предки пользовались в восемнадцатом веке… из-за полнейшей лености я позволил кое-какому количеству замечательных реликвий ускользнуть из моих рук… Однако я бы не лелеял эти предметы, не будь они тем, с чем я вырос. Вот настоящая причина моей привязанности: не столько то, что эти вещи в действительности старые или фамильные, но то, что это те вещи, среди которых я неизменно жил, едва научившись ходить и разговаривать… Может, некоторые из них уродливы, не очень стары, банальны и прочее в том же духе – но они слишком плотно вплетены в узор моего каждодневного существования, чтобы быть для меня чем-то иным, кроме как драгоценностями… Я буду цепляться за эти вещи столько, сколько смогу – а когда больше не смогу их держать, у меня не будет и желания продолжать существование… Возможно, это и к счастью, что не каждый привязан так же сильно, как я, к материальным реликвиям своего детства. Когда подобная привязанность сосуществует с невозможностью сохранять данные вещи, наступает высшая степень трагедии. Я предпочел бы жить в лачуге со своим старым хламом, нежели во дворце, но без него»[612].

Это служит иллюстрацией к тому, что я сказал ранее об эмоциональном развитии Лавкрафта: он «застрял на стадии плюшевого мишки» и так и не вырос из нее, настаивая подобно Питеру Пэну: «Я хочу всегда быть маленьким мальчиком и веселиться!»

Хелен Салли написала Лавкрафту из Калифорнии, жалуясь на чувство «безнадежности, бесполезности, неумелости и несчастья в целом». Чтобы ободрить ее, Лавкрафт преподал ей собственное стоическое безразличие: «Половина нашего несчастья – а возможно, и больше – происходит из нашего ошибочного представления, что мы должны быть счастливыми… что мы… „заслуживаем“ или „имеем право“ на безмерное счастье», тогда

как счастье мимолетно, эфемерно. Лучшее, на что можно здраво надеяться, это отсутствие безмерного страдания.

Мисс Салли называла Лавкрафта «совершенно уравновешенным и удовлетворенным», и, несомненно, именно такое впечатление он производил на многих. Чтобы показать ей, насколько она состоятельнее его, он, однако, признался в своих подлинных чувствах: «В действительности существует немного таких полных неудачников, которые удручают и раздражают меня больше, чем многоуважаемый Эйч-Пи-Эль. Я знаю лишь несколько человек, чьи достижения убывают более последовательно, не отвечая их стремлениям, или у кого вообще меньше причин жить. Любая способность, которую я хотел бы иметь, у меня отсутствует. Все, что я хотел бы быть способным определить и выразить, я так и не смог определить и выразить. Все, что я ценю, я либо уже потерял, либо наверняка потеряю. Не далее чем через десять лет, если только я не смогу найти какую-нибудь работу с оплатой по крайней мере десять долларов в неделю, мне придется прибегнуть к цианистому средству вследствие неспособности сохранять подле себя книги, картины, мебель и другие фамильные вещи, которые составляют мой единственный оставшийся повод продолжать жить. И поскольку затронуто одиночество, то здесь, по-видимому, мне нет равных. Я никогда не встречал в Провиденсе родственную душу, с которой мог бы обмениваться мыслями, и даже среди моих корреспондентов все меньше и меньше тех, кто сходится со мной во мнениях по достаточному количеству вопросов, за исключением нескольких специализированных, чтобы разговор с ними доставлял мне удовольствие. Новое поколение переросло меня, а старое настолько закоснело, что обладает весьма скудным материалом для спора или разговора. Во всем – в философии, политике, эстетике и толковании наук – я оказываюсь на необитаемом острове со сгущающейся вокруг едва ли не враждебной атмосферой. С молодостью уходят и все возможности волшебства и тревожного ожидания – оставляя меня выброшенным на берег и уже ни на что не надеющимся… Причина, по которой последние несколько лет я более „печален“, нежели обычно, заключается в том, что я все больше и больше сомневаюсь в ценности созданного мною материала. За это время враждебная критика значительно подорвала мою веру в собственные литературные способности».

Он спасается от этой печали, писал он ей, посредством рационального анализа. Гневаться не на что, поскольку его неудачи – результат его собственной ограниченности и невезения, а не злобности порочного мира. Со своей молодостью,

красотой, талантом и многосторонностью Хелен в тысячу раз состоятельнее, нежели он. «Так что… во имя Цатоггуа, ободритесь!»[613]

5 июня 1935 года, выслав заблаговременно пару старых брюк для пальмовых лесов Флориды, Лавкрафт отправился погостить к Барлоу; девятого он приехал. На этот раз Барлоу-старший был с семьей.

Барлоу-младший предупредил ГФЛ не затрагивать в присутствии его отца темы секса и религии, но, несомненно, между Лавкрафтом и эксцентричным подполковником не возникало трудностей. На самом деле они пели дуэтом популярные песни начала века, и семья Барлоу уговаривала Лавкрафта оставаться на месяцы. Они даже предлагали ему пробыть у них и всю следующую зиму, но он считал, что должен вернуться к своим книгам и архивам для серьезной работы.

Они взяли его в путешествие на гребной шлюпке по Блэк-Уотер-Крик, дав ему возможность вновь обозреть тропическую реку. Сочетание жары и работы на открытом воздухе наполнили Лавкрафта энергией и придали хорошего настроения: «В этот проект я внес свой физический труд и собственноручно (можете ли вы представить себе Дедулю за настоящей работой?) прорубил дорогу… через пальмовые джунгли от места высадки до прежней дороги к хижине»[614].

Тряхнув своим мастерством наборщика с отроческих времен, Лавкрафт помог Роберту Барлоу напечатать сборник стихотворений Фрэнка Белнапа Лонга «Башня Гоблина». Они держали свою работу в секрете, чтобы сделать сюрприз Лонгу.

Как обычно, Барлоу был полон амбициозных планов. Он собирался переплести листы «Дома, которого все избегали», что напечатал Кук. Он собирался напечатать лавкрафтовский цикл сонетов «Грибки с Юггота» и другие стихотворения.

Относительно стихотворений, Лавкрафт сначала просил своего юного друга «не тратить время на такие банальности». Но Барлоу продолжал настаивать, и тогда Лавкрафт заявил, что предпочел бы замолчать большую часть своей ранней поэзии, и даже: «Я заплатил бы, лишь бы ныне ее никто не увидел». Как бы то ни было Лавкрафт умолял Барлоу исключить все его некогда лелеянные архаизмы вроде «doom'd» («обреченный»)[615].

Ни переплетенная книга «Дом, который все избегали», ни поэтический сборник так и не вышли в свет. Кук выслал Барлоу листы рассказа, но тот сумел изготовить лишь около дюжины книг, которые распродал по доллару. Остальные листы так и остались нетронутыми, когда Барлоу навсегда уехал из Флориды

годом позже, не взяв их с собой.

В конце августа Лавкрафт отправился домой. В Вашингтоне он навестил Элизабет Толдридж. Прежде он увиливал от этой участи: из-за нехватки денег – говорил он ей; из-за страха перед скукой – признавался он остальным. На этот раз «тетушке Лиз» не довелось поскучать, потому что все разговоры взяла на себя другая старая леди.

В Нью-Йорке Лавкрафт с его темным загаром показался Лонгу сильно помолодевшим. Он вернулся домой через три месяца и девять дней после отъезда.

Осень 1935 года Лавкрафт провел дома, лишь изредка отправляясь в путешествия по Новой Англии. В некоторые его приглашал его бостонский друг Коул, в том числе и в поездку 21 сентября в Уилбрахэм, штат Массачусетс (лавкрафтовский «Данвич»)[616].

Восьмого октября Лавкрафт со своей тетушкой совершили экскурсию в Нью-Хейвен. Более семи часов, пока Энни Гэмвелл была в гостях у старой подруги, он бродил по городу, любуясь колониальными реликтами и восторгаясь архитектурой зданий Йельского университета.

В конце года он по обыкновению нанес визит Лонгам в Нью-Йорке. Он познакомился с публиковавшимися в дешевых журналах писателями Артуром Дж. Бёрксом и Отто Байндером и любителем (а позже писателем и редактором) Дональдом А. Уоллхеймом. Впервые с 1931 года он увиделся со «старым добрым Сибури Куином».

Лавкрафт присутствовал на обеде Американской литературной гильдии, где «увидел порядочное количество писак из дешевых журналов, чьи имена хорошо известны читающему пролетариату». Он весьма горевал по поводу коммерческого успеха, которого добились своими рассказами Фрэнк Лонг и Дональд Уондри, будучи уверенным, что он превратит их в «писак из дешевых журналов», как это уже произошло, по его мнению, с Э. Хоффманном Прайсом и К. Л. Мур. «А ведь когда-то они были парнями от литературы!»[617] – скорбел он.

За исключением перерыва во Флориде, весь 1935 год Лавкрафт занимался «призрачным авторством». Прайс снова уговаривал его заняться совместной работой, обещая, что, когда рассказ будет продан, все деньги пойдут на поездку Лавкрафта в Калифорнию. Но Лавкрафт каждый раз – наверное, столько же, сколько говорил и о путешествии на Дальний Запад, – отговаривался: рассказ не продастся, и не стоит расточать деньги на билет для «скучного старого чудака».

Адольф де Кастро также продолжал преследовать Лавкрафта, чтобы тот взялся за его трактат «Новый путь». И хотя Лавкрафт неоднократно зарекался больше не работать на него, он не мог устоять перед теми, кто решительно добивался его поддержки. Он сообщил, что «опрометчиво пообещал помочь» де Кастро с его бессмыслицей, поскольку ему было не удобно «отказывать старине… Он и в самом деле щедр и приятен»[618]. В итоге Лавкрафт согласился, вопреки здравому рассудку, сделать общую редакцию работы без всякой оплаты. Он обнаружил в ней столько исторических ошибок, что посоветовал де Кастро переписать ее в виде романа.

В 1935 году Лавкрафт и его юный корреспондент Роберт Блох из Милуоки разыграли литературную шутку. В начале года Блох написал короткий рассказ – «Шаркающий со звезд» («Виэрд Тэйлз», сентябрь 1935 года). Герой рассказывает, что он переписывался с неназванным «сновидцем-мистиком из Новой Англии». От этого отшельника он узнал о «Некрономиконе» и других книгах запретных верований. После бесплодных поисков этих зловещих изданий рассказчик наталкивается на экземпляр книги Людвига Принна «De Vermis Mysteriis», или «Мистерии червя», название которой придумал Лавкрафт.

Рассказчик привозит книгу в Провиденс, чтобы показать ее «сновидцу-мистику». Тот взволнованно читает вслух одно из заклинаний. Вслед за этим появляется невидимая Тварь со щупальцами, хватает сновидца и досуха выпивает всю его кровь.

Блох спросил разрешения у Лавкрафта уничтожить его таким образом. Лавкрафт придрался к тому, что он изображен курящим трубку, остальное же одобрил. Блох убрал трубку и получил расписку:

Провиденс, Род-Айленд
30 апреля 1935 г.
Для предъявления по месту требования:
Настоящим подтверждается, что Роберту Блоху, эсквайру, проживающему в Милуоки, штат Висконсин, США – воплощению господина Людвига Принна, автора «De Vermis Mysteriis» – всецело разрешается изображать, убивать, уничтожать, расщеплять, видоизменять, преобразовывать или обращаться как-то по-другому с нижеподписавшимся в рассказе под названием «Шаркающий со звезд».
[Подпись:] Г. Ф. Лавкрафт[619].

Документ был заверен Абдулом Аль-Хазредом, Фридрихом

фон Юнстом, Гаспаром Дюнором (переводчиком «Livre d'Eibon») и ламой народа чо-чо с Ленга – с правдоподобно сымитированными их родными письменностями.

В следующем ноябре Лавкрафт расправился с Робертом Блохом в рассказе «Обитатель тьмы» (объемом в десять тысяч слов, опубликован в «Виэрд Тэйлз» за декабрь 1936 года). Главный герой рассказа – Роберт Блейк, художник и писатель из Милуоки. Проживая в Провиденсе, Блейк очаровывается огромной старой заброшенной церковью, которую автор создал по образцу католической церкви Святого Иоанна. Блейк узнает, что этот храм некогда использовался в качестве штаб-квартиры зловещей сектой «Звездная мудрость».

Проникнув в церковь, Блейк обнаруживает тайное хранилище заплесневевших оккультных книг, среди которых такие страшные тома, как «Некрономикон» и «Cultes des Goules». Он находит странный предмет – созданный на Югготе Сияющий Трапецоэдр, являющийся «окном во все времена и пространства»[620]. Он также тревожит злобное существо, затаившееся в шпиле…

В этом рассказе итальянцы с Федерал-Хилл, возглавляемые одним из своих священников, выступают на стороне добра. Во время неистовой бури ночью существо готовится выйти, но оно не выносит света. Когда прекращается подача электроэнергии, эти люди выходят со свечами и фонарями, чтобы помешать Твари.

Несколькими годами позже Блох написал третий рассказ из этой серии, «Тень из шпиля» («Виэрд Тэйлз», сентябрь 1950 года). Некий доктор Амброз Декстер исследует Сияющий Трапецоэдр – что приводит к зловещим последствиям.

Лавкрафта уговорили еще два раза нарушить его правило против совместных работ. Одним из его корреспондентов был Уильям Ламли, «который утверждает, будто он – старый моряк, повидавший невероятные чудеса во всех частях света и изучавший труды по Древней Мудрости намного значительней ваших „Cultes des Goules“ и моего „Некрономикона“». Ламли убедил Лавкрафта переписать его рассказ «Дневник Алонзо Тайпера».

Результатом явился рассказ среднего разряда «Виэрд Тэйлз» о человеке, который, движимый «каким-то непостижимым побуждением» исследовать «нечестивые тайны», переезжает в загадочный дом близ Аттики, штат Нью-Йорк. В нем он обнаруживает подвал, испещренный резными таинственными символами, с запертой железной дверью, из-за которой доносятся угрожающие шаркающие и ползающие звуки, а под конец появляется Тварь, посланная из «чудовищного, древнего как вечность запретного города Йан-Хо», чтобы уничтожить его. В

рассказ включены элементы Мифа Ктулху – планета Йаддит, «Livre d'Eibon» и «Йа! Шуб-Ниггурат!»

Лавкрафт не только переписал этот рассказ, но и настоял, чтобы Ламли оставил себе все семьдесят долларов, вырученные при его продаже, потому как ему «необходимо поощрение»[621]. Рассказ был опубликован в февральском выпуске «Виэрд Тэйлз» в 1938 году за авторством одного Ламли. В благодарность Ламли выслал Лавкрафту перевод Баджа египетской Книги мертвых.

В январе 1936 года молодой друг Лавкрафта Кеннет Стерлинг предложил ему сообща поработать над рассказом «В стенах Эрикса» – единственным традиционным рассказом о космических путешествиях, к которому приложил руку Лавкрафт. Он был сдержан во мнении относительно межпланетных полетов. Он полагал, что беспилотные ракеты на Луну появятся лишь через много лет. Космические полеты человека не представлялись ему чем-то невозможным, но были маловероятны, потому как «для отчаянных усилий, сопряженных с крупными жертвами, не существует здравых оснований», если только «перед концом существующей цивилизации какой-то совершенно новый принцип не позволит людям добраться до Луны и, возможно, Марса и Венеры».

Главный герой рассказа разыскивает в джунглях Венеры что-то вроде энергетического кристалла, распространенного здесь и являющегося объектом поклонения венерианских «человекоящериц». Он попадает в прозрачный лабиринт и не может найти выход…

Стерлинг ранее уже продал три своих рассказа «Уандер Сториз». Судя по стилю, Лавкрафт внес своего в «В стенах Эрикса» («Виэрд Тэйлз», октябрь 1939 года, с указанием совместного авторства) много меньше, нежели в рассказ Ламли. Впоследствии из-за учебы на медика Стерлинг оставил литературную карьеру.

В 1935 году Лавкрафт также принял участие в любительском проекте. Молодой любитель из Бруклина, Джулиус Шварц, работал литературным агентом по научной фантастике и редактировал фан-журнал «Фэнтези Мэгэзин».

В начале года ему пришла в голову идея кругового рассказа. По его замыслу части рассказа должны были написать пять писателей в следующем порядке: 1) Кэтрин Л. Мур, 2) Фрэнк Белнап Лонг, 3) Абрахам Меррит и 4) Г. Ф. Лавкрафт; пятую, заключительную часть Шварц намеревался поручить Кларку Эштону Смиту и Эдмонду Гамильтону, но оба они под благовидными предлогами отказались.

Рассказ назывался «Вызов из вне». Мисс Мур написала первую

часть, Лонг вторую. Когда же рукопись дошла до Меррита, тот заупрямился, заявив, что Лонг слишком отклонился от начальных положений. Он объявил, что не будет ничего писать, если только Шварц не откажется от части Лонга и не даст переписать ее ему.

Благоговея перед авторитетом Меррита, Шварц уступил. Лавкрафт бы возмущен «неспортивным» поведением Меррита, Лонг же в ярости покинул проект.

У Лавкрафта рукопись оказалась, когда он был во Флориде, и свою часть он написал в Чарлстоне, во время возвращения домой. В Нью-Йорке он уговорил Лонга забыть о недовольстве и занять последнее место в списке авторов. Тем временем для написания четвертой части Шварц привлек Роберта Э. Говарда. Составной рассказ был опубликован в «Фэнтези Мэгэзин» за сентябрь 1935 года.

Нет ничего удивительного, что рассказ является скорее занятным curiosum[622], нежели литературным шедевром. Объемом примерно в шесть тысяч слов, он начинается повествованием К. Л. Мур о Джордже Кэмпбелле, который заночевал в канадском лесу и нашел потертый кубик кварца, обладающий загадочными свойствами. Вторая часть Меррита лишь сгущает атмосферу: «Его охватило какое-то гнетущее чувство, словно от соприкосновения с чем-то чуждым»[623].

В третьей, средней части, которая теперь была за Лавкрафтом, начинается самое активное развитие сюжета. Лавкрафт положил, что эти кварцевые кубики разослали по всей вселенной цивилизованные обитатели далекой планеты Йекуб, имеющие обличье гигантских многоножек. Когда жители планет, на которые попали эти устройства, изучают их, многоножки обмениваются с ними разумами. Итак, Джордж Кэмпбелл оказывается в теле многоножки.

Когда он видит себя в зеркале, то в подлинной лавкрафтовской манере падает в обморок.

Следующая часть была написана Говардом. Когда Кэмпбелл приходит в себя, это уже не немощный лавкрафтовский антигерой, но говардовский супергерой – Конан среди многоножек. Он выхватывает острое орудие, убивает главную многоножку, допрашивавшую его, и мчится по зданию. Он убивает направо и налево, пока не завладевает светящимся шаром, которому поклоняются многоножки. Так он становится императором планеты.

Последняя часть была за Лонгом. В то время как Кэмпбелл в теле многоножки восходит к славе, его земное тело не подчиняется вошедшему в него йекубскому разуму. Существо превращается в слюнявого идиота и умирает.

В начале 1936 года Лавкрафт занялся еще одной работой из области любительского сочинительства. Это был небольшой очерк, или эссе, под названием «История Некрономикона». Эта мистификация в семьсот слов в псевдонаучном стиле начинается: «Первоначальное название книги – „Аль Азиф – Азиф“, слово, которым арабы обозначали ночные звуки (издаваемые насекомыми), принимавшиеся ими за вой демонов.

Написана Абдулом Альхазредом, безумным поэтом Саны (Йемен), расцвет творчества которого пришелся, по некоторым сведениям, на времена правления халифов Омейядов, приблизительно VIII в. н. э. Он посетил развалины Вавилона и катакомбы Мемфиса и провел десять лет в великой южной пустыне Аравии, известной у древних арабов под названием Руб-Эль-Хали, что означает „пустошь“, а у современных – Дахна, то есть „багровая пустыня“. Согласно преданиям, эта пустыня населена злыми духами-хранителями и смертоносными чудовищами. Те, кто, по их утверждениям, побывал там, рассказывают о ее чудесах много странных и неправдоподобных историй. Последние годы своей жизни Альхазред провел в Дамаске, где и был написан „Некрономикон“ („Аль Азиф“), и о его смерти или исчезновении (в 738 г. н. э.) ходит множество ужасных и противоречивых толков. Согласно биографу XII века Ибн Халликану, он был средь бела дня на глазах у застывших от ужаса очевидцев схвачен и сожран невидимым чудовищем. О его безумии также существует множество рассказов. Он утверждал, что видел легендарный Ирем, или Город Столпов, и что в руинах некоего покинутого безымянного города обнаружил ужасающие летописи и тайны расы, которая древнее человечества. Он не был фанатичным мусульманином и поклонялся неизвестным Существам, которых называл Йог-Сотот и Ктулху».

Далее следует отчет о различных изданиях «Некрономикона», в том числе и о его запретах властями. Затем резюме:

«1. „Аль Азиф“ написан приблизительно в 730 г. в Дамаске Абдулом Альхазредом.

2. Переведен на греческий Теодорием Филетасом как „Некрономикон“ в 950 г.

3. Сожжен патриархом Михаилом в 1050 г. (греческий текст) … Арабский текст утерян.

4. Олай переводит греческий текст на латынь в 1228 г.».

В 1938 году Уилсон Х. Шеперд, любитель из Алабамы, издал этот небольшой розыгрыш в виде брошюры. Очерк

перепечатывался несколько раз, обычно как «История и хронология Некрономикона».

Лавкрафт набросал эссе, не проверив приводимые факты, ибо в работе содержатся ошибки. Например, реально существовавший Олай Вормий жил в шестнадцатом-семнадцатом веках, а не в тринадцатом. Тем не менее научные выдержки и ссылки Лавкрафта многих убедили в существовании книги, и они изводили библиотекарей и книготорговцев требованиями предоставить ее. В картотеку библиотеки Йельского университета была подсунута учетная карточка на нее. Один остроумный книготорговец, Филип К. Душниз из Нью-Йорка, выставил в своем Каталоге № 78 экземпляр латинского издания за триста семьдесят пять долларов.

Однажды «Некрономикон» едва не материализовался. В конце тридцатых годов Мэнли Уэйд Уэллман, писавший тогда для дешевых журналов, а позже ставший профессором в Северной Каролине, зашел в подвальный книжный магазинчик в Нью-Йорке, в котором книги едва удерживались на провисших полках и все было покрыто толстым слоем пыли. Маленькая старуха, выглядевшая так, словно только отложила в сторону метлу, спросила его, что его интересует. Посмеиваясь, Уэллман ответил:

– У вас случайно нет «Некрономикона»?

– Ну почему же, есть, хи-хи, – захихикала старая карга, – правее… почти… вот он![624]

Это была ложная тревога – она его не расслышала, но Уэллман испытал некоторый шок.

В 1935 году, хотя Лавкрафт и заявил, что впредь не сможет уделять много времени любительской печати, он все-таки внес в нее еще один значительный вклад: Морис Мо уговорил его написать для своего журнала статью в пятнадцать тысяч слов о римской архитектуре. Лавкрафт отослал ему лишь черновик. Когда стало ясно, что Мо не опубликует работу, Лавкрафт попросил вернуть ему рукопись, так как Хайман Брадофски хотел напечатать эту статью в своем «Калифорниан» («Калифорниец»). В декабре 1935–го Лавкрафт стонал: «Полагаю, мне придется ее напечатать».

Но, как оказалось, он был пощажен от этой изнурительной работы: Мо потерял рукопись. Эта статья – одна из трех значительных работ Лавкрафта, не считая писем, о которых известно, что они утрачены.

Некогда он написал рассказ для неизвестного клиента о жабоподобном боге Цатоггуа Кларка Эштона Смита. Клиент отослал рассказ в «Виэрд Тэйлз», но Райт не принял его, и с тех пор об этом произведении ничего не известно.

Также Лавкрафт рассказывал, что у его случайного знакомого, с которым он сошелся во время прогулок по улицам Провиденса, был «…написан рассказ о реальном случае. Жила некогда девушка, работавшая горничной в гостинице на Бенефит-стрит, потом она уехала и вышла замуж за богатого. Некоторое время спустя она вернулась и остановилась в той самой гостинице. Но с ней обращались грубо и пренебрежительно, так что она съехала, наложив при этом „проклятье“ на гостиницу, всех, кто ее унижал, и на все, связанное с гостиницей. Тотчас же на всех обрушились явные неудачи, а сама гостиница сгорела дотла. Более того, каким-то образом на том месте больше никому не удавалось снова построить что-либо. Даже тогда, когда Г. Ф. Лавкрафт рассказывал нам эту историю, место, где некогда стояла гостиница, до сих пор было пустым.

Лавкрафт закончил рассказ, но, не отпечатав по обыкновению машинописной копии, сделал лишь один экземпляр рукописи, который затем отослал издателю. Его рассказ так и не появился в печати. Он затерялся на почте».

Лавкрафт писал о своем творчестве: «Я почти совсем исчерпался в том стиле, которому следовал… Вот почему я постоянно экспериментирую в поисках новых способов отображения настроения, которое хочу описать». «Подлинный художник», полагал он, должен полагаться не на сюжет и событие, а на настроение и атмосферу. Лучшие страшные рассказы – это те, в которых рассказчик является пассивным наблюдателем, каковым он сам часто бывал в своих снах. Но дух времени, был уверен Лавкрафт, не расположен к подобному творчеству: «Фантазия – это выражение субъективной, а не объективной жизни – настроения, а не событий, – и та манера, в которой я пишу, отображает настроение, окрашенное традицией. Это полностью противоречит современному вкусу. Сегодня спрос на реальность – а если и не на объективную реальность, то на некий психоанализ настроения, который исключает традицию и больше имеет дело с грубыми эмоционально-психологическими сложностями, нежели с чистым созидательным воображением»[625].

Он все еще отстаивал свою позицию «искусство-ради-искусства»: «Хорошее сочинительство не может иметь иной мотивации, кроме стремления автора к выразительности и гармоничному облачению в слова…» Коммерческий рынок приводит писателя «к ухудшению его стиля во исполнение низкопробных редакторских требований». Следовательно, писатель должен извлекать доход из какого-то другого источника, нежели сочинительство. «Если я не смогу зарабатывать деньги, не

извращая свое сочинительство, то лучше умру с голоду… Мне не известен какой-то иной повод продолжать жить, кроме как пытаться делать ту единственную вещь, что представляется мне достойной»[626].

При всех переменах в своих взглядах в последние годы жизни Лавкрафт так и не дрогнул в своем антикоммерциализме. Скорее, наоборот – как раз тогда, когда он стал дружелюбнее относиться к представителям национальных меньшинств, он стал более твердо противостоять духу конкурентоспособного бизнеса.

«Любая хорошая работа, – писал он, – должна исходить из подсознания», без оглядки на рынок. Клиентура дешевых журналов – «безнадежно пошлая и тупая чернь». «Коммерция более или менее отвратительна всем видам искусства… Чернь и торговцы… ненавидят всю хорошую литературу». «Стимул к получению прибыли не имеет какого бы то ни было значения для любой работы, даже отдаленно связанной с подлинным искусством»[627].

Лавкрафт признавал, что его точка зрения не только непрактична, но даже вредна для его выживания. Споря о перепечатке старых рассказов в «Виэрд Тэйлз», он объяснял: «Если это „плохой бизнес“, тогда я говорю: к черту бизнес! Теоретически я способен понять вашу точку зрения в этом вопросе – но в моей сущностной философии жизни глубоко укоренилось противоположное убеждение. Я никак не могу одобрить коммерциализм как конечную цель и испытывать постоянную или искреннюю общность с его методами. Конечно же, необходимо, чтобы каждый человек был обеспечен едой, одеждой и жильем, но я не в состоянии приучить себя к идее приобретения как к важнейшей цели. То есть я не могу думать о затрачивании усилий в непосредственных терминах прибыли. Для меня цели заключаются в 1) создании, если возможно, чего-то внутренне качественного и 2) удовлетворении истинных потребностей. Если мое собственное выживание не может быть обеспечено как побочное по отношению к достижению этих целей, то тогда я убежден, что что-то неправильно. Вот только что мне делать в этом случае, я не могу сказать – но признание трудности никак не изменяет мои главные инстинкты и чувства… Действительность заключается в том, что я всегда нахожусь в летаргическом бездействии, за исключением случаев, когда действую исходя из того или иного побуждения, которое представляется мне обоснованным и целесообразным, – создания чего-то хорошего, насколько только я способен сделать это, и выполнения работы, которую необходимо выполнить».

Лавкрафт не был, как это ему нравилось думать,

объективным и беспристрастным. Не существует объективной меры «внутренне качественного»: она пребывает в суждении взирающего. Понятия качественности различаются даже среди культурных и знающих людей.

Точно так же и представление о том, «выполняет» ли кто «работу, которую необходимо выполнить» или «удовлетворяет» ли он «истинные потребности», – субъективно, ибо кто может судить, какие потребности истинны? Люди значительно разнятся относительно правильных «потребностей» во всех жизненных ситуациях. Так что в действительности заявление Лавкрафта представляет собой требование права делать все то, что ему нравится делать. Если же в ответ мир не будет его поддерживать, то тогда с этим миром что-то неправильно.

Конечно же, стремления Лавкрафта были альтруистичными. Но в современном мире нет места для внештатных святых. В нем не принято заботиться о тех, кому, в остальном физически и умственно способным, не достает обычных внутренних импульсов для самосохранения и самопродвижения.

Весной 1936 года Лавкрафт узнал, что Морис Мо намеревается посетить Конференцию писателей «Буханка хлеба»[628] в Вермонте. Это старейшая в стране писательская конференция подобного рода.

При здравом взгляде на писательство как на профессию умеренное чтение книг из разряда «как писать», курсы по писательству и писательские конференции могут быть полезны для начинающего писателя с природным талантом. По крайней мере, они могут научить новичка избегать некоторых из тех ошибок, что совершал в своей карьере Лавкрафт.

Для Лавкрафта, однако, любое столь реалистичное, практичное или, как он сказал бы, «коммерческое» было неприемлемо. О писательской конференции он сказал: «Мне не особенно нужна „артистическая“ атмосфера, и я не доверяю любому влиянию, благодаря которому кто-то считает себя „писателем“, а не просто гармоничным отдельным представителем общества. Мой идеал – джентльмен широких интересов – философских, научных, исторических, гражданских, литературных, эстетических, развлекательных и т. д. – в собственной наследственной обстановке, занимающийся искусствами как простым спонтанным и бессознательным дополнением к основному процессу жизни». Несмотря на достойную репутацию «Буханки хлеба», Лавкрафт заявил, что даже «если кто-нибудь предоставит мне деньги на поездку туда, я, скорее всего, потрачу их на путешествие в Чарлстон или Сент-Огастин!»[629].

В последние месяцы жизни у Лавкрафта развился интерес к экономической теории. Изменило бы изучение экономики его феодально-аристократический взгляд на бизнес и коммерцию – этого мы никогда не узнаем.

Лавкрафт мрачно продолжал писать, что отказ Райта от «В горах Безумия» «сделал больше, чем что-либо другое, чтобы завершить мою действенную литературную карьеру» и что «… после „В горах Безумия“ все было… провалом… Мне просто недостает того – чем бы это ни было, – что дает возможность настоящему художнику передавать свое настроение… От того, что я хочу делать, я дальше, чем был двадцать лет назад»[630].

Тем не менее конец 1935 года был ободряющим. Джулиус Шварц уговорил Лавкрафта позволить ему попытаться продать «В горах Безумия». Вскоре он сообщил, что продал повесть «Эстаундинг Сториз» за триста пятьдесят долларов. За вычетом десяти процентов комиссионных Шварцу Лавкрафту досталось триста пятнадцать.

Примерно в то же время (октябрь 1935–го) у Дональда Уондри оказалась рукопись «Тени безвременья», напечатанная Барлоу. Уондри отослал рассказ Ф. Орлину Тремайну[631], редактору «Эстаундинг Сториз». Тремайн купил его тоже, за двести восемьдесят долларов, все из которых отошли Лавкрафту.

Когда рассказы были опубликованы, Лавкрафт громогласно раскритиковал редактирование Трейманом его орфографии, пунктуации и разделения на абзацы. Тем не менее пятьсот девяносто пять долларов были самой большой суммой, которую Лавкрафт когда-либо получал за свои сочинения за столь короткое время. Он почти развеселился: «…Это происшествие определенно обнадеживает и, возможно, открывает для меня новый период напряженного сочинительства». «Я должен позволить Шварцу… торговать другими своими вещами»[632].

Дома Лавкрафт сражался со своими архивами и документами. Он осознал, что был столь небрежен, одалживая книги и рукописи, что теперь не знал, где находится большинство из них. «В одалживании всегда есть определенный риск – но книги о сверхъестественном так трудно достать, что их владелец чувствует себя просто эгоистом, если отказывается ухватить шанс и разделить свою удачу с товарищами-энтузиастами».

Более чем когда-либо одержимый прошлым, он играл со своей тетушкой в причудливую ностальгическую игру, «… представляя, что календарь обратился назад к 1898, 1900, 1902 году или к другому подобному, и разговаривая так, как

разговаривали в тот период… упоминая магазины, игры, песни, трамвайные маршруты, новости, виды, окружение и повседневную деятельность, процветавшие тогда, исключая при этом все анахроничные выражения и указания»[633].

В январе 1936 года, после возвращения Лавкрафта из Нью-Йорка, настала следующая суровая зима. Еще более усугубляя его зимние страдания, на него обрушился грипп. Лавкрафт также жаловался на болезнь глаз и «скверное пищеварение». «Порой мои глаза отказывают без всякого предупреждения – порождая нечто вроде вихреобразного видения, которое тотчас приводит к прекращению дневных трудов».

Затем, когда его грипп прекратился в феврале, оставив «меня слабым, как тряпка»[634], Энни Гэмвелл подхватила более тяжелую форму болезни. Семнадцатого марта ее положили в больницу. Там она провела две недели и еще столько же в санатории для выздоравливающих, вернувшись на Колледж-стрит, 66 лишь в конце апреля.

Возможно, глазной недуг Лавкрафта был результатом простой небрежности к обследованию у окулиста и получению новых очков. Заболевание же пищеварительной системы было, однако, совсем другим делом. Месяцы спустя, когда январский вирус уже давно отступил, Лавкрафт все еще жаловался на болезнь пищеварения, называя ее «гриппом».

На самом деле это был рак толстой кишки. Блокируя его кишечный тракт, он вызывал постоянно усиливающийся запор. В феврале 1937 года, более чем через два года после первого появления дисфункции, Лавкрафт писал: «В скором времени узнаем, что скажет врач»[635], – подразумевая, что он до сих его не посещал.

Врачи говорили мне, что даже в тридцатые годы, если бы заболевание Лавкрафта было выявлено на ранней стадии – скажем, в 1935–м, – у него были бы вполне благоприятные шансы на удачную хирургическую операцию. Бостон был и остается одним из передовых центров медицины в мире.

То, что Лавкрафт не проконсультировался у врача раньше, может быть объяснено несколькими причинами. Одна из них – его бедность, хотя я уверен, что Энни Гэмвелл более чем охотно помогла бы своему единственному племяннику. Другой фактор заключается в том, что в тридцатые годы регулярное обследование у врача и дантиста по общим нормам не было столь распространено, как сейчас.

Однако самым большим препятствием были привычки Лавкрафта. Он упрямо гордился пассивным, фаталистическим

отношением к своему здоровью, и вплоть до описываемого периода это действительно сходило ему с рук. У него до сих пор были собственные зубы, несмотря на то что он буквально обжирался сладостями и посещал стоматолога лишь раз в пять лет.

В апреле 1936 года Роберт Барлоу снова пригласил Лавкрафта во Флориду. Он отказался: «Болезнь моей тети, плачевное состояние казны и полнейшее расстройство моей писательской программы (для которой отсутствие моей библиотеки будет огромной помехой) – все вместе осуждают идею беспечной миграции». Он также отклонил приглашение Лонгов.

Он жаловался на неотвеченные письма, работу по любительской печати, навязанную другим, позаимствованные книги, до сих пор не прочтенные, и на периодически повторяющуюся болезнь глаз. Он писал: «Моя программа совершенно разбита вдребезги, и я почти на грани нервного срыва. Моя способность концентрироваться столь мала, что у меня уходит около часа на то, что обычно я делаю за пять минут…»[636] Он надеялся, что взамен Барлоу приедет на Север навестить его.

Зима и весна 1936 года прошли спокойно. Друг Лавкрафта по любительской печати Энн Тиллери Реншоу поручила ему крупную работу по «призрачному авторству»: по ее заметкам и черновикам написать учебник для Школы речи Реншоу под названием «Культурная речь».

Поначалу Лавкрафт намеревался просто слегка отредактировать рукопись, но миссис Реншоу написала: «И не смейте давать моей рукописи от ворот поворот!» Ей нужна была полная обработка. Вскоре Лавкрафт обнаружил, что должен вывести миссис Реншоу из заблуждений относительно совершенно устаревших идей, вроде таких, что язык возник из божественного откровения или что английский произошел от древнееврейского. Когда она спросила его о размере оплаты, он ответил: «Расценку можно обсудить позже – я полагаю, что любая назначенная вами сумма (с учетом текущих прецедентов) будет достаточной».

Миссис Реншоу ожидала, что ее книга будет готова к печати к зиме 1936 года, но Лавкрафт все тянул и тянул. Его клиентка продлила крайний срок до 1 мая, а затем и до 1 сентября. Письма миссис Реншоу, поначалу переполняемые благодарностями за помощь, с течением времени становились все суше.

И хотя Лавкрафт работал по шестьдесят часов подряд, он смог представить рукопись лишь 19 сентября. Когда миссис

Реншоу прочла ее, он попросил вернуть ее для окончательной доработки. Цена все еще не была назначена, но Лавкрафт говорил друзьям, что надеется получить двести долларов. Миссис Реншоу заплатила ему сто.

Вместо того чтобы вернуть рукопись, она сама внесла в текст значительные сокращения и немедля отдала ее в типографию. К концу года книга была напечатана. Конечно, хотелось бы сказать, что Лавкрафт – после всех своих трудов – произвел нечто достойное. Однако с академической точки зрения «Культурная речь» была просто катастрофой. Эта небольшая книжка не организована, поверхностна, неумела и бесполезна.

Во вводной части по языку Лавкрафт по-прежнему смешивает понятия языка и расы – например, так называемых арийцев. Глава «Правильные предложения» безнадежно запутана. В разделе о произношении Лавкрафт рекомендует такое редкое и устаревшее произношение, как «inDISoLUble», «conCENtrate» и «ProFEEL» (для «profile»)[637]. Нет никаких признаков того, что миссис Реншоу или Лавкрафт читали какую-либо современную научную работу по фонетике. У Лавкрафта была книга Уильяма Рассела «Ортофония, или совершенствование ораторского искусства» (1869), и, по-видимому, он положился на этот чрезвычайно устаревший учебник как на авторитетный источник.

Я полагаю, что помимо ухудшающегося здоровья Лавкрафта подвел один из аспектов его джентльменского комплекса. Он заключался в представлении, что любой джентльмен высокой культуры ipso facto[638] подходит для работы со специальным предметом лучше, нежели какой-нибудь неряшливый специалист. Благовоспитанный и начитанный джентльмен вроде него самого, с большим опытом сочинительства и редактирования и с продолжительным увлечением развитием и произношением английского языка, знает все, что необходимо для знания предмета. Он ошибался.

Лавкрафт продолжал посещать лекции. Он прослушал лекции о современном искусстве, Платоне, Древней Греции, Джилберте Стюарте, серебряных дел мастерах колониального Род-Айленда, китайской цивилизации, руинах майя и скорости света. Он присутствовал на праздновании трехсотлетия Род-Айленда: «Празднества трехсотлетия Род-Айленда 4 мая открылись шествием в колониальных костюмах, начавшимся от университетских ворот… и продолжившимся вниз по холму к старому зданию рынка, где к нему присоединился губернатор Грин в коляске, сохранившейся с восемнадцатого века. Затем отряд проследовал к стосемидесятипятилетнему Дому Колоний

на Норт-Мэйн-стрит, где была устроена пародия на заседание бунтарского законодательного собрания 4 мая 1776 года, на котором депутаты-мятежники предательски отреклись от законной власти Короля и Парламента. На этом заседании – проводившемся сто шестьдесят лет назад – роль каждого законодателя-бунтовщика исполнялась определенным потомком по прямой линии; губернатор Грин изображал своего предка полковника Арнольда, предоставившего начальный проект изменнической резолюции… Костюмы были столь правдоподобны, а речи (текст полностью сохранился в протоколах настоящего заседания 1776 года) так хорошо читались, что можно было с легкостью вообразить… что годы развеялись… Я едва сдерживался, чтобы не заглушить криками бунтовщиков, призывавших к предательству, или чтобы не зааплодировать тем преданным депутатам, кто настаивал на разумном разрешении существующих трудностей, не прибегая к противозаконному отделению. В конце заседания депутаты произнесли заново принятую формулировку „Боже, храни Соединенные Колонии“ – но я, преданный прошлому и своему наследственному монарху, прошептал без изменений привычные законные слова – „БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЯ!“»[639]

Проводя генеалогические изыскания, Лавкрафт, к своему удовольствию, выяснил, что ведет род от Джона Филда, астронома елизаветинской эпохи, познакомившего Англию с гелиоцентрической системой Коперника. Также он обнаружил, что является семиюродным братом Роберта Барлоу и одиннадцатиюродным Джеймса Мортона.

Лавкрафт прочитал только изданного «Последнего пуританина» Джорджа Сантаяны и был восхищен его «в полном смысле слова выдающимся исследованием стерильной светской культуры, господствовавшей в Новой Англии в девятнадцатом веке… ныне пребывающей в предсмертной агонии».

В конце 1935 года друг Лавкрафта Пол Кук после длительной серии нервных и физических расстройств покинул Новую Англию и поселился в Ист-Сент-Луисе, где стал работать в местной газете. Больше Лавкрафт с ним не встречался.

В июне 1936–го его потрясла смерть Роберта Э. Говарда. При всех талантах, энергии и физической удали Говарда боги, монтируя его, каким-то образом упустили деталь, обеспечивавшую любовь к жизни. Он начал забавляться мыслью о самоубийстве еще в 1923 году.

Среди подростков подобное поведение – обычная вещь, но у Говарда эта идея лишь крепла. В своих письмах он упоминал

«хандру» и «мрачное настроение». Он говорил: «Мой отец – мужчина, и он способен позаботиться о себе, но я вынужден оставаться, пока жива моя мать». В стихотворениях Говард предавался тоске:

Я устал от волн теченья,
От мирского повеленья,
Жаждал я отдохновенья,
Как жених свою невесту.

Взаимная привязанность Говарда и его матери – просто учебник по Эдипову комплексу. Отношения Говарда с его властным, вечно командовавшим отцом можно было назвать двойственными, в которых яростные ссоры чередовались с трогательными примирениями.

Какие бы конфликты ни бушевали в подсознании Говарда, деньги не были для него главной проблемой. Его материальное положение всегда было затруднительным, поскольку расценки за сочинения были низкими, а выплаты часто запаздывали, да еще много средств уходило на лечение его матери. Однако одно время он получал самый большой доход в Кросс-Плейнсе (немногим более двух тысяч долларов в год) – даже больше, чем городской банкир, и это в разгар Великой депрессии.

У Говарда начала проявляться параноидная мания преследования. Он имел несколько пистолетов – его любимым был автоматический револьвер Кольта 38–го калибра, – и привык носить с собой один из них для защиты от «врагов» – которые, вероятно, были вымышленными. Он говорил не без доли истины: «Все равно эти люди вокруг считают меня совершенно чокнутым»[640]. Соседи постоянно спрашивали его, когда он прекратит валять дурака со своими рассказами и примется за работу, в то время как он и работал, и получал гораздо больше, нежели большинство из них.

В тридцатых годах здоровье миссис Говард ухудшилось. Жарким утром 11 июня 1936 года, безнадежно больная раком, она впала в конечную кому. Когда Говард узнал об этом, он вышел из дома, сел в машину и выстрелил себе в голову. Он умер через восемь часов, в возрасте тридцати лет. В своих письмах он намекал на подобное намерение, и доктор Говард давно об этом знал и страшился этого. Лавкрафт писал Прайсу: «Это кажется невероятным – я получил от него обычное большое письмо, датированное 13 мая. Он был обеспокоен здоровьем своей матери, но во всем остальном казался в полном порядке… Никто другой из „банды“ не обладал такой неистовой энергией и

естественностью, как Брат Конан… У этого парня талантливость была гораздо более высокого порядка, нежели могли предположить читатели его изданных работ, и по прошествии времени он оставил бы след в настоящей литературе с элементами народного эпоса своего любимого Юго-Запада… Трудно в точности описать, что именно делало его рассказы такими выдающимися, – но настоящий секрет заключается в том, что он был в каждом из них, были ли они коммерческими по видимости или же нет… Он был едва ли не единственным в своей способности создавать подлинное чувство страха и жуткой неопределенности… И этого титана Судьбе пришлось убить, в то время как сотни лицемерных писак продолжают стряпать дутых привидений, вампиров, космические корабли и оккультные детективы!»

Особый талант Говарда, говорил Лавкрафт, заключался в «описаниях, которые не мог повторить ни один писатель, гигантских мегалитических городов древнего мира, вокруг чьих мрачных башен и лабиринтов подземных склепов сохраняется атмосфера существовавших еще до появления человека ужаса и черной магии»[641]. Но Говард был одержим бесом противоречия даже более сильным, чем был у Лавкрафта.

За 1936 год Лавкрафт предпринял незначительные усилия по продаже своих рассказов. На вопрос об этом он надменно ответил: «Касательно отсутствия проталкивания – в мои дни джентльмен не позволял себе заниматься саморекламой, а оставлял ее мелким выскочкам-эгоистам».

Лавкрафт до сих пор смешивал понятие «джентльмен» в смысле «человек превосходных манер, моральных устоев, культуры и вкуса» и слово в более старом значении «собственник». Занятие любым искусством – живописью, музыкой, драматургией, прозой или поэзией – приобретает форму личного времяпрепровождения художника, или развлечения масс, или пропаганды. В идеализированном представлении Лавкрафта искусство должно быть времяпрепровождением художника, но творчество такого рода требует дохода из другого источника. Его-то Лавкрафту и недоставало, хотя он и вел себя так, как если бы считал, что обязан иметь его в качестве награды за свои джентльменские добродетели.

Таким образом, для искусства остаются развлечение и пропаганда, хотя произведение искусства может одновременно являться и тем, и другим. Поскольку искусство Лавкрафта ни в коем случае не было пропагандой, волей-неволей оно служило для развлечения – то есть было отраслью шоу-бизнеса. В

развлечении же некоторая самореклама необходима, если художник желает получить справедливую награду, не заботясь о том, что его будут считать «мелким выскочкой-эгоистом».

То, что Шварц, действуя в качестве его литературного агента, продал «В горах Безумия», наконец-то вынудило Лавкрафта призадуматься об агентах. Он обратил внимание на то, что из единственных двух знакомых ему литературных агентов – Отиса Адельберта Клайна и Джулиуса Шварца – первый обладал большим авторитетом и более широкими связями.

Шварц хотел продать английскому издателю сборник лавкрафтовских рассказов под общим названием «Цвет из космоса». Лавкрафт дал добро. Летом, пока тот работал над этим проектом, он отослал Райту рукописи «Твари на пороге» и «Обитателя тьмы» «как простую формальность перед тем, как отдать их Шварцу для некоего британского проекта по переизданию»[642]. Райт сразу купил оба.

Лавкрафт не заключил твердого соглашения с Шварцем, равно как и не содействовал другим, кто выказывал интерес к его работам. Когда Лео Маргулис стал владельцем «Уандер Сториз» (переименованным во «Фрилинг Уандер Сториз») и обратился к Лавкрафту, тот выразил сомнение, что «его заинтересует что-либо из того рода, в котором я пишу». А когда Дерлет предложил попытаться продать его сборник, он уговаривал его не тратить «слишком много энергии на этот проект»[643].

В октябре Уилфред Талман объявил, что хотел бы поработать в качестве агента Лавкрафта. Лавкрафт писал: «У меня и в мыслях нет, что он сможет добиться большего, чем кто-либо другой, но, так как он старый друг, думаю, я должен позволить ему попытаться (поскольку дело касается американского рынка) вперед Шварца или любого другого профессионала… После того как он испробует все свои потенциальные рынки и потерпит неудачу (а он несомненно потерпит!), я, возможно, дам попытаться и точно так же ничего не добиться Шварцу».

Вместо того чтобы нанять Клайна – самого опытного агента, которого он знал, – или Шварца – который все-таки продал один из его рассказов, – Лавкрафт предоставил работу неискушенному Талману, «так как он старый друг». Он полагал, что после того, как один агент безрезультатно исчерпает все свои возможности, другой захочет отсылать те же самые рукописи тем же самым издателям во второй раз. Из агентских усилий Талмана ничего не вышло, хотя – учитывая неодолимую тягу Лавкрафта к неуспеху – маловероятно, что любой другой агент смог бы сделать тогда для него больше.

Отношение Лавкрафта было откровенно

непрофессиональным, но, с другой стороны, он никогда и не считал себя профессионалом. Профессионализм и его методы были для него частью «коммерциализма», который он теперь ненавидел и презирал так же искренне, как некогда ненавидел представителей национальных меньшинств и других betesnoires[644]. Сама мысль о разумной организации и твердом следовании курсу, который наиболее вероятно принес бы материальный успех, отвергалась им как неджентльменская и «торгашеская».

Этот антикоммерциализм связан с социалистическими убеждениями Лавкрафта. Он стал социалистом не потому, что был обращен в учение марксизма (а он не был), и не потому, что его сердце обливалось кровью за угнетенных, а из-за своего опыта общения с американским бизнесом. Дело было не в том, что он симпатизировал рабочему классу, хотя он в значительной степени и избавился от своего прежнего снобизма и искренне желал справедливого общества. Дело было в том, что он ненавидел капитализм, «американскую систему бизнеса». Лавкрафт ненавидел его за то, что он наказал его – бедностью и пренебрежением – за неспособность или нежелание принять его напористый, агрессивный, расчетливый, конкурентный, искушенный, эгоистичный и корыстолюбивый дух. Он предпочитал, по его словам, жить в «тихой заводи», находя ее «в тысячу раз привлекательней, чем любое место, где первостепенными остаются уродливые приемы и вульгарные идеалы прибыли», при всем при этом признавая «ограниченность и нетерпимость»[645] своего болота.

Лето 1936 года прошло спокойно. Восемнадцатого июля на два дня приехал Морис Мо со своим сыном Робертом. Двадцать восьмого июля прибыл еще один гость. Лавкрафт писал миссис Реншоу: «Однажды вечером, когда я пришел домой с писательской прогулки по Проспект-Терас…[646] я обнаружил юного гостя, расположившегося в гостиной и окруженного огромным количеством сумок и багажа… Маленький Бобби Барлоу, мой флоридский хозяин в 34–м и 35–м, прибыл на неопределенный срок, требуя максимума экскурсий, разговоров и вообще поглощающего время внимания! Веро!! Парень снял комнату в пансионе на той стороне сада, но, несмотря на такое независимое положение, постоянная ответственность осталась. Он должен увидеть тот или иной музей или книжный магазин… он должен обсудить какую-нибудь новую фантазию или главу из своего будущего грандиозного романа… и так далее, и так далее. Что мог поделать старик – особенно после того, как Бобби сам

был таким великодушным и прилежным хозяином в прошлом и позапрошлом году? Что ж – я проделывал огромную работу в те короткие часы, когда парень удалялся в свое transhortense жилище (и потом он находил смешным, что Дедуля не поднимался до полудня!), но какого продвижения можно было добиться за эти выкроенные обрывки времени против перегруженности графика, в котором и так все уже развалилось?»

Никогда не зарабатывая на жизнь, Барлоу и понятия не имел, во что он обходится своему хозяину; Лавкрафт же – джентльмен, даже если бы это свело его в могилу, – не мог ограничить себя в гостеприимстве, особенно поскольку он сам пригласил своего гостя.

Семья Барлоу развалилась. Бернис Барлоу оставила своего чудаковатого мужа и переехала в Левенуэрт, штат Канзас, где жили ее родственники. Некоторое время спустя супруги развелись; подполковник женился вновь и дожил до 1952 года. Роберт Барлоу намеревался приехать к своей матери в Левенуэрт и поступить в Художественный институт Канзас-Сити. Лавкрафт писал: «Во время его визита у меня был еще один нежданный гость – старый Адольф Данцигер де Кастро, бывший друг Амброза Бирса, а позже мой клиент по переработке… Старый Дольф, которому уже семьдесят семь, все тот же любезный жулик, что и всегда… Он попытался навязать мне безумно невыгодную работу по переработке – но явственно безнадежное состояние моей программы позволило мне отделаться от него, не задевая его чувств. Между тем Бобби Барлоу и я показали ему город и получили немалое удовольствие от его напыщенных воспоминаний о великих. Раз мы сели на какое-то надгробие на запрятанном церковном кладбище на склоне холма, к северу отсюда, и сочинили акростихи (по предложению Барлоу) на имя Эдгара Аллана По – который девяносто лет назад бродил по этому же самому некрополю во время своих приездов в Провиденс»[647].

Первого сентября Барлоу уехал в Канзас. Когда настала зима, Лавкрафт, пренебрегая возрастающими неудобствами от «нарушения пищеварения», продолжал усердно трудиться. Он купил два комода из орехового дерева, чтобы складывать в них книги и бумаги. Захваченный сказками о «пустыне черной крови» в Нью-Мексико, он подумывал о написании рассказа, действие которого происходит в Мексике и на юго-западе Соединенных Штатов. Он намеревался обратиться к Прайсу за помощью, чтобы верно отобразить местный колорит, и начал изучать испанскую колониальную историю.

Лавкрафта пленила идея разрушающего времени, которую он

хотел отобразить во всей ее «ужасной и непостижимой сущности». Несколько лет он забавлялся мыслью о романе объемом с книгу. Его друг Эдкинс писал: «Незадолго до своей смерти Лавкрафт рассказал мне о честолюбивом проекте, отложенном на период, когда у него появится побольше свободного времени, – некой династической хронике в художественной форме, описывающей наследственные тайны и судьбы старинной новоанглийской семьи, запятнанной и проклятой через вырождающиеся поколения некой отвратительной разновидностью ликантропии. Это должно было стать его magnum opus[648], заключающим в себе результаты его глубоких исследований оккультных легенд той зловещей и тайной страны, которую он знал так хорошо; но, очевидно, общая идея произведения лишь начала вырисовываться у него в голове, и я сомневаюсь, что он оставил хотя бы черновик своего замысла»[649].

В октябре Талман уговаривал Лавкрафта приступить к такому роману, чтобы он мог представить образец и краткий обзор «Уильям Морроу энд Компани». Редакторы фирмы отказались от сборника коротких рассказов Лавкрафта, но проявляли живой интерес к произведению подобного рода объемом с книгу. Лавкрафт находил различные предлоги, чтобы не браться за задачу. В феврале он наконец признался, что по состоянию здоровья это для него невозможно, добавив: «Если я когда-нибудь выберусь из этой чертовой передряги, а фирма по-прежнему будет выказывать интерес, мы, возможно, еще поговорим об этом».

В октябре Лавкрафт также посетил собрание «Небоскребов», местного общества астрономов-любителей, находящегося под патронажем Университета Брауна. В январе он получил запрос от одного из издательств на серию статей по популярной астрономии. Понимая, что он отстал от прогресса науки, он начал наверстывать упущенное.

Лавкрафт все так же боролся с перепиской, клянясь сократить ее, но затем сокрушаясь: «…Как, черт возьми, можно отказываться от эпистолярных обязательств, не будучи снобом и хамом?»

На Рождество его юный корреспондент Уиллис Коновер прислал ему человеческий череп из индийского могильного кургана. Лавкрафт назвал его «подходящим подарком»[650] – но ни он, ни даритель не осознавали, насколько подходящим он оказался.

На выборах 1936 года Лавкрафт поддерживал Рузвельта, в то время как Энни Гэмвелл и ее друзья из предпринимательского класса так же решительно стояли за Алфреда М. Лэндона. Один из этих друзей оставил значок Лэндона в форме подсолнечника

для Лавкрафта, который после этого сообщил, что из-за политики «едва не оказался втянутым в семейную междоусобицу!». 21 октября он пошел в Капитолий взглянуть на «единственного первоклассного и дальновидного лидера в Соединенных Штатах» – Франклина Д. Рузвельта.

В то же время несколько его юных друзей-леваков засыпали его коммунистической литературой – такими книгами, как «Кризис капитализма» Джона Стрейчи, «Фашизм и социальная революция» Р. Палма Датта и даже экземплярами «Нью Мэсиз» («Новые массы»). Лавкрафт воспринимал это добродушно: «Парни, неужели вы думаете сделать из вашего дедули коммуниста!»[651] Принявшись за книгу Стрейчи, он признал свое невежество относительно экономики и решил восполнить этот пробел. Он собирался начать с книги Г. Дж. Уэллса «Здоровье, богатство и счастье человечества».

Лавкрафт все так же выступал за последовательные социальные перемены в реформистском или социалистическом ключе. Он считал марксистское преувеличение классового сознания и экономического классового противоречия «ошибочным принципом». «Я осуждаю его в богатом или знатном снобе – и равным образом я осуждаю его в безденежном или трудящемся снобе». Он предвкушал тот день, когда джентльмен будет цениться исключительно за свою культуру, независимо от его состояния или занятия.

Он уверял, что, несмотря на свои нападки на модернистское искусство и архитектуру, он не противится прогрессу в целом. Он всецело выступает за удобства. Красота, однако, требует связи с личным стилем. Обустройство должно быть удобным не только физически, но и психологически. «Нас нельзя оставлять тоскующими по родине и сбитыми с толку посреди чуждого мира странных форм…» То есть обстановка должна быть физически удобной, эстетически гармоничной и по видимости соотноситься с «предшествующими привычными образцами такого же предмета». Здание или предмет геометрической мебели Фрэнка Ллойда Райта[652] теоретически могут быть красивыми, но они не подойдут для «человека с историческим восприятием и развитым чувством групповой целостности»[653]. Некоторые современные архитекторы и психологи согласились бы с этим.

В своей личной жизни Лавкрафт не видел выхода из все возрастающей бедности. Он считал, что у нужды есть одно ироническое преимущество: она защищает «старое безденежное ничтожество» вроде него от коварных женщин. Он с грустью выражал надежду, что ему удастся посетить Старый Свет «и еще глубже погрузиться в поток истории»[654]. Он жалел, что не может

позволить себе «форд Т», который Прайс продавал в Калифорнии за пятнадцать долларов. Лавкрафт любил скорость – как выяснили друзья, возившие его; в повседневной же езде его, однако, вполне устраивали вялые тридцать миль в час[655]. (Принимая во внимание его неумение обращаться с механизмами, возможно, это и к лучшему, что в среднем возрасте он не дал себе волю с машиной).

Он усвоил некоторые уроки о человеческих взаимоотношениях. Во время периодов подавленности в конце двадцатых годов он находил любые контакты с людьми скучными, если у другой стороны не было тех же интересов, чувств и предубеждений, что и у него, и если с ним не соглашались во всем. Естественно, он так и не нашел такого товарища. Теперь у него был более реалистичный взгляд: «Это общее понимание обособленных миров и их деятельности обычно является такой же здравой основой для близости, как и более редкий, а возможно, и вовсе несуществующий феномен идентичности личных миров. По крайней мере, то, благодаря чему я чувствую себя искренним и непринужденным по отношению к кому-либо, не столько идентичность во вкусах, убеждениях и взглядах, сколько уверенность в том, что мои собственные вкусы, убеждения и взгляды не воспринимаются как безумные, непонятные и несуществующие!»[656]

Он даже преодолел свой давнишний этноцентризм, чтобы сказать что-то доброе о чернокожем. Он писал Элизабет Толдридж: «Вам, несомненно, повезло работать вместе со смуглой Элис (которую Барлоу вспоминает со всей теплотой – и чья пенсия, надеюсь, будет благополучно устроена)…»[657]

Он резко осуждал себя в прошлом и извинялся за убеждения молодости. Его длинное автобиографическое письмо Эдвину Ф. Байрду от 3 февраля 1924 года попало в руки его поклонника Коновера, который хотел его опубликовать. Лавкрафт запретил публикацию: «Что же касается того чертова письма – я взираю с досадой на его эгоистическое самодовольство, напыщенные витиеватые пассажи, нарочитую показушность, неуклюжую развязность и черствость в целом. Было бы не так страшно, будь оно написано в двадцать три года – но в тридцать три! Каким же самодовольным, нахальным и эгоистичным болваном я был тогда! Все это кудахтанье о формировании и развитии – мир не видывал большего ничтожества! Мда, оправдание, если таковое имеется, заключается в следующем: инвалидность и изоляция моих прежних лет оставили меня – в тридцатитрехлетнем возрасте – таким же наивным, неискушенным и непривыкшим к отношениям с миром, какими большинство являются в

семнадцать или восемнадцать лет. Как вы видите из письма, я как раз только вырвался из скорлупы уединенности и находил внешний мир таким же новым и пленительным, каковым его находит ребенок. Я и вправду был так опьянен чувством роста – очарован новыми пейзажами (я только что впервые побывал в Нью-Гемпшире, Салеме, Марблхеде, Нью-Йорке и Кливленде) и околдован призрачной мечтой о литературном успехе (первые публикации в „Виэрд Тэйлз“ годом раньше – и будущее рисовалось мне в розовых тонах), – что вся моя психология была психологией запоздалой юности, со всем ее обычным эгоизмом, напыщенным сочинительством, развязностью и хвастливыми устремлениями неоперившегося птенца. Мне трудно восстановить настроение того давнего периода – но почти наверняка я считал себя парнем что надо… Что ж, одно утешение – в 37–м я уже совсем не тот кипучий дурак, каким был в 24–м. Может, я и сейчас не очень-то хорош – но, по крайней мере, годам удалось немного отстроить мое чувство меры, так что я едва ли допущу подобный разгул вздора, как это тошнотворное излияние, уже преданное прошлому»[658].

Лавкрафт объяснил недостатки своего самообразования: «По мере того как шли годы, мое продвижение в знаниях и умении разбираться оставалось прискорбно односторонним и нераспределенным – до некоторой степени из-за полуинвалидности, препятствовавшей и сократившей мое формальное образование (в колледже я не учился совсем) и в известной мере удерживавшей меня от активного общения с практичным миром. В некоторых вещах я был вопиющей противоположностью скороспелости, сохраняя на протяжении долгого периода хронологически взрослой жизни искусственные, книжные и легкомысленно условные представления обо всех видах окружающих реальностей и устроений. Я анализировал и исследовал лишь то, что меня интересовало, – таким образом оставив нетронутыми обширные области и усваивая традиционные заблуждения и предрассудки своей среды (социально, политически и экономически консервативной) относительно фактов и проблем в этих областях».

Опыт Лавкрафта – довод против возникающего каждые несколько лет движения в образовании, которое поощряет студентов изучать то, что им нравится, без обязательных курсов. Лавкрафт объяснил и перемены в своих политических взглядах: «Все это от закоснелой мумии, пребывавшей на другой стороне вплоть до 1931 года! Что ж – тем лучше я могу понять инертную слепоту и вызывающее невежество реакционеров, будучи некогда одним из них. Я знаю, каким самодовольно безграмотным я был –

замкнувшимся в искусстве, естественных (не социальных) науках, поверхностных сторонах истории и старины, абстрактных академических аспектах философии и так далее, – то есть в однобоких стандартных знаниях, которыми, согласно традициям вымирающего строя, было ограничено гуманитарное образование»[659].

Лавкрафт был слишком требователен по отношению к своему самообразованию. То, что ему было необходимо на третьем десятке, было не столько социальными науками (которые в действительности не очень-то и научны), сколько практическим опытом в купле и продаже, найме и увольнении, командовании и подчинении. Ему нужно было найти свой путь в том обширном мире коммерции и производства, который он позже считал таким омерзительным, но без которого не было бы миллионов читателей произведений писателей.

В конце 1936 года болезнь глаз Лавкрафта, по-видимому, прекратилась. Однако его «заболевание пищеварения» обострилось. В добавок к этому зимой 1937–го он жаловался на опухание ног. Этот недуг, вину за который он возлагал на холод, продолжался довольно долго. Он не поехал в Нью-Йорк, хотя Лонги снова его приглашали.

С середины февраля из-за «гриппа» ему пришлось печатать письма. Возможно, он догадывался о природе своей болезни. В письме Дерлету от 17 февраля, рассказав о своем возобновившемся интересе к астрономии, он заметил: «Забавно, что прежние интересы вновь возникают к концу жизни».

Лавкрафт быстро слабел. Он терял в весе, его рвало. Дни он проводил в постели, опираясь на подушки, пытаясь карандашом писать письма и открытки или диктуя их тетушке.

Не позднее чем через день или два после написания процитированного выше письма Дерлету Энни Гэмвелл вызвала доктора Уильяма Л. Лита. Доктор Лит нашел Лавкрафта сидящим в ванной с водой, поскольку это облегчало ему боль. Он прописал ему лекарства и велел вести записи приема пищи.

Специалист, обследовавший Лавкрафта 2 марта, подтвердил подозрение на рак. Десятого марта Лавкрафт лег в Мемориальную больницу Джейн Браун. Поскольку рак уже распространился по телу, врачи не советовали делать операцию. (Хирургическое вмешательство было возможно полтора года назад.) Есть Лавкрафт уже не мог; его кормили внутривенно, утоляя боль морфием.

Изнуренный, раздувшийся от газов и жидкости, испытывавший частые приступы острейшей боли, Лавкрафт все

так же очаровывал сиделок своей джентльменской элегантностью и стоическим мужеством. Он умер рано утром 15 марта.

В его свидетельстве о смерти причины смерти указаны как «рак кишечника, хронический нефрит». Нефрит – воспаление почек – мог быть вызван любым из нескольких факторов. Некоторые источники указывают, что нарушение функции почек было лишь побочным следствием рака, другие же предполагают, что оно было самостоятельным продолжительным заболеванием. Теперь на этот вопрос едва ли можно ответить.

В полдень 18 марта в часовне похоронного бюро «Хорас Б. Ноулес энд Санз» была проведена панихида. Присутствовали четыре человека: Энни Гэмвелл, ее старая подруга мисс Эдна У. Льюис, троюродная сестра Лавкрафта Этель Филлипс Морриш и его друг и коллега по любительской печати из Бостона Эдвард Ш. Коул. Предполагалось, что будут и Эдди, но они подошли, когда катафалк уже отъезжал.

Лавкрафт был похоронен на семейном участке на кладбище Свон-Пойнт. Его могила не обозначена надгробием, но его имя было нанесено на центральный обелиск, где уже были имена его родителей. Он умер в возрасте сорока шести с половиной лет. Пол Кук вспоминал его как «одного из честнейших джентльменов и преданнейших друзей, которых я когда-либо знал»[660].

Глава девятнадцатая. Посмертный успех

Вне измеренья времени и вне
Пространств, снующих как веретено,
Он будет жить – пускай хоть суждено
В безумье войн исчезнуть в миг Земле —
И в вечных поисках нестись в седле
Как вестник иль шпион монархов Пната
Тропою звездною над бездной мрака,
Ведомый богом с маской на челе[661].

К. Э. Смит «Г. Ф. Л.»

Лавкрафт составил завещание 12 августа 1912 года. По нему все отходило его матери; в случае, если она умрет раньше его, – его тетушкам, если же одна из них тоже умрет раньше его – оставшейся из них. То есть его единственной наследницей осталась Энни Гэмвелл. Опись его имущества содержала лишь: «Три (3) векселя, датированные 1 февраля 1911 г., причитающийся остаток с которых не установлен, если же таковой имеется, то он обеспечен (sic) закладной на недвижимость, зарегистрированной в Управлении регистрации актов города Провиденс, штат Род-Айленд, в Книге закладных № 305 на странице 482»[662].

Этот остаток вложений Лавкрафта в каменоломню Мариаоно де Магистриса был оценен в пятьсот долларов. Стоимость его литературного имущества не определялась.

Перед смертью Лавкрафт назначил своим литературным душеприказчиком Роберта Барлоу. У обязанности литературного душеприказчика, хотя и распространенной в литературном мире, нет юридического статуса. Литературный душеприказчик – это просто человек, которого завещатель рекомендует для приведения в порядок своих сочинений: продать оставшиеся

права, организовать завершение и издание незаконченных работ и так далее. Юридический душеприказчик может последовать совету этого человека, но отнюдь не обязан делать это.

Когда Дерлет собирался продавать сборник Лавкрафта, тот передал ему право на публикацию ряда своих рассказов. Некоторые из них уже были всеобщим достоянием, а другие с тех пор вышли из-под охраны авторского права.

29 января 1941 года, через четыре года после смерти Лавкрафта, умерла Энни Гэмвелл. Она завещала Августу Дерлету и Дональду Уондри «в равных долях весь гонорар, который я могу получить за книгу под названием „Изгой и другие рассказы“ Г. Ф. Лавкрафта; упомянутая книга издается, „Аркхэм Хауз“, Саук-Сити, штат Висконсин, 1939 г.»[663]. Все остальное было поровну разделено между ее подругой Эдной У. Льюис и троюродной сестрой Лавкрафта Этель Филлипс (миссис Рой Э.) Морриш.

Недавно вновь был поднят вопрос о наследстве Лавкрафта – из-за его женитьбы, развода с Соней (законность которого оспаривается) и нового брака Сони. Я не буду вдаваться в эти юридические споры, которые до сих пор не разрешены, скажу лишь только, что пока не будет выигран какой-либо иск против завещаний Лавкрафта и Гэмвелл, они могут считаться юридически действительными. То есть наследники Энни Гэмвелл остаются владельцами литературного имущества Лавкрафта, за исключением тех прав, что были переданы другим.

Вскоре после похорон Лавкрафта в Провиденс приехал Барлоу. Он собрал огромное количество рукописей и писем Лавкрафта и отбыл в Канзас, пообещав разобрать бумаги и составить их каталог.

Прошли месяцы. Барлоу передал Библиотеке Университета Брауна некоторые письма и стихотворения Лавкрафта, которые стали основой тамошней лавкрафтовской коллекции. Однако он отвечал на письма туманно, с опозданием или вовсе оставлял их без ответа. Он был занят в Художественном институте Канзас-Сити; за два года пребывания в этом заведении развились его гомосексуальные наклонности.

Дерлет и Уондри, горевшие желанием заняться сборником рассказов Лавкрафта, становились все нетерпеливее. Уондри пребывал в ярости. Кларк Эштон Смит, узнав, что Барлоу не оправдал его доверия и обокрал Энни Гэмвелл, отправил ему резкое письмо, в котором заявил, что из-за его «неэтичного» поведения больше не желает иметь с ним дел.

Дерлет продолжал сотрудничать с Барлоу, хотя и не без трений. В 1938 году Барлоу уехал из Левенуэрта, отправившись

через Мексику в Калифорнию. Перед отъездом он передал остававшиеся у него бумаги Лавкрафта Дерлету и Библиотеке Университета Брауна и больше уже не занимался его литературным имуществом.

Когда Энни Гэмвелл умерла, для оценки книг и бумаг из ее имущества пригласили провиденсского книготорговца Х. Дугласса Дэйнэ. В ее доме он обнаружил множество бумаг Лавкрафта, незамеченных Барлоу, в том числе и десятки рукописей, сложенных грудой перед печью для сожжения. Он выкупил все за семьдесят пять долларов или даже меньше и предложил их за эту же цену (или почти такую же) Университету Брауна. Там какое-то время колебались, но в конце концов удовлетворили его скромные требования.

Барлоу приехал в Лейкпорт, штат Калифорния, и остановился у семьи Беков. Двое из четырех сыновей Беков, Клейр и Гру, были любителями научной фантастики и имели печатный станок. В июне 1938 года их «Фьютайл Пресс» («Пустячное издательство») напечатало «Записи и Тетрадь для заметок Г. Ф. Лавкрафта» под редакцией Барлоу.

Затем Барлоу поссорился с семьей и уехал от них. Решив наконец заняться настоящей карьерой, он заинтересовался мексиканской археологией и в течение нескольких лет изучал этот предмет в Калифорнии и Мексике. Он оказался исключительно способным к языкам и научился бегло говорить не только на испанском, на и на науатле, языке ацтеков. Он стал придерживаться крайних антиамериканских и проиндейских взглядов.

В 1942 году Барлоу получил в Университете Калифорнии степень бакалавра гуманитарных наук и навсегда уехал в Мексику. Он стал выдающимся археологом и возглавил кафедру археологии в Университете Мехико. Совместно с Вигберто Джименезом Морено он твердо обосновал хронологию доколумбовской Мексики.

Все это время, однако, Барлоу энергично продолжал карьеру любовника-гомосексуалиста. Это было задолго до движения за гражданские права геев, а в Мексике к сексуальным отклонениям относились еще менее терпимо, чем в Соединенных Штатах. 2 января 1951 года Барлоу, которого начали шантажировать из-за его отношений с мексиканскими юношами, покончил с собой, приняв смертельную дозу болеутоляющих средств.

Дерлет предложил сборник рассказов Лавкрафта издательствам «Чарлз Скрибнерс Санз», которое выпустило несколько его книг, и «Саймон энд Шустер». Оба отказались от

предложения, но редактор «Саймон энд Шустер» посоветовал Дерлету и Уондри издать книгу самим.

Так они и поступили, назвав свою компанию «Аркхэм Хауз» по лавкрафтовскому вымышленному городу в Новой Англии. Дерлет вложил в дело банковскую ссуду, которую взял на строительство дома, Уондри же наскреб сумму поменьше. В качестве заглавия книги они выбрали «Изгой и другие рассказы», подразумевая не только рассказ «Изгой», но и чувство отчужденности Лавкрафта.

В 1939 году Дерлет и Уондри получили 1268 экземпляров книги, снабженных великолепной суперобложкой Верджила Финлея – молодого художника из Рочестера, штат Нью-Йорк, прославившегося в качестве иллюстратора «Виэрд Тэйлз» и состоявшего в переписке с Лавкрафтом. Огромный том – xiv + 553 страницы мелким шрифтом – содержал почти треть миллиона слов. В него вошли «Введение» Дерлета и Уондри, тридцать шесть рассказов Лавкрафта, а также его эссе «Сверхъестественный ужас в литературе».

На первом Всемирном съезде писателей-фантастов в Нью-Йорке в июле 1939 года готовящаяся книга была анонсирована по предпубликационной цене в три с половиной доллара, после издания она стоила пять. В наши дни розничная цена книги подобного рода составила бы от пятнадцати до тридцати долларов.

«Аркхэм Хауз» получили сто пятьдесят предварительных заказов, но остальная часть издания продавалась так медленно, что исходный тираж оставался в продаже еще четыре года. За это время Дерлет издал под выходными данными «Аркхэм Хауз» сборник своих рассказов и сборник рассказов Кларка Эштона Смита.

Еще в начале сотрудничества Уондри предложил Дерлету опубликовать собрание писем Лавкрафта. Они написали всем корреспондентам Лавкрафта, с кем только смогли связаться, с просьбой одолжить их архивы. Дерлета и Уондри годами заваливали письмами, доставлявшихся в громоздких посылках. Машинистка расшифровывала их, а затем они отправлялись назад.

Итоговая масса расшифровок, общим объемом более двух с половиной миллионов слов, сформировала основу томов «Избранных писем», издававшихся «Аркхэм Хауз» начиная с 1965 года. До настоящего времени вышли три тома; возможно, будут напечатаны еще два[664].

В 1942 году Уондри поступил на военную службу. После этого его работа в «Аркхэм Хауз» сводилась лишь к редакции

писем Лавкрафта. В 1943–м Дерлет издал второй крупный сборник Лавкрафта – «За стеной сна». В него вошли ранние, второстепенные рассказы, повести «Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого» и «Случай Чарльза Декстера Уорда», некоторые совместные произведения, шестьдесят пять стихотворений, а также воспоминания о Лавкрафте В. Пола Кука. Мисс Макилрайт из «Виэрд Тэйлз» отказалась от «Сновиденческих поисков Кадафа Неведомого» – можно понять, почему под ее редакторством дела журнала не пошли лучше.

После того как «Изгой и другие рассказы» и «За стеной сна» распродались, они стали коллекционными редкостями. По мере того как рос интерес к Лавкрафту, росли и цены на эти книги. По последним сведениям, они приносили двести-триста долларов за том. Позже «Аркхэм Хауз» переиздали эти и другие произведения Лавкрафта книгами поменьше.

Дерлет продолжил издавать книги, не только Лавкрафта и свои, но также и других писателей литературы воображения – Блоха, Блэквуда, Вайтхэда, Говарда, Лейбера и Лонга.

Тщательно следя за издержками, он выжимал из своего издательства кое-какую прибыль. Через несколько лет, когда компания оказалась в дефиците, Дерлет покрыл разницу своими писательскими заработками из других областей. Однажды, когда он оказался на мели и не мог заплатить две с половиной тысячи долларов типографии, его выручил доктор Дэвид Г. Келлер, одолжив деньги под честное слово.

После Второй мировой войны несколько любителей научной фантастики учредили схожие небольшие издательские компании. Почти все они не протянули и десяти лет, «Аркхэм Хауз» же на время написания этой книги все еще на плаву[665].

В 1945 году Дерлет написал повесть в духе Мифа Ктулху «Таящийся на пороге». Она основана на фрагментах Лавкрафта, общим объемом в тысячу двести слов, а также на нескольких его заметках. Произведение было издано «Аркхэм Хауз» как совместное Лавкрафта и Дерлета. Подобным образом Дерлет опубликовал еще несколько рассказов из Мифа Ктулху в сборниках «Единственный наследник и другие рассказы» (1957) и «Комната с заколоченными ставнями» (1959). Вклад Лавкрафта в эти рассказы заключался лишь в нескольких записях из «Тетради для заметок», всю же работу проделал Дерлет, развив и систематизировав Миф Ктулху.

Дарлет также внес в Миф существенные изменения. Отталкиваясь от незначительных упоминаний в сочинениях Лавкрафта – вроде существа по имени Ноденс, – он создал целый пантеон добрых божеств – Старших Богов. Они противостоят

Древним и иногда помогают людям в их борьбе с Великими Древними[666]. В лавкрафтовской же Вселенной Ктулху у человечества нет могущественных друзей, достойных упоминания.

Дерлета критиковали за подобную эксплуатацию имени Лавкрафта, а также за его неуступчивость и агрессивность по отношению к другим желавшим перепечатать рассказы Лавкрафта. Он требовал платы за переиздание, даже если рассказы были всеобщим достоянием уже долгое время. Составители антологий (в том числе и автор данной книги), желая сохранить с ним хорошие отношения ради будущих дел, обычно соглашались на его требования.

Дерлет также выдвигал весьма сомнительные притязания на все сочинения Лавкрафта. В 1947 году, узнав, что Соня Грин Лавкрафт Дэвис помышляет об издании некоторых произведений Лавкрафта, он пригрозил ей судебным иском, если она сделает это без его разрешения. За угрозой ничего не последовало, и позже он и Соня помирились, но его позиция была очевидна.

С другой стороны, Дерлет посвящал Лавкрафту значительную часть своих трудов при довольно скромной финансовой отдаче. Без его титанических усилий Лавкрафт мог бы навсегда остаться неизвестным для широких кругов читателей.

Помимо «посмертного сотрудничества» с Лавкрафтом Дерлет написал и множество собственных рассказов, основанных на Мифе Ктулху. Они публиковались в журналах с 1939–го по 1957 год и были собраны в книгах «Аркхэм Хауз» «Маска Ктулху» (1958) и «След Ктулху» (1962). Дерлет отнюдь не обладал лихорадочным воображением Лавкрафта, не был он и любителем напыщенной риторики По: он писал в ясной, простой манере с обилием диалогов.

Традицию Мифа Ктулху продолжили и другие писатели. В 1969 году «Аркхэм Хауз» издали сборник из двадцати произведений под названием «Рассказы Мифа Ктулху». В него вошли рассказы не только членов старого лавкрафтовского кружка, вроде Фрэнка Белнапа Лонга, но также и новичков, в том числе и двух английских новеллистов Дж. Рэмси Кэмпбелла и Брайана Ламли. Репутация Лавкрафта как мифотворца безоговорочна.

Г. Ф. Лавкрафт умер меньше чем через год после самоубийства Роберта Э. Говарда. Обе смерти вызвали поток писем в «Виэрд Тэйлз», отдававших им дань уважения и выражавших соболезнования, а также других публикаций. Роберт Блох написал, что, будь ему известно состояние Лавкрафта, он,

если бы потребовалось, пополз бы на четвереньках, лишь бы добраться до его больничной койки.

Кларк Эштон Смит также сошел со сцены. В течение пяти лет он был плодовитым автором «Виэрд Тэйлз». Однако у него не было особого стремления к сочинению прозы – он больше видел себя поэтом, а рассказы писал для того, чтобы зарабатывать на содержание родителей, впавших в старческий маразм. После того как они умерли в 1935–м и 1937–м, он вновь обратился к поэзии, рисованию и скульптуре, и его рассказы стали публиковаться значительно реже.

Уход «трех мушкетеров» нанес «Виэрд Тэйлз» удар, от которого журнал так и не оправился. Начиная с июля 1937 года в каждом из семнадцати последующих выпусков публиковалось какое-либо произведение Лавкрафта – поэзия, перепечатки старых рассказов, а также те, что ранее были отвергнуты, но теперь куплены. Также журнал столкнулся с прямой конкуренцией: сначала, в 1939–1943 годах, со стороны «Анноун» («Неведомое», позже переименованного в «Анноун Уорлдз», «Неведомые миры»), а с 1950–го – со стороны «Мэгэзин оф Фэнтези энд Сайнс Фикшн» («Журнал фэнтези и научной фантастики»). Оба платили больше, чем «Виэрд Тэйлз», и поэтому все сливки с урожая фэнтези сняли они. Нескольких прежних постоянных авторов «Виэрд Тэйлз» – таких как Роберт Блох, Рэй Брэдбери, Генри Каттнер, Фрэнк Белнап Лонг и К. Л. Мур – переманили в другие места с оплатой получше. Угасающий «Виэрд Тэйлз» сократился в размерах и с сентябрьским выпуском 1954 года прекратил свое существование[667].

В сороковые годы, в значительной степени благодаря усилиям Дерлета, интерес к Лавкрафту вырос. К 1950 году он стал культовой фигурой для поклонников, которые непомерно превозносили его и воспринимали любую неблагоприятную критику как личное оскорбление. В пятидесятых интерес немного спал, но в следующем десятилетии быстро возрос вновь.

Когда в 1945 году грозный старейшина американских критиков Эдмунд Уилсон вел колонку рассказов ужасов в «Нью-Йоркер», корреспонденты упрекнули его, что он не упоминает Лавкрафта. Прочтя некоторые его рассказы – которые ему не понравились, – Уилсон уделил фантасту из Провиденса некоторое внимание. Словно приговор суда, он объявил: «К сожалению, после изучения этих книг я воодушевлен не более, чем прежде. Главной особенностью работ Лавкрафта является детально разработанный вымышленный миф, привносящий сверхъестественный элемент в его наиболее почитаемые

рассказы. Этот миф предполагает существование расы чужеземных богов и абсурдных доисторических народов, постоянно проделывающих фокусы со временем и пространством и прорывающихся в современный мир, обычно где-нибудь в Массачусетсе».

Уилсон описывает сверхмоллюсков из «Тени безвременья» и комментирует: «Теперь, когда ужас бросающего в дрожь откровения, на котором строился длинный и занудный рассказ, оказывается чем-то вроде этого, вы можете смеяться или испытывать отвращение – но, вероятнее всего, вам не суждено испугаться; хотя я признаю – в качестве дани тем способностям, коими обладает Г. Ф. Лавкрафт, – что он, по крайней мере в этом эпизоде своего цикла, касающегося всеведущих конических улиток, заставил меня несколько умерить свой скептицизм. Их место в конце концов заняла раса с другой планеты, на которую Лавкрафт, несомненно, положился как на порождение непреодолимого ужаса, что я совершенно не могу принять: полуневидимые полипообразные чудовища, издающие пронзительные свистящие звуки и уничтожающие своих врагов ураганами. Подобные твари очень хорошо смотрелись бы на обложках популярных журналов, но совершенно непригодны для взрослого читателя. Истина состоит в том, что эти рассказы были халтурой, предназначенной для таких изданий, как „Виэрд Тэйлз“ и „Эмейзинг Сториз“, и где, по моему убеждению, им и следует оставаться.

Единственный подлинный ужас большинства подобных произведений – ужас плохого вкуса и плохого мастерства. Лавкрафт не был хорошим писателем. Тот факт, что его многословный и непримечательный стиль сравнивается со стилем По, является одним из множества печальных признаков того, что писательству уже почти никто не уделяет должного внимания…»

Уилсон заявляет, что воспринимает как «ужасающие» слова профессора Томаса О. Мэбботта: «Лавкрафт – один из немногих авторов, о которых я могу честно сказать, что наслаждаюсь каждым словом его рассказов». Затем Уилсон разносит прилагательные Лавкрафта: «…усеял свои рассказы такими прилагательными, как „жуткий“, „ужасный“, „страшный“, „повергающий в трепет“… Несомненно, одно из важнейших правил при сочинении эффектного рассказа ужасов – никогда не использовать ни одно из этих слов, особенно если в довершение всего вы собираетесь ввести невидимого свистящего спрута». Уилсон продолжал: «Сам Лавкрафт, впрочем, немного интереснее своих рассказов… Его крупное эссе о литературе сверхъестественного ужаса действительно искусное

произведение. Он выказывает отсутствие здорового литературного вкуса, восторгаясь Мейченом и Дансейни, которых до некоторой степени признает образцами, однако он всесторонне ознакомился с этой областью – он увлекался готическими романистами – и пишет о ней с большим пониманием».

Уилсон приписывает Лавкрафту «научное воображение, довольно схожее с ранним Уэллсом, хотя и значительно ниже… Но культ Лавкрафта, я опасаюсь, находится даже на более инфантильном уровне, нежели Нерегулярная Армия с Бейкер-стрит и культ Шерлока Холмса»[668].

Выдающийся, но упрямый Эдмунд Уилсон страдал от того же литературного снобизма, что поразил и Лавкрафта: разделения литературы на небольшой класс произведений, которые ему нравились и которые он называл «настоящей литературой», и отвержения всего остального как «халтуры». Он называл Сомерсета Моэма «второсортным», а в другой статье в «Нью-Йоркер» под заголовком «Кого волнует, кто убил Роджера Экройда?» освистал весь детективный жанр. Поскольку он также отвергал Мейчена и Дансейни и написал на роман Толкиена «Властелин колец» три крайне презрительных отзыва, закрадывается подозрение, что он не признавал вообще никакую фантазию.

Это ограниченный взгляд на литературу. Произведения бывают различных видов и служат различным целям. Они предназначены для различных читательских кругов, и их можно классифицировать как хорошие, плохие или так себе по тому, насколько они притягивают к себе читателей. У нас у всех свои собственные предпочтения, но не годится оценивать детскую сказку, роман, разоблачающий условия труда на производстве будильников, и детектив по одним и тем же критериям. В общем, чем больше различных жанров – выполненных со знанием дела – предпочитает читатель, тем больше удовольствия он получает от чтения.

В 1962 году, десятилетие спустя после кампании Эдмунда Уилсона, другой Уилсон – Колин, разносторонний английский писатель и критик – обратился к Лавкрафту в книге «Сила мечтать (литература и воображение)»: «В некотором роде Лавкрафт – ужасная личность. В своей „войне со здравым рассудком“ он напоминает У. Б. Йейтса. Но, в отличие от Йейтса, он нездоров… Лавкрафт совершенно одинок; он отверг „реальность“; он как будто утратил все здоровые чувства, которые нормального человека заставили бы отступить на полпути… Он

начал как один из наихудших и самых напыщенных писателей двадцатого столетия, но в конце концов развил в себе некоторую дисциплинированность и расчетливость – хотя так и остался любителем словечек вроде „жуткий“ и „абсурдный“ и таких сочетаний, как „безнадежная, всеохватывающая паника“ и „совершеннейший крайний ужас“. Две его повести, „Тень безвременья“ и „Случай Чарльза Декстера Уорда“ – несомненная второстепенная классика литературы ужасов; также по меньшей мере десяток его рассказов заслуживает существования…

Тем не менее необходимо признать, что Лавкрафт – весьма никудышный писатель…

Впрочем, хотя Лавкрафт и является таким скверным писателем, он обладает некоторой значительностью вроде Кафки. Пускай его произведения и не состоялись как литература, они все же представляют интерес как психологическая история болезни. Жил да был человек, который даже и не пытался принять условия жизни…

Однако Лавкрафт – не единичный чудак. Он творит в узнаваемой романтической традиции. Хоть он и не крупный писатель, в психологическом плане он один из самых интересных людей своего поколения»[669].

Пускай и проявив больше умеренности, нежели другой Уилсон, Колин Уилсон составил неправильное суждение о Лавкрафте. Он приписал непреклонному материалистическому атеисту желание «подорвать реальность» и доказать существование сверхъестественных существ и сил. Воспринимая рассказы более серьезно, чем сам автор, он упустил в них шутливый элемент.

Критика Колина Уилсона имела продолжение. Он посетил Провиденс и прочел в Библиотеке Университета Брауна магистерскую диссертацию по Лавкрафту Джеймса Уоррена Томаса. Томас был настолько потрясен расизмом Лавкрафта, что после этого смог увидеть в нем мало хорошего – подобно стороннику «сухого закона», который пишет о По, но не может пройти мимо того факта, что По был алкоголиком. Поэтому он оживил свой труд выражениями вроде «бесполый неудачник», «мягкотелое и эгоистичное создание» и «неженка-психопат». Они так возмутили Дерлета, что он убедил Томаса отказаться от планов по изданию диссертации книгой.

После переписки с Дерлетом Уилсон изучил Лавкрафта более внимательно. Не позже 1967 года он написал: «Теперь же я хочу признать, что моя оценка Лавкрафта в „Силе мечтать“ была излишне резкой»[670]. Более того, он написал научно-фантастический роман «Паразиты разума», в котором

использовал лавкрафтовские мотивы. В Соединенных Штатах книга была напечатана издательством «Аркхэм Хауз».

В 1963 году должность ответственного редактора «Фэнтези энд Сайнс Фикшн» занимал Аврам Дэвидсон, писавший в жанре научной фантастики и фэнтези с изрядной долей юмора. В январском выпуске он написал веселую, хотя и крайне пристрастную рецензию на «Единственного наследника и другие рассказы» Дерлета – Лавкрафта: «„Единственный наследник и другие рассказы“ – увлекательная и забавная вещица. Ей-богу, Говард Филлипс Лавкрафт обладал незаурядным писательским талантом, но вот беда – то, что он вытворял с этим талантом, было срамом, чудачеством и сверхъестественным ужасом. Если бы он спустился к черту с чердака своей тетушки и при помощи Федеральной программы помощи писателям УОР получил работу, то смог бы издавать путеводители, которые навеки стали бы классикой и подлинным счастьем для читателя. Вот только он остался там, укутавшись от холода – которого больше было в его сердце, нежели на термометре – до самого кончика своего длиннющего новоанглийского подбородка, поддерживая свое существование девятнадцатицентовой банкой бобов в день, переписывая (за гроши) дрянные рукописи писателей, чья полнейшая безграмотность была бы сущим благом для всего человечества, и заодно творя собственные отвратительные, страшные, омерзительные и ужасающие произведения: о людоедствующих Тварях, рыскавших по кладбищам; о человекозвериных гибридах, зверевших с возрастом до ужасающего скотства; о бурчащих шогготах и Старших Существах, вонявших по-настоящему отвратительно и постоянно пытавшихся прорваться через Пороги и Захватить Мир, – складчатых, чешуйчатых, аморфных мерзостях, подстрекаемых худющими новоанглийскими чудаками, которые обитали на чердаках и которых в конце концов Больше Никто и Никогда Не Слышал и Не Видел. Черт возьми, помоги же им хоть что-нибудь.

Короче говоря, мальчики и девочки, Говард был с заскоком – вот и все.

Конечно же, Август Дерлет считает иначе. Август Дерлет – весьма активный, весьма плодовитый писатель, проживающий в Висконсине и написавший что-то около восьмисот одиннадцати книг под своим именем – или под псевдонимами, не все ли равно? В некотором смысле об Августе Дерлете можно сказать, что он изобрел Г. Ф. Лавкрафта, вызволив его из заслуженной безвестности в архивах „Виэрд Тэйлз“… У нас у всех есть мечты, обращенные в прошлое. Хорас Гоулд [прежний редактор „Гэлэкси

Сайнс Фикшн“] был бы не прочь заняться любовью с Нефертити. Сам я чего бы только ни отдал, лишь бы налить чай для доктора Джонсона. А Август Дерлет – я в этом абсолютно уверен – продал бы душу Сверхъестественному Ужасу, чтобы сотрудничать с Г. Ф. Лавкрафтом. И теперь он ее продал».

Дэвидсон завершает: «Как я и говорил, Дерлет старается изо всех сил, но этот фокус у него совершенно не проходит – потому что он слишком нормальный, Лавкрафт же был свихнувшимся, как пятидолларовый кекс с изюмом»[671].

В то время как Колин Уилсон считал Лавкрафта никудышным писателем с интересными идеями, коренившимися в его неврозах, Дэвидсон полагал, что писатель Лавкрафт хороший, но был испорчен этими же неврозами – которые он называл «вредоносными». Как и Колин Уилсон, Дэвидсон, исследовав Лавкрафта более глубоко и все обдумав, пришел к выводу, что его прежнее суждение о Лавкрафте было чересчур придирчивым и что о Лавкрафте как о человеке и как о писателе можно сказать много хорошего.

Среди других, кто отзывался о Лавкрафте, – Винсент Старретт, считавший, что «лучшее из его рассказов – среди лучшего того времени». Питер Пензольдт, автор «Сверхъестественного в литературе» (1952), писал: «В произведениях Лавкрафта есть как огромные достоинства, так и огромные недостатки… Он был слишком начитан… По сути, его вдохновили столь многие, что часто оказываешься в недоумении, что же такое Лавкрафт на самом деле…» Согласно профессору Колледжа Вашингтона и Джефферсона Джону Э. Тейлору, Лавкрафт был «величайшим американским автором рассказов ужасов со времен По», в то время как Айзек Азимов называл его «больным подростком». Дрейк Дуглас, автор книги «Ужас!» (1966), утверждал: «Рассказы Лавкрафта написаны великолепно. Вероятно, ни одному другому писателю ужасов – в том числе и самому По – не удалось столь удачно отразить подлинную атмосферу страха, ужаса и кошмара… Высокообразованный человек, Лавкрафт пользовался английским языком в его совершеннейшей и изысканнейшей форме. В его сочинениях нет ни низкопробности, ни пошлости… Они представляются чуть ли не викторианскими – неспешный, бесподобно богатый и изящный стиль в духе Диккенса и Стивенсона. Его работы демонстрируют вновь и вновь, что подобный стиль – безоговорочно самый эффективный для рассказов ужасов. Лавкрафтовские произведения и вправду среди лучших рассказов, созданных в нашей стране, и только их содержание – ибо слишком часто, даже сегодня, сочинение ужасов не воспринимается как серьезная

литература – не дает им считаться образцами формы и стиля…

В своей избранной области Лавкрафт не имеет равных, за возможным исключением По, которого сам он называл „мастером“… Быть может, мы еще увидим тот день, когда Говард Филлипс Лавкрафт, Род-айлендский отшельник, займет в американской литературе должное место рядом с почитавшимся им Эдгаром Алланом По»[672].

Несомненно, компетентные люди разнятся во мнениях относительно Лавкрафта. Однако, нравятся его сочинения или нет, как писателя его надо воспринимать серьезно.

Первой книгой рассказов Лавкрафта, добившейся широкого распространения, был сборник в мягком переплете, который Дерлет выпустил в 1945 году для Изданий Вооруженных Сил – «Данвичский кошмар и другие сверхъестественные рассказы». После Второй мировой войны переиздания лавкрафтовских сборников в мягком переплете появлялись все чаще и чаще, а в 1970 году издательство «Баллантайн Букс» и его филиал «Бигл Букс» начали печатать полное собрание сочинений Лавкрафта в бумажной обложке.

В 50–е годы книги Лавкрафта были изданы за рубежом по меньшей мере на пяти иностранных языках. Самое большое воздействие Лавкрафт оказал на Францию: в 1970 году там было продано триста тысяч экземпляров его книг в мягком переплете.

По мотивам рассказов Лавкрафта было снято не менее полудюжины кинофильмов – как приличных, так и отвратительных. «Случай Чарльза Декстера Уорда» был превращен в «Особняк с привидениями» и приписан в анонсах не Лавкрафту, а По. «Цвет из космоса» стал «Умри, чудовище, умри!» – снятый британской компанией, он поменял место действия на Англию[673].

Джеймс Шевилл, профессор Университета Брауна, написал пьесу «Причуды Лавкрафта», которая в 1970 году шла в Провиденсе на протяжении месяца. Это сюрреалистическая феерия, преподносимая как «серия снов Г. Ф. Лавкрафта». В пьесе фигурируют Гитлер, ядерные исследования, Хиросима, ракеты на Луну, Роберт Оппенгеймер и прочие явления постлавкрафтовской эпохи. Сам Лавкрафт появляется на сцене несколько раз, но только чтобы произнести расистские высказывания, часть которых взята из его ранних сочинений.

Три провиденсских профессора – Бертон Л. Сент-Арманд и Кит Уолдроп из Университета Брауна и Генри Л. П. Беквит-младший из Род-Айлендской художественной школы – организовали шествие в ночь на 15 марта 1970 года. Более ста

пятидесяти человек, в основном студентов, прошли с фотовспышками и фонарями по лавкрафтовским местам на Колледж-Хилл. Мероприятие закончилось чтением «Грибков с Юггота» рядом с Домом, которого все избегали.

Примкнуть к победившей лавкрафтовской партии поспешили и оккультисты. Кеннет Грант, писавший для британского издания «Человек, миф и магия», заявил, что лавкрафтовские «древние источники мудрости запретны для человека» и что его зловещие существа, обитающие вне измерений, действительно существуют. Кто знает? Говорили, что в 1971 году студент Университета Брауна, снимавший комнату на Барнс-стрит, 10, видел призрак Лавкрафта.

В августе и сентябре 1959 года, чтобы освободить место для нового Дома искусств Листов при Университете Брауна, дом Сэмюэля Мамфорда на Колледж-стрит, 66 был перенесен на два квартала севернее. Его адрес стал Проспект-стрит, 65. Теперь он обращен на стоящую через дорогу церковь Христианской науки с зеленым куполом – что, я не сомневаюсь, вызвало бы у его прежнего жильца язвительный комментарий.

Что же нам думать о Лавкрафте? И, прежде всего, о его произведениях? За двадцать лет сочинительства Лавкрафт написал шестьдесят с лишним профессионально изданных рассказов (точное количество зависит от того, как рассматривать пограничные случаи – «призрачные» и совместные работы, краткие зарисовки). Это приличный результат для не полностью занятого писателя, однако усердный писатель с полной занятостью смог бы создать в несколько раз больше.

Эти рассказы подразделяются на несколько классов: дансейнинские фантазии, сновиденческие повествования, рассказы об ужасах Новой Англии, рассказы Мифа Ктулху, а также несколько sui generis[674]. В нескольких также появляется тема гулов, в других – тема захвата разума. Подобные классы не исключают друг друга, и многие рассказы относятся к двум и даже более из них. Так, «Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого» одновременно и сновиденческое повествование, и дансейнинская фантазия, и рассказ Мифа Ктулху, звучит в повести и тема гулов.

Почти все рассказы Лавкрафта находятся на границе между научной фантастикой и фэнтези, либо же близки к ней. Ранние тяготеют к чистому фэнтези, поздние – к фантастике, а в некоторых сочетаются черты обоих жанров. В ранних произведениях конфликт представлен борьбой добра и зла, сходной с подобной концепцией в христианстве и других

религиях. В поздних же лавкрафтовские инопланетяне и существа уже не характеризуются добром или злом в традиционном понимании – они просто своекорыстны, как и любые другие организмы.

Лавкрафт был очень большой лягушкой в очень маленькой луже – в поджанре страшного рассказа. Если вы согласны, что в литературе воображения в целом и в литературе ужасов в частности нет ничего infra dignitatem[675], тогда и нет причин не считать хорошего писателя в этом жанре таким же достойным, как и хорошего писателя в любом другом жанре.

В прозе Лавкрафта есть характерные черты, к которым многие критики относятся неодобрительно, – в особенности изобилие субъективных прилагательных вроде «ужасный». Мне и самому это не нравится. Но вместо того чтобы отвергнуть данную черту как «никудышный стиль», более объективно было бы сказать, что это стиль, ныне вышедший из моды. Он был популярен в эпоху романтизма, приблизительно между 1790 и 1840 годами, и широко употреблялся По и его готическими предшественниками. Сегодня он не пользуется благосклонностью, но моды меняются, и, быть может, однажды он вернет былую популярность.

Чтобы получать от чтения этого стиля удовольствие, требуется некоторое усилие – так же как и при чтении устаревшей прозы Уильяма Морриса или Э. Р. Эддисона, в отличие от произведений в живой и краткой современной манере. Но многие находят, что усилие стоит того. Если читатель не ограничен наипоследнейшими литературными веяниями, то он получит от Лавкрафта большое удовольствие – от его многословного, неспешного стиля и всего остального.

Некоторые из ранних рассказов Лавкрафта – как, например, серия «Герберт Уэст» – никчемны практически по всем критериям. Но он неуклонно совершенствовался. В 30–х годах он проявил себя, несмотря на все свои стилистические чудачества, искусным рассказчиком. Как некогда постулировал Бернард Де Вото, важнейшим качеством хорошего рассказчика является отнюдь не точность наблюдений, или сердечное человеческое сочувствие, или техническое совершенство, или сюжетная изобретательность – как бы полезны все они ни были, – но специфическая яркость воображения, позволяющая писателю завладевать читательским вниманием и волей-неволей удерживать его на протяжении всего рассказа. Этим, я полагаю, Лавкрафт обладал в достатке.

Принимающегося за Лавкрафта необходимо предупредить, что слишком много рассказов, прочитанных за раз, могут утомить его повторением одних и тех же художественных приемов и

сюжетных построений. И это характерно для большинства авторов коротких рассказов – все художественные писатели склонны повторяться.

Некоторые иностранные энтузиасты заходят слишком далеко, называя Лавкрафта одним из величайших писателей всех времен. Я отнюдь не ожидаю, что в обозримом будущем он будет расцениваться наравне с Гомером, Шекспиром и Толстым. Но он вполне может догнать По. По работал в более разнообразных жанрах, нежели Лавкрафт, – он фактически изобрел детективный рассказ, – и его влияние распространилось дальше, чем это когда-либо может удаться Лавкрафту.

Как непрофессиональный сочинитель Лавкрафт написал изрядное количество хлама. Равным образом и По – например, его пустая, бессмысленная «Эврика». Нужно перечитать все его собрание сочинений, включая и вымученные, унылые пробы в юморе, чтобы понять, насколько скверным он порой может быть. Все это, однако, риск славы. Последующие поколения требуют издания юношеских произведений, незаконченных работ и литературных неудач кумиров, в то время как промахи и брак незначительных писцов благополучно забываются.

Тем не менее в области, которую Лавкрафт выбрал для себя, он, по моему мнению, находится на одном уровне с По – а может, и затмевает его.

Более того, даже принимая в расчет литературные недостатки Лавкрафта, он все равно обладал потрясающим воображением. Его Миф Ктулху – вымысел, стоящий в одном ряду со Страной чудес Льюиса Кэрролла, Барсумом Берроуза, Зимиамвией Эддисона, Страной Оз Баума, Гиборейской эпохой Говарда и Средиземьем Толкиена. Изложив собственные неврозы и кошмары в литературной форме, он пронзил чувствительные участки в душах читателей. Он оказал огромное влияние на писателей своего поджанра. Его произведения – добротное и здоровое развлечение, а это – если только не придерживаться лавкрафтовских идей об «искусстве-ради-искусства» – и есть наипервейшая задача художественной литературы.

А сейчас рассмотрим карьеру Лавкрафта. Здесь у нас рассказ ужасов иного рода: предостережение, каким писателем быть нельзя. С практической стороны Лавкрафт обладал просто талантом поступать неправильно. Используя современные популярные выражения, он был «лузером», неудачником. Он упрямо гордился своей неисправимой непрактичностью. Если потенциальный писатель действительно не предпочитает посмертный успех или же полное отсутствие такового, то он

должен помнить об этих уроках.

Ему необходимо основательно совершенствовать свое мастерство – все его стороны. Например, научиться печатать на машинке. Равным образом весьма полезна и стенография (к освоению которой Лавкрафт относился с презрением – на том основании, что для образованного человека это невозможно)[676]. Ему следует знать бизнес, а также авторский аспект сочинительства (учет, бухгалтерию, договор, авторское право и так далее). Все подобные вещи излагаются в книгах и на курсах. Он должен проявлять активность, инициативность, гибкость и крайнюю самодисциплинированность. Он должен держать себя в хорошей физической форме. И ему не следует снобистски относиться к сочинениям, отличным от собственных.

Далее, если ко всему прочему он обладает врожденным талантом, то может и не провести свои последние годы жизни, подобно Лавкрафту, в беспрерывном крахе, из-за нехватки денег отказывая себе даже в умеренных, разумных желаниях. Если бы Лавкрафт действительно не заботился о деньгах и вещах, для покупки которых деньги и необходимы, то можно было бы сказать, что он был счастлив в своей бедности. Но, как мы видели, он отнюдь не был счастлив в этом отношении, даже если и пытался делать при этом хорошую мину.

Иногда говорят, что Лавкрафт мог бы больше преуспеть, если бы отказался от «призрачного авторства» ради полной занятости писательством. Однако даже если бы он удвоил или утроил производительность рассказов и повестей, то все равно не смог бы продать их намного больше, чем ему это удалось. Многие годы его рынок был ограничен «Виэрд Тэйлз», а редакторы не любят публиковать слишком много произведений одного и того же типа.

Подобное положение изменилось лишь позже. В последние годы жизни Лавкрафта его рассказы стали более тяготеть к научной фантастике. После его смерти литературные критерии научно-фантастических журналов, особенно «Эстаундинг Сториз», возросли. И проживи Лавкрафт дольше, он мог бы обеспечить себе прочное место в области научной фантастики 40–х и последующих годов.

Однако самым вопиющим упущением Лавкрафта была его несостоятельность воспользоваться возможностями романа. Ему говорили снова и снова, что хотя книгоиздатели и не заинтересованы в сборнике его рассказов, они весьма охотно ознакомились бы с его романом – но он так ничего и не сделал. Он мог бы написать такой роман когда угодно в период 1926–1936 годов, если бы уделил ему то время, что потратил на неоплаченные работы вроде «Сверхъестественного ужаса в

литературе» или путевых заметок о Квебеке. Он даже не напечатал «Случай Чарльза Декстера Уорда», так и не приступил к намеченной новоанглийской хронике. За это время публикации романа добились многие менее талантливые писатели.

Другим его упущением была неспособность превратить в источник дохода несколько тематических разновидностей публицистики, которые ему весьма удавались – о старине, архитектуре, фольклоре, путешествиях и популярной науке. Он писал на эти темы, но только в письмах и для любительской прессы. Он знал о Федеральной программе помощи писателям и ее путеводителях по Америке, поскольку на нее работал его друг Лидс, но и пальцем не пошевелил, чтобы к ней присоединиться. Он также мог бы профессионально выступать с лекциями по этим темам. Судя по некоторым лекторам, которых мне довелось слышать, его высокий голос не послужил бы роковым препятствием. Апатия, робость и антикоммерческие предубеждения удерживали Лавкрафта от того, чтобы хотя бы рассмотреть эти источники дохода.

Наконец, рассмотрим саму личность. Лавкрафт не был «с заскоком» – он был человеком, который из-за врожденных склонностей (шизоидной личности) в сочетании с ненормальным воспитанием надолго задержался в развитии. Он проявлял юношескую самоуверенность, претенциозность, догматизм и предрассудки, а также робость в знакомствах и отношениях с новыми людьми даже на четвертом десятке – спустя более чем десятилетие, когда вышел из юношеского возраста. В некоторых отношениях – например в сексуальных и денежных – он так и не повзрослел.

Его воспитали в консервативной пуританской традиции аристократии янки, и он долгое время придерживался этих взглядов. Однако из-за изоляции, избалованности, литературных пристрастий и нехватки живости он усвоил лишь негативные стороны этого мировоззрения – его аскетизм, воздержанность, скупость, неприкасаемость и замкнутость. Он упустил положительные – дух соперничества, тягу к завоеваниям, усердие, предприимчивость, практичность, проницательность и выработанную готовность возиться с неприятными задачами во имя долгосрочных интересов.

Он принял сильную дозу американского нативизма девятнадцатого столетия – местной разновидности расизма или национализма, из-за недавних мировых событий подобная позиция представляется гораздо более худшей, нежели она казалась в начале века, когда была широко распространена и

уважаема. Неудача Лавкрафта завоевать положение в обществе укрепила его предубеждения, которые оказались удобным объяснением его неуспеха. «Банды запаршивевших чужаков», считал он, лишили его исконного права.

Эти взгляды расходятся с его добротой, дружелюбием, мягкостью, обходительностью и альтруизмом в отношениях с отдельными личностями – неважно, со «старыми американцами» или же с представителями национальных меньшинств. Это было еще одним противоречием, с которым ему приходилось бороться. Оно усугубляло его трудности в браке и проживании в большом городе. Он разрешил этот парадокс лишь в последние годы жизни, отказавшись почти от всех своих национальных предрассудков. Однако тогда было уже слишком поздно, чтобы это заметно изменило его жизнь.

То, что Лавкрафт мог предложить миру много хорошего, видно из его посмертного успеха. То, что ему не удалось использовать свои способности, благодаря которым он мог бы вести приличный образ жизни, очевидно. Некоторые полагают, что Лавкрафта не заботило отсутствие мирского успеха. Томас заканчивает свою диссертацию: «Так закончилась жизнь, которая, как представляется, большей частью была прожита – с целенаправленным, искренним пренебрежением влияний современного общества – именно так, как того желал Говард Филлипс Лавкрафт».

Я не верю в это, хотя Лавкрафт и убедил в этом многих своей видимостью фаталистического спокойствия. Плотно сжатые губы, однако, были лишь частью его кодекса поведения. Когда он порой сбрасывал маску, обнажалось все его безысходное несчастье: «… существует немного таких полных неудачников, которые удручают и раздражают меня больше, чем многоуважаемый Эйч-Пи-Эль. Я знаю лишь несколько человек, чьи достижения убывают более последовательно, не отвечая их стремлениям, или у кого вообще меньше причин жить».

Черты характера, преградившие Лавкрафту путь к земной славе, уже были определены: потакание собственным слабостям, бесполезное растрачивание времени, антикоммерциализм, дилетантизм, донкихотство и прочее. Но самым ужасным оружием его беса противоречия, я полагаю, была способность легко давать рационалистическое обоснование. Это обычное явление среди людей, владеющих словом и способных ясно излагать свои мысли, – благодаря их умственной живости это не составляет для них труда.

Лавкрафт знал о своих недостатках, опознав их в «Генри Рикрофте» Гиссинга. Однако вместо того, чтобы попытаться

исправить их, он предпочел выдумывать убедительные оправдания, отговорки и рационалистические обоснования своих вредоносных поступков и взглядов, например: «Касательно отсутствия проталкивания – в мои дни джентльмен не позволял себе заниматься саморекламой».

Шизоидная личность Лавкрафта всячески препятствовала ему реалистично воспринимать превратности жизни, в то время как блестящее мастерство обращения со словом позволяло ставить себе в заслугу свои слабости – вместо того чтобы стараться их преодолеть. Карьера преуспевающего писателя, например, требует напряженной самодисциплины, у Лавкрафта же она отсутствовала – и он пытался поставить себе в заслугу само это отсутствие, заявляя, что у джентльмена нет «причин… делать что-либо кроме того, что велит его фантазия».

Хотя Лавкрафт и ненавидел свою несостоятельность, я считаю, что он наверняка убедил себя, что лучше уж не состояться, придерживаясь личного кодекса джентльмена, нежели преуспеть посредством «торгашеских» актов саморекламы. Когда он терпел неудачу, то возлагал вину не на свой непрактичный кодекс, а на недостатки своего сочинительства. Из этого кодекса и его писательского таланта, кодекс, вселявший в него чувство принадлежности к высшему роду жизни, был для него более ценен. Поэтому – то, как заметил Дерлет, Лавкрафта и нельзя было отговорить доводами или лестью от его возраставшей убежденности в никчемности своего сочинительства. Признать, что его произведения действительно хороши, означало бы признание, что кодекс, которому он следовал с самого детства, был ужасной ошибкой. Как когда-то сказал Бенджамин Франклин: «Это так удобно – быть разумным, поскольку это позволяет находить или создавать повод для всего, что собираешься сделать»[677].

Но Лавкрафт все-таки сам значительно изменился, избавившись от множества своих ранних взглядов, поз, предрассудков и навязчивых идей. Кроме того, он прожил намного меньше обычной продолжительности жизни. Мы никогда не узнаем, как бы он преуспел, проживи еще лет двадцать. Вариантов развития событий – великое множество. Тот, кто совершил такие радикальные перемены во взглядах, какие Лавкрафт совершил на пятом десятке, может подвергнуться в равной степени поразительным метаморфозам и на шестом.

Несмотря на все его странности, те, кто его знал, любили его и восхищались им. Он всегда старался поступать справедливо. Он продолжал учиться и совершенствоваться всю свою жизнь – а это, как мне кажется, лучшее, на что могут быть направлены

умственные способности.

Его жизнь была усыпана ошибочными решениями в переломных моментах, начиная с неспособности закончить среднюю школу. Можно понять, почему ему самому в то время эти решения не казались неправильными. Как сказал мне один из членов лавкрафтовского кружка, «взгляд в прошлое ужасен».

Конечно же, мы не можем знать, что произошло бы, поступи Лавкрафт в каком-либо случае по-другому. Результаты могли бы быть лучше или хуже, ибо «время и случай для всех их»[678].

Заманчиво, читая о промахах и глупостях наших предшественников, воображать, что, получись у нас оказаться в прошлом и повлиять на такого человека в критический момент – если бы нам удалось подобрать к нему нечто вроде психоаналитической отвертки, – то он избежал бы той или иной ошибки. Возможно, это и хорошо, что мы не способны на такое.

Представьте, что произошло бы в результате применения подобного лечения к «трем мушкетерам» «Виэрд Тэйлз» – Роберту Э. Говарду, Кларку Эштону Смиту и Г. Ф. Лавкрафту, этим трем manque[679] литературным гениям. Их можно было бы так основательно излечить от их неврозов, что Говард стал бы ковбоем, Смит писал бы куплеты для какой-нибудь рекламной фирмы из Сан-Франциско, а Лавкрафт преподавал бы в школе естественные науки. И у нас совсем не было бы их рассказов.

Иллюстрации

Сьюзен, Говард и Уинфилд Лавкрафты, 1891

Дом Филлипсов на Энджел-стрит, 454, Провиденс (Университет Брауна)

Г. Ф. Лавкрафт на третьем десятке

Соня Гафт Грин, 1921

Г. Ф. Лавкрафт на пятом десятке

Фрэнк Белнап Лонг и Г. Ф. Лавкрафт, 1931. Фото У. Б. Талмана

Г. Ф. Лавкрафт, 1934. Фото Р. Х. Барлоу

Обшитый досками дом Лавкрафта на Клинтон-стрит, 169, Бруклин

Барнс-стрит, Провиденс (Университет Брауна)

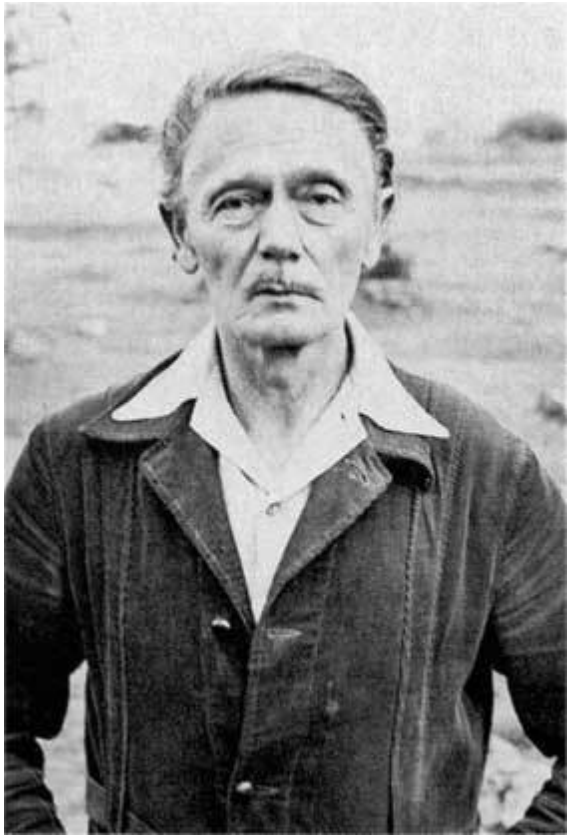
Озеро Куинсникет с любимым мысом Лавкрафта

Колледж-стрит, 66, Провиденс (Университет Брауна)

Роберт Э. Говард (Гленн Лорд)

Энни Э. Ф. Гэмвелл (Университет Брауна)

Роберт Х. Барлоу (Кеннет В. Файг-младший)



Кларк Эштон Смит на шестом десятке. Фото Эмиля Петайа

Силуэт Г. Ф. Лавкрафта, выполненный Перри

Г. Ф. Лавкрафт в изображении Верджила Финлея

notes

Примечания

1

«Виэрд Тэйлз» («Сверхъестественные рассказы») – американский журнал фантастической и сверхъестественной литературы, учрежденный в марте 1923 г. бывшим журналистом Дж. К. Хеннебергером; первым его редактором был чикагский писатель Эдвин Ф. Байрд (1886–1957). (Примеч. перев.)

2

Роберт Эрвин Говард (Ховард, 1906–1936) – американский писатель – фантаст, наиболее прославившийся циклом историй о Конане-варваре, поэт.

3

Приведенная фраза (в оригинале «there but for the grace of God», полностью «There but for the grace of God go I») – часто цитируемые слова английского протестантского реформатора Джона Брэдфорда (1510–1555), произнесенные им в заключении в лондонском Тауэре при виде преступников, идущих на казнь; используются для сравнения удачливости одного человека и рока другого (самого Брэдфорда, впрочем, позже сожгли как еретика).

4

Ad libitum – свободно, по своему желанию (лат.).

5

Howard Phillips Lovecraft «Providence», 11. 1–8 в «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 1. (Все переводы стихотворений и прозы Г. Ф. Лавкрафта и других авторов, цитируемых Л. С. де Кампом, выполнены переводчиком настоящего издания, за исключением особо отмеченных случаев. В Howard Phillips Lovecraft «The Ancient Track: The Complete Poetical Works», ed. by S. T. Joshi, San Francisco: Night Shade Books, 2001, p. 302, стихотворение «Провиденс» опубликовано в полной версии, с тремя добавленными строфами – т. о. в качестве эпиграфа приведены 1–4 и 9–12 строки стихотворения. – Примеч. перев.)

Тогда номер дома был 194, но в самом конце 90–х годов нумерация была изменена.

7

Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday & Co., Inc., 1961, pp. 59, 68; «His Own Most Fantastic Creation» в Howard Phillips Lovecraft «Marginalia», Sauk City: Arkham House, 1944, p. 319. Записи психиатра Больницы Батлера погибли во время пожара в 1955 году.

8

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 14 февраля 1925 г.; Winfield Townley Scott «His Own Most Fantastic Creation» в Howard Phillips Lovecraft «Marginalia», Sauk City: Arkham House, 1944, pp. 313f; «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday & Co., Inc., 1961, p. 55.

9

August W. Derleth «Final notes» в H. P. Lovecraft «The Dark Brotherhood and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1966, p. 320; Sonia H. Davis «The Private Life of Howard Phillips Lovecraft», неопубликованная рукопись из Библиотеки Джона Хэя, p. 3.

10

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Гарри О. Фишеру, конец января 1937 г.

11

Sonia H. Davis «Memories of Lovecraft» в «The Arkham Collector», I, 4 (Winter, 1969), p. 117; W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 10.

12

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Х. В. Салли, 15 августа 1935 г.; Marc Slonim «European Notebook» в «New York Times Book Review», 17 May 1970; Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, pp. If; Dorothy C. Walter «Three Hours with H. P. Lovecraft» в H. P. Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, p. 179.

13

James F. Morton «A Few Memories» в «The Olympian», No. 35 (Fall, 1940), p. 26.

14

Steve Eisner (ed.) «Howard Phillips Lovecraft Memorial Symposium», University of Detroit Quarterly, VIII, 3,1958, p. 3; речь Сэмюэля Лавмэна на встрече Восточного общества научной фантастики, Ньюарк, штат Нью-Джерси, 2 марта 1952 г.

15

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Рейнхарту Кляйнеру, 25 ноября 1915 г.; Дж. Ф. Мортону, 10 февраля 1923 г. В изданных томах H. P. Lovecraft «Selected Letters», I, II, III, Sauk City: Arkham House, 1965,68,71 в имени Кляйнера допущена ошибка – «Reinhardt» вместо «Rheinhart».

16

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 1 марта 1923 г.; Sonia H. Davis «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 & 2 (Feb. 1949), p. 10.

17

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. Уондри, 10 февраля 1927 г.; Sonia H. Davis, там же.

18

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 13 октября 1935 г.; Ф. Б. Лонгу, 17 октября 1930 г.

19

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 16 ноября 1926 г.; С. Куинну, 11 сентября 1931 г.; Г. О. Фишеру, конец января 1937 г.

Альфред Галпин, в личном общении.

21

Jas. Wade в рецензии на H. P. Lovecraft «Selected Letters», III, Sauk City: Arkham House, 1971 в Meade Frierson III (ed.) «Howard Phillips Lovecraft», Birmingham, Ala.: самиздат, 1972, p. 52.

22

George Julian Houtain, редакторская статья в «The Zenith», Jan. 1921, p. 3.

23

Согласно одной из теорий, этот остров (индейское название – Акуиднек, оно до сих пор иногда используется) напомнил старинному чиновнику остров Родос в Средиземном море; согласно другой, название произошло от «roddich Eylandken», «маленький красноватый остров», как некий голландский исследователь описал один из островов. (Де Ками имеет в виду Эдриана Блока (1567–1627) – голландского мореплавателя и торговца мехом. – *Примеч. перев.*)

24

Роджер Уильяме (1603–1684) – англо-американский теолог, сторонник разделения церкви и государства, основатель города Провиденс; квакеры (самоназвание – Религиозное общество друзей) – направление в протестантской конфессии христианства, основанное в середине семнадцатого века в Англии ремесленником Джорджем Фоксом (1624–1691), отвергают институт священников и церковные таинства. (Примеч. перев.)

25

Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Б. Талману, 24 марта 1931 г.

26

Gertrude Selwyn Kimball «Providence in Colonial Times», Boston: Houghton Mifflin Co., 1912, pp. 307f.

27

Stephen Birmingham «The Late John Marquand», Phila.: J. B. Lippincott Co., 1972, p. 74.

28

John P. Marquand «The Late George Apley (A Novel in the Form of a Memoir)», Boston: Little, Brown & Co., 1936, pp. 10, 15.

29

Stephen Birmingham «The Late John Marquand», Phila.: J. B. Lippincott Co., 1972, pp. 19f; письмо Клары Л. Гесс А. У. Дерлету, 18 октября 1948 г.

30

Генри Л. П. Беквит, в личном общении; беседа с Этель Ф. Морриш, 5 сентября 1972 г.

31

Barton Levy St. Armand «The Outsider in Legend and Myth», магистерская диссертация, Brown University, 1966, p. 10; Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday & Co., Inc., 1961, pp. 54, 68.

32

Эдгар Аллан По, «Страна сна», строфы 1–8. (Перевод Г. Бена, цитируется по: Э. А. По «Стихотворения», СПб., Симпозиум, 1998. С. 175. – *Примеч. перев.*)

33

Письмо Л. И. Гуини Ф. Х. Дэй, 30 мая 1892 г.; 14 июня 1892 г.; 25 июля 1892 г.; 30 июля 1892 г. (Переписка Гуини – Дэй, Библиотека Конгресса.) Луиза Гуини никогда не называла Лавкрафтов, но совершенно очевидно, кого она имела в виду.

34

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 4 февраля 1934 г.

35

Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 9. Год нервного расстройства У. С. Лавкрафта указан у Коки неверно – 1898–й.

36

Де Камп ошибается: Кеннет Стерлинг не был психиатром. (Примеч. перев.)

37

Свидетельство о смерти У. С. Лавкрафта; David H. Keller «Shadows Over Lovecraft» в «Fresco», VIII, 3 (Spring, 1958), p. 24, содержит ответ Кеннета Стерлинга.

38

Sonia H. Davis «Memories of Lovecraft» в «The Arkham Collector», I, 4 (Winter, 1969), p. 117; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 & 2 (Feb. 1949), p. 7.

39

Henry Adams «The Education of Henry Adams, An Autobiography», Boston: Houghton Mifflin Co., 1918, pp. 384f.

40

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.

41

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 4 февраля 1934 г.

42

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Б. О. Двайеру, 3 марта 1927 г.

43

Howard Phillips Lovecraft «A Confession of Unfaith» в «Selected Essays», North Tonawanda, SSR Publications, 1952 (Vol. I of «The Lovecraft Collectors Library», ed. by George Wetzel), p. 19; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Э. Говарду, 30 октября 1931 г.

44

Howard Phillips Lovecraft «A Confession of Unfaith» в «Selected Essays», North Tonawanda, SSR Publications, 1952 (Vol. I of «The Lovecraft Collectors Library», ed. by George Wetzel), p. 20; излагается другими словами в письме Г. Ф. Лавкрафта Э. Ф. Байрду, 3 февраля 1924 г.; Р. Мичаэлю, 20 июля 1929 г.; Р. Э. Говарду, 30 октября 1931 г. (В самом конце цитируемого отрывка Лавкрафт допускает неточность. Фаэтуса – нимфа, дочь бога солнца Гелиоса, пасшая быков отца на острове Тринакрия, и под ее сестрами Лавкрафт, очевидно, подразумевает нимф вообще. Однако с Гесперидами, хранительницами золотых яблок вечной молодости, у нее общее лишь то, что они тоже нимфы. Возможно, вместо «Hesperian» писатель имел в виду «Hyperian» – от «Hyperion», Гиперион, другого имени Гелиоса по его отцу-титану. С другой стороны, ошибка могла произойти при неверном прочтении рукописного оригинала. – *Примеч. перев.*)

Wundersucht (*нем.*) – страсть к чудесному. (*Примеч. перев.*)

46

Arthur Machen «The Autobiography of Arthur Machen», Lon.: Richards Pr. 1951, p. 28.

47

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 5 апреля 1931 г.

48

«Америка» – патриотическая песня, положенная на музыку «Боже, храни Короля», слова написаны американским баптистским священником и поэтом Сэмюэлем Фрэнсисом Смитом (1808–1895). «Звездное знамя» («Звезды, сияющие на знамени») – патриотическая песня, принятая в 1931 г. Конгрессом США в качестве государственного гимна; слова написаны американским юристом и поэтом Фрэнсисом Скоттом Ки (1779–1843) в 1814 г. во время войны с Англией, положены на музыку английского историка музыки, композитора, певца и органиста Джона Стаффорда Смита (1750–1836), сочинившего ее в 1766 г. для шутливого гимна «Анакреону на небесах» Общества Анакреона, объединявшего лондонских музыкантов. Во время написания де Кампом книги действительно считалось, песня положена на мотив старинной застольной английской песни. (*Примеч. перев.*)

49

Имеется в виду длинная, или срединная «s» – написание строчной буквы «s» (в обычной форме называемой короткой или конечной) в виде «f», если она встречается в середине или в начале слова; написание возникло как следствие скорописных или курсивных почерков средневековья, подобная практика имела место до конца девятнадцатого века. (*Примеч. перев.*)

50

«Беркли-Сквер» – фильм, снятый в 1933 г. Фрэнком Ллойдом, в котором главный герой – американец из двадцатого века – переносится в Лондон времен Войны за независимость и встречает там своих предков. Лавкрафту очень нравился этот фильм, он смотрел его четыре раза. (*Примеч. перев.*)

51

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Б. О. Двайеру, 3 марта 1927 г.; Howard Phillips Lovecraft «Autobiography: Some Notes on a Nonentity», Sauk City: Arkham House, 1963, p. xi.

52

Парик «рамийи» – белый парик с короткой косичкой и завитыми по бокам локонами, такие парики носили офицеры армии англо-голландских союзников под командованием герцога Мальборо, победившей французов в сражении при Рамийи в 1706 г. в ходе войны за Испанское наследство. Шейный платок «штенкерк» – способ ношения платка, при котором его концы скручивались вместе и засовывались в петлицу; по преданию, сражение при Штенкерке в 1692 г. в ходе войны за Пфальцское наследство между Аугсбургской лигой (Голландия, Священная Римская империя, Испания, Швеция, Бавария, Пфальц, Саксония и Англия) и Францией началось так внезапно, что французские офицеры не успели правильно повязать платки, что и породило этот небрежный стиль ношения платка. (*Примеч. перев.*)

53

Henry Adams «The Education of Henry Adams, An Autobiography», Boston: Houghton Mifflin Co., 1918, p. 11; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 16 марта 1935 г.; А. У. Дерлету, 9 сентября 1931 г.; Э. Ф. Байрду, 3 февраля 1924 г. («Poemata Minora» (лат.) – «Маленькие стихотворения». Приведенное четверостишие на самом деле является заключительным в стихотворении (впервые опубликовано в «Tryout», V, 4 (Apr. 1919), p. 8, под названием «Селене» под псевдонимом Эдвард Софтли). Селена – в греческой мифологии богиня луны; Диана – в римской мифологии богиня растительности, олицетворение луны; обе отождествлялись с Артемидой, богиней плодородия, охоты и луны, и Гекатой, богиней мрака, снов и чародейства. – *Примеч. перев.*)

54

Письмо Г. Ф. Лавкрафта З. Б. Рид, 13 февраля 1928 г.; Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.; Р. Блоху, примерно 1 сентября 1933 г.

55

John B. Gough «Sunlight and Shadow (or Gleanings from My Life Work)», Hartford: A. D. Worthington & Co., 1881, pp. 248, 260, 364; письмо Г. Ф. Лавкрафта З. Б. Рид, 13 февраля 1928 г.; Дж. В. Ши, 10 ноября 1931 г.

Howard Phillips Lovecraft «Night-Gaunts», 11. 1–8 в «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 125.

57

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 1 января 1915 г.; Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.

58

W. Paul Cook «An Appreciation of H. P. Lovecraft» в H. P. Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, p. 428; «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 10; беседа с Этель Ф. Морриш, 5 сентября 1972 г.

59

Кат – парусное судно с вынесенной к носу мачтой. (Примеч. перев.)

60

H. P. Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, pp. 45f; письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 19 июля 1931 г.

61

Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 8; Clara L. Hess в «Providence Journal», 19 Sep. 1948, VI, p. 8, col. 1.

62

Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 1; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 8c 2 (Feb. 1949), p. 5; письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 4 декабря 1935 г.; Р. Ф. Сирайту, 5 марта 1935 г.

63

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Блоху, ноябрь 1933 г.; Дж. В. Ши, 23 сентября 1933 г.

64

Г. Ф. Лавкрафт (в письме Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.) сообщил: «Я поступил в последний класс начальной школы», но я ни за что не поверю, что школа позволила бы семилетнему, пускай даже и одаренному мальчику начать обучение с четвертого класса. Вполне возможно, что он поступил во второй. Мюриель Эдди (в личном общении) рассказала, что Энни Гэмвелл «владела известняковой разработкой в Восточном Провиденсе, штат Род-Айленд, которую продала из финансовых соображений, чтобы помочь миссис Лавкрафт после смерти ее мужа». Даты и подробности отсутствуют.

Эти фантастические твари были подробно описаны Г. Ф. Лавкрафтом в повести «Сновиденческие поиски Кадафа Неведомого» (1927), а также в одноименном сонете (см. эпиграф к данной главе). Оригинальное «Night-Gaunts» (прилагательное «gaunt» означает «голодный; худой, костлявый; мрачный, отталкивающий», формы существительного не существует) в русских переводах передается по-разному: «крылатые твари» (К. Королев, Д. Афиногенов), «ночные призраки» (О. Алякринский) и, на наш взгляд, самая удачная трактовка – «ночные мверзи» (С. Л. Степанов). (*Примеч. перев.*)

66

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 1 января 1915 г.; W. Paul Cook «An Appreciation of H. P. Lovecraft» в Я. P. Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, p. 428; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 10 апреля 1934 г.; В. Финлею, 24 октября 1936 г.

То есть телесными заболеваниями, возникновение, течение и исход которых обусловлены психическими факторами. (*Примеч. перев.*)

Я. P. Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 217; «The Dunwich Horror and Others», Sauk City: Arkham House, 1963, p. 281; письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 22 декабря 1932 г. (Процитирован отрывок из рассказа Г. Ф. Лавкрафта «Тварь на пороге» (1933). – *Примеч. перев.*)

Английское выражение «facts of life» также имеет значение «сведения о половой жизни». (*Примеч. перев.*)

70

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Б. О. Двайеру, 3 марта 1927 г.; Дж. В. Ши, 4 февраля 1934 г.

71

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Б. О. Двайеру, 3 марта 1927 г.; Р. Мичаэлю, 8 июля 1929 г.

H. P. Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, pp. 46f.

Ibid., pp. 48–52.

Ibid., pp. 52f.

75

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Б. О. Двайеру, 3 марта 1927 г.; Г. О. Фишеру, конец января 1937 г.; А. Галпину, 29 августа 1918 г.; Дж. Ветцель (в личном общении).

76

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 24 мая 1935 г.; Дж. В. Ши, 4 февраля 1934 г.; Р. Блоху, примерно 1 сентября 1933 г.; Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.; Х. В. Салли, 4 декабря 1935 г.

77

Шерлок Холмс – вымышленный сыщик, герой произведений английского писателя Артура Конана Дойла (1859–1930), прославившийся своим «дедуктивным методом» раскрытия преступлений. (*Примеч. перев.*)

78

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.; А. У. Дерлету, 17 февраля 1931 г.; А. Галпину, 27 мая 1918 г. Этот дом, вероятно, располагается на Грейт-Мидоу-Хилл, Лавкрафт посетил его с Гарольдом Манро летом 1921 г., см. письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 11 августа 1921 г.

79

Письмо Г. Ф. Лавкрафта З. Б. Рид, 8 сентября 1927 г.; Э. Ф. Байрду, 3 февраля 1924 г.; Р. Ф. Сирайту, 16 апреля 1935 г.; М. В. Мо, 5 апреля 1931 г.; Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.; «Providence Journal», 31 Mar. 1904.

80

Howard Phillips Lovecraft «Despair», 11. 1–8 в «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 80.

81

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 4 февраля 1934 г.

82

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Г. О. Фишеру, 10 января 1937 г. В письме Д. У. Римелу от 23 июля 1934 г. Лавкрафт сообщает: «У меня было несколько петушков», но не указывает, когда они у него были. Полагаю, до марта 1904 года, когда он еще жил на Энджелл-стрит, 454.

83

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 17 января 1930 г.; Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.; Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday & Co., Inc., 1961, p. 56; Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 20.

84

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 4 февраля 1934 г.; Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 21.

85

H. P. Lovecraft «Marginalia», Sauk City: Arkham House, 1944, pp. 268–75.

86

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 23 сентября 1933 г.; Г. О. Фишеру, конец января 1937 г.

87

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Блоху, 1 июня 1933 г.; George Muller «The Origins of H. P. Lovecraft's Fiction», неопубликованный трактат из Библиотеки Джона Хэя, 1969, pp. 5f.

88

«The United Amateur», XVI, 4 (Nov. 1916), pp. 53–57; H. P. Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, pp. 54–63. Выдержки приведены по позднему изданию. В раннем типографское своеобразие было почти не отражено.

89

«The Scientific American», XCV, 8 (25 Aug. 1906), p. 135; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.; 19 февраля 1916 г.; Kenneth W. Faig, Jr. «Howard Phillips Lovecraft: The Early Years, 1890–1914», неопубликованная статья из Библиотеки Джона Хэя, p. 46; письмо Г. Ф. Лавкрафта Кеннету Дж. Стерлингу, 20 ноября 1935 г.

90

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. Галпину, 21 августа 1918 г.; М. В. Мо, 5 апреля 1931 г.; Ф. Б. Лонгу, 19 ноября 1920 г.; W. M. S. Russell «To Seek a Fortune» в «The Listener», LXXX, 2060 (19 Sep. 1968), p. 365. (Уильям Мой Страттен Рассел (род. 1925) – английский биолог, социолог, психоаналитик. – *Примеч. перев.*)

91

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. Ф. Боннер, 1 апреля 1936 г.; Э. Т. Реншоу, 30 марта 1936 г., Ф. Б. Лонгу, 3 ноября 1930 г.; Э. Ш. Коулу, 30 сентября 1933 г.; К. Дж. Стерлингу, июнь 1935 г.; К. Э. Смиту, 22 октября 1933 г. В письме У. В. Джексон от 7 октября 1921 г. Лавкрафт упоминает, что «Брауни» потерялся, но, очевидно, он снова нашелся.

92

Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 21; письмо Г. Ф. Лавкрафта Б. О. Двайеру, 3 марта 1927 г. Лавкрафт, несомненно, не фигурировал в списках выпускников школы на Хоуп-стрит.

93

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ф. Байрду, 3 февраля 1924 г.; Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.

Per se (*лат.*) – сам по себе, по существу. (*Примеч. перев.*)

В. Питер Сакс, доктор медицины (в личном общении); R. Alain Everts and Phillips Gamwell III «The Death of a Gentleman; the Last Days of Howard Phillips Lovecraft» в «Nyctalops», II, 1 (No. 8, Apr. 1973), p. 24.

Эйдетизм – особый картинный характер памяти, преимущественно на зрительные впечатления, позволяющий удерживать и воспроизводить чрезвычайно живой образ воспринятого ранее предмета, по своей наглядности и детальности почти не уступающий образу восприятия. (*Примеч. перев.*)

97

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 5 апреля 1931 г.

98

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, декабрь 1926 г.; 30 июля 1929 г.; А. У. Дерлету, 20 января 1927 г.; М. Ф. Боннер, 4 мая 1936 г.; У. Коноверу, 23 сентября 1936 г.

99

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 15 октября 1927 г.; Х. В. Салли, 4 декабря 1935 г.

100

Dennis Gabor «The Mature Society», N. Y.: 1972, p. 58. (Деннис Габор (1900–1979) – английский физик венгерского происхождения, в 1971 г. за изобретение и разработку топографического метода получил Нобелевскую премию; автор публицистических книг «Создавая будущее» (1963), «Инновации» (1970) и «Зрелое общество» (1972). – *Примеч. перев.*)

101

Flaneur (*фр.*) – праздношатающийся; boulevardier (*фр.*) – гуляющий по бульвару; bon vivant (*фр.*) – хорошо живущий. (*Примеч. перев.*)

102

Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Коноверу, 23 сентября 1936 г.

103

Elizabeth Akers Allen «Rock Me to Sleep», st. 1. (Элизабет Акерс Аллен (1832–1911) – американская поэтесса, публиковавшаяся под псевдонимом Флоренс Перси; стихотворение «Убаюкай меня, мама» (1866), строчки из которого процитированы, было положено на музыку и стало популярной песней тех лет. – *Примеч. перев.*)

104

Э. А. Робинсон «Минивер Чиви», строфы 5–12. (Перевод А. Сергеева, цитируется по: Э. А. Робинсон «Стихотворения и поэмы. Тильбюри-таун», Москва, Художественная литература, 1971. – *Примеч. перев.*)

105

Таос и Кармел – города на западе США (штаты Нью-Мексико и Калифорния соответственно), где проживает множество писателей и художников. (*Примеч. перев.*)

106

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 8 августа 1933 г.; письмо Вирджинии В. (миссис Карлос Г.) Райт У. Т. Скотту, 23 сентября 1948 г., процитировано в «Providence Journal», 3 Oct. 1948 и Howard Phillips Lovecraft «Something About Cats and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1949, pp. 249f; письмо Г. Ф. Лавкрафта А. Галпину, 27 мая 1918 г. Состояние Лавкрафта походит на то, что некогда называлось «праздностью». (Де Камп имеет в виду один из семи смертных грехов в католичестве, духовную праздность. – *Примеч. перев.*)

107

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.; Г. О. Фишеру, конец января 1937 г.

108

Helen V. Wesson «The Phenomenon of HPL» в «The Fossil», LV, No. 154 (Jul. 1957), p. 9; R. Knight «Intelligence and Intelligence Tests» (Lon.: 1959), цитируется в J. R. Baker «Race» (Lon.: 1974), p. 496; письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Л. Болдуину, 1934, в «The Acolyte», I, 4 (Summer, 1943), pp. 22f.

109

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Б. О. Двайеру, 3 марта 1927 г.

Normal Bean (*англ.*) – «обычный боб». (*Примеч. перев.*)

111

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. Галпину, 21 августа 1918 г.; 29 августа 1918 г.

В. Питер Сакс (в личном общении); Winfield Townley Scott «The Haunter of the Dark; Some Notes on Howard Phillips Lovecraft» в «Books at Brown», VI, 3 (Mar. 1944), p. 3; «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday 8c Co., Inc., 1961, p. 68; письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 15 февраля 1933 г.; А. Галпину, 29 августа 1918 г.

113

J. Vernon Shea «H. P. Lovecraft: The House and the Shadows» в «The Magazine of Fantasy 8c Science Fiction», XXX, 5 (May 1966), pp. 83fi «Providence Journal», 19 Sep. 1948; 3 Oct. 1948; письмо Клары Л. Гесс А. У. Дерлету, 9 октября 1948 г. В своей статье Ши ошибочно причислил меня к тем критикам, которые «особенно враждебны к Лавкрафту и его работам» (p. 82). Как мы с Ши затем согласились в переписке, я не стал бы тратить время на эту книгу, если бы был столь враждебен.

114

Де Камп имеет в виду рассказ Г. Ф. Лавкрафта «Дом, который все избегали» («The Shunned House», 1924), в русских переводах обычно озаглавленный как «Брошенный дом» или «Заброшенный дом». (*Примеч. перев.*)

115

W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, pp. 7ff.

116

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 18 ноября 1932 г.; Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday 8c Co., Inc., 1961, pp. 56f.

117

То есть около ста восьмидесяти сантиметров. (*Примеч. перев.*)

118

Письмо Г. Ф. Лавкрафта В. Финлею, 24 октября 1936 г.; W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 9; «An Appreciation of H. P. Lovecraft» в Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, p. 428; письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, начало декабря 1927 г. У Лавкрафта был восьмой размер обуви.

119

John P. Marquand «The Late George Apley (A Novel in the Form of a Memoir)», Boston: Little, Brown 8c Co., 1936, p. 25; письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 15 мая 1918 г.; Э. Х. Прайсу, 13 января 1935 г.; Wilfred B. Talman «The Normal Lovecraft», Saddle River, N. J.: Gerry de la Ree, 1973, p. 14.

Около семидесяти килограммов. (*Примеч. перев.*)

121

Howard Phillips Lovecraft «Department of Public Criticism» в «The United Amateur», XVI, 8 (May, 1917), p. 109; письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 22 декабря 1932 г.; «The Zenith» (Jan. 1921), p. 5; письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 26 января 1921 г.; Р. Х. Барлоу, 10 апреля 1934 г.; С. Ф. Лавкрафт, 30 ноября 1911 г. (В стихотворении в оригинале игра слов: «breakfast biscuit» – «с завтрака печенье» и «to break my fast» – «пост оно нарушит». – *Примеч. перев.*)

122

Одна американская кварта чуть меньше литра. (*Примеч. перев.*)

123

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 30 октября 1931 г.; Donald Wandrei «The Dweller in Darkness: Lovecraft, 1927» в Howard Phillips Lovecraft «Marginalia», Sauk City: Arkham House, 1944, pp. 368, 364; Edgar Hoffmann Price «Howard Phillips Lovecraft» в «The Acolyte», II, 4 (No. 8, Fall, 1944), p. 19. Кафе миссис Джулии Э. Максфилд позже было продано и стало французским рестораном, затем был продан и он, теперь это ресторан дальневосточной кухни, отделанный в китайском стиле и предлагающий китайскую и полинезийскую еду.

124

«Cats and Dogs» в «Leaves» (Summer, 1937), перепечатано как «Something About Cats» в Howard Phillips Lovecraft «Something About Cats and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1949, p. 31–8; письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, декабрь 1926 г.

125

Vincent Starrett «Books and Bipeds», N. Y.: Argus Books, 1947, p. 120; Alfred Galpin «Memories of a Friendship» в Howard Phillips Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, pp. 194f; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 13 мая 1921 г.

126

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 4 октября 1931 г.; А. У. Дерлету, 16 января 1931 г.; Р. Ф. Сирайту, 4 ноября 1935 г.

127

Howard Phillips Lovecraft «New-England Fallen», 11 103–106 & 117–120 в «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, pp. 15–20.

128

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 23 ноября 1914 г.; «Галламо», 1920.

129

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.; «The Argosy», LXIII, 2 (Sep. 1913), pp. 478f.

130

«The Argosy», LXXIV, 1 (Dec. 1913), p. 237; LXXVI, 2 (May 1914), p. 478.

131

«The Argosy», LXXIV, 1 (Dec. 1913), 11.1–6 & 39–44, процитировано в «The Golden Atom», No. 9 (Dec. 1940), p. 12. («Ad Criticos» (лат.) – «Критикам». За этой поэмой, «Liber Primus» («Книга Первая»), последовали «Liber Secundus», «Liber Tertius» и «Liber Quartus», соответственно в сорок девять, сорок шесть и тридцать четыре строки, из них в «Аргоси» была опубликована только «Liber Secundus» (LXXIV, 3 (Feb. 1914), pp. 715–716).

132

В действительности стихотворение «Ad Criticos» уже было ответом Джону Расселу, ибо следующие четыре строки этого произведения после первых шести, приведенных выше, звучат так:

Прощаю, Рассел, ваше оскорбленье,
Коль выражено ловко так презренье.
Зажженный истым жаром муз ваш стих
Достоин целей выше рядовых.

В Howard Phillips Lovecraft «The Ancient Track: The Complete Poetical Works», ed. by S. T. Joshi, San Francisco: Night Shade Books, 2001, p. 492, указан другой номер «Аргоси», в котором было опубликовано «Ad Criticos» – LXXIV, 2 (Jan. 1914), pp. 479–480. (*Примеч. перев.*)

133

«The Argosy», LXXVI, 2 (May 1914), p. 477.

134

«The Argosy», LXXVII, 3 (Oct. 1914), p. 718. (С. Т. Джоши в Howard Phillips Lovecraft «The Ancient Track: The Complete Poetical Works», ed. by S. T. Joshi, San Francisco: Night Shade Books, 2001, p. 492, пишет: «[Стихотворение Г. Ф. Лавкрафта „Конец джексоновской войны“] написано по просьбе Т. Н. Меткалфа, редактора „Аргоси“, желавшего закрыть полемику в письмах и стихах о Фреде Джексоне. Поэма была опубликована под коллективным заголовком „Прощание критиков“, ниже следовало стихотворение Джона Рассела „Наши извинения Э. М. В.“. Л. Спрэг де Камп полагал, что последнее принадлежит перу Лавкрафта, но, несомненно, „Конец джексоновской войны“, написанное в обычном для Лавкрафта пятистопном ямбе, более типично для его произведений, нежели ямбический триметр стихотворенья „Наши извинения Э. М. В.“, которым часто пользовался Рассел. Обе поэмы были подписаны внизу совместно Лавкрафтом и Расселом, поэтому авторство сразу не ясно». – *Примеч. перев.*)

135

«All-Story Weekly», XXVIII, 4 (7 Mar. 1914), p. 223; CXIV, 3 (15 Nov. 1919), p. 528. Первая цитата приводится также в Sam Moskowitz «Under the Moons of Mars (A History and Anthology of „The Scientific Romance“ in the Munsey Magazines, 1912–1920)», N. Y.: Holt, Rinehart 8c Winston, 1970, p. 373.

136

«Августейшая эпоха» – неоклассический век английского искусства и литературы семнадцатого – начала восемнадцатого веков. (*Примеч. перев.*)

137

Willametta Kejfer «Howard P(seudonym) Lovecraft: The Many Names of HPL» в «The Fossil», Jul. 1958, p. 82; Robert H. Barlow «Pseudonyms of H. P. Lovecraft» в «The Acolyte», 1,4 (Summer, 1943), p. 18. Август Дерлет в «„New Pseudonyms“ Rejected by Derleth» в «The Fossil», LVI, 159 (Oct. 1958), p. 90, исправляет утверждение Кеффер о том, что «Консул Хастинг» и «Рэндольф Сент-Джон» были псевдонимами Лавкрафта, относя их к Альфреду Галпину и Рейнхарту Кляйнеру соответственно. Сэм Московиц в «Under the Moons of Mars (A History and Anthology of „The Scientific Romance“ in the Munsey Magazines, 1912–1920)», N. Y.: Holt, Rinehart 8c Winston, 1970, p. 378, предполагает, что Лавкрафт использовал псевдоним Август Т. Свифт во избежание еще одной полемики; это вполне вероятно, но к тому времени он уже привык под малейшим предлогом использовать псевдонимы.

138

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 25 марта 1923 г.; Б. О. Двайеру, 3 марта 1927 г.

139

Приведенное выше стихотворение – выдержки (строки 152–156, 160–165 и 169–170) с незначительными изменениями из поэмы Г. Ф. Лавкрафта «Кошмар Поэта» («The Poet's Nightmare», 1916). (*Примеч. перев.*)

140

«Providence Evening News», 1 May 1917, p. 5; 2 Oct. 1917, p. 4; 31 Oct. 1914, p. 10.

141

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 8 декабря 1914 г.; А. У. Дерлету, 26 ноября 1932 г.; «The Tryout», VI, 7 (Jul. 1920). Конфликт Свифта и Партриджа описан в L. S. De Camp & C. C. de Camp «Spirits, Stars 8c Spells» (N. Y.: 1966), pp. 28f. Как и некоторые другие любители, Ч. В. Смит, издававший «Трайаут», не нумеровал страницы.

142

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 9 ноября 1914 г.; 13 мая 1918 г.; «The Tryout», V, 4 (Apr. 1919), pp. 13f; George T. Wetzel «A Lovecraft Profile» в «Nyctalops», II, 1 (No. 8, Apr. 1973), p. 19. (Приведенное стихотворение также именуется «Весна» («Spring», 1917). Его подзаголовок гласит, что это парафраз прозы Клиффорда Раймонда, опубликованной в «Чикаго Трибьюн». С. Т. Джоши, впрочем, в Howard Phillips Lovecraft «The Ancient Track: The Complete Poetical Works», ed. by S. T. Joshi, San Francisco: Night Shade Books, 2001, p. 501, отмечает, что ему «не удалось обнаружить произведение Раймонда в „Чикаго Трибьюн“» и что он не представляет, «где Лавкрафт мог достать эту газету, поскольку у него не было близких друзей в Чикаго». Позже «Весна» с незначительными изменениями была включена в поэму «Величайший закон» («The Greatest Law», предположительно 1920–1921), ее авторство обозначено как «К. Раймонда и Людвига фон Теобальда». – *Примеч. перев.*)

143

«The Tryout», III, 3 (Feb. 1917); перепечатано в George T. Wetzel (ed.) «HPL: Memoirs, Critiques, and Bibliographies», North Tonawanda: SSR Publications, 1955, p. 27. Поэма напечатана «С извинениями У. Рэли, эсквайру», поскольку это явная пародия на стихотворение сэра Уолтера Рэли «Ответ нимфы пылкому пастушку», которое, в свою очередь, было пародией на «Пылкий пастушок своей любви» Марло, также спародированном в «The Tryout», II, 11 (Oct. 1916) Оливом Г. Оуэном в стихотворении «Современный бизнесмен своей любви».

144

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 23 ноября 1914 г.

«The Providence Amateur», 1,1 (Jun. 1915), pp. Iff.

146

Де Камп имеет в виду пословицу: «говорил горшку котелок: уж больно ты черен, дружок», имеющую смысл «сам-то ты хорош». (Примеч. перев.)

147

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 4 июня 1916 г.; А. Галпину, 29 августа 1918 г.; «The Tryout», III, 3 (Feb. 1917); Дж. Т. Данн (в личном общении, 16 ноября 1973 г.); Howard Phillips Lovecraft and John T. Dunn «Lines on Graduation From the R. I. Hospital's School of Nurses» в «The Tryout», III, 3 (Feb. 1917), pp. 13ff (приписано Данну); George T. Wetzel «A Lovecraft Profile» в «Nyctalops», И, 1 (No. 8, Apr. 1973), p. 19.

148

«The Conservative», 1,1 (Apr. 1915), pp. 2f. В последний момент Лавкрафт сменил печатников, и новый, очевидно, воспротивился характерной лавкрафтовской орфографии вроде «civilisation».

149

Herodotus, I, 134; Aristotle «Politics», VII, vii; A. J. Toynbee «A Study of History» (Lon.: 1934), I, p. 161. (Арнольд Джозеф Тойнби (1889–1975) – английский историк, в его двенадцатитомном сочинении «Исследование истории» (1934–1961) анализируются взлеты и падения цивилизаций. – *Примеч. перев.*)

150

Richard Hofstadter «Social Darwinism in American Thought», Boston: Beacon Pr., 1963, p. 162; John P. Marquand «The Late George Apley (A Novel in the Form of a Memoir)», Boston: Little, Brown 8c Co., 1936, p. 216. (Ричард Хофстедтер (1916–1970) – американский историк, его работы «Эпоха реформ» (1955) и «Антиинтеллектуализм в американской жизни» (1963) были удостоены Пулицеровской премии. – *Примеч. перев.*)

151

George Santayana «The Last Puritan (A Memoir in the Form of a Novel)», N. Y.: Charles Scribner's Sons, 1936, p. 29; Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday 8c Co., Inc., 1961, p. 101 (ссылаясь на Бута Таркингтона); письмо Г. Ф. Лавкрафта Г. О. Фишеру, 10 января 1937 г. (Юггот – согласно повести Г. Ф. Лавкрафта «Шепчущий во тьме» (1930), это планета Плутон, хотя в сонете «Осознание» (1936) Юггот лежит далеко за пределами Солнечной системы; в приведенном отрывке из письма Лавкрафт заменяет этим названием восклицание вроде «боже мой». Ньютон Бут Таркингтон (1869–1946) – американский писатель и драматург, за романы «Великолепные Эмберсоны» (1918) и «Элис Адаме» (1921) был удостоен Пулитцеровской премии. – *Примеч. перев.*)

152

«All-Story Cavalier Weekly», XL, 3 (9 Jan. 1915), p. 546; рукопись из Библиотеки Джона Хэя, Университет Брауна; Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, pp. 30f; James Warren Thomas «Howard Phillips Lovecraft: A Self-Portrait», магистерская диссертация, Brown University, 1950, pp. 19f. Стихотворение «De Triumpho Naturae» посвящено У. Б. Смиту, профессору Туланского университета, автору книг «Цветной барьер», а также «Рождение Евангелия» (1933), в которой он пытался доказать с помощью научных, но натянутых аргументов, что Иисус Христос был исключительно мифическим персонажем вроде Осириса. (С. Т. Джоши в Howard Phillips Lovecraft «The Ancient Track: The Complete Poetical Works», ed. by S. T. Joshi, San Francisco: Night Shade Books, 2001, p. 474, сообщает, что «книга Уильяма Бенджамина Смита „Цветной барьер: сведения для нерожденных“ (New York: McClure, Phillips 8c Co., 1905) – злобное расистское произведение южанина, терзаемого выходом афро-американцев на политическую и социальную сцену. Идея книги (равно как и стихотворения, хотя в нем это не совсем ясно) заключается в том, что получившие свободу черные впадут в порок и болезни и поэтому вымрут, в то время как, довольствуясь рабством, могли бы выжить». – *Примеч. перев.*)

153

К альпийской расе относят население Швейцарии и прилегающих областей Франции, Германии, Австрии и Италии. (*Примеч. перев.*)

154

Антропологические термины, обозначающие пропорции мозговой части черепа: долихоцефалический тип – длинноголовый (ширина черепа составляет менее 0,75 его длины), брахицефалический – короткоголовый (ширина черепа больше 0,8 его длины); один из признаков разделения расы на подрасы, или расы второго порядка. (*Примеч. перев.*)

155

William Z. Ripley «The Races of Europe: A Sociological Study», N. Y.: D. Appleton 8c Co., 1899, p. 455; Arthur de Gobineau «The Inequality of Human Races», N. Y.: Howard Fertig, 1967, pp. 107, 126, 23ff. Гобино также хвалил евреев и армян. (Уильям Зебине Рипли (1867–1941) – американский антрополог и экономист. – *Примеч. перев.*)

Исключение отчасти составляет доктор Карлетон С. Кун, который в некоторых своих книгах по антропологии намекает, что считает белую, или кавказскую расу превосходящей черную, негроидную, в то время как обе расы превосходит желтая, монголоидная раса. (Карлетон Стивенс Кун (1904–1981) – американский антрополог, в 1939 г. переписал книгу Рипли «Расы Европы»; обвинялся за свои работы в «научном расизме». – *Примеч. перев.*)

157

О Чемберлене см. William L. Shirer «The Rise 8c Fall of the Third Reich», N. Y.: 1960, pp. 152–159.

158

Порочный крут – термин из логики, обозначающий ошибку, когда доказываемый тезис выводится с помощью самого же этого тезиса; Гай Юлий Цезарь (100–44 до н. э.) – древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель. (*Примеч. перев.*)

159

Houston Stewart Chamberlain «Foundations of the Nineteenth Century», N. Y.: John Lane Co., 1912,1, p. 266. Вместо «тевтонов», появившихся в английском переводе, Чемберлен в оригинале использовал научный термин «Germanen», у которого в немецком языке есть такой же смысл.

160

William Z. Ripley «The Races of Europe: A Sociological Study», N. Y.: D. Appleton 8c Co., 1899, pp. 526–29; Sonia H. Davis «The Private Life of Howard Phillips Lovecraft», неопубликованная рукопись из Библиотеки Джона Хэя, p. 40; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 4 декабря 1918 г. В действительности Рипли называл северян «тевтонами», но позднее это название было заменено термином «представители нордической расы», потому что «тевтонский», равно как и «кельтский» и «семитский», по существу является лингвистическим, а не расовым термином.

161

Howard Phillips Lovecraft «Regnar Lodbrug's Epicedium (An 8th Century Funeral Song)», 11. 34–43 в «The Acolyte», II, 3 (Summer, 1944); «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 50. Из незавершенного перевода с латыни стихотворения Олая Вормия. (Хельсингия – историческая область в Швеции. С. Т. Джоши в Howard Phillips Lovecraft «The Ancient Track: The Complete Poetical Works», ed. by S. T. Joshi, San Francisco: Night Shade Books, 2001, p. 483, сообщает, что «поэма была написана в конце 1914 г., это перевод латинского перевода Олая Вормия древнескандинавской поэмы восьмого века, приведенного в „Критической диссертации по поэмам Оссиана“ (1763) Хью Блейра. При переводе Лавкрафт опирался на прозаический перевод Блейра… Некоторые строки из латинской версии он цитирует в качестве эпиграфа к „Тевтонской боевой песни“ („The Teuton's Battle-Song“, 1916). Лавкрафт неверно истолковал комментарии Блейра к Вормию, из-за чего решил, что последний жил в тринадцатом веке. Позже Вормий, несомненно, был объявлен латинским переводчиком „Некрономикона“».)

«The Conservative», I, 2 (Jul. 1915), p. 4.

Ibid., p. 5.

164

Отрывок из стихотворения Г. Ф. Лавкрафта «Фрагмент на Уитмена» («Fragment on Whitman», приблизительно 1912). (*Примеч. перев.*)

165

Charles D. Isaacson «Discussions of Charles D. Isaacson» в «In a Minor Key», Jun. 1915, pp. 7f; «The Conservative», I, 2 (Jul. 1915), pp. 9f. Эта и другие передовицы Г. Ф. Лавкрафта в «Консерватив» приведены в более полной форме в Howard Phillips Lovecraft «Something About Cats and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1949, pp. 252–77.

166

Ad hominem (лат.) – применительно к человеку, т. е. апеллирующий к чувствам или предубеждениям читателя или слушателя или же касающийся личных качеств, а не доводов собеседника. Елизавета I Тюдор (1533–1603) – английская королева с 1558 г.; Ричард Лавлэйс (1618–1659) – английский поэт, дворянин. (*Примеч. перев.*)

167

Charles D. Isaacson «Concerning the Conservative» в «In a Minor Key», Opus 2, pp. 8f.

168

Fletcher Pratt «Secret 8c Urgent» (N. Y.: 1939), p. 85; письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 26 мая 1923 г.; «The Conservative», 1,3 (Oct. 1915), p. 5. Лавкрафт, очевидно, не знал, что во времена Попа «join» и «line» в речи часто рифмовались, будучи произносимыми с дифтонгом (вроде того, что сегодня слышен в Нью-йоркском пролетарском говоре в слове «learn»), средним по звучанию между дифтонгами в нынешних «join» и «line».

169

«The Conservative», 1,3 (Oct. 1915), pp. 8, 10.

170

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 23 ноября 1914 г.; Р. Кляйнеру, 28 марта 1915 г.; 14 сентября 1915 г.

171

Чарлз Спенсер Чаплин (1889–1977) – американский режиссер, актер и сценарист, оказавший своими комедиями глубокое влияние на развитие мирового кино. Де Камп, судя по всему, слишком образно выразился, ибо стихотворение «На получение открытки с лебедями» приведено Лавкрафтом в письме Рейнхарту Кляйнеру от 14 сентября 1915 г., «Чарли из комедий» – от 30 сентября 1915 г. (что можно понять из его же примечаний), и нет никаких сведений, что они были сочинены одно за другим. (*Примеч. перев.*)

172

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 30 сентября 1915 г., А. де Кастро, 14 октября 1934 г.

173

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 30 сентября 1923 г.; Р. Кляйнеру, 14 октября 1917 г.

«Скульптор из Фив» – фильм режиссера Юджина Мура (1917), действие происходит в Древнем Египте. (*Примеч. перев.*)

175

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 25 ноября 1915 г.

176

«The United Amateur», XV, 7 (Feb. 1916), pp. 85f.

177

Merlin Redivivus (*лат.*) – Мерлин (чародей в сказаниях о короле Артуре и рыцарях Круглого стола), снова употребленный в дело. (*Примеч. перев.*)

178

«The Conservative», V, 1 (Jul. 1919), pp. 9ff. (В последнем приведенном отрывке у Лавкрафта в оригинале игра слов: «long-winded» – «многоречивый» и «long-haired» – «длинноволосый». – *Примеч. перев.*)

179

Rheinhart Kleiner «A Memoir of Lovecraft» в Howard Phillips Lovecraft «Something About Cats and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1949, pp. 218ff; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Ф. Сирайту, 15 октября 1933 г.

180

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 18 мая 1922 г.

181

Samuel Loveman «The Hermaphrodite and Other Poems», Caldwell, Idaho: Caxton Printers, 1936, p. 74; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 8 ноября 1917 г.; Ф. Б. Лонгу, 8 февраля 1922 г.

182

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Т. Реншоу, 3 марта 1922 г.; М. В. Мо, 18 мая 1922 г.

183

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 21 августа 1926 г.

184

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 23 декабря 1917 г.; 4 декабря 1918 г.; Ф. Б. Лонгу, 3 ноября 1930 г.; Donald Wandrei «Lovecraft in Providence» в Howard Phillips Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, p. 125.

185

Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday & Co., Inc., 1961, p. 71; «Lord Chesterfield's Letters to His Son», Letter xxi, 11 Dec. 1747 (по старому стилю).

В оригинале Лавкрафт также использует «длинные, s». (*Примеч. перев.)*

187

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 16 января 1919 г.; Р. Кляйнеру, 14 октября 1919 г.; «Кляйкомола», октябрь 1916 г.

188

Письмо Г. Ф. Лавкрафта «Кляйкомола», октябрь 1916 г.; Р. Кляйнеру, 25 ноября 1915 г.; М. В. Мо, 15 мая 1918 г.

189

Письмо Г. Ф. Лавкрафта «Кляйкомола», 8 августа 1916 г.; Р. Кляйнеру, 23 февраля 1918 г.; 14 сентября 1919 г.

190

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 10 августа 1915 г.; Дж. Ф. Мортону, 10 февраля 1923 г.; Ф. Б. Лонгу, 13 мая 1923 г. (Генгист и Горса – братья-предводители англосаксонских дружин, начавших завоевание романизованной Британии; согласно мифам, считаются правнуками Вотана. – *Примеч. перев.*)

191

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 23 мая 1917 г.; 23 февраля 1918 г.

192

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 22 июня 1917 г.; 27 августа 1917 г.; М. В. Мо, 30 мая 1917 г. Эдвард Ш. Коул (Edward H. Cole «Ave Atque Vale!» в George T. Wetzel (ed.) «HPL: Memoirs, Critiques, and Bibliographies», North Tonawanda: SSR Publications, 1955, p. 14.) повторяет историю, которую слышал от Данна, коллеги Лавкрафта по Провиденсскому клубу любительской прессы, что Лавкрафт пытался завербоваться в британскую армию в 1914–1915 годах, но был разоблачен своими тетушками. Поскольку Лавкрафт никогда не упоминал подобного эпизода, это, вероятно, лишь искаженная версия истории его неудачного поступления на службу в Род-айлендскую Национальную гвардию.

193

Daniel Hoffman «Poe Poe Poe Poe Poe Poe Poe», Garden City: Double – day & Co., Inc., 1972, p. 199.

194

В оригинале де Камп дает заглавие стихотворения как «Britannia Victoria», однако, если быть точным, оно называется «Britannia Victura», что можно перевести с латыни как «Великобритания идет к победе». Фемида – в греческой мифологии богиня правосудия. (*Примеч. перев.*)

«The Inspiration» (Apr. 1917), pp. 3f; «The Dixie Booster», IV, 4 (Spring, 1916), p. 9. («Песнь трезвости», по замыслу Лавкрафта, поется на мелодию песни «Прекрасный Синий Флаг», популярной маршевой южан по названию неофициального флага Южной Конфедерации, сочиненной в 1861 г. иммигрантом из Ольстера артистом варьете и комиком Гарри Маккарти и, в свою очередь, положенной на музыку песни «Ирландский кабриолет». В оригинале первая строка «Песни трезвости» Лавкрафта повторяет начало «Прекрасного Синего Флага». – *Примеч. перев.*)

196

«Наша страна сознательно предприняла великий экономический и социальный эксперимент, благородный в побуждении и далеко идущий по замыслу», – так о «сухом законе» отозвался Герберт Кларк Гувер (1874–1964), занимавший в 1929–1933 гг. пост президента США (письмо от 28 февраля 1928 г. сенатору Уильяму Эдгару Бора (1865–1940)). (*Примеч. перев.*)

197

Де Камп не совсем точен, так как перед приведенным фрагментом стоят еще два вступительных четверостишия. Название поэмы на греческом означает «Проводник душ [в царство мертвых]», который обычно отождествляется с Гермесом. Овернь – историческая область в центре Франции. (*Примеч. перев.*)

198

Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 2; письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Толдридж, 25 июня 1933 г.; Р. Кляйнеру, 16 июля 1919 г.; 21 августа 1919 г.; «Weird Tales», XXX, 3 (Sep. 1937), p. 341 и Howard Phillips Lovecraft «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 95; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 4 апреля 1918 г.

199

«The Tryout», III, 7 (Jun. 1917), под псевдонимом Льюис Теобальд-младший; Howard Phillips Lovecraft «Selected Poetry (Second Series)», North Tonawanda: SSR Publications, 1955, p. 15. Ч. В. Смит напечатал «amorous» («амурный») как «armours» («доспехи», «оружие», во множественном числе). Неправильная рифма во второй и четвертой строках («inspiration» и «desolations» – «вдохновение» и «опустошение», последнее во множественном числе) – возможно, другая опечатка. (С. Т. Джоши в Howard Phillips Lovecraft «The Ancient Track: The Complete Poetical Works», ed. by S. T. Joshi, San Francisco: Night Shade Books, 2001, p. 495, подчеркивает, что имя в псевдониме было Луис (Louis), а не Льюис (Lewis). Он приводит данное стихотворение без указанной де Кампом ошибки в рифме. – *Примеч. перев.*)

200

«The Trvout», VI, 1 (Jan. 1920); «The Vagrant», Jul. 1918; Howard Phillips Lovecraft «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 82. Стихотворение «Лета» было опубликовано в «Трайаут» за февраль 1918–го. В «К Филлис» слово «and» в шестой строке – вероятно, опечатка, следует читать «had». (С. Т. Джоши в Howard Phillips Lovecraft «The Ancient Track: The Complete Poetical Works», ed. by S. T. Joshi, San Francisco: Night Shade Books, 2001, p. 239, приводит данное стихотворение без указанной опечатки.)

201

«The Vagrant» (Spring 1927), под псевдонимом Альберт Фредерик Уилли; Howard Phillips Lovecraft «The Doom That Came to Sarnath», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 82ff. (С. Т. Джоши в Howard Phillips Lovecraft «The Ancient Track: The Complete Poetical Works», ed. by S. T. Joshi, San Francisco: Night Shade Books, 2001, p. 482, отмечает: «Стихотворение было написано, вероятно, не позднее 1920–го, совместно с Альфредом Галпиным (отсюда и псевдоним: Аль[берт] Фред[ерик] Уилли, Уилли – девичья фамилия матери Галпина)… Лавкрафт подразумевал его как „пародию на те стилистические чрезмерности, в которых в действительности нет смысла“ (письмо Г. Ф. Лавкрафта Дональду Уондри, 2 августа 1927 г.)… Дональд Уондри, однако, прочитав поэму, отозвался гак: „Это редкий и любопытный образчик литературного чудачества, слишком хороший для насмешки, так что вместо пародии он является оригиналом“ (письмо Дональда Уондри Г. Ф. Лавкрафту, 12 августа 1927 г.)». – *Примеч. перев.*)

202

George W. Macauley «Lovecraft and the Amateur Press» в «Fresco», VIII, 3 (Spring, 1958), p. 43. (Вышеприведенное утверждение де Кампа о том, что «за последующие десять лет он [Лавкрафт] едва ли написал хоть одно стихотворение», совершенно не соответствует истине. – *Примеч. перев.*)

203

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 6, 140; «Dagon and Other Macabre Tales», Sauk City: Arkham House, 1965, pp. 8f; «The Doom That Came to Sarnath», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 22. Я не совсем уверен, что «Гробница» была написана раньше «Дагона», но из двух рассказов этот упоминается в письмах Лавкрафта первым.

204

Howard Phillips Lovecraft «The Notes & Commonplace Book Employed by the Late H. P. Lovecraft…», Lakeport, Calif.: Futile Pr., 1938; «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, pp. xv – xxvii; Howard Phillips Lovecraft and Divers'Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, pp. 97–123; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 20 января 1920 г.; 7 марта 1920 г.

«Leaves», II (1938); Howard Phillips Lovecraft «Marginalia», Sauk City: Arkham House, 1944, p. 285; «Dagon and Other Macabre Tales», Sauk City: Arkham House, 1965, p. 335. «Азатот» (Azathoth), возможно, является комбинацией слов «азот» (azoth), средневекового алхимического названия ртути, и «Тот» (Toth), греческого прочтения имени египетского ибисоголового бога мудрости Техути.

206

Полностью стихотворение называется «На получение открытки с болотами в Ипсвиче» («On Receiving a Picture of the Marshes at Ipswich», 1917). (*Примеч. перев.*)

207

«The Philosopher», I, 1 (Dec. 1920), pp. 3ff; Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 7ff; «Dagon and Other Macabre Tales», Sauk City: Arkham House, 1965, pp. 19–22.

208

«Даешь Пайкс-Пик!» («Pike's Peak or Burst») – лозунг золотоискателей, направлявшихся в 1859 г. в район современного штата Колорадо*, известный как Страна золота у Пайкс-Пика. (*Примеч. перев.)

209

Аналогом английскому «автор-призрак» (ghost-writer) является русское «литературный негр», от использования которого пришлось отказаться, т. к. в этом случае появилась бы отсутствующая в оригинале ирония над Лавкрафтом, придерживавшимся расистских взглядов. Название данной главы подразумевает это занятие Лавкрафта. (*Примеч. перев.*)

210

Lin Carter «Lovecraft: A Look Behind the Cthulhu Mythos», N. Y.: Ballantine Books, 1972, p. 21; письмо Г. Ф. Лавкрафта А. Галпину, 14 ноября 1918 г.; Р. Ф. Сирайту, 31 августа 1933 г.; Barton Levy St. Armand «The Outsider in Legend and Myth», магистерская диссертация, Brown University, 1966, p. 45; Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 208.

211

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Т. Реншоу, 24 февраля 1936 г.; David V. Bush «The University of the Master Mind», Chicago: David V. Bush, 1923, pp. 89, 122.

212

«The United Co-Operative», I, 3 (Apr. 1920), pp. 1–6; Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 210–14; «The Horror in the Museum and Other Revisions», Sauk City: Arkham House, 1970, pp. 3–9.

213

«The Vagrant» (Spring 1927), pp. 188–95; Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City Arkham House, 1943, p. 218; «The Horror in the Museum and Other Revisions», Sauk City: Arkham House, 1970, p. 15.

214

Howard Phillips Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, p. 63; письмо Клары Л. Гесс А. У. Дерлету, 9 октября 1948 г., цитируется по Howard Phillips Lovecraft «Something About Cats and Other Pieces», Sauk City Arkham House, 1949, p. 249.

215

Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday 8f Co., Inc., 1961, p. 60; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 30 марта 1919 г.

216

Письмо Г. Ф. Лавкрафта С. Ф. Лавкрафт, 24 февраля 1921 г.; 17 марта 1921 г.

217

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Дж. Дэвису, 12 мая 1925 г.; Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday & Co., Inc., 1961, p. 68; David H. Keller «Shadows Over Lovecraft» в «Fresco», VIII, 3 (Spring 1958), p. 22; «The Silver Clarion», III, 1 (Apr. 1919), pp. 8ff.

«The National Amateur» (Jul. 1919); Howard Phillips Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City Arkham House, 1959, pp. 85–96.

219

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Т. Реншоу, 1 июня 1921 г.

«Pine Cones», I, 6 (Oct. 1919), pp. 2–9; Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, pp. 33–39; «The Doom That Came to Sarnath», N.Y.: Ballantine Books, 1971, pp. 39–50.

221

«The United Co-Operative», I, 2 (Jun. 1919), p. 8, под псевдонимом Льюис Теобальд-младший; Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, p. 3; «The Doom That Came to Sarnath», N. Y.: Ballantine Books, 1971, pp. 52f. (В оригинале река называется «Than» (рифмующееся с «Man», «Человек»), что переводится как «Затем». – *Примеч. перев.*)

222

«The United Amateur», XX, 2 (Nov. 1920), pp. 19ff; Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, pp. 6f; «The Doom That Came to Sarnath», N. Y.: Ballantine Books, 1971, pp. 57–60; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 14 декабря 1921 г. Отточия в первом абзаце «Ньярлатхотепа» принадлежат Лавкрафту.

Отсюда имя Аменхотеп означает «Амон доволен». Многие названия на банту начинаются со смягченного «п» (тождественного «пу» или испанскому «п»). Теории о произношении древнеегипетских имен см. в моей книге «Great Cities of the Ancient World», p. 43.

224

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 14 апреля 1929 г.; MarkAmory «Lord Dunsany: A Biography», Lon.: Collins, 1972, pp. 33f; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 9 ноября 1919 г.; Э. Толдридж, 8 марта 1929 г. Письмо Смиту, десятилетие спустя после события, приписывает этот «удар» «Рассказам сновидца», но в своем письме за 1919 г. как первую прочитанную книгу Дансейни Лавкрафт называет «Время и боги». Коки в ArthurS. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 58, ошибочно понял упоминание Лавкрафтом в его статье «Дансейни и его творчество» монокля («eyeglass») Дансейни, посчитав, что тот имел в виду, что у лорда был стеклянный глаз («glass eye»).

225

«The Tryout», V, 11 (Nov. 1919), pp. 1 If; George T. Wetzel (ed.) «HPL: Memoirs, Critiques, and Bibliographies», III, North Tonawanda: SSR Publications, 1955, p. 21; «The Tryout», V, 12 (Dec. 1919), pp. 12f.

226

«The United Amateur», XIX, 2 (Nov. 1919), pp. 30–33; Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, pp. 24–27; «Dagon and Other Macabre Tales», Sauk City: Arkham House, 1965, pp. 41–46; письмо Г. Ф. Лавкрафта С. Куину, 11 сентября 1931 г.

227

«The Tryout», VI, И (Nov. 1920), pp. 3–9; Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 19, 121; «Dagon and Other Macabre Tales», Sauk City: Arkham House, 1965, pp. 56, 47; «The Spectator», No. 418 (30 Jun. 1712), процитировано в Robert Stevens Fish «The Oral Interpretation of the Honor Stories of H. P. Lovecraft», магистерская диссертация, University of Oklahoma, 1965, pp. 28f.

228

Де Камп ошибается: в рассказе пир устраивает король Наргис-Хей, а не «Зоккар, былой король». (*Примеч. перев.*)

229

«The Tryout», VI, 11 (Nov. 1920); VI, 5 (May 1920); Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 19, 28–31, 121; «Dreams and Fancies», Sauk City: Arkham House, 1962, pp. 77, 61–68. Рассказ следует близко тексту письма «Галламо» от 11 декабря 1919 г., в котором Лавкрафт пересказывает сон.

230

«The Rainbow», И, 2 (May 1922), pp. 10ff; Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 10–13; «The Dream-Quest of Unknown Kadath», New York: Ballantine Books, 1970, pp. 142–50. В поздних рассказах Лавкрафта Иннсмут – вымышленный город в Новой Англии. Он, вероятно, забыл, что в «Селефаисе» местечко с этим названием у него располагалось в Англии.

231

В оригинале «Cthulhu Mythos» – вместо английского «myth» используется греческое «mythos». (*Примеч. перев.*)

232

«Weird Tales», XXXII, 5 (Nov. 1938), pp. 617–26; «The Tryout», VII, 4 (Jul. 1921), pp. 11–15; Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 113–20, 138f, 234–41; «Dagon and Other Macabre Tales», Sauk City: Arkham House, 1965, pp. 73–85.

233

«Weird Tales», XXXII, 4 (Oct. 1938), pp. 489–92; Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, pp. 13ff; «The Doom That Came to Sarnath», N. Y.: Ballantine Books, 1971, pp. 2–7. Отточия принадлежат Лавкрафту.

234

«Хаб Клаб» (the Hub Club) – «Бостонский клуб», «the Hub» (как таковое означает центр внимания, интереса или деятельности) – шутливое название Бостона. (*Примеч. перев.*)

235

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 19 июня 1931 г.; Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 63; «The Dunwich Horror and Others», Sauk City: Arkham House, 1963, p. 53; Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 138; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 23 января 1920 г.; Э. Ф. Байрду, 3 февраля 1924 г.

236

George Julian Houtain and W. Paul Cook (eds.) «Epgephi», Boston: самиздат, 1920 (отчет под псевдонимами о съезде издателей-любителей в Бостоне, 2–12 июля 1920 г.), pp. 6, 22; George T. Wetzel «An Early Portrait of Lovecraft» в «Renaissance», II, 2 (Mar. 1953), p. 3; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 10 сентября 1920 г. Некоторые исследователи Лавкрафта спутали июльское и августовское собрания, рассмотрев их как одно и то же.

237

«The Boy's Herald», LXXII, 1 (Jan. 1943), pp. 6f; письмо Г. Ф. Лавкрафта С. Ф. Лавкрафт, 24 февраля 1921 г.; Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 1.

238

Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday Co., Inc., 1961, p. 61; свидетельство о смерти Сары Сьюзен Лавкрафт. Письмо, в котором Лавкрафт рассказывает матери о дне Святого Патрика, датированное 17 марта 1921 г., судя по всему, было написано 24 марта, но неверно датировано.

239

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 12 июня 1921 г.; У. В. Джексон, 7 октября 1921 г.

240

Опись имущества Г. Ф. Лавкрафта, 21 апреля 1937 г., и Э. Э. Ф. Гэмвелл, 13 марта 1941 г., Суд по делам о завещаниях и наследствах Провиденса.

241

Thorstein Veblen «The Theory of the Leisure Class» (N. Y.: 1931), p. 42; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 12 июня 1921 г.; Дж. К. Д. (?) Э. Ш. Коулу, 26 марта 1937 г.; Г. Ф. Лавкрафта Э. Э. Ф. Гэмвелл, 19 августа 1921 г.

242

В оригинале «ochreous» – «охровый», имеется в виду цвет золота. (*Примеч. перев.*)

243

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 12 марта 1922 г.; 15 января 1922 г.; «Ноте Brew», No. 6; Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, p. 75; «Dagon and Other Macabre Tales», Sauk City: Arkham House, 1965, p. 150.

244

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 30 июля 1921 г.; 11 августа 1921 г.

245

Письмо С. Лавмэна Дж. де ла Ри, 16 июля 1973 г.; Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 18 мая 1922 г.; Alfred Galpin «Memories of a Friendship» в Howard Phillips Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, p. 199; письмо Г. Ф. Лавкрафта У. В. Джексон, 7 августа 1921 г.; Р. Кляйнеру, 21 сентября 1921 г.

246

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 18 мая 1922 г.; А. У. Дерлет (в личном общении, 8 сентября 1953 г.); письмо Э. Ш. Коула А. У. Дерлету, 19 декабря 1944 г. (August W. Derleth «H. P. L.: A Memoir», N. Y.: Ben Abramson, 1945, p. 15); «The Rainbow», 1,1 (Oct. 1921), pp. 9ff.

247

Howard Phillips Lovecraft «Americanism» в «The United Amateur», XVIII, 6 (Jul. 1919), pp. 119f; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 21 сентября 1921 г.; М. В. Мо, 21 июня 1922 г.

Howard Phillips Lovecraft «A Confession of Unfaith» в «Selected Essays», North Tonawanda: SSR Publications, 1952 (Vol. I of «The Lovecraft Collectors Library», ed. by George Wetzel), p. 22.

249

«The National Amateur», XVIII, 6 (Jul. 1919); Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 127–31; «The Dunwich Horror and Others», Sauk City: Arkham House, 1963, pp. 121–29. Дерлет в August W. Derleth «H. P. L.: A Memoir», N. Y.: Ben Abramson, 1945, p. 117, и в Howard Phillips Lovecraft «Dagon and Other Macabre Tales», Sauk City: Arkham House, 1965, p. vii, утверждает, что «Картина в доме» была написана в 1920 году, но Лавкрафт в письме Р. Кляйнеру от 14 декабря 1921 г. говорит, что он закончил этот рассказ два дня назад.

250

Когда рассказ перепечатывался в «Виэрд Тэйлз» за январь 1924 г., из-за типографской ошибки Эдуардо Лопес («Lopez») стал «моряком Лопексом» («Lopex»), и эта ошибка сохранилась в последующих переизданиях. Кондра в Cyrus B. Condra «The Sailor Lopez and Kindred Musings» в «Ausldnder», No. 3 (Jun. 1966), pp. 20–24, весьма убедительно доказывает, что Лавкрафт узнал о Пигафетте и Лопесе из книги Томаса Гексли «Место человека в природе» (1863).

251

Lin Carter «H. P. Lovecraft: The Books» в Howard Phillips Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, pp. 212–49; L. Sprague de Camp «Books that Never Were» в «Fantasy and Science Fiction», XLIII, 6 (No. 259, Dec. 1972), pp. 78–85; William Scott Home «The Lovecraft 'Books': Some Addenda and Corrigenda» в Howard Phillips Lovecraft «The Dark Brotherhood and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1966, pp. 134–52; «Home Brew», Jan., Feb., Mar., Apr. 1922; Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 14–18, 242–54; «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, pp. 45–49; «Dagon and Other Macabre Tales», Sauk City: Arkham House, 1965, pp. 155, 160–86. Первичную вымышленную «Книгу Тота» иногда путают со средневековыми алхимическими трактатами, приписываемыми равным образом вымышленному Тоту – Гермесу.

Окс – древнегреческое название реки Амударьи в Средней Азии, Лавкрафт упомянул его в своем рассказе «Безымянный город». (*Примеч. перев.*)

253

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 18 мая 1922 г.; «Jersey City American Standard», 20 Sep. 1859; «Chicago Tribune», 25 Jul. 1876; «Chicago Times», 6 May 1886, цитируется no Herbert G. Gutman «Work, Culture, and Society» в «The American Historical Review», LXXVIII, 3 (Jun. 1973), p. 584; письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 9 июня 1922 г.; Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, cols. 1,3; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 8c 2 (Feb. 1949), pp. 5, 7.

254

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. Галпину, 30 июня 1922 г.; Ф. Ч. Кларк, 4 августа 1922 г.; Дж. Ф. Мортону, 8 января 1924 г. (В последней приведенной цитате у Лавкрафта в оригинале игра слов: «kiss» (поцеловать) – «kill» (убить). – *Примеч. перев.*)

255

Письмо К. Э. Смита Дж. Стерлингу, 26 марта 1926 г.; Clark Ashton Smith «Selected Poems», Sauk City: Arkham House, 1971, p. 103.

256

В 1971 г. в Канзасе на конкурсе рисунков победил некий Д. Джеймс Оранг, оказавшийся шестилетним орангутангом из зоопарка города Топика. (*Примеч. перев.*)

257

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, без обозначения даты (Howard Phillips Lovecraft «Selected Letters», I, Sauk City: Arkham House, 1965, p. 163, вероятно, октябрь 1922 г.); Э. Э. Ф. Гэмвелл, 3 октября 1922 г.

Pro tem (*лат.*) – на время, временно. (*Примеч. перев.*)

259

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 11 января 1923 г.; Дж. Ф. Мортону, 10 февраля 1923 г.; 24 февраля 1923 г.

260

Эдгар Аллан По «Страна Сна», строфы 7, 8, перевод К. Бальмонта. В оригинале: «…From a wild weird clime that lieth, sublime, // Out of Space – out of Time». Хеннебергер назвал журнал «Weird Tales». (*Примеч. перев.*)

261

W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 62; «Weird Tales», II, 2 (Sep. 1923), pp. 80, 82.

262

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 12 мая 1923 г.

263

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 8 марта 1923 г.

В оригинале стоит «boarish», относительно которого де Камп замечает: «„Boarish“ не является опечаткой слова „boorish“ („грубый, неучтивый“), это архаизм, означающий „crude, beastly“ (соответственно „грубый, оскорбительный“ и „животный, грубый; зверский“)». (*Примеч. перев.*)

265

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 24 июля 1923 г.; Arthur Machen «The Autobiography of Arthur Machen», Lon.: Richards Pr., 1951, p. 193; James Boswell «Life of Dr. Johnson», II, p. 16; письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, начало октября 1932 г.; Р. Кляйнеру, 14 декабря 1921 г.

«The Conservative», No. 13 (Mar. 1923), p. 7; Muriel Eddy «The Gentleman from Angell Street», Providence, самиздат, без обозначения даты, p. 4.

267

Clifford M. Eddy, Jr. «Walks with H. P. Lovecraft» в Howard Phillips Lovecraft «The Dark Brotherhood and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1966, p. 245; W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 33; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Ф. Сирайту, 4 ноября 1935 г.; Howard Phillips Lovecraft «The Dark Brotherhood and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1966, p. 100.

268

А. У. Дерлет (в личном общении, 8 сентября 1953 г.); Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 3. Коки в Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, pp. 102f, приводит историю, рассказанную ему тем, кто якобы слышал ее от самого Лавкрафта: однажды Соня уговорила Лавкрафта, когда он был в Нью-Йорке, переночевать у нее на диване, а не искать жилье, а затем принуждала жениться на ней, говоря, что он скомпрометировал ее. Я не нашел подтверждений этому рассказу, который представляется не соответствующим характерам обеих сторон.

269

Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, cols. 2f; письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 9 августа 1922 г.; К. Э. Смиту, 25 января 1924 г.

Йоль – языческий праздник зимнего солнцестояния (21–22 декабря) у скандинавских и германских народов, некоторые его элементы сохранились в христианском Рождестве. (*Примеч. перев.*)

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 85; «The Dunwich Horror and Others», Sauk City: Arkham House, 1963, p. 52.

272

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ф. Байрду, 3 февраля 1924 г. Отточие после «поэтом» принадлежит Лавкрафту, остальные – мои.

Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 3.

Muriel Eddy «Lovecraft's Marriage and Divorce» в «Haunted», I, 3 (Jun. 1968), p. 93; James Warren Thomas «Howard Phillips Lovecraft: A Self-Portrait», магистерская диссертация, Brown University, 1950, pp. 43ff; David H. Keller «Shadows Over Lovecraft» в «Fresco», VIII, 3 (Spring, 1958), p. 22f; А. У. Дерлет (в личном общении). (Де Камп имеет в виду следующую историю, ставшую сродни анекдоту: Дункан как-то предложила Бернарду Шоу завести общего ребенка. «Представь, – сказала она, – с моим телом и твоим умом он будет производить фурор». На что Шоу ответил: «Подумай, дорогая, а если у него будут мои ноги и твой ум?» – *Примеч. перев.*)

George Gissing «The Private Papers of Henry Rycroft», N. Y.: E. P. Dutton & Co., 1927, pp. 42, 46, 148ff, 31.

276

Письмо Э. Ш. Коула А. У. Дерлету, 19 декабря 1944 г. (August W. Derleth «H. P. L.: A Memoir», N. Y.: Ben Abramson, 1945, p. 15); J. Vernon Shea «H. P. Lovecraft: The House and the Shadows» в «The Magazine of Fantasy 8c Science Fiction», XXX, 5 (May 1966), p. 90; письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 14 августа 1933 г.; 4 февраля 1944 г.

277

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 16 февраля 1933 г.; Р. Х. Барлоу, 30 августа 1936 г.; Eric Bentley «The Cult of the Superman (A Study of the Idea of Heroism in Carlyle and Nietzsche…)», Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1969, в разных местах. См. также Colin Wilson «The Strength to Dream (Literature and the Imagination)», Boston: Houghton Mifflin Co., 1962, Chap. V. (Эрик Бентли (род. 1916) – американский писатель, критик и переводчик (возможно, де Камп не преминул сослаться на Бентли из-за его гомосексуальной ориентации); Колин Генри Уилсон (род. 1931) – английский писатель, автор множества книг по психологии, криминологии, оккультизму и т. д., а также детективных и фантастических романов, в последних обращался к Мифу Ктулху. – *Примеч. перев.*)

278

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 13 октября 1931 г.

279

W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 13; «H. P. Lovecraft: A Portrait», Baltimore: Mirage Pr., 1968, p. 12; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 23 января 1920 г.; Ф. Б. Лонгу, 20 февраля 1924 г.

Henry David Thoreau «The Portable Thoreau», N. Y.: Viking Pr., 1962, pp. 465f; John P. Marquand «The Late George Apley (A Novel in the Form of a Memoir)», Boston: Little, Brown 8c Co., 1936, p. 294.

281

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 23 апреля 1921 г.; Э. Ш. Коулу, 30 сентября 1923 г.; А. У. Дерлету, 14 марта 1933 г.

282

Письмо Г. Ф. Лавкрафта С. Г. Грин, примерно 1922 г. («The Arkham Collector», No. 9 [Winter, 1971], pp. 242–46); А. У. Дерлет (в личном общении, 8 сентября 1953 г.); Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 155; А. У. Дерлет, письмо в «Haunted», I, 3 (Jun. 1968), p. 114.

283

Рецензия Анны Фримантл на «Закат дома Мальборо» Аниты Лесли в «New York Times Book Review», 6 May 1973, p. 4.

284

Э. А. По «Бес противоречия» (перевод В. Рогова, цит. по Эдгар Аллан По, Собрание сочинений, т. 2, М., 1997, стр. 161, 159. – *Примеч. перев.*) – письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 21 марта 1924 г.; Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 4; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 8c 2 (Feb. 1949), p. 8. Рассказ Лавкрафта о бракосочетании и свадебном путешествии в указанном письме в некоторых деталях отличается от рассказа Сони. Поскольку Лавкрафт писал менее чем через три недели после событий, тогда как она описывала их через двадцать четыре года, его отчет, вероятно, более точен.

285

Mirabile dictu (*лат.*) – странно сказать, удивительно. (*Примеч. перев.*)

286

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 21 марта 1924 г.; Дж. Ф. Мортону, 12 марта 1924 г.; Л. Ф. Кларк, 9 марта 1924 г.

287

«Серебряная пуповина» – психологический термин, означающий эмоциональную связь между матерью и ребенком. (*Примеч. перев.*)

288

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 9 марта 1924 г.

289

Письмо Г. Ф. Лавкрафта и Сони Г. Лавкрафт Э. Э. Ф. Гэмвелл, март 1924 г.; Г. Ф. Лавкрафта Б. О. Двайеру, 26 марта 1927 г.

290

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 6 мая 1924 г.; Sonia H. Davis, неопубликованная рукопись.

291

Sonia H. Davis «The Private Life of Howard Phillips Lovecraft», неопубликованная рукопись из Библиотеки Джона Хэя, pp. 12f, в сокращенном виде в «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 4, и в «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 8c 2 (Feb. 1949), p. 8.

Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 6; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 8(2 (Feb. 1949), pp. lOf.

293

Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 5, 6; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 & 2 (Feb. 1949), p. 10.

От Матфея 10:16. (*Примеч. перев.*)

295

Sonia H. Davis «The Private Life of Howard Phillips Lovecraft», неопубликованная рукопись из Библиотеки Джона Хэя, p. 39.

Сократ (470 или 469–399 до н. э.) – древнегреческий философ, Ксантиппа – его жена, отличавшаяся сварливым нравом. (*Примеч. перев.*)

297

Дагвудовский сэндвич – большой многослойный бутерброд, в состав которого входят необычные и чаще всего совершенно несовместимые продукты, назван по имени героя комиксов «Блонди» Дагвуда Бамстеда, неудачника и лентяя, чьим любимым блюдом он был. (*Примеч. перев.*)

Около 63,5 кг и 90,7 кг соответственно. (*Примеч. перев.*)

299

Sonia H. Davis «The Private Life of Howard Phillips Lovecraft», неопубликованная рукопись из Библиотеки Джона Хэя, pp. 12f; «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 4, 5; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 & 2 (Feb. 1949), pp. 8f; почтовая открытка Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 10 сентября 1924 г.

300

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 21 июля 1924 г.; Sonia H. Davis «The Private Life of Howard Phillips Lovecraft», неопубликованная рукопись из Библиотеки Джона Хэя, p. 10; письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 21 марта 1924 г. Отточия после «ЧИКАГО» и «Запада» принадлежат Лавкрафту, остальные мои. Лавкрафт почерпнул выражение «О Господи, о Монреаль!» из статьи Эзры Паунда в «Дайэл» (Ф. Б. Лонг, в личном общении).

301

Письмо Дж. К. Хеннебергера Дж. Фримэну, 20 октября 1968 г.; Sonia H. Davis «The Private Life of Howard Phillips Lovecraft», неопубликованная рукопись из Библиотеки Джона Хэя, pp. 1 Of, 7; Harold F. Searles «The Nonhuman Environment», N. Y.: International University Pr., Inc., 1960, p. ix.

Harold F. Searles «The Nonhuman Environment», N. Y.: International University Pr., Inc., 1960, pp. 67, 62, 99.

303

Лавкрафт обыгрывает идиоматическое выражение «Круглая затычка в квадратной дырке, квадратная затычка в круглой дырке» (A round peg in a square hole, a square peg in a round hole), имеющее смысл «нечто не на своем месте». (*Примеч. перев.*)

304

Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 6; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 & 2 (Feb. 1949), p. 10; письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 20 сентября 1924 г.; К. М. Эдди, 5 сентября 1924 г.; рукопись, Библиотека Джона Хэя. В шестом абзаце резюме Лавкрафт сначала написал, что он «чисто англо-американского протестантского происхождения», но решил заменить это на более тактичное «выходец из культурной американской среды». Поскольку ни одна формулировка не зачеркнута, мне не известно, какая из них была использована в напечатанном варианте.

Левант – общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря. (*Примеч. перев.*)

Ф. Б. Лонг (в личном общении); «New York Times», дата отсутствует; письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 1 августа 1924 г.

307

Rheinhart Kleiner «A Memoir of Lovecraft» в Howard Phillips Lovecraft «Something About Cats and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1949, pp. 225f; письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 15 июля 1935 г.

308

Howard Phillips Lovecraft «The Dark Brotherhood and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1966, p. 319; «Weird Tales», XXX, 4 (Oct. 1937), pp. 418–36; Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 147–63; «At the Mountains of Madness and Other Novels», Sauk City: Arkham House, 1964, pp. 222–47.

309

В оригинале «pulp», одно из значений которого «пульпа, древесная масса, целлюлоза», т. е. подразумевается бумага низкого качества, на которой и печатаются низкопробные издания. (*Примеч. перев.*)

310

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дер лету, 18 марта 1931 г.; Ф. Б. Лонг (в личном общении); Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 121.

311

Hart Crane «The Letters of Hart Crane», 1916–1932, N. Y.: Hermitage House, 1952, p. 187; письмо Г. Ф. Лавкрафта С. Лавмэну, 29 апреля 1923 г. (цит. по: Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 120); Л. Ф. Кларк, 18 сентября 1925 г. (там же); 14 октября 1925 г.

312

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 19 октября 1926 г.; 25 октября 1926 г.

313

Rheinhart Kleiner «A Memoir of Lovecraft» в Howard Phillips Lovecraft «Something About Cats and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1949, p. 224.

314

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 29 сентября 1924 г.; 4 ноября 1924 г.; 17 ноября 1924 г.; 29 ноября 1924 г.

315

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 29 сентября 1924 г. Я помню передовицы, поднимавшие хазарскую теорию в двадцатых годах в «Лос-Анджелес Тайме» и в британском журнале «Флайинг».

316

John P. Marquand «The Late George Apley (A Novel in the Form of a Memoir)», Boston: Little, Brown 8c Co., 1936, p. 213.

Я полагаю, что банк обанкротился именно в то время, однако во множестве автобиографических записей Сони, в рукописях (как написанных от руки, так и напечатанных) в Библиотеке Джона Хэя, хронология столь запутана, что я не могу быть полностью уверенным, что банкротство не произошло позже, около 1930 года.

318

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 12 ноября 1924 г.; 11 ноября 1924 г.; 4 ноября 1924 г.; 29 сентября 1924 г.

319

Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 5; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 8c 2 (Feb. 1949), pp. 9f; «The Private Life of Howard Phillips Lovecraft», неопубликованная рукопись из Библиотеки Джона Хэя, p. 7. Коки в Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 114, говорит, что Соня настаивала, чтобы одна из тетушек приехала в Нью-Йорк вести хозяйство для Лавкрафта, но я не нашел этому подтверждений и подозреваю, что данное заявление вызвано неправильным пониманием Коки отчетов Сони.

320

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 8 августа 1925 г. Отточия Лавкрафта.

321

Howard Phillips Lovecraft «The Courtyard», 11.1–8 в «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 117. Название главы отсылает к истории о Гуннаре в легенде о Сигурде. После смерти Сигурда Гуннара заманивают во двор Атли (т. е. Аттилы), предают, связывают и бросают в яму с ядовитыми змеями. Его сестра Гудрун тайно передает ему арфу, на которой он играет пальцами ног. Это очаровывает змей, пока одна из них (очевидно, не бывшая любительницей хорошей музыки – быть может, ранний фанат рока?) не приканчивает его. См. «Сага о Вельсунгах», перевод Уильяма Морриса (1962), p. 219.

Ф. Б. Лонг (в личном общении); Samuel Lovemati «Lovecraft as a Conversationalist» в «Fresco», VIII, 3 (Spring, 1958), p. 35; письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 15 июня 1925 г.

Чуть более шестидесяти шести килограммов. (*Примеч. перев.*)

Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 4; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 & 2 (Feb. 1949), p. 9.

325

Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 4; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 & 2 (Feb. 1949), p. 9; письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, март 1926 г. (Это письмо в Howard Phillips Lovecraft «Selected Letters, II», Sauk City: Arkham House, 1968, pp. 3f, по своему содержанию и в сравнении с другими письмами представляется датированным мартом 1925 года ошибочно.)

326

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 24 октября 1925 г.

327

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 24 октября 1925 г.

328

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 6 июля 1925 г.

329

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 13 мая 1923 г.; 27 февраля 1931 г.

330

Иблис – дьявол в мусульманской мифологии; Истахр (Иштакар, Истакар) – город в Древнем Иране, построенный в 1 в. н. э. из строительных материалов более древнего города Персеполя (основанного в 6 в. до н. э. и разрушенного в 330 г. до н. э. Александром Македонским, порой в литературе под Истахром подразумевается именно Персеполь) и запустевший в 10 в., был одним из главных городов зороастризма. (*Примеч. перев.*)

331

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Б. О. Двайеру, 26 марта 1927 г.

332

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 29 сентября 1934 г.; Л. Ф. Кларк, 11 апреля 1925 г.; 21 апреля 1925 г. В письме Коулу Лавкрафт говорит о «возвращении к защищающим лучам моего масляного обогревателя». Это наверняка ошибка, поскольку он купил масляный обогреватель лишь в октябре.

333

«Обезьяний процесс» – судебный процесс в г. Дейтон, штат Теннесси, проходивший 10–21 июля 1925 г. над школьным учителем Джоном Т. Скопсом, который был обвинен в нарушении закона штата, запрещавшего преподавать эволюционную теорию Чарльза Дарвина в муниципальных школах; Скопе был признан виновным и оштрафован на сто долларов, но Верховный суд штата вскоре отменил этот приговор. Уильям Дженнингс Брайан (1860–1925) – политический и государственный деятель США, неоднократно баллотировавшийся на пост президента страны, идеолог протестантского фундаментализма. (*Примеч. перев.*)

Requiescat in pace (*лат.*) – покойся с миром. (*Примеч. перев.*)

335

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 27 июля 1925 г.; 12 сентября 1925 г. («Зигфрид» – немой фильм (1924) немецкого режиссера Фрица Ланга (1890–1976). Персонажи германо-скандинавской мифологии: Зигфрид (Сигурд) – герой, воспетый во многих эпосах; Фрейр – бог, олицетворяющий растительность, урожай, богатство и мир; Альфёдр («Всеотец» на древнеисландском) – одно из хейти (прозвищ) Одина. – *Примеч. перев.*)

336

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Блоху, конец 1933 г.; Э. Ш. Коулу, 24 февраля 1925 г.

337

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 28 мая 1925 г.; 20 мая 1925 г.

338

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 8 августа 1925 г.; 8 сентября 1925 г.; 7 ноября 1925 г.; 14 ноября 1925 г.

339

W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 17; письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 18 сентября 1925 г. (дважды); 1 сентября 1925 г.

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 101; «Dagon and Other Macabre Tales», Sauk City: Arkham House, 1965, p. 243. (Литания – молитва, содержащая просьбы и обращения к Богу. – *Примеч. перев.*)

341

Вместо соответственно «certain» («точный») и «learning» («учение»). (*Примеч. перев.*)

342

Кроталы – деревянный или металлический музыкальный инструмент у древних греков и римлян, схожий с испанскими кастаньетами. (*Примеч. перев.*)

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 92, 96; «Dagon and Other Macabre Tales», Sauk City: Arkham House, 1965, pp. 230f, 237.

344

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 20 сентября 1925 г.

345

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 30 июля 1925 г.; 8 сентября 1925 г.; 23 декабря 1925 г.; 14 ноября 1925 г.

346

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 14 ноября 1925 г.; Ф. Б. Лонгу, июль 1926 г.; Л. Ф. Кларк (объявлено «неопознанным» в Howard Phillips Lovecraft «Selected Letters, II», Sauk City: Arkham House, 1968, p. 37), 11 января 1925 г. (судя по всему, ошибка, на самом деле 1926 г. – *Примеч. перев.*); Ф. Б. Лонгу, июль 1926 г.

347

W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 38.

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 509.

349

Перевод В. Бетаки (цитируется по: Э. А. По «Стихотворения», СПб., Симпозиум, 1998, с. 326), дословно: «В царствах бореального [т. е. северного] полюса» («In the realms of the boreal pole»). (*Примеч. перев.*)

350

Thomas Ollive Mabbott «Lovecraft as a Student of Poe» в «Fresco», VIII, 3 (Spring, 1958), pp. 38f.

351

W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 16; письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 22 октября 1925 г.; 26 февраля 1926 г.; 15 сентября 1925 г.; 2 апреля 1925 г.

352

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 23 августа 1925 г.; 27 августа 1925 г.; 13 декабря 1925 г.; 15 сентября 1925 г.

353

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 28 сентября 1925 г.

354

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 20 сентября 1925 г.; 9 октября 1925 г.; Л. Ф. Кларк, 22 декабря 1925 г.; 7 августа 1925 г.

355

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 18 сентября 1925 г. (дважды); 13 декабря 1925 г.

356

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Э. Ф. Гэмвелл, 26 февраля 1925 г.

357

Город на востоке штата Джорджия в устье реки Саванна. (*Примеч. перев.*)

358

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 7 ноября 1925 г.; 2 декабря 1925 г.

359

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 16 февраля 1926 г.; 18 сентября 1925 г. (дважды); 4 ноября 1924 г.; Э. Э. Ф. Гэмвелл, 10 февраля 1925 г.

August W. Derleth «Final Notes» в Howard Phillips Lovecraft «The Dark Brotherhood and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1966, pp. 305f.

361

«Брамины» – не занимающие выборных постов представители элиты общества, влияющие на политику, первоначально понятие относилось только к бостонским аристократам. (*Примеч. перев.*)

362

Ernest Samuels «Henry Adams: The Major Phase», Cambridge, Mass.: Harvard University Pr., 1964, p. 357; письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 29 марта 1926 г.

363

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 12 сентября 1925 г. (В Howard Phillips Lovecraft «Selected Letters, II», Sauk City: Arkham House, 1968, p. 25, адресат этого письма назван неизвестным.)

Теория «плавильного котла» («плавильного тигля») – теория формирования американской нации, объединившей в единый сплав иммигрантов различных рас и национальностей из многих стран мира; впервые это понятие было употреблено английским драматургом и писателем, активным деятелем сионистского движения Израилом Зангуиллом (1864–1926) в одноименной пьесе (1908) о жизни еврейских иммигрантов в США. (*Примеч. перев.*)

365

George Santayana «The Last Puritan (A Memoir in the Form of a Novel)», N. Y.: Charles Scribner's Sons, 1936, p. 89.

В оригинале: «non-Nordics». (*Примеч. перев.*)

«Kike» – презрительное «еврей»; «dago» – презрительное прозвище итальянцев, испанцев, португальцев; «spic» – презрительное прозвище латиноамериканцев, особенно мексиканцев; «nigger» – грубое «ниггер», «черномазый»; «negro»-«негр», в период написания де Кампом книги это слово еще было общепринятым, сейчас же и оно имеет уничижительный смысл. (*Примеч. перев.*)

368

Ф. Б. Лонг (в личном общении, 18 июля 1973 г., 22 августа 1973 г.); Wilfred B. Talman «The Normal Lovecraft», Saddle River, N. J.: Gerry de la Ree, 1973, p. 14; письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 11 января 1926 г. Родители Лонга называли его Белнапом, чтобы отличать от отца, но почти все друзья называли его Фрэнком. Талман (в личном общении) утверждает, что при просмотре своей переписки с Лавкрафтом он все-таки обнаружил одну весьма незначительную антисемитскую насмешку.

369

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 27 марта 1926 г.

370

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 22 декабря 1925 г.

371

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 27 марта 1926 г.; 29 марта 1926 г.

372

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 22 декабря 1925 г.

Howard Phillips Lovecraft «Background», 11. 1–8 в «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 134.

W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 16.

375

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 1 мая 1926 г.

Muriel Eddy «The Gendeman from Angell Street», Providence, самиздат, без обозначения даты, p. 17; Sonia H. Davis «The Private Life of Howard Phillips Lovecraft», неопубликованная рукопись из Библиотеки Джона Хэя, pp. 25f.

377

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 1 апреля 1926 г.; 6 апреля 1926 г.; 22 декабря 1926 г.

378

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 16 января 1931 г.; Ф. Лейберу, 1936 г. (приводится в Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday 8c Co., Inc., 1961, p. 64).

Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 6,7; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 8c 2 (Feb. 1949), p. 11. Относительно нерешенного вопроса об обоснованности развода Лавкрафта см. Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 211.

380

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 20 мая 1926 г.; 1 мая 1926 г.

381

Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Б. Талману, 23 апреля 1926 г.; Ф. Б. Лонгу, 23 апреля 1926 г. (отточия Лавкрафта).

Монумент Бенедикта Музыке был завещан Провиденсу неким Уильямом Кёртисом Бенедиктом (1840–1915) и установлен в октябре 1924 г. (Примеч. перев.)

383

Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Б. Талману, 25 июня 1926 г.; Ф. Б. Лонгу, 20 мая 1926 г.

384

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 26 октября 1926 г. (дважды).

385

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 21 августа 1926 г.

386

Роман «Серебряный жеребец». Дж. Б. Кабелла входит в серию двадцатитомной «Биографии жизни Мануэля», самого известного произведения писателя. (*Примеч. перев.*)

Frisson (*фр.*) – дрожь (особенно от предвкушаемого удовольствия). (*Примеч. перев.*)

388

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 9 августа 1926 г.; А. У. Дерлету, 19 ноября 1926 г.; У. Б. Талману, 24 августа 1926 г.

389

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 26 октября 1926 г.; К. Э. Смиту, 16 ноября 1926 г.

390

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Ф. Сирайту, 3 февраля 1934 г.; А. У. Дерлету, 2 сентября 1926 г.

391

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 31 октября 1926 г.

«Providence Sunday Journal», 10 Oct. 1926.

На самом деле 1923 г., см. Главу X. (*Примеч. перев.*)

394

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 16 мая 1931 г.; Ф. Райту, 5 июля 1927 г. Второе письмо, несомненно, было неправильно процитировано Дерлетом (в August W. Derleth «H. P. L.: A Memoir», N. Y.: Ben Abramson, 1945, pp. 69f) в следующем виде: «Все мои рассказы, не связанные между собой, как они представляются, основаны на фундаментальном веровании или легенде, что некогда этот мир был населен другой расой, которая, практикуя черную магию, утратила свое положение и была изгнана, но продолжает жить вовне, всегда готовая вновь захватить Землю». (Установлено (David E. Schultz «The Origin of Lovecraft's 'Black Magic' Quote» в «Crypt of Cthulhu», VI, 6 (No. 48, St. John's Eve, 1987), pp. 9f), что данную «цитату» А. Дерлету предоставил Гарольд С. Фарниз, часто приводивший в своих письмах ему искаженные слова Лавкрафта. – *Примеч. перев.*)

395

В оригинале «the Great Old Ones or Ancient Ones». (*Примеч. перев.*)

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 255–73; «The Dunwich Horror and Others», Sauk City: Arkham House, 1963, pp. 130–59.

397

Хотя Лавкрафт и интересовался диалектами и выговорами и знал о существовании «Лингвистического атласа Соединенных Штатов и Канады», раздел Новой Англии которого уже разрабатывался Университетом Брауна, он, не будучи специалистом по фонетике, по-видимому, не знал о международном фонетическом алфавите. Исходя из его замечаний, я делаю вывод, что он подразумевал произношение вроде «Tlhiihu(lh)», где «t» – нечто между «c» в «cube» и «t» в «tune», «lh» – глухой «1» вроде валлийского «11» и «и» – примерно как в немецком «dihn». См. письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. У. Римелу, 23 июля 1924 г. (ошибка, 1934 г. – Примеч. перев.); Г. О. Фишеру, 10 января 1937 г. Изначально он писал его как «Cthulhul», но забыл конечное «1».

В оригинале «ghouls», что в принципе переводится как «вампиры, вурдалаки, упыри», однако «ghouls» из Мифа Ктулху более близки к арабским гулам – джиннам-каннибалам. (*Примеч. перев.*)

399

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Райту, 5 июля 1927 г.; Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 178; «The Dunwich Horror and Others», Sauk City: Arkham House, 1963, p. 32.

400

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 2 августа 1929 г.; Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 32; «At the Mountains of Madness and Other Novels», Sauk City: Arkham House, 1964, pp. 386f.

401

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 22–27; «Dagon and Other Macabre Tales», Sauk City: Arkham House, 1965, pp. 260–268. В кельтской мифологии Ноденс (называемый также Нудд, Нуаду) – бог плодородия и медицины, покровитель рыбаков. (Нуаду – в ирландской мифологии один из основных богов, его имя предположительно объясняется как «собиратель облаков», существовало предание, что от него ведут свой род ирландцы. Под именем Нудд этот бог почитался у кельтов Уэльса. Ноденс (Нодонс) – родственное Нуаду божество в Британии эпохи римского правления, связанное с культом вод и источников. «Великий бог Ноденс (бог Великих Глубин или Бездны)» упоминается в повести Артура Мейчена «Великий бог Пан» (1890). – *Примеч. перев.*) Олни – старая Род-айлендская фамилия, рифмующаяся с «пони».

402

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 26 ноября 1926 г.; начало декабря 1926 г.

403

Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Б. Талману, 19 декабря 1926 г.; Ф. Б. Лонгу, февраль 1927 г.

Пшент – двойная корона некоторых древнеегипетских богов, означающая присутствие божества как в смерти, так и в жизни, как на земле, так и на небе. (*Примеч. перев.*)

405

Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, pp. 76f; «At the Mountains of Madness and Other Novels», Sauk City: Arkham House, 1964, pp. 290ff. Последнее предложение цитаты – пересказ финала поэмы в прозе «Ньярлатхотеп».

406

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 21 августа 1931 г.

407

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 32; «At the Mountains of Madness and Other Novels», Sauk City: Arkham House, 1964, pp. 386f.

408

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 21 января 1927 г.; А. У. Дерлету, апрель 1927 г. Во втором письме Лавкрафт говорит, что собирается выбросить свою полную подшивку «Виэрд Тэйлз». Сегодня такая подшивка стоила бы сотни долларов.

409

Испания Ближняя – римская провинция на восточном побережье Испании, образованная в 197 г. до н. э. Эпоха поздней республики – примерно столетие до 30–го или 27 г. до н. э.

410

Иллирийцы – общее название обширной группы индоевропейских племен, занимавших в древности северо-запад Балканского полуострова и частично юго-восток Апеннинского полуострова. Калагуррис – галло-романское поселение на территории современной Испании, ныне город Калаорра. Иберия – название Испании до завоевания ее римлянами в конце 3–2 вв. до н. э. Квестор – помощник консула в финансовых и судебных делах. (*Примеч. перев.*)

411

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. Уондри, 2 ноября 1927 г. Еще одно изложение этого сна появляется в письме Б. О. Двайеру (ноябрь 1927 г.) в Howard Phillips Lovecraft «Dreams & Fancies», Sauk City: Arkham House, 1962, pp. 14–26. Лавкрафт сравнивал Очень Древний Народец со скифами. В действительности же скифы не были монголоидами, как, судя по всему, считал Лавкрафт, но весьма походили в расовом отношении на современных русских.

412

В указанную антологию помимо «Лунного ужаса» Альберта Г. Бёрча вошли «Приключение в четвертом измерении» Фарнсуорта Райта, «Тина» Энтони М. Рада и «Пенелопа» Винсента Старретта. (*Примеч. перев.*)

413

Письмо Р. Э. Говарда Г. Ф. Лавкрафту, конец февраля 1931 г.; письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 19 июня 1928 г.; З. Б. Рид, 28 августа 1927 г.

414

Письмо Г. Ф. Лавкрафта З. Б. Рид, 5 июня 1927 г.; Zealia Bishop «The Curse of Yig», Sauk City: Arkham House, 1953, p. 144.

415

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. Уондри, 27 марта 1927 г.; А. У. Дерлету, 16 мая 1927 г.; 22 мая 1927 г.; 20 ноября 1927 г.

Howard Phillips Lovecraft «Continuity», 11. 1–8 в «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 137.

417

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 19 мая 1927 г.

418

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 30 июля 1927 г.

419

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. Уондри, 10 февраля 1927 г.

420

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 5 сентября 1927 г.

421

«The Tryout», IV, 8 (Aug. 1918); W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, pp. 4, 6.

422

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, декабрь 1927 г.

423

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 26 марта 1927 г.

424

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 1 апреля 1927 г.; А. У. Дерлету, 5 октября 1928 г.; 20 февраля 1927 г.

425

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 138; «At the Mountains of Madness and Other Novels», Sauk City: Arkham House, 1964, pp. 106f. При том почерке Лавкрафта, что у него был, вполне возможно, что слово «bland» («мягкий») в приведенной цитате должно быть «blond» («белокурый»).

426

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 29 апреля 1928 г.; А. У. Дерлету, 19 апреля 1928 г.; Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8, col. 7; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 & 2 (Feb. 1949), p. 12.

427

Письмо Г. Ф. Лавкрафта З. Б. Рид, 1 мая 1928 г.; Дж. Ф. Мортону, 10 мая 1928 г.

Ф. Б. Лонг (в личном общении, 26 июля 1972 г.); письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 17 мая 1928 г.; А. У. Дерлету, октябрь 1928 г.

429

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 19 июня 1928 г.

430

W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 21; письмо Г. Ф. Лавкрафта З. Б. Рид, 28 июля 1928 г.

431

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 292; «The Dunwich Horror and Others», Sauk City: Arkham House, 1963, p. 160.

432

Майский день – 1 мая, традиционный праздник весны, первоначально английский, частично сохранившийся только в США; в данном случае подразумевается Вальпургиева ночь.

Т. е. чуть меньше двух с половиной метров. (*Примеч. перев.*)

Andrew E. Rothovius «Lovecraft and the New England Megaliths» в Howard Phillips Lovecraft «The Dark Brotherhood and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1966, pp. 179–97; «The Moodus Mystery» в «Coronet», Feb. 1934, pp. 17If; Douglas Colligan «Brawl Over a '2000–Year–01d' Archaeological Site» в «Science Digest», LXXIII, 1 (Jan. 1973), pp. 11–16; Charles M. Skinner «Myths & Legends of Our Own Land», Phila.: J. B. Lippincott Co., 1896, vol. II, p. 43; Mason Harris «Lovecraft and the Horror of Darkness» в «Entropy», No. 4 (Oct. 1971), p. 5; J. Vernon Shea «H. P. Lovecraft: The House and the Shadows» в «The Magazine of Fantasy & Science Fiction», XXX, 5 (May 1966), p. 89; письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, апрель 1933 г.

435

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 310; «The Dunwich Horror and Others», Sauk City: Arkham House, 1963, p. 188f; письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, начало ноября 1928 г.; ноябрь 1928 г.

436

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 14 марта 1929 г.; Э. Толдридж, 8 марта 1929 г. Рассказы де Кастро, над которыми работал Лавкрафт, ранее были опубликованы в книге «В исповедальном и последующем» (1893).

437

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 26 сентября 1929 г.; октябрь 1928 г.

438

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, конец сентября 1928 г.

439

Письмо Г. Ф. Лавкрафта З. Б. Рид, 2 октября 1928 г.

Sonia H. Davis «The Private Life of Howard Phillips Lovecraft», неопубликованная рукопись из Библиотеки Джона Хэя, pp. 28ff (немного подправлена пунктуация); в сокращенном виде в Sonia H. Davis «Howard Phillips Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Providence Sunday Journal», 22 Aug. 1948, part VI, p. 8; «H. P. Lovecraft as his Wife Remembers Him» в «Books at Brown», XI, 1 8c 2 (Feb. 1949).

441

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 2 июля 1929 г.; Sonia H. Davis «The Private Life of Howard Phillips Lovecraft», неопубликованная рукопись из Библиотеки Джона Хэя, pp. 29–32. На странице 42 Соня пишет: «Он восторгался Гитлером и прочел „Майн кампф“ („Моя борьба“ – *Примеч. перев.*) почти сразу же, как она была издана и переведена на английский». Здесь, должно быть, ошибка, так как последний раз Соня видела Лавкрафта в 1932 году, а первый английский перевод «Майн Кампф» в весьма сокращенном виде был издан Э. Т. С. Дагдейлом в 1933 году. Маловероятно, что Лавкрафт писал об этом Соне, поскольку он утверждал (письмо Г. Ф. Лавкрафта А. Галпину, сентябрь 1930 г.), что после развода их переписка свелась к поздравлениям на дни рождения и Рождество.

442

Фрагментарные неопубликованные воспоминания Сони Дэвис из Библиотеки Джона Хэя. Утверждается (Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, pp. 210f), что Лавкрафту не удалось оформить документ, требовавшийся для окончательного узаконивания его развода, и поэтому брак Сони с Дэвисом был бигамным – утверждение, которое причинило ей большие страдания, когда ей сказали об этом в ее последние годы жизни. Недавние исследования подтверждают утверждение Коки, что развод Лавкрафта так и не был узаконен (Р. К. Харралл, в личном общении, 19 июля 1974 г.).

443

Howard Phillips Lovecraft «Where Poe Once Walked», 11. 1–7 в «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Boob, Inc., 1971, p. 87. (В оригинале в качестве эпиграфа приведено семь первых строк акростиха, в русском же переводе их количество сократилось до шести, что обусловлено выпадением одной буквы в русском написании имени Эдгара Аллана По. – *Примеч. перев.*)

444

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Х. В. Салли, 17 сентября 1934 г. Зелия Рид Бишоп (Zealia Bishop «The Curse of Yig», Sauk City: Arkham House, 1953, pp. 146f) говорит, что во время своего визита в Нью-Йорк она встретилась с Лавкрафтом на квартире Лонгов. Она подробно описывает встречу: «В комнату, словно тень, скользнул высокий, худощавый человек в черном с портфелем в руках…» По словам миссис Бишоп, Лавкрафт пообещал отослать «Проклятие Йига», которое один редактор уже отверг, в «Виэрд Тэйлз». Он предложил ей отдать на переработку ее следующий рассказ, «Курган», Фрэнку Лонгу, что она и сделала. Однако сам Фрэнк Лонг утверждает, что вся история далека от истины: она дважды посещала его квартиру в Нью-Йорке и по крайней мере один раз встречалась с Лавкрафтом в Провиденсе, но она никогда не встречалась с ним у Лонгов в Нью-Йорке. Лонг отрицает, что имеет хоть какое-то отношение к переработке «Кургана». Зелия, считает он, должно быть, перепутала свои разные встречи с ним и Лавкрафтом и не поскупилась на выдумки в отчете. Она делала и другие совершенно неправдоподобные утверждения о Лавкрафте – например, что он знал суахили и другие туземные африканские языки (Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 259).

445

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 13 апреля 1929 г.; Л. Ф. Кларк, 12 апреля 1929 г.; Р. Кляйнеру, 21 мая 1936 г. (цитируется в Barton Levy St. Armand «The Outsider in Legend and Myth», магистерская диссертация, Brown University, 1966, p. 65).

446

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 2 мая 1929 г.

447

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 13 мая 1929 г.; Э. Толдридж, конец августа 1929 г. Незаконченность предложения принадлежит Лавкрафту.

Один ярд равен 91,4 см. (*Примеч. перев.*)

Ф. Б. Лонг (в личном общении); письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. У. Римелу, 4 августа 1935 г.; Ф. Б. Лонгу, 1 сентября 1929 г.; А. У. Дерлету, 4 сентября 1929 г. Проводя исследования для этой книги, я выяснил, что в 1823 году дочь Асафа Филлипса Анна вышла замуж за Гарднера Лайона, правнука моего прапрапрапрадеда Калеба Лайона из Вудстока, штат Коннектикут. Полагаю, я прихожусь Г. Ф. Лавкрафту шестиюродным братом. (См. Albert Brown Lyons «Lyon Memorial» [Detroit: 1905], pp. 47, 66f, 90, 120, 298, 300, 304.)

450

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 1 сентября 1929 г.

451

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, январь 1929 г.; Дж. Ф. Мортону, 30 июля 1929 г.

452

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 26 сентября 1930 г.; Э. Толдридж, 26 ноября 1929 г. Лавкрафт использовал написание «forego» («отказываться») и «forbear» («предок»), в то время как по словарю предпочтительнее писать «forgo» и «forebear». Правильно «forego» и «forbear» обозначают «предшествовать» и «воздерживаться». (Данное замечание относится к письму Г. Ф. Лавкрафта Ли Александру Стоуну. – *Примеч. перев.*)

453

Месоамерика – культурно-географический континуум, в пределах которого развивалась в основном однородная культура, подразделяемая на несколько регионов; простирается от тропика Рака в центральной Мексике до северо-запада Коста-Рики. (*Примеч. перев.*)

454

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, приблизительно 5 июня 1929 г.; приблизительно 24 апреля 1929 г.; Э. Толдридж, конец августа 1929 г.; Р. Ф. Снрайту, 5 марта 1935 г.

455

Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sank City Arkham House, 1943, pp. 37If.

456

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 15 декабря 1929 г.

457

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 23 февраля 1930 г.; К. Э. Смиту, 3 декабря 1929 г.; Colman McCarthy «Poet Edwin Robinson – He Starved for His Art» в «Milwaukee Journal», 5 Sept. 1973, p. 8; Howard Phillips Lovecraft «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 90. Разные версии этого стихотворения отличаются незначительно.

458

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Толдридж, 19 декабря 1929 г.

459

Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, pp. 409f; «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, pp. 88f. Оригинальное лавкрафтовское название стихотворения было «Восточно-индийский кирпичный ряд».

460

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Толдридж, январь 1930 г.; Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, p. 401; «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 125. Во второй строке размер не выдержан. (В переводе это не отражено. – *Примеч. перев.*)

Т. е. более девяноста килограммов. (*Примеч. перев.*)

462

Письмо Р. Э. Говарда Г. Ф. Лавкрафту, июль 1932 г.; декабрь 1932 г.; февраль 1933 г.; 31 мая 1935 г.; июль 1935 г.; 5 декабря 1935 г.; 13 мая 1936 г.; письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. А. Уоллхейму, 7 октября 1935 г.

463

«The Fantasy Fan», 1,2 (Oct. 1933), pp. 27f; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 11 августа 1933 г.; 30 августа 1933 г.; Д. У. Римелу, 13 апреля 1934 г.; 16 апреля 1935 г.; Э. Х. Прайсу, 27 августа 1936 г.; У. Коноверу, 10 января 1937 г.; З. Б. Рид, 20 марта 1929 г.; А. У. Дерлету, 1 апреля 1929 г. В своих фэнтези-рассказах Лавкрафт порой заимствовал настоящие древние имена (Менее, Кранон) – в той же самой манере, за которую он распекал Говарда. Рассказ Смита был напечатан как «Обитатель бездны» в сборнике Clark Ashton Smith «The Abominations of Yondo» (Arkham House, 1960).

Г. К. Бробст и В. Ортон (в личном общении); Howard Phillips Lovecraft «The City» («Город» – Примеч. перев.), 11. 6–10 в «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 70.

465

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 19 октября 1929 г.; А. У. Дерлету, 6 октября 1929 г.

466

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 30 октября 1929 г.; 19 октября 1929 г.

467

Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Харрису, 25 февраля 1929 г.; Дж. Ф. Мортону, 8 ноября 1929 г.; 19 октября 1929 г.; Э. Толдридж, 10 июня 1929 г.

468

Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Харрису, 25 февраля 1929 г.; Bertrand Russell «The Impact of Science on Society» (N. Y.: 1953), p. 108.

469

Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Харрису, 25 февраля 1929 г.; А. У. Дерлету, приблизительно 23 сентября 1929 г.; «New York Times Book Review», 19 Aug. 1973, p. 4.

470

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 26 сентября 1929 г.; У. Харрису, 25 февраля 1929 г.; Э. Толдридж, 21 февраля 1929 г.

471

Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Харрису, 25 февраля 1929 г.; М. В. Мо, 4 января 1930 г.

472

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 28 апреля 1930 г.

Т. е. около шестидесяти пяти килограммов. (*Примеч. перев.*)

W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 48; письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 24 мая 1930 г.

475

La belle Province (*фр.*) – «прекрасная провинция», прозвище канадской провинции Квебек. (*Примеч. перев.*)

476

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 9 сентября 1930 г.; А. Галпину, сентябрь 1930 г.; Э. Толдридж, приблизительно 7 сентября 1930 г.

477

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. Галпину, сентябрь 1930 г.; А. У. Дерлету, 9 сентября 1930 г.

478

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 19 октября 1929 г.; У. Харрису, 9 ноября 1929 г.

479

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 31 октября 1929 г.

480

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 12 января 1930 г.; конец января 1930 г.; 18 февраля 1930 г.

481

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 24 мая 1930 г.; А. У. Дерлету, 24 мая 1930 г.; Э. Толдридж, 3 июля 1930 г.

482

Magnum Innominandum (*лат.*) – «Великое Неименуемое», имя библейского бога Иеговы, это имя пользовалось большой популярностью у оккультистов конца XIX – начала XX веков. В действительности данный отрывок рассказа относится к прочтению Уилмартом писем Экли еще до его поездки в Вермонт. (Примеч. перев.)

483

«Книга Эйбона» встречается в произведениях Мифа Ктулху как под латинским названием «Liber Ivonis», так и под французским «Livre d'Eibon». Джон Ди (1527–1608) – английский математик, астроном, алхимик, советник и астролог королевы Елизаветы I. (*Примеч. перев.*)

«Unaussprechlich» действительно означает «невыразимый». (*Примеч. перев.*)

485

Вран (ирландское «ворон») – герой в кельтской мифологии и эпосе, голова которого после смерти служила чудесным талисманом; пикты – группа кельтских племен, населявших Шотландию, в середине IX в. были завоеваны скоттами и смешались с ними. (*Примеч. перев.*)

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 319–58; «The Dunwich Horror and Others», Sauk City: Arkham House, 1963, pp. 212–77; письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. У. Римелу, 14 февраля 1934 г.; George T. Wetzel «The Mechanistic Supernatural of Lovecraft» в «Fresco», VIII, 3 (Spring, 1958), pp. 54–60; Fritz Leiber «The Works of H. P. Lovecraft: Suggestions for a Critical Appraisal» в «The Acolyte», II, 4 (No. 8, Fall, 1944), p. 3. Роберт Э. Говард утверждал (в письме Г. Ф. Лавкрафту, август 1930 г.), что имя Катулос он придумал, а не вывел (как думали некоторые) из Ктулху. В своем рассказе «Запечатанный гроб» («Виэрд Тэйлз», март 1935 г.) Сирайт упомянул Элтдаунские черепки (название выведено из Пилтдауна), но Райт убрал это упоминание. («Элтдаунские черепки» (двадцать три глиняных кусочка, якобы обнаруженные в южной Англии, – древние, неимоверно твердые и покрытые непереводимыми символами) Лавкрафт упомянул в рассказе «Тень безвременья», сам Р. Ф. Сирайт вновь вернулся к ним в рассказе «Страж Знания». Название вымышленного городка Элтдаун схоже с названием английской деревни Пилтдаун, в окрестностях которой в 1912 г. доктором и любителем – палеонтологом Чарльзом Доусоном (1864–1916) были найдены челюстная кость и часть черепа неизвестного вида человекообразного, получившего название Eoanthropus dawsoni. Долгое время, в том числе и в период написания двух упомянутых рассказов, эти останки считались доисторическими и датировались возрастом в 500 тысяч лет, и только в 1953 г. выяснилось, что это фальсификация: череп принадлежал человеку и имел возраст всего 500 лет, а челюсть была недавно умершего орангутанга. – *Примеч. перев.*)

487

Howard Phillips Lovecraft «A Description of the Town of Quebeck, in New-France…», рукопись из Библиотеки Джона Хэя; письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Б. Талману, 10 декабря 1930 г.; Э. Толдридж, 11 февраля 1930 г.; 24 апреля 1930 г.

488

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 27 декабря 1930 г.

489

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 2 февраля 1930 г.; Э. Толдридж, 24 апреля 1930 г. (Каркассонн – город на юге Франции, знаменит старой крепостью (V–XIII вв.) и готическими церквями; Нюрнберг – город в Германии, богатый старинными памятниками зодчества; Ратисбон, или Регенсбург – город в Германии, помимо многочисленных памятников архитектуры средневековья в нем сохранились некоторые древнеримские постройки; Ротенбург – город в Германии, знаменитый хорошо сохранившимся средневековым старым городом. – *Примеч. перев.*)

490

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 19 октября 1929 г.; У. Б. Талману, 10 декабря 1930 г.

491

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 13 декабря 1930 г. Отточия после «лохмотья» принадлежат Лавкрафту. Человек, который вспомнил Лавкрафта, – официант из отеля «Минден», что на Уотерман-стрит, к востоку от городка Университета Брауна. Друзья Лавкрафта сказали мне, что в этих воспоминаниях его сутулость изрядно преувеличена – в действительности он держался довольно прямо.

492

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 3 января 1930 г.

493

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 18 июня 1930 г.; Э. Толдридж, 20 декабря 1930 г.; 24 апреля 1930 г.

494

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 30 декабря 1930 г. Лавкрафт назвал эту дату «третьим днем перед январскими календами», что (при переводе с римского календаря на современный) обозначает 30 декабря. В Howard Phillips Lovecraft «Selected Letters», III, Sauk City: Arkham House, 1971, эта дата ошибочно дана как «январь, 1931 г.». О Халдемане-Джулиусе см. мою книгу «The Great Monkey Trial», pp. 169f.

495

Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 18 июня 1930 г.; Г. Спинку, 13 августа 1930 г.

Lin Carter «Beyond» в «Amra», II, 47 (Aug. 1968), p. 8. (Йит – мир в рассказе Лавкрафта «Тень безвременья» (1935), из которого Великая Раса перенеслась на Землю. Каркоза – вымышленный город в рассказе Амброза Бирса «Житель Каркозы» (1891). Это название, наряду с бирсовскими Хали (которое из имени некоего философа превратилось в название озера) и Хастуром (пастушьим богом), использовалось Робертом Чэмберсом в «Короле в-Желтом»; Чэмберс разместил Каркозу на берегу Хали в Гиадах – рассеянном звездном скоплении в созвездии Тельца. Бьякхи – придуманное Августом Дерлетом существо, состоящее на службе у Хастура и способное преодолевать межзвездное пространство. – *Примеч. перев.*)

497

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 21 августа 1931 г.

498

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Э. Говарду, 30 января 1931 г.; Ф. Б. Лонгу, 27 февраля 1931 г.

499

Дартмутский колледж – престижный и влиятельный частный колледж в Хановере, штат Нью-Хэмпшир, фактически университет; преобразован в 1769 г. из Миссионерской школы Мура для индейцев. (Примеч. перев.)

500

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 13 октября 1931 г.; А. У. Дерлету, 31 января 1931 г.

501

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 9 декабря 1931 г.; А. У. Дерлету, 20 ноября 1931 г.

502

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 7 августа 1931 г.; А. У. Дерлету, 17 февраля 1931 г.

Обобщенная оценка следующая:
Питание и прочее, дома $700
Арендная плата $240
Путешествия (включая питание) $300
Почтовые расходы $150
Книги и журналы $50
Одежда $25
Стоматологические и медицинские расходы $5
Итого $1470

Низкие расходы на одежду объясняются тем, что друзья подарили Лавкрафту по крайней мере два костюма, что же до расходов на медицину, то он посещал врача и дантиста лишь раз в несколько лет.

504

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 19 июня 1935 г.; Дж. Ф. Мортону, 19 мая 1927 г.

505

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, приблизительно 4 января 1931 г.; 31 января 1931 г.

506

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 13 февраля 1931 г.; 1 марта 1931 г.; К. Э. Смиту, 26 марта 1931 г.

Т. е. около двух с половиной метров. (*Примеч. перев.*)

508

Голотурии, или морские огурцы – класс морских беспозвоночных животных типа иглокожих. Следует отметить, что Древние (the Old Ones) в повести «В горах Безумия», также называемые здесь Старшими (the Elder Things), это отнюдь не Древние из «Шепчущего во тьме», «Данвичского кошмара», «Зова Ктулху» и т. д. Первые – раса звездоголовых существ, в то время как вторые – боги. (*Примеч. перев.*)

509

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, pp. 499f; «At the Mountains of Madness and Other Novels», Sauk City: Arkham House, 1964, p. 90. Отточия Лавкрафта. (На самом деле первое и последнее отточия показывают опущенные предложения. – *Примеч. перев.*) «Шоггот» («shoggoth») не может быть словом из классического арабского языка, в котором нет ни «g», ни «o».

510

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 23 мая 1931 г.; Л. Ф. Кларк, 22 июня 1931 г.

511

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 13 июля 1931 г.; 14 ноября 1931 г.; Р. Х. Барлоу, 13 июля 1931 г.

512

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 10 августа 1931 г.

513

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 3 августа 1931 г.; Дж. В. Ши, 9 декабря 1931 г.; К. Э. Смиту, 20 ноября 1931 г.

514

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 5 мая 1931 г.

515

Dorothy C. Walter «Three Hours with H. P. Lovecraft» в Howard Phillips Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, p. 187; письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 11 июня 1931 г.; 16 июня 1931 г.

516

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. У. Римелу, 1 июня 1934 г.; Л. Ф. Кларк, 16 июня 1931 г.

Г. К. Бробст (в личном общении).

518

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 8 июля 1931 г.; 16 июля 1931 г.

519

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 8 июля 1931 г.

520

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 16 июля 1931 г.

521

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 16 января 1931 г.; 10 декабря 1931 г.; 23 декабря 1931 г.; 2 января 1932 г.; Ф. Б. Лонгу, 27 февраля 1931 г.

522

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 18 января 1931 г.; Дж. В. Ши, 4 октября 1931 г.

523

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Толдридж, 25 января 1931 г.; 23 марта 1931 г.; 31 августа 1931 г.

Де Камп явно ошибается, называя здесь Э. Х. Прайса: процитированное письмо датировано августом 1931 года, в то время как Лавкрафт и Прайс познакомились лишь в июне 1932 года (о чем речь пойдет ниже в этой же главе), поэтому ни о каких «несколькими годами ранее» не может быть и речи. (*Примеч. перев.*)

525

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Толдридж, 29 апреля 1931 г.; У. Б. Талману, 25 октября 1931 г.; А. У. Дерлету, 13 февраля 1931 г.; 6 ноября 1931 г.; 9 февраля 1933 г.; Дж. В. Ши, 13 октября 1931 г.

526

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 9 октября 1931 г. Правильно американское «г» называется «ретрофлексивным» «г». Нью-йоркское произношение «Ernest Boyd» можно приблизительно представить как «Oinest Bad», где «о» означает звук, варьирующийся между «и» в «ир» и «б» в немецком «НШе». Ныне этот диалект, судя по всему, вымирает.

527

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 24 сентября 1931 г.

528

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 360; «The Dunwich Horror and Others», Sauk City: Arkham House, 1963, pp. 309f.

529

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 10 декабря 1931 г.

530

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 21 января 1932 г.; Дж. В. Ши, 13 октября 1932 г.

531

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 31 января 1932 г.; 19 февраля 1932 г.; 29 февраля 1932 г.; 25 февраля 1932 г.; Д. У. Римелу, 22 января 1934 г.

532

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 29 февраля 1932 г.; 25 февраля 1932 г.; 2 февраля 1932 г.

533

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 4 марта 1932 г.; 11 марта 1932 г.

Кони-Айленд – парк аттракционов на южной оконечности Бруклина в Нью-Йорке. (Примеч. перев.)

535

Robert Weinberg «H. P. Lovecraft and Pseudomathematics» в «Nyctalops», I, 5 (Oct. 1971), pp. 3f; У. Ш. Гилберт, «Микадо», акт II; письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 4 марта 1932 г. Оригинальное лавкрафтовское название рассказа было «Сны Уолтера Гилмана». Клиентом, возможно, была Хейзел Хилд.

536

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, 18 января 1931 г.; А. У. Дерлету, 6 июня 1932 г.; Р. Э. Морзе, 27 февраля 1933 г.

537

Письмо Р. Э. Говарда Г. Ф. Лавкрафту, 1931 г.; июнь 1932 г.; письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 13 октября 1932 г. Отточия Лавкрафта.

538

Чили кон карне – мексиканское блюдо, буквально «жгучий перец с мясом»: тушеный говяжий фарш с острым соусом из жгучего красного перца и фасолью. (*Примеч. перев.*)

539

Стиль Адама – английский неоклассический архитектурный стиль, отличающийся изящным декором, особенно в интерьере; назван по имени создателей стиля братьев Роберта Адама (1728–1792) и Джеймса Адама (1730–1794). (*Примеч. перев.*)

Edgar Hoffmann Price «The Man Who Was Lovecraft» в Howard Phillips Lovecraft «Something About Cats and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1949, pp. 278–82.

541

W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 37.

542

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, приблизительно 30 октября 1932 г.; Э. Толдридж, 14 декабря 1932 г.; Дж. В. Ши, 22 декабря 1932 г.

543

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, начало октября 1932 г.; конец октября 1932 г.

544

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Г. С. Фарнизу, 22 сентября 1932 г.; Э. Х. Прайсу, 3 октября 1932 г.; Р. Х. Барлоу, 22 сентября 1932 г.; А. У. Дерлету, 12 сентября 1932 г.; конец октября 1932 г.

545

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 20 октября 1932 г.; К. Э. Смиту, октябрь 1932 г.

546

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 20 декабря 1932 г.; 20 октября 1932 г.; 12 января 1933 г.; 15 августа 1934 г.; Р. Ф. Спрайту, 17 марта 1934 г.

R. H. Thouless «Straight & Crooked Thinking» (N. Y.: 1932), p. 174.

548

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 16 ноября 1932 г.; 27 октября 1932 г.; 22 декабря 1932 г.; А. Галпину, 24 мая 1933 г. Вскоре Лонг отказался от этой непрактичной (для профессионального писателя) точки зрения.

549

Howard Phillips Lovecraft «Sunset», 11. 1–4 в «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 24.

550

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 14 апреля 1933 г.; 7 апреля 1933 г.

551

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 25 августа 1933 г.; письмо Ф. Райта Г. Ф. Лавкрафту, 17 августа 1933 г.

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City Arkham House, 1939, p. 40; «At the Mountains of Madness and Other Novels», Sauk City. Arkham House, 1964, p. 398.

553

«‘Умр ат-Тавил» ('Umr at-Tawil) по-арабски более правильно «‘Umr at-Tawol».

В этом рассказе Лавкрафт вместо обычного «the Old Ones» использует «the Ancient Ones», что в переводе не отражено. (*Примеч. перев.*)

Эти «дхолы» (Dhole), также встречающиеся в Стране Сновидений в «Сновиденческих поисках Кадафа Неведомого», возможно, то же самое, что и «доэлы» (Doel) из «Шепчущего во тьме». Вероятно, они происходят от «долов» (Del) – упомянутых, но не описанных в «Белых людях» Мейчена. Они никак не связаны с индийскими дикими собаками (dhole), схожими с койотами. (На самом деле «доэлы», существа из другого измерения, позаимствованы Лавкрафтом из рассказа Фрэнка Белнапа Лонга «Гончие Тиндалоса», написанного годом ранее «Шепчущего во тьме». Единственное упоминание Лавкрафтом этих существ следующее: «Мне ясно открылась природа доэлов, и я узнал сущность (но не происхождение) Гончих Тиндалоса». – *Примеч. перев.*)

556

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, начало мая 1933 г.; Э. Ш. Коулу, 9 августа 1933 г.; Э. Толдридж, 8 июня 1933 г. Отточие Лавкрафта.

557

Каппа, альфа, тау – соответственно десятая, первая и девятнадцатая буквы греческого алфавита, произношение аббревиатуры созвучно с произношением английского «cat» – «кошка». (*Примеч. перев.*)

558

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 14 августа 1933 г. В современном голландском языке «шаеп» («луна») пишется «таап». Лавкрафт в своих письмах писал название журнала с ошибками – «De Haelve Man». Гудзон был англичанином, но его наниматели и судно – голландскими.

Wilfred B. Talman «The Normal Lovecraft», Saddle River, N. J.: Gerry de la Ree, 1973, p. 7.

560

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 1 февраля 1934 г.; Дж. В. Ши, 29 мая 1933 г.; 30 июля 1933 г.; 23 сентября 1933 г.; Р. Блоху, приблизительно 1 сентября 1933 г.

561

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 30 июля 1933 г.; 29 мая 1933 г.; 23 сентября 1933 г.; Р. Х. Барлоу, 1 февраля 1934 г.

562

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 23 сентября 1933 г. Примеры замещения индоевропейской речи речью других языковых семей обнаружены в Венгрии, Турции и в тех частях Северной Африки, где некогда говорили на греческом или латинском, а теперь на арабском.

563

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 8 ноября 1933 г.; Х. В. Салли, 6 февраля 1934 г.

Дж. де ла Ри (в личном общении, цитируя письмо от Сэмюэля Лавмэна); Harold F. Searles «The Nonhuman Environment», N. Y.: International University Pr., Inc., 1960, p. 116.

565

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 29 мая 1933 г.; 30 июля 1933 г.; 14 августа 1933 г.; 23 сентября 1933 г.; Х. В. Салли, 15 июля 1934 г.; Р. Блоху, приблизительно август 1933 г.

Noblesse oblige (*фр.*) – положение обязывает. (*Примеч. перев.*)

567

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. Галпину, 25 июля 1934 г.; Р. Блоху, приблизительно август 1933 г.

Аллюзия на Колледж-Хилл и, возможно, стихотворение Г. Ф. Лавкрафта «Древняя тропа» (1929). (*Примеч. перев.*)

569

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Х. В. Салли, 24 ноября 1933 г.; Р. Х. Барлоу, 1 февраля 1934 г.; E. A. Edkins «Idiosyncrasies of H. P. L.» в «The Olympian», No. 35 (Fall, 1940), pp. 2f.

570

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 13 июня 1936 г.; 27 января 1937 г.; Ф. Лейберу, 19 декабря 1936 г.; письмо Р. Э. Говарда Г. Ф. Лавкрафту, июль 1935 г. В «Нью-Йорк Тайме» от 29 марта 1974 г., р. 33, историк Джозеф Фаркас предложил схожую систему голосования.

Coup d’etat (фр.) – государственный переворот. (Примеч. перев.)

В романе-антиутопии Синклера Льюиса «У нас это невозможно» (1935) речь идет о приходе к власти в США диктаторского режима. (*Примеч. перев.*)

573

«Наука жизни» (в девяти книгах) содержит описание всех главных аспектов биологии, известных к двадцатым годам двадцатого века, в 1929 г. была издана в трех томах, в 1934–м – одним томом. (*Примеч. перев.*)

574

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 24 октября 1936 г.; К. Дж. Стерлингу, 16 сентября 1936 г.; Дж. В. Ши, 5 декабря 1935 г.

Я. G. Wells, J. P. Huxley, G. P. Wells «The Science of Life» (Garden City, N. Y.: 1936), p. 1449; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 30 сентября 1936 г.; Г. К. Бробст (в личном общении).

576

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 24 октября 1936 г.; Р. Блоху, 2 февраля 1937 г. (имя опущено, т. к. этот человек еще жив). Одним националистическим пережитком Лавкрафта, от которого он так и не отделался, было использование псевдо-идишского акцента, когда он писал о еврейских коллегах, даже хваля и защищая их; например, в письме Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу от 3 июля 1935 г., о Брадофски: «Для этого ему надо влезът в долги и издат пегвоклассный жугнал!», или от 21 января 1936 г.: «Ай! Ну чта за жизън!» То, что подобная этническая карикатура может быть обидной, кажется, никогда не приходило ему в голову – но тогда «старые американцы» в основном были менее чувствительны в подобных вещах, нежели теперь.

577

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 24 ноября 1934 г.; Р. Блоху, 7 февраля 1937 г. (Стефан Самуэль Уайз (Визе, 1874–1949) – американский раввин, один из наиболее влиятельных сионистских деятелей первой половины двадцатого века, ведущий представитель либерального течения в иудаизме, в 1933 г. впервые предложил бойкотировать немецкие товары в ответ на политику нацистской Германии по отношению к евреям. – *Примеч. перев.*)

Кордовская кожа – дорогая темная красно-коричневая дубленая кожа, козлиная или конская; название происходит от испанского города Кордова, где ее впервые начали выделывать. (*Примеч. перев.*)

579

Джаггернаут – одно из имен индийского бога Кришны, здесь под этим именем подразумевается огромная «джаггернаутова колесница», на которой в Индии перевозили во время соответствующего праздника статую Кришны и под колеса которой бросались религиозные фанатики – чтобы расстаться с жизнью, прервав при этом цепь инкарнаций, и сразу же достичь Нирваны. (*Примеч. перев.*)

580

В Ньюпорте есть дом Уонтона-Лаймена-Хэзарда, построенный в 1675 г. в колониальном стиле, это старейший дом города. Однако Лавкрафт неоднократно бывал в Ньюпорте еще до описываемой поездки с Прайсом, так что, по-видимому, имеется в виду какой-то другой дом. Хэзарды, семья текстильных промышленников, были одними из первых поселенцев в Род-Айленде. (*Примеч. перев.*)

581

Edgar Hoffmann Price «The Man Who Was Lovecraft» в Howard Phillips Lovecraft «Something About Cats and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1949, pp. 283–86.

582

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 25 июля 1933 г.; Х. В. Салли, 11 июля 1935 г.; Helen V. Sully «Memories of Lovecraft, II» в «The Arkham Collector», 1,4 (Winter, 1969), p. 119. Хелен Салли стала миссис Джордж Тримбл из Оберна, штат Калифорния.

583

Беседа с Этель Ф. Морриш, 5 сентября 1972 г.; письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Дж. Стерлингу, 14 декабря 1935 г.; Дж. В. Ши, 23 сентября 1933 г.; 8 ноября 1933 г.

«Мужественные всадники» – название Первого полка волонтеров кавалерии США, состоявшего из ковбоев, владельцев ранчо и студентов, созданного по инициативе Теодора Рузвельта в начале испано-американской войны (1898). (*Примеч. перев.*)

585

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 26 августа 1933 г.; Э. Х. Прайсу, 15 августа 1934 г.; 31 августа 1934 г.

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 217; «The Dunwich Horror and Others», Sauk City: Arkham House, 1963, p. 281.

587

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 14 мая 1933 г.

588

Samuel Loveman «Lovecraft as a Conversationalist» в «Fresco», VIII, 3 (Spring, 1958), pp. 34ff; письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Ф. Энгеру, 28 января 1935 г.

589

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 6 августа 1934 г.; 26 октября 1934 г.; 30 ноября 1936 г.; 11 декабря 1936 г.; W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, pp. 57f; Zealia Bishop «The Curse of Yig», Sauk City: Arkham House, 1953, pp. 149f. Миссис Бишоп говорит, что, когда в 1938 году она продала «Виэрд Тэйлз» рассказ Рид и Лавкрафта «Локон медузы» за сто двадцать долларов, «я оговорила, что половина этой суммы должна быть выплачена тете Лавкрафта, Энни Э. Ф. Гэмвелл, потому что за это время Лавкрафт умер, а она была без средств». Может, миссис Бишоп выплатила эти деньги, а может, и нет – но это неправда, что Энни Гэмвелл бедствовала. У нее было более десяти тысяч долларов наличными и в ценных бумагах. (Суд по делам о завещаниях и наследствах Провиденса, опись имущества Энни Э. Ф. Гэмвелл, 24 марта 1941 г.)

590

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 24 мая 1935 г.; А. У. Дерлету, 15 июля 1935 г.; August W. Derleth «Some Notes on H. P. Lovecraft», Sank City: Arkham House, 1959, p. 166.

591

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. У. Римелу, 23 июля 1934 г.

592

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 15 августа 1934 г. Отточия после «космического закона» и «неминуемости» принадлежат Лавкрафту.

593

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. Галпину, 28 апреля 1934 г.; Э. Х. Прайсу, 17 сентября 1934 г.; Р. Ф. Сирайту, 4 августа 1935 г.; 5 марта 1935 г. Отточие в последней цитате принадлежит Лавкрафту.

594

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 4 февраля 1934 г.; Д. У. Римелу, 16 марта 1934 г.; Р. Х. Барлоу, 10 апреля 1934 г.

595

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Ф. Сирайту, 4 августа 1935 г.; Э. Ш. Коулу, 31 января 1934 г.; 30 апреля 1935 г.; 25 марта 1936 г.

У. Л. Кроуфорд (в личном общении); письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 19 мая 1934 г.; Д. У. Римелу, 13 мая 1934 г.

597

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Х. В. Салли, 30 апреля 1934 г.; Howard Phillips Lovecraft «Something About Cats and Other Pieces», Sauk City Arkham House, 1949, p. 165f.

Три упомянутых псевдонима построены на игре слов: имя Фрэнка Белнапа Лонга, Frank Belknap (т. е. «bell knap») Long, можно перевести как «Фрэнк Звонящий – колокол Длинный», отсюда и «Фрэнк Спящий – Колокол Короткий»; Сибури Куин, Seabury Quinn, созвучно «ботаническому» «Teaberry Quince» – «Мичелла Айва»; английские инициалы Г. Ф. Лавкрафта – Н. Р. – служат аббревиатурой для «horsepower» – «лошадиной силы», а саму его фамилию, Lovecraft, можно перевести как «искусство любви», отсюда и антоним «Искусство – Ненависти». (*Примеч. перев.*)

599

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. У. Римелу, 10 августа 1934 г.; Э. Ш. Коулу, 1 июня 1935 г.; Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, pp. 254f.

600

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 17 сентября 1934 г.; Howard Phillips Lovecraft «Little Sam Perkins» («Маленький Сэм Перкинс» – Примеч. перев.) в «Fungi from Yuggoth and Other Poems», N. Y.: Ballantine Books, Inc., 1971, p. 52.

601

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 8 октября 1934 г.; 17 сентября 1934 г.; Э. Ш. Коулу, 17 сентября 1934 г.; Э. Толдридж, 6 октября 1934 г. Брайан Ламли, современный автор рассказов Мифа Ктулху, перенес эти часы в свои рассказы «Часы де Мариньи» и «Роющие внизу».

В русских переводах также озаглавливается «За гранью времен». (*Примеч. перев.*)

603

Howard Phillips Lovecraft «The Outsider and Others», Sauk City: Arkham House, 1939, p. 400; «The Dunwich Horror and Others», Sauk City: Arkham House, 1963, p. 370.

Т. е. чуть более трех метров. (*Примеч. перев.*)

Clark Ashton Smith «To Howard Phillips Lovecraft», 11. 1–7 в «Selected Poems», Sauk City: Arkham House, 1971, p. 287.

606

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Толдридж, 29 декабря 1934 г. Отточие после «подарков» принадлежит Лавкрафту.

607

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Блоху, приблизительно начало марта 1935 г.; приблизительно конец марта 1935 г.; Дж. В. Ши, 10 февраля 1935 г.; А. У. Дерлету, 6 марта 1935 г.; Э. Х. Прайсу, приблизительно 4 февраля 1935 г.

608

В 1933 году Лавкрафт пересказал сон о священнике в письме Бернарду Двайеру, и тот после смерти писателя предложил этот отчет «Виэрд Тэйлз», в котором в апреле 1939 г. он был опубликован как рассказ «Порочный священник» (во многих публикациях, в т. ч. и переводных, год написания рассказа ошибочно указывается как 1937–й). Виктор Франкенштейн – герой романа английской писательницы Мэри Уолстонкрафт Шелли (1797–1851) «Франкенштейн, или Современный Прометей», создавший искусственного человека. (*Примеч. перев.*)

609

Лавкрафт имеет в виду изобретение Бенджамином Франклином молниеотвода. (*Примеч. перев.*)

Лавкрафт имеет в виду Войну за независимость 1775–1783 гг. (Примеч. перев.)

611

Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Коноверу, 10 января 1937 г.; Р. Х. Барлоу, 20 апреля 1935 г. Напечатано с незначительными сокращениями в Howard Phillips Lovecraft «Dreams and Fancies», Sauk City: Arkham House, 1962, pp. 50ff. Более короткий вариант содержится в письме Г. Ф. Лавкрафта Х. В. Салли, 24 апреля 1935 г.

612

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 25 февраля 1935 г.; Р. Х. Барлоу, 20 апреля 1935 г.

613

Дж. М. Барри «Питер Пэн», Акт I, в разных местах; письмо Г. Ф. Лавкрафта Х. В. Салли, 15 августа 1935 г.

614

Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Дж. Стерлингу, 21 января 1936 г.; Э. Ш. Коулу, 3 июля 1935 г.

615

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Толдридж, 20 декабря 1935 г.; Р. Х. Барлоу, 13 июня 1936 г.

616

Реально существующий городок Данвич – процветавший во времена средневековья порт в английском графстве Саффолк – упоминается в повести Артура Мейчена «Ужас» (1917). (*Примеч. перев.*)

617

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 20 января 1936 г.; А. Галпину, 17 января 1936 г.; Р. Х. Барлоу, 5 сентября 1935 г.

618

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 21 августа 1935 г.; 4 мая 1935 г.

619

Howard Phillips Lovecraft «Marginalia», Sauk City: Arkham House, 1944, p. 311. В подписи фон Юнста Лавкрафт так искусно сымитировал немецкое письмо, что «Friedrich» выглядит как «Fvindvuf», и один комментатор (Charles O. Gray «Nameless Cults: A History» в «The Howard Collector», No. 17, Autumn, 1972, p. 23) так его и воспринял. (В оригинале вместо «господин» стоит голландское «Mijnheer» – «сударь». – *Примеч. перев.*)

Howard Phillips Lovecraft and Others «Tales of the Cthulhu Mythos», Sauk City: Arkham House, 1969, p. 192.

621

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 4 декабря 1935 г.; Howard Phillips Lovecraft «The Horror in the Museum and Other Revisions», Sauk City: Arkham House, 1970, pp. 159, 172. Сравните Йан-Хо из «Дневника Алонзо Тайпера» и Йан, упомянутый в «Шепчущем во тьме». (Город Йан-Хо, «скрытое наследие древнего как вечность Ленга», также упомянут в рассказе «Чрез врата Серебряного Ключа». – *Примеч. перев.*)

Curiosum (*лат.*) – странность; диковинка. (*Примеч. перев.*)

623

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Н. Х. Фроуму, 20 января 1937 г.; Э. Толдридж, 1 июля 1929 г.; Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, p. 321; Sam Moskowitz (ed.) «Horrors Unknown» (N. Y.: 1971), p. 7. Шварц уговорил написать составные рассказы еще две группы фантастов, но Лавкрафта среди них уже не было.

624

Howard Phillips Lovecraft «A History of the Necronomicon», Oakman, Ala.: Rebel Pr., 1938; «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, pp. xxviiif; August W. Derleth «The Making of a Hoax» в Howard Phillips Lovecraft «The Dark Brotherhood and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1966, pp. 262–67; М. У. Уэллман (в личном общении); Lee Shaw «The Day He Met Lovecraft» в «Brown Alumni Monthly», LXXII, 7 (Apr. 1972), p. 3. Это расширенная версия очерка, приведенного в письме Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту от 27 ноября 1927 г. Название арабской «Пустынной местности» правильнее было бы транслитерировать как «Rub'al-Khali» (у Лавкрафта стоит «Roba El Khaliyeh». – Примеч. перев.). В 1973 году любитель научной фантастики и писатель Джордж Х. Скитерс издал «Аль Азиф (Некрономикон)» в виде факсимиле на (вымышленном) дюриакском языке, со вступлением в духе Мифа Ктулху автора данной книги (Philadelphia: Owlswick Press, 1973). Лавкрафт говорил, что нашел значение «азиф» в примечании к «Ватеку» Бекфорда. (Джордж Х. Скитерс (род. 1929) – американский писатель-фантаст, редактор и издатель. Тираж его «Некрономикона» составил 348 экземпляров. В 1977 г. американским издательством «Шлангекрафт, Инк», тиражом 666 экземпляров был опубликован т. н. «Некрономикон Симона» – по имени загадочного монаха, якобы передавшего оригинальный манускрипт издателям. «Некрономикон Симона» основан на шумерской мифологии, его связь с Мифом Ктулху весьма незначительна. В следующем году свет увидела еще одна версия «Некрономикона», под редакцией Джона Хея, на этот раз без всяких претензий на подлинность, однако непосредственно связанная с Мифом Ктулху и даже содержащая лавкрафтовские «цитаты» из него. Во вступлении к изданию Колин Уилсон заявляет, что данный «Некрономикон» – это расшифрованная «Liber Logaeth» Джона Ди. – *Примеч. перев.*)

625

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 17 декабря 1935 г.; Lee Shaw «The Day He Met Lovecraft» в «Brown Alumni Monthly», LXXII, 7 (Apr. 1972), p. 3; письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. У. Римелу, 28 сентября 1935 г.; К. Дж. Стерлингу, 20 ноября 1935 г.

626

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Г. Каттнеру, 16 апреля 1936 г.; Р. Х. Барлоу, 21 октября 1935 г.; Р. Блоху, 2 ноября 1935 г.; Э. Х. Прайсу, 15 декабря 1935 г.

627

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 16 марта 1936 г.; 14 марта 1935 г.; В. Финлею, 1 октября 1936 г.

628

Конференция писателей «Буханка хлеба» – ежегодная писательская конференция, проводящаяся в исторической гостинице «Буханка хлеба» в Миддлбери, штат Вермонт, начиная с 1926 г. *(Примеч. перев.)*

629

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 29 июля 1936 г.; Дж. В. Ши, 19 мая 1936 г.

630

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 2 февраля 1936 г.; 12 февраля 1936 г.

631

Ф. Орлин Тремайн (1899–1956) – американский редактор научной фантастики, также автор коротких рассказов (под псевдонимом Орлин Фредерик); первым начал публиковать рассказы Л. Спрэга де Кампа. (*Примеч. перев.*)

632

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Д. У. Римелу, 12 ноября 1935 г.; Р. Ф. Сирайту, 4 ноября 1935 г.

633

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Э. Морзе, 16 января 1936 г.; А. У. Дерлету, 4 декабря 1935 г. (отточия Лавкрафта).

634

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 28 января 1936 г.; А. У. Дерлету, 11 февраля 1936 г.; 9 апреля 1936 г.

635

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Г. О. Фишеру, 16 февраля 1937 г.

636

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 29 апреля 1936 г.; Дж. В. Ши, 19 мая 1936 г.

637

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Т. Реншоу, 24 февраля 1936 г.; Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 297; Anne Tillery Renshaw «Well Bred Speech», Washington, D. C., самиздат, 1936, pp. 20, 22. (Правильно (следуя приведенной форме транскрипции): «indisSOLuble» («нерастворимый»), «CONcentrate» («сосредоточивать») и «pROFile» («контур»). – *Примеч. перев.*)

Ipso facto (*лат.*) – в силу самого факта. (*Примеч. перев.*)

639

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Х. В. Салли, 12 мая 1936 г. «Ортофония» была выпущена бостонским издательством «Филдс, Осгуд энд Компани».

640

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Х. В. Салли, 26 июля 1936 г.; Э. Ш. Коулу, 15 августа 1936 г.; T. C. Smith «Report on a Writing Man» в «The Howard Collector», 1,4 (Summer, 1963), p. 7 (copyright © 1962 by Glenn Lord); письмо Р. Э. Говарда Г. Ф. Лавкрафту, конец февраля 1931 г.; 1931 г.; «The Tempter» («Искуситель». – Примеч. перев.) в Robert E. Howard «Always Comes Evening» (Arkham House, 1957), p. 80.

641

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 20 июля 1936 г.; Howard Phillips Lovecraft «Robert Ervin Howard: In Memoriam» в «Fantasy Magazine» (Sep. 1936) и Robert E. Howard «Skull – Face & Others» (Arkham House, 1946), p. xiii.

642

Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Коноверу, 6 сентября 1936 г.; Д. У. Римелу, 27 августа 1936 г.

643

Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, 13 марта 1936 г.; 16 декабря 1936 г.

Bete noire (*фр.*) – ненавистный, противный человек; предмет ненависти, отвращения. (*Примеч. перев.*)

645

Письмо Г. Ф. Лавкрафта В. Финлею, 10 октября 1936 г.; Р. Ф. Сирайту, 11 августа 1934 г.; 8 сентября 1934 г.

Проспект-Терас Парк – парк в Провиденсе на Колледж-Хилл, основанный в 1867 г. (*Примеч. перев.*)

647

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Т. Реншоу, 19 сентября 1936 г. Все отточия (в двух цитатах) принадлежат Лавкрафту. «Edepol» – латинское междометие, означающее «клянусь Поллуксом!». «Trans-hortense» – латинский неологизм Лавкрафта, означающий «на той стороне сада». (Поллукс (Полидевк) – в древнегреческой мифологии один из близнецов Диоскуров, в отличие от своего брата Кастора от рождения был бессмертен; оба брата считались богами рассвета и сумерек, покровителями моряков во время бури и воинов в битве. – *Примеч. перев.*)

Ликантропия – превращение человека в волка, оборотня; magnum opus (*лат.*) – крупное, выдающееся произведение. (*Примеч. перев.*)

649

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 16 марта 1936 г.; E. A. Edkins «Idiosyncrasies of H. P. L.» в «The Olympian», No. 35 (Fall, 1940), p. 6.

650

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Х. Прайсу, 16 марта 1936 г.; E. A. Edkins «Idiosyncrasies of H. P. L.» в «The Olympian», No. 35 (Fall, 1940), p. 4; письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Б. Талману, 28 февраля 1937 г.; Р. Х. Барлоу, 3 января 1937 г. (ошибочно датировано 1936 г.); 27 декабря 1936 г.

651

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 30 ноября 1936 г.; 3 января 1937 г. (ошибочно датировано 1936 г.); Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 305.

652

Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959) – американский архитектор, выступал с оригинальными проектами т. н. «органической архитектуры», в которых использовались природные формы, цвета и текстура. (*Примеч. перев.*)

653

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 11 декабря 1936 г.; Ф. Ютпателу, 11 января 1937 г.

654

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Х. Барлоу, 30 сентября 1936 г.; В. Финлею, 10 октября 1936 г.

Т. е. чуть менее пятидесяти километров в час. (*Примеч. перев.*)

656

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Г. О. Фишеру, конец января 1937 г.

657

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Толдридж, 20 октября 1936 г.

658

Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Коноверу, 31 января 1937 г. Отточие Лавкрафта.

659

Письмо Г. Ф. Лавкрафта Г. О. Фишеру, 10 января 1937 г.; Р. Блоху, 7 февраля 1937 г. Первая цитата продолжается предложением, приведенным в Главе VI, начинающимся: «О Юггот, да я заплатил бы…»

Э. Ф. Морриш (в личном общении); письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 5 февраля 1937 г.; А. У. Дерлету, 17 февраля 1937 г.; W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 1. Коки (Arthur S. Koki «H. P. Lovecraft: An Introduction to his Life and Writings», магистерская диссертация, Columbia University, 1962, p. 309) утверждает, что на похоронах присутствовало сорок человек. Это ошибка, появившаяся, возможно, при переписывании. (В 1977 году на средства поклонников творчества Г. Ф. Лавкрафта на его могиле было установлено надгробие, на котором высечено его имя, даты рождения и смерти и фраза «Я есть Провиденс» (письмо Г. Ф. Лавкрафта Л. Ф. Кларк, 29 марта 1926 г.). – *Примеч. перев.*)

661

Clark Ashton Smith «H. P. L.», 11. 1–7 в Howard Phillips Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, p. 204. (Долина Пнат упоминается в «Сновиденческих поисках Кадафа Неведомого», в некоторых случаях в написании «Пнот». – *Примеч. перев.*)

662

Опись имущества Говарда Ф. Лавкрафта, Суд по делам о завещаниях и наследствах Провиденса, 6 мая 1957 г. [ошибочно вместо 1937 г.]. «(sic)» в оригинале.

663

Завещание Энни Э. Ф. Гэмвелл, 10 января 1940 г.

Первый том «Избранных писем» (1965) содержит письма за период 1911–1924 гг., второй (1968) – за 1925–1929 гг., третий (1968) – за 1929–1931 гг.; четвертый и пятый тома были изданы в 1976 году и содержат письма соответственно за 1933–1934 и 1934–1937 гг. Также существует несколько других сборников писем Лавкрафта, выпущенных другими издательствами. (*Примеч. перев.*)

Издательство «Аркхэм Хауз» активно и по сей день. (*Примеч. перев.*)

В оригинале соответственно «the Ancient Ones» и «the Great Old Ones». (*Примеч. перев.*)

667

В начале 70-х журнал купил Лео Маргулис, под редакцией Сэма Московица было издано четыре номера; с 1988 г. журнал вновь издается Джорджем Х. Скитерсом, Джоном Грегори Бетанкортом (род. 1963, американский писатель фантастики, фэнтези и детективов, редактор и издатель) и Даррелом Швайцером (род. 1952, американский писатель фантастики и ужасов, редактор, издатель, эссеист). (*Примеч. перев.*)

Кеннет В. Файг – младший (в личном общении); письмо А. У. Дерлета С. Г. Дэвис, 30 ноября 1947 г. (в Wilfred B. Talman «The Normal Lovecraft», Saddle River, N. J.: Gerry de la Ree, 1973, p. 29); Richard L. Tierney «The Derleth Mythos» в Meade Frierson III (ed.) «HPL», Birmingham, Ala.: самиздат, 1972, p. 53; Edmund Wilson «Classics and Commercials: A Literary Chronicle of the Forties», N. Y.: Farrar, Straus 8c Co., 1950, pp. 287–90, перепечатано со схожей статьи в «The New Yorker», 24 Nov. 1945. Существует некоторая неясность относительно покупки Дэйнэ бумаг Лавкрафта. В описи имущества Энни Гэмвелл стоит: «Библиотека: $35,00», но мне неизвестно, включает ли это бумаги Лавкрафта или же указывает сумму, которую заплатил Дэйнэ. (Нерегулярная Армия с Бейкер-стрит – в рассказах Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе ватага уличных мальчишек, помогавших сыщику; впоследствии так стали называть многочисленные группы поклонников Шерлока Холмса. – *Примеч. перев.*)

669

Colin Wilson «The Strength to Dream (Literature and the Imagination)», Boston: Houghton Mifflin Co., 1962, pp. 1–10.

James Warren Thomas «Howard Phillips Lovecraft: A Self-Portrait», магистерская диссертация, Brown University, 1950, pp. 43, 109, 115; «The Arkham Collector», 1,1 (Summer, 1967), p. 17.

671

Avram Davidson, рецензия на книгу «Единственный наследник и другие рассказы» в «The Magazine of Fantasy and Science Fiction», XXIV, 1 (No. 140, Jan. 1963), pp. 48fF. (В последнем предложении игра слов: «fruit-cake» («кекс с изюмом») также имеет значение «псих». – *Примеч. перев.*)

Vincent Starrett «Books and Bipeds», N. Y.: Argus Books, 1947, p. 122; Peter Penzoldt «The Supernatural in Fiction», Lon.: Peter Nevill, 1952, pp. 165f; «The Arkham Collector», I, 1 (Summer, 1967), p. 47; Reginald Smith «Weird Tales in the Thirties», Santa Ana, Calif.: самиздат, 1966, p. 4; Drake Douglas «Honor!», N. Y.: The Macmillan Co., 1966, pp. 266f, 276.

«Особняк с привидениями» был снят в 1963 г. американским режиссером Роджером Корманом, известным своими постановками произведений Э. А. По, и назван по стихотворению По (1839, в оригинале «The Haunted Palace», в переводе К. Бальмонта «Заколдованный замок»), включенному в рассказ «Падение дома Ашеров» как произведение Родерика Ашера, – однако единственной связью фильма с этой поэмой является небольшая цитата из нее, произносимая главным героем в конце картины. «Умри, чудовище, умри!» был снят в 1965 г. Даниэлем Халлером. Количество фильмов, снятых по произведениям Лавкрафта, со времени написания книги, естественно, значительно возросло. (*Примеч. перев.*)

Sui generis (*лат.*) – в своем роде, своеобразный. (*Примеч. перев.*)

675

Infra dignitatem (*лат.*) – ниже чьего-либо достоинства, унизительный. (*Примеч. перев.*)

676

Kenneth Grant «Dreaming Out of Space» в «Man Myth and Magic», No. 84, задняя сторона обложки; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Э. Морзе, 16 января 1936 г.

677

Fames Warren Thomas «Howard Phillips Lovecraft: A Self-Portrait», магистерская диссертация, Brown University, 1950, p. 180; письмо Г. Ф. Лавкрафта Х. В. Салли, 15 августа 1935 г.; У. Коноверу, 6 сентября 1936 г.; А. У. Дерлету, 5 июня 1929 г.; Carl Van Doren «Benjamin Franklin» (N. Y.: 1938), pp. 37f.

К. Л. Мур (в личном общении); Екклесиаст 9:11.

Manque (*фр.*) – неудавшийся, несостоявшийся. (*Примеч. перев.*)